

РП

Российские
ропилеи

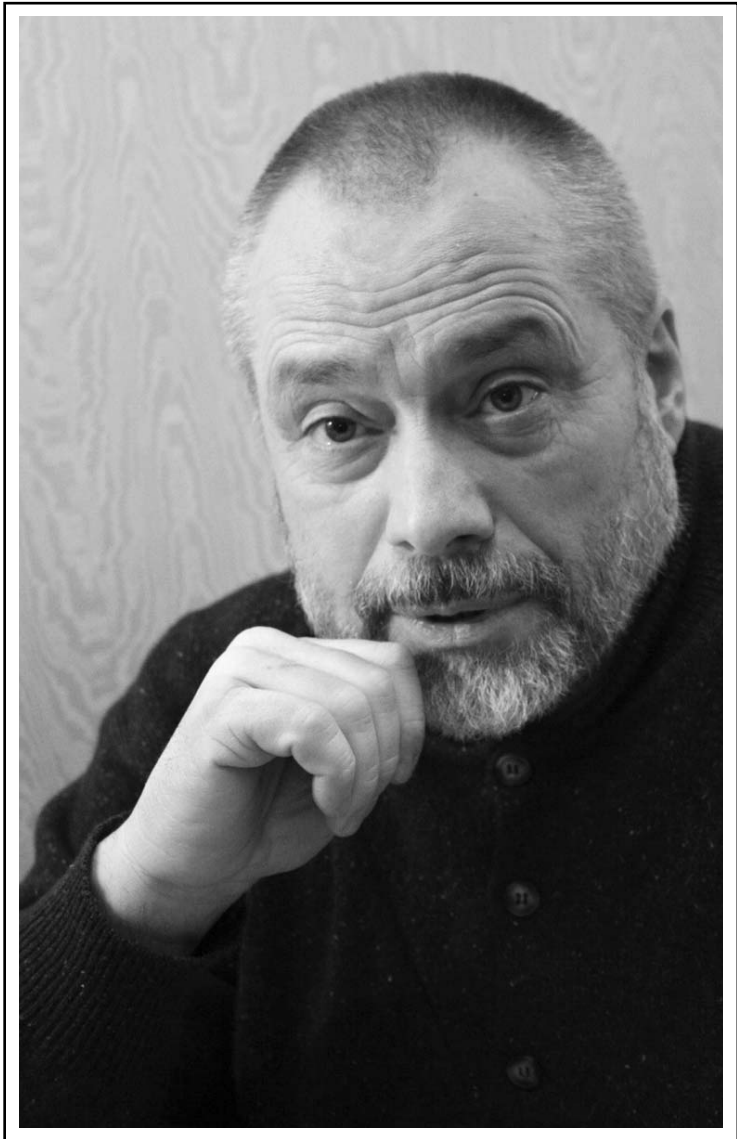
Владимир КАНТОР

«Срубленное
древо жизни»

Судьба Николая Чернышевского

Владимир КАНТОР





Серия основана в 1998 г.

В подготовке серии принимали участие
ведущие специалисты Центра гуманитарных
научно-информационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института российской истории,
Института философии Российской академии наук

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

**Владимир
КАНТОР**

**«Срубленное
древо жизни»**

Судьба Николая Чернышевского



Центр гуманитарных инициатив
Москва – Санкт-Петербург
2016

УДК 1(091)
ББК 87.3
К 19

Главный редактор и автор проекта «Российские Пропилеи» С. Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, В.В. Бычков, Г.Э. Великовская,
И.Л. Галинская, В.Д. Губин, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, В.К. Кантор,
И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, И.А. Осиновская, Ю.С. Пивоваров,
Б.И. Пружинин, М.М. Скибицкий, А.К. Сорокин,
П.В. Соснов, Т.Г. Щедрина

Редактор: М.П. Крыжановская

Серийное оформление: П.П. Ефремов

Кантор В.К.

К 19 «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского /
Владимир Кантор. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2016. — 528 с. (Серия «Российские Пропилеи»).

ISBN 978-5-98712-661-5

В книге предпринята попытка демифологизации одного из крупнейших мыслителей России, пожалуй, с самой трагической судьбой. Власть подарила ему 20 лет Сибири вдаль не только от книг и литературной жизни, но вдаль от просто развитых людей. Из реформатора и постепеновца, блистательного мыслителя, вернувшего России идеи христианства, в обличье современного ему позитивизма, что мало кем было увидено, литератора, вызвавшего к жизни в России идеологический роман, по мысли Бахтина, человека, ни разу не унизившегося до просьбы о помилвании, с невероятным чувством личного достоинства (а это неприемлемо при любом авторитарном режиме), — власть создала фантом революционера, что способствовало развитию тех сил, против которых выступал Чернышевский. Бесы заняли место реформатора (используя его нравственный капитал невинно загубленного человека). «В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни, — писал Василий Розанов, — но — взяли да и срубили его». Слишком долго его имя окормляло его противников. Пора увидеть носителя этого имени в его подлинности, расколдовав фантом, который подарила ему злая судьба. По мере сил автор попытался это сделать.

На последней обложке: Александровский завод и дом Чернышевского

ISBN 978-5-98712-661-5

УДК 1(091)
ББК 87.3

© Левит С.Я., составление серии, 2016
© Кантор В.К., 2016
© «Центр гуманитарных инициатив», 2016

Прогресс — это стремление к возведению человека в человеческий сан.

Н.Г. Чернышевский

Нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встаёт тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека.

Влад. Соловьёв

Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его. Срубили, «чтобы ободрать на лапти» Обломовым.

Василий Розанов

Глава 1

Месторазвитие, или Евразийский центр России

Срубленное древо жизни

В истории русской (и любой) культуры можно назвать не одного великого человека, образ которого обрастал слухами, сплетнями, легендами. Россия богата на неожиданные повороты в судьбах тех, кем потом она стала гордиться. Ее культурные герои не только делали свое прямое дело – творили, но участвовали в войнах (Державин, Лермонтов, Лев Толстой, Леонтьев), погибали на дуэлях (Пушкин, Лермонтов), убегали в эмиграцию (Печерин, Герцен, Огарёв), проходили страшный опыт *казни* и затем каторги (Достоевский, Чернышевский), я уж не говорю о добровольной поездке Чехова в каторжный Сахалин и трагедиях революции и пореволюционного изгнания. Сразу, однако, хочу сказать, что в своем рассказе я ограничиваюсь XIX веком. Впрочем, век более чем репрезентативный, век, когда возникли идеи и судьбы, ставшие определяющими для дальнейшего развития страны. Архетип русской культуры с ее катастрофами и взлетами в свернутом виде, быть может, острее всего можно увидеть именно в этом спокойном столетии. Однако два цареубийства, выступление декабристов (которое называют восстанием, хотя оно не было даже мятежом), казни оппонентов режима, дикая цензура и попытки реформ, вместе с тем неумение власти слушать своих реформаторов (того же Сперанского, Чернышевского, Чичерина, Столыпина), которое приводило к несправедным судам и роковым ошибкам, в конечном счете к убийству *царя-освободителя*, а затем и революциям 1917 г. и расстрелу царской фамилии.

Но поскольку герой моего повествования – Николай Гаврилович Чернышевский (иногда буду писать – НГЧ), человек в сознании интеллектуалов ставший своего рода фантомом, в XIX ве-

ке воспетый, в XX превращенный в монстра как предшественник большевизма и едва ли не погубитель России, я должен попытаться преодолеть фантомность этой фигуры. Хотя противник русского радикализма Василий Розанов, оценивая его судьбу, винил в ней самодержавие, вознеся Чернышевского более чем высоко: «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его. Срубили, “чтобы ободрать на лапти” Обломовым»¹. Действительно, каторга Чернышевского, случившаяся практически в самом начале его деятельности, после примерно десяти лет участия во вполне легальном подцензурном литературном процессе, выглядит, по меньшей мере, дикостью, поскольку ни одно обвинение против Чернышевского не было подтверждено. Самое дикое и глупое в этом было, что именно Чернышевский решительно выступал против радикализации общественной жизни. Но вместо живого человека уже существовал некий фантом в восприятии императора. Казнили фантом.

Великий парадоксалист-романист Владимир Набоков воскресил образ Чернышевского, вначале в романе «Дар», где иронически изображенный им эстет с комической фамилией Годунов-Чердынцев пишет книгу о Чернышевском. И приниженный эстетом мученик вдруг заслоняет собой эстетствующего эмигранта. А потом в «Приглашении на казнь», как блистательно показал Александр Данилевский, за основу сюжета он берет трагическую судьбу Чернышевского, показывая всю фантазмагоричность суда над ним и дикой казни, казни за идеологическое преступление, «мысленное преступление» (Набоков), потому что думал иначе, чем приказывало начальство². Но тексты Набокова попали на определенную матрицу, и в его романах увидели лишь подтверждение своей постбольшевистской неприязни к мыслителю, пропавшему на каторге. Большевики искали предшественников в отечестве. Политический каторжанин Чернышевский очень подходил для такой цели. Чернышевский был звездой оппозиции. Его имя могло окормить новых революционеров. Как писал Бердяев: «Необходимо отметить нравственный

¹ Розанов В.В. Уединённое // Розанов В.В. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 207–208.

² Данилевский А. Н.Г. Чернышевский в «Приглашении на казнь» В.В. Набокова (об одном из подтекстов романа) // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II (Новая серия). Тарту, 1966. С. 209–225.

характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского «нигилизма» был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем святого»¹.

При этом сегодня многие исследователи, да и просто люди связанные с литературой и философией, говорят и пишут, что Чернышевский был вне контекста высокой русской культуры. Недавно я получил отклик на одну из своих статей о НГЧ от своего старого приятеля, хорошего литературоведа (не буду называть имени): «С Чернышевским очень многое запутано, многое совершенно неясно. У него очень много от петрашевцев, от Ханыкова. <...> Чернышевскому же не повезло: он не общался с Лажечниковым, со Станкевичем, с Боткиным, с Грановским, с сёстрами Бакуниными и даже с самим бешено-ледяным Мишелем (вот уж настоящий “дворянчик”, вот уж “весьма опасен”, но умен, черт побери, умен!). Общественная среда Чернышевского – приволжская провинция, врачи, инженеры, духовенство». Но так ли? Ведь автор письма не говорит о среде, в которой вырос Белинский, о его детстве, когда он был брошен на няньку, бывшую и душившую его, чтоб он не беспокоил ее своим плачем, об отце, который, по словам самого критика, «пил и вел жизнь дурную». О детстве Чернышевского разговор особый. Но автор даже не заметил его филологической университетской школы! Не надо ведь забывать (точнее сказать, надо знать), что он был любимым учеником знаменитого филолога И. Срезневского, составил словарь к Ипатьевской летописи. Диссертацию писал у профессора, либерального цензора А.В. Никитенко, сумевшего пробить в печать «Мертвые души» Гоголя. Его отца звал к себе на службу граф Сперанский. Это стало семейной легендой, которую НГЧ потом преобразовал в замечательную статью «Русский реформатор». Семейно общались с историком Н.И. Костомаровым. А двоюродный брат Чернышевского, его верный друг – академик А.Н. Пыпин! Чем он хуже того же В.П. Боткина?! Разве что не сластолюбец, как «Васька Боткин», по выражению автора письма. Но вот культурный контекст Чернышевского – Некрасов, Панаева, Панаев, Добролюбов, Лев Толстой, К.Д. Кавелин,

¹ Бердяев Н. Русская идея. СПб.: Азбука, 2012. С. 141.

Ф.М. Достоевский, Плещеев, Шедрин, Антонович, А.К. Толстой, русский генералитет, если враги и противники тоже считаются, то это Герцен, Огарёв, Дружинин, Григорович, Тургенев, Катков и т. д. В конце жизни дружит с ним купец К.Т. Солдатёнков, первый издатель Белинского, и В.Г. Короленко, один из благороднейших русских писателей. Лучшие воспоминания о НГЧ принадлежат именно Короленко. Его еще при жизни читал Карл Маркс, считал самым великим русским мыслителем. Может, это сейчас не красит моего героя. Но много ли русских авторов были при жизни замечены на Западе!

Он был сгустком энергии, тем самым вечным двигателем, который он хотел создать в молодости, и лучи этой энергии, как силовые линии магнитного поля, притягивали самых разных людей и после смерти. Его поклонники – это Плеханов, Ленин, Луначарский, но и Владимир Соловьёв, Василий Розанов, Николай Бердяев. Левым, как писал Бердяев, он был выгоден, русские независимые мыслители видели в нем одну из значительнейших фигур русской истории.

Это что же, спросят меня, *апология*? Да, если понимать слово не в расхожем («восхваление»!), а в словарном смысле – как *защиту* кого-либо. Да и как не попытаться защитить! Человек, не получивший защиты при жизни, имеет право хотя бы на посмертный и по возможности непредвзятый анализ сделанного им.

Волга как «русский Нил»

Напомню, что Чернышевский был родом из Саратова, города на Волге. Город был поставлен в 1590 г. как сторожевая крепость на месте средневекового золотоордынского городища. У древних существовало понятие «гений места». Думаю, что и в самом деле «месторазвитие» (термин евразийцев) играет немалую роль в становлении определенного типа героя. Обычно, говоря о местах, где концентрировались послетатарская русская мысль и русская культура, называют два города, две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Разумеется, именно столицы были средоточием талантов, которые хотели и могли вырваться наверх. Но было еще одно место, еще один локус, таланты порождавший, где они получали первоначальное развитие, и сыгравший огромную, ни с чем не сравнимую роль в русской истории. Это – Волга! **Наш русский фронтир!** Василий Розанов назвал Волгу русским Нилом: «“Русским Нилом” мне хочется назвать нашу Волгу. Что такое Нил – не в географическом и физическом своем значении, а в

том другом и более глубоко, какое ему придал живший по берегам его человек? “Великая, священная река”, подобно тому, как мы говорим “святая Русь” в применении тоже к физическому очерку страны и народа. Нил, однако, звался «священным» не за одни священные предания, связанные с ним и приуроченные к городам, расположенным на нем, а за это огромное тело своих вод, периодически выступавших из берегов и оплодотворявших всю страну. Но и Волга наша издревле получила прозвание “кормилицы”. “Кормилица-Волга”»¹.

А теперь я напомним, кто были выходцы с этой реки.

Стоит, разумеется, начать с нижегородского купца Минина и князя Пожарского, собравших на свои деньги ополчение и спасших Московскую Русь, когда правительство уже не знало, какому разбойнику-самозванцу служить или под какого иностранного короля идти – польского или шведского. Это – незабываемое в истории России движение с берегов Волги для спасения всей страны.

С берегов Волги пришли патриарх Никон и протопоп Аввакум, то есть истоки русского раскола тоже здесь. По Волге ходили струги Стеньки Разина, Саратов захватывал и злодействовал там Пугачёв. А войско Пугачёва – это не только казаки и великорусские крестьяне, но и народы Поволжья: татары, калмыки, черемисы, мордва. Не случайно поэт Державин, в клетке привезший Пугачёва в Петербург, назвал Екатерину Великую «Богopodobная царица / Киргиз-Кайсацкия орды!» А сама Екатерина именвала себя «казанской помещицей». Любопытно, что Державин, прошедший евразийское пространство России, не принял сентиментальный текст Радищева, который посмел проехать только из Петербурга в Москву, от одной столицы до другой. Как замечал тот же Розанов, считавший себя волгарем, на Волге в самом деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в далекую Азию. Какой тоже мир, какая древность – другой самостоятельный «столп мира», как Европа и христианство. Это настоящее евразийское пространство. Волга рождала не только разбойников и протестантов типа семейства Ульяновых, Свердлова, Горького, Керенского, но и людей, создававших русскую литературу и культуру: Державин, Карамзин, Мельников-Печерский, Гончаров, Добролюбов, великий художник Борис Кустодиев, из Саратова были Николай

¹ *Розанов В.В.* Русский Нил // *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990. С. 526.

Чернышевский, философ Георгий Федотов, губернатором Саратова был несколько лет великий реформатор П.А. Столыпин, основавший в Саратове университет, там родились писатель Константин Федин, актер и режиссер Олег Табаков. Прошедшие этот плавильный евразийский котел были людьми, понимавшими Россию лучше столичных жителей. Опыт Пушкина – ссылки, опыт Лермонтова – Кавказская война, как и у Льва Толстого (да еще и Крымская), соприкосновение с нутряной Россией. Достоевскому пространством познания России стала каторга, где он понял имперскую необъятность страны.

Чернышевскому это знание дано было с детства. Вот история, зафиксированная им в автобиографии. Один из родственников НГЧ был захвачен степняками («киргиз-кайсаками»), ему «подрезали пятки, чтоб он не убежал; подрезывание пяток состояло, по нашим сведениям, в том, что делали на пятках глубокие прорезы и всовывали туда порядочные комки мелко изрезанного конского волоса или свиной щетины, потом заживляли разрезы. После этого человеку надобно было ходить, не ступая на пятки, – если же ступать на пятки, то от волоса или щетины делается нестерпимо больно. Стало быть, пленник может ходить на недалекие расстояния, медленно, и годен к работе, но к бегству неспособен. Однако ж, и с подрезанными пятками наш родственник решился бежать и ушел ночью. Всю ночь шел, как стало светать, лег в траву; так шел по ночам и лежал по дням еще несколько суток, с первого же дня часто слыша, как скачут по степи и перекрикиваются отправившиеся в погоню за ним. Они употребляли, между прочим, такую хитрость, вероятно часто удававшуюся им с беглецами, не имевшими силы сохранить спокойствие в своей страшной опасности: кричали “видим! видим!” – чтобы беглец попробовал переменить место, перебраться из открытого ими приюта в другой; тогда бы они и увидели его над травой или распознали по колыханию травы, где он ползет. Наш родственник не поддался, выдержал страхи. Особенно велика была опасность, когда он уже дошел до какой-то реки и пролежал день в ее камышах. Ловившие его много раз бывали очень близко к нему, иной раз чуть не давили его лошадьми, но все-таки он уберется незамечен, добрался до русских, пришел домой цел и стал жить по-добру по-здорову. Эта картина его прятания и ловли в камышах довольно сильно действовала на мое воображение. Не скажу, чтобы я много, часто и сильно переносился к ней в своих мечтах. Но все-таки она, бывшая темой моих грез довольно редко, рисовалась в них чаще всего остального чрезы-



Киргиз. По рис. Л. Вульфа. 1815

чайного, необыденного, что случилось мне слышать в детстве за правду, бывшую с людьми мне известными или известными кому-нибудь из известных мне»¹.

Надо понять, что это было не случайностью, а бытом. Жили на фронтире.

Поэтому он отвечал на знаменитый тезис Чаадаева, что «Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению, — нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он

только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не “Запад” и не “Европа” <...>; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому-то ни было немцу произнести наши *Щ* и *Ы!* Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр» (*Чернышевский*, VII, 610).

Такое можно написать, только твердо зная свою страну. Любопытно, что первая работа Чернышевского, до сих пор не опубликованная, была посвящена татаро-монгольскому прошлому Руси на материале Саратовского края. Начну с отрывка из воспоминаний двоюродного брата Чернышевского А.Н. Пыпина, писавшего, что «татарский язык не был обязателен для всех, но Н.Г. Чернышевский ему учился и, вероятно, довольно успешно. В то время епископом Саратовским и Царицынским был довольно известный Иаков (Вечерков), впоследствии архиепископ Нижегородский. <...> При нем совершались едва ли не первые исследования древней ордынской столицы — Сарая — в прежних пределах Саратовской губернии, за Волгой. <...> Без сомнения,

¹ *Чернышевский Н.Г.* Из автобиографии // *Чернышевский Н.Г.* Полное собрание сочинений: В 16 т. М.: ГИХЛ, 1939–1953. (Т. I. С. 579.) В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте в скобках (с римской нумерацией томов и арабской — страниц).

Воспоминания детства, юности откладываются в памяти писателя и мыслителя, чтобы потом сказаться в его творчестве. Задумывался ли кто из читателей о происхождении «необыкновенного человека» Рахметова? А между тем для Чернышевского происхождение этого человека важно, оно показывает его центровую укорененность в российском мире. «Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, то есть одной из древнейших не только у нас, а и в целой Европе. В числе татарских темников, корпусных начальников, перерезанных в Твери вместе с их войском, по словам летописей, будто бы за намерение обратить народ в магометанство (намерение, которого они, наверное, и не имели), а по самому делу, просто за угнетение, находился Рахмет. Маленький сын этого Рахмета от жены русской, племянницы тверского дворянского, то есть обер-гофмаршала и фельдмаршала, насильно взятой Рахметом, был пощажён для матери и переименован из Латыфа в Михаила. От этого Латыфа-Михаила Рахметовича пошли Рахметовы. Они в Твери были боярами, в Москве стали только окольными, в Петербурге в прошлом веке бывали генерал-аншефами, конечно, далеко не все: фамилия разветвилась очень многочисленная, так что генерал-аншефских чинов не достало бы на всех. Прапрадед нашего Рахметова был приятелем Ивана Ивановича Шувалова, который и восстановил его из опалы, постигнувшей было его за дружбу с Минихом. Прадед был сослуживцем Румянцева, дослужился до генерал-аншефства и убит был при Нови. Дед сопровождал Александра в Тильзит и пошел бы дальше всех, но рано потерял карьеру за дружбу с Сперанским». Как видим, тут и татарское происхождение, и дружба с графом Сперанским, который был персонажем семейных рассказов. Добавлю, что и без Волги в романе не обошлось: Рахметов странствовал по России и прошёл всю Волгу бурлаком, получив прозвище «Никитушка Ломов», как звали в Саратове самого сильного бурлака.

Перед европеизирующейся Россией стояла задача преодоления этого евразийского пространства, когда, как писал С.М. Соловьёв, Степь внешнюю (захватчиков татаро-монголов) сменила Степь внутренняя (Разины, Булавины, Пугачёвы) — разбойники, шайки которых, по словам Чернышевского, размерами напоминали целые армии. Смысл этого процесса был в том, что после поражения татар, *внешней Степи*, бунтовала *внутренняя Степь*, не желавшая поворачиваться к европейской, городской жизни вместе со всей страной. «Поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, — резюмировал данный культурно-исторический конфликт С.М. Соловьёв, — на великороссийские города, против

европейской России»¹. Начало европеизации – это начало царствования Романовых, когда шел бунташный XVII век. Проблеме преодоления степного начала надо было решать. Татарские роды шли на службу русскому царю, их принимали, они входили в элиту, но это была лишь верхушка общественной структуры. Государству нужны были точки опоры по всей стране. Петр строит новую столицу, европейскую столицу, и укрепляет дворянство. Екатерина жалует помещиков собственностью, приравняв их поместья с вотчинами, то есть превратив дворян в класс собственников. Дворянские гнезда должны были стать точками опоры для цивилизации окружающего пространства. Французский язык, умение читать, журналы отделили дворян от степи и крестьянства. Но беда была в том, что за исключением столичного дворянства, большинство землевладельцев оставались, как тогда говорили, «степными помещиками», Простаковыми. И к началу сороковых годов XIX века стало понятно, что дворяне, несмотря на великих поэтов, несмотря на слой провинциальных пушкинских барышень, не помогут цивилизации страны. Собственно, об этом «Мертвые души» Гоголя.

Носителями просвещения были дворяне, обосновавшиеся в столицах. При этом надо сказать (и это очень серьезно), что дворянство потеряло (за редким исключением) религиозный контакт с народом, хотя христианство в те годы еще обладало большой просветительской силой. Но дворянское поверхностное вольтерьянство не привело к подлинному росту культуры.

А христианство – это европейская религия, резко отделившая Россию от степной – языческой и мусульманской – Азии. Однако так сложилась русская история, что священники были, по сути, выведены за пределы того общества, которое могло оказывать влияние на судьбу страны. Еще Пушкин писал о русском «азиатском невежестве», которое в высшем обществе преодолевалось после Петра Великого европейским просвещением, говорил о глубокой думе, с какой иноверцы глядят на «крест, *эту хоругвь Европы и просвещения*»², но при этом понимал, что священники оторваны от образованности высшего общества, а потому не могут воспитывать нацию: «Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе

¹ Соловьёв С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьёв С.М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского университета, 1983. С. 147.

² Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.-Л., 1949. С. 344.

презрение к попам и равнодушие к отечественной религии»¹. Для Пушкина незнание иностранных языков означало отсутствие необходимых контактов с европейской культурой. Указ Петра Великого 1708 г. запрещал посвящать в священники и дьяконы, принимать в подьячие священнослужительских детей, которые не учились в школах. Великий преобразователь требовал просвещения во всех слоях, которые имели возможность и необходимость для вхождения в книжную культуру. **Но именно поэтому духовное сословие постепенно оказалось вторым эшелонem русского просветительства.** Медленно, ибо бедность мешает просвещению. И шаг за шагом, не очень заметно для общества, движение к образованию усиливалось. В конце XVIII столетия – первой трети XIX столетия священники оценили свое семинарское обучение, которое выводило их из низшего сословия. Как пишет современный исследователь: «Лишь очень немногим удавалось добиться должности священника – самое большое, на что могли рассчитывать неимущие служители религиозного культа, по своему экономическому и юридическому положению сливавшиеся с разночинцами. <...> Шансы повышались у тех, кто получал семинарское образование. Но такая возможность появлялась очень редко и ещё реже попадавшие в семинарию могли благополучно окончить курс. Однако постоянная материальная нужда, незнатность происхождения, отсутствие привилегий вырабатывали характерную для разночинцев жизненную стойкость, трезвое отношение к жизни. <...> Из поколения в поколение переходила выковываемая в постоянной борьбе за существование воля, привычка полагаться только на себя, упорное стремление улучшить свою жизнь. Это отчётливо проглядывает в настойчивых попытках сельских священнослужителей дать своим детям семинарское образование»².

Существенно, что учебная программа русской семинарии позволяла получить образование если и не университетское, то все же развивавшее и ум, и кругозор семинариста. Что же входило в эту программу? Немало! Российская и латинская грамматика, арифметика, священная и всеобщая история, география. Особое внимание уделялось латинскому языку: в высших классах на латыни (до 1840 г.) преподавались основные курсы – философия и богословие. Изучались также основы российской и латинской поэзии, а из языков – греческий и французский. Образование было серьезное. Конечно, прежде всего, богословское. Напомню, что именно бурсак философ Хома Брут распознал в панночке

¹ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 126.

² Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1978. С. 15–16.



Саратовская духовная семинария

ведьму. Гоголевский «Вий» уже вводит в литературу семинариста как главного героя. Мы часто судим о русских православных семинариях по «Очеркам бурсы» Н.Г. Помяловского, где нарисовано полнейшее безобразие учеников и учителей. Понятно, что такое можно написать, только пройдя годы в этом заведении. Но, как мы знаем, учеба в бурсе не помешала Помяловскому стать замечательным писателем. Дело в том, что в семинариях, как и везде, многое зависело как от программы, так и от ученика, который эту программу усваивал или не усваивал. Можно назвать немало российских сочинений, где школьные годы автора описаны зло и с тоской (хотя бы пансион, где учился Аркадий Долгорукий в «Подростке» Достоевского, «Гимназисты» Гарина-Михайловского, «Кондуит» Кассиля). Но мы знаем блистательных деятелей русской культуры, вышедших из семинарии.

Сошлюсь на великого специалиста в русском богословии Г.В. Флоровского: «Именно в духовных академиях русская философская мысль впервые ответчиво встречается с немецким идеализмом. Преподавание философии здесь было обширным. И только в духовных школах философия как предмет преподавания ускользнула от погромов и запретов Николаевского времени, когда из университетов эта «мятежная наука» бывала и вовсе изгнана (в 1850 г., в управление кн. Пл. А. Ширинского-Шихматова)»³.

³ Флоровский Г. В. Пути русского богословия / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 307.

Духовные достижения русской семинарии

А если назвать имена выдающихся деятелей России, прошедших семинарию уже в XIX веке, то их перечисление заняло бы не одну страницу. Напомню некоторые, так или иначе вошедшие в литературу и философию. Первый русский реформатор **Михаил Михайлович Сперанский** (фамилия не родовая, а данная семинарским начальством за надежды, которые он возбудил своим учением), окончивший семинарию, где усвоил блистательно весь курс — то есть древние языки, риторику, физику, математику, философию и богословие. Отец — причетник в церкви, мать — дочь дьякона, но благодаря успехам в семинарской учебе, мальчик был замечен. Библиотека семинарии была большая — в подлинниках, древние и новейшие авторы; свободно владея французским языком, Сперанский читал просветителей (Дидро, Вольтера и др.), оставшись на всю жизнь их последователем. Повторю: мы совершенно не представляем себе уровня семинарского обучения. Разумеется, светскости семинария не давала, свободно говорить на западноевропейских языках мало кто умел (Чернышевский всю жизнь страдал от своего плохого произношения, но свободно читал практически на всех важнейших языках). Сперанский, призванный поначалу к князю Куракину как делопроизводитель, шаг за шагом поднялся до невероятных высот, стал другом императора Александра и получил графский титул. В его карьере были не только взлеты, но и падения. Но он был примером для молодых честолюбивых семинаристов, показывая им возможности и силу образования. Оставим пока Сперанского, к этой теме еще придется вернуться, ибо в каком-то смысле его судьба стала матрицей судьбы Чернышевского, как об этом невольно написал последний.

Напомню еще имена. Тут нельзя миновать **Александра Петровича Кунцина**, учителя Пушкина, профессора Царскосельского лицея, сына дьячка из Тверской губернии, учившегося в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. Пушкин писал:

Кунцину дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

Замечательный критик, предшественник Белинского, **Николай Иванович Надеждин** (тоже семинарист, как и Сперанский

получивший свою фамилию по результатам учебных успехов). Родился в семье сельского дьякона. Учился в Рязанском духовном училище (1814), затем в Рязанской духовной семинарии (1815–1820), отсюда поступил в Московскую духовную академию (1820–1824). После окончания академии преподавал в Рязанской духовной семинарии. В 1830 г. Надеждин защитил диссертацию в Московском университете. Диссертация была написана о романтической поэзии на латинском языке. Едва ли не первым в России на труды немецких философов – Канта, Фихте, Шеллинга опирался Профессор Московского университета, издатель, помимо своих замечательных статей, произведений выдающихся современников опубликовавший в журнале «Телескоп» письмо Чаадаева, за что был сослан в Усть-Сысольск. У него учился знаменитый любомудр из дворян Н.В. Станкевич.

У нас любят противопоставлять как бы вольного эстетика и критика **В.Г. Белинского**, возникшего как Феникс из чьего-то пепла (литературовед, восторженно пишущий о «Висяше»), семинаристу Чернышевскому. Но интересно, что дед **Виссариона Белинского по отцу был священником в селе Бельни Нижнеломовского уезда (о. Никифор) Пензенской губернии, что объясняет происхождение фамилии.** Любопытно, что Тургенев писал о том, что именно в великорусском духовенстве текла беспримесная кровь, без чуждых влияний. То, что Тургенев был не точен, достаточно очевидно, поскольку великорусское племя создавалось из смеси многих этносов, особенно в поволжской провинции.

Если дальше пойдем по хронологии, то назовем семинаристов – **Чернышевского, Добролюбова, Антоновича, Помяловского.** Великий русский историк **Василий Осипович Ключевский** тоже прошел семинарию прежде университета. Духовное сословие дало русской культуре великих людей почти столько же, сколько дворянство. Скажем, лучший русский драматург **Александр Николаевич Островский** был внуком священника, его отец окончил семинарию и Московскую духовную академию. Ближайшим сподвижником Ф.М. Достоевского по журналам «Время» и «Эпоха», ведущим их критиком, был **Николай Николаевич Страхов**, сын священника из Белгорода, закончивший Костромскую духовную семинарию. Надо также упомянуть, что сыном священника был другой великий историк, ректор Московского университета **Сергей Михайлович Соловьёв**, отец философа **Владимира Сергеевича Соловьёва**, посвятившего свой главный философский труд «Оправдание добра» историку-отцу и деду-священнику,

подчеркивая свое происхождение. Существенно отметить, что Чернышевского и в момент его катастрофы, и после поддержали и отец, и сын Соловьёвы. Причем если отец только осуждал в кулуарных разговорах арест и казнь мыслителя, то сын написал статью «Первый шаг к положительной эстетике», в которой поддержал его философско-эстетические идеи, и биографическую статью о нем. Кстати, поддержка религиозным философом диссертации, которую принято называть материалистической, заставляет задуматься о правильности привычной трактовки идейного наследия Чернышевского. Вообще, о близости идейной и даже ментально физиологической Владимира Соловьёва и Николая Чернышевского мне еще представится случай сказать.

Стоит отметить и великого писателя, которого с Чернышевским связывали духовные, почти мистические узы (об этом дальше). Они следили за творчеством друг друга, спорили сурово, однако с полным пониманием позиции друг друга. **Я имею в виду Федора Михайловича Достоевского.** Все знают, что он был один из самых христианских писателей-мыслителей в России. Даже в своих «Записках из подполья» он, в сущности, несмотря на мнения однозначно направленных умов, поддержал «Что делать?» Чернышевского, показав, что выступающий против законов природы и разума антигерой повести оказывается самым свирепым эгоистом («...Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», — говорит он), ибо разумный эгоизм героев Чернышевского по сути дела повторяет знаменитую формулу Христа, что надо **полюбить другого, как самого себя.** Не любя себя, человек не сможет полюбить другого, ибо безлюбый мир — это мир смерти. Подпольный человек ненавидит себя, потому и унижает женщину, полюбившую его. Чернышевский в своих дневниках откликался с восторгом почти на каждое произведение Достоевского. Любопытно все же в данном контексте другое: **Достоевский по отцовской линии был внуком священника.** Об этом сказано в замечательной (уникальной, я бы сказал) книге Игоря Волгина «Хроника рода Достоевского», где он выступил руководителем проекта. Цитирую недавно открытое и доказанное: дед писателя **Достоевский Андрей Григорьевич**, униатский священник в селе Войтовцы Брацлавского воеводства, рукоположен 22 мая 1782 г. киевским униатским митрополитом Иассоном Сморгоржевским. В 1794 или 1795 г. воссоединился с православием¹. А отец Достоевского Михаил Андреевич учился поначалу в По-

¹ Хроника рода Достоевских. М.: Фонд Достоевского, 2013. С. 74.

дольско-Шаргородской семинарии, потом уже в Медико-хирургической академии. Далее он выслужил потомственное дворянство. Но, следуя реальному происхождению Достоевского, можно сказать, что великий писатель тоже происходил из «второго эшелона» русского просвещения.

Стоит добавить и великого физиолога, первого русского нобелевского лауреата **Ивана Петровича Павлова**, хотя в массовом сознании церковь и наука (несмотря на разночинцев 60-х годов, «резавших лягушек») всегда противостояли друг другу. Но отец Павлова был священником, мать тоже из духовного сословия, а сам он окончил Рязанскую духовную семинарию.

Хранителями искусства тоже были выходцы из духовного сословия, достаточно назвать **Ивана Владимировича Цветаева**, сына священника, и, конечно, ученика духовной семинарии, а потом профессора, создателя знаменитого Музея изящных искусств. Надо бы вспомнить и двух его дочерей – **Мариину Цветаеву** и **Анастасию Цветаеву**. Из духовного сословия вышли великие русские писатели – **Евгений Иванович Замятин** и **Варлам Тихонович Шаламов**.

Начинавшие свою деятельность в XIX веке знаменитые русские философы **Василий Васильевич Розанов** и **Сергей Николаевич Булгаков** – тоже выходцы из духовного сословия. Вообще надо подчеркнуть, что не только в Духовной академии, но и в семинариях преподавали философию, которой не было в университетах¹. Снова сошлюсь на Флоровского: «В духовной школе закладывались основания для систематической философской культуры. И нужно прибавить: философия преподавалась не только в академиях, но и в семинариях, и по довольно широкой программе. Это был единственный тип средней школы с серьезным развитием философского элемента»².

Начиная с середины XIX века священники становятся героями художественной литературы, ибо именно в них писатели пытались найти силу, способную образить народ и общество. Тут стоит вспомнить «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (Тихона и Зосиму) Ф.М. Достоевского, «Соборян» и «Запечатленного ангела» Н.С. Лескова, «Архиерея» А.П. Чехова, «Краткую повесть об антихристе» (старец Пансофий) В.С. Соловьёва. Делал из себя ре-

¹ Надо сказать, что когда моя книга была закончена и сдана в издательство, мне в руки попал замечательный трактат (перевод с английского): Манчестер Лари. Поповичи в миру. М.: НЛО, 2015, в котором я нашел сюжеты, схожие с началом моей работы. Книгу эту рекомендую читателям.

² *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. С. 309.

лигиозного мыслителя Лев Толстой. Происходила любопытнейшая трансформация в сознании образованного общества. Оно почувствовало, что Крещения князя Владимира недостаточно, чтобы страна стала христианской, поскольку вера не прошла этап рефлексии, столь необходимый для подлинного усвоения религиозных начал. Если романская Европа этот этап прошла в эпоху апологетов еще в Римской империи, а затем повторила его в Крестовых походах, германская Европа в эпоху Лютера и становления протестантизма, когда все слои с необходимостью решали проблему своего религиозного бытия, то в России этап рефлексии (старообрядчество) был купирован государственной властью.

Церковь и власть

Дело в том, что русская церковь развивалась с самого начала как структура, подчиненная власти. Христианство на Руси шло не снизу усилиями апостолов, подвижников и мучеников, но вслед княжеским решениям. Не случайно «к русским святым наименование великомученика не прилагалось»¹. Христианским монахам и книжникам не приходило в голову войти в конфликт с властью в Древней Руси. Силой власти, а не силой слова шло на Руси приобщение к христианской вере, так что с самого начала вера была державная. По словам первого русского митрополита, «не было ни одного противящегося благочестивому повелению его (князя Владимира. — *В.К.*), даже если некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевавшему *сие*, ибо благоверие его сопряжено было с властью»². Если сопротивление и было, то со стороны язычников из народа, ибо православие поначалу было княжеской и городской верой³. Митрополитов на Русь поставлял Константинополь. Пока Константинополь был силен, церковь на Руси обладала некоторой независимостью. После падения Царьграда власть стала менять и изгонять неугодных митрополитов (при Василии Темном митрополита Исидора, поддержавшего унию Ферраро-Флорентийского собора), а то и убивать их (митрополита Филиппа при Иване Грозном). И церковь, за исключением св. Филиппа

¹ Живов В.М. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. С. 25.

² Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. М.: Художественная литература, 1994. С. 609.

³ «Христианизация деревни — дело не XI и XII вв., а XV и XVI, даже XVII в.» (Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М.: Индрик, 2003. С. 306).

(праведника, но не общественного деятеля), склонилась перед государством. По грустным словам Федотова: «Всякая постановка общественных целей для православной церкви отвергается как католический соблазн, отталкиваясь от которого приходят к своеобразному аскетическому протестантизму: царство Божие и царство Кесарево остаются навеки разделенными. Эта духовная, метафизическая разделенность не мешает благословию царства кесаря, и тогда уже — именно в силу религиозной отрешенности — благословение не знает ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой власти. Вопрос о правде — общественной правде — не поднимается, считается не подлежащим церковному суду»¹.

Автокефальность тоже не добавила церкви свободы. Поставив в 1589 г. патриархом Иова, священника с «опричным прошлым», т.е. человека, привыкшего выполнять государевы указы, Борис Годунов хотел послушной церкви, которая помогла бы идее некоего равенства русского царя с василевсами Второго Рима. «Иов, — замечает исследователь, — окончательно подчинил церковь целям светской власти. При нем теория “Москва — Третий Рим” впервые получила отражение в авторитетных правительственных документах и, таким образом, превратилась в официальную доктрину»². Но, как отметил Карташев, титул патриарха не изменил хода церковных дел, церковь оставалась по-прежнему все так же замкнутой и отгороженной от мира структурой. Собственно, упразднив патриаршество, Петр Великий юридически оформил это подчиненное положение церкви, образовав Синод, своего рода государственный департамент по делам церкви. Об этом абсолютно точно сказал А.С. Хомяков: «Не должно его (Петра. — В.К.) обвинять в порабощении церкви, потому что независимость ее была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего, который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве»³. Петр образует Синод по принципу, как отмечали разные исследователи, протестантских церквей, скажем, англиканской, где король — глава церкви. Однако это всего лишь внешнее сходство. Святейший Правительствующий Синод, образованный в 1721 г. Петром, лишь в принципе управлял-

¹ Федотов Г.П. Святой Филипп, митрополит Московский // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 3. М.: Мартис, 2000. С. 5.

² Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М.: Наука, 1979. С. 58.

³ Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1990. Т. 1. С. 461.

ся государем, но по сути был подчинен одному из чиновников царя — обер-прокурору. Церковь становится одним среди прочих департаментов государства. Далее ситуация скорее ухудшается.

При Николае Первом, хотя православие и народ вроде бы два столпа государства, пастырская деятельность православных священников по сути была невозможна, ибо обращение к народу шло на языке церковнославянском, народу мало внятном. Перевод Библии на русский язык готовился еще при Николае, но усилиями адмирала Шишкова первое издание Библии по-русски было сожжено. Аргумент адмирала был прост: славянский язык и русский различаются как высокий и низкий, простонародный. Читать Библию по-русски значит унижить ее высокое предназначение. Чтение Библии по-русски означало шаг от простого и солдатского повиновения и послушания к самостоятельному разумению и рассуждению.

Первое русское издание Библии (синодальное) вышло только в 1876 г. Вместе с тем социалистические учения в самом диком — разбойно-анархистском — виде (Бакунин, Ткачѳв, Нечаев) к этому моменту стали фактом русской жизни. В 80-е годы Россия получила уже тексты Маркса, которые приняла с религиозной истовостью. Здоровые идеи христианского социализма не могли привиться на русской почве, ибо не было русскоязычных проповедников этих идей (некий намек на христианский социализм можно найти в художественном творчестве Достоевского). Священнослужители были далеки от современного прочтения Библии. Да и отношение народа к приходским батюшкам было соответствующее, лишенное всякого уважения. Достаточно напомнить знаменитые «Заветные сказки», собранные А.Н. Афанасьевым и, разумеется, не вошедшие в основной корпус его трехтомника. Самые скабрзные, похабные и матерные сюжеты «Заветных сказок» связаны с попом, попадьей и поповной. Для тех, кого миновала эта книга, можно напомнить облагороженную пушкинским гением «Сказку о попе и о работнике его Балде», которая вполне передает эту усмешку простого мужика над священнослужителем и пушкинский изящный эротический подтекст:

Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится.

Балда не только с женщинами спор, он и в работе хваток, он и храбр. Не поп, а Балда справляется с чертами.



Рисунки Пушкина к «Сказке о попе и о работнике его Балде»

Немалую роль в умственном окостенении и неумении работать с паствой играло и то, что церковь не выступала как духовная сила, а как принудительная официальная система, что не могло не смущать наиболее тонких и умных русских политических деятелей. «Мы, по-видимому, с величайшей заботливостью, — писал М.Н. Катков, — охраняем нашу православную церковь; но в способах, которые для этого нами употребляются, не видно, чтобы мы были убеждены в ее истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем ее как политическое учреждение и для этого слишком жертвуем ею как великою христианскою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб она представляла собою хорошо выработанный бюрократический механизм, и весьма естественно, что она дает у нас только такие результаты, которые свойственны механизму этого рода»¹. Более того, возникло напряженное противоречие между реальным *подчиненным* положением церкви и заявленной правительством ее первенствующей ролью.

Один из вариантов решения этой проблемы мы можем увидеть в судьбе Чернышевского. Сын священника лучше многих других видел эту невозможность через церковь воздействовать на публику, не случайно едет он учиться в университет, ищет других путей, чтоб с помощью Бога, как он писал, пригодиться своему отечеству. Но чего же нужно желать России? Как и Пушкин,

¹ Катков М.Н. О церкви. М., 1905. С. 20.

он думает об избавлении от «азиатского невежества». При чем здесь, однако, христианство? Сошлюсь на Владимира Соловьёва: «Через европейское просвещение русский ум раскрылся для таких понятий, как человеческое достоинство, права личности, свобода совести и т.д., без которых невозможно достойное существование, истинное совершенствование, а, следовательно, невозможно и христианское царство»¹.

Прошедшие семинарскую выучку оказались востребованы в светском обществе. Но они были востребованы не в качестве деятелей церкви. И вместе с тем лучшие из них несли в себе воспринятую в детстве религиозную установку. Как правило, это были дети городских священников. Но они несли в своей памяти рассказы, в какой «глухой глуши» жили их деды и прадеды. Вообще, нелегко вообразить бедность и дикость, в которую было погружено деревенское духовное сословие, мало чем отличавшееся по уровню жизни от беднейших крестьян.

¹ Соловьёв В.С. Византизм и Россия // Соловьёв В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 578.

Глава 2

Отец и сын, или «Надежда русской церкви»

В автобиографических заметках в опубликованной посмертно «Повести в повести», называя себя Эфиопом, НГЧ так описывал себя:

«БИОГРАФИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭФИОПА. Я родился в Саратове, губернском городе на Волге, 12 июля 1828 г. До 14 лет я учился в отцовском доме. В 1842 г. поступил в низшее отделение (риторический класс) Саратовской духовной семинарии и учился в ней прилежно. В 1846 г. поступил в императорский СПетербургский университет, на филологический факультет. Был прилежным и смиренным студентом, потому в 1850 г. получил степень кандидата. По окончании курса поступил преподавателем русского языка в...

Кажется, впрочем, это несколько сухо. Не надобно ли мне изобразить себя более осязательными чертами? – Можно.

В настоящее время (осень 1863) мне 35 лет. Рост мой 7 $\frac{1}{4}$ или 7 $\frac{1}{2}$ вершков. Цвет волос – русый; в детстве, как у многих поволжан, был рыжий. Лицом я некрасив. Глаза у меня серые.

Довольно, я полагаю». (12,134–135). Это своего рода самоэпитафия.

Замечательное свойство мыслителя – самоирония. Описывая свой смех (в романе «Пролог» с «пронзительными и ревущими перекатами», он завершает иронический портрет героя: «Мелодичности своих рулад он нисколько не удивлялся, но решительно не понимал и сам, как это визг и рев выходят у него такие оглушительные, когда он расхохочется. Обыкновенным голосом он говорил тихо, и пока он не начинал, по забывчивости, давать

волю своей глотке, никто бы не мог ожидать, что он перекричит и петуха и медведя». В России таким смехом, кроме Чернышевского, обладал еще только Владимир Соловьёв, столь же иронически способный описать себя. Да и Чернышевского высоко ценивший. Вот его автоэпитафия:

Владимир Соловьёв лежит на месте этом;
Сперва был философ, а ныне стал скелетом.
Иным любезен быв, он многим был и враг;
Но без ума любив, сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял, не говоря о теле:
Ее диавол взял, его же собаки съели.
Прохожий! научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

И это при весьма высоком осознании у обоих своего призвания, о чем и посторонние говорили им не раз. Но только самоирония позволяет человеку такого масштаба не потерять ясность ума. Почему, однако, «эфиоп»? Тут вижу, по меньшей мере, два объяснения. Во-первых, эфиоп – это чернокожий, т.е. отличный от «белой кости» высшего общества, дикий, *простодушный*, почти индеец, если вспомнить Вольтера. Напомню, что книги просветителей в семинарии были, на них, скажем, воспитывался Сперанский. Во-вторых, как все знали, эфиопом был великий Пушкин, не очень признанный при жизни. Иными словами, протягивается ниточка между автором и родоначальником русской литературы.

Но как он стал «эфиопом»? Вряд ли он таким родился.

Родился он в Саратове. Но многие рождались в Саратове. Эфиопами они не стали. Добавим еще строчку из самопризнания «эфиопа»: «До 14 лет я учился в отцовском доме». Это уже горячее. Что за дом? И что за отец? Кто учил «эфиопа»?

* * *

*Всегда отец священен в моих глазах
(Чернышевский, I, 38)*

Взаимоотношения отца и сына в контексте христианской парадигмы являются важнейшим показателем возможностей данной культуры к творческому развитию, шанс на это развитие или показатель краха культуры в случае разрыва этих отношений.

«Отцы и дети» не случайная тема русской классической литературы. Почему не случайная?

Долгое соприкосновение, даже долгое совместное проживание с кочевой, нецивилизованной степью (столетия татарского господства!) родило своеобразный симбиоз, который предопределил весьма серьезное различие в российском варианте взаимоотношения «отцов и детей» от варианта западноевропейского. *Различие это — в невероятной остроте конфликта поколений в России*, намного превышающего конфликтность западноевропейскую. Это различие прекрасно видно из сравнения двух классических произведений западноевропейской и русской литератур, давно уже признанных вершинными в мировой культуре — «Гамлета» Шекспира и «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Сравнение это не надуманное, уже в самом романе русского писателя не раз звучит сопоставление двух типов отношения к жизни — гамлетовского и карамазовского. Все они даны в репликах персонажей, но значит это, что сам Достоевский предлагает нам *меру и тип* для сравнения. Приведем одну из этих реплик (из обвинительной речи прокурора): «Может ли Карамазов погамлетовски думать о том, что там будет (т.е. в загробной жизни. — В.К.)? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

В чем же разница?

Начнем с отцов. Отец Гамлета, король, о нем Горацио: «Его я помню; истый был король». Отец братьев Карамазовых, старик Карамазов, при первом же своем появлении на страницах романа замечает о себе, что «точность есть вежливость королей». На реплику своего родственника: «Но ведь вы по крайней мере не король» — тут же шутовски отвечает: «Да, это так, не король. И представьте... ведь это я и сам знал, ей-Богу!» То есть перед нами два отца — король и шут, даже не претендующий быть королем, хотя и намекающий (для читателя) на возможность подобного сближения.

Отношение детей. Гамлет об отце: «Он человек был, человек во всем; // Ему подобных мне уже не встретить». Он не может расстаться с отцом, хотя тот мертв: «Отец!.. Мне кажется его я вижу... В очах моей души». Сам облик отца говорит Гамлету о божественной сотворенности человека: «Поистине такое сочетание, // Где каждый бог вдавил свою печать, // Чтoб дать вселенной образ человека». Смерть отца — для него почти космическая катастрофа: сюжет трагедии — месть за отца. Дмитрий

Карамазов отца иначе, чем «псом» и «Езопом» не называет. Езоп в его словоупотреблении значит шут и «урод». Про отца он восклицает: «Зачем живет такой человек!.. Скажите мне, можно ли еще позволять ему бесчестить собой землю». То есть уровень тоже вполне космический, хотя и с другим знаком, поэтому кричит он отцу: «Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем...» Это прямое отличие от Гамлета, чувствующего себя продолжением отца. Сам облик отца Карамазова вызывает у его сына негативно-уничтожающие чувства: «Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую». Не отстает от него и брат Иван в своих «родственных» чувствах, замечая об отце и брате Дмитриии: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!» В конце концов, незаконный сын старика Карамазова Смердяков убивает отца. Но весь роман – о степени вины каждого из братьев в этом отцеубийстве.

Пожалуй, более других русскихлюбомудров задумывавшийся об этой проблеме Николай Федоров писал: «Нигде антагонизм молодого с старым не дошел до такой крайности, как у нас»¹. Отчего так?

И везде ли так было? Во всех ли слоях?

Становление русского священника

Внук священника Василия Савина и сын дьякона Ивана Гаврилы Иванович Чернышевский был родом из села Чернышево, находившегося в **120 км от Пензы**. Это была «глухая глушь», по словам НГЧ. Пенза была не весьма крупным городом. Саратов по сравнению с ним казался столицей. Впрочем, Василий Розанов так и писал о нем, что это столица Нижней Волги. Шаг за шагом нищий мальчик, сын сельского дьякона из мелкого села, шел все выше, пока не стал протоиереем этой самой столицы, посвятив свою жизнь, как того и хотел, разумному служению Богу. Впрочем, и Саратов даже уже в тридцатые годы XIX века был изрядной глухоманью. Стоит привести небольшую зарисовку моего героя, вспоминавшего свое детство: «Если во времена молодости прабабушки не догадывались в селах, что простые люди могут охотиться с ружьем за утками, бекасами, тетеревами, то охота с ружьем на волка была не только тогда, а и много после,

¹ Федоров Н.Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982. С. 77.

слишком сильною надобностью. Уж я был не маленький мальчик, когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу — огромное село на другом берегу, несколько повыше города. Расстояние между слободой и городом, вероятно, версты 4, много 5; каждый день летом плывут, зимой идут туда и оттуда сотни людей, значит, эта недалёкая дорога слишком не пустынная. А все-таки волки резали на ней. И тоже, я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки. Должно быть, были очень большие стаи, когда вой переносился через реку версты в $2\frac{1}{3}$ или 3 шириною. Колокольный звон из Покровской слободы едва слышался, — и то не во всякое время, — на нашем дворе. А волки были не многим ближе» (Чернышевский, I, 569).

Существуют две версии, как сын дьякона попал в семинарию. Начну с живописной, показывающей ту дикую бедность, в которой жил низший слой русского духовенства. Вот картинка: «Гавриил Иванович Чернышевский был сыном дьякона. Мать его, вдова, не имея возможности не только воспитать, но и кормить сына, привела его в грязных лаптях к тамбовскому архиерею и, поклонившись, по обычаю того времени, преосвященному в ноги, со слезами на глазах высказала ему своё горе и просила его принять участие в сыне. Осмотревши мальчика, преосвященный велел своему лакею обрезать грязные мохры онуч, отчего мальчик расплакался. Из жалости преосвященный велел принять его, безграмотного, на казённый счёт в тамбовское духовное училище. Учился Гавриил Иванович хорошо и переведён был в 1803 г. в Пензенскую семинарию»¹. Берем эту бедность за основу жизни мелких сельских священнослужителей, особенно в глухих местах, но сентиментальная сцена скорее из диккенсовского романа. Во-первых, мать в тот момент не была вдовой, во-вторых, необходимо было бюрократическое обращение по начальству. И первое прошение написал его дядя. Первые его строчки стоит привести: «Великому господину Преосвященному Феофилу епископу Тамбовскому и Шацкому и Кавалеру Чембарской округи села Студёнки ученика философии Никанора Студенского всепокорнейшее прошение»². *Великий господин* — особенно хорошо, так и видишь диковатого еще жителя за-

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (Рассказы саратовцев в записи Ф. В. Духовникова) // Чернышевский в воспоминаниях. В 2 т. Т. 1. Саратов, 1958. С. 25.

² Цит. по: Демченко А. А. Н. Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 17.

угольных мест. Прошения дяди оказалось недостаточно, по закону нужно было прошение отца. Отец был при смерти, и новое прошение написал дед: «Имею я у себя, — писал священник, — сына родного той же округи в селе Архангельском Сюверня тож диакона Ивана Васильева, который, сделавшись весьма болен, просил меня сына его родного, а моего внука Гаврилу представить к лицу Вашего Преосвященства на благоусмотрение для принятия в семинарию ко обучению преподаваемым в оной наукам, которому от роду десятый год, посему я представляю его при сем»¹. Но все шло по закону. Мальчик сдавал экзамен, и поскольку «просителей внук в российском чтении оказался не худ», его приняли в семинарию.

Надо понимать, что низшее сословие в России фамилий не имело, оно рождалось и умирало, почти не оставляя следов, словно опадала листва с деревьев, как писал Герцен. «Священник, — писал Чернышевский, — это был особенного разряда нищий; нищий — почётного разряда; нищий, живущий, вообще говоря, не в голоде и холоде: или и вовсе не бедно. Но нищий» (XV, 243). Никаких родословных в этом слое не существовало и не могло существовать. Родословная появляется там, где появляется *лицо*, т.е. человек, к которому теперь относятся не просто как к явлению природы. Попавший в семинарию становился не просто юридическим, но значимым лицом. Фамилии давались по фантазии семинарского начальства (скажем, Сперанский, Надеждин, Добролюбов и т. п.), но чаще всего по месту рождения. Гаврила был родом из села Чернышево, отсюда Чернышевский.

Мальчик оказался трудолюбивым, прилежным и способным к усвоению языков. Как всякий разночинец он понимал, что только собственный труд и прилежание помогут ему стать тем, кем он хочет. А свое призвание он видел в одном — быть священником. По окончании семинарии он знал как минимум четыре языка — разумеется, церковнославянский, латынь, древнегреческий и французский. Латынь была необходимой, на ней преподавали философию и богословие, да к тому же источником многих богословских идей в православии были тексты католиков (собственной теологии в России не было тогда), у Григория Ивановича в личной библиотеке, скажем, были труды Блаженного Августина, а церковнославянский был тем более важен, ибо все богословские книги, включая Ветхий Завет и Новый Завет, существовали только на этом языке. Но вот блистательное зна-

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 18.

ние греческого было редкостью (а он даже стихи слагал на древнегреческом). И будучи студентом выпускного богословского курса, он по представлению семинарского правления 17 апреля 1812 г. становится «учителем низшего греческого класса». Преподавателей греческого языка не хватало, и если на эту должность выдвигался старший семинарист, то это был лучший и примернейший воспитанник. Через два года он занимает должность старшего помощника профессора семинарии, а спустя еще два года (18 декабря 1816 г.) — учителя низшего пиитического класса, и, наконец, ещё менее чем через полгода — библиотекаря семинарии с сохранением всех прежних поручений.

Но еще до того, как он попал в Саратов, юный семинарист пережил то, что в богословии принято называть *искушением*. Его племянник академик Александр Николаевич Пыпин, всю жизнь поддерживавший своего двоюродного брата Николая, вспоминал:

«Г.И. Чернышевский был во времена моего детства уже человек весьма известный в городе. Он занимал положение благочинного, и я помню его всегда занятым на этой службе, где он был посредником между духовенством и архиерейской властью.

Родом он был из Пензенской губернии (из села Чернышева Чембарского уезда); учился в Пензенской семинарии, где кончил курс в то время, когда пензенским губернатором был Сперанский. Когда Сперанский назначен был генерал-губернатором в Сибирь, он хотел взять с собой в качестве ближайших чиновников кого-либо из лучших молодых людей, окончивших курс в семинарии; ему назвали Г.И. Чернышевского и К.Г. Репинского, — но первый, кажется, усомнился отправиться в далекое путешествие, а Репинский поехал, и отсюда началось его служебное поприще, завершившееся впоследствии сенатом»¹.



Граф М.М. Сперанский

¹ Пыпин А.Н. Мои заметки. С. 48–49.

Это заслуживает некоторого размышления, исходя из установки юноши в понимании своего будущего и оценки его жизни земляками-современниками. Существует еще одна точка зрения — его свояченицы (А.Е. Пыпиной), что Гаврила Иванович готов был принять предложение Сперанского, но воспротивилась мать, вдова глубоко провинциального дьякона, скорее всего женщина искренне религиозная и боявшаяся городских соблазнов, мечтавшая, чтобы сын занял место отца. Почему он вдруг оказался таким послушным сыном? Ведь сумасшедшая карьера была в этом случае даже не воображаемой, а вполне реальной. Его приятель-семинарист Репинский дослужился до чина тайного советника и сенатора. Очевидно, эта тема была обсуждаема в семействе Чернышевских-Пыпиных, живших практически одним домом. Ведь предложение исходило как бы от *своего*, от такого же в прошлом семинариста. Скорее всего, сам Гаврила Иванович на эту тему мало говорил, отсюда такие разные предположения родственников. Попробую предложить свой вариант. Думаю, будущий протоиерей не хотел карьеры чиновника, которая поневоле увела бы его от дела, которому он собирался посвятить свою жизнь. Да к тому же судьба самого Сперанского показывала причудливость и непрочность жизни сановника. Для Г.И. Чернышевского это был очевидный *выбор своего пути*.

Зато в следующем, 1818 г. он не колеблется и едет в некую неизведанную жизнь, дающую ему возможность стать священником. Впрочем, как я поясню дальше, он выбрал едва ли не единственную возможность, чтобы осуществить свою мечту. В Саратове умирает протоиерей Григорий Голубев, священник Сергиевской церкви. И его вдова Пелагея Иванова обращается в Пензенскую духовную консисторию, которой подчинялся и Саратов, с просьбой объявить студентам семинарии «не пожелает ли кто из них поступить на место мужа её с взятием её дочери». И учитель Пензенской семинарии пришёл к архиерею «просить разрешения жениться на старшей дочери Егора Ивановича Голубева» (XII, 491). Гаврила Иванович поступил в строгом соответствии с тогдашними узаконенными церковью обычаями. Ведь, как известно, если умирал священник, имеющий в церкви приход, то преемник занимал место не иначе, как женившись на его дочери.

Но старшей дочери только исполнилось 14 лет. Однако в те годы, особенно в крестьянстве, юный возраст невесты не был препятствием для вступления в брак. Вспомним няню из «Онегина»:

Да как же ты венчалась, няня?
– Так, видно, Бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.

В дальних деревнях юные жены не взрослых сыновей становились утехой снохачей. Для просвещенного барина Ставрогина или набоковского Гумберта Гумберта такая девочка – предмет утонченного разврата. Но священник Чернышевский признавал свою мужскую ответственность перед юной, не созревшей еще телом, да и душой, новобрачной. Он воспитывал серьезную мать семейства. Одна из родственниц вспоминала, что, женившись на Евгении Егоровне, Гаврила Иванович берег ее как ребенка, пока она не выросла в девушку, достигшую своего полного физического развития. И первого ребенка, дочку Пелагею, она родила в 1825 г. на 22 году жизни. Дочка, увы, прожила всего три недели.

Как он ожидал, Чернышевский был причислен к Сергиевской церкви и возведен в сан священника.

После обряда возведения в священнический сан он записал на отдельном листочке, вшитом им затем в свой молитвенник:

«Родился я, по словам ма-
тушки Евдокии Марковны,
1793 года июля 5 дня утром,
что было во Вторник, на па-
мять преподобного Сергия,
Радонежского Чудотворца, в
храме коего Бог сподобил ме-
ня быть и служителем себе
во благое мне, – служителем
святых, пренебесных и дос-
топоклоняемых таинств его,
в каковую и должность
вступил 5-го же июля 1818. –
Дай Боже Великий, чудный в
делах промышления Твоего,
но редко познаваемый в
путях сих, благочестиво и
кончить начатое во славу
Трисвятого Имени Твоего,
молитвами пресвятого Сер-
гия, Радонежского Чудо-



Сергиевская церковь в Саратове

творца...»¹ Это и в самом деле был его выбор, его установка. Он служил Богу, причем, пройдя школу семинарского образования, служил сознательно и искренне. Стоит привести слова ректора Саратовской духовной семинарии: «Это был один из самых религиозных священников, каких на своем веку я знал. Назвать хотя бы ту редкость, что, будучи уже довольно глубоким старцем, каким я его знал, он ежедневно бывал у всех церковных служб в соборе, от которого жил неблизко, когда от дома своего должен был взбираться к собору на весьма высокую гору, к чему кафедральный протоиерей нимало не обязуется»². Действительно, «не обязуется», но служба его была по душе, а не по обязанности. Конечно, он резко отличался не только от сельских, но и от городских священников, пренебрегавших даже прямыми обязанностями, бравших взятки и пьянствовавших. Не случайно получил он (все же был замечен) почетную церковную должность в 1828 г.: «мая 21 по предположению преосвященного Иринаея, данному Пензенской духовной консистории, определён саратовским градским благочинным». В этой должности он состоял 15 лет. А благочинный – это прямой посредник между архиерейской властью и священниками города, и его первой обязанностью было наблюдение за поведением и нравственностью священнослужителей. Было, наверно, непросто, и врагов он себе нажил. Но в этот год произошло еще событие, высветившее судьбу саратовского протоиерея ярким, можно сказать, историческим светом. Протоиерей записал в молитвенник: «1828 года июля 12-го дня поутру в 9-м часу родился сын Николай. – Крещён поутру 13-го пред обеднею. Восприемн<иками> протоиерей Фёдор Стеф<анович> Вязовский, вдова протоиерейша Пелагея Ивановна Голубева»³.

В отличие от дочки сын выжил, но так и остался единственным ребенком в семье. И отношение было к сыну как духовному наследнику, единственному, которому он мог и хотел передать то лучшее, до чего сам доработался в своей трудной жизни. Больше детей не было. Не исключено, что причиной были не очень удачные роды. Мать стала больной женщиной. Как вспоминал НГЧ: «С тех пор, как помню мою матушку, я помню

¹ *Ляцкий Евг.* Н.Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет // Современный мир. 1908. № 5. С. 47.

² *Никанор (Бровкович А.И.), архиепископ Херсонской и Одесской.* О значении семинарского образования (По поводу смерти Чернышевского) // Саратовские епархиальные ведомости. 1890. № 1. С. 608.

³ Цит. по: *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 33.

её беспрестанно страдающею мучительною болью — то в правом боку, то в голове, то в груди, то в правой ноге» (*Чернышевский*, I, 599—600). Поэтому, думаю, нельзя говорить о бесплодии.

Младшая сестра матери Николая выходила замуж дважды. После смерти первого мужа, от которого у нее осталось двое детей, она вышла за мелкопоместного дворянина Николая Дмитриевича Пыпина и родила еще 20 детей. Один из них, Александр Николаевич Пыпин, крупный ученый, ставший даже академиком, всю жизнь был верным другом НГЧ, думаю, понимая его значение в русской культуре.

Дома и строения обеих семей находились в одной усадьбе, и дети виделись и общались практически ежедневно. На усадьбе жили и другие люди, снимавшие флигеля. Летом там было много детей. Играли в лапту, бабки, забирались на столб, прыгали через яму, запускали змея. Зимой катались на дровнях или салазках с высоких взвозов — прямо на лед реки.

Жизнь была небогатой, но *достаточной*. Лишних денег не водилось, но проблем с одеждой и пищей никогда не было. Не было нянек, тем более гувернеров и гувернанток. Вот слова НГЧ: «Оба отца писали с утра до вечера свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть — и были, — нашими няньками. Но надобно ж об-



Дом Чернышевских. Акварель В.А. Пыпиной

шить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств» (XV, 152).

Все же была и прислуга: несколько горничных, кучер, соответственно в конюшне были лошади, две для выездов, одна для поездок на базар и за водой. Держали кур и павлинов. Сад с грушами, яблонями и вишнями спускался к Волге. В доме Чернышевских было восемь комнат. Столько же и в доме Пыпиных. Обе сестры с мужьями и детьми много лет жили практически одной семьей. В театр не ходили, главное развлечение было чтение, много и часто читали вслух. В доме правили женщины. НГЧ привык, что домом руководит его мать, мужья отдавали все заработанные деньги женам, которые распоряжались и финансами, и всей недвижимостью. Думаю, отдавая своей жене Ольге Сократовне весь свой заработок и полностью подчиняясь ей в делах домашних, Николай Гаврилович воспроизводил архетип родительского дома. Это и был тот средний уровень достатка, который он полагал необходимым для каждого человека, чтобы человек мог развиваться духовно. В семьях не было никогда ссор. Как писал Духовников, все члены обоих семейств подчинялись, уважали и слушались Гавриила Ивановича, как старшего; его слово — закон; он не скажет дурного, не сделает предосудительного, в нужде же Гавриил Иванович всегда помогал Пыпиным.

Еще два слова об отце: «В конце жизни кафедральный протоиерей Г.И. Чернышевский, занимавший пост саратовского благочинного с 1828 по 1861 г., был известной и почитаемой личностью в Саратове. За свою священническую и миссионерскую деятельность в Саратовской епархии он получил много церковных наград, в числе которых он имел и самые высокие — два ордена Св. Анны II и III степени, что свидетельствует о признании его заслуг в Синоде»¹. Заслуг было много, и, надо сказать, Николенька привык отцом гордиться.

Сын, или «Господь даёт разум»

Но пора переходить к сыну.

В детстве мальчишкам давалась известная свобода, волжские дети, они и веселились, используя подручные средства: игрушек не было. Хочу показать читателю Чернышевского, которого вряд ли кто может увидеть за сутуловатой фигурой в очках. Вспоминает

¹ *Захарова И.Е.* Материалы к биографии Г.И. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы: Сборник научных трудов. Вып. 18. Саратов, 2012. С. 124.



Н.Б. Терпихоров «Н.Г. Чернышевский в детстве на дровнях»

товарищ детских игр: «Когда мы подросли, то Николай Гаврилович придумал катание на дровнях, которое происходило в отсутствие наших родителей. <...> Бабушкин взвоз, по причине большой покатости к Волге, представлял очень хорошее место для нашего катания. <...> Любитель больших и сильных ощущений, Николай Гаврилович старался направить дровни на ухабы и шибни, которыми в зимнее время бывал усеян Бабушкин взвоз. Чем больше толчков получали наши дровни, тем нам было веселее. <...> Подкатываясь к последнему кварталу Бабушкиного взвоза, Николай Гаврилович старался направить сани на бугор, чтобы с него можно было скатиться на Волгу, где находилось несколько прорубей, и проскочить через прорубь, конечную цель нашего путешествия»¹.

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 31–32.

Образ бурлака Никитушки Ломова не случаен в его творчестве, физическая сила нравилась юному волгарю. Да и как иначе мог он пережить несколько лет Петропавловского равелина и десятилетия самого глухого места в Сибири! Кроме силы нравственной, веры в свою нужность России, при этом склонности к самоиронии, необходима была и крепость физическая. Больше я к этой теме возвращаться не буду (если только к случаю), но прошу читателя запомнить написанное о физических способностях одного из первых русских интеллектуалов. Для закрепления этой темы приведу еще один мемуарный эпизод: «Физические развлечения и гимнастические упражнения на свежем воздухе очень укрепили организм Николая Гавриловича и развили его силы. Рассказывают, что в семинарии он почти не расставался с книгою даже во время перемен. Когда шалуны-товарищи начнут беспокоить его и отрывать от занятий, то он выскочит из-за парт, бросится на учеников и прогонит их всех, причем многим порядочно намнет бока. В Саратовской гимназии он также был известен за сильного. Во время перемены иногда учителя испытывали друг друга, кто сильнее, и тягались на палках. Николай Гаврилович большею частью перетягивал даже сильного, громадного роста своего товарища Евлампия Ивановича Ломтева, учителя истории»¹.

Запомним это, к его силе еще вернемся. Но славен Чернышевский в русской культуре не физической силой, а невероятной силой интеллекта, обширностью знаний, которые дополняли друг друга, а не лежали мертвым грузом, каждый предмет на своей полочке: такое бывает часто. Обратимся же к тому, как он приобретал свои знания.

Начну с начала, с цитаты из книги исследователя: «Среди первых составленных отцом прописей, которыми семилетний Николя начал изучение родного языка, значились фразы: “Бога люби паче всего”, “Веруй во Евангелие”, “Господь даёт разум”, “Един есть Бог естеством”»². Эти фразы во многом определили его установку. *Вера в разум, в рацию как божественная установка позволили ему усвоить позже немецкую философию сквозь евангельскую призму, даже когда он это еще не понимал.* Сам он вспоминал те первые слова, которые вошли в его сознание: «Чаще всех других сословных, деловых и общественных слов, слышались моим ушам до 18 лет:

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (*Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова*) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 33.

² Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 35.

“архиерей, Сергиевская церковь, священник, консистория, обедня, заутреня, вечерня, антиминос, дарохранительница, ризы, камилавка, наперсный крест”» (*Чернышевский*, XII, 492). Детские годы, помимо баловства со сверстниками, он проводил там, где никому из них и не снилось. Поскольку Гаврила Иванович «идя в церковь, обыкновенно брал с собою и сына и ставил его в алтарь», до поступления в духовную семинарию мальчик «не пропустил ни одной божественной службы».

В 1835 г. начинаются его занятия с сыном, а с 1836 г. они приступают к программе духовного училища, программе, рассчитанной на шесть лет, после чего подросток может поступать в семинарию. Домашнее обучение разрешалось до поступления в семинарию, и в деле юного Чернышевского возникла пометка, что он отправлен «в дом родителей для обучения». Уже в семинарском сочинении «Рассуждение. Следует ли отдавать предпочтение школьному воспитанию перед домашним» он твердо отдает предпочтение домашнему как более продуктивному и весьма саркастически изображает школьное: «Что касается воспитания школьного, то при нем собирают в кучу множество учеников самых разных способностей, степени развития, возраста, одаренности, прилежания: может ли учитель достаточно хорошо разобраться в каждом из них? И коль скоро ученики идут по пути образования каждый своей дорогой, то возможно ли от учителя требовать, чтобы он достаточно внимательно наблюдал, не выпускал из виду каждого из них? чтобы он мог одновременно развивать всех учеников, занимаясь с каждым в отдельности, по-разному? чтобы он имел возможность всем преподавать столько же, сколько отдельным воспитанникам? А ведь очень часто то, что полезно и нужно одному, совсем не нужно и даже вредно другому» (*Чернышевский*, XVI, 377).

Приглашенных учителей в доме Чернышевских не было. И домашним учителем во всех нужных предметах и наставником, помогающим развивать ум, был его родной отец.

«Многие думали, что при таких разнообразных занятиях Гавриилу Ивановичу совершенно некогда заниматься со своим сыном; кроме того, каждый священник знает по себе, как трудно готовить детей прямо в семинарию, так как можно забыть все то, что проходило в духовном училище; даже сколько-нибудь сносно подготовить детей к поступлению в духовное училище не каждый священник теперь может, так что принуждены открыть пригготовительные классы при духовных училищах. Но Гавриил Иванович в этом, как и во многом, составлял исключение: он свободно читал греческих и латинских классиков, так

же знал хорошо математику, историю, французский язык и проч. Любовь к чтению и самообразованию он сохранил на всю жизнь. <...> Он ни разу не советовался ни с кем о том, как и чему учить сына; ему, как бывшему инспектору и учителю духовного училища, было известно, что проходится в духовном училище. <...> Николай Гаврилович обязан своим образованием единственно своему отцу»¹. Некоторые авторы пишут, что мыслитель знал девять языков (разумеется, речь шла о чтении и письме). Попробуем посчитать: латынь, древнегреческий, церковнославянский, древнееврейский, французский, немецкий, английский, татарский, арабский, персидский. Судя по его политическим обозрениям в «Современнике», он читал еще на итальянском и нескольких славянских языках. Знакомство со славянскими языками пригодились, когда в университете он учился у великого слависта академика И.И. Срезневского. В изучении языков он пользовался методом отца, метод этот он потом рекомендовал другим. Надо было взять хорошо известный текст, скажем, Евангелие, на незнакомом языке и тщательно его прочитать.

* * *

И вот здесь стоит отметить одну необычность. Я имею в виду предания и легенды, которыми наполнены детство творческого человека, из которых можно назвать Пушкина с его переосмыслением народных сказаний и Гончарова с его «Сном Обломова». Но если у Пушкина русские сказания очень часто перемешаны с европейскими и арабскими мотивами, то у Гончарова мы видим сатирически изображенный сказочный русский народный мир. В начале XIX века шло прочтение русского фольклора, были опубликованы богатырские былины, вышел трехтомник сказок Афанасьева, вышли его «Заветные сказки» с народной порнографией. Именно по поводу этого сборника Белинский в своем письме Гоголю заметил, что именно про попов, попадей и поповен сочиняет русский народ самые похабные сказки.

Понятное дело, что в доме священника, тем более столь строгой нравственности, как Гаврила Иванович Чернышевский, даже отголоска подобных тем не звучало. Кстати, интересно, что возрождавший Белинского Николай Гаврилович ни разу не упомянул его знаменитое письмо Гоголю, хотя, скорее всего, ему был известен сюжет с Достоевским, который был приговорен к

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (*Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова.*) С. 35.

смертной казни за чтение вслух этого письма. С петрашевцем А. Ханыковым он тесно общался, ранние произведения Достоевского усердно читал. Но не видел он в священниках «жеребчатой породы», как выражался Белинский. Конечно, *Господь дает разум*, но пользоваться этим разумом его учил отец-священник. Не рассказывали у них дома и богатырских былин. Хотя богатыри в те годы (да и потом) были символом русской силы.

В «Русской беседе» (1856, № 4) была опубликована статья Константина Аксакова «Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням». В ней он так характеризовал Илью Муромца: «...в нем нет удалства. Все подвиги его степенны, и все в нем степенно: это тихая, непобедимая сила. Он не кровожаден, не любит убивать и, где можно, уклоняется даже от нанесения удара. Спокойствие нигде его не оставляет; внутренняя тишина духа выражается и во внешнем образе, во всех его речах и движениях... Илья Муромец пользуется общеизвестностью больше всех других богатырей. Полный неодолимой силы и непобедимой благости, он, по нашему мнению, представитель, живой образ русского народа»¹. Не будем гадать, знал ли Гончаров аксаковскую трактовку, но то, что при создании образа Илюши Обломова образы древних богатырей волновали его творческое воображение, несомненно, ибо это один из сюжетов, который сообщает няня ребенку, маленькому Илюше, формируя его детское сознание: «Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали *Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем*, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурман, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет». Гончаров слегка иронизирует, но вместе с тем ясно сообщает, что няня «влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни». Разумеется, у Аксакова и, прежде всего, у Гончарова — отрефлектированный эпос, пересказанный вполне рационалистически (что не мешает поэтичности). Эпос свойствен народному духу, но интересен контекст этой эпичности в России. Обратим внимание на начало деятельности Ильи Муромца — это борьба с Соловьем-разбойником и расчистка от разбойников дороги до стольного града Киева. Лесные разбои — это была почти норма русской жизни, которые нашли отражение в русской литературе. Это и в массовой литературе («Ванька Каин») и в классике — например, «Жених» Пушкина, как купе-

¹ Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М.: Современник, 1982. С. 120.

ческая дочь Наташа попала в лесной вертеп разбойников; можно вспомнить и «Хозяйку» Достоевского, где антагонистом главного героя оказывается атаман разбойников Мурин. Мурин побеждает героя, отобрав у него красавицу Катерину.

Существенна близость русских богатырей, которые противостоят разбойникам, православной учености, почти о каждом в былинах говорится: «Он крест кладет по-писаному, Поклон ведет по-ученому». Это важно оценить, однако в сознании маленького Николеньки сложился образ другого богатыря, который преодолевал разбойников не физической силой, а силой духа и мужеством. Он пересказывает историю, поведенную ему бабушкой, женой священника Голубева. И эта реальная история в силу своей эпичности приобретает мифологический характер.

Поволжские жители, как характерно для простонародья, реальность дополняли мифами, находя им подтверждение в действительно существовавших артефактах. Такова была пещера Кудеяра-разбойника на берегу Волги.

Вообще-то, замечу, забегая вперед, что жизнь Чернышевского все время шла на грани мифа, он был рационалист, реалист, но творилось с ним все время нечто невероятное. Бабушкину историю стоит привести, она своеобразный камертон к жизни НГЧ: «К югу, нагорная часть губернии, суживаясь, шла, быть может, и тогда открытым полем, как теперь, а быть может, и там еще было много лесного пространства, а в большей, северной половине нагорной стороны губернии лесное пространство преобла-



Жилище и далее пещера — убежище Кудеяра

дало. И в этих лесах шайки имели прочные, известные окольным жителям оседлости. Рассказов об этом было довольно много; все теперь уже спутались в моей памяти, кроме одного, тоже бабушкина, как и о мнимых разбойниках переселения. «На новом месте (т.-е. на новой должности, на которую переселились из прежнего прихода) батюшка с матушкой жили, Николинька, хорошо. Только кругом были разбойники, и главный атаман у них был Мезин, старик такой почтенный, видный из себя. Этот Мезин уважал батюшку. Вот, раз работник говорит батюшке поутру, что лошадей из хлева увели ночью. У него была пара хороших лошадей. Батюшка так рассердился, говорит: “Еду к Мезину жаловаться”. Матушка не пускает: “Лучше пропадай они, лошади, а у Мезина тебя убьют”, – говорит. – “Пусть убьют, говорит, коли убьют, а я не могу так перенести этого дела». Ему и лошадей-то жаль, Николинька, и обидно. У Мезина дом был большой, и двор тоже большой, обнесен высоким забором; забор был из брусьев, стоймя, с заостренными концами, а двор крытый. Повели батюшку к Мезину в дом. Мезин сидит в красной шелковой рубашке – это летним временем было. “Зачем, говорит, пожаловал ко мне, батюшка? Тебе ко мне ездить не след”, – сердитый тон подает, чтобы запугать. Батюшка не пугается: “Твои молодцы, говорит, у меня пару лошадей увели. Вороти лошадей”, назвал Мезина по имени-по отчеству. “Нет, говорит, мои твоих лошадей не уведут; это, видно, не мои; и я об твоих лошадях ничего не знаю”. А сам хмурится. Батюшка все свое: “Вороти лошадей; не уйду без них от тебя. Либо убей меня, либо лошадей мне отыщи”. Долго спорили. Мезину не хочется. А батюшка не отстает. Ругался, ругался Мезин, – не то что батюшку ругает, а с досады ругается, в своих словах. “Нечего делать, говорит, не отвяжешься от [тебя], поедем твоих лошадей искать, – хоть мне больно не хочется”. Закричал, чтоб ему подали кафтан, опоясал саблю. Большие дроги ему подали, сел на них с батюшкою, четверо своих разбойников с собою взял; поехали. Ехали долго. Пошли поляны по лесу. Приехали на одну поляну, – не очень большая поляна, в лесу, – Мезин свистнул, – кругом из лесу люди повыскакали, голые все¹, в руках сабли. Стоят кругом, подле деревьев, не на

¹ Чернышевский комментирует рассказ бабушки: «Что это значит, я не знаю. Разделись ли они для того, чтобы быть страшнее, как люди совершенно отчаянные, пренебрегшие уже всеми принятыми в общезнании правилами? Тогда это производило на меня такое впечатление. Или бабушка не совсем поняла в детстве рассказ отца, говорившего о голых саблях, а не о том, что сами разбойники были без рубах? Но нет, она тоном, голосом показывала, что именно это обстоятельство было важно, производило на ее батюшку и на самого Мезина такое же ужасное впечатление, как на меня».

середине поляны, а по краям, Мезин их стал расспрашивать. Они на него кричать стали. Он видит, дело плохо, — надо за вино приниматься, угощать, — а он знал, что нужно, взял с собою вина. Налил им ведро, либо два. Они подошли. Ковер постлали на поляне, сели все, стали пить.

Эти голые сами пьют, и Мезина поят, и батюшку — те отказываются, однако, не смеют, тоже пьют. Выпили разбойники, тогда стали мягче, стали посылать Мезина с батюшкой дальше, — у нас, говорят, твоих лошадей нет, батюшка, а спросите у тех, дальше. Поехали Мезин с батюшкой дальше, опять выехали на другую поляну, и эта поляна как будто ложиною выходит и промежду гор и вроде барака (буерака, оврага). Тут опять Мезин свистнул, — и тут опять повыскакали голые с саблями. Опять стал Мезин спрашивать батюшкиных лошадей, и эти тоже стали ругаться. Тут, батюшка говорил, сам Мезин перепугался. Они начали саблями махать, убивать его хотели. Он перед ними на колени стал, — Мезин, — плачет, упрашивает, чтоб они его не убивали. Вина им налил. Три раза так принимались: они все его и батюшку убивать хотят — он на колени станет, и потом пьют вино. Когда в третий раз напились, совсем сжалились: “Ну, говорят, хорошо, уважим вам”, — что же ты думаешь, Николинька? — ведь привели, отдали лошадей батюшке. А матушка дома сидела, все плакала: не думала, чтоб он живой воротился. И точно, не только ему, самому Мезину смерть была. Но только не знаю, как тебе сказать, в самом ли деле они хотели убить Мезина, или это было от него же, притворство, чтобы батюшку больше запугать, — должно быть, что так. А может быть, и в самом деле те разбойники уж не его шайки были и озлобились на него».

Отношения Мезина к прадедушке показывают, что прадедушка был тогда священником; был ли Мезин его духовным сыном, или так питал уважение к его священному сану и, без сомнения, честной жизни, этого не видно из рассказа; неизвестно также, где и как был крытый, огороженный заостренными брусьями дом Мезина, — в лесу, как дом человека, формально живущего вне покровительства законов, или в селе, где, может быть, и угощались у него местные чиновники, — я хочу сказать, что остается неизвестно, на каком основании занимал свое атаманское положение этот Мезин: только ли избегал он наказания ловкостью, храбростью шайки и, быть может, содействием окрестных жителей, уведомлявших его о всякой опасности, — или он был выше, сильнее мелких местных властей? — Это второе предположение я делаю потому, что аккуратно каждое воскресенье во все мое дет-

ство видел своими глазами спокойно молящегося в нашей церкви человека, под командою которого производились грабежи его подданными. Если в 30-тых годах действия таких шаек с явно живущими в обществе и также явно атаманствующими главами должны были ограничиваться воровскими формами грабежа, то в конце прошлого века натурально было им действовать шире, с формами настоящего разбоя. Этот знакомый мне в лицо атаман, наш прихожанин, точно так же уважал моего батюшку, как Мезин прадедушку» (*Чернышевский*, I, 571–573).

Священник-прадедушка и был тем богатырем, который безоружным не побоялся придти к атаману разбойников и заставил того нарушить его разбойничью этику. Таким же был и его отец, которого уважал другой атаман, прихожанин церкви Гавриила Ивановича. Это означало, что по духу священник сильнее даже лесного и подземного мира, ему дано нечто высшее, что перебарывает земных злодеев. Власть не в состоянии им противостоять: не в полицию пошел прадед, а сам от себя действовал. Тем более что известен был случай, когда старушки, приятельницы его бабушки, заметили на пустынной Соколовой горе в пещере огонь и решили, что скоро объявятся в Саратове святые мощи. Но дальше выяснилось, что в пещере было укryвище банды, во главе которой стоял частный пристав города, офицер. Как сейчас сказали бы, «оборотень в погонах».

Образец для подражания

И уже в университете Чернышевский, теперь сознательно ориентируясь, кого он может взять за образец для жизни, записал в дневник: «Мнение мое о папеньке понемногу, но постоянно все подымается, все более и более ценю его: христианская кротость, смирение, непамятозлобие, много того, что у Альворти в “Томе Джонсе” — непоколебимое благородство; *я более и более сознаю сходство между им и мною в хорошие моменты моей жизни* (курсив мой. — В.К.) или во всяком случае между тем, что я сам считаю за хорошее в человеке» (*Чернышевский*, I, 64). Отстаивать свою правоту и не бояться сильнее тебя, так Чернышевский и жил всю жизнь.

Отец научил его учиться. Как вспоминал его бывший соученик по семинарии Александр Раев: «Без книги в руках трудно было его видеть; он имел ее в руках во время употребления пищи за завтраком, во время обеда и даже в течение разговора. Читал он книги самые разнообразные и преимущественно те, которые

находились в библиотеке его отца. Эту библиотеку составляло: Христианское чтение, Энциклопедический лексикон; но были и другие книги, доставшиеся Г.И. Чернышевскому от его тестя, протоиерея г. Саратова Голубева. Страсть Н. Чернышевского к чтению была поразительна; под его влиянием и я прочел в то время римскую историю Роллена, переведенную на русский язык. Н.Г. Чернышевский в 10 лет имел столь обширные и разносторонние сведения, что с ним едва могли равняться 20-летние, а тем более 15-летние. Кроме немецкого языка, я не помню, чтобы кто-либо учил его; гувернеров у него не было; отец его говорил с ним о разных предметах как бы мимоходом. Н.Г. преимущественно учился сам непосредственно и будучи 13-летним мальчиком содействовал мне в подготовке к экзамену для поступления в высшее уч. заведение»¹.

Если вспомнить, что НГЧ после публичной казни, которую современники называли своего рода распятием на кресте, весьма часто сравнивали с Христом, то стоит сказать, что уже мальчиком Иисус вел беседы с еврейскими мудрецами как равный: «И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Мать Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. (Лк. 2, 39–47)».

Он называл себя библиофагом, пожирателем книг. Это было нечто вроде запоя, о котором он писал, что запой в России вариант того, что в Англии называется меланхолией, приводящей к сплину и к пуле в лоб. Меланхолия — это результат тоски от окружающей жизни. Но здесь его запой совпадал с тем, что добивался от него

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР. Чернышевский Николай Гаврилович. Воспоминания А.Ф. Раева о Н.Г. Чернышевском. Два варианта. Один вариант — автограф и рукописная копия, второй вариант — копия рукой М.Н. Чернышевского. Текст воспоминаний А.Ф. Раева, подготовленный к публикации Н.М. Чернышевской с ее комментариями. Крайние даты: [1890 г.] — 1931 г. Кол-во листов: 74. ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 618. Текст дан мне И.Е. Захаровой, за что я ей весьма признателен.

отец. Его жажда рациональности, опоры на книгу, на разум не могла преодолеть ту тоску, которая его грызла, тоску от несовершенства мира. Ему хотелось понять механику мира, не ломая его, но как-то усовершенствуя. Червь точил его как запойного человека. Однажды, на 21 году жизни, Н.Г. Чернышевский написал в студенческом дневнике: «Не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пелёнках, так что я не жил, как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда, что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это самое развитие принял, может быть, ложный ход, — может быть» (*Чернышевский*, I, 49–50).

И все же жизнь он знал, не мог не знать. Видел ее хорошо. Скажем, что такое запой? Вряд ли об этом расскажет человек, не знающий жизни. Чернышевский знает и может объяснить. Он различает понятия «пьянствует» и «пьет запоем». Пьянство это просто грех, а запой нечто иное, что человек преодолеть не может. Он, конечно, иронизировал над объяснением простого народа, но все же знал, «отчего по рассуждению саратовцев моего времени происходит запой. Это объяснение тоже немудреное: “под сердцем” у человека заводится “особенная глиста, вроде, как бы сказать, змеи”, и “сосет” ему “сердце”, — но когда он пьет, часть вина попадает в рот змеи; нужно очень долго обливать ее вином, чтобы она опьянела, — наконец, она опьянеет, — и надолго, очень надолго; тогда, разумеется, страдание проходит, — ведь она лежит пьяная, не сосет сердца, и надобность в вине минуется для человека до той поры, когда хмель змеи, — через несколько месяцев, — проходит: тогда опять надобно пить. Замечательным подтверждением этому приводилась догадливость одного страдавшего запоем купца: он рассудил, что чем крепче напиток, тем скорее усыпит змею, — и попробовал, когда пришло время запоя, начать стаканом самого крепкого рома: змея опьянела с одного стакана, — а сам он еще остался трезв, потому что был здоровый, — и надобность пить исчезла. Но, опьянев так быстро, змея и опьянела не так надолго, как от долгого обливания водкою; через неделю опять начала сосать сердце. Он опять выпил стакан рому, и опять успокоился. Таким образом, благодаря своему уму, он отделялся от запоя несколькими стаканами рома в год. Саратовцы буквально поняли два выражения: о тоске, “змея сосет сердце”, — и о рюмке водки перед закускою: “заморить червяка”, — свели оба выражения в одно, получили полное объяснение причины запоя и удовлетворились» (*Чернышевский*, I, 616).

Какая же змея сосала сердце Чернышевского, уводя его в запой чтения? Ну тоска от провинциальной жизни... Хотя мальчик еще не может чувствовать себя провинциалом. Но все же для такой

всепоглощающей тоски он был слишком молод. И потом хандра, тоска, сплин и в самом деле ведут к пуле в лоб и реальному запою. Пушкин описал тоску Онегина, который «отрядом книг уставил полку / Читал, читал, а все без толку». Николай Чернышевский читал все, что попадало под руку, и с толком, с годами вырабатывая вкус к лучшему: как Достоевский в те же годы, он бредил Шиллером, Гёте, Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем... Нет, слово я употребил не очень точное, это не запой, или запой особого рода... Могут сказать, желание славы... О славе он думал. Но не просто славе, любой, лишь бы его имя звучало. В тетради под диктовку отца среди прочих сентенций было несколько выражений о славе, которые, варьируясь, повторялись много раз. Вот пара примеров: «Любовь к славе есть главнейшая страсть всех вообще людей», «Богатство тленно, слава бессмертна». Сошлюсь опять на архивный текст, правильно вычитанный по сравнению с публикацией: «Высказав ему, чего хотелось бы мне, я спросил его, чего он желал бы. С 1-го раза он уклонился прямого ответа на этот вопрос, а потом сказал: “Славы я не желал бы – это убивает”. На меня это сделало впечатление»¹. Очевидно, в этот момент он думал о «медных трубах», которые были ему противны. Именно это генеральство славы он не принимал потом в Герцене. Но о себе он думал как о человеке, который может нечто сделать для России, это было для него важно: «Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, – не знаю, ведь это странно, – мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, <...> доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия» (*Чернышевский*, I, 127).

«Великим быть желаю, / Люблю России честь», – писал юный Пушкин. А вот восклицание начинающего студента (1846): «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества – что может быть выше и вожделеннее этого? Попросим у Бога, чтобы он судил нам этот жребий» (*Чернышевский*, XIV, 48). Это из письма к отцу, на которого, повторю, он ориентировался. В семинарии его мальчика называли

¹ Воспоминания А.Ф. Раева о Н.Г. Чернышевском. ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 618 ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 618. Сообщено И.Е. Захаровой.

«светилом», и существует легенда, что проезжий епископ, оставившийся и гостивший у саратовского протоиерея, назвал его сына Николеньку «надеждой русской церкви». Так что у юноши были основания думать о себе высоко. Но была еще одна причина. Об этой причине чуть позже.

Пока же подчеркну, что он собирался по принятому им замыслу отца поступить в духовную академию и делать церковную карьеру. Богословие в России только начиналось, до Флоренского, Булгакова, Карташова было еще более полустолетия. Надо сказать, что среди церковных авторов в библиотеке протоиерея были книги двух великих богословов XVIII столетия – Феофана Прокоповича и Стефана Яворского, которые его сын внимательно читал (о чем написал в воспоминаниях). И еще в семинарии он показал себя знатоком Библии и церковных книг. «В риторике и философии не было особых уроков по священному писанию, которое, впрочем, вскоре стало изучаться как самостоятельный предмет. На учителя словесности, Воскресенского, возлагалась обязанность прочесть какую-нибудь книгу из Библии или две книги; обыкновенно Воскресенский в первую половину учебного года читал “Книгу Бытия” без всяких объяснений, разве изредка объяснит что-нибудь. Николай Гаврилович, начитавшись книг духовного содержания и, вероятно, подготовившись дома, под руководством отца, умел объяснить многие места священной книги, чем и приводил в изумление учеников»¹.

Сочинения Чернышевского в семинарии

Думаю, у Чернышевского были основания написать в «Пolemических красотах», возражая профессору Киевской духовной академии Юркевичу, что поднимаемые им темы он продумывал еще в семинарии. Тут многое любопытно: и возражение профессору духовной академии, где он хотел учиться, и тема статьи профессора («Из науки о человеческом духе»), и доводы НГЧ: «Статья г. Юркевича написана, как оказывается, в опровержение моей статьи об антропологическом принципе. <...> Все мы, семинаристы, писали точно то же, что написал Г. Юркевич. Если угодно, я могу доставить в редакцию “Русского вестника” так называемые на семинарском языке “задачи”, то есть сочинения, маленькие диссертации, писанные мною, когда я учился в философском классе саратовской гимназии» (*Чернышевский*, VII, 725–726). Стоит от-

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (*Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова*) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 47.

метить не только темы, но и оценки семинарских профессоров. Причем замечу, что почти все религиозные максимы, по поводу которых он писал сочинения, вошли в стиль его поведения. Как написал Владимир Соловьёв, поведение Чернышевского, особенно после ареста и на каторге, было поведением христианского подвижника. Столь же очевидно, что направление Саратовской семинарии, судя по темам, бесспорно было близко просветительским идеалам, не говоря уже об обязательных сочинениях на латинском и татарском (что важно, ведь в губернии значительный процент составляло татарское население).

Вот список некоторых из его сочинений.

Рукописи ученических лет Чернышевского (1836–1845)

№ 63/792. Рукопись в четвертку на 4 листах, из которых 2 листа заняты текстом. На первом листе рукою Чернышевского написано: «Задачи ученика Нисшего Второго Отделения Николая Чернышевского. Задач по словесности – русских 32, латинских 21, задач по Всеобщей истории – 10, отчета 4'/г листа». На л. 2-м план сочинения на тему: «Вера утешает человека». На обороте 2-го л. рукою преподавателя написано: «Очень хорошо». Рукопись относится к 1843 г.

№ 64/793' «О следствиях книгопечатания».

Семинарское сочинение Чернышевского, на 2 лл. писчей бумаги в четвертку. Внизу 1-го л. написано: «Николай Чернышевский». На 2-м л. отметка преподавателя: «Очень хорошо». Рукопись относится к 1843 г.

№ 67/796. «Почему монархическое правление выгоднее республиканского?».

Семинарское соч., на 2-х лл. писчей бумаги, в четвертку. На 1-м л. надпись: «Николай Чернышевский». На последнем л. отметка преподавателя: «Отлично, хорошо». Рукопись относится к 1843 г.

№ 77/806. «Речь римлянина Муция Сцеволы Порсене, царю Клувийскому, после того как он убил, вместо самого царя, писца его». Перевод с латинского. На 2-х лл. в четвертку. На 1-м л. подпись: «Николай Чернышевский». На 2-м л. отметка учителя: «Перевод верен, точен и весьма хорош». Рукопись относится к 1843 г.

- № 78/807. «М. Аттилий к Сенату Римскому о том, что не должно разменивать военнопленных». Перевод с латинского. На 4-х лл., из коих 3 заняты текстом. На 1-м л. подпись: «Николай Чернышевский». В конце рукописи отметка: «Перевод зрелый и весьма хороший».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 82/811. «Расположение слова – Не приемли имени господа Бога твоего всеу». – Исход, XX,7/ Семинарское соч. На 2 лл. в четвертку, с подписью Чернышевского и отметкой преподавателя: «Изложение связно и очень хорошо».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 83/812. «Все, хотящий благочестно жити о Христе Иисусе, гонимы будут», 2 Тимоф. 111, 12. Сочинение на 4 лл. в четвертку, с подписью Чернышевского (на 1-м л.) и отметкой преподавателя (на последнем л.). «Сочинение очень дельное, но приноровления к слушателям не сделано. Во всем изложении заметна холодность, которая не шевелит души».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 84/813. «Кто гонители людей благочестивых?» – План сочинения. На 2 лл., в четвертку, с подписью Чернышевского и отметкой преподавателя: «Расположение имеет силу и достоинство 15 ноябрь». (1843 г.).
- № 87/816. «Самые счастливые природные дарования имеют нужду в образовании себя науками». Сочинение на 2 лл., в четвертку, с подписью Чернышевского и отметкой преподавателя: «Написано стройно и очень хорошо».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 95/824. «Мир управляется промыслом Божиим». Сочинение на 4-х лист., в четвертку, с подписью Чернышевского и отметкой преподавателя: «О. хорошо».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 96/825. «Прежде смерти никто не может почитать себя счастливым». Сочинение на 4-х лл. в четвертку, из коих 3 заняты текстом. С подписью Чернышевского и отметкой преподавателя: «Весьма хорошо. Сочинитель подает лестную надежду».
Рукопись относится к 1843 г.

- № 97/826. «Несчастья приближают нас к Богу». Сочинение на 2-х лист., в четвертку, из коих 1 л. занят текстом, с подписью Чернышевского, с поправками и отметкой преподавателя: «В изложении нет круглоты и стройности».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 99/828. «Праведник, яко гора Сион не подвижется вовек». Сочинение на 2-х л.л. в четвертку, из коих 1 лист занят текстом, с подписью Чернышевского и отзывом преподавателя: «Можно питать надежду, что автор со временем будет мастер хороший своего дела».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 100/829. «Должно обуздывать страсти». Сочинение на 2-х лист., в четвертку, из коих 1 лист занят текстом, с подписью Чернышевского и отметкой преподавателя: «Хорошо».
Рукопись относится к 1843 г.
- № 130/859. P.1. «Poenitentia purgat peccata» (Упражнение – «хрия» на тему: покаяние очищает грехи).
Ученическое соч. Ч-го на латинском яз. на 2 листах в четвертку писчей бумаги.
На л. 1 латинская подпись Ч-го; на л. 2 об. отметка преподавателя: «Valda bene» (верно и хорошо).
- № 130/859. P. 1. «Poenitentia purgat peccata» (Упражнение – «хрия» на тему: покаяние очищает грехи).
Ученическое соч. Ч-го на латинском яз. на 2 листах в четвертку писчей бумаги.
На л. 1 латинская подпись Ч-го; на л. 2 об. отметка преподавателя: «Valda Bene» (верно и хорошо).
- № 142/871. «Nullum factum potest esse utile, quod vitiosum sit in quantum» (Никакое дело не может принести пользы, если оно запятнано пороками).
Семинарское соч. Ч-го на лат. яз, на 2-х л.л., в четвертку писчей бумаги, с поправками учительской руки.
Л. 2 не занят текстом.
На л. 1 латинская подпись Ч-го; на л. 1 об. – отметка преподавателя: «bene» (хорошо).
Рукопись относится к 1844 г.

- № 147/876. «*Nomini injuram tacito*» (Никому не причиняй несправедливости).
Семинарское соч. Ч-го на лат. яз., на 2-х лл. в четвертку, с лат. подписью Ч-го (л. 1) и отметкой преподавателя (л. 2): «*bene*» (хорошо).
Рукопись относится к 1844.
- № 148/877. «Ученические упражнения» Ч-го т. н. «хрия» — на тему: *Sacra Scriptura sedulo legenda est* (Нужно усердно читать священное писание).
Рукопись на 2 лл. в четвертку формата писчей бумаги, с поправками в тексте.
На л. 1 лат. подпись Ч-го; на л. 2 об. — отзыв преподавателя: *Sensa admodum bona et rei propria dantur* (мысли высказываются весьма хорошие и соответствующие теме).
Рукопись относится к 1844 г.
- № 153/882. Упражнение в составлении периодов на тему: «*Prava consortia sunt vitanda*» (нужно избегать дурных сообществ).
Ученическая работа Ч-го на латинск. яз. на 2-е лл. в четвертку, с поправками в тексте учительской руки.
Нал. 1 лат. подпись Ч-го; на об. л. 1-го отметка преподавателя: — «*Recte et bene*» (верно и хорошо).
Л. 2 не занят текстом.
Рукопись относится к 1844 г.
- № 199/925. «О необходимости чтения хороших книг». Сочинение Ч-го, написанное на 2-х лл. в четвертку. На 1-м л. подпись Ч-го; на последнем отметка учителя: «Очень хорошо».
Рукопись относится к 1845 г.
- № 212/938. «Дозволительно ли сомнение касательно истин религии?» Семинарское сочинение Ч-го на 12 лл. в четвертку, с подписью Ч-го (на 1-м л.) и отзывом преподавателя (на 12-м): «Весьма хорошо». Рукопись 1845 г.
- № 213/939. «Начало премудрости — страх Господень». — Семинарское сочинение Ч-го на 8 лл. в четвертку. Внизу 1-го л. его подпись; на последнем л. (8 об.) — отзыв преподавателя: «Сочинитель подает о себе добрую надежду».
Рукопись 1845 г.

№ 216/942. Селения Саратовской губ. с татарскими названиями — Черновики работы Ч-го. На 1 л. рукою Ч-го написано: «по поручению преосвященного, о селениях Саратовской губернии с татарскими назв. “1845”». В тексте встречаются поправки, сделанные рукою Гавр. Иван. В рукописи 22 разл. меры листа.

№ 218/944. Рукопись на 36 стран, в полулист формата писчей бумаги, содержащая черновики ученических работ Ч-го. На л. 1 дата: «1У/29—1845» и татарские надписи.

На стр. 8 заголовок работы: «Космология». На стр. 17 — «О теизме».

На стр. 22 сокращенная подпись: «О сущности мира».

Стр. 34, 35 и 36 не заняты текстом.

Рукопись писана посредством сокращения слов.

№ 220/945. Грамматические упражнения на еврейском языке. Рукопись на 12 л.л. в полулист писчей бумаги, из коих 3 последние л.л. не заняты текстом.

Листы рукописи разделены вертикально на 8 столбцов, в которых вписаны еврейские слова с пояснением на лат. и русск. языках.

На л. 7 — перевод с еврейского на русский места из книги Исход, повествующего о приходе евреев к горе Синай.

Рукопись относится к 1845 г.¹

Интересно, что семинарскому правлению «приходилось доносить о сочинениях Николая Чернышевского архиерею, который велел все представленные ему сочинения, как выдающиеся, хранить в библиотеке семинарии»². И в примечаниях Духовников добавляет: «Отдавая распоряжение хранить ученические сочинения Чернышевского в библиотеке, преосвященный (преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. — В.К.), вероятно, имел намерение когда-нибудь их отпечатать»³. Это намерение тогда так и не осуществилось.

Некоторые из них были напечатаны в последнем (дополнительном) томе собрания сочинений НГЧ. Разумеется, не латинские его тексты и не упражнения в древнееврейском, а лишь посвященные общим проблемам истории и на русском языке. Читая

¹ Рукописи ученических лет Чернышевского (1835—1846) // Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1928): Неизд. тексты, материалы и ст./Под общ. ред. С.З. Каценбогена. Саратов : [б. и.], 1928. С. 338—353.

² Духовников Ф.В. Николай Гаврилович и его жизнь в Саратове // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. I. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 47.

³ Там же.

их, и в самом деле поражаешься не только ясностью мысли, но страстно сдержанной трагической интонацией. Пятнадцатилетний подросток отчетливо видит сложность осуществления просвещения; и какой-то грустью веет от понимания им о нелепости людской, которая гонит тех, кто хочет облегчить путь к свету. Выберем один из самых небольших текстов — «О следствиях книгопечатания». И с первой фразы мы видим понимание трагической судьбы людей, что-то очень важное дарящих людям. Не случайна наверно легенда о Прометее, который за свои дары людям был прикован к скале. Но славный Гутенберг, которого мы привыкли хвалить спустя столетия после его изобретения, не знал даже, как оно входило в жизнь.

Чернышевский знает: «Чем лучше вещь или человек, тем сильнее вооружается противу них зависть: этой участи не избежал и Гутенберг и его великое изобретение: не только стали отнимать у него право, что ему первому пришла мысль о подвижных буквах и печатанье ими, но и начали уменьшать заслугу его и даже говорить, что оно принесло более худого, нежели хорошего. Но это совершенная неправда: благие следствия книгопечатания неисчислимы и неоценимы».

И далее поразительное сопоставление: сравнение книгопечатания с христианством. Видимо, для НГЧ это были явления одного порядка: несущие свет. Он пишет: «Что типографии, умножив до невероятности число книг и уменьшив чрезвычайно их цену и сделав чрез то науки более доступными каждому, принесли тем неоценимую доселе пользу, об этом не нужно распространяться, и не нужно этого доказывать потому, что никто в этом не сомневался и не сомневается. Но должно опровергнуть то возражение, которым хотят уменьшить пользу книгопечатания, именно то, что будто бы книгопечатание имело дурное влияние на нравы, умножив число дурных книг. Но злоупотребление не есть употребление и следствие: иначе должно сказать, что и христианская религия была пагубна для человечества: сколько десятков миллионов погибло и погублено, сколько преступлений совершено во имя веры и креста! Страсти человеческие все могут употребить во зло» (*Чернышевский*, XVI, 371).

Страсти человеческие чуть не погубили его отца и задали поворот в его судьбе. Вместо духовной академии он решил (с благословения отца) поступать в университет.

Глава 3

Университетские годы. Perpetuum mobile и размышления о «бесконечном усовершенствовании» христианства

С этих страстей и надо, видимо, начать рассказ о том, почему отец изменил свое решение отправить сына в духовную академию, переориентировав Николеньку на поступление в университет. 18 ноября 1843 г. Гавриил Иванович «был уволен от присутствования в саратовской духовной консистории за неправильную записку незаконнорожденного сына майора Протопопова, Якова, родившегося через месяц после брака; при сем увольнении представлено ему от епархиального архиерея занимать при церковном богослужении то же место, какое он занимал, будучи членом консистории»¹. Необходимо пояснить, что речь тут о том, что сын майора Яков был записан как незаконнорожденный, в то время как за месяц до его рождения родители обвенчались, но тайно, о чем протоиерей Чернышевский, разумеется, не знал. Интригу против протоиерея провел некто Рыжкин, который спустя несколько лет признался в этом и просил прощения у Гавриила Ивановича. Другие же члены консистории поддержали Рыжкина, поскольку протоиерей Чернышевский мешал им брать взятки. Все это понимали, но делу был дан ход, и несправедливость восторжествовала. Как сам протоиерей пи-

¹ Из послужного списка Г.И. Чернышевского (цит. по мемуарам Ф.В. Духовникова, С. 50).

сал родственникам, епископ Иаков плакал, зная его невинность. 15 июля 1850 г. указом Синода дело увольнения Г.И. Чернышевского из консистории в 1843 г. «велено не считать препятствующим на будущее время к награждению знаками отличия»¹. Тем не менее беспомощность священника в государственной структуре здесь с очевидностью проявилась. И для отца Николая Гавриловича, человека, выполнявшего с рвением все свои обязанности, стало ясно, что на этой стезе его гениальный сын не сможет достигнуть независимого положения.

Когда стало известно, что Николенька собирается в университет, семинарское начальство было удивлено и, похоже, даже немного огорчено и разочаровано. Сохранился такой диалог инспектора семинарии с матерью НГЧ:

«Инспектор семинарии Тихон, встретивши Евгению Егоровну у кого-то в гостях, спросил ее:

– Что вы вздумали взять вашего сына из семинарии? Разве вы не расположены к духовному званию?

На это мать Николая Гавриловича ответила ему:

– Сами знаете, как унижено духовное сословие: мы с мужем и порешили отдать его в университет.

– Напрасно вы лишаете духовенство такого светила, – сказал ей инспектор»².

Мать благословила сына иконой, созданной безвестным саратовским художником XIX века по картине Рембрандта «Жертвоприношение Авраамом сына Исаака». В XIX веке в России были распространены гравюры с этой картины, служившие образцом иконописцу. Икона принадлежала матери Н.Г. Чернышевского. На оборотной стороне доски надпись, сделанная рукой Е.Е. Чернышевской: «Отче Аврааме, благовослови в далекой стране де-



Домашняя икона Чернышевских

¹ Цит. по: *Захарова И.Е.* Материалы к биографии Г.И. Чернышевского. С. 128.

² Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове (*Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова*). С. 50.

тей наших, умоли Господа дать им всякую помощь и избавить от всех зол, напастей и болезней. 1848 года ноября 24».

Увы, почти все в жизни Чернышевского – символ на символе.

18 мая 1846 г. будущий студент отправился с матерью в столицу. Поездка из Саратова в Петербург была по тем временам целым путешествием, поэтому мать и не отпустила его одного. Ехали, разумеется, не на почтовых (это было дорого и не по карману протоиерею), а «на долгих». Упоминание такого пути «на своих» есть в «Онегине», когда Татьяну везут в Москву на ярмарку невест. Татьяна ехала семь суток. Евгения Егоровна с сыном ехали больше 30 суток и прибыли в Петербург 19 июня. С дороги он писал отцу, но в основном свои религиозные впечатления. Приведу отрывок из письма (Воронеж, 1 июня 1846 г.): «Монастырь св. Митрофана очень широк, но... вообще втрое менее нового собора; к тому же стеснен столпами. <...> И до того тесно, что негде занести руку перекреститься. <...> Иконостас мне понравился. <...> Вообще собор должен бы быть несравненно великолепнее. Даже самая рака, в которой покоятся мощи, не слишком богата» (*Чернышевский*, XIV, 14). В Петербурге книжного провинциального подростка поразило прежде всего количество книжных магазинов: «Кажется, в каждом доме по книжному магазину; серьезно: я не проходил и 3-й доли его, а видел, по крайней мере, 20 или 30. <...> Жить здесь и, особенно учиться, превосходно; только надобно немного осмотреться. Я до смерти рад и не знаю, как и сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я здесь» (*Чернышевский*, XIV, 19).

Прошение о вступлении в университет он подал по просьбе матери 12 июля, в день своего рождения. С 2 по 13 августа он сдавал экзамены, 14 августа узнал, что зачислен (официально о зачислении было объявлено 20 августа): по баллам у него был лучший результат среди поступавших на отделение общей словесности. 21 августа мать с сопровождавшей их юной девушкой, квартировавшей у Чернышевских, двинулась в обратный путь в Саратов. А Николай Гаврилович начал осматриваться. Он поселился на одной квартире со своим знакомым по Саратовской семинарии Александром Федоровичем Раевым. Раев вспоминал: «Лекции в университете Чернышевский посещал неукоснительно, строго соблюдал посты, ходил в церковь, настольною книгою его была Библия. Так было во время пребывания Н.Г. Чернышевского в первом курсе университета, когда мы жили вместе. Близкими ему сделались в первом курсе университета скромнейший студент Корелкин и вольноопределяющийся Михаил Лари-

онович Михайлов»¹. Михайлов уже в конце 50-х становится радикальным публицистом, переводчиком, при этом осуществив принципы любви, изложенные в романе НГЧ, став третьим в браке Шелгуновых. Интересно, что первый год Чернышевский не ведет дневника, дневник он начинает с 1848 г., когда период оглядывания закончился и начался период самоопределения.

Это был, пожалуй, самый его сложный год.

Не хлебом единым

Первое, о чем надо сказать, это его «изобретение», его важнейшая работа, которая и была причиной его высокого понимания себя, когда он думал о себе как избраннике, «о том, что я сосуд Божий» (*Чернышевский*, I, 34).

Конечно же попытка построить вечный двигатель есть пока-затель как некоего безумия, так и очевидного провинциализма. Но судьба отца повернула его ум на решение практических задач во имя всеобщего христианского просветления. В этом мы можем увидеть, если захотим, элементы безумия при всем рационализме расчетов. Скорее всего, он не знал о запрете Французской академии присылать ей проекты *perpetuum mobile*, но если б и знал, была невероятная вера в свои силы, которые умножались от ощущения, что работает не для себя, не для своей славы, а чтобы преобразовать жизнь человечества. Он пишет в дневнике за 7 марта 1849 г. «Но нет, это не оттого, потому что ведь почти так же занимает меня мало и мое *perpetuum mobile*, моя машина, которая должна перевернуть свет и поставить меня самого величайшим из благодетелей человека в материальном отношении, — отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться. После, когда физические нужды не будут беспокоивать его, когда относительно нужд начнется для него жизнь как бы в раю (другое дело болезнь и смерть — те еще верно останутся, хотя слабее, чем теперь), когда снимется проклятие: “в поте лица твоего снеси хлеб твой”, тогда человечество решит первую задачу — устранение препятствий к занятию настоящего своею задачею, нравственною и умственною, тогда перейдет оно к следующим задачам. Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания» (*Чернышевский*, I, 253). Это попытка поддержать евангельское возражение ветхому Завету: там в поте лица своего ешь хлеб свой, здесь у Христа:

¹ Раев А.Ф. Записки о Н.Г. Чернышевском // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 128.

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4, 4). Избавить человека от забот о хлебе насущном — вот его задача.

На протяжении следующих двух лет он не раз записывает в свой дневник о работе над машиной, даже запечатывает чертежи с пояснениями красными чернилами в особый конверт, ибо ждет от машины «уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды» (*Чернышевский*, I, 297). Напомню, что сто лет назад в алтайской глухомани гениальный Иван Ползунов над которым все смеялись, изобрел паровую машину. Машина заработала после его смерти, но вскоре сгорела. И место это прозвали «ползуновым пепелищем». Зато такая же машина англичанина Уатта совершила промышленную революцию.

Вообще русская провинция была склонна к сумасшедшим идеям: кроме Ползунова можно вспомнить и Кулибина, и Циолковского и т. д. В этом контексте и надо рассматривать сумасшедшие попытки Чернышевского. Но в январе 1853 г. он сам приходит к выводу о том, что задачу он решить не может (очевидное преодоление суперидеи о спасении человечества) и он решает «уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Акаде-



Иван Ползунов

мию Наук, ту рукопись, которую некогда представлял Ленцу и которая все хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчеты, относящиеся к моим последним похождениям у Николая Ивановича» (*Чернышевский*, I, 407–408).

Именно размышления над своей машиной, которая должна была избавить человечество от материальной нужды и направить его «в поле нравственности и познания», дали ему точку отсчета в критике французских республиканцев, требовавших свободы и конституции, и он в сентябре 1848 г. пишет в дневнике: «Эх, господа, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас, — не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необхо-

димостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9/10 народа — рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. <...> Если когда я был убежден в справедливости чьего дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!» (*Чернышевский*, I, 110). Любопытно, что в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский говорит примерно то же. Конечно, писал он, свобода хороша, но дает ли ваша свобода каждому по миллиону? А раз нет, то тот, у кого миллион, будет угнетать того, у кого этого миллиона нет. Вообще, о соотношении идей Чернышевского и Достоевского написано много, но скорее с целью развести их, чем заметить близость. К этой теме я неминуемо еще вернусь.

Сам НГЧ не жил ради хлеба.

По воспоминаниям А. Панаевой, хорошо знавшей круг журнала «Современник», а потому отмечавшей и бытовые детали: «Однажды Добролюбов, по поводу моего замечания о необыкновенной умеренности Чернышевского в обыденной жизни, сказал мне: “Чернышевский свободен от всяких прихотей в жизни, не так, как мы все, их рабы; но, главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу...”

Обыкновенные люди, способные закалить себя от всяких материальных удобств, требуют, чтобы и другие также отреклись от них, но Чернышевскому и в голову не приходило удивляться, что другие люди до излишества неумеренны в своих прихотях»¹.

Как и положено святому — отдавал последнее. После Вилюйска, как известно, он очень болел: «Причину болезни он объяснял желудочными недомоганиями и неисправностями, а эти последние явились следствием его питания в Сибири. Питался он там исключительно кашей (ел он ее, кстати, прямо из горшка, чему свидетельствует сохранившаяся серебряная столовая ложка, почти четверть которой сточилась от ежедневного трения о

¹ Панаева А.Я. Русские писатели и артисты // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 262.

глиняные стенки горшка в продолжении почти двадцати лет). Бывало у него и молоко, которое, по его словам, было ему прямо необходимо, как лекарство, но часто и его он отдавал какой-нибудь бедной женщине для кормления ее голодного ребенка, а сам оставался на каше и черном хлебе»¹.

Годы европейских потрясений

В эти годы идейная и политическая жизнь бурлила чрезвычайно. Революции в Париже, в Венгрии, появление в русском интеллектуальном пространстве французских социалистов-утопистов, Оуэна, и для философических умов явление Фейербаха, попытавшегося выйти за пределы гегелевской диалектики и давшего новое прочтение христианства в своей «Сущности христианства». 1848 год стал годом серьезным, событийным и для Западной Европы и для России. Если говорить о внутренних делах, то в этот год скончался Белинский, на его тексты был наложен запрет, остался в эмиграции Герцен, в России началось так называемое «мрачное семилетие». Как угрюмо шутили русские писатели, запрещался разговор в вольном духе даже на кухне. Так русское самодержавие реагировало на европейские революции 1848 г. Профессор Никитенко, именуя николаевскую Россию Сандвичевыми островами (т.е. островами каннибалов), писал в своем дневнике в апреле этого года: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться.

Но образование это и мысль, искавшая в нем опоры, оказались еще столь шаткими, что не вынесли первого же дуновения на них варварства. И те, которые уже склонялись к тому, чтобы считать мысль в числе человеческих достоинств и потребностей, теперь опять обратились к бессмыслию и к вере, что одно только то хорошо, что приказано. Произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне»². Это было государственное безумие, казавшееся большинству народа нормой. То самое безумие, прикидывавшееся обыденной жизнью, которое сопровождало Чернышевского всю жизнь. На

¹ *Чернышевский М.Н.* Последние дни жизни Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 451.

² *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. Л.: ГИХЛ, 1955–1956. Т. I. С. 315.

втором курсе надо было определяться с собственной научной работой. И Чернышевский пытается работать сразу у двух профессоров — Никитенко и Срезневского.

Очевидно несколько слов надо сказать об обоих профессорах. А.Н. Пыпин, шедший по стопам старшего кузена, вспоминал: «Время проходило в разговоре и главное — в рассказах Н.Г. о петербургском университете, где он только кончил курс и куда я должен был вступать. Само собой разумеется, что это было для меня чрезвычайно интересно: я имел вперед характеристики профессоров, которых мне предстояло слушать, описание существующих университетских обычаев и т.п. Н.Г. владел уже тогда большой начитанностью и, кроме того, огромной памятью. Из профессоров он особенно высоко ставил Срезневского, и под влиянием его оживленных тогда лекций, которых и я вскоре стал слушателем, у Н.Г. был значительный интерес к тому, что называлось тогда “славянскими наречиями”»¹. Добавлю несколько строк к словам младшего кузена. Чернышевский под руководством Срезневского проделал огромную работу по составлению словаря к Ипатьевской летописи. Он даже думал, что нашел свою стезю. Но академическая наука — дело долгое, его работа была опубликована несколько лет спустя, когда он уже писал в журналах.

Профессор Измаил Иванович Срезневский (1812—1880), учившийся в Харькове, преподававший в Петербургском университете, в 1851 г. ставший академиком, был крупнейшим русским славистом, искавшим языковые корни славянских языков, но скептически относившийся к национализму славянских народов, много сил отдавший изучению древнерусских христианских и языческих текстов. Это был период проснувшегося интереса к сравнительному



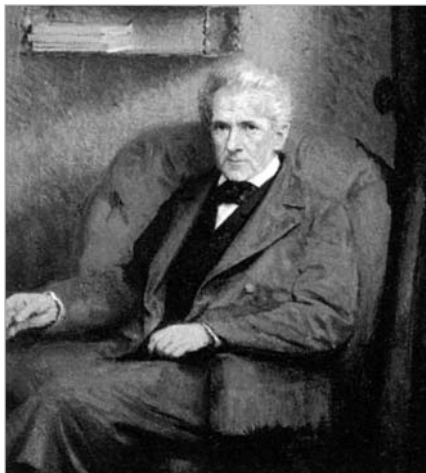
*Измаил Иванович Срезневский
Журнал «Нива», № 09, 1880.
Гравюра К. Вейермана
с фотографии*

¹ Пыпин А.Н. Мои заметки. С. 96.

изучению русского и старославянского языков. Срезневский к этому добавил тему сравнения всех славянских наречий внутри Российской империи и в 1849 г. выпустил книгу «Мысли об истории русского языка», в которой утверждал, что давние, но не исконные черты отделяют одно наречие от другого (северное и южное) — великорусское и малорусское; не столь уже давние черты, разрознившие на севере наречия восточное — собственно великорусское и западное — белорусское, а на юге наречие восточное — собственно малорусское и западное — русинское, карпатское; еще новее черты отличия говоров местных, на которые развилось каждое из наречий русских. Конечно, писал он, все эти наречия и говоры остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа. Не случайно его ученик Чернышевский посмеивался над попытками изобразить белорусский или малорусский языки как языковую основу древнерусской культуры и не видел смысла, как и его профессор, в федерации славянских народов. Помимо славянофилов эту идею исповедовали и радикалы — Бакунин и Герцен. Но у Чернышевского была хорошая прививка. Впоследствии близкие ему идеи выскажет К.Н. Леонтьев. В начале 1850-х годов Срезневский задумал свой древнерусский словарь; с этих пор он поручает своим ученикам составление словарей к отдельным памятникам (словари Чернышевского, Пыпина, Корелкина, Лавровского к разным летописям). Чернышевский составлял словарь к Ипатьевской летописи. Труд кропотливый, не требовавший широких обобщений, к которым был склонен молодой студент. Но тема вхождения России в христианскую цивилизацию была ему близка, и с заданием он справился. Работа («Опыт словаря к Ипатьевской летописи») была начата Чернышевским в 1848 г. под руководством профессора И.И. Срезневского; опубликована в 1853 г. в «Прибавлениях» ко 2-му тому «Известий Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности».

У Никитенко Чернышевский позже написал свою знаменитую диссертацию, пока же писал на темы, предложенные профессором. Но они были по литературе, что Чернышевского интересовало несравненно больше, к тому же Никитенко разрешал широкие обобщения.

Он был из крепостных графа Шереметева. И вот крепостной мальчик из-под Воронежа кончает школу, пишет письма в Петербург с просьбой помочь ему выйти из крепости, чтобы он мог дальше учиться. Поэт Рылеев поднимает шум и благодаря



*Александр Васильевич Никитенко
(1804–1877, портрет кисти
И.Н. Крамского)*

взволновавшемуся общественному мнению, помощи поэта В.А. Жуковского 20-летний юноша получает свободу. А барин его был не кто-нибудь, а весьма известный меценат граф Шереметев. Далее – общение с декабристами, А.С. Пушкиным, Ф.И. Тютчевым, В.П. Боткиным, А.К. Толстым, который всегда приглашал его слушать свои новые произведения, работа цензором, где именно ему принадлежит спасение «Мертвых душ», зарубленных московской цензурой, такое же спасение и «Антон-Горемыки» Д.В. Григоровича, совместное правление вместе с Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым на раннем этапе журналом «Современник», руководство диссертацией Н.Г. Чернышевского, дружба с Гончаровым, общение с Александром II, с М.Н. Катковым, с самыми высшими кругами петербургского чиновничества, профессорство в Санкт-Петербургском университете, не забудем и того, что при всех своих прогрессистских симпатиях бывший крепостной мальчик кончил жизнь академиком и тайным советником. Конечно, несмотря на свою осторожность¹, Никитенко в значительной степени был близок Чернышевскому. Достаточно процитировать его кредо, которому он не изменял всю жизнь: «Я хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, законности и уважения к нравственному достоинству человека, полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих начал: они слишком для него отвлечены; оно не имеет вкуса к нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно движет-

¹ Поначалу Чернышевский хотел писать у него диссертацию о русской сатире. Годы, конечно, были неподходящие для анализа русской сатиры, Никитенко это понимал и сказал юному филологу: «Что же, о трех наших комиках: Фонвизине, Шаховском, Грибоедове, – конечно, с осторожностью» (*Чернышевский*, I, 364).

ся единственно внешнею побудительною силой; где же тут место разуму, законности?..»¹ И разум, и законность — слова, внятные молодому саратовцу.

Студент Чернышевский в эти годы не раз клянется в своих дневниках в любви к Западной Европе. В 1848 г. он находил в себе «уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети; наша история развивалась из других начал, у нас борьбы классов еще не было или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству» (*Чернышевский*, I, 66). Никитенко тоже был откровенный западник, западник-либерал, пытавшийся спасти русскую литературу от властного произвола. Конечно, он не ожидал в этом деле поддержки от церкви, поскольку христианство воспринимал только церковно. В отличие от своего профессора Чернышевский близких ему по духу социальных мыслителей воспринимал в христианском контексте: «Законопреступно все высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую, т.-е. новую только для господ, которые не хотят видеть ее во всей истории, мысль. “На эшафот! На эшафот! туда его — он говорит, что он Сын Божий! По закону нашему должен есть умереть!” Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! О, боже, дай победу истине! Да победит она» (*Чернышевский*, I, 111). Любовь своего студента к Западу заметил и вполне православный ученый, профессор Срезневский, и осторожно попытался его охладить. Предложив ему давать уроки русского языка французам из посольства, он сказал: «Это было бы хорошо и в том отношении, что вы ближе узнали бы западную образованность: вы в душе русский, но увлечены Западом — до невозможности. Так вот вы бы и узнали его: боже мой, какая разница между этими людьми и между нашими молодыми людьми, состоящими при посольствах! Я знавал их в трех посольствах, что это за люди! полные знаний, образованности, энергии; а здесь решительно противоположное: один из них, Lallemand, выдает себя еще за филолога, а не знает греческой азбуки, т.-е. вида их букв, — что за образование после этого?» (*Чернышевский*, I, 320). Вместе с тем весьма важно то, что думал Никитенко о православии, он замечал: «Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия

¹ *Никитенко А.В.* Дневник. Т. I. С. 317.

столь благословенна Богом, что проживет одним православием, без науки и искусства»¹. Это волновало и Чернышевского: как совместить православие и западные науку и искусство, ему, сыну протоиерея, очень важно.

Православие как проблема русских мыслящих мальчиков

Это была проблема для русской церкви начиная с конца 30-х годов — актуализация православия, которое, по общему мнению, давно не работало. Об омертвлении русской церкви писали многие, об этом думал Гоголь, был в этом уверен Белинский. Уже много позже старец Зосима в великом романе Достоевского отправлял Алешу в мир, тем самым, как его упрекал, скажем, Лев Тихомиров, совершая католический жест. Именно об этом, о ответственности православия в мире, думал и сын саратовского протоиерея, пытаясь придать энергию старым религиозным текстам.

Его мысль все время находится в кругу христианских вопросов, которое он всеми силами хочет защитить, и ищет в современной мысли новые ходы, позволяющие это сделать. 24 сентября 1848 г. он записывает в дневнике: «Напишу что-нибудь о моих религиозных убеждениях. Я должен сказать, что я, в сущности, решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т.-е. как это веруют православные в то, что он был Бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, вообще, во все это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я несколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., P. Leroux и проч., только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы, и Паскаль, и все; что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и ее отношения к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды, и что христианство только может приобрести от их усилий, хотя, может быть (я этого не могу сказать, верно ли, потому что сам не читал их, а обвинениям, что они враги христианства вообще, я не верю несколько, как, напр., и обвинениям против Прудона и тем более Луи Блана), они и смешивают временную, устарелую форму

¹ *Никитенко А.В.* Дневник. Т. 1. С. 317.

с сущностью. Мне кажется, что главная мысль христианства есть любовь и что эта идея вечная и что теперь далеко еще не вполне поняли и развили и приложили ее в теории даже к частным наукам и вопросам, а не то, что в практике, — в практике, конечно, усовершенствование в этом, как и [во] всех отношениях, бесконечно, а через это бесконечное усовершенствование и в теории, потому что теория, совершенствуясь, совершенствует практику, и наоборот» (*Чернышевский*, I, 132).

В этом году среди прочих знакомств он заводит приятельские отношения с петрашевцем Александром Ханьковым, от которого он слышит едва ли не впервые рассуждения о возможном революционном потрясении в России. Это рассуждение его пугает, хотя, видимо, западает в душу. В дневнике запись от 11 декабря 1848 г.: «После к Ханькову, с которым более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, напр., раскольники, общинное устройство у удельных крестьян, недовольство большей части служащего класса и проч., так что в самом деле многого я не замечал, или, может быть, не хотел заметить, потому что смотрел с другой точки. Итак, по его словам, эта вещь, конечно, возможна и которой, может быть, недолго дожидаться. Это меня несколько беспокоило, что, как говорит Гумбольдт о землетрясениях, этот твердый неподвижный Boden, на котором стоял и в непоколебимость которого верил, вдруг, видим мы, волнуется как вода» (*Чернышевский*, I, 196). Разумеется, рассуждения Ханькова не более чем слепок с французских событий, попытка найти и в России взрывчатое вещество, слои населения, которые готовы восстать. Русские мальчишки эти взрывчатые элементы искали везде. Уже в следующем году русский радикальный мыслитель Михаил Бакунин (тоже русский мальчик, пользуясь словоупотреблением Достоевского, правда, постаревший — 35 лет), объявивший Сатану самым творческим явлением в человеческой истории, волею судеб оказался руководителем майского восстания 1849 г. в Дрездене, где проявил себя незабываемым образом.

Судя по мемуарам его друга Герцена, Бакунин как бывший артиллерийский офицер учил военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов, советуя им при этом «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо «поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet, чтобы осмелиться стрелять по Рафаэлю»¹. И взорвать ратушу,

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1958. С. 355.



Михаил Александрович Бакунин

где заседал революционный совет, угрожая совету пистолетом. Но, как не без сарказма замечал Герцен, немецкие мещане испугались. Итак, Мадонна должна была послужить прикрытием демонического насилия. В своей «Исповеди», *обращенной к русскому императору Николаю Первому*¹, Бакунин, оправдываясь, рассказывал: «Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтобы под предлогом угашения пожаров предали город войскам; когда же стало явно, что в Дрездене уже более держаться нельзя,

я предложил Провизорному правительству взорвать себя вместе с ратушей на воздух, на это у меня было порошу довольно, но они не захотели»². Профессора, музыканты и фармацевты так же мало подходили для революционного взрыва, как и российский служащий класс. Но питерские «русские мальчишки» читались Фурье, которого Ханыков дал почитать и НГЧ и у которого молодой студент заметил поначалу в тексте элементы безумия: «Как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество (т.-е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто несколько) здравых мыслей, но странностей бездна» (*Чернышевский*, I, 188). А перед этим его пытались склонить к коммунизму и атеизму, но он еще держался: «К Ханыкову, у которого просидел с 8 до 11; у него был один господин молодой, Дебу, и мы толковали. Сначала разговор был больше между ними, после между Дебу и мною, после между всеми, после между мною и Ханыковым. Я ушел, он остался. Говорили о политике в радикальном смысле, — это все так и я решительно согласен; о семействе, против которого они оба сильно восстают, — с этим я уже не согласен, напр. де-

¹ Стоит уточнить, что исповедь может быть обращена только к Богу (вспомним «Исповедь» Августина). Она может идти через священника, посредника при общении человека с Богом. Обращение к народу, к светскому лицу, даже Божьему помазаннику, называться исповедью не может.

² *Бакунин М.А.* Исповедь. СПб.: Азбука-Классика, 2010. С. 181.

тей отнимать от родителей и отдавать государству — разумеется, говорю про теперешнее положение вещей, когда государство так глупо; о Боге, в которого они не веруют, — на это я также не согласен и все-таки в этих двух пунктах я не противоречил им по своей обычной слабости или уступчивости» (*Чернышевский*, I, 188). И это было серьезно, это был стиль его жизни — православие, в следующем году 21 марта 1850 г. он писал родителям: «Мы нынешний великий пост постимся, хотя не совсем, потому что едим рыбу. <...> На днях буду у преосвященного Иакова, попрошу у него благословения на экзамены» (*Чернышевский*, XIV, 188).

В конце этого года и в начале следующего он открывает для себя Достоевского и много читает его. Внимание именно к этому писателю интересно: потом их творчество переплетется. Приведу несколько выдержек из дневника.

1848 «28 декабря — Утром писал письмо, читал “Отеч. Записки” (“Гордость”); вчера прочитал “Ревнивый муж” Ф. Достоевского, много хохотал над этим, и это меня несколько ободрило насчет Достоевского и других ему подобных: все больший прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы» (*Чернышевский*, I, 208).

1849 7 «[января]. — Все до сих пор читал и прочитал почти все. “Том Джонс” весьма хорош, но не Гоголь — болтовни много; но превосходно. Когда начал читать “Белые ночи” вечером, боялся влияния Вас. Петровича похвал: “конечно, покажутся хороши, потому что он хвалит”, — но нет, кажется, сам увидел, что в самом деле весьма хорошо; кажется, что сам увидел, что весьма хорошо» (*Чернышевский*, I, 219).

Поразительно, насколько психологически герой «Белых ночей» близок Чернышевскому, который готов дать свободу любимой женщине. Неточка уходит с другим мужчиной. И герой, несмотря на страдания, продолжает ее любить: «Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!». Здесь можно уже увидеть отношения НГЧ с будущей избранницей — Ольгой Сократовной.



*Молодой Достоевский.
Художник К. Трутовский. 1847*

1849. 12 января. «Прочитал “Неточку”; хотя содержание мне не нравится, но мне кажется, что это решительно не то, что “Капельмейстер Сусликов”: то чушь, а это писано человеком с талантом, так что не чуждо психологического анализа и занимательности для науки» (*Чернышевский*, I, 221).

Тот же день. «В “Неточке” мне что-то кажется: не к этому ли же роду людей, как отчим Неточки, принадлежит и Вас. Петр.? т.е. со слабою волею?» (*Чернышевский*, I, 221).

12 марта. «Я ему (Василию Петровичу Лободовскому. — В.К.) дрожащим голосом рассказывал “Двойника”, и он сначала думал, что это я писал» (*Чернышевский*, I, 363).

А уже 23 апреля 1849 г. пишет в дневник: «Вечером два раза был Ал. Фед., оба раза ненадолго; рассказывал о том, как взяла полиция тайная Ханькова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т.д. — ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т.д., Орлова и Дубельта и т.д., — должны были бы быть повешены. Как легко попасть в историю, — я, напр., сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы» (*Чернышевский*, I, 374). *Должны быть повешены* — это выкрик наподобие выкрика Алеши Карамазова по поводу генерала, затравившего борзыми мальчика: «Расстрелять!» Это не решение, это выкрик возмущения и ярости¹.

¹ Интересно, что верующий православный писатель Достоевский был приговорен к смертной казни, а сатанист Бакунин в том же году всего лишь посажен в крепость, откуда он писал императору иезуитски хитрое письмо, прося отправить его в каторжные работы, откуда собирался сбежать (что и случилось потом): ««Государь! я — преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, и если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если

А сегодня мы видим в судьбе петрашевцев *предвестие его судьбы*. Они ведь были приговорены к смертной казни **ни за что!** Точнее, это было осуждение *за идеологическое преступление*, то осуждение, которое большевики переймут у самодержавия. О знаменитом романе Набокова «Приглашение на казнь» писалось неимоверно много, но вот в последние годы в судьбе главного героя, приговоренного к смертной казни за *ментальное преступление*, видят отзвук судьбы Чернышевского (см. работы Александра Данилевского, Виктории Шохиной). Как много позже напишет монархист и великий религиозный мыслитель С.Н. Булгаков, самодержавие, уничтожая все попытки независимости, даже благонамеренной независимости, готовило себе гибель. Забегая вперед, замечу, что основная политическая идея Чернышевского – это конституционная монархия, а не бунт, точнее даже противостояние бунту. Но именно за эту, даже не очень политически ясно выраженную мысль он и был осужден на практически бессрочную Сибирь. В день подписания чего-то похожего на конституционный проект, он был разорван бомбой.

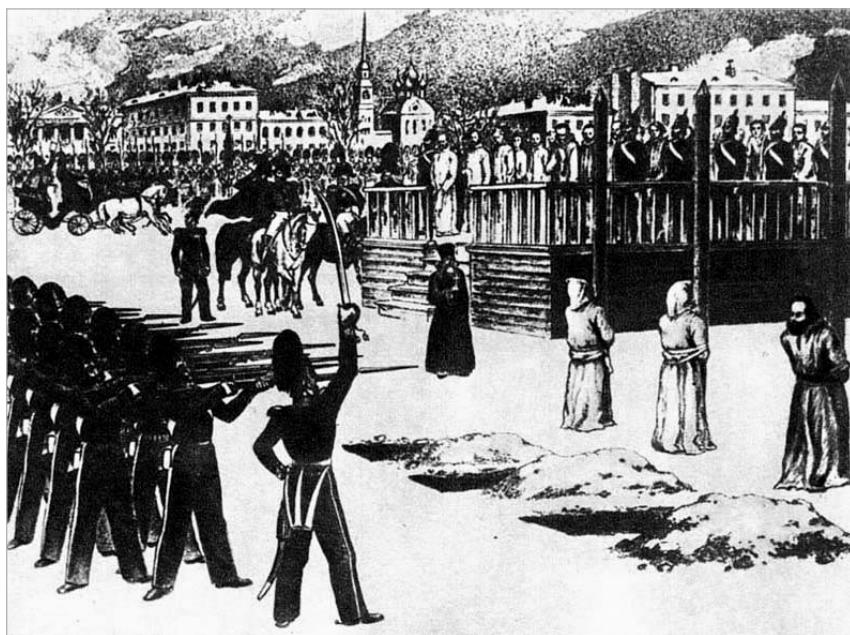
К этому надо добавить, что, скажем, **внук священника Федор Достоевский** был приговорен к расстрелу за самостоятельный поиск религиозного решения русских проблем. В академическом собрании сочинений великого писателя опубликованы архивные материалы по «делу петрашевцев», где приведен текст приговора Достоевскому: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского, – читал это письмо в собраниях. <...> А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского <...> – лишить на основании Свода военных постановлений <...> чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием»¹. Проблема религиозного сознания русского народа впервые стала предметом открытого рассмотрения в русской литературе и эстетике после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя.

по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость, чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь!» (*Бакунин М.А. Исповедь*. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 183).

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1982. С. 189.

Письмо Белинского было ответом на эту книгу. Гоголь был твердо убежден в православности русского народа и активности русской церкви. Фантазерства тут было немало: «Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное»¹. Достоевский был позже более суров: «Надо беречь народ. Церковь в параличе с Петра Великого»². Поэтому он ищет в церкви неофициозные силы и находит их – в старчестве. В романе «Братья Карамазовы» старцу Зосиме у него противостоит злобный ортодокс монах Феропонт.

Петрашевцев вывели на площадь, где уже стояли три столба. Осужденных разбили на тройки, им зачитали приговор. Потом первым трем надели на головы мешки и привязали к столбам. Достоевский стоял во второй тройке. Было скомандовано уже «Целься», оставалось слово «Пли!». И тут прискакал царский курьер.



Обряд казни на Семеновском плацу. 1849. Худ. Б. Покровский

¹ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Патриот, 1993. С. 52.

² Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 49.

Расстрел заменили каторгой. Жестокий спектакль, который вполне мог убить невольных актеров, был разыгран до конца. Народ безмолвствовал.

Потом Достоевский напишет, что народ не только равнодушен к судьбе интеллигенции, но прямо враждебен ей. Почему? Может, дело в том, решил потом Достоевский, что интеллигенция потеряла христианскую веру.

Белинский думал поменять в общественном сознании духовные установки, поэтому критик и заявил, что русский народ – «по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверий, но нет и следа религиозности»¹. До гоголевской книги никому и в голову не приходило публично, в светской печати, заявлять о своей искренней приверженности православию, говорить о великом назначении русского духовенства или, что того непривычнее, уверять мир в том, что русский народ живет и думает в православной вере. Православная церковь и вера, утверждаемая ею, защищалась методами административными, и в их защите со стороны литераторов самодержавие не нуждалось. Таких литераторов и не было до начала XIX столетия, до славянофилов и Гоголя, Белинского и Достоевского.

В эпоху мрачного семилетия, когда литература, философия были практически запрещены, публично существовало только либо мелкое зубоскальство, либо развлекательные тексты, подражания тогдашней массовой литературе Запада. В 1850 г. член негласного «бутурлинского» комитета по надзору за печатью Н.Н. Анненков сказал как-то своему однофамильцу, литературному критику, автору замечательных мемуаров, издателю неизданных текстов Пушкина (целый том) и биографии поэта – Павлу Васильевичу Анненкову: «Скажите мне, зачем они тратят время на литературу? Ведь мы положили ничего не пропускать, из чего же им биться?»² Но, как показал исторический опыт, за семь лет можно уничтожить лишь случайные ростки культуры, неукорененные. Жизненность русской литературы и искусства показала их неслучайность. Но надзиратель за литературой беспоконился не случайно. Движение мысли продолжалось, это видно хотя бы по дневнику Чернышевского: книги передавались из рук в руки, читались на иностранных языках западные запрещенные книги (достаточно назвать Фейербаха или де Кюстина).

¹ *Белинский В.Г.* Письмо к Н.В. Гоголю // *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1982. С. 284.

² *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М.: ГИХЛ, 1960. С. 533.

Мрачное семилетие не уничтожило, но абортировало нормальное движение культуры, поэтому в 60-е годы это движение приобрело характер пара, вырвавшегося из котла, долго закрытого крышкой. Твердость убеждений и явное противостояние власти было закономерным итогом долголетних запретов.

Радикализм поколения, которое по привычке называют шестидесятниками, хотя оно проявилось уже в начале 50-х, пусть еще не очень явно. Но диссертация Чернышевского, определившая во многом умонастроение молодежи, была написана в 1853 г. (!), за два года до смерти Николая (!), которого Кавелин называл «калмыцкий полубог», «страшилище», которое «прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного!»¹ Еще более резко высказался другой мыслитель, тоже сложившийся в 40-е годы. В своих мемуарных «Записках» С.М. Соловьёв так вспоминал это время: «В событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не скрывал своей ненависти к профессорам. <...> Это был стрелецкий бунт своего рода; грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных. <...> Стоило только Николаю с товарищами немножко потерять лоск с русских людей — и сейчас же оказались татары. <...> Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать взращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось»². Вот вам и евразийское начало, которое и вправду сидит внутри русской культуры. Чернышевский слишком хорошо еще с детства знал об этом «татарском» начале, поэтому понимал, что задача мыслящего человека не бояться, а пытаться преодолеть это «азиатство». Преодолеть его можно только независимостью мысли, следуя просветительскому пафосу 40-х годов. Поэтому он не считал, что начинает новую страницу русской мысли. Его позиция была, выражаясь евангельским языком, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф 5, 17). Его последователь Шелгунов писал: «Появление людей сороковых годов есть момент истинного умственного пробуждения России. <...> Несмотря на свое иностранное и не-

¹ К.Д. Кавелин о смерти Николая I. Письма к Т. Н. Грановскому // Литературное наследство. 1959. Т. 67. С. 596.

² Соловьёв С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьёв С.М. Сочинения. Книга XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 620–621.

мецко-философское воспитание, люди сороковых годов были наиболее русские люди, каких только видела до тех пор Россия. <...> От этих людей собственно ведет свое умственное начало теперешняя передовая Россия. <...> Мыслящим русским людям Европа дала аршин, которым они и принялись перемеривать свое худое с чужим хорошим. <...> В лице людей сороковых годов русский ум проверял свое прошлое, определял всему меру и место, давал направление новым стремлениям, толкал Россию к великим результатам. <...> Просвещение, просвещение, просвещение! вот что нам нужно, — стали провозглашать люди сороковых годов. Мы гибнем без знания, без образования, без развития. Русский народ — смысленный, понятливый народ, но без просвещения Россия застынет и уйдет назад. Чем велик Запад? — знанием и просвещением, и нам нужно встать на ту же дорогу, чтобы идти с ним рядом, чтобы жить своим, а не чужим умом»¹. Для Чернышевского уже и в годы, когда он активно пишет в «Современнике», христианство остается основой европейской цивилизации (никакого атеизма!). В 1856 г. ведущий сотрудник журнала пишет: «Христианство начинает проникать к этим дикарям (речь о некрещеных сванах и хевсурах. — В.К); правительством нашим построено уже несколько церквей в их стране» (*Чернышевский*, III, 487).

Фейербах

Именно в западной школе для понимания возможностей актуализации христианства в России и нуждался Чернышевский. Интересно, что практически ни разу не цитировалась из его дневника запись беседы с Иваном Григорьевичем Терсинским (27 июля 1848), земляком, родственником, женатом на его двоюродной сестре, тоже сыном священника из Саратова, окончившим Петербургскую духовную академию в 1843 г., т.е. то учебное заведение, куда НГЧ не пошел: «Вечером был разговор с Ив. Гр. о великих писателях, их слабостях и пр.; он говорит: “Коли Байрон пьяница, так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель фигляр, между тем как правитель не то”. — “Нет, — говорю я, — это те, о которых говорится — вы есте соль земли, это рука,двигающая рычагом, который называете вы правителем, и странно считать ее за ничто, уважая рычаг, и если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывает

¹ Шелгунов Н.В. Люди сороковых годов // Шелгунов Н.В. Литературная критика. Л.: Художественная литература, 1974. С. 64, 66, 67.

у нас: Байрон пил не потому, почему пьет Петр Андреевич”. — “Вздор, — говорит, — все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы”. Он отвергает их важность для человечества, я утверждаю ее. “Басня Крылова о разбойнике и писателе, которую приводит он (она и раньше являлась мне, как неприложимая к делу, влияние всегда благодетельно у великих писателей), — говорю я, — неприложима, хотя вы ее приводите; мне досадно чрезвычайно видеть, что мы смеем судить о них, мы, которые ничто перед ними, это Западная Европа”. — “И, — говорит, — они глупцы, потому что делают ошибки”. — “Да мы не падаем, потому что не ходим, хоть, напр., в области богословия. Канту в аду места не будет, а мы православные, и поэтому Бог должен спасти нас, как должен был давать победу евреям, потому что у них был кивот завета. Что мы сделали?” Он говорит: “В области науки — ничего, потому что вообще еще должно раньше воспитать народ в нравственности”. — “Хорошо мы воспитывали его в продолжение 900 лет! Это уж показывает, что мы ничего не сделали, совершенно не жили, что мы не младенцы, а зародыши, и мы сравниваем себя с ними и прилагаем себя к ним и переносим их понятия и события на себя!” Разговор был довольно живой, хотя умеренный; у меня задрожала левая часть верхней губы, когда я сказал, что чтобы увидеть, что его суждение справедливо, стоит только взять его вообще и приложить к спасителю — он будет фигляр тоже, и других высших побуждений тоже у него не будет, — конечно я выразил это осторожно, — а Пилат и Каиафа были правители, следовательно, по-вашему, люди хорошие и достойные уважения. Вы, я говорю, однако не подумайте из этого, что [я] рационалист — где, куда, — это все неприложимо к нам» (*Чернышевский*, I, 57).

Повторю уже цитированный мною отрывок из его дневника: «Я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., Р. Легоух и проч., только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы, и Паскаль, и все; что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и ее отношения к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды» (*Чернышевский*, I, 132). Как все помнят, русские радикальные мыслители 40-х годов дошли до Фейербаха, но у них не было религиозных задач. Для Чернышевского этот мыслитель **открыл возможность укрепления христианства**. 4 марта 1849 г. он записы-

вайт: «В 7 час. к Ханыкову, который дал Feuerbach's Das Wesen des Christenthums. Когда я брал и шел домой, у меня было несколько раздумья, что выйдет из этой книги, когда я ее прочитаю, — убежусь ли я решительно в том, что говорит он, или нет; но была какая-то мысль, что я останусь почти с прежними убеждениями, т.-е. что прежние верования решительно не годятся, а сущность только справедлива в нашей религии, т.-е. личный бог, возможность и действительность откровения, — но толкование церковью этого откровения решительно негодно; однако и эти убеждения в личности Бога, божественности христианства непосредственной и особенной, а не просто естественной, все это весьма шатко в голове. Когда пришел, прочитал вечером и утром сегодня введение — весьма понравилось своим благородством, прямою, откровенностью, резкостью — человек недюжинный, с убеждениями. После прочитал еще несколько страниц, и теперь убеждение такое, что это так: человек всегда воображал себе Бога человечески, по своим собственным понятиям о себе, как самого лучшего абсолютного человека, но что ж это доказывает? Только то, что человек все вообще представляет как себя, а что Бог, решительно так, отдельное лицо. Например, Раев думает обо мне по себе, я о Гёте и Гоголе по себе, и собственно в моем воображении под этими именами являются не Гёте и Гоголь, а и сам же, мои же собственные понятия о них, т.-е. обо мне, а не они; но они тем не менее решительно не зависят от моего существа и моей сущности, у которых решительно другая сущность, другой характер и образ воззрения, чем у меня, но которые я представляю себе не в их истинном свете и виде, а как отражения моей сущности» (*Чернышевский*, I, 248).

Он увидел важнейшее: у Фейербаха, строго говоря, речь шла о человеческом восприятии веры, которое у каждого свое, и если сохраняется сущность, то надо понять, что церковное толкование «решительно негодно», или, по меньшей мере, проблематично. Если мы вспомним яростное отрицания Львом Толстым института церкви, да и самой личности Христа, то в этом контексте НГЧ остается христианином. С.Н. Булгаков назвал философию Фейербаха «человекобожием», но при этом писал: «Все внимание его поглощают жизненные задачи философии, вопросы об абсолютных ценностях или о смысле человеческой жизни, т.е. вопросы *религиозные*. Религиозный интерес у Фейербаха всю жизнь оставался господствующим, так что к нему вполне применима характеристика одного из героев Достоевского: “меня всю жизнь Бог мучил”. <...> Это отсутствие религиозного индиффе-



Людвиг Фейербах, типичный лютеранский пастор

рентизма, столь обычного в наше время, делает Фейербаха весьма своеобразным и значительным явлением религиозной жизни XIX века»¹. Немецкий философ оставался в пределах религиозной проблематики, что важно было для сына протоиерея, думавшего о ходах по усилению христианского учения. И уже в 1850 г. он пишет в дневник: «В религии я не знаю, что мне сказать — я не знаю, верю ли я в бытие Бога, в бессмертие души и т.д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними

своими мыслями об этом» (*Чернышевский*, I, 358). Он и не расстался. Это не случайно. Сошлюсь еще раз на о. Сергия Булгакова: «Фейербах принадлежит к числу таких мыслителей, которые в высокой степени содействуют сознательному самоопределению человека в ту или другую сторону, от него, как от философского распутия, резко расходятся дороги в противоположные стороны, и полезно каждому, прежде чем окончательно вступить на извилистые тропинки, углубляющиеся в дебри, прийти к этому распутию, откуда видно исходное различие путей»².

Нас в советское время постоянно учили, что Фейербах привел к материализму Маркса и Энгельса, в России — Герцена и Чернышевского. Но стоит подумать о словах Энгельса о брукбергском отшельнике: «Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет усовершенствовать ее. Сама философия должна раствориться в религии»³. Так что верующий сын протоиерея вряд ли мог научиться от Фейербаха материализму и атеизму. Стоит добавить тонкое наблюдение Ирины Паперно: «Идеи Фейербаха

¹ *Булгаков С.Н.* Религия человекобожия у Л. Фейербаха // *Булгаков С.Н.* Соч.: В 2 т. Т. 2. Избранные статьи. М.: Наука, 1993. С. 165.

² Там же. С. 163.

³ *Энгельс Ф.* Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 21. С. 22.

упали на почву, подготовленную учениями православного христианства. Один из главных догматов православного богословия, восходящий к патристической традиции, это обожение человека: Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. На этом фоне легче понять то поистине поразительное влияние, которое оказал Фейербах на русскую культуру»¹.

Разумеется, с помощью Фейербаха он ушел от детской веры (мы же знаем, что существуют разные уровни и типы восприятия религии). Но не от христианства. Напомню хотя бы весьма известные слова Достоевского. В дневнике 1881 г. он писал: «Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. **Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я**» (курсив Достоевского, выделено мной. — В.К.)². Да и бунт Ивана Карамазова против Бога не случайно так проникновенно описан Достоевским, подобный бунт переживали почти все русские мальчишки-интеллектуалы в ту эпоху. Чернышевскому едва за 20 лет, возраст серьезный, хотя и сложный, искушения идут во всех областях жизни. Но замечу, что любовь как сущность христианства и понимание божественного достоинства Сына Человеческого в разных преломлениях он пронесет через всю жизнь. Он искал просто опоры для утверждения христианства в современном ему интеллектуальном контексте.

При этом, оставив даже в стороне соображение Энгельса, что Фейербах растворял философию в религии, стоит привести слова самого Бинбахера (так именовал его НГЧ), в которых он прямо рассуждает, что воззрение Бога возвышает и одухотворяет человека, а не наоборот: «Религия есть тождественное с сущностью человека воззрение на сущность мира и человека. Но не человек возвышается над своим воззрением, а оно возвышается над ним, одухотворяет и определяет его, господствует над ним»³. Можно

¹ Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: НЛО, 1996. С. 206.

² Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 48.

³ Фейербах Л. Сущность христианства. М.: Мысль, 1965. С. 49. Николай Страхов, один из крупнейших русских верующих мыслителей, написал специальную работу о Фейербахе, в которой утверждал благотворность для христианства его идей: «Фейербах открыл более тесную связь между религией и философией, чем какую признавали прежде очень многие. Он нашел, что одна необходимо требует

ли это назвать атеизмом? Это то возвышение, та вертикаль, которую русские религиозные мыслители (Е.Н. Трубецкой) считали необходимой для духовного самостояния человека.

Надо при этом вспомнить, что православные мыслители постоянно твердили, что только славянству, прежде всего России, дано было усвоить подлинный смысл христианства. То есть восприятие Бога зависит от воспринимающего субъекта. На эту идею легко ложилась религиозная философия Фейербаха.

Хотя колебания были. Испытание Фейербахом надо было пережить, чтобы потом усвоить то важное, что в нем было, уточнив свою религиозную позицию. Юношеский бунт характерен для творческих натур. Он и Бога хулил, и от идеи бессмертия готов был отказаться. Во всяком случае, так он пишет в дневнике. Но контекст неопределенный. Не то он срывает свое настроение, не то и в самом деле так думает. Вот две записи в дневнике.

1850 г. 17-го [мая], среда: «Ходил к Ир. Ив., главным образом, чтоб сообщить о результате. Ничего особенного не было, только Милюков довольно много говорил о Бурачке, как подлинном фанатике. Я тут несколько вмешивался — слабость характера высказывается тем, что в этом обществе говорят против религии, и меня это заставляет говорить против нее, поддакивая, между тем как я занят не этими вопросами, а политическо-социальными и, собственно, нисколько не враг настоящего порядка в религии, хотя, конечно, веры весьма мало» (*Чернышевский*, I, 373).

Конец марта 1851 г.: «Зашел во Владимире к брату — он показался мне удивительно странным и был в самом деле с похмелья; мало-помалу стал несколько походить на человека, а то сидел решительно как сонный. Я посидел с ним полтора часа и осыпал хулами Бога и провидение, отрицая будущую жизнь. Он защищался от меня обыкновенными богословскими местами. Под конец стал довольно походить на самого себя в обыкновенном положении. — Эти полгода, сказал он, провел он в пьянстве»

другой, что, отрицая одну, нужно отрицать и другую. Следовательно, он показал, что отрицание гораздо *трудней*; чем мы думали прежде, доказал, что явления человеческой души имеют более тесную связь, чем мы прежде легкомысленно полагали. **Как жизненное явление, религии сильнее и распространеннее философии; и если дело идет о доказательствах, то очевидно доказывать, что нужна и возможна философия, гораздо легче, чем доказывать, что нужна и возможна религия. А по Фейербаху, как скоро доказана философия, то доказана и религия. Итак, вся аргументация Фейербаха только усиливает то дело, против которого она направлена»** (*Страхов Н.Н.* Фейербах // *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка третья. С.-Петербург. Типография братьев Пантелеевых. 1887. http://az.budclub.ru/s/strahov_n_n/text_1864_feyerbah_oldorfo.shtml. Подчеркнуто мной. — В.К.).

(Чернышевский, I, 402). Откуда хула на Бога у трезвенника, при том что Бога защищает алкоголь? Можно предположить, что чисто психологически это была своего рода самопровокация. Надо сказать, и это подчеркиваю, что Чернышевский очень часто позволял себе такую иронию, что собеседники принимали ее за его действительные мысли. Сошлюсь на мемуарное свидетельство (эпизод, когда НГЧ должен был говорить с чужим ему по духу человеком): «Добролюбов в одном из своих писем Чернышевскому так характеризует его речь. <...> “Не очень сбивайте его с толку своей иронией: он такого характера, что способен принимать ее за чистую монету”»¹. Вряд ли он всерьез принялся бы хулить Бога при разговоре с серьезными собеседниками.

Что же было с ним? Неужели так подействовал Фейербах? Но я уже приводил соображения многих исследователей, что вражды к религии у Фейербаха не было, что он **поставил проблему христианства как основную проблему философской мысли**. Надо вспомнить, что период отказа от прежних святынь в пубертатный период испытывают все молодые люди. Известно, что будущий религиозный гений Владимир Соловьёв выбросил все домашние иконы в окно. Чернышевский же переживал в эти годы настоящие искушения как святой Антоний. Здесь — при переходе к следующему искушению — надо отметить, что натуры сильные переживают искушения, не отвергая их, не избегая их, а преодолевая их, превращая в нечто положительное.

В предисловии к третьему изданию своей диссертации, написанному перед смертью, а вышедшему посмертно, НГЧ писал: «Вообще автору принадлежат только те частные мысли, которые относятся к специальным вопросам эстетики. Все мысли более широкого объема в его брошюре принадлежат Фейербаху. Он передавал их верно и, насколько допускало состояние русской литературы, близко к изложению их у Фейербаха» (Чернышевский, II, 126). Отсюда и пошло убеждение в том, что диссертация русского мыслителя есть своего рода незаконный плод немецкого философа.

Стоит привести рассказ А.Н. Пыпина, двоюродного брата и одного из теснейших друзей Чернышевского, в молодости читавшего книги под влиянием НГЧ: «Один такой букинист прихаживал и к нам; книги были иностранные, но букинист в них разбирался и с особым акцентом, конечно, очень забавным, назы-

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 82.

вал имена авторов и французские или немецкие названия книг. Кажется, независимо от этих негодяев Н.Г. мог тогда приобрести главные сочинения Фейербаха (от Ханыкова. — В.К.), как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах. Тогда я в первый раз познакомился с его сочинениями: эта сильная и решительная логика казалась мне более привлекательной, чем фантастика французских социалистов»¹. Стоит принять во внимание, что Фейербах был не провоцирующим на радикальное мышление, а скорее оберегающим элементом. То, что Пыпин находился тогда под сильным влиянием НГЧ, достаточно известно, а значит, проблема эта братьями обсуждалась.

Как постараюсь показать дальше, диссертация была вполне оригинальным продуктом русской действительности. Пока же, как всегда немного забегаю вперед, приведу соображение такого мощного аналитика и знатока русской философии, как Густав Шпет: «Плеханов доверился этому *Предисловию* и заключил: «Мы правильно поняли отношения Чернышевского к Фейербаху» (Соч. V, 191). Между тем внимательная проверка указаний автора *Предисловия* вызывает целый ряд недоумений. Не следует забывать, что в значительной своей части это — документ старческой памяти. А что такое старческая память — достаточно известно! Ее продукт — не просто увечная картина со стершимися, замазанными и продранными частями, а новая, реставрированная композиция, где погибшие части заменяются новыми, где не воспоминание, а домысел, фантазия, сопоставление разных хронологических дат и разных обстановок перемещают и то, что сохранилось в памяти, искажая перспективу, соотношения и краски былой действительности. Худо ли это или хорошо, но нередко желание, чтобы было так, вытесняет воспоминание о том, как было»².

Шпет ироничен, как видим, но он с легкостью преодолевает авторитет Плеханова, подчинившего своему пониманию многих марксистски ориентированных русских философов. А потом уже эта точка зрения устоялась в советской историографии безо всякой рефлексии. Тем не менее к Шпету стоит прислушаться: «Чернышевский прямо ссылается на Фейербаха, в убеждении, что он только воспроизводит суждения, высказанные Фейербахом. Поэтому целесообразнее было бы задаться совсем другим

¹ Пыпин А.Н. Мои заметки. Саратов: Соотечественник, 1996. С. 122.

² Шпет Г.Г. Источники диссертации Чернышевского // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Личность и творчество Н.Г. Чернышевского в оценке русских писателей, критиков. СПб.: РХГА, 2008. С. 345.

вопросом: если старческое *Предисловие* Чернышевского не является продуктом ослабленной памяти автора, если оно в точности воспроизводит то отношение к Фейербаху, которое вдохновляло юношескую диссертацию Чернышевского, то возникает сомнение, достаточно ли и тогда, в дни юности, Чернышевский знал Фейербаха, достаточно ли глубоко его усвоил, понял ли его, действительно ли проникся им в такой мере, чтобы иметь право назвать себя фейербахианцем? Нужно прямо сказать, что этот-то вопрос я и считаю центральным в аргументации настоящей работы»¹.

Факт усвоения Чернышевским идей Фейербаха можно было бы оставить под вопросом. Но все же Чернышевский сделал шаг дальше, о чем в последние годы не то чтобы забыл, но думал, что все уже понимают Фейербаха, как он сам. Чернышевский был реальный знаток классической немецкой философии в целом, и в ней он уже зрелым автором увидел то главное, что определяло его в интеллектуальные поиски. В своем знаменитом трактате о Лессинге уже много позже он писал: «При всем различии в своих принципах и выводах, все немецкие философские системы сходятся в том, что ни одна из них не имеет враждебности против христианства, какою отличались системы некоторых английских и французских философов. Каковы бы ни были понятия того или другого немецкого философа об общей системе мира, но каждый из них на религию смотрит с уважением, высоко ценя важность ее. Все они чужды того сурового ожесточения против религии, которое заметно, например, у Гоббеса, или той насмешки, которая видна у Вольтера. Все они смотрят на религию с серьезностью, полной уважения» (*Чернышевский*, IV, 207). Юношеские терзания, может ли современная мысль принять христианство, были им разрешены. А Фейербах? Чернышевский, думаю, понял главное, что вся позиция Фейербаха — это протестантский поиск Бога в себе.

¹ *Шнем Г.Г.* Источники диссертации Чернышевского. С. 356.

Глава 4

Искушения

Соблазн спасения человечества

Как мы знаем из истории, да и из жизненных наблюдений, практически все люди в юности (а иногда и позже) переживают период искушений. Особенно это относится к людям, далеко выходящим из ряда. Можно бы начать с Христа, искушения которого даны в Евангелии от Матфея, о них много раз поминал в своих текстах Достоевский. Мы помним об искушениях Августина, об искушениях Лютера, Серафима Саровского, Владимира Соловьёва, да и тот же Достоевский говорил о «горниле сомнений», сквозь которое прошла его Осанна. Лев Толстой описывал искушения отца Сергия, переживши и сам нечто подобное. Самые известные искушения, изображенные и в литературе и в живописи, — это искушения святого Антония. К чему я веду?

Конечно, к тому, что и наш герой, несмотря на то что был сыном протоиерея, что его именовали надеждой православной церкви, в возрасте от 18 до 22 лет (с 1848 по 1853 г.) пережил ряд весьма глубоких искушений. Можно сказать, что он искупил их своей многолетней страдальческой жизнью, но тем не менее они были и, не рассказав о них, мы не сможем дать подлинный портрет НГЧ. Искушений много, но все же есть несколько, которые называются обычно. Все они так или иначе восходят к искушениям Христа за исключением одного, которое Христос не переживал, но для творческого мужчины, может, основного — искушение женской любовью, женской прелестью, или, даже грубее, женской плотью.

Надо все же напомнить о его первом искушении, которое переживает любой праведник, желающий помочь людям, чтобы «камни сии сделались хлебами» (Мф 4, 3). Христос ответил: «Не хлебом единым» (Мф 4, 4). Но проблема серьезная, ее мучительно исследовал Достоевский в поэме о Великом инквизиторе,

который говорит Христу: «Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных?» (*Достоевский*, 14, 234). Действительно, что делать с миллионами слабых людей? Можно ли как-то построить их жизнь, чтобы они тоже жили не ради хлеба, а духовно? Это первое искушение Чернышевского, изобретавшего вечный двигатель. Об этом я уже написал. Попытка, полная благородного устремления, но, разумеется, попытка провинциала, который верит в чудо, что сумеет преодолеть законы природы, хотя уже было сказано Французской академией, что она не принимает к рассмотрению проекты вечных двигателей, как противоречащих законам природы. Разумеется, столь начитанный юноша, как Чернышевский, знал об этом, но вела его провинциальная вера в чудо и свои силы. Поразительно, как этот реалист, буквально символ реалиста в русской культуре XIX века, прошел через такую веру в чудо, причем чудо не христианское, а научное. Но наверно, уже тогда христианство и наука для него тесно сопрягались, как прорыв человечества в высшие сферы бытия. Но вера в такое нехристианское чудо немного сродни безумию, которое в том или ином виде преследовало жизнь Чернышевского. Его любовь к разуму, к рации — своего рода противостояние жившему в нем безумию жителя «русского Нила», где водятся даже крокодилы. В дневнике от 7 марта 1849 г. он записывал: «Когда снимется проклятие: “в поте лица твоего снеси хлеб твой”, тогда человечество решит первую задачу — устранение препятствий к занятию настоящего своею задачей, нравственной и умственной, тогда перейдет оно к следующим задачам. Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания» (*Чернышевский*, I, 253). Задача христианская, преодоление ветхозаветного проклятия, да к тому же (повторю это) и реализация завета Христа: «Не хлебом одним будет жить человек» (Мф 4, 4).

И все же это его изобретение со временем стало ему ясно как соблазн, ибо хлеб, добытый без труда, ни к чему хорошему не приведет. Сам он добывал свой хлеб неустанным трудом, даже агенты III отделения доносили, что он практически не покидает своей квартиры, а спит не более двух-трех часов. Практически он сам был этим вечным двигателем по силе духа и энергии, и это ощущение перенес на попытку создания аппарата. Изобретение «вечного двигателя» занимало Чернышевского в течение почти четырех лет¹. Но наступил 1853 год. Ему 25 лет, он окончил университет и теперь учитель в саратовской гимназии, мальчишества еще много, но все же это был год его взросления, ведь еще до встречи с его будущей женой он уже решил жениться и зажечь нормальной взрослой жизнью. Как писал Пушкин: «Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел». И вот в январе 1853 г. (именно в этом месяце происходит его знакомство с Ольгой Сократовной Васильевой, дочерью саратовского врача), он «решился уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию Наук, ту рукопись, которую некогда представлял Ленцу и которая все хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчеты» (*Чернышевский*, I, 407–408).

Итак, одно искушение было преодолено.

Оставим пока в стороне искушение женщиной, замечу только, забегая вперед, что он воспринимал свою будущую жену в контексте поэзии Шиллера и Гёте (немецкий он знал свободно). Но кого он хотел предложить своей избраннице в качестве супруга? Как он себя осознавал? Фон высокой поэзии требовал и высокого самосознания. Известно воспоминание Раева, записавшего слова Чернышевского: «Я спросил его, чего он желал бы. С первого раза он уклонился прямого ответа на этот вопрос, а потом сказал: “Славы я не желал бы — это убивает”. На меня это сделало впечатление»². Интересно, что в публикации этого текста сыном и внучкой НГЧ была высказана совсем противоположная мысль после вычеркивания отрицательной частицы «не» и слов, что слава убивает. Чернышевский и вправду много раз писал, что

¹ Стоит отметить, что он не думал о богатстве, не думал как революционеры об уничтожении богатых, его желание было в духе человека третьего сословия, разночинца, но светлого духом: «уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды, — все будут жить по крайней мере как теперь живут люди, получающие в год 15–20 000 р. дохода, и это будет осуществлено через мои машины» (I, 298).

² *Захарова И., Клименко Св.* Желание славы. Реплика по поводу мемуарных источников и их публикации. Документ. Из найденных записок А.Ф. Раева о Николае Гавриловиче Чернышевском // *Волга. XXI век.* 9–10.2013. С. 220.

хотел бы нечто совершить для человечества. Он хотел строить Россию, о чем писал и в юношеском дневнике и в письмах. Вот наугад два пассажи. Вот письмо 18-летнего юноши двоюродному брату, будущему академику А.Н. Пыпину, от 30 августа 1846 г. Спасителями Европы стали русские, преградив путь монголам и разгромив наполеоновские полчища, писал он, «спасителями, примирителями должны мы явиться и в мире науки и веры. Нет, поклянёмся, или к чему клятва? Разве Богу нужны слова, а не воля? Решимся твёрдо, всею силою души содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей, чтобы она перестала быть чужим кафтаном, печальным безличьем обезьянства для нас. Пусть и Россия внесёт то, что должна внести в жизнь духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую, выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни — науке, как сделала она это уже в одном — жизни государственной и политической. И да свершится чрез нас хоть частью это великое событие! И тогда не даром проживём мы на свете; можем спокойно взглянуть на земную жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содействовать славе не



*А.Н.Пыпин. 1850-е годы. Петербург.
Фотограф В. Шенфельд*

преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и возжеленнее этого? Попросим у Бога, чтобы он судил нам этот жребий» (*Чернышевский*, XIV, 48).

Заметим, что этот текст отчасти напоминает знаменитую клятву Герцена и Огарёва на Воробьевых горах, но — с принципиальной разницей. Два барчука-бастарда хотели разрушить Россию как государство, а два юных студента-разночинца хотели ее реформировать и строить. И чуть позже, из дневника 1849 г. (21 год): «Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, — не знаю, ведь это странно, — мне кажется, что

мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, <...> доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия» (*Чернышевский*, I, 127). Это, конечно, мысли не о личной славе. Речь шла о движении человечества, которому он хотел содействовать, причем понимая, что движение мысли может перейти в Россию, и этому надо с честью соответствовать. **А личная слава, как он и ожидал, и боялся, практически убила его.** Ибо слава сопровождается фантомами.

Девственник и искушение женской прелестью

Но известно, что главное искушение, которое переживает праведник (от святого Антония до отца Сергия) — это женщина. Думаю, Блаженный Августин, который завел сожительницу, чтобы побороть соблазны плоти, потом оставил ее, несмотря на рождение сына¹, вполне может быть поставлен в этот ряд. В отличие от Белинского в бордели не ходил, все же сын протоиерея, была матрица семейного поведения, отношения к женщине. Но плоть слаба, и видения распалили мозг и тело.

В Ленинграде в 1972 г., приехав на свою первую большую конференцию и гуляя по городу с другими ее участниками, я увидел и тут же показал другим в одном из закоулков (в арку под домом и направо), улицу не помню, большую надпись на небольшом двухэтажном доме: «ЖЕНСКИЕ БАНИ ИМЕНИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО». Почему Чернышевского, а не Клары Цеткин или На-

¹ Известно, что 17 лет, будучи в Карфагене, Блаженный Августин вступил в отношения с молодой женщиной, которая стала его сожительницей (конкубиной) на 13 лет и на которой он никогда не женился, так как она принадлежала к более низкому социальному классу. Именно в этот период Августин произнес свое изречение: «Добрый Боже, дай мне целомудрие и умеренность... Но не сейчас, о Боже, еще не сейчас!» Хотя она родила ему сына Адеодата, которого он очень любил, он ее покинул. Любопытно его признание о своих сексуальных терзаниях: «В эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным: я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях» (*Аврелий Августин. Исповедь. Книга четвертая, II, 2*). Добавлю, что «Исповедь» Августина была в домашней библиотеке отца НГЧ.

дежды Крупской? Легкая извращенность чудилась в этой надписи. Юрий Иванович Суровцев, член правления Союза писателей, возглавлявший нашу группу аспирантов из Москвы, тут же достал фотоаппарат и сфотографировал вывеску, сказав, что постарается в этом разобраться, что это «какая-то диверсия». Чем закончилась разборка, не знаю, но, конечно, это была аллюзия, так читался в советское время четвертый сон Веры Павловны, как призыв к решению «женского вопроса».

В нашей, да и не только в нашей исследовательской литературе главное внимание обращают на избранницу НГЧ — Ольгу Сократовну Васильеву. Ее практически никто не одобряет, считая духовной и человеческой катастрофой женитьбу Николая Гавриловича на дочке Сократа Васильева (мистически — он принял казнь как Сократ, древнегреческий мудрец, казненный за *идеологическое преступление*, имя которого носил тесть). Но, как понятно, любовное действие необходимо имеет двух персонажей, и трудно сказать, кто был пассивен, а кто активен в этом процессе. Нельзя сказать, что Николая Гавриловича окрутила взбалмошная и не очень твердых нравственных правил саратовская девица, а он как пасхальный барашек был своего рода жертвой ее разнузданности. Вместе с тем все говорят почти что хором, что инициатором этого брака был сам НГЧ, понимавший достаточно отчетливо, какое создание берет он в жены. Конечно, для саратовцев это выглядело некоей фантазмагорией, что сын протоиерея, единственный ребенок очень благочестивой и нравственной семьи, взял в жены особу, которую вряд ли выбрал бы в супруги даже самый обыкновенный саратовский обыватель. Слишком она была неординарна, своевольна, да и фривольна в отношениях с представителями другого пола. Знакомство с Ольгой Сократовной Васильевой произошло у НГЧ в январе 1853 г., хотя уже почти три года он, вернувшись из Петербургского университета, был преподавателем саратовской гимназии. Не видел ее раньше? Не обращал внимания? Не замечал? Хотя не заметить ее ищущему женщину молодому человеку было трудно, слишком вызывающе откровенна она была.

А Чернышевский и впрямь искал женщину. Периоды жизни, характерные для творческих мужчин, когда они ищут то, что называется жизненным тылом, любовь и спокойствие, чтобы была «обитель дальняя трудов и чистых нег» (Пушкин). Тогда труд обретает для художника высший смысл. Напомню жениховскую гонку сорокалетнего Достоевского после каторги и особенно после смерти жены, Марьи Дмитриевны, и ухода от него его лю-

бовницы Аполлинарии Суловой: он искал женщину, с которой он мог бы не только удовлетворять свои сексуальные потребности, но сделать ее спутницей своей непростой жизни. Ему повезло с Анной Григорьевной Сниткиной. Вспомним роман «Семейное счастье» Льва Толстого, в котором он описывает возможную неудачу в браке. В результате, хотя женился по любви и на преданной ему девушке, в течение всей его жизни верной жене, он бесился, мучился, и ушел от Софьи Андреевны...

И все же ситуация Чернышевского весьма сильно отличалась от ситуации других русских гениев. Объясняется это различие довольно просто. И Достоевский, и Толстой прошли в молодости опыт продажных женщин. Причем этому не мешало чтение поэтов вроде Шиллера и Гёте. В отличие от Чернышевского различие Белинский, юноша тоже восторженный, пережил все искушения и результаты любви публичных девиц, ругая за это... Шиллера. В письме Станкевичу он писал весьма откровенно: «До чего довел меня Шиллер! Помнишь ли, Николай, как для всех нас было решено, что подло и бесчестно завести связь соп атоге с девушкой, ибо-де, если она девичья невинна, то лишит ее невинности — злодейство, а если не невинна, то может родить (новое злодейство), может надоест, и надо будет ее бросить (еще злодейство!); а как человеку нельзя жить без жинки и все порядочные люди — падки до скромного, — то мы логически дошли до примирения и выхода в блядах и со всеми их меркурияльными последствиями. Видишь, куда завел нас идеальный Шиллер! И куда сам он заходил, запутываясь своими противоречиями. <...> В своем “Der Kampf” он прощается с гнетущей его добродетелью, посылает ее к черту и в диком иступлении говорит — “Хочу грешить!” Что за жизнь, где рефлексия отравляет всякую блаженную минуту»¹. О любви Достоевского к Шиллеру слишком даже известно, именно Шиллер приводит его к мысли, что красота — страшная сила, соединяющая в себе идеал Мадонны и содомский грех. Все-таки Шиллер звал к высокому, от чего, в отличие от Достоевского, отрекался Белинский.

Отличие в этом вопросе Чернышевского от Белинского коренится, возможно, в семейных истоках. Гавриил Иванович, протоиерей, ведший абсолютно трезвый образ жизни, знал только свою жену, более того, выдержал время (не прикасаясь к ней) с ее 13 лет (когда венчались) до 18 (когда она стала его реальной женой). Не знала других мужчин тем более попадья Евгения

¹ Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1982. С. 261.

Егоровна. Чернышевский хранил девственность до женитьбы, до 25 лет, как предписывал нравственной закон семьи. Ситуация Белинского другая. Он пишет Бакунину: «Мой отецпил, вел жизнь дурную, хотя от природы был прекраснейший человек, и оттого я получил темперамент нервический, вследствие которого я столько же дух, сколько и тело, столько же способен к жизни абсолютной, сколько наклонен к чувственности, сладострастию, нравственному онанизму; я родился с завалами в желудке. <...> Восьми или девяти лет, прежде нежели я понял физическое отношение женщины к мужчине, вид женщины уже производил во мне страстные чувственные движения, я а priori понимал то, что дитя может узнать только а posteriori...»¹ (курсив В.Г. Белинского. — В.К.). Сегодня литературовед В.Г. Шукин пишет, что *non Григорий* (!), т.е. отец Чернышевского, не мог дать сыну серьезного воспитания, в отличие от Белинского, рано нашедшего высокоумных друзей. Но сам «Висяша» видел основу своих срывов в детстве: «Одно меня ужасно терзает, — писал он В.П. Боткину в апреле 1840 г., — робость моя и конфузливость не ослабевают, а возрастают в чудовищной прогрессии. Нельзя в люди показаться: рожа так и вспыхивает, голос дрожит, руки и ноги трясутся, я боюсь упасть. Истинное Божие наказание! Это доводит меня до смертельного отчаяния. Что это за дикая странность? Вспомнил я рассказ матери моей. Она была охотница рыскать по кумушкам, чтобы чесать язычок; я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятою девкою: чтоб я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била. Может быть — вот причина. Впрочем, я не был грудным: родился я больным при смерти, груди не брал и не знал ее (зато теперь люблю ее вдвое), сосал я рожок, и то, если молоко было прокисшее и гнилое — свежего не мог брать. Потом: отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и площадно — вечная ему память! Я в семействе был чужой. Может быть — в этом разгадка дикого явления»².

Гаврила Иванович давал пример другой жизни. Сын абсолютно доверял ему. Переписка с отцом удивительна. Очень часто они писали друг другу по латыни. Речь в письмах шла о книгах, о литературе. Тему любви сын избегал, да и как мог он рассказывать отцу протоиерею об обуревавших его сексуальных бесах. Но двадцатилетнему волжанину, несмотря на его книжность, это было тяжело, как и любому подростку. Помню формулу

¹ *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1982. С. 96.

² Там же. С. 367.

своей давней знакомой: «Человек слаб, а Фрейд силен». Понятное дело, что речь шла не о Фрейде, а о сексуальном желании. Это было безумие, внутреннее, животное безумие, которое он старался преодолеть. У него все же несмотря на переживаемые в сердце перверсии, жажду женского тела, была твердая установка, которую раз от раза он повторял в своем дневнике. Побывав как-то на танцах в молодежном обществе и возбудившись, он пишет: «Я заметил в себе различные результаты этого вечера. Во-первых, сердце как-то волнуется, и неприятно, потому что я недоволен ролью, которую играл вчера — столб и больше ничего. Потом вследствие этого я увидел необходимость знать много вещей, от знания которых раньше отказывался, и раньше всего танцевать необходимо, решительно необходимо, но с этим вместе, что необходимо танцевать, чтоб сблизиться с девицами и молодыми женщинами, чтобы проложить себе путь в общество их и, следовательно, путь к тому, чтобы избрать одну из них в подруги жизни, потому что чем более знать будешь людей, тем лучше будет выбор (больше число и лучше знаешь), вместе с этим соединяется мысль, что это ведет к физическому волнению, к тому, что влюбишься, *а мне хотелось бы принести, сколько возможно, в супружество душу и тело девственным, так чтобы я мог сказать своей жене: “Ты первая, которую обнимаю я, ты первая, которую люблю я”* (курсив мой. — В.К.). Потом необходимость играть на фортепьяно или на чем-нибудь, — это менее, но все-таки очень хорошо было бы, чтоб иметь возможность услуживать этим добрым людям. Потом мне кажется, что должно было бы уметь рисовать, — по крайней мере, настолько, чтобы мочь делать очерки профилей и лиц, а то вот хотелось бы сохранить лицо этой жены сына, а между тем я не могу этого сделать. Потом необходимо говорить по-французски и немецки, потому что я все более и более чувствую, что начинается новый период в моей жизни, что физически-духовная потребность любви будет все усиливаться и усиливаться во мне, что мысль о подруге жизни, с которою делить сердце пополам, которую обнимать, которую целовать, которая, наконец, будет в едино тело со мною и в едину душу, — что эта мысль все сильнее входит в мою голову, и я теперь весьма много думаю о том, как будет, когда я женюсь» (Чернышевский, I, 211).

Он как святой хранил девственность, все же семейное религиозное воспитание, так девственником жил отец, пока не женился на его матери и еще долго терпел, пока девушка созрела. Но он был здоровый волгарь, несмотря на свои бесконечные книги,

физически сильный, и плоть бунтовала, требовала женской плоти. Он переживал своего рода искушение как святой Антоний. Но публичные дома, видимо, были для него табу. Тем сильнее бунтовала кровь. На этом пути возможны перверсии и физиологические, а главное интеллектуальные. В том числе и бунт против Бога, так страстно описанный Достоевским, который пережил его герой, его alter ego – Иван Карамазов¹. Возможно, эти интеллектуальные перверсии да склонность к бесконечной иронии, когда говоришь не то, что думаешь, и толкали его в разговорах с другими людьми на публичное непризнание Бога, бесмертия и т.п. Да и юношеская бравада!

Но тут происходит вроде бы обычное событие, его друг по Петербургскому университету Василий Петрович Лободовский, тоже из детей священников, друг, которого Чернышевский ставил много выше себя по жизненной опытности, по уму, по энергичности, вступает в церковный брак. Его юная жена по имени Надежда Егоровна была совсем простенькой девушкой, дочью смотрителя. Но Лободовский собирается *развивать ее*, давать ей читать умные книги, приохочивать ее к науке. Молодая женщина не очень красива, но мила, Чернышевскому явно нравится, судя по дневнику. Лободовский при этом изрядный бездельник, как сказали бы в свое время – паразит. Он не стесняется брать деньги у Чернышевского (без отдачи, разумеется), брать немало, примерно две трети того, что получал от родителей и зарабатывал сам НГЧ. Чернышевский жил впроголодь, ходил в худых сапогах, но во имя дружбы из преклонения перед умом и обликом Лободовского шел на эти мелкие, как ему казалось, жертвы. Надо сказать, как мы знаем из книг и из истории, у каждого выдающегося человека бывает свой совратительный приятель, свой демон – А.Н. Раевский у Пушкина, Мерк у Гёте, Шидловский у Достоевского. По словам Пушкина, это явление характерно в те дни, когда бывают новы

Все впечатленья бытия –
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, –
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

¹ См. о близости Ивана Достоевскому: Кантор Вл. «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. С. 227–231.

Но был и еще важный момент. Чернышевского влекло к молодой жене приятеля. Причем эта чувственность у него облакалась в строки Гёте и Шиллера. Возвращаясь от них, он писал в дневник: «Когда шел, расставшись с В. П., думал о них, был весел, пел, как это почти всегда бывает, но не в таком веселом духе, как теперь, и вздумал, поя песню Маргариты из Фауста – *Meine Ruh ist hin* (*мой покой исчез*), которую я довольно часто пою, что хорошо бы, если бы она знала ее, и мысли – отчего хорошо, если бы она знала по-немецки, а главное хорошо, что он стал бы ее учить и время шло [бы] у них в этом; скажу, чтобы он учил ее. Три четверти первого. Ложусь.

10-го [августа], 12 час. утра. – Странно, сердце снова при постоянных мыслях о Над. Ег. беспокойно, как это бывало в первые дни после их свадьбы; снова есть чувство; странно, что это такое? думаю – это вздор, от моей глупости; нет, это оттого, что действительно они оба выше, чем то, что обыкновенно видишь, и достойнее всех других любви: в самом деле, есть что-то особенное, это не глупость, а только необходимое следствие того, что я его довольно близко знаю: зная, нельзя не интересоваться ими в высшей степени и не любить их от всей души. И мне приятно это биение сердца или, лучше, не биение, а как-то особенным образом оно сжимается или расширяется и что-то в самом деле чувствуешь в нем» (*Чернышевский*, I, 80).

Временами он думал, что если Лободовский умрет или оставит жену, он будет обязан на ней жениться. Причем очевидно, что эта обязательность диктовалась плохо скрываемым сексуальным влечением к этой женщине. Он даже ходил в музеи смотреть картины с женским фигурками и лицами и реальных женщин, чтобы сравнить их с Надеждой Егоровной, поначалу сравнение выходило в ее пользу, потом, видя неуспех друга в развитии жены, видя ее простоватость, он все больше приглядывался к женщинам ярким и энергичным. Тут необходимо все же затронуть без лицемерия и ханжества тему физиологических попыток нашего героя как-то вырваться из плена мужской физиологии, давящей на него. Он не был монахом, не был кастратом, поэтому его влекла женщина как таковая, женщина как тело. Он читал, разумеется, «Исповедь» Руссо, книгу, которую читала вся образованная Европа. Поклонником Руссо, как известно, был и Лев Толстой, носивший на груди вместо православного крестика медальон с портретом Руссо. В этой книге, более чем эксгибиционистской, Руссо рассказывает о своих юношеских эротических выходках. Причем особых моральных терзаний по этому поводу

не высказывает¹. Чернышевский позволил себе аналогичные записи в дневнике (можно подло подумать, что для исследователей), но это для него покаянная запись о преступлении против христианской морали, полученной в доме и которую он пронес через всю жизнь.

«Ночью (неприятно писать это на той же странице, где говорится о Над. Ег.) я проснулся; попрежнему хотелось подойти и приложить <член>. к женщине, как это бывало раньше; подошел и стал шарить около Марьи и Анны; но в это время проснулся Ив. Гр., — а, может быть, и не спал, — и стал звать их. Это мне было неприятно, что отнимало у меня эту глупую возможность пошлым образом дурачиться, хоть это не доставляет мне никакого удовольствия, просто никакого. Мне вздумалось, что это Бог попускает меня делать такие глупости — просто глупости в самом определенном смысле слова — для того, чтоб я не стал кичиться своею нравственною чистотою. Неприятно мне было подумать, что вот опять я под влиянием мыслей глупых и пошлых, и подлых, которые считал отставшими от себя. Думал я это в то время, когда шарил около них» (*Чернышевский*, I, 83). Нормальный молодой человек с нормальными желаниями, но скованный нормами подлинной православной нравственности. Это не в укор Чернышевскому, не в укор православию, просто это для нас своего рода идеальный эксперимент — столкновения физиологии и религиозной нравственности. Уже в Петропавловской крепости Чернышевский взялся за аналитический перевод «Исповеди» Руссо. Тема его не отпускала.

Спустя всего три месяца после решения жениться в случае чего на вдове приятеля-кумира, Чернышевский писал в дневнике по поводу подозрений Лободовского в заболевании чахоткой и обязательств, которые он подумывал принять на себя после его смерти: «Раньше у меня в этом случае выходило в мысль жениться на ней, теперь нет — разочаровался почти и вижу в ней, конечно, не то, что Любиньку, какое сравнение, а так, только весьма хорошую в сравнении с другими женщину» (*Чернышевский*, I, 156). В конце того же года записано: «Я, кажется, решитель-

¹ Чтобы не быть голословным, приведу несколько фраз из «Исповеди» французского мыслителя: «Мое возбуждение достигло таких пределов, что, не будучи в состоянии удовлетворить свои желания, я разжигал их самыми нелепыми выходами. Я блуждал по темным аллеям, в скрытых уединенных местах, откуда мог издали показаться особам другого пола в том виде, в каком хотел бы быть возле них» (*Руссо Ж.-Ж. Исповедь // Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждение о науках и искусстве. Рассуждение о неравенстве*. М.: АСТ: Пушкинская библиотека, 2004. С. 94). Ну и т.д.

но к ней равнодушен» (*Чернышевский*, I, 201). А жениться он очень хотел, чтобы нормализовать свою жизнь. Он твердит себе в дневнике накануне своего дня рождения (запись от 11 июля 1849 г.): «Что касается собственно до меня — более всего, несравненно более всего, женитьба, любовь, иначе сказать — **я хотел бы, чтоб у меня любовь была единственная, чтоб ни одна девушка и не нравилась мне до той самой, на которой предназначено мне жениться, чтоб и не сближался я до того времени ни с одной и не думал ни об одной; об этом думаю постоянно. Надежда на Нестора, т.-е. словарь к нему — следовало бы, чтоб его напечатала Академия»** (*Чернышевский*, I, 296, подчеркнуто мной. — В.К).

Возвращение в Саратов: новое искушение — радикальная бравада (историк Костомаров)

По окончании университета в январе 1851 г. он получил место старшего учителя словесности в саратовской гимназии. Он вернулся в Саратов, так и не решив всех своих проблем — ни философских, ни религиозных, ни сексуальных. Все было нервно и неопределенно, хотя, как увидим, некий стержень уже чувствовался в нем. Разумеется, он хотел потом вернуться в Петербург, там были связи, там его манила литературная карьера. Но тем не менее уже в Саратове мы видим, несмотря на нервность, отстаивание своей позиции. Он свободно говорил с гимназистами, читал им Пушкина, Гоголя, тогда это было на грани полузапрета. Напомню, что за посмертную статью (*некролог*) о Гоголе в 1852 г. Тургенев был посажен на *съезжую*, а через месяц отсидки сослан в свою деревню. И только через два года получил разрешение жить в столицах.

В гимназии он делал и говорил то, что потом никогда так резко не повторял, он будто нарывался, не найдя себя. «Крепостное право, суд, воспитание, религия, политические и естественные науки и т.п. темы, о которых было запрещено рассуждать даже в печати, — писал Ф.В. Духовников, — были предметами бесед его с учениками не только в классе, но и вне его»¹.

Вообще, он не нашел еще себя, нервничал, иронизировал почти диковато. Из мемуаров того же Духовникова можно уви-

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (*Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова*) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 69.



*Чернышевский – преподаватель
гимназии*

деть эту нервность и некоторую неадекватность. Скажем, гимназист бросил в товарища комком бумажки. «Что вы, Егоров, бросаете бумажками? – сказал Николай Гаврилович. – Я на вашем месте пустил бы в него камнем. Да-с. А вы как думаете?» Мальчик очень сконфузился и с тех пор при Николае Гавриловиче не решился шалить в классе. Ученик Пасхалов зачитался на уроке иллюстрированным журналом и громко смеялся. Другой учитель непременно расправился бы с учеником, но Николай Гаврилович ограничился лишь мягким внушением.

«Мы два раза замечали вам, – обратился он к Пасхалову от лица всех учеников, – чтобы вы не мешали нашей беседе, но вы не обратили на это никакого внимания. Мы теперь вынуждены и имеем право просить вас, чтобы вы не беспокоили нас, уйти из класса и делать то, что вы желаете, если наша беседа вам не нравится». Директору просто хамил. Как пишет А.А. Демченко, посещения Мейером уроков прекратились после одного случая, запомнившегося современникам. Чернышевский, читая что-то с увлечением ученикам, не прервал чтения после появления начальника и последовавшего требования спросить заданный урок. Директор бросился к журналу и, не увидев ни одной отметки за целый месяц, «пришёл в ужас от этого» и «начальническим тоном» приказал исполнить требование, а учитель хладнокровно продолжал читать, будто происходящее не имело к нему отношения. «Раздосадованный и взбешённый», Мейер покинул класс, гимназисты разразились хохотом, а Николай Гаврилович не прерывал чтения, и урок продолжался.

В эти годы он знакомится в Саратове с одним из своих *чёрных людей* – историком Николаем Ивановичем Костомаровым, украинцем, сосланным в Саратов за украинофильство. Костомаров преподавал в средних учебных заведениях, а с осени 1845 г. – в Киевском университете. Помимо преподавания, он много за-

нимался этнографией, фольклором, литературной деятельностью. С конца 1845 г. Костомаров становится членом тайного «Кирилло-Мефодиевского общества», боровшегося за отмену сословий, объединение славянских народов, федеративную парламентскую республику с равными правами и политической автономией каждой народности. В 1847 г. он был арестован, год провел в одиночной камере Петропавловской крепости, а затем выслан в Саратов по распоряжению царя. Далее он и струсил на всю жизнь, и немного тронулся умом, как полагал трезвый НГЧ. Любопытно, что он был однофамильцем Всеволода Костомарова, оклеветавшего Чернышевского и доведшего его до тюрьмы и каторги. Младший Костомаров уверял, что он племянник знаменитого историка; сведения не подтвердились. Вообще, младший Костомаров любил приврать и делал это весьма убедительно, так что походило на правду.

Историка Костомарова рекомендовал Чернышевскому профессор Срезневский. В провинциальном Саратове сближение двух интеллектуалов было естественным. Чернышевский продолжал делать по заданию Срезневского словарь к Ипатьевской летописи и потому находился с ним в постоянном контакте. Когда у Костомарова случилась проблема с материалами к эпохе Ивана Грозного, НГЧ писал Срезневскому и просил помочь Костомарову книгами. Саратовцы считали их добрыми приятелями. А ныне даже такой замечательный знаток Чернышевского как А.А. Демченко полагает, что сообщенные Костомаровым «подробности, касающиеся Чернышевского, являются ценным биографическим источником»¹. При этом главный тезис Костомарова по поводу НГЧ, что тот был «апостолом безбожия, материализма и ненависти ко всякой власти»².

Если младший Костомаров оказался клеветником и человеком, умевшим исказить реальность, то и старший отличался такими же способностями. Так случилось, что Чернышевский стал свидетелем и невольным участником двух довольно неприглядных историй в отношении Н.И. Костомарова к двум благородным женщинам. Очевидно, хоть и не впрямую, у историка возникла неприязнь к НГЧ, которую он излил в своей «Автобиогра-

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 246.

² Там же. Сам НГЧ так определил правдивость этой автобиографии: «*Рассказы его обо мне фантастичны* (курсив мой. — В.К.), как его рассказ в “Автобиографии”. Я полагаю, что ни согласие, ни разноречие двух фантастических источников не дает прочного основания ни для каких заключений о том, в чем состояла фактическая истина» (*Чернышевский*, I, 767–768).

фии», опубликованной в «Русской мысли» в 1885 г., № 5 и 6. Очевидно, он мог быть уверен, что похороненный заживо в Сибири Чернышевский не заметит его текста. Но Чернышевский прочитал и ответил на костомаровский текст в письме к А.Н. Пыпину.

Но прежде чем перейти к ответу НГЧ на автобиографию Костомарова, приведем один эпизод их общения в Саратове, поведанный очевидцем. Опираясь на Костомарова, говорят об атеизме Чернышевского. Но можно ли ему верить?

Рассказывает В.И. Дурасов. У отца, Гавриила Ивановича, отказался НГЧ есть скоромное. «В СПб, когда он жил в большой квартире, а О.С. в это время занимала дачу, Н.Г. ел овсянку и прочую очень непривлекательную пищу. Поэтому он отказался от предложения отца и ел постное. “Какой Ч. притворщик, — сказал мне Н.И. Костомаров, когда мы шли дорогой от Чернышевских, — а в Петербурге что он делает”¹. То есть не постеснялся сказать гадость про Чернышевского его приятелю, который при этом знал правду.

В том же духе и с тем же пафосом хитрого обличительства (когда после добрых слов о человеке на него возводится напраслина) написана его автобиография: «Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотою, видимым добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием. Он, впрочем, лишен был того, что носит название поэзии, но зато был энергичен до фанатизма², верен своим убеждениям во всей жизни и в своих поступках стал ярким апостолом безбожия, материализма и ненависти ко всякой



*Николай Иванович Костомаров,
историк*

¹ Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (Рассказы саратовцев в записи Ф.В. Духовникова) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 100.

² Фанатизм НГЧ ненавидел, много об этом писал.

власти. Это был человек крайностей, всегда стремившийся довести свое направление до последних пределов. Учение, которое он везде и повсюду проповедовал, где только мог, было таково: отрицание божества; религиозное чувство в его глазах была слабость суеверия и источник всякого зла и несчастья для человека; Бог нашей религии — это отвлеченная идея олицетворяемая сообразно той степени человеческого развития, при какой творились языческие божества, олицетворяемые физические и нравственные силы природы; Бог наш — идея верховного блага и мудрости, заключающихся собственно только в человеческом естестве»¹. Мог так говорить НГЧ? Наверно, мог, повторяя Фейербаха, да еще и с юношеским задором, юношеской бравадой (он ведь был так молод!) огоршить собеседника. А если к этому добавить иронию как характернейший признак речи Чернышевского, так что многие его иронические пассажи люди прямолинейные принимали за его сущностное высказывание. Конечно, в иронической форме изложения мыслей кроется некая провокативность, но он исходил из того, что умный поймет.

Поразительна снисходительность Чернышевского. Прочитав автобиографию Костомарова, этот уже старый человек, через год умерший с Библией в руках, наверно тяжело воспринял слова, которые записал Костомаров, но пытался объяснить их душевным нездоровьем историка. Однако надо добавить еще один факт из биографии Костомарова, о котором обычно молчат, но который проясняет нравственную основу человека. Цитирую по примечанию к собранию сочинений Чернышевского: «Участие в саратовском ритуальном процессе является одной из наиболее мрачных страниц в биографии Костомарова. Обстоятельства этого дела, по всей справедливости названного Чернышевским “гнусным”, сводятся к следующему. В конце 1852 и в начале 1853 г. в Саратове были убиты два христианских мальчика; подозрение, основанное на сбивчивых и противоречивых показаниях некоторых темных личностей и заведомых авантюристов, пало на трех местных евреев. Процесс тянулся около восьми лет и кончился только в 1860 г., когда **Государственный совет, несмотря на оправдательный приговор Сената и на заключение министра юстиции, признавшего отсутствие в деле достаточных данных для обвинения привлеченных к делу, большинством голосов приговорил последних к каторжным работам. Царь утвердил этот приговор.** Костомаров входил в состав следственной комиссии по этому

¹ Автобиография Н.И. Костомарова // Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 1. Саратов, 1958. С. 157.

делу. В своей автобиографии он обвинял саратовские власти в том, что они прикрывали обвиняемых: следователи, по его словам, “хлопотали только о том, чтобы замять дело”; губернатору “хотелось во что бы то ни стало оправдать жидов”. “Я, — говорит Костомаров, — написал скорее в обратном смысле” (“Русская мысль”, 1885 г., № 6, стр. 25–26). Им была составлена “ученая записка”, в которой он доказывал, что обвинение евреев в пролитии христианской детской крови “не лишено исторического основания” (“Автобиография”, М., 1922 г., стр. 216). Мало этого: когда в 70-х годах известный ориенталист Д. Хвольсон, также принимавший участие в расследовании саратовского дела, опубликовал брошюру, в которой доказывал, что ритуальная легенда, возникшая на почве мрачного фанатизма в средние века, не имеет под собою никаких оснований, Костомаров напечатал в “Новом времени” (1872 г., № 1172) разбор этой брошюры, в котором между прочим писал: “Не имея повода разделять с евреями их племенного патриотизма, не можем в ущерб здравому смыслу и в противность истории согласиться с г. Хвольсоном, что между евреями не могло возникнуть этого суеверия”» (*Чернышевский*, I, 818–819).

Вот уже второй раз (первый — петрашевцы) жизнь столкнула НГЧ с эпизодом, в котором рифмуется его будущая судьба. Безумное, подлое провокационное обвинение в преступлении, которого эти трое не совершали, было поддержано экспертом (Н.И. Костомаровым) и лично утверждено царем, несмотря на сомнения Сената. Другой Костомаров (Всеволод) тоже напишет длинное объяснение, как в подцензурных статьях Чернышевский проводит крамольные мысли, и точно так же этому эксперту поверят высшие чины полиции и, несмотря на колебания Сената, недоказанность ни одного из вменяемых ему проступков (идеологических, заметим!) царь утвердит строжайшее наказание: публичную казнь, а затем бессрочную Сибирь.

Какова же реакция Чернышевского на поступок старшего Костомарова?

«Он имел упрямство больного человека.

Дальше он говорит о своем участии в “так называемом жидовском деле”. Он рассказывает об этом гнусном процессе так, как будто обвинение против “жидов” имело серьезные основания и — как знать? — пожалуй, было справедливо. Это был процесс гнусный. Так решил Сенат. Неужели ему было неизвестно решение Сената? Неужели и раньше того он не слышал, кто были обвинитель и обвинительница? — Они были мерзавец и мерзав-

ка (павший до самого пошлого мошенничества образованный человек и пьяная, гадкая, промышлявшая развратом женщина). И все в процессе против несчастных было таково. — Его участие в этом процессе — прискорбный эпизод его деятельности. Но он и не думал скорбеть о нем, когда диктовал свою “Автобиографию”. — Этого, при всем моем знании его болезненных недостатков, я не ожидал от него. Я думал, он жалеет и стыдится. <...> И физическое его здоровье было уж очень расстроено. Кроме нервных страданий, у него тогда не было никакой болезни» (*Чернышевский*, I, 775).

Надо к этому добавить, что, так сказать, крестный брат НГЧ, Александр Гаврилович Чернышевский, был крещенный его отцом еврейский мальчик из кантонистов, которому Гавриил Иванович дал свое отчество и фамилию. С Александром Гавриловичем Чернышевским, затем и с его семьей Чернышевские и Пыпины общались вполне родственно. Из этого эпизода вполне понятно их отношение к еврейскому вопросу.

Степень же правдивости Костомарова, точнее, неправдивости, непонимания, а в результате искажения реальности и создания мифа, Чернышевский зафиксировал точно. Один из упреков Костомарова, поддерживавшего легенду о нечувствительности Чернышевского к красоте (а свидетель, на общий взгляд, он был авторитетный). Вот как описывает рождение этой сплетни НГЧ: «Сидели мы с ним у окна, в мае; вид был прекрасный: Волга в разливе, горы, сады, зелень. — “Я совершенно увлекся” (продолжает он). — И он стал хвалить вид и сказал: “Если освобожусь когда-нибудь, то пожалею это место”. — А я на это отвечал: “Я не способен наслаждаться красотами природы”. Я помню этот случай, и Костомаров пересказывает — его совершенно верно. Дело только в том, что он хвалил “красоты природы” слишком долго, так что стало скучно слушать, и если бы не прекратить этих похвал, то он продолжал бы твердить их до глубокой ночи. Я отвечал шуткою, чтобы отвязаться от слушания бесконечных повторений одного и того же. Но красоты природы были еще очень сносны сравнительно с звездами. О звездах он чуть ли не целый год начинал говорить каждый раз, как виделся со мною, и каждый раз толковал без конца, — то есть до конца преждевременного, производимого какою-нибудь моею шуткою вроде приводимого им ответа моего на похвалы красотам природы. Это была скука, которая была бы невыносима ни для какой из старинных девиц, охотниц смотреть на луну» (*Чернышевский*, I, 773–774). Так рождались мифы. А миф — это явление страш-

ное, если мы откажемся от высокоумных пояснений философской молодежи. Не могу не привести верную, на мой взгляд, мысль Н. Бердяева: «Коллективные массовые движения всегда вдохновлялись мифологией, а не наукой»¹.

Приведу небольшой стих Константина Случевского:

МИФ

И летит, и клубится холодный туман,
Проскользая меж сосен и скал;
И встревоженный лес, как великий орган,
На скрипящих корнях заиграл...

Отвечает гора голосам облаков,
Каждый камень становится жив...
Неподвижен один только — старец веков —
В той горе схоронившийся Миф.

Он в кольчуге сидит, волосами оброс,
Он от солнца в ту гору бежал —
И желает, и ждет, чтобы прежний хаос
На земле, как бывало, настал...

Самое поразительное в поведении Чернышевского, которое он пронес сквозь всю жизнь, его снисходительность и прощение причинившим ему недобро. Даже про Всеволода Костомарова, усилиями которого Чернышевский был отправлен практически на всю жизнь в Сибирь, он говорил, что просто тот был нездоров. И это несмотря на умение метать молнии, когда он спорил с противниками. Его «Полемические красоты», где он наотмашь бил по своим противникам, надо сказать, напугали и обозлили литературное и политическое сообщество. В его защиту выступил лишь Ф.М. Достоевский. Чернышевскому казалось, что рацию и ясность ума сами собой преодолеют мифологизм сознания современников. Всю жизнь Чернышевский страдал от мифов о себе. Его не понимали, хотели подогнуть под привычные ранжиры, не получалось, а в результате возникали мифы. Его позиция — позиция христианина, не принимавшего идолов и кумиров. Как писал Петр Лавров, Чернышевский «считал своим главным, священным долгом обнаруживать «обманчивость» множества «иллюзий», которые смешивались в умах русской интеллигенции с

¹ Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // Бердяев Н.А. Дух и реальность. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2006. С. 207

здравыми умственными и нравственными требованиями»¹. Конечно, многое в создание мифа о нем перешло из его юношеской бравады, когда он позволял себе насмешничать над привычными понятиями. Но сам он хотел (с этим и ехал в Саратов) остепениться и заняться реальным своим делом, к которому чувствовал призвание — наукой и литературой.

Женитьба (уход от бравады)

Вернемся к временно отодвинутой нами теме — к теме женской любви. Ибо в Саратов он ехал не для бесед с историком Костомаровым и даже (надо это признать) не только для того, чтобы побыть с родителями. Он пробыл там три года. Для посещения родителей многовато. Как сам он писал в дневнике, отдавая себе отчет в своих целях, ибо он ехал в Саратов с твердым намерением: «Если я явлюсь в Петербург не женихом, я буду увлекаем в женское общество своею потребностью. <...> И любовь помешает работе. <...> Да и какие девицы в Петербурге? Вялые, бледные, как петербургский климат, как петербургское небо. <...> Моя невеста должна быть не из Петербурга» (*Чернышевский*, I, 482—483). И все же общение с Костомаровым и в этом плане не прошло даром. Он видел нерешительность историка в его отношениях с женщинами, причем одну из них он довел своими капризами до того, что она отказала ему, а другую, женщину непростую, самостоятельную и талантливую, Анну Никаноровну Пасхалову, он по сути дела компрометировал — водил ее на свой чердак — смотреть звезды, таскал по кабакам, где они записывали народные песни. У Пасхаловой жизнь была непростая; красавица, мать пятерых детей, она в Петербурге некоторое время была возлюбленной либерального деятеля Н.А. Милютина, потом рассталась с ним, вернулась в Саратов, муж отобрал все ее имущество. И тут она попала в лапы Костомарова, ее мать злилась на дочь, бранила ее, что она компрометирует себя странным общением с Костомаровым, этими смотрениями звезд и т.п. Чернышевский предлагал Костомарову вести себя в этой ситуации порядочно — или оставить женщину, или жениться на ней. «Но, разумеется, я толковал с ним без всякого успеха» (*Чернышевский*, I, 775), — писал НГЧ в письме к Пыпину. Это был жизненный пример, как себя не надо вести с женщиной, о том чувстве ответственности, которую должен брать на себя мужчина в подобной ситуации.

¹ *Лавров П.Л.* Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли // *Лавров П.Л.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 664—665.

Но он сам пытался найти себе невесту. Стоит привести внешний рисунок его жениховских попыток обрести жену. В ноябре 1852 г. Чернышевский начинает саратовский дневник, продолжая свои прошлогодние записи: «Начинаю в обстоятельствах, совершенно подобных тем, при каких начал: тогда молоденькая дамочка и теперь Катерина Николаевна» (*Чернышевский*, I, 405). Итак, сразу две дамочки: Александра Григорьевна Лаврова (Клиентова), которой Чернышевский был увлечен прежде, и Катерина Николаевна Кобылина, дочь председателя Саратовской казенной палаты. Его сыну Александру Чернышевский давал уроки с августа 1851 г. Как-то в апреле следующего года он был приглашен на день рождения хозяина дома. Чувствовал себя стесненно, «сидел неподвижно», «был по обыкновению скромн, как баран» (*Чернышевский*, I, 406). Потом ему удалось сесть «подле Катерины Николаевны и играть с нею в карты. Я помню, как мне хотелось, чтобы Катерина Николаевна всегда выигрывала, и как я старался выиграть, когда играл с нею, и проиграть, когда играл против нее. И я помню, что она всегда выигрывала и мне, может быть, сказала несколько слов, может быть как-нибудь иначе, но оказала (как и всем, конечно) внимание, и в какой я был радости от этого. И после этого я дня три только и видел ее перед глазами» (*Чернышевский*, I, 406).

«Месяца два или три после этого он не видел ее. В поисках встреч он стал чаще бывать в обществе, явился на ее день рождения 6 января с намерением признаться в любви. Судя по записям, Чернышевский не встретил ответного чувства. Однако с января 1853 года вплоть до женитьбы Чернышевский сделался практически завсегдатаем всякого рода балов, маскарадов и вечеров с танцами. Он уже с удовольствием принимал приглашения и “было начал любить волочиться” (I, 410). Вот хронологическая роспись вечеров, на которых присутствовал Чернышевский: 6 января на дне рождения у Кобылиных, 8 — в зале Дворянского собрания на музыкальном концерте любителей, 11 — на даче у Кобылиных, 26 — на вечере у Акимовых, его двоюродной тетки, где было много молодежи и где он познакомился с Ольгой Васильевой»¹. Познакомился с ней он 29 января, а 19 февраля уже сделал предложение. Скорость невероятная. Что же передумал он в эти дни, о чем говорил с избранницей? В этот период ему хотелось всех сделать счастливыми. Он и Костомарова приглашал в эту светскую жизнь. Но — безуспешно.

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 254–255.

В эти дни и месяцы он стремительно возвращается к нормальному сексуальному мироощущению. Он пишет 6 марта 1853 г.: «Я бросил свои гнусности, я перестал рукоблудничать, я потерял всякие грязные мысли, перед моим воображением нет ни одной грязной картины. Разврат воображения, столь сильный раньше, совершенно исчез. Я чист душою, как не был чист никогда.

И женщины, девицы перестали решительно иметь на меня электрическое действие, которое имели раньше» (*Чернышевский*, I, 502).

Литературовед Шукин, занятый темой эротологии Чернышевского, писал: «Чернышевский, который всерьез полагал, что для удовлетворения любовных потребностей женщины необходимы минимум два мужчины, изображает в роли Фауста не героя, а героиню – Веру Павловну Рогальскую»¹. Характерна оговорка, когда исследователь, говоря о нелюбимом авторе, не чувствует замысла. Чернышевский дал героине фамилию Розальская от слова **роза**, а автор, говорящий об ее изменах, производит фамилию от слова **рога**. Конечно, Верочка не Фауст, она абсолютно зависима от обоих своих мужей, которые строят свою жизнь в угоду ей. Более того, Шукин пишет об изменах О.С. до брака, что никем не доказано, соображение основано только на неумеренно эротической фантазии автора, который проецирует ее последующие измены на добрачный период: «Писатель поступил, как оказалось, весьма предусмотрительно, поскольку еще в Саратове Ольга Соколатовна изменила ему с польским эмигрантом Яном (Иваном Федоровичем) Савицким»². На самом деле Савицкий – это уже питерский вариант, что ясно и из приводимой им цитаты Пыпиной³, да и сама О.С. признавалась, что второй ее сын Витенька от Савицкого. Кстати, можно сравнить эту ситуацию с тяжелым романом Достоевского с Марьей Дмитриевной, его будущей женой, которая и впрямь изменяла ему до брака.

Остановимся, однако, на этом имени, на имени Виктор. С ним связан на самом деле первый серьезный добрачный роман О.С.,

¹ Шукин В.Г. Блеск и нищета «позитивной эротологии» (к концепции любви у Н.Г. Чернышевского) // Вопросы философии. 2002. № 1. С. 146.

² Там же. С. 144.

³ «<...> как сиживала она здесь, окруженная молодежью <...> как многие мужчины ее любили <...> А вот Иван Федорович ловко вел свои дела, никому и в голову не приходило, что он мой любовник... Канашечка-то знал: мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна». (*Пыпина В.А.* Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания (по материалам семейного архива). Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 36).

о котором Чернышевский узнал, пережил, осознал и простил. Девушка была красивая, черноволосяя, с жгучими глазами, прабабка ее была итальянка, говорили, что О.С. похожа на нее. На ищущего подругу жизни молодого человека ее красота произвела сильное впечатление. К тому же она в разговоре обмолвилась, что считает себя демократкой. И это не могло не понравиться Чернышевскому, искавшему не просто женщину, а близкую по миропониманию.

Но все же женщина нравится не близостью мировоззрения, а женской прелестью прежде всего. И все это в О.С. было: «Она, — писала В.А. Пыпина, — увлекла его всем тем, что он так ценил: и красотой, и независимой индивидуальностью, и неиссякаемым порывом удали, тем нервом протеста, который он ощущал и в себе — совершенно в иную область направленного, но родственного по интенсивности порыва и самозабвения»¹.

Прямо по романсу:

Очи чёрные, очи жгучие,
Очи страстные и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я не в добрый час!

Очи чёрные, жгуче пламенны!
И манят они в страны дальние,
Где царит любовь, где царит покой,
Где страданья нет, где вражде запрет.

Он сразу понял, что брак будет непростым, поскольку женщина непростая, к тому же с сексуальным опытом, которого у него не было. Интересно, что сексуальные перверсии и эротизм ушли настолько, что он в растерянности записывал в дневник: «Влюблен ли я в нее или нет? Не знаю; во всяком случае мысль об “обладании ею”, если употреблять эти гнусные термины, не имеет никакого возбуждающего действия на меня. Я только думаю о том, что я буду с нею счастлив и что в ней столько ума и пронизательности, что она не будет раскаиваться, что вышла за меня» (*Чернышевский*, I, 533). Может, поэтому так легко он воспринял известие, что у нее был возлюбленный, страстно ею любимый, который как раз скончался накануне их помолвки. Все это воспринималось им также (это не-

¹ Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания (по материалам семейного архива). Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 98–99.

обходимо подчеркнуть) сквозь призму поэзии Гёте и Шиллера. Вот какова ситуация: «Писано 20 марта, 8 утра. Описание четверга.

Вас. Дим. Чесноков упросил О. С. быть у них в четверг, потому что Д. Гавр. именинница. Я пришел, когда их еще не было. Наконец приехали. Пошли мы из флигеля в дом. О. С. села на креслах с правой стороны дивана, Катерина Матв. на диване, я подле нее. О. С. была весьма грустна. Отчего? Она получила ныне письмо, в котором писали ей о смерти Рычкова и еще какого-то Виктора, **“которого я любила”**, сказала она. **Она на память сделала его портрет и показала мне. Она была чрезвычайно грустна, и в весь вечер часто у нее показывались слезы, наконец, она несколько раз принималась плакать** (выделено мной. — *В.К.*), несколько раз уходила, чтоб посидеть одной. Я не сумел заставить ее высказаться мне и тем сколько-нибудь облегчить свою печаль. Она в весь вечер избегала меня. Только раз удалось мне говорить с ней и то так неловко, что она не поняла моих настоящих чувств. Это было вот как. Раньше, часов в 7 ½, она ходила по зале с Кат. Матв., я присоединился к ним. Кат Матв. стала говорить с Ростиславом, я остался с ней. “Кто ж умер? брат?” — “Да”, — сказала она, нехотя. “В таком случае эта печаль вовсе не так серьезна и долга, как я думал. Мы родных любим так, что потеря их не так глубоко огорчает нас. Вот если бы это был посторонний, дело другое”, и т.д. Я говорил несколько минут в этом роде, но так глупо, что она приняла это за выражение ревности и ушла. Я после сказал это, что понял, что она думает, что я ревную, и уверял, что этого нет, что это только выражение одного сочувствия, по которому все, что радует ее, радует меня, и что огорчает ее, огорчает меня. Она не поверила. И скоро уехала. Я должен был остаться, чтобы не показать виду, что был только для нее; не посмел даже проводить ее. Что теперь делать? Ныне в перемену позову Венедикта к себе и поговорю с ним, если можно с ним говорить серьезно.

Что возбудила во мне ее печаль о смерти этого молодого человека? Нет, вовсе не ревность. Нет, одну только скорбь о ее скорби. Но правда и то, что я сказал ей: “Кроме того, что я огорчен вашею печалью, я огорчен еще тем, что вы не доверяете мне, что вы не видите, какое чувство возбуждает во мне ваша печаль о нем, и считаете это чувство ревностью”» (*Чернышевский*, I, 522).

Все в контексте немецкой идеи романтической вечной женственности.

«Мне жаль ее (маменьку. — *В.К.*), всего более жаль потому, что я покидаю ее, которая живет одним мною, покидаю для О.С. которая не чувствует ко мне никакой особой привязанности. Мне

совестно перед ней, что я так мало люблю ее в сравнении с О.С., которая слишком мало любит меня. <...> Она говорила вчера: “Теперь я желала бы умереть. Это первая потеря человека, близкого моему сердцу”. —

Es rinnet der Tränen vergeblicher Lauf,
Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf;
Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust
Nach der süßen Liebe verschwundener Lust,
Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.
Laß rinnen der Tränen vergeblichen Lauf,
Es wecke die Klage den Toten nicht auf!
Das güsseste Glück für die traurende Brust
Nach der schonen Liebe verschwundener Lust
Sind der Liebe Schmerzen und Klagen¹.

О, буду плакать вместе с тобою о твоём погибшем милом, моя милая, моя милая, милая!

И я плачу в самом деле»
(Чернышевский, I, 525).

Замечу, что Чернышевский понимал, что будут и другие у нее любовники, заранее понимал это и говорил себе: «Что будет после? Может быть, ей надоест волокитство, и она возвратится к соблюдению того, что называется супружескими обязанностями, и мы будем жить без взаимной холодности, может быть даже, когда ей надоедят легкомысленные привязанности, она почувствует некоторую привязанность ко мне, и тогда я снова буду



*Ольга Сократовна Васильева,
в которую влюбился НГЧ*

¹ Напрасно лить слезы, скорбь не воскресит мертвых. Но скажи, что утешит и исцелит грудь после исчезновения радостей сладкой любви: я, святая, не откажу в том. — Пусть напрасно струятся слезы, и скорбь не воскресит умершего, но самой сладкой отрадой для скорбящей груди после исчезновения радости прекрасной любви являются скорби и сетования любви. — Ш и л л е р (I, 525).

любить её, как люблю теперь» (*Чернышевский*, I, 489). Тем не менее он принимал решение о браке как воин, который принимает вызов на бой. Поэтому так раздражал его впоследствии герой тургеневской «Аси», не имевший никаких преград для брака с любимой и любящей его девушкой, но струсивший в последний момент. На рубеже 50–60-х годов в отечественной публицистике настойчиво обсуждался женский вопрос. Можно построить градацию высказанных точек зрения – от вульгарно-материалистических концепций М. Михайлова и В. Слепцова до глубокой метафизики Вл. Соловьёва и Чернышевского, не раз обращавшегося к толкованию темы Любви. Для Чернышевского женщина всегда права, в этом нельзя не увидеть отголосок идеи вечной женственности. Рассуждая в 1858 г. о тургеневской повести «Ася» («Русский человек на rendez-vous»), Чернышевский приходит к выводу, что решимость на Любовь равна решимости на коренную перестройку всего внутреннего состава человека, побуждающая его к творческой деятельности. Герой повести убегает от Аси, потому что «он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все его отношения и дела, к которым он привык. <...> Он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск...» (*Чернышевский*, V, 168).

* * *

Он ссорился с родителями, плакал, грозил самоубийством и в конце концов выбил от них разрешение на брак. Но и Ольге Сократовне он задал непростую задачу, пугая ее, что если будет бунт, он к нему примкнет, что он такое говорит в гимназии, что его в любой момент могут арестовать жандармы. На мой взгляд, здесь было своего рода павлинье хвостовство, чтобы заинтересовать своей особой полюбившуюся ему девушку, которая уже знала других, может, более интересных мужчин. Итак, сделав ей предложение, он произносит слова, очерчивающие вокруг его головы героический ореол, которого потом он всегда стыдился, ссылаясь на судьбу Герцена, однако несколько более, чем надо героизируя ее (как бы перенося ответ ее на себя). Итак, 19 февраля 1853 г., в тот самый день, когда он сделал ей предложение, он говорит: «Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый христианин каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».

Она почти засмеялась, — ей показалось это странно и невероятно.

“Каким же это образом?”

“Вы об этом мало думали или вовсе не думали?”

“Вовсе не думала”.

“Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие”.

“Вместе с Костомаровым?”

“Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня”.

“Не испугает и меня”. (О, боже мой! Если б эти слова были сказаны с сознанием их значения!)

“А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей”.

(На ее лице были видны следы того, что ей скучно слушать эти рассказы.)

“Вот видите — вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого, я не могу говорить.”

“Довольно и того уже, что с моей судьбой связана судьба маменьки, которая не переживет подобных событий”. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?”

“Помню”.

“Он был весьма богатый человек. Женился по любви на девушке, с которою вместе воспитывался. Через несколько времени являются жандармы, берут его, и он сидит год в крепости. Жена его (извините, что я говорю такие подробности) была беременна. От испуга у нее родится сын глухонемой. Здоровье ее расстраивается на всю жизнь. Наконец, его выпускают. Наконец, ему позволяют уехать из России. Предлогом для него была болезнь жены (ей в самом деле были нужны воды) и лечение сына. Он там продолжает писать <...> о России. Живет где-то в сардинских владениях. Вдруг Людовик Наполеон, теперь импера-

тор Наполеон, думая оказать услугу Николаю Павловичу, схватывает его и отправляет в Россию. Жена, которая жила где-то в Остенде или в Диэппе, услышав об этом, падает мертвая. Вот участь тех, которые связывают свою жизнь с жизнью подобных людей. Я не равняю себя, например, с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю им <...> и что я должен ожидать подобной участи”» (*Чернышевский*, I, 418–419). Этот текст всегда приводится, когда хотят подчеркнуть революционность Чернышевского, словно не замечая, что вся его последующая деятельность была направлена против бунтарских и революционных идей, направлена на реформаторские проекты. Хотя арест и каторга революционную версию вроде бы подтверждают. Но это внешний рисунок судьбы, скрывающий ее реальный смысл.



*А.И. Герцен. 1847.
Литография Л. Ноэля*

Но любопытно, **зафиксируем это**, что выбрав семейную жизнь, сделав предложение, он категорически отказывается от своей юношеской бравады. Сразу после их разговора о возможном браке он записывает в дневнике: «Я стал решительно блажен. И это продолжается с той минуты до сих пор. И чем больше идет время, тем глубже становится мое счастье тем, что может быть я буду ее мужем. Оно теперь уж вошло в мою натуру, стало частью моего существа, как мои политические и социальные убеждения. К Ник. Ив. я вошел в решительно радостном расположении духа, я чувствовал, что мое сердце стало не таково, как было раньше. “Я теперь решительно изменился”, — сказал я ему, хотя вовсе не хотел высказываться, но не мог — от избытка сердца говорили и уста. “И эта перемена все будет усиливаться. Мое презрение к самому себе, источник моего ожесточения, причина того, что я покрываю ядовитым презрением все, прошло. Теперь я почти доволен собою, потому что на днях поступил почти реши-

тельно, как порядочный человек, и в мире с самим собою. Я теперь не хочу ругать никого”. И я сдержал свое слово, не хотел даже смеяться над Богом и будущей жизнью, от чего не удержался бы раньше. Говорил потом с восторгом о том, что высшее счастье есть семейная жизнь» (*Чернышевский*, I, 501). Становясь взрослым, он возвращается к себе прежнему, к своим впитанным в отцовском доме идеалам. Мальчишество уходит, он перестает зубоскалить по поводу Бога, снова принимая его всерьез.

Она согласилась с его взглядом на жизнь, позиция будущего мужа немного льстила ей. Но несмотря на нарисованный им вокруг своей головы героический ореол, она не могла поменять свою натуру. В рукописных материалах Ф.В. Духовникова общается такая, к примеру, подробность: «Будучи уже невестою Ч., О.С. раз уехала в Покровскую слободу с одним молодым человеком Соколовским и каталась там долго. Когда ей заметили на неприличие ее поведения как уже невесты, то она ответила: “Я еду, а Соколовский привязался ко мне, встал на запятки и начал разговаривать со мною. Не прогнать же мне его? Да мне весело было с ним”» (ГАСО, Ф. 407, оп. 1, ед.хр. 2110, л. 192 об.)»¹. Ссылаясь на мнение тетки Чернышевского, Александры Егоровны, В.А. Пыпина писала: «В немногие дни, которые провели в Саратове молодые, отсутствие у Ольги Сократовны сердца стало несомненным для Александры Егоровны, и в душе её зашевелился никогда для неё не разрешившийся вопрос: как мог Николая полюбить такую не подходящую для него женщину?»²

Планируя женитьбу на Ольге Сократовне Васильевой, как акт самореализации, Чернышевский записывает в дневнике: «Я должен стать женихом О.С., чтобы получить силу действовать, иначе – <...> Мне должно жениться уже и потому, что через это я из ребенка, каков я теперь, сделаюсь человеком. Исчезнет тогда моя робость, застенчивость и т.д.» (*Чернышевский* I, 482–483). И робость исчезла. Брак был назначен на 29 февраля. Потрясенная помолвкой сына, 19 апреля скончалась его мать, потом любимая бабушка. И тем не менее венчание состоялось в назначенный Ольгой Сократовой день. Саратовцы были потрясены. А через две недели молодые уехали в Петербург.

¹ Цит. по: *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978. С. 312.

² *Пыпина В.А.* Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания (по материалам семейного архива). Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 21.

Был и еще момент в решении жениться именно на этой женщине. Ольга Сократовна была женщина с сильным характером. В доме родителей НГЧ привык, что хозяйка в доме мать, что отец ее слушается во всех бытовых проблемах. Его двоюродная сестра вспоминала: «Что Евгения Егоровна скажет, то Гавриил Иванович и выполняет». И объявляя права женщины как главной в доме, по сути дела он прикрывал свой домашний опыт новыми словами: «Я всегда должен слушаться и хочу слушаться того, что мне велят делать, я сам ничего не делаю и не могу делать — от меня должно требовать, и я сделаю все, что только от меня потребуют; я должен быть подчиненным <...> так и в семействе я должен играть такую роль, какую обыкновенно играет жена, и у меня должна быть жена, которая была бы главою дома. А она именно такова. Это-то мне и нужно» (*Чернышевский*, I, 473—474). Но почему? Потому что-де всегда женщина была в подчинении и чтобы выправить положение надо перегнуть палку в другую сторону. «По моим понятиям женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться» (*Чернышевский*, I, 444).

Брак был фантазмагорическим. Любить — это одно, выдержать жизнь в браке — это совсем другое. Чернышевский выдержал брак, хотя разность жизненных установок почти сразу стала понятна. Его мать, принадлежавшая всю жизнь одному мужчине, видела разгульность невесты сына, не выдержала и умерла после помолвки. Но сын, раз приняв обязательства перед Ольгой, уже выполнял их всю жизнь. Хотя старался так построить жизнь, чтобы общение было по минимуму. Не зная других женщин, он всех их считал такими же, но свое преимущество видел в красоте жены. Испытание браком сильнее, чем испытание любовью. Чернышевский его выдержал. Благородство его души, воспитанное в детстве и закаленное несчастьями, оказалось сильнее бед, обрушившихся на него.

Владимир Соловьёв, много размышлявший и о вечной женственности и о смысле любви, написал гениальный трактат, в котором многое может рифмоваться с судьбой Чернышевско-

го, где, к примеру, проговорил такое: «Но чтобы не оставаться мертвою верой, ей нужно непрерывно себя отстаивать против той действительной среды, где бессмысленный случай созидает свое господство на игре животных страстей и еще худших страстей человеческих. Против этих враждебных сил у верующей любви есть только оборонительное оружие – терпение до конца. Чтобы заслужить свое блаженство, она должна взять крест свой. В нашей материальной среде нельзя сохранить истинную любовь, если не понять и не принять ее как нравственный подвиг. Недаром православная церковь в своем чине *брака* поминает святых *мучеников* и к их венцам приравнивает венцы супружеские»¹. **НГЧ и носил венец мученика и как муж и как безвинный политический страдалец.**

¹ Соловьёв В.С. Смысл любви // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. СПб.: Промисвещение, б.г. С. 49.

Глава 5

СВОЙ ТОН

Начало деятельности

Он уезжает в Петербург в мае 1853 г., не только женатым человеком, избавившимся от мальчишеских выходок, возвратившим себе веру в Бога, но и преодолевшим свой ложно революционный пафос. В прекрасной книге В.Ф. Антонова автор обращает внимание на одну из последних дневниковых записей Чернышевского о его разговоре с О.С., в котором НГЧ делает «чрезвычайно важное заявление, которое не попадало в книги о нем (курсив мой. — В.К.). Предельно драматизировав во время этого разговора положение, вдруг сказал: «...мне должно жениться, чтоб стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собой. Иначе почему знать? Разве я не рискну? Должна быть какая-то защита против демократического, против революционного направления, и этою защитою ничто не может быть, кроме мысли о жене» (I, 466, курсив мой. — В.К.). За сим сыграли свадьбу и с юношеским революционаризмом было покончено навсегда¹. По приезде в Петербург 13 мая Чернышевские до приискания удобной квартиры остановились у Ивана Григорьевича Терсинского по адресу Офицерская улица, 45. Двоюродная сестра НГЧ Любинька, жена Терсинского, умерла годом раньше, но родственные отношения Терсинского с Пыпиными и Чернышевскими сохранились. В Петербурге с помощью старого знакомого, писателя и преподавателя И.И. Введенского он получает в августе место преподавателя русской словесности во 2-м кадетском корпусе, где проработал более года, но был вынужден уйти в результате столкновения с дежурным офицером. Стоит, однако, отметить,

¹ Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский: Общественный идеал анархиста. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 82.

что оттуда пошла его известность среди русского образованного офицерства.

Он при этом не оставлял мысли об академической и литературной деятельности. Как мы помним, работа «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» была начата Чернышевским под руководством профессора И.И. Срезневского; он работал над ней долго и в Петербурге, и в Саратове, рассчитывая, что помимо всего прочего эта работа поможет его академической карьере. Вот строчки из его дневника: «21 год моей жизни. 12 июля 1848, 2 часа ночи. — Встал, стал до чая разрезывать летопись Нестора (завещание Мономаха), дорезал». «13-го [августа], 3 часа — Утром писал Нестора». «20-го [августа]. — Весь день как-то Нестор не писался, только докончил прежний полулист и начал дописать до конца 78-ю стр.» (Чернышевский I, 90). Из Саратова Чернышевский привез законченный «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» и отдал его Срезневскому для напечатания в «Известиях Академии наук». Работа была принята Срезневским и опубликована в 1853 г. в «Прибавлениях» ко 2-му тому «Известий Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности».

Он ездил по делам и возил жену с собой по именитым ученым своим знакомым. Его радовало, что ее хорошо принимают.

25 мая 1853 г. он писал отцу: «Семейство Срезневского, особенно сам он и его мать, понравились Ольге Соколатовне. Срезневский даже бегает с нею в перегонки по Павловскому парку. <...> Мать Срезневского от души радуется, что у меня такая жена, и говорит, что мы с нею будем очень счастливы. Словарь мой к Ипат. летописи скоро начнет печататься. Это будет самое скучное, самое неудобочитаемое, но вместе едва ли



*Ольга Соколатовна
в costume амазонки*

не самое труженническое изо всех ученых творений, какие появлялись на свет в России» (*Чернышевский*, XIV, 228). Но при этом мысли о работе и заработке не покидали его: «В начале июня примусь за другие работы, от которых надеюсь получить деньги. Срезневский постарается, чтобы мне дали денег и за словарь» (*Чернышевский*, XIV, 228). Отцу он писал, что разочаровался в этом своем творении, что вряд ли оно обратит на себя внимание. Поэтому он написал в разделе Библиография «Отечественных записок» авторецензию без подписи. К этому же приему он прибег чуть позже в связи с отсутствием печатных реакций на его диссертацию. Он писал об «Опыте словаря»: «*Опыт Словаря к Ипатьевской летописи* г. Чернышевского первый после словаря к “Остромирову Евангелию” труд этого рода в русской литературе. Поэтому обратим внимание на план и исполнение этого труда, предполагая, что автор не оскорбится нашими замечаниями. <...> Мы совершенно согласны с г. Чернышевским в необходимости отличать от народных русских слов слова, заимствованные в наши летописи из церковнославянских книг, и слова, составленные нашими книжниками в подражание греческим или просто для витиеватости» (*Чернышевский* II, 342–343). Он немного критикует, но скорее всего высказывает пожелания сделать нечто, в чем его остановил осторожный Срезневский.

Интенсивность его работы поражает. А главное – поразительные и достаточно глубокие знания в очень многих областях культуры – античной, древнерусской, западноевропейской, русской XVIII века и современной. При этом работа над диссертацией по эстетике. Но уже не у Срезневского, а у Никитенко. Здесь и древнерусская книжность, и анализ «Федона» Моисея Мендельсона, взятого в контексте немецкой культуры, и разнообразные словари, где в рассуждении об этимологии слов он прибегает то к латыни, то к немецкому, то к французскому языкам, то песни разных народов, то разбор обращения русских ученых к славянским древностям на фоне «разысканий Гримма о немецких древностях» (*Чернышевский* II, 371), то об историческом значении царствования Алексея Михайловича, то о французской мелодраме Э. Ожье, то о прозе А. Погорельского и т.п. При этом он понимал, что может делать больше и решительнее влиять на русскую духовную жизнь; отцу писал в декабре 1853 г.: «Но я слишком заговорился о журналистике, в которой до сих пор я лицо еще незаметное» (*Чернышевский*, XIV, 256).

А что же жена? Как и хотела – веселилась. Деньги Чернышевский старался изо всех сил зарабатывать, но помощницы

в ней не нашел. Его горечь невольно сказалась в одной из рецензий, где он, разбирая французскую пьесу, заговорил о жене героя: «Жюльен занят своими тяжёлыми делами (он адвокат) и устройством будущности своей милой жены, своей милой дочери; он говорит об этом с Габриэлью. Габриэль и не слушает его: она мечтает о любви, она тоскует о том, что муж из-за дел забывает о ней. Прекрасно; но заботится ли она сама о муже, думает ли о чем-нибудь, кроме романтических до пошлости прогулок при свете луны? Нет! она только бранит его за то, что он принес в приемную комнату свои “сальные бумаги” (вероятно, для того, чтобы посидеть вместе с нею); у мужа на рукаве оторвалась пуговица, он просит жену пришить ее — Габриэль отвечает, что завтра позовет швею» (*Чернышевский II*, 368—369) и т.п. Так была построена и его жизнь: он, не разгибаясь в своей комнате, писал, читал верстку, правил, а О.С. принимала гостей и, когда появились деньги, ездила кататься на пролетках. Но он все равно любил ее. Приведенные мною слова — это своего рода проговорка, обнаружение подсознательного.

Он любил свою красавицу-жену, несмотря на ее легкомыслие, и старался приятелям и знакомым показать ее привлекательные черты. Поначалу Чернышевские жили весьма скудно, дорожа каждой копеей, из 40 рублей, получаемых в месяц за уроки в корпусе, большая часть уходила на стол и квартиру. Всего только два раза побывали они в театре в первый год своей петербургской жизни. Из университетских друзей Чернышевского посещал его Михаил Ларионович Михайлов, поэт и большой повеса. Ольга Сократовна совершенно вскружила ему голову, он написал ей в альбом стихотворение «Портрет», но так, чтобы был понятен платонический характер его восхищения:

У нее, как у Хитаны,
Взор, как молния, блестит,
Как у резвой польской панны
Голос ласково звучит;
Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит.
Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей;
Но других любить решиться
Нет возможности при ней.

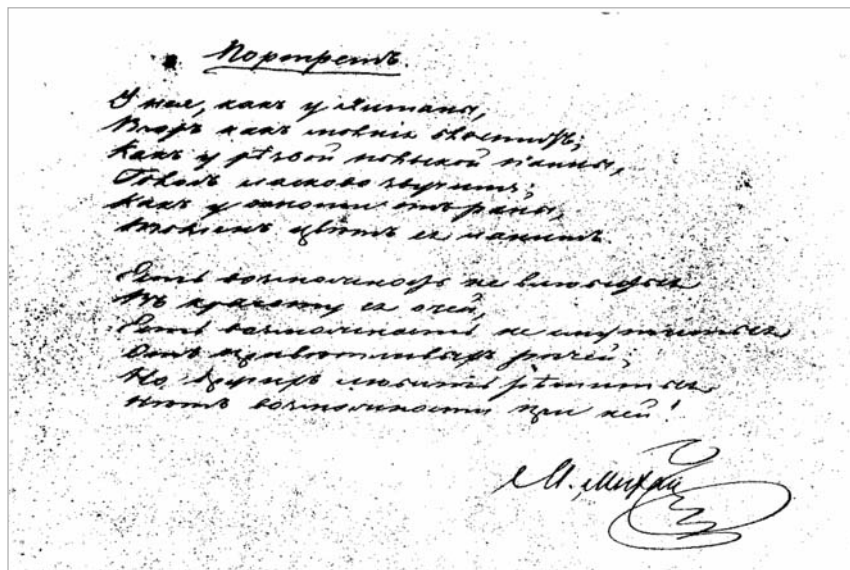


Михаил Ларионович Михайлов
(1829–1865), поэт и переводчик

Приведу подлинник стихотворения, переданный автору 23.10.2015 г. в музее Н.Г. Чернышевского.

В августе Чернышевские переехали в квартиру Введенского на Петербургской стороне, близ Тучкова моста. Введенскому, у которого было трое детей, квартира эта стала тесна, и он перебрался на другую.

Отцу Чернышевский писал 16 ноября 1854 г.: «Я почти нигде не бываю, кроме как у людей, к которым приводят дела — у Краевского и Некрасова, которые доставляют возможность жить, и оба любят меня, если не за другое что, то за точность в исполнении того, что нужно, всегда к сроку; потом у Срезневского и Никитенки, чтобы не разрывать связей, которые могут пригодиться. На днях отдаю свою диссертацию на утверждение факультета; теперь есть средства напечатать ее»



(*Чернышевский*, XIV, 276). Жизнь Чернышевских в первые два года их пребывания в Петербурге шла не очень шумно, скорее уединенно. Каждый месяц Чернышевскому необходимо было написать не менее 120 страниц: кроме статей и рецензий в «Отечественных записках» и «Современнике», регулярно печатались в «Отечественных записках» переведенные для этого журнала романы и повести с английского (скажем, огромные романы Диккенса).

По заведенной им системе, в первую половину месяца он обычно читал то, о чем надобно было писать, а во вторую половину — писал. Лишь иногда позволял он себе отдохнуть день-другой в начале нового месяца, закончив всю необходимую работу по журналу. В такие дни ездили они с Ольгой Сократовной куда-нибудь за город: либо в Павловск, либо в Екатерингоф. Здесь мне хотелось бы еще раз обратить внимание читателя на полный его отказ от молодежных выходок, от молодежной бравады. 21 сентября 1853 г. он писал отцу: «Я не имею ни времени, ни охоты развлекаться чем бы то ни было. У меня со времен женитьбы нет никаких мыслей и желаний, кроме тех, какие бывают у пятидесятилетних людей; я решительно стал немолодым человеком по мыслям, и от молодости остается во мне только одна неопытность, больше ничего. Мне скучны даже разговоры, какие бы то ни было, кроме деловых разговоров; у меня нет охоты видеться с кем бы то ни было, кроме нужных для меня людей. Ко всему, кроме семейной жизни, у меня пропало расположение» (*Чернышевский*, XIV, 242).

При этом в каждой своей даже небольшой статье он высказывал и доказывал те взгляды, которые он уже выработал и которые проводил всю жизнь. Как позже писал Н.В. Шелгунов: **«Белинский складывался и формировался на глазах своих читателей и умер, не окончив развития. Чернышевский выступил готовым публицистом и сразу установил свой тон»**¹. Что же это был за тон? Попробуем посмотреть на рецензии по поводу перевода «Поэтики» Аристотеля, в которой он не только показал себя знатоком античной философии, древнегреческого языка, но уже высказал взгляды, которые развивал с некоторыми вариациями и в диссертации и в больших циклах своих статей. Он писал отцу 10 октября 1854 г.: «Кроме того, мною написана статья об Аристотелевой пиитике, помещенная в № IX «Отеч. записок» в «Критике»» (*Чернышевский*, XIV, 271).

¹ Шелгунов Н.В. Первоначальные наброски // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 178. (Выделено мною. — В.К.)

Платон и Аристотель как программные фигуры современности

Чтобы легче войти в проблематику статьи, начнем с ошеломленных откликов переводчика и комментатора Ордынского: «...Статья “От. Зап.”, – писал Ордынский, – заслуживает (с некоторой стороны) внимания: она лучше многих характеризует то, что у нас теперь часто слывет под именем ученой критики. В ней, как и во многих так называемых критических статьях, и посторонних разглагольствований достаточно (если же собрать все, что сказано собственно о моей книге, то едва ли выйдет полторы страницы), и разных намеков, для немногих понятных, довольно, и ученой важности изобильно. Словом, все есть, кроме дела. Особенно же отличается она непостижимым равнодушием, можно сказать – бесчувственностью к истине. Эта болезнь, к сожалению, действует в настоящее время эпидемически. Для предохранения тех, которые не подверглись еще ей, я решаюсь сказать несколько слов о статье “От. Зап.”. Сама по себе она не стоит ответа»¹.

Дальше в заметке Ордынского шли уверения, что рецензент конечно же не читал его книги («Нет, не читал! Это по всему видно. Может быть, перелистывал, но читать не читал»²), иначе не назвал бы его, Б.И. Ордынского, толкование Аристотеля «личным» и «оригинальным». Это возмутило автора, специалиста в области древнегреческого языка и словесности:³ «Можно ли было думать, что кто-нибудь из пишущих в каком бы то ни было журнале не знает, какое мнение называется личным, оригинальным? Рецензент “От. Зап.” этого не знает. Объясним же ему. Личным называется мнение, только пишущему и говорящему принадлежащее; оригинальным, которое резко от других отличается. Мое мнение о “Пиитике” Аристотеля не отличается от мнений знаменитого Лессинга, Германа, Раумера, Еггера, Дюнцера и других, – высказано было и у нас, лет двадцать тому назад, С.П. Шевырёвым; а рецензент “От. Зап.” называет его лич-

¹ Москвитянин, 1855. № 2. С. 144.

² Там же. С. 145.

³ Ордынский сначала был преподавателем греческого языка в 3-й московской гимназии при Московском университете, впоследствии – профессором римской словесности Харьковского и Казанского университетов. Среди опубликованных им сочинений, помимо перевода и комментариев к «Поэтике» Аристотеля, можно назвать: «Первоначальное руководство к этимологии греческого языка, составленное Б. Ордынским» (М., 1853), «“Характеры” Феофраста» (Современник. 1850. № 9), «Греческие женщины» (1850) и др.

ным, оригинальным!.. Мой взгляд на “Пиитику”, в сущности, ничем не отличается от Дюнцерового; мое рассуждение есть не что иное, как осторожно и безо всяких претензий на оригинальность написанное толкование “Пиитики” Аристотеля»¹.

Смысл заметки Ордынского не в несогласии с эстетической позицией оппонента, а в неприятии определенного типа мышления, которое лишь «слывет под именем ученой критики», но таковой не является. И интонация, и эпитеты заметки говорят, что Ордынский иронизирует над ученостью своего рецензента. Рецензия Чернышевского и вправду меньше всего напоминала академический разбор книги, какой мог бы удовлетворить узкого специалиста. «Знаточества» в этой рецензии, безусловно, не было. Но было в ней нечто иное, что как раз и помогают понять претензии Ордынского.

Что же именно? Во-первых, то, что рецензент действительно лично и оригинально подошел к тем «вечным вопросам», которые, по мнению Ордынского, допустимо только осторожно, весьма осторожно толковать. Во-вторых, то, что рецензент, Чернышевский, имел «дерзость» выдвинуть свою концепцию искусства, сформулировать некие законы, которым искусство должно подчиниться, «спекулятивно» используя при этом авторитет древнегреческих мыслителей. Печалившийся о том, что «в прошедшие столетия классическая филология имела более практическое, более применительное к жизни значение, чем в настоящее столетие»², Ордынский не разглядел живого использования классики. А между тем на первых же страницах своей рецензии Чернышевский как раз и заявил о действенной актуальности классического наследия: «Чтоб показать, какой интерес и в наши времена еще имеют эстетические понятия этих людей (Платона и Аристотеля. — В.К.), живших до нас за 2 200 лет, попробуем изложить в кратком очерке самые общие, самые отвлеченные вопросы их эстетики: “об источнике и значении искусства”. Конечно, в современной теории решение этих вопросов представляет гораздо более живого и интересного, но... кто, по вашему мнению, выше: Пушкин или Гоголь? Я вчера слышал спор об этом, и на него готовы отвечать Платон и Аристотель. В самом деле, решение зависит от понятия о сущности и значении искусства. Послушаем же мнения об этом предмете наших великих учителей в деле эстетического суда» (*Чернышевский*, II, 267). Чернышевский видел историю как единый процесс ста-

¹ Москвитянин. 1855. № 2. С. 144.

² Современник. 1850. № 9. С. 72.

новления человеческого рода — процесс сложный, с откатами, спадами, но вместе с тем продолжающийся, — а потому актуальность древних мыслителей он понимал не как начетчик, повторяя слова Шиллера: «wir, wir leben / Und der lebende hat Recht» (*Чернышевский*, II, 370; т.е. *мы, мы живем, а живущий прав*).

Какие в самом деле «посторонние разглагольствования» увидел Ордынский в рецензии Чернышевского? «Предложенная» рецензенту тема — это эстетика Аристотеля и комментарии к ней. В комментариях никаких рассуждений о платоновской эстетике нет. А между тем рецензент половину своей статьи посвящает выяснению эстетических взглядов Платона, а не Аристотеля. Действительно, Чернышевский писал, что у Платона больше, нежели у Аристотеля, «найдется истинно великих мыслей об искусстве» (*Чернышевский*, II, 267). И высказывания Платона об искусстве тем важнее, что «Аристотель, как эстетик, принадлежит временам падения искусства: вместо живого духа, у него ученые правила, холодный формализм» (*Чернышевский*, II, 270). А Платон, по мысли Чернышевского, «извлекает из своего понятия об искусстве живые, блестящие, глубокомысленные заключения; опираясь на свою аксиому, он определяет значение искусства в жизни человеческой, его отношения к другим направлениям деятельности» (*Чернышевский*, II, 268). Взаимоотношения искусства и действительности, как известно, являются основной проблемой эстетики самого Чернышевского. В платоновской концепции искусства Чернышевский находил близкое себе по духу утверждение, что искусство должно формировать гражданина общества, а не довлеть себе. «...Прежде всего, — заявлял Чернышевский, — Платон думал о том, что человек должен быть гражданином государства, не мечтать о ненужных для государства вещах, а жить благородно и деятельно, содействуя материальному и нравственному благосостоянию своих сограждан. Благородная, но не мечтательная, не умозрительная (как для Аристотеля), а деятельная, практическая жизнь была для него идеалом человеческой жизни. Не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел он на науку и на искусство, как и на все. Не человек живет для того, чтобы быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим, Аристотель), а наука и искусства должны служить для блага человека» (*Чернышевский*, II, 268–269).

Это была, пожалуй, первая в России попытка этико-социологического прочтения эстетических взглядов Платона, поэтому Чернышевский не мог миновать полемики с устоявшейся

точкой зрения: «Платона многие считают каким-то греческим романтиком, вздыхающим о неведомом и туманном, чудном и прекрасном крае, стремящимся “туда, туда” (dahin, dahin), неизвестно куда, только далеко, далеко от людей и земли... Платон был вовсе не таков. Действительно, он был одарен возвышенной душой и все благородное и великое увлекало его до энтузиазма; но он не был праздным мечтателем, думал не о звездных мирах, а о земле, не о призраках, а о человеке» (*Чернышевский*, II, 268).

Но кто же противник?

Чтобы найти адресата, не надо далеко ходить. Обратимся снова к Ордынскому. Ведь Ордынский оскорблен был не только за академическую науку вообще и за себя лично, но и за непосредственных своих учителей. Среди таковых он называет нескольких немецких ученых, а из русских С.П. Шевырёва, «лет двадцать тому назад» высказавшего некоторые идеи общего порядка по поводу древнегреческой эстетики. Книга С.П. Шевырёва «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов», опубликованная в 1836 г., действительно оставалась в течение нескольких десятилетий наиболее крупным в России исследованием в области истории мировой эстетической мысли. В третьей статье «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевский писал, что этот труд «до сих пор остается из ученых сочинений г. Шевырёва лучшим в научном отношении» (*Чернышевский*, III, 90).

В этой книге мы находим тот взгляд на Платона, против которого выступает Чернышевский в своей рецензии. Разбирая мнение Платона «о происхождении поэзии», Шевырёв писал: «Началом этого искусства полагает он (Платон. — В.К.) не способность, врожденную человеку, подражать предметам, его окружающим, а вдохновение, посылаемое ему из того божественного мира, которого он был прежде причастник. Мы видим также, что это учение согласно с учением Платона о красоте, идея которой не есть приобретение человека извне, а сокровище, врожденное душе его и развиваемое только влиянием прекрасных явлений природы»¹. Но Платон именно потому, что поэтическое вдохновение, по его мнению, неуправляемо², предложил изго-

¹ Шевырёв С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М.: тип. Н. Степанова, 1836. С. 36.

² В платоновском «Ионе» Сократ говорит: «Поэт — это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и иступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать (Ион, 534 В—С—Д).

нять поэтов из разумно устроенного государства. Шевырёв же ограничивает эстетическую теорию Платона посылкой о боговдохновенном художнике, не знающем преград в своем творчестве, видит в этом великое достижение и ценность платоновской эстетики, не принимая выводы из нее, сделанные в свое время древнегреческим мудрецом. Эта романтическая интерпретация Платона была закономерна для Шевырёва, который складывался как мыслитель под влиянием немецких романтиков и Шеллинга¹. Поэтому в теории Платона увидел он предвестие немецкой романтической школы: «...страна, которой назначено было постигнуть глубоким сознанием характер нового христианского искусства, явила и новую теорию, согласную с его духом и более родственную с учением Платона, в коем заключалось как будто предчувствие идеально германской теории)»².

Рецензия Чернышевского не касалась, разумеется, всех аспектов мировоззрения Шевырёва (подробный анализ его взглядов Чернышевский даст позднее), но в этой рецензии есть явное противопоставление своей теоретической позиции – позиции Шевырёва. Как известно, в отличие от славянофилов (К. Аксакова, И. Киреевского, А. Хомякова), Шевырёв не принимал общины, подчиняющей личность хоровому началу, а искал основную константу России в российском самодержавии, которое, по его мнению, должно было содействовать развитию личностного начала в русском народе. Вопрос о том, самодержавное государство или община помогают становлению личности, Чернышевский считал первостепенным вопросом, проводящим водораздел между разными направлениями русской мысли.

Полагая, что государство должно поддерживать личность, Шевырёв не понял и не принял позиции Платона, изгнавшего поэтов и художников из своего идеального государства. Он счёл это явлением «местного» порядка. «Убедимся в том, – писал Шевырёв, – что этот приговор сказан там, где было излишество Поэзии, что такое противодействие было необходимо; что Платон не произнес бы его во всяком другом месте. Философ этим разительным примером убеждает нас в том, что кроме истины всегдашней и безусловной есть истина местная, которой

¹ Начиная свою литературную деятельность с перевода Ваккенродера и Тика, Шевырёв в конце жизни, оценивая немецкие влияния на русское общество, писал: «Учение Фихте не имело у нас особых последователей, но зато учение Шеллинга имело многих. К нему принадлежат наши наставники и все наше поколение» (*Шевырёв С.П.* Лекции о русской литературе. СПб.: типография Императорской Академии Наук, 1884. С. 143).

² *Шевырёв С.* Теория поэзии. С. 81.

должен иногда приносить жертву и философ — жрец истины всемирной»¹.

Чернышевский же находит, что взгляд древнегреческого мудреца остается справедливым и для Нового времени. «Полемика Платона против искусства, — замечает Чернышевский, — чрезвычайно сурова, правда, но порождена высоким и благородным взглядом на человеческую деятельность. И легко было бы показать, что многие из строгих обличений Платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству» (*Чернышевский*, II, 271). Почему, в самом деле, Чернышевский апеллирует к Платону, чтобы сказать о современности? Может быть, и вправду платоновское понимание искусства определяется сугубо «местными», «органическими» условиями и некорректно в научном отношении применять его идеи к другим «местным» условиям. Для Шевырёва такой подход к классике безусловно невозможен. Он признает только ограниченное влияние классики — или вообще иной культуры — на современность. Но все определяется в таком случае лишь «местными» условиями, а человеческая культура лишается единого корня. Более того, подобный подход противоречит и шевырёвской идее органичности происходящих в каждой национальности процессов, ибо обращение к чужеземному опыту объясняется не внутренними потребностями самой культуры, чувствующей свое родство со всем человечеством, а именно тем самым механическим влиянием чужеземцев, против которого и боролся Шевырёв.

Чернышевский же рассматривает историю человечества как единый процесс: все происходившее когда-то не имеет для него только местного значения, но, согласно закону диалектики, повторяется, в измененных, правда, формах, в иное время и в иной культуре. Каждая культура, и русская в том числе, рассматривается им как проходящая в своем развитии основные, общие всему человечеству этапы, в какой-то мере повторяя их, но в усложненном виде. Чернышевский писал: «...сущность исторического развития в новом мире служит как бы повторением того самого процесса, который шел в Афинах и в Риме; только повторяется он гораздо в обширнейших размерах и имеет более глубокое содержание» (*Чернышевский*, VII, 31).

В самом деле — Древняя Греция эпохи Платона переживала кризис, связанный с распадом города-государства, гибелью остатков общинно-родового строя, окончательным крушением

¹ Шевырёв С. Теория поэзии. С. 48.

полисной идеологии. Это было время первого в истории отчетливого проявления индивидуализма. Кончалась эпоха древнегреческой классики. Но и Россия середины прошлого века тоже находилась в кризисной ситуации. Пробуждалось новое общественное сознание, порой диковатое, но дикость эта была результатом тяжелой неподвижности и отвержения властью реформаторских попыток устроения жизни.

Пытаясь преодолеть кризис древнегреческого общества, фиксируя внутреннее противоречие и напряжение греческих полисов, Платон строит модель идеального государства, создает проект будущего, где нельзя было бы убить Сократа, мыслителя-реформатора. Искусство, как ему казалось, не поможет этому устроению. По схеме античного мыслителя, искусство должно вернуться в границы, предлагаемые догомеровской общинной структурой, к архаическим формам, выработанным в далекой древности, чтобы не мешать реформаторам. Судьба поэта в «Государстве» Платона определялась следующим образом: «Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует и что недозволено здесь таким становиться, да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой, а сами удовольствуемся, по соображениям пользы, более суровым, хотя бы и менее приятным поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами вначале, когда мы разбирали воспитание воинов» («Государство», 398 А–В). Суммируя и характеризуя платоновскую точку зрения на положение искусства в его идеальном государстве, А.Ф. Лосев пишет: «За творчеством поэтов надо бдительно следить и постоянно думать, как бы они не сказали чего-нибудь лишнего. Свободно же творящих поэтов нужно просто изгонять, их произведения уничтожать, а детям и школьникам вообще запрещать ими пользоваться. Все свободные поэты — шарлатаны и развратники. Пусть они сочиняют только молитвы богам да восхваляют добродетели»¹. Только в этих — абсолютно служебных — пределах допускает Платон искусство в свое идеальное государство.

¹ Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М.: Искусство, 1974. С. 101–102.

Почему же Чернышевский обращается в своей первой теоретической опубликованной работе к Платону? Полемизируя с противниками русской общины, он доказывал, что по законам диалектики «именно потому, что общинное владение есть первобытная форма, и надобно думать, что высшему периоду развития поземельных отношений нельзя обойтись без этой формы» (*Чернышевский*, V, 390). Это позволяло ему надеяться, что на основе общины может вырасти новый общественный строй, с обновленными взглядами на жизнь, мораль и искусство. В России, начиная, по крайней мере, с Карамзина, тема платоновской «Республики» (так в течение длительного времени переводился диалог «Государство») воспринималась как антитеза идее самодержавия. В период крушения своих республиканских надежд Карамзин писал:

И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

Чернышевский, конечно, прекрасно понимал все различие между своим идеалом общественного устройства и идеальным государством Платона. О различии между взглядами на искусство Чернышевского и Платона я скажу дальше, пока же только отмечу, что если в идеальном платоновском государстве индивид целенаправленно подавляется¹, то Чернышевский мечтал о таком общественном устройстве, которое гарантирует права самодеятельного индивида и его независимость. Это возможно, по мысли Чернышевского, только тогда, когда личность выступает не от себя, а от общины, и именно община защищает и гарантирует свободу личности. Чернышевский в эти годы полагает, что общинное землевладение и жизнеустройство «так просто, что отстраняет нужду во вмешательствах всякой центральной и посторонней администрации. Оно дает бесспорность и незави-

¹ «В государстве Платона, — замечал Писарев, — есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нет и не должно быть. Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме; кроме этой служебной должности, он ни в каком кругу не имеет никакого значения; он не сын, не брат, не муж, не отец, не друг и не любовник. С минуты рождения его отрывают от груди матери и помещают в воспитательный дом; его не показывают родителям в продолжение нескольких лет, и его происхождение умышленно забывается; его воспитывают наравне со всеми детьми его возраста, и он, как только начинает помнить и сознавать себя, чувствует, что он — казенная собственность, не связанная ни с кем и ни с чем в окружающем его мире» (*Писарев Д.И.* Идеализм Платона // *Писарев Д.И.* Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1955. С. 93).

симосьт правам частного лица. Оно благоприятствует развитию в нем прямоты характера и качеств, нужных для гражданина. Оно поддерживается и охраняется силами самого общества, возникающими из инициативы частных людей. Нам кажется, что все это вместе составляет натуру разумного законодательства, противоположную регламентации» (*Чернышевский*, V, 619). Но Чернышевский, рассуждая о платоновской теории, не упоминает об этом – существеннейшем – расхождении с древнегреческим мыслителем; ему, очевидно, важнее было в данном случае подчеркнуть типологическое сходство: ведь внутриобщинное обеспечение свободы личности есть как раз то усложнение – по диалектическому закону – первоначальной формы человеческих отношений, о котором и говорил он позднее. А в рецензии, отчасти ограниченный ее размерами, отчасти вследствие необходимости полемически заострить свою мысль, Чернышевский об этом не упоминает, хотя признание прав личности и сказывается в его дальнейших рассуждениях об искусстве, в том, что он, в отличие от Платона, искусство принимает. «Гораздо приятнее говорить за искусство, нежели против искусства, и потому, отказываясь от тяжелой обязанности указывать и в новейшем искусстве те слабые стороны, которые общи ему с греческим, мы постараемся только показать, какими соображениями могут быть в наше время смягчены некоторые из безусловных приговоров Платона о ничтожности значения изящных искусств» (*Чернышевский*, II, 271).

Апеллируя к древнегреческому мудрецу, Чернышевский выступал, по сути дела, не против искусства, а против эстетической теории, объявлявшей искусство бесцельным и бесполезным, тем самым, по словам Чернышевского, превращающего его в «игру, пустую в глазах серьезного человека» (*Чернышевский*, II, 269). То есть того искусства, которое мы сегодня назвали бы массовым, работающим на потребу и услаждение публики. Поэтому Чернышевский принимает платоновскую идею о том, что искусство должно быть полезным, но вносит существенную поправку: искусство и не может быть бесполезным: «Итак, принуждены будучи признать справедливость очень многих нападений Платона на искусство, мы, однако, вправе сказать, что поэзия имеет высокое значение для образованности и идущего вслед за нею улучшения нравов и материального благосостояния; она имеет это значение даже и тогда, когда не заботится о нем. Но много было поэтов, которые сознательно и серьезно хотели быть служителями нравственности и образованности, понимали, что вместе

с талантом получили они обязанность быть наставниками своих сограждан. Были такие поэты и во время Платона; достоверно мы знаем с этой стороны Аристофана... Но если Платон впадает в односторонность, считая поэзию только пустою забавою, то за ним остается заслуга, что он смотрел на искусство в связи с жизнью» (*Чернышевский*, II, 274). Но эта платоновская идея о связи искусства с жизнью трактуется великим критиком вполне по-своему: он полагает, что искусство служит и должно служить делу просвещения.

Таким образом, мы видим, что в «посторонних разглагольствованиях» Чернышевского о Платоне крылась его собственная концепция общественного назначения искусства, были сформулированы основы нового эстетического направления, требующего от искусства общественного служения. «Польза, — говорит Чернышевский, — приносимая искусством, как одним из источников довольства, развитию всего хорошего в человеке, несомненна, но ничтожна в сравнении с пользой, приносимую другими благоприятными отношениями и условиями жизни; потому и не хотим мы указывать на нее для того, чтоб показать высокое значение искусства в жизни» (*Чернышевский*, II, 272).

Чернышевский принимал как важнейшее завоевание западноевропейской истории «обеспечение частных прав отдельной личности» (*Чернышевский*, IV, 738), полагая, однако, что юридического обеспечения этих прав недостаточно, что необходимо еще обеспечение и социально-экономическое, которое можно разглядеть в общинном принципе и которое на новом витке спирали может переродиться в нечто высшее. Надо еще добавить, что в специфических российских условиях самодержавного подавления всех проявлений человеческой независимости община виделась ему социально-экономической и культурной единицей, которая может быть независимой от самодержавия, что окажется благотворным для личности, включенной в общинную структуру: «мир» как бы защищает индивида.

Он приходит к выводу, что в принципе «из всех родов собственности общинное владение есть тот род, который наиболее предохраняет частную жизнь от административного вмешательства и полицейского надзора» (*Чернышевский*, V, 616). К сожалению, как писал он, общинное владение при всем своем превосходстве не может проявить своих позитивных качеств. Причину этого он видел в чрезмерном давлении государства, определяющем тип существования общества, который Чернышевский называл азиатством. «Азиатством называется такой порядок

дел, — пояснял он свою мысль, — при котором не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. В азиатских государствах закон совершенно бессилён. Опираясь на него — значит подвергать себя погибели. Там господствует исключительно насилие» (*Чернышевский*, V, 700). При наличии хотя бы элементарной законности, как он надеялся, община окажется средством обеспечения прав индивида. Но для нормального развития общины опять-таки необходимо радикальное переустройство общества на демократических началах.

Вообще, Чернышевский, не переставая, думал о будущем устройстве общества. Об этом и его роман «Что делать?». Вяземский как-то обмолвился, что «романист не может идти по следам Платона и импровизировать республику. Каковы отношения мужчин и женщин в обществе, таковы они должны быть и в картине его»¹. Но именно такую «импровизацию» будущего строит Чернышевский в своем романе, замечая ростки новых отношений, выявляя их и показывая читателю: «Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы успеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее всё, что можете перенести»². Правда, его отношение к устройству будущего общества отлично от платоновского. Строя свое идеальное государство, Платон, как известно, в самой его структуре выразил свое разочарование демократическим образом правления, которое могло осудить на смерть Сократа. Известного рода мизантропия Платона, его недоверие к человеку (напротив, для просветителя — человек изначально добр) сказались в том, что он вовсе не рассчитывал на самоуправление людей: «В нашем государстве для сохранения его устройства будет постоянно нужен... попечитель» («Государство», 412 А–В). И уподобляя тем самым людей стаду, правителей он уподоблял «пастухам» («Государство», 440 Д). Не случайно отношения полов всецело регулируются у него правителями государства, напоминая, по мнению многих исследователей, своего рода конский завод. Чернышевский выдвигал кардинально иной принцип взаимоотношений в будущем обществе, строящемся на отсутствии административного принуждения, ибо «только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать». Соответственно, отноше-

¹ *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 126.

² Здесь и в дальнейшем роман «Что делать?» цитируется по изд.: *Чернышевский Н.Г.* Что делать? Л.: Наука, 1975. С. 290.

ния мужчин и женщин определяются в его утопии принципами свободы, равноправия и любви.

Стоит при этом подчеркнуть, что Аристотель, которого, как и Платона, Чернышевский полюбил еще в семинарский период жизни, был важен ему для определения траектории его жизни. Из Петропавловской крепости он писал жене, размышляя о своем будущем пути (он был уверен в своем скором освобождении): «В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомную “Историю материальной и умственной жизни человечества”, – историей, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. <...> Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (*Чернышевский*, XIV, 456). То есть не учредителем нового типа общества, а исследователем, учителем, профессором.

Как мы уже писали, начал он свою деятельность в 1853 г. небольшими статьями в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в «Отечественных записках», рецензиями и переводами с английского, но уже в начале 1854 г. перешел в «Современник». И это отдельная тема, поскольку он стал лидером «Современника», выведя журнал на центральное место в литературно-общественной жизни России. Но вряд ли бы это получилось, если бы не Некрасов.

Некрасов

Начну с итогового резюме НГЧ о великом поэте, сделанного в последний год жизни Некрасова в письме к знаменитому издателю, купцу К.Т. Солдатёнкову, человеку, рискнувшему в свое время издать собрание сочинений Белинского, когда богатые друзья критика (Тургенев, Боткин и др.) после его смерти благоразумно отошли подальше от его судьбы (ни копейкой не помогшие его вдове и дочери), и отдавшему половину дохода от издания жившей в бедности вдове критика. Солдатёнков мог понять пафос Чернышевского: «Некрасов – мой благодетель. Только благодаря

его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею — его заслуги. Сравнительно с тем, что ему я обязан честью быть предметом любви многочисленной и лучшей части образованного русского общества, маловажно то, что он делился со мною последней сотней рублей (он долго был беден, а “Современник” не имел денег); сколько я перебрал у него, неизвестно мне; мы не вели счета; я приходил, он доставал бумажник и раздумывал, сколько ему необходимо оставить у себя, остальное отдавал мне» (*Чернышевский*, XV, 703).

И все же денежная проблема была для обоих не очень-то маловажной. Оба своими усилиями завоевали свое положение в обществе. Сразу по приезде, как было сказано выше, Чернышевские жили трудно, денег почти не было. Академическая карьера не задалась, можно было продолжать пробивать себе дорогу в университет, но на семейном (его и О.С.) совете он спросил жену, что лучше — быть профессором или зарабатывать больше денег. Разумеется, жена поддержала второе предложение. Позже, вспоминая свой путь в «Современник», НГЧ по сути рассказал о том, как он *решился* на некрасовский журнал. Это был выбор; проблема выбора не раз достаточно остро вставала перед ним. Первый был — женитьба, второй — работа у Некрасова: «Мы приехали в Петербург в мае 1853 [г.], Оленька и я. Денег у нас было мало. Я должен был искать работы. Довольно скоро я был рекомендован А.А. Краевскому одним из второстепенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним знакомым. Краевский стал давать мне работу в “Отечественных записках”, сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных сотрудников. Это было очень мало. Я должен был искать работы и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в “Современнике”. Редактором его был, как печаталось на главных листах, Панаев.



И.И. Панаев

Я думал, что это и на деле так. Несколько месяцев прошло прежде чем я нашел случай попросить работы у Панаева, которого видел у одного из людей, знавших меня по университетским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришел к нему, он даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли я в сотрудники “Современнику”. Пусть я приду завтра утром. Я пришел. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие длинных статей. Я принес Панаеву мои рецензии скоро; если не ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли я работать в “Современнике”, и опять пригласил посидеть, поговорить. На следующее утро я пришел. Он сказал, что я гожусь работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня посидеть, поговорить» (*Чернышевский*, I, 714).

Далее выяснилось, что реально руководит журналом не прозаик Панаев, а поэт Некрасов, которого НГЧ описывает так: «Вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным, хилым» (*Чернышевский*, I, 714–715). Надо полагать, Чернышевский приглянулся Некрасову сразу: и способность трудиться, не покладая рук, и фантастическая образованность, когда по поводу любого литературного явления он мог не просто говорить, а поставить его в культурный контекст, с легкостью читая на многих иностранных языках. Наверно, нравился и его постоянный иронический тон, не обидный, но усмешливый, к примеру: «Положение человека, который не приобрел привычки читать книги ни на одном языке, кроме русского, не хочет, однако, познакомиться с всеобщей историей, очень невыгодно» (*Чернышевский*, II, 544). Не случайно почти через год он поставил его выше Белинского, которого считал своим учителем, но понимал ограниченность кругозора великого критика. Университетская молодость самого Некрасова была более чем разночинской. Поэтому как человек, прошедший тяжелую юность, голодную и холодную, он понимал, что молодой критик, пришедший к нему, провинциал из Саратова, очевидно не богат, скорее беден, а поэтому необходимо оговорить финансовые проблемы сотрудничества.

Надо сказать, что, по рассказу Чернышевского, тоже понимавшего в поэте эту разночинскую жажду знаний, мать хотела, чтоб Николай был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образованность приобретается в университете, а не в специальных школах. Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала. Отец послал Некрасова в Петербург для поступления в кадетский корпус; в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге у отца был человек, который мог быть полезен успеху просьбы о принятии в корпус (Полозов). Некрасов поехал в Петербург, посланный отцом в кадетский корпус, с письмом об этом Полозову. Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет. Письмо отца к Полозову он не мог не отдать. И пошел отдать. Некрасов побоялся и начать разговор о намерении поступить в университет: что сказал бы на это Полозов? — «Мечта, друг, не выдержишь экзамена», — и что мог бы отвечать Некрасов? Он действительно был не подготовлен к экзамену для поступления в университет. Он рассудил, что должен молчать перед Полозовым об университете, пока будет в состоянии сказать, что надеется выдержать экзамен. Когда несколько подготовился к экзамену, сказал Полозову о своем намерении. Экзамен он все же не выдержал и поступил в университет вольнослушателем. А стало быть, надо было зарабатывать. Денег было настолько мало, что не каждый день мог пообедать. Со школы помню трогательный рассказ, как поэт приходил в харчевню, где всегда можно было почитать газету и где был бесплатный хлеб и соль. И вот молодой Некрасов прикрывался газетой и ел хлеб с солью. Питание было дикое и так длилось долго. Рак кишечника, от которого он умер, был не случаен. Не всегда было где жить. Некоторое время он снимал комнатку у солдата, но как-то от продолжительного голодания заболел, много задолжал солдату и, несмотря на ноябрьскую ночь, остался без крова. На улице над ним сжалился проходивший нищий и отвёл его в одну из трущоб на окраине города, где он провел некоторое время. Через год он нырнул в литературную жизнь, где долго не имел успеха. Как пишут о Некрасове литературоведы и историки, он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов (Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами), сочинял афишки в стихах для «кабинета восковых фигур», переводил, писал библио-

графические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести... Кажется, нет такого журнального жанра, который бы не был испробован Некрасовым. Подводя итоги этого сизифова труда, Некрасов исчислял его в сотнях печатных листов.

Он долго чувствовал себя бедным разночинцем. Разночинцем, желающим, но не смеющим претендовать на внимание красивых светских дам. Со своей будущей многолетней любовницей Авдотьей Панаевой он познакомился в 1842 г., 21 года от роду. Панаева считалась одной из красивейших женщин петербургского света. В нее влюблялись все посетители литературного салона ее мужа, даже молодой Достоевский подпал под ее чары, а позднее в романе «Идиот», описывая фото Настасьи Филипповны, он нарисовал лицо Панаевой. Добиваться ее Некрасов начал позже, уже 26 лет, но добиваться любви этой женщины пришлось ему долго. Похоже, что разночинская робость была в нем сильна (отсюда его симпатия к разночинцам). Потом он получил ее любовь и прожил с Панаевой целых 16 лет. Они вместе даже составляли романы, которые могли бы прийтись по вкусу широкой публике. Именно о страданиях влюбленного разночинца он написал стихи «Застенчивость» (хотя Авдотью к тому моменту он покори́л). Приведу начало этого длинного, но совершенно «разночинско-достоевского» по пафосу стихотворения:

Ах ты, страсть роковая, бесплодная,
Отвяжись, не тумань головы!
Осмеет нас красавица модная,
Вкруг нее увиваются львы:

Поступь гордая, голос уверенный,
Что ни скажут — их речь хороша,
А вот я-то войду как потерянный
И ударится в пятки душа!

На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные,
На губах замирают слова.

Улыбнись — непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя,

Пошутить захочу – шутка плоская:
Покраснею мучительно я!

Помещусь, молчаливо досадуя,
В дальний угол... уныло смотрю
И сижу, неподвижен как статуя,
И судьбу потихоньку корю...

(1852 или 1853)

Эта связь была главным событием в любовной жизни Некрасова. Панаева так и осталась женой Ивана Панаева, но с ними в одной квартире поселился Николай Некрасов.



Авдотья Яковлевна Панаева

Строго говоря, даже прислуга знала, кто реальный муж этой женщины, но ему почему-то было удобнее, чтобы Панаев был ширмой их отношений, точно так же, как Панаев был лишь номинальным издателем «Современника», а реальным – Некрасов. И обо все этом он довольно откровенно говорил с пришедшим в его дом молодым критиком. «Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: “Садитесь”. Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: “Зачем вы обратились

к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редактируется журнал мною, а не им?” – “Да, я не знал”. – “Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною. – Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще, о том, что относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого”. – “Да, я такой”. – “Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербур-

ге уж несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике»; Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад ***». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. — «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. — Пойдем ходить по комнате». — Я встал, и мы пошли ходить по комнате» (*Чернышевский, I, 714*). Речь шла о том (говорил в основном Некрасов), что работа Чернышевского в «Современнике» покажет Краевскому ценность его сотрудничества. Но в дальнейшем ему придется выбирать между журналами, ибо критика — это позиция журнала.



*Н.А. Некрасов.
Литография П.Ф. Бореля,
1850-е годы*

И вправду, Краевский вскоре заметил востребованность Чернышевского в «Современнике». Чернышевский вспоминал: «Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для «Современника» и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудности кассы и шаткости дел «Современника», о денежной

И вправду, Краевский вскоре заметил востребованность Чернышевского в «Современнике». Чернышевский вспоминал: «Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для «Современника» и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудности кассы и шаткости дел «Современника», о денежной

надежности Краевского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Краевскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует поступить. Было ясно, что Краевский поставит вопрос так, как предвидел Некрасов: «Если хотите оставаться моим сотрудником, откажитесь от сотрудничества у Некрасова». При безденежье и шаткости положения «Современника» благоразумие требовало последовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я чувствовал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краевского ему» (*Чернышевский*, I, 719). И он сообщил о своем решении и Краевскому, и Некрасову. Краевский был раздосадован, но джентельменски пожелал ушедшему сотруднику удачи. А Некрасов был рад и добавил деталь, о чем Чернышевский и подозревать не мог: «Вы живете вне литературного круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в «Современнике» против «Отечественных записок», в «Отечественных записках» против «Современника». Говорят, вы передаете мне редакционные тайны «Отечественных записок», а Краевскому редакционные тайны «Современника». Так это или нет, известно лишь мне относительно слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной половине слуха, но о другой неизвестна. И мне тоже. Выдаете ль вы мне Краевского или нет, я знаю. Но выдаете ль вы Краевскому меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, что вы не выдаете его мне? Вы скажете, что я не опасаюсь предательства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб он пренебрегал слухом о том, что вы предатель» (*Чернышевский*, I, 720). И добавил: «Действительно, денежное положение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским» (*Чернышевский*, I, 721). Так оно и оказалось. Некрасов отдал в его распоряжение весь идеологический отдел журнала — критику, библиографию, обзор иностранных событий. **Уезжая за границу, он поручал Чернышевскому вести журнал.** Некрасов постепенно богател, его враги считали, что в своих стихах о страдальце — русском народе, о декабристках, поехавших за мужьями «в самоё Сибирь», он фальшивил, будучи человеком, обеспечившим свою жизнь. И вообще—де странно, что Чернышевский принимал его стихи, поскольку сам-то он был истинный демократ.



*Два кресла в редакции
«Современника»:
слева Некрасова,
справа Чернышевского*

На это Чернышевский ответил достаточно жестко (жаль, что его ответ игнорировали в советское время).

В «Заметках о Некрасове» Чернышевский, несмотря на бесконечные легенды о его враждебности нарождавшемуся в России капитализму, нисколько не осуждает поэта за умение приобретать деньги и копить богатство. Он пишет, что в различных биографиях Некрасова «проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о

“гнусности буржуазии” и обо всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые “любовью к народу”, вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа» (*Чернышевский*, I, 749; выделено мной. — *В.К.*).

Неприятие разночинца как мощного интеллектуального соперника

Некрасов и вправду был его точкой опоры.

Далее молодой критик оказался в центре литературных событий и интриг. Своей энергичной деятельностью он вытеснил из «Современника» крупнейшего на тот момент критика и прозаика А.В. Дружинина, автора многих статей, подражавшего роману Жорж Санд «Жак» в своем романе «Полинька Сакс», сюжетные ходы обоих романов Чернышевский позже использовал отчасти в «Что делать?». Более того, начались конфликты и с аристо-

кратическим авторами «Современника» — Тургеневым, Григоровичем, Толстым, звездами журнала. Если Белинского русские писатели-дворяне принимали, поскольку он был целиком под влиянием то Бакунина, то Герцена, то Боткина, то других дворянских интеллектуалов, хотя после смерти его просьбы о помощи семье были забыты. Легко любить мертвого, когда ничего кроме слов произносить не надо. Издевки над Чернышевским были на грани допустимого; Григорович (автор «Антон-Горемыки», *певец бедняков*), указывая на недворянское, семинарское происхождение, придумал дичайшее глупое прозвище, пытаясь Чернышевского унижить: «пахнувший клопами». Считавшим себя аристократами, спавшими всю жизнь на чистых постелях, это казалось смешным.

Чернышевский был сам по себе. У него, как написал Шелгунов, был «свой тон», свой взгляд на мир, незаемный. Слишком он был образован, образованнее самых образованных своих дворянских современников. Не говорю уж о немецкой философии, которую он знал, как мало кто, он вырос на классической античной и европейской литературе. Это ведь не случайно, что, скажем, цитаты из Платона и Аристотеля, Гёте и Шиллера пронизывают его тексты. Попав в российский литературный котел он естественным образом мог узнать, с какой бешеной ревностью дворянские писатели относились к литературному успеху Достоевского, вроде бы дворянина по происхождению, но абсолютно-го разночинца по жизни. Разночинские герои, как главные его герои, не случайны в его творчестве. Пародию на Достоевского написал Тургенев после «Бедных людей», признанных публикой шедевром, написал в 1846 г. «Послание Белинского к Достоевскому» как бы от лица Белинского (интересно, знал ли этот текст критик? Если знал, то его нравственный облик немного теряет свою всеми воспетую прямоту и порядочность), начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...

...

Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносом носом
Перед русой красотой...

Достоевский позже ответил Тургеневу наотмашь, вложив этот стишок в уста негодяя нигилиста, издевающегося над князем Мышкиным, а в следующем романе, в «Бесах», изобразил Тургенева как писателя Кармазинова, приспособляющегося к русской бесовщине. Чернышевский таких шаржей не писал. Писали на него, как сейчас увидим. Хотя пародии были. Были и удары, но касавшиеся принципов, а не личностей.

Дружинин, гвардеец, дворянин, любитель «чернокнижия», то есть фривольного разгула, ценитель изящного слова, конечно, приятель Толстого по их эротическим похождениям, был ближе дворянской когорте русских писателей. Толстой писал Некрасову из своего имения Ясная Поляна в июле 1865 г.: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в “Современнике”, а теперь срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить он не умеет и голос скверный. Все это Белинский! Он, что говорил, то говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза»¹.

Впрочем, раздражало не просто и не только происхождение, а независимость и, так сказать, «непочтительность к авторитетам» (как впоследствии он назвал одну из своих статей). Чернышевский позволял пародировать тексты, опубликованные парой лет раньше в «Современнике», чтобы был ясен интеллектуальный водораздел между эпохами. Так, в 1855 г. он написал *Рецензию на «Новые повести. Рассказы для детей»*. Это была шуточная рецензия, где пародировалось несколько книг, в том числе «Смедовская долина» Григоровича, опубликованная в 1852 г. в «Современнике»:

«— А что ж это называется: неблагодарный? — спросил Ванюшка.

— Неблагодарным называют, мой друг, того человека, которому сделали услугу, а он сам потом не хочет сделать такой же услуги своему благодетелю.

— А благодарные люди как делают? — спросила Полина.

— Они делают так: положим, я тебе доставила удовольствие; и ты мне старайся сделать удовольствие; тогда и будешь благо-

¹ Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XVIII. М.: Художественная литература, 1984. С. 408.

дарна. Ты видишь, что я стараюсь вам доставить удовольствие и ты делай так же» (*Чернышевский*, II, 656). Конечно, пародия выполнена в стилистике пушкинских пародий, что было ясно любому образованному человеку. В Table-talk у Пушкина есть зарисовка: «Вот черта из домашней жизни моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: “Какой папенька хлаблий! как папеньку госудаль любит!” Мальчика подслушали и кликнули: “Кто тебе это сказывал, Володя?” — “Папенька”, — отвечал Володя»¹. Но Пушкин Пушкиным, а пародия все равно обижает пародируемого. И Григорович ответил. Сошлюсь на Л.М. Лотман: «Летом 1855 года Дружинин, Тургенев и Григорович сочинили фарс, в котором в комическом свете представили самого Тургенева, Некрасова, Панаева и Чернышевского. Вскоре Григорович, очевидно вдохновленный Дружининым, переделал этот фарс в рассказ “Школа гостеприимства”, в котором были даны пасквильные образы Чернышевского (Чернушкин), Некрасова (Бодасов) и Панаева (Таратаев). Дружинин напечатал “Школу гостеприимства” в “Библиотеке для чтения”, надеясь таким образом вызвать обострение отношений между Григоровичем и редакцией “Современника”, возможно даже разрыв писателя с этим журналом и переход его в “Библиотеку для чтения”»². Некрасову удалось затушить скандал. Чернышевский вполне понимал журнальную политику и не возражал.

НГЧ упрекали в художественной нечувствительности, в неумении пережить и понять подлинное произведение искусства (твердят это и нынешние литературоведы), хотя все подхватили его формулу творчества Льва Толстого — «диалектика души», которая равно относится и к раннему творчеству, и к позднему творчеству Толстого: именно к художественной его методе. Его яснополянские трактаты, полные презрения и ненависти к науке и цивилизации, его преклонение перед крестьянином (крестьянскими детьми) он не принял категорически. Но об этом чуть позже.

Любопытно, однако, как личное тщеславие меняло оценку человека. О Толстом с самого начала его литературной деятельности писали много и хвалебно, но формула «диалектика души», высказанная Чернышевским в 12 номере «Современника» за

¹ *Пушкин А.С. Table-talk // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.-Л.: АН СССР, 1951. С. 517.*

² *Лотман Л.М. Григорович // История русской литературы. Т. 7. М.-Л., 1955. С. 614–615.*

1856 г., прояснила Толстому его самого и стала отныне постоянно всеми повторявшимся определением. И сразу меняется облик Чернышевского в восприятии писателя. Он пишет в дневнике 11 января 1857 г.: «Пришел Чернышевский, умен и горяч»¹.

Ситуация была в литературе по-своему занятная и архетипическая для русской культуры. Николаевское царствование — это попытка доказать Европе, что Россия может существовать независимо, забыв всю учебу у Западной Европы. Критики либерального толка, люди европейского склада ума, но нерешительные, приняли методу избегать нападений на хоть чуть-чуть приличные произведения. Пред Чернышевским, убежденным западником, европейцем, как справедливо писал П.Л. Лавров, встала проблема: *«Необходимо было внести ясность в смутное поклонение Западу и в не менее смутное славянофильское народничество. Приходилось, во-первых, подвергнуть пересмотру под грозным наблюдением цензуры все фетиши Запада, даже рискуя слишком грубо затронуть некоторую долю живых элементов, охватываемых этими фетишами (курсив мой. — В.К.). Приходилось, во-вторых, отыскать центральный пункт нового мирозерцания, который установил бы прочную и здоровую почву теоретической и практической критики идей, людей и событий, причем этот центральный пункт мирозерцания должен был быть доступен для большинства читателей, очень мало привычных к философскому мышлению. Приходилось, наконец, ввиду умственной и политической неподготовленности общества поставить выше всего остального требование ясности и простоты в построении мирозерцания и в приложении его к вопросам дня, даже на счет точного анализа сложных вопросов»*².

Поэтому первая его статья, после перехода в «Современник», которая произвела сильное впечатление на публику, называлась «Об искренности в критике». Критик Семен Дудышкин (в журнале «Отечественные записки», 1854, № 6, откуда Чернышевский ушел к Некрасову) обвинял НГЧ в резкости, прямолинейности оценок. Чуть позже он попытается ударить и по диссертации, но достаточно бессильно. Кстати, Дудышкин — критик известный, но вместе с тем предмет насмешек своих собратьев по цеху, необидных, но говорящих о его легкомыслии. Достоевский приводит строчки в «Петербуржских мечтаниях в стихах и прозе»:

¹ Толстой Л.Н. О литературе. М.: ГИХЛ, 1955. С. 40.

² Лавров П.Л. Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли // Лавров П.Л. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 662–663.

Есть наслаждение и в дикости лесов,
В статьях Дудышкина есть чары...

Критика Дудышкина и послужила поводом для этой статьи. Чернышевский писал в своей статье «Об искренности в критике»: «Критика вообще должна, сколько возможно, избегать всяких недомолвок, оговорок, тонких и темных намеков и всех тому подобных околичностей, только мешающих прямоте и ясности дела. Русская критика не должна быть похожа на шепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика. Следствия уклончивых и позолоченных фраз всегда были и будут у нас одинаковы: сначала эти фразы вводят в заблуждение читателей, иногда относительно достоинства произведений, всегда относительно мнений журнала о литературных произведениях; потом публика теряет доверие к мнениям журнала; и потому все наши журналы, желавшие, чтобы их критика имела влияние и пользовалась доверием, отличались прямотою, неуклончивостью, неуступчивостью (в хорошем смысле) своей критики, называвшей все вещи — сколько то было возможно — прямыми их именами, как бы жестки ни были имена» (*Чернышевский*, II, 254–255). Он писал, что причина бессилия современной критики — то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки, восхищается такими произведениями, которые едва сносны. Она стоит в уровень с теми произведениями, которыми удовлетворяется; как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики? Она ниже публики; такую критикою могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах.

Критика не может быть ниже публики, иначе она не нужна публике.

Но нужно было, как говорил Лавров, «обнаружить “обманчивость” множества “иллюзий”, которые смешивались в умах русской интеллигенции с здоровыми умственными и нравственными требованиями»¹.

¹ *Лавров П.Л.* Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли // *Лавров П.Л.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 664–665.

Собственно, это и было задачей его диссертации, которую в советское время считали применением идей фейербаховской философии к эстетике. Но речь тут шла не просто об эстетике, а о необходимом смысле русской литературы. Если бы это был вариант Фейербаха, вряд ли было бы столько нападок на этот текст. Слишком за живое задел.

Именно этого не видят. Простой пример. Узнав, что я пишу книгу о Чернышевском, мой приятель мне написал: «Герцен и Белинский прошли через Гёте и Шиллера, через их ощущение красоты мира, здоровья и бытия, а петрашевцы и Чернышевский не прошли. Вот почему Тургенев (кстати, ЗА ГОД ДО “Что делать?”) посвящает “Отцы и дети” светлой памяти Виссариона Григорьевича Белинского» (*приятель-литературовед*. Письмо автору от 12.05.2015, 17:17)¹.

Но любопытно, и это под занавес главы, что именно семинаристы, а до этого Киево-Могилянская академия, которая была образована в 1632 г. по инициативе Киевского митрополита Петра Могилы, создавали основу светской культуры. Как пишут историки, преподаватели академии были монахи. В академии проводились публичные диспуты, ставились спектакли религиозного и нравственного содержания. Среди преподавателей академии были Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Епифаний Славинецкий, Стефан Яворский. Добавлю еще, что Феофан Прокопович и Стефан Яворский – сподвижники Петра Великого. Воспитанниками академии были писатели, просветители и церковные деятели: Н. Бантыш-Каменский, Г. Сковорода, гетман Украины И. Самойлович. Отсюда пошли русские семинарии и духовные академии. И уровень преподавания в них вполне был сопоставим со светским, а в чем-то (в философии) очевидно выше.

И переходя к XIX веку, и к Чернышевскому, про которого помнят только, что он читал Фейербаха, стоит сказать, что знание Канта и Гегеля было нормой для продвинутых семинаристов. А ссылками на Канта и Гегеля пестрят работы Черны-

¹ Литературовед, чтобы показать неполноценность НГЧ, цитирует Лотмана как Евангелие: «Та великая русская культура, которая стала национальной культурой и дала Фонвизина и Державина, Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева и которая составила базу для Гоголя, Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева, была *дворянской культурой*» (там же). Но куда мы денем критика Аполлона Григорьева, драматурга Островского, писателей Гончарова, Помяловского, Чехова?.. Не говоря уж о том, что Пушкин именовал себя «мещанином», а остальные, как правило, происходили из семей среднего достатка.

шевского. Почему? Сошлюсь на одного из крупнейших знатоков проблемы: «Когда Станкевич начинал изучать Канта, он мечтал о семинаристе. “Какое мучительное положение! Читаешь, перечитываешь, ломаешь голову, — нет, нейдет! Бросишь, идешь гулять, голове тяжело, мучит и оскорбленное самолюбие, видишь, что все твои мечты, все жаркие обеты должны погибнуть.

Я начал искать какого-нибудь профессора семинарии, какого-нибудь священника, который бы помог, объяснил мне непонятное в Канте. Тем более что это непонятно не по глубине своей, а просто от незнания некоторых психологических фактов, давно признанных и знакомых, может быть, всякому порядочному семинаристу, — а мы, люди, воспламененные идеями, путаемся и падаем на каждом шагу от того, что не мучились в школах” (письмо к М. Бакунину от 7 ноября 1835 года).

Так именно в церковной школе начинается русское любомудрие; и русское богословское сознание проводится через умозрительный искус, пробуждается от наивного сна»¹.

Вот эта литературная и философская школа (Лессинг, Гёте, Шиллер, Кант, Гегель, Пушкин, Гоголь, Белинский), которую Чернышевский прошел и усвоил ее достижения, и создавала его абсолютно самостоятельный, неподражаемый тон его писаний.

¹ *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 309.

Глава 6

Эстетика жизни

Шиллер, Чернышевский, Достоевский

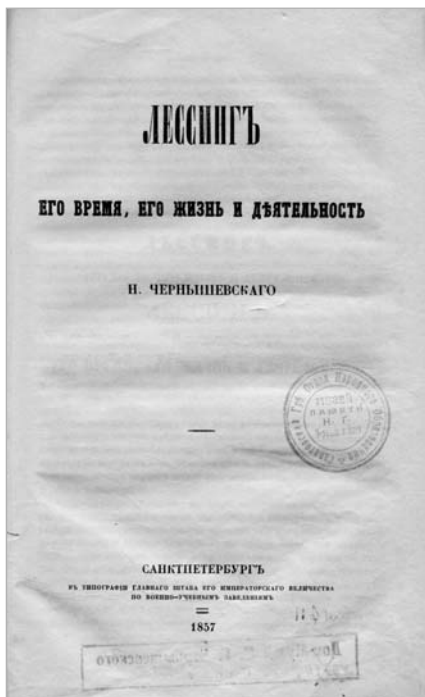
Начну с цитаты из трактата НГЧ о Лессинге (1856): «За Лессингом выступают Кант, Гёте, Шиллер, Фихте, — у всех этих людей одно общее чувство: сознание великого своего превосходства над иноземцами, действующими на одном с ними поприще; один общий тон в голосе: тон человека, сознающего, что он идет во главе умственного движения своего времени, что он трудится не для одного своего народа, а для всего цивилизованного света, потому что народ, которому он говорит, должен вести за собою все народы. Это сознание проникает всю нацию. И скоро все остальные нации действительно начинают говорить: “нам нужно учиться у немцев: кто не хочет быть отсталым человеком, должен пройти школу немецких поэтов и мыслителей”» (*Чернышевский*, IV, 161–162). Книга о Лессинге очень важна для отстаивания себя в чужом ему литературно-дворянском мире. Он доказывает, что немецкая классика в каком-то смысле рождена Лессингом. Но надо вспомнить, кто же был Лессинг, не просто просветитель, а, как Чернышевский был сыном протоиерея, так великий немец был сыном пастора: «В небольшом городке Каменце должность первенствующего пастора (*pastor primarius*) занимал во второй четверти прошедшего столетия Иоганн-Готтфрид Лессинг, человек, пользовавшийся приязнью многих знаменитых богословов того времени за свои теологические труды, общим уважением за непоколебимую честность своих правил, любовью каменецких бедняков за свою благотворительность. Место первенствующего пастора получил он как бы по наследству, после тестя своего Феллера, с дочерью которого, Юстиною Саломиею, жил он долго, тихо и счастливо. <...> Из сыновей старший, Готтгольд-Эфраим, родившийся 22 января 1729 года, прославил имя Лессингов, много и честно послужив своими великими

талантами на благо своего народа» (Чернышевский, IV, 73).

Как отметила Ирина Паперно, по словам Ю. Стеклова (первого большевистского биографа мыслителя), суждения НГЧ о Лессинге носят характер автобиографический. Более того, в каком-то смысле он видел в сыне немецкого пастора своего двойника. Про Чернышевского писал Суворин, что он, пройдя немецкую школу, скинул ее оковы и стал вполне самобытным русским мыслителем, сохранив приверженность идеям цивилизации. Но это же писал Чернышевский и о Лессинге: «Мы уже говорили, что Лессинг был первым сильным представителем в немецкой литературе того плодотворного влияния иноземной выс-

шей цивилизации, когда народ от слепого подражания внешней форме переходит к пониманию и восприятию духа цивилизации» (Чернышевский, IV, 148). Конечно, эта книга была жестокой пощечиной или, точнее, рыцарской перчаткой, брошенной недавним семинаристом писателям-дворянам. Впрочем, и Пушкин не любил аристократов, говоря о себе, что он «русский мещанин». За сыном пастора Лессингом шли великие разночинцы — профессор истории и военный врач по профессии Фридрих Шиллер, сын адвоката и тайный советник Гёте. А там и Кант, и Гофман, и Гегель и т.д.

Невольно вспоминается, что великий русский писатель Достоевский, дед которого тоже был священником, создавший, по словам Вяч. Иванова, сложность русской мысли, весь пронизан цитатами из Шиллера (см. об этом работы Н. Вильмонта, Д. Чижевского и др.), не говоря уж о том, что ключевой разговор братьев в его последнем романе проходит на фоне огромных цитат из Шиллера. Скажут, это же Достоевский. Все же великий писатель. Но ссылки на Шиллера у НГЧ бесконечны, в дневнике, посвященном Ольге Сократовне, немецкие цитаты из Шилле-



ра буквально пронизывают текст (стихотворение «Жалобы де-вушки» и пр.), в статье о «Поэтике» Аристотеля (1854), как мы видели, он цитирует его по-немецки, в «Очерках гоголевского периода», в первой же статье (1855), он ставит Шиллера в пример русским писателям: «Гёте и Шиллер представили образцы художественных произведений, в которых идея не втискивается насильно в условную, чуждую ей форму, а сама из себя рождает форму, ей свойственную» (*Чернышевский*, III, 26). Кстати, именно Чернышевский в этих очерках впервые осмелился возродить тексты Белинского, а потом и назвать его как первого русского критика.

После этого даже боязливый Тургенев мог посвятить Белинскому «Отцов и детей» в 1862 г., много после «Очерков». В 1857 г. в № 1 «Современника» он печатает статью «Шиллер в переводе русских поэтов». И там пишет очень внятно, артикулируя свои пристрастия: «Поэзия Шиллера как будто родная нам, а между тем у нас не было ни одного замечательного оригинального поэта в этом роде. Произведения Шиллера были переводимы у нас — и этого довольно, чтобы мы считали Шиллера своим поэтом, участником в умственном развитии нашем. Чувство справедливой благодарности понуждает нас признаться, что этому немцу наше общество обязано более, нежели кому бы то ни было из наших лирических поэтов, кроме Пушкина» (*Чернышевский*, IV, 505). Не покидает ощущение, что эти слова мог бы написать и Достоевский.

Любопытно, как часто мимоходом проскакивают в его текстах строчки из Шиллера, иногда в подлиннике, чаще в переводе Жуковского. Скажем, говоря о Н. Полевом, которого превзошел Белинский, он признает заслугу «честных побежденных» и вдруг цитирует строку из «Торжества победителей» Шиллера (перевод Жуковского): «Смерть велит умолкнуть злобе». Он не раз обращался к этому стихотворению Шиллера. Даже в одной из серьезнейших своих статей «О причинах падения Рима» он цитирует четверостишие из этого стихотворения в подтверждение своей мысли. Но об этом будет еще сказано.

Любопытно сравнить отношение НГЧ к Шиллеру, понимание его роли в жизни, высказанное в диссертации, с пониманием Шиллера Достоевском в его главном эстетическом тексте: «Г-бов и вопрос об искусстве». Начну с Чернышевского: «Именно Шиллер хочет доказать, что путь к разрешению политических вопросов — эстетическая деятельность. По его мнению, необходимо нравственное возрождение человека для того, чтобы изме-

нить к лучшему существующие отношения: устройство их может быть усовершенствовано только тогда, когда облагородится человеческая деятельность. <...> Своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность: внушая благородные порывы юноше, готовит она его к благородной практической деятельности в эпоху мужества, преобразуя отдельных людей, мало-помалу преобразует она нацию и все ее внутренние отношения» (*Чернышевский*, IV, 506–507). А теперь Достоевский в тексте 1861 г.: «И неужели вы, например, думаете, что маркиз Поза, Фауст и проч., и проч. были бесполезны нашему русскому обществу в его развитии и не будут полезны еще? Ведь не за облака же мы с ними пришли, а дошли до современных вопросов, и, кто знает, может быть, они тому много способствовали» (*Достоевский*, 18, 99–100). Стоит добавить, что знаменитейшая формула Ивана Карамазова о возврате Богу билета на вход в светлое будущее, в райскую гармонию, есть почти прямая цитата из Шиллера. Вот что писал великий филолог Д.И. Чижевский, цитируя слова Ивана Карамазова, не желавшего оставаться с неотмщенными страданиями: «“А потому *свой билет на вход спешу возвратить обратно*. <...> Не Бога я не принимаю, Алеша, *я только билет ему почтительнейше возвращаю*”» (14, 223). В этих словах содержится аллюзия на “Отречение” – стихотворение Шиллера, которое особенно любили почитатели Шиллера. Поэт обращается к вечности:

Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke!
Ich bring ihn unerbrochen dir zurücke,
Ich weiß nichts von Glückseligkeit.

Однако сходство в выражениях особенно бросается в глаза, когда мы берем русский перевод:

И грамоту на вход к земному раю
Тебе, не распечатав, возвращаю
Блаженство было чуждо мне¹.

Трагизм и бессмысленность человеческих катастроф – одна из тем и Чернышевского.

¹ *Чижевский Д.И.* Шиллер и «Братья Карамазовы» // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 19. СПб.: Наука, 2010. С. 30. Стоит отметить, что Достоевский цитировал это стихотворение Шиллера в переводе Ореста Головнина, наиболее близком к подлиннику.

Дети, защита диссертации и жизнь

Разумеется, при этом не могла не двигаться вперед его диссертация по эстетике, к которой он относился хотя и серьезно, но говорил о ней в письмах к отцу весьма прохладно. Писал отцу, что создавал ее практически набело, времени не было на подробности, ему казалось важным высказать, хотя бы не развертывая основные принципы своего взгляда на искусство (предмет, которым он по воле рока стал заниматься). Немного приукрашивая, сообщал, что написал ее практически без цитат, что не точно: цитаты были. Но одновременно произошло событие, о котором он говорит вскользь, но, видимо, сдерживаемый женой, не любившей, когда он раскрывал себя. 8 марта 1854 г. он написал отцу: «Милый папенька! В пятницу, 5 марта, в 3 часа пополудни Бог дал Вам внучка. Олинька назвала его Сашею. Пока, слава Богу, и мать и малютка здоровы. Олиньке хочется крестины сделать в день своего рождения, 15 марта» (*Чернышевский*, XIV, 253). Он, как и перед браком намеревался, подчиняется желаниям жены. Но сын Саша, названный скорее всего в честь любимого кузена Александра Пыпина, хороший мальчик, хотя его любили, оказался с некими умственными торможениями. Он не был психически больной, но есть такое русское слово — заторможенный. Потом с ним было у НГЧ много проблем, как и его мать, он был совершенно неспособен работать. Ведь жизнь в веселье — не способ поддержать существование семьи. А жил-то он с матерью, видел ее образ жизни, отец почти не выходил из-за письменного стола.

Как же жил сам Чернышевский? Стоит привести воспоминания генерала Николая Дементьевича *Новицкого* (1833–1906), воспитанника Николаевской академии Генерального штаба, впоследствии генерала от кавалерии и члена Военного совета. Новицкий занимал крупные командные посты в русской армии. В годы своей молодости он был близко знаком с Чернышевским. К его воспоминаниям я еще вернусь. Пока же — о семейном быте Чернышевского: «Квартира, занимавшаяся Николаем Гавриловичем, имела самое скромное убранство и обстановку и представляла собою тип недорогих, средней руки петербургских квартир. Любопытно, что у писателя, так много работавшего в “Современнике”, а затем и редактора “Военного сборника”, не было даже кабинета, которым хотя и именовалась маленькая, тесная комнатка у входных дверей, но в действительности им почти никогда не была, служба по преимуществу временным по-

мещением или местом отдыха для кого-либо из приезжавших издалека родных или приятелей Николая Гавриловича. Сам он по обыкновению читал, писал или диктовал чаще в гостиной, но случалось и в зале, если гостиная почему-либо была несвободна. Приходили, бывало, и немало, всякого рода посетители, кто к нему, кто — к его жене. Николай Гаврилович принимал, беседовал с ними, не обнаруживая никогда ни малейшей тени досады или недовольствия человека, прерываемого среди серьезной и часто даже спешной работы, и тут же, как ни в чем не бывало, опять с невозмутимым спокойствием продолжал ее, — лишь только гость отойдет за чем-либо в сторону или заговорит с кем-либо другим. — Да что тут два, три гостя! — Случалось, что по вечерам, хотя и не часто, у него набиралось столько гостей, что под фортепиано составлялись даже и танцы или начиналось пение. Катает, бывало, что есть силы по клавишам какой-либо пианист, кричит певец или молодежь пляшет, топает, шаркает, шумит в зале, а Николай Гаврилович сидит себе в гостиной, будто в какой-нибудь отдаленной и глухой пустыне и пишет да пишет... Поговорит, весело даже посмеется с кем-либо из влетевших к нему из зала и — опять пишет! Меня всегда поражал полнейший индифферентизм его ко всякому комфорту, но индифферентизм его даже уже не к комфорту, а к самым обыкновенным, простым условиям, необходимым для всякого при всякой работе, а при его работе по преимуществу, — как тогда для меня был, так и теперь остается непостижимою тайною. Точно в нем совмещались два независимых друг от друга человека: один, живущий ordinarily, всedневную жизнью, ничем от нее не уклоняющийся, всегда покойный, ко всем приветливый, разговорчивый, готовый всегда даже посмеяться, слегка поиронизировать, пошутить, и — другой, настолько ушедший в себя, в мысль, в науку и настолько поэтому непроницаемый для всего, его окружающего, что авторского процесса, шедшего в нем, не могло нарушить уже ничто, почему произведения его и появлялись, по-видимому, — будто богини из пены морской. Удивительный был это субъект даже для тех, кто знал его не как писателя, а как обыкновенного человека в его обычной обстановке!...»¹

Тем не менее как-то почти мимоходом, если судить по его письму отцу, диссертацию он защищает, почти не придавая уже этому значения.

¹ *Новицкий Н.Д.* Из далекого минувшего // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 163–164.

Родным 16 мая 1855. «Милый папенька! Мы все, слава Богу, живы и здоровы.

Ныне я в городе один, потому один и пишу это письмо, по отпращивании которого уезжаю на дачу.

Письмо Ваше от 7 мая мы получили — оно пока прочитано только мною. Сейчас везу его на дачу Олиньке.

Диспут мой был во вторник, 10 мая, как я Вам писал поутру в этот день. Закончился он обыкновенным концом, т.е. поздравлениями, потому что диспут чистая форма. Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе, Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас неизвестным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей, мне известных. Диспут продолжался очень недолго, всего 1½ часа, потому что присутствовал попечитель Мусин-Пушкин, который добрый человек, но не совсем благовоспитан в обращении и поэтому всегда стесняет своим присутствием.

Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ на возражения или, по крайней мере, по поводу их, но они были так далеки от сущности дела, что и ответы мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени» (*Чернышевский*, XIV, 299—300). Можно, конечно, отнести за счет скромности диссертанта такое описание диспута. Но, думается, он был ближе к истине, чем воспоминания радикальной молодежи в годы, когда Чернышевский уже был в Сибири, что они увидели в этом новое слово (Шелгунов). Надо учесть, что еще имя его как ведущего критика только начинало обозначаться. Заметили противники, которым претило, что семинарист врывается в науку.

Если не говорить о беспомощном тексте Дудышкина, наиболее язвительным и злобным оказался Тургенев, совершенно не воспринявший текст семинариста. Попробую подряд привести несколько его высказываний, тем более что они помечены одним днем, хотя адресованы разным людям. Можно вообразить себе досаду помещика из Спасского-Лутовинова.

Тургенев — Краевскому, 10 июля 1855, Спасское

«Спасибо Вам за то, что у Вас отделали гадкую книгу Чернышевского. — Давно я не читал ничего, что бы так меня возмути-

ло. Это — хуже, чем дурная книга; это — дурной поступок»¹. (*Речь о рецензии С.С. Дудышкина на диссертацию НГЧ.*)

Тургенев — Дружинину и Григоровичу, 10 июля 1855, Спасское
«Ах, да! чуть было не забыл... Григорович! Je fais amende honorable... Я имел неоднократно несчастье заступаться перед Вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) — примите мое раскаяние — и клятву — отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами!.. Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину, которую “Современник” не устыдился разбирать серьезно... Раса! Раса! Раса! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете»².

Тургенев — Панаеву, 10 июля 1855, Спасское

«Не скрою я, что я и сердит на вас немного. Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, это порождение злобной тупости и слепости — не так бы следовало разобрать, как это сделал г-н Пыпин»³ (*речь об авторе рецензии*).

НГЧ послал и отцу в Саратов отпечатанный пригласительный билет на защиту диссертации: «Его высокоблагородию Гавриилу Ивановичу Чернышевскому — ректор императорского Санкт-Петербургского университета почтительнейше приглашает в час пополудни во вторник на защиту кандидатом Чернышевским диссертации, написанной им для получения степени магистра русской словесности. Посторонние лица без билета не входят на собрание». Получив затем вскоре от сына переплетенный экземпляр диссертации, Гавриил Иванович написал ему: «Благодарю тебя, мой милый, неоценимый сыночек, за присылку мне твоего рассуждения. Его я еще не читал. В ознаменование моей благодарности и удовольствия прилагаю при сем 25 рублей». Ознакомившись с диссертацией, Гавриил Иванович робко заметил в письме: «О содержании твоей книжки не мое дело судить, на это есть другие люди, на все новое точащие ножи критики. Мне она дорога потому, что доставила много и премного удовольствия и утешения и как сочинение моего сына». Действительно, молодежи вроде бы понравилось; спустя годы Н.В. Шелгунов писал: «Задолго до публичной защиты, — пишет он, — о ней было уже известно в кружках, более близких к автору... Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями.

¹ Тургенев И.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 3. Письма. М.: Наука, 1987. С. 43–44.

² Там же. С. 42.

³ Переписка И.С. Тургенева в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1986. С. 153.

Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи, Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер Генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым)... Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения».

Стоит отметить, что диссертация, хотя и была защищена, но утверждение ее было отложено. Считается, что некие личности имел против НГЧ И.И. Давыдов, сторонник Шеллинга, к середине 50-х уже потерявший всяческую популярность. Чем его раздражил Чернышевский – понять трудно, разве что тем, что не было ни одной ссылки на Давыдова, а он этого не переносил. Он написал клеюзу министру народного просвещения А.С. Норову, который и положил диссертацию под сукно на несколько лет. Хотя в 1855 г. толерантный Чернышевский опубликовал в «Современнике» большую статью о пяти томах путешествий А.С. Норова. И все же Норов не мог не прислушаться к доносу, поскольку Давыдов был директором главного педагогического института и членом главного правления училищ, позднее – сенатором и академиком. В 1858 г. Норова на посту министра сменил Е.П. Ковалевский, и тут же Чернышевский получил степень магистра, когда он уже перестал нуждаться в этой степени. Об этом он написал отцу 13 января 1859 г., как всегда с усмешкой: «Вчера узнал я неожиданную новость о деле, про которое забыл думать, но которое, вероятно, интереснее для Вас. Вот уже четыре года, как я держал экзамен на магистра. По окончании всех формальностей решение университетского совета было, как обыкновенно, представлено на утверждение министру народного просвещения. Министром в то время был Норов, который не мог слышать моего имени, – почему? Бог его знает, я никогда его в глаза не видел, но были у меня доброприятели, которые потрудились над этим. Отвергнуть представление университета он не решился, потому что это было бы нарушением обычных правил, но положил бумаги под сукно. Университетские очень обиделись и года два приставали ко мне, чтобы я подал в университет вопрос о моем магистерстве, – тогда университет имел бы формальное основание вести дело, Я отвечал, что мне в этом нет надобности, что если они обижены, то могут поступать как угодно, а что я даже рад... потому что, слава богу, имею некоторую репутацию, не нуждающуюся в министерских утверждениях, а

это дело придавало ей больше эффекта. Наконец, сменился Норов. Университетские опять приставали ко мне, чтобы я дал им нужную бумагу. Я опять сказал, что не имею в том надобности. Наконец, вчера, не знаю как, получается утверждение министра. Я улыбнулся» (*Чернышевский*, XIV, 370).

Были ли идеи Фейербаха в основе диссертации НГЧ?

Как видим, никто в первых откликах даже не поминает Фейербаха. Поскольку отзывы частные, то никакая цензура не мешала. Уже в старости, желая принести дань благодарности оказавшему на него в юности немецкому мыслителю, в предисловии к третьему изданию диссертации Чернышевский пишет о своем трактате: «Те выводы, какие он делал из мыслей Фейербаха для разрешения специальных эстетических вопросов, казались ему в то время правильными; но он и тогда не считал их особенно важными. Он был доволен своим небольшим трудом только в том отношении, что ему удалось передать на русском языке некоторые из идей Фейербаха в тех формах, какие представляла тогда для подобных работ необходимость сообразоваться с условиями русской литературы» (*Чернышевский*, II, 125–126). Здесь любопытно выделить два момента: 1) казались **в то время** правильными; 2) необходимость сообразовываться с условиями русской литературы. Собственно, второй пункт и был центральной задачей его диссертации, писал он ее у Никитенко по отделению русской литературы, да и естественно не мог не думать уже как человек входящий в русскую литературу, о ее проблемах. Плеханов, исходя из расхожей радикальной точки зрения на Чернышевского и Фейербаха как материалистов, прямо объявил, что диссертация НГЧ – просто развитие материалистических идей Фейербаха. Но не говоря уж о том, что назвать Фейербаха материалистом не мог даже Энгельс, интересно возражение Плеханову вечного инакомысла русской мысли Г.Г. Шпета. Начинает он свое возражение в статье «Источники диссертации Чернышевского» с цитаты из текста немецкого мыслителя, подытоживавшего свой путь: «Тот, кто говорит и знает обо мне, только то, что я – атеист, не говорит и не знает обо мне ровно *ничего*. Вопрос, есть Бог или нет, противоположность теизма и атеизма относятся к восемнадцатому и семнадцатому, но уже не к девятнадцатому веку. Я отрицаю Бога, значит у меня: я отрицаю отрицание человека, вместо иллюзорного, фантастического, небесного положения человека, которое в действительной жизни становится отрицанием чело-

века, я утверждаю чувственное, действительное, следовательно, необходимо также политическое и социальное положение человека. Вопрос о бытии или небытии Бога именно у меня есть вопрос о бытии или небытии человека»¹. Шпет, правда, склонен тоже относить Чернышевского к материалистам, а потому к людям, не понявшим Фейербаха: «Если старческое *Предисловие* Чернышевского не является продуктом ослабленной памяти автора, если оно в точности воспроизводит то отношение к Фейербаху, которое вдохновляло юношескую диссертацию Чернышевского, то возникает сомнение, достаточно ли и тогда, в дни юности, Чернышевский знал Фейербаха, достаточно ли глубоко его усвоил, понял ли его, действительно ли проникся им в такой мере, чтобы иметь право назвать себя фейербахианцем?»² На кого в своем тексте опирался диссертант, Шпет так и не говорит. В конце своего текста Шпет пишет, что в своей диссертации идей Фейербаха Чернышевский «не передал»³. Можно высказать предположение, что система взглядов НГЧ была более сложной, чем следование одному какому-либо мыслителю. Более того, я бы предположил, что он не излагал как геллертер чужие идеи, а решал проблемы, вставшие перед русской культурой. А материал весьма часто и рождает новую методу, новый подход. Именно новый подход Чернышевского к проблемам эстетическим я постараюсь показать читателю.

Жизнь как христианская ценность

Зная из личного опыта беспомощность русской церкви, НГЧ по сути дела дал русскому обществу систему глубоко христианских ценностей, секуляризованных, в современной ему позитивистской одежде⁴. Каких же?

¹ Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Т. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2009. С. 368.

² Там же. С. 373–374.

³ Там же. С. 414.

⁴ Характерно пореволюционное размышление Федотова: «В XIX веке христианская Церковь, оскудевшая святостью и еще более мудростью, оказалась лицом к лицу с могучей, рационально-сложной и человечески доброй культурой. Перед ней прошел соблазнительный ряд „святых, не верующих в Бога“. Для кого соблазнительных? Для немощных христиан, — а как мало было сильных среди них! В панике, в сознании своего исторического бессилия и изоляции, поредевшее христианское общество отказалось признать в светских праведниках — заблудших овец Христовых, отказалось увидеть на лице их знамение „Света, просвещающего всякого человека, грядущего в мир“. В этом свете почудилось отражение люциферического сияния антихриста. Ужаснувшись хулы на Сына Человеческого, впали

Одна из важнейших евангельских тем — жизнь вечная, жизнь против смерти, т.е. отказ от языческой установки, где человек прежде всего жертва безличных сил, а не свободно выбравший путь к истине, ведущей к жизни. «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14, 6). А принявший христианскую систему ценностей тем самым «перешел от смерти в жизнь» (Ин 5, 24). Евангелие ориентировано не на смерть, не на убийство, а на воскрешение, возвращение в жизнь. Так Христос воскрешает девицу: «И взяв девицу за руку, говорит ей: “талифа-куми”, что значит: “девица, тебе говорю, встань”. И девица тотчас встала и начала ходить» (Мк 5, 41–42). Сцена, особенно умилявшая Ф.М. Достоевского. То есть Богочеловек дает не только жизнь вечную, но печется и о жизни здешней, земной, видит в ней смысл и ценность.

Я не буду писать о евангельских парафразах в текстах Чернышевского. Устойчивые евангельские и библейские словосочетания в языке мыслителя заслуживают специальной работы. Задача, которую я постараюсь разрешить, иная и, кажется, более сложная. А именно: отойдя от трагической судьбы НГЧ, показать систему его взглядов на какой-либо его большой работе.

Можно взять, конечно, любой текст, но наиболее общественно значимых и непринятых и непонятых два — диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» и роман «Что делать?» Диссертация была первой (его литературные статьи в принципе принимались), она восхвалялась всегда такими фигурами от советской философии, что невольно хотелось вперекор им назвать диссертацию гнусной и губительной для искусства. Что наши эстетствующие оппозиционеры с удовольствием и делали, пролистывая, но не читая сочинение НГЧ. Даже те, кто пытался противопоставить Чернышевского Нечаеву, о диссертации старались не распространяться. Между тем именно в ней впервые прозвучала с такой силой неожиданная для русского общества, а потому и непонятая, — *евангельская тема жизни*. Прозвучала в контексте российских бытийственных архетипов, что тоже понятно, к несчастью, не было. Значительность текста современники чувствовали, но читали, исходя из мелких сиюминутных проблем. Отстояние более чем в полтора года дает возможность посмотреть на этот трактат спокойно, заодно разглядев и ту нелепицу, которая потом так победно утвердилась

в еще более тяжкую хулу на Духа Святого, Который дышит, где хочет, а говорит устами не только язычников, но и их ослиц» (Федотов Г.П. Об антихристовом добре // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1998. С. 27).

в понимании диссертации Чернышевского (приблизиться к ее пониманию я хотел давно). Попробуем же увидеть *истину*, т.е., исходя из этимологии слова, — то, что *есть*, а не соображения по поводу.

Говоря о том, как собирается «целое человечество вокруг невидимого, но могучего центра христианской культуры»¹ и роли искусства в этом собирании, ища в русской культуре зачатки такого христианского понимания искусства в эстетической теории, В.С. Соловьёв именно трактат Чернышевского (в 1894 г.!) называет «первым шагом к истинной положительной эстетике»².

Значит, не «мертвечина»!..

Споры вокруг диссертации вдруг развернулись после второго ее издания в 1865 г. (издание его кузена и преданнейшего друга академика А.Н. Пыпина). Замечу, что книга вышла без имени автора, никто вроде бы не должен был догадаться о ее авторе. Вообще, ситуацию эту стоит читателю вообразить, читателю, который хотя бы из литературы знает, что такое книга человека, объявленного «государственным преступником». Уже была гражданская казнь в 1864 г. (об этом позже), и он отправлен на каторгу в Кадаю, где и провел первые три года своего пребывания в Сибири, на монгольской границе. Он исключен из жизни, он живой мертвец. И вдруг выходит книга мертвеца, без его имени, но все знают, чья эта книга. И раздражаются споры вокруг книги этого мертвеца.

Чем нам интересны эти споры? *Во-первых*, они говорят о жизненности той самой теории, которая при первом своем появлении была названа Тургеневым «гносной мертвечиной»³ и которой в силу этого предрекалось быстрое забвение. Более того, обсуждение диссертации после расправы правительства с ее автором демонстрировало противостояние значительной части общества явно выраженному повелению правительства забыть и вычеркнуть из жизни все, связанное с именем Чернышевского. С положительным ли, с отрицательным ли знаком, но все спорившие отмечали, что диссертация безымянного автора

¹ Соловьёв В.С. Первый шаг к положительной эстетике // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. СПб., б.г. С. 73.

² Там же. С. 74.

³ Переписка И.С. Тургенева в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1986. С. 153.

явилась событием в духовной жизни русского общества. Не случаен оказался тезис, что прекрасное есть жизнь. Жизнь продолжалась. И это удивляло более всего.

Во-вторых, из этой полемики видно, какая из идей диссертации больше всего занимала умы современников и, следовательно, была в ту эпоху наиболее актуальной. «Главное положение, — замечал “Книжный вестник”, — к которому сводится новая теория изящного, есть его определение: прекрасное есть жизнь»¹. Именно это положение выделяют как основное и другие участники полемики: одни — видя в нем высочайшее завоевание мысли, другие — источник всех бед, постигших русское искусство. Исходя из этого тезиса (и это *в-третьих*), современники вывели диссертацию за пределы собственно эстетической теории.

Действительно, Чернышевский как будто давал основания для такого прочтения. На первых же страницах диссертации он так характеризовал свое кредо и задачу: «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике» (*Чернышевский*, II, 6). Во всяком случае, Писарев, процитировав вышеприведенную мысль, восклицал: «Если еще стоит говорить об эстетике — оговорка очень замечательная! <...> Автор, разумеется, имел в виду не основание новой, а только истребление старой и вообще всякой эстетической теории»². Плеханов замечал на это, что «Писарев плохо понял Чернышевского»³. Это и так, и не так. Чернышевский действительно не собирался губить эстетику, но существенно другое: не только эстетика и ее проблемы волновали его в диссертации, через проблемы искусства он хотел судить об обществе, решать социальные и культурно-строительные проблемы, а не только эстетические. И это-то было почувствовано в спорах середины 60-х годов⁴.

¹ Книжный вестник. 1865. № 9. С. 183.

² Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1956. С. 420. И далее Писарев замечает: «“Прекрасное, — говорит автор, — есть жизнь...” Это определение до такой степени широко, что в нем совершенно тонет и исчезает то, что называется красотой» (там же. С. 422).

³ Плеханов Г.В. Избр. филос. произв.: В 5 т. Т. V. М., 1958. С. 245.

⁴ «Что значит — “прекрасное есть жизнь”? — задавал вопрос А. Немировский. — Дает ли эта фраза какое-либо определение прекрасного, если под жизнью понимать жизнь во плоти? Ведь и истинное — такая жизнь, и нравственное, и полезное — такая жизнь, — и в границах такого определения нет, в сущности, никакой разницы

Эстетические вопросы, полагал Чернышевский, были для русских мыслителей со времен Белинского «по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь» (*Чернышевский*, III, 25). Объяснял он это неразвитостью русской жизни, тем, что только через литературу можно было действовать на общество, не имевшее других способов развития и саморегуляции. «В странах, где умственная и общественная жизнь, — писал НГЧ, — достигла высокого развития, существует, если можно так выразиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература... Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведование других направлений умственной деятельности» (*Чернышевский*, III, 303). К сожалению, этот исторический контекст, как бы двойной счет, по которому оценивал русский мыслитель искусство и эстетику, в свое время понят не был. Поэтому, когда пытались подходить к его теории с сугубо эстетической точки зрения, то видели в ней либо существенные недостатки, либо приписывали те «достоинства», которыми должна была бы обладать строго эстетическая теория наподобие гегелевской, но не обладает трактат Чернышевского.

Вместе с тем его концепция до сих пор не рассматривалась в контексте тем и проблем, поставленных русской художественной культурой, тех символических образов, в которых литература выражала свое понимание действительности. А между тем ее темы, ее образы были тем реальным материалом, на котором вырастала и на который опиралась русская философская и общественно-эстетическая мысль¹. Тут можно назвать имена и Чаадаева, и Белинского, и И. Киреевского, и Герцена, и А. Григорьева, и других. Диссертация и явилась в известном смысле теоретическим выражением *противо-стояния* (как на реке Угре, без битвы) русской художественной культуры диктату власти. На этом фоне, в этом контексте мне и хотелось бы рассмотреть текст Чернышевского. К тому же вопросы, недоумения, полемика вокруг второго издания, сама конкретная ситуация —

между прекрасным, полезным, нравственным, истинным и искусство не отделяется от науки, наука от ремесла» (*Немировский А.* Наши идеалисты и реалисты. СПб., 1867. С. 150).

¹ У нас, писал Белинский, «только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще *жизнь* и движение вперед» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. X. М., 1956. С. 217; курсив мой. — *В.К.*). В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.

очевидная неслучайность ареста, гражданской казни и каторги автора книги и возникновение, по словам Шпета, тех «домыслов, которые привносились к этому с течением времени, в особенности с момента его глупого ареста и бесчеловечной кары за несодеянное преступление»¹, — позволяют показать реальный пафос эстетической теории НГЧ, направленной против системы ценностей, укорененной в самом способе, стиле общественно-государственного бытия России.

Тень смерти, или Система ценностей Николаевского царства

«Первый главный тезис, изложенный в сочинении, — писал о диссертации Н. Соловьёв, — есть *определение прекрасного...* Но в чем же состоит это определение, так категорически выставленное в статье? “Прекрасное есть жизнь”. Но это не определение. Тут неопределенное определяется еще более неопределенным, прекрасное — жизнью. А что такое жизнь?..»² Очевидно, с точки зрения строгих категорий, к которым апеллировал Н. Соловьёв, принятых в классических философских системах немецкого идеализма, определение Чернышевского не выдерживало критики. Однако стоит вспомнить тот общественно-исторический и художественно-культурный контекст, ту эпоху, когда создавалась диссертация НГЧ, чтобы основной его тезис обрел культурно-историческую обязательность.

Диссертация вышла в свет в начале 1855 г., а писалась, как известно, в 1853 (!). У нас обычно связывают ее появление с крымским поражением и общественным подъемом середины 50-х, начиная со смерти Николая I (1855). Напомним, однако, что шли годы тридцатилетнего николаевского царствования, последние годы «мрачного семилетия» (1848—1855), но конца им никто не видел. Когда умер Николай, то руководитель диссертации Чернышевского профессор А.В. Никитенко записал в дневнике: «Я всегда думал, да и не я один, что император Николай переживет и нас, и детей наших, и чуть не внуков»³. И теория

¹ Шпет Г.Г. Указ. соч. С. 370.

² Отечественные записки. 1865, май, кн. II. С. 309, 310.

³ Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Т. I. Л.: ГИХЛ, 1955. С. 402. Вообще влияние Никитенко на молодого студента Чернышевского практически не освещено в научной литературе. Никитенко как общественный деятель был умеренным либералом, соредктором «Современника» в 40-е годы, однако «потаенный» Никитенко, каким он встает в своем дневнике, достаточно остер, зол, наблюдателен и радикален (см. об этом: Прокопенко З.Т. А.В. Никитенко и Н.Г. Чернышевский // Русская литература, 1978. № 2. С. 127—129).

молодого мыслителя была непосредственной реакцией на то состояние общественной жизни, которое он наблюдал вокруг и о котором мог читать в лучших произведениях отечественной литературы тех лет.

Что же это были за годы? Это был очевидный современникам антипетровский переворот, совершенный после декабристского восстания Николаем I, направленный против западноевропейского просвещения и образования, отчаянная и довольно успешная попытка удержать Россию в неподвижности, огражденной от живой жизни Запада. «Моровой полосой» назвал Герцен это тридцатилетие. «Человеческие следы, замеченные полицией, пропадут, — писал он об этом времени, — и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли»¹. В конце 1847 г., когда грянули громы над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко писал в дневник: «Жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса»². Хуже прочих было вступающим в жизнь молодым писателям, мыслителям, поэтам. В их житейском опыте не имелось сопереживания государству в его попытках либерально-европейского развития России. Сразу же их деятельность по просвещению страны оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному «к смертной казни расстрелянием» за чтение вслух письма одного литератора другому (Белинского — Гоголю). Ссылки, каторга, солдатчина — вот что ждало многих. Разумеется, погибали не все, стоит назвать имена Герцена, того же Достоевского, Чернышевского, но сколь хрупко и ненадежно было их существование.

«В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются*, и если умирают на полдороге,

¹ Герцен А.И. Соч.: В 30 т. Т. IX. М., 1956. С. 35. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.

² Никитенко А.В. Дневник. Т. I. С. 308. Называя николаевскую Россию Сандвичевыми островами, Никитенко писал: «На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромнен, клеймятся и обрекаются гонению и гибели» (там же. С. 315).

то не все умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва существующие, как все зародыши вообще» (Герцен, IX, 35). Увиденная их глазами николаевская Россия напоминает «убогое кладбище» (Герцен), «Некрополис», город мертвых (Чаадаев), «Сандвичевы острова», то есть, по представлениям людей XIX века, место, где поедают людей (Никитенко), а обитатели этого мира поголовно — «мертвые души» (Гоголь)¹. В 1854 г. Грановский писал Герцену за границу: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских народов. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет»². В том же 1854 г. бывший каторжанин Достоевский задумывает свои «Записки из Мертвого (!) дома». Писал он этот текст уже в Петербурге по возвращении с каторги и, рисуя находящиеся в каторжных стенах все сословия необъятной русской земли, восклицал: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром».

Характерна и не случайна метафизическая тоска, прозвучавшая в стихах Пушкина уже в первые годы николаевского царствования (1828):

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Живущие в установленной самодержавием системе ценностей по сути своей не живут: это философическое углубление понятия «жизнь» мы находим в трагическом вопросе Пушкина, в гоголевской поэме... «Мертвое царство», населенное «мертвыми душами», — так показал николаевскую империю Гоголь. Гоголевская поэма была задумана как трехчастная, восходящая наподобие дантовской «Божественной комедии» от «Ада» к «Раю». Но действительность дала писателю материал только для «Ада», где по разным кругам подземного царства разъезжает скупщик «мертвых душ», который не только не хочет живых душ, но и не видит их вокруг себя. Второй том, предполагаемое

¹ Так воспринимали николаевскую империю не только русские писатели: «Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказа. Оттого здесь все так мрачно, подавленно, и мертвое молчание убивает всякую жизнь. Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара» (*Кюстин де, Астольф, маркиз*. Николаевская Россия. М., 1990. С. 74).

² Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 448.

«Чистилище», уже показал писателю невозможность, оставаясь в пределах предложенного действительностью реального материала, осуществить свой замысел. К «Раю», к третьему тому, он и не приступал. Исправление Чичикова в результате столкновения с «живыми душами» (Костанжогло, Муразов) не состоялось.

У Гоголя и Чаадаева речь уже шла не о физической, физиологической жизни, а о жизни духовной. Именно она в самодержавной России прежде всего обрекалась на смерть. Но в основе, разумеется, лежало пренебрежение к жизни, физической жизни любого человека — личности или еще не выработавшегося в личность. Поэтому если обычный законопослушный подданный просто *приносился в жертву* (т.е. тоже язычески) целям государства (что с беспощадной откровенностью показал Радишев, сравнив российскую монархию со стозевным чудищем), то обладатель духовной жизни, самосознания подвергался каре, целенаправленно уничтожался. Вспомним мартиролог деятелей русской культуры, предьявленный Герценом самодержавию¹. Именно это имел в виду Белинский, когда в своем знаменитом письме Гоголю писал, что в николаевской России нет «никаких гарантий для личности, чести и собственности» и первейшая ее нужда — «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе» (Белинский, X, 213). Духовно уснувших и погибших людей (описанных в русской литературе) от гоголевского Тентетникова и гончаровского Обломова до чеховского Ионыча можно насчитать не один десяток. О том, что это равнодушие к духовной жизни рождено не сегодня, а в традициях и обычаях еще домосковской Руси, Чернышевский говорил неоднократно. По его словам (1856), равнодушие русского общества «ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений... <...> — наследство котошихинских времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются отдельным лицом, тем более народом <...> Мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка к сну» (Чернышевский, III, 351). Это типичный «мертвый сон», и кто пробуждается от него, духовно оживает, тот закономерно уничтожается государством. Продолжая и теоретически осмысляя традицию великой

¹ «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги» (Герцен, VII, 208).

русской литературы, борющейся против этого «сна-смерти», «мертвого сна», навязываемого русским самодержавием, той гласно не объявленной, но реально и безостановочно действующей системы ценностей, когда жизнь человека ничего не стоит, Чернышевский и выдвигает свой знаменитый тезис: **прекрасное есть жизнь**. Это и в самом деле был тезис, который знаменовал собой переворот в ценностной ориентации всего общества.

Стоит напомнить эпиграф к начавшему выходить в 1857 г. герценовскому «Колоколу» (спустя два года после публикации диссертации): «Зову живых!» Да и сам символ «колокола», отзванивающего по павшим и умершим, который вместе с тем мог звучать, как набат, «звонить», созывать живых людей, будить их от мертвого сна (вспомним хотя бы характерный для русской поэзии того времени образ «вечернего колокола» как символа задавленной московским самодержавием Новгородской республики). Если же говорить, как этот тезис связан с искусством, не противоречит ли ему, то достаточно напомнить фразу Льва Толстого, который в 1865 г. начал публикацию «Войны и мира» и, разумеется, не принимал участия в развернувшихся спорах вокруг диссертации Чернышевского, однако в письме (лето 1865 г.) к П.Д. Боборыкину написал, иронизируя над его пристрастием к *злобе дня*: «Вопросы земства, литературы, эмансипации женщин и т.п. полемически выступают у вас на первый план, а эти вопросы в мире искусства не только не занимательны, но их нет. Вопросы эмансипации женщин и литературных партий невольно представляются вам важными в вашей литературной петербургской среде, но все эти вопросы трепещутся в маленькой луже грязной воды, которая кажется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину этой лужи. <...> *Цель художника... в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях*»¹.

Прекрасное есть жизнь... личности

Однако о какой «жизни» идет речь? Вл. Соловьёв одним из важнейших тезисов диссертации назвал признание Чернышевским объективной красоты в природе. Это верно, и о важности этого

¹ Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XVIII. М., 1984. С. 634 (курсив мой. — В. К.). Любопытно, что Боборыкин, спустя 30 лет выступив против эстетики Чернышевского, напал именно на этот ее тезис: «Вся суть диссертации Чернышевского, затормозившей дальнейшее научно-эстетическое движение нашей художественной критики, заключается в признании безусловного преимущества жизни над искусством» // Вопросы философии и психологии. 1893. № 1. С. 107.

тезиса сегодня можно говорить в связи с лавиной экологических предсказаний, пророчеств и тревог. Но сам же Соловьёв, указав на христианский смысл диссертации, позволяет взглянуть дальше. Ведь основная проблема ее была все же в том, что речь тут прежде всего шла о *жизни человека*. «Прекрасное есть жизнь, — писал Чернышевский и, уточняя, добавлял: — и ближайшим образом, жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни» (Чернышевский, II, 13). Однако же и люди бывают разные, вследствие этого еще пояснение: «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям» (Чернышевский, II, 10). Однако современники справедливо могли сказать, что «наши понятия» бывают разные. Чернышевский вполне предвидел этот вопрос. Говоря о сложившемся в самодержавной России восприятии красоты среди разных слоев населения, в своей диссертации НГЧ выстраивает своеобразную триаду.

В основание ее он кладет представление о красоте у «простого народа»: «В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе» (Чернышевский, II, 10). Отрицанием этой простой жизни, близкой к природному процессу, является жизнь высшего света, для которого характерно «увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса» (Чернышевский, II, 11). Но синтезисом, как тогда говорили, высшей точкой у него выступает жизнь и представление о красоте «образованных людей», которые уже различают «лицо», личность: «Всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек нам кажется прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза» (Чернышевский, II, 11; курсив мой. — В.К.). Напомню здесь евангельские слова, которые дают существенный контекст к высказыванию НГЧ: «Светильник тела есть око» (Лук 11, 34). Не очевиден ли первоисточник? Я уж не говорю, что впервые в русской нерелигиозной литературе звучит тема *лица, лика!*

Эти выражения: «истинно образованный», «истинная жизнь» — говорят нам, что Чернышевский видел именно в «жизни ума и

сердца» высшую точку развития человека. Иными словами, то, что каралось самодержавием, тех людей — «поэтов, мыслителей, граждан», — которых Герцен заносил в мартиролог погубленных властью, Чернышевский называет выразителями истинного понимания о жизни. Впоследствии, в «Что делать?», он о таких людях скажет: «новые люди», лучшие среди которых — «двигатели двигателей», «соль соли земли». Опять же евангельский парафраз: «Вы — соль земли», — говорит Христос своим ученикам (Мф 5, 13).

Разумеется, «антропологизм» Чернышевского есть еще и результат влияния Фейербаха. Об этом писал он сам в предисловии к третьему изданию диссертации, это обстоятельство неоднократно отмечалось всеми. Существенно, однако, что применялись им идеи Фейербаха совсем в иной исторической, политической и культурной ситуации и, соответственным образом переосмысленные и развитые, служили ответом на совсем иные вопросы, вопросы, которые ставила русская действительность перед русским мыслителем. В этом плане имеет смысл обратить внимание на критическое отношение Чернышевского к гегелевской системе. Гегеля называли идеологом государственности; примерно так оценивал политическую позицию Гегеля и Герцен: «Гегель видел в монархии на манер прусской, с ее потсдамской религией, *абсолютную политическую и религиозную форму государства*» (Герцен, XIV, 171). Чернышевский полагал невозможным совместить этактистский монархический принцип с правами личности¹. «Мы <...> — писал он, повторяя Канта — выше человеческой личности не принимаем на земном шаре ничего» (Чернышевский, V, 597). В России были к тому же особые счеты с Гегелем и его системой, ибо в свое время формулу немецкого философа («все действительное разумно; все разумное действительно») русские мыслители прочли как оправдание деспотии Николая I, а Белинский в своей знаменитой статье «Бородинская годовщина» поставил идею

¹ Самодержавие, или «дурное управление», как именовал его Чернышевский в статье 1859 г. «Суеверие и правила логики», ведет народ к бедности, а «говоря о бедности, производимой дурным управлением, мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравственной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергичным человек, привыкший к невозможности отстоять свои законные права, человек, в котором убито чувство независимости, убита благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлено и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школой, подготовляющей человека к энергии в умственном труде?» (Чернышевский, V, 709).

самодержавного государства, воплощенную в *царе*, выше идеи отечества, а личность и ее жизнь ставил в полную зависимость от нужд империи: «Под словом “народность” должно разуметь акт слияния частных индивидуальностей в общем сознании своей государственной личности и самости. И наше русское народное сознание вполне выражается и вполне исчерпывается словом “царь”, в отношении к которому “отечество” есть понятие подчиненное, следствие причины. <...> Пора сознать, что мы имеем *разумное* право быть горды нашею любовью к царю, нашею безграничною преданностию его священной воле, как горды англичане своими государственными постановлениями, своими гражданскими правами, как горды Северо-Американские Штаты своею свободою» (*Белинский*, III, 247). Как известно, он впоследствии проклял свое «гносное стремление к примирению с гнусною действительностью» (*Белинский*, XI, 556)¹. Мысль Гегеля была, однако, много сложнее. Он полагал, что не всякая действительность действительна, т.е. находится в пространстве разума. Страна настолько действительна, насколько разумна. За пределами разума начинается хаос, внеисторическое существование и «тьма кромешная». И если Россия не разумна, она и не действительна, ибо находится вне сферы исторических законов. И с этой недействительностью, неразумностью надо бороться. «Агентом отрезвления» Белинского, как говорили современники (П.В. Анненков), стал Лермонтов, который решительно развел понятия государства и отечества. Официозному прославлению государства, его величия в прошлом и настоящем он противопоставил любовь к простой жизни, соразмерной человеку:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Принимая диалектический метод, Чернышевский выступил против того, что ему казалось в гегелевской эстетике пренебрежением к человеку и человеческой жизни и в этом

¹ В том же письме (В.П. Боткину) он, продолжая эту мысль, восклицал: «Для меня теперь *человеческая личность* выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века!» (*Белинский*, XI, 556).

смысле корреспондировало с реальной практикой и системой ценностей российского самодержавия. Он писал в том же 1859 г. в статье о публицистике Б. Чичерина, что проповедовать в России «повиновение властям, — не значит ли это совершенно не понимать характера и положения людей, с которыми имеешь дело? <...> Все мы воспитаны обществом, в котором владеет обскурантизм, застой, произвол; потому, какими понятиями ни пропитываемся мы потом из книг, все-таки большая часть из нас сохраняют привычное расположение к обскурантизму, застою и произволу» (*Чернышевский*, V, 648, 666). Отсюда и понятно его стремление к смене системы ценностей во всех областях жизни, в том числе и «к изменению понятий и о самой сущности искусства» (*Чернышевский*, II, 31).

Красота спасает не мир, но индивидуальность

Надо сказать, что не только противники каторжанина, но и его сторонники, вроде Варфоломея Зайцева, увидели в диссертации категорическое отрицание искусства, вовсе не поняв того обстоятельства, что Чернышевским отрицался определенный *тип* искусства. Прочитывая фразу Чернышевского, что «искусство льстит нашему искусственному вкусу» (*Чернышевский*, II, 72), и весь дальнейший пассаж, объясняющий эту «третью причину»¹ любви человека к искусству, В. Зайцев именно ее объявляет характерной и самой важной и раздражается следующим умозаключением: «Я недаром привел такую <...> выписку: ею доказывается как нельзя лучше то мнение автора “Эстетических отношений”, которое напрасно некоторые пытаются затушевать, — мнение, что искусство не имеет настоящих оснований в природе человека, что оно не более, как болезненное явление в искаженном, ненормально-развившемся организме; что, по мере совершенствования людей, оно должно падать и что оно заслуживает полного и беспощадного отрицания. И я, право, не понимаю, как можно пытаться стусевать мнение, столь ясно выраженное? Человек начал с того, что объявил искусство несравненно ниже действительности, чем уже совершенно лишил его видного значения; затем оно признано порождением искажившейся до лживости, дошедшей до фантастических

¹ Первая причина любви к искусству, по Чернышевскому, в том, что оно есть результат «человеческого труда» (*Чернышевский*, II, 72), а вторая — в том, что «произведения искусства свидетельствуют об уме человека, о его силе и потому дороги для нас» (*Чернышевский*, II, 71–72).

потребностей природы современного европейского общества; признано, что даже невозможно угодить эстетическим потребностям общества; что такое угождение навлекает только насмешку или даже презрение. Кроме ненормальностей искаженности в развитии современного цивилизованного человека, за основание поклонения искусству приняты странное тщеславие и нелепый предрассудок ценить редкие и с трудом доставшиеся вещи выше обыкновенных и доставшихся даром. Здесь, я полагаю, автор был вынужден только побочными обстоятельствами, — а именно тем, что статья его — диссертация, — отнестись довольно мягко к этим двум другим причинам. В сущности же они не заслуживают этого»¹. По стилистике жизни Зайцев был законченный террорист, автор небольшой брошюры «О пользе цареубийства». Разумеется, реформизм Чернышевского он старался переосмыслить на свой лад.

Разумеется, истинный нигилист, духовно близкий Ткачёву и Нечаеву, Зайцев не мог, да и не хотел видеть тот подлинный переворот в понятиях, совершенный непонятым им «учителем», замечая же свои с ним расхождения, он называл их «побочными обстоятельствами»². Но и там, где он выступает «сторонником», что ни слово, то передержка. Во-первых, Чернышевский никогда не говорил о переизбытке европейских начал в русском обществе. Полемизируя со славянофилами, он иронически писал (1856): «Люди, которые скорбят о том, что наше общество, наше просвещение и т.д. как две капли воды походят на западное общество, западное просвещение и т.д., оскорбляются фактами, решительно созданными их воображением. Если б мы разделяли их понятия, мы, напротив, повсюду видели бы повод к радости: сходства между нами и Западом пока еще не заметно ни в чем, если хорошенько вникнем в сущность дела» (*Чернышевский*, III, 353). Во-вторых, и это самое существенное, Чернышевский довольно точно указал причины «искусственного вкуса», причем и после диссертации говорил о них не раз, так что спустя десять лет можно было бы это заметить. Помянув про «искусственность вкуса», он заметил: «Мы очень хорошо понимаем, как искусственны были нравы, привычки, весь образ мыслей времен Людови-

¹ Русское слово. 1865. № 4. С. 84.

² Чернышевский же достаточно твердо говорил, что «причины пристрастия к искусству», им приведенные, «заслуживают уважения, потому что они естественны: как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека?» (*Чернышевский*, II, 72).

ка XIV; мы приблизились к природе, гораздо лучше понимаем и ценим ее, нежели понимало и ценило общество XVII века; тем не менее мы еще очень далеки от природы; наши привычки, нравы, весь образ жизни и вследствие того весь образ мыслей еще очень искусственны... Ослабевшая болезнь не есть еще полное здоровье» (II, 72). Иными словами, искусственность, вычурность, неправдоподобие он видит в эпохе абсолютистского французского государства, понимавшегося просветителями как деспотическое, от которого и шла вся ложь в искусстве, желающего стать «выше природы, выше действительности», а точнее, исказить ее, приукрасить. В таком искусстве «господствует мелочная погоня за эффектностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцветивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий» (II, 73).

Но этот псевдоклассицизм был возрожден и в николаевской России. Напомню анализ Белинским официозных и урапатриотических произведений Бенедиктова и Кукольника («Рука всевышнего отечество спасла» и т.п.). Подобное искусство Чернышевский достаточно прямо называет результатом «угождения господствующему образу мыслей» (*Чернышевский*, II, 73). Не надо забывать, что это писалось в 1853 г. — в период господства «патриотических сочинений». В 1854 г., рассуждая о подобных стихах Каролины Павловой¹, Никитенко заносил в свой дневник: «Любовь к отечеству — чувство похвальное, что и говорить. Но выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать: “пусть гибнут имена, лишь бы возвеличилось отечество”, — значит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается именно сынами избранными, доблестными, даровитыми, которые не гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения»². Но только ли Каролина Павлова?! Как пример подавления государством даже правдивых художников он приводит Гоголя, у которого «за недостаток “отрадных”» лиц вознаграждают «“высоколирические” отступления» (*Чернышевский*, II, 73). Впрочем, и Достоевского по сути дела приговорили к смерти за то, что он согласился с Белинским, который считал «лирические отступления» первым шагом к верноподданническим пассажам «Выбранных мест из переписки с друзьями». Позднее в «Селе Степанчикове и его обитателях»

¹ «Да возвеличится Россия,
И гибнут наши имена» (К. Павлова. «Разговор в Кремле»).

² Никитенко А.В. Дневник. Т. I. С. 389.

Достоевский разделяется с поздним Гоголем (наблюдение Тынянова), вложив в уста Фомы Опискина, нравственного деспота и изломанного своим положением несамостоятельного существа, слова из «Выбранных мест».

Выступая против «абсолютов», Чернышевский отстаивал право человека на индивидуальность, опасаясь, что даже понятое как абсолют искусство может служить автократии и подавлять простые сегодняшние потребности человека. Поэтому он утверждал: «В действительности мы не встречаем ничего абсолютного; потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота; но мы знаем, по крайней мере, из опыта, что... нам, существам индивидуальным, не могущим перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности» (*Чернышевский*, II, 47). Более того, все абсолютное, подавляющее человека, казалось ему и враждебным искусству: «Из мысли о том, что индивидуальность — существеннейший признак прекрасного, само собою вытекает положение, что мерило абсолютного чуждо области прекрасного» (*Чернышевский*, II, 47). Вот этого-то личностного пафоса, поистине революционного в самодержавной стране, подавлявшей всякое проявление личностного начала, Зайцев и не заметил, полагая самым революционным в теории Чернышевского выступление против тех теоретиков, которые в искусстве видели альфу и омегу всей духовной деятельности, стараясь изолировать ее от других типов деятельности, короче, против теоретиков «чистого искусства».

Но отрицание «чистого искусства» и объявление прекрасного жизнью казалось даже и независимым писателям возвращением к временам самодержавного диктата и дидактики. Тургенев писал по поводу первого издания диссертации Чернышевского Некрасову 10 июля 1855 г. из Спасского: «Мне, признаться, несколько досадно на “Современник”, что он не отделал, как бы следовало, мертвечину Чернышевского. Это худо скрытая вражда к искусству — везде скверна — а у нас и подавно. Отними у нас *этот* энтузиазм — после того хоть со света долой беги»¹. Тургенев не почувствовал личностного пафоса новой теории, перемены всех знаков и ценностей культуры, где соответственно и искусство должно было звучать по-новому.

¹ Переписка И.С. Тургенева в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1986. С. 112.

Чернышевский говорил: жизнь выше искусства, ведь чтобы создавать искусство, наслаждаться им, необходимо быть *живым* — и физически и прежде всего духовно. Самодержавие и крепостническое общество убивают жизнь и подлинную красоту, но «чистое искусство», поначалу ими отвергаемое, они все же способны переварить и приспособить, вспомним хотя бы, говорит Чернышевский, изящные безделушки эпохи французского абсолютизма. Чуть позже поставил этот вопрос Достоевский в романе «Идиот» (1868). Влюбленный князь Мышкин, по словам одного из персонажей романа, произносит свою знаменитую фразу, что «мир спасет красота»¹, а далее всем своим романом писатель доказывает, что в этом мире подлинная красота обречена смерти (Настасья Филипповна убита).

Чистое искусство, или Почему жизнь выше искусства

Сторонники «чистого искусства» утверждали, что только с появлением теории Чернышевского стало плохо искусству, а раньше-де искусство всеми воспринималось как совершенно независимая область жизни. «Формальное гонение на искусство и поэзию, — писал Е.Н. Эдельсон, — безусловное отрицание их значения, как чего-либо самостоятельного, и их пользы, даже обвинение их во вредном влиянии начались в нашей литературе сравнительно очень недавно. Было время, и многие еще, конечно, помнят его, когда поэзия считалась какою-то привилегированною областью, свободным, не знающим законов “языком богов”, когда даже требование от поэзии и искусств вообще серьезной мысли, серьезной задачи и содержания было у нас довольно новым и смелым нововведением. Поэты и артисты считались каким-то особым, исключительным племенем, повинующимся лишь требованиям своего прихотливого вдохновения, а деятельность их, не подлежащую другой критике, кроме так называемой художественной, т.е. критике формы»².

Утверждение это, однако, исторически неверно. Точнее сказать, это была своеобразная мифологема, которую выдвигали и отстаивали теоретики «чистого искусства», противопоставляя свою теорию требованиям самодержавно-государственного дидактизма и официозного утилитаризма. Даже еще Державин, несмотря на весь свой громадный поэтический талант, был впол-

¹ Начиная с Вл. Соловьёва, эта формула меж тем постоянно приписывается самому писателю, что противоположно идее Достоевского, вырастающей из романа.

² Эдельсон Е. О значении искусства в цивилизации. С. 8.

не государственный поэт. Если пушкинские *державные стихи* «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», *написанные в защиту европеизма России*, публика по ошибке приняла за верноподданнические, то уж у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» было не только прямое восхваление императора Николая I, но и целая программа жизни, которую великий писатель рекомендовал каждому русскому человеку: «Полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу»¹.

На этом фоне отказ от идеи государственной пользы имел поначалу вполне прогрессивный конкретно-исторический смысл. Именно это подразумевал Чернышевский, когда писал о теории «чистого искусства»: «Мысль эта имела смысл тогда, когда надобно было доказывать, что поэт не должен писать великолепных од, не должен искажать действительности в угоду различным произвольным и приторным тенденциям. К сожалению, для этого она появилась уж слишком поздно, когда борьба была кончена; а теперь и подавно она ни к чему не нужна: искусство успело уж отстоять свою самостоятельность и должно думать о том, как ею пользоваться» (*Чернышевский*, II, 271). Как показал исторический опыт, самодержавие вполне научилось сосуществовать с «чистым искусством», да к тому же, что еще более важно, узкий круг «чистых эстетов» был слишком узок, чтобы своей изолированной жизнью и деятельностью хоть как-то повлиять на развитие свободы и независимости, «живой жизни» в душах своих соотечественников, схваченных тисками самодержавно-полицейского государства. «Чистое искусство», по сути, отказывалось от помощи человеку, а «человек, — писал Чернышевский, повторяя великую гуманистическую формулу Канта, — сам себе цель; но, — добавлял он, — дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе» (*Чернышевский*, II, 79). Поэтому, принимая «чистое искусство» как один из моментов сопротивления самодержавному давлению, Чернышевский тем не менее подчеркивал его недостаточность, ограниченность, ибо оно не служило человеку. А задача искусства

¹ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Патриот, 1993. С. 175.

в России — пересоздать человека, превратить его в свободное, самодействующее существо, научить его *жить*, а не прозябать, не спать, вытащить из состояния сонной смерти. Поэтому и требовал он от искусства «быть для человека учебником *жизни*» (Чернышевский, II, 90).

Надо сказать, что тема жизни как противостояние смерти, протест против рабского состояния человека стали ведущей темой русской литературы. Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Лермонтов, Герцен, Белинский — их имена уже упоминались. Но тут и Достоевский, взывающий «живой жизни» и объявляющий в «Братьях Карамазовых» самодержавное государство языческим учреждением, стремящимся убить, а не восстановить заблудшего человека. Стоит ли добавлять, что язычество на Руси было связано с культом мертвых. Великий бунтовщик и протестант Лев Толстой, объявивший несовместимой службу государству с истинными целями человеческой жизни, пишет в конце 80-х годов трактат «О жизни» как основной проблеме, достойной человеческого разума.

Семинарист Чернышевский, которого в юности, как я уже говорил, называли «надеждой русской церкви», глубоко усвоил это основное христианское понятие о ценности жизни, о том, что величайшее событие человечества было казнь и воскрешение Богочеловека, «смертью смерть поправшего», обещавшего своим сторонникам «жизнь вечную». В иерархии христианских ценностей жизнь активно противостоит смерти. И это противостояние стало определяющим в творчестве русского мыслителя. Более того, именно в *христианской книжной культуре*, противостоявшей язычеству, представление о просвещении традиционно связывалось с понятием жизни. Чтобы увидеть это, достаточно прочитать хотя бы первую страницу Жития Константина Философа, в иночестве Кирилла, создателя системы славянской письменности: «Бог милостивый и щедрый, желая покаяния человеческого, чтобы все были спасены и пришли к познанию истины, ибо *не хочет смерти грешников, но покаяния и жизни*. <...> Как сделал и для нашего поколения, воздвигнув нам такого учителя, который просветил народ наш»¹.

Христос для Чернышевского был Пророк. И это надо понять, поскольку данное понятие, как правило, относят лишь к определенному литературно-философскому направлению XVIII—XIX столетий. Просвещение для христианина — это свет, свет разума. Как сказано в Евангелии: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин 1, 4).

¹ Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 71. Курсив мой. — В.К.

Глава 7

Звено в цепи

Литературоцентризм как русский путь в цивилизацию

Он и в самом деле был человек христианской жизни, если не сказать — жития. Притом что в доме, который он нанял и держал на свои деньги, сам он занимал маленькую комнатку, куда не всегда даже ему приносили обед расшалившаяся внизу хозяйка и гости. А он писал, писал, можно сказать, неистово, словно молился с утра до вечера как подвижник. Перечислить те тексты, которые он написал, начиная хотя бы с диссертации до ареста, займет несколько печатных листов. Поэтому я остановлюсь на центральных его работах, вызвавших шумные литературно-общественные отклики. Сразу после защиты диссертации в 1855 г. в декабрьском номере «Современника» появляется первая статья из цикла «Очерки гоголевского периода русской литературы». В них он проследил становление русской литературы и русской критики от Н. Полевого до В. Белинского.

Реакция была далеко не однозначная. По инерции дворянские литераторы были раздражены. Особенно тем, что с первой же статьи стало ясно, что, во-первых, он подхватывает идею о литературоцентризме русской культуры, а во-вторых, первым критиком этого периода он видит Белинского. Практически сразу он начинает еще завуалированно с отсылки к творчеству Белинского, как высшей точки русской литературной мысли: «Критика вообще развивается на основании фактов, представляемых литературою, произведения которой служат необходимыми данными для выводов критики. Так, вслед за Пушкиным с его поэмами в байроновском духе и “Евгением Онегиным” явилась критика “Телеграфа”, когда Гоголь приобрел господство над развитием нашего самосознания, явилась так называемая критика 1840-х годов...» (*Чернышевский*, III, 8). Прекрасно понимая, что его будут упрекать в несамостоятельности мысли, он ответил почти библейской формулой.

«Читатели могут заметить в наших словах отголосок бессильной нерешительности, овладевшей русскою литературою в последние годы. Они могут сказать: “вы хотите движения вперед, и откуда же предлагаете вы почерпнуть силы для этого движения? Не в настоящем, не в живом, а в прошедшем, в мертвом. Необходительны те воззвания к новой деятельности, которые ставят идеалы себе в прошедшем, а не в будущем. Только сила отрицания от всего прошедшего есть сила, создающая нечто новое и лучшее”. Читатели отчасти будут правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и что же делать, если наше время не выказывает себя способным держаться на ногах собственными силами? И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? **И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них?** По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми? Ведь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремлением к благотворному действию на умственную жизнь общества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда не будет мертво» (*Чернышевский*, III, 9; выделено мной. — *В.К.*). Как видим, евангельская тема жизни, порождающей смыслы бытия, здесь определяет его посыл. Конечно, это опора на евангельскую мысль, что необходимо исполнять не свою, но волю небесного Отца: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин 5, 19).

Более того, вопрос о том, мертвецы ли лежат в этих гробах, зазвучал много позже в разговоре двух братьев Ивана и Алеши («Братья Карамазовы»), когда Иван вздыхает, что великая европейская культура на кладбище уже: «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище, и никак не более». Алеша отвечает: «Надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали». И речь тут не только о западной культуре, но о литературе, которая единственная, по Чернышевскому, хранит духовную жизнь культуры. Повторим: «слово заключает в себе семена жизни»...

Наиболее резко и развернуто на Чернышевского буквально обрушился (прошу прощения за такое слово, но иного не под-

беру — слишком много язвительности было в его ответе Чернышевскому) Александр Дружинин: «Новые художники порождают новых ценителей, и тот ценитель, который, не смея быть новым, станет робко повторять выводы своего предшественника, вдастся в литературный фетишизм, как бы даровит ни был сошедший со сцены человек, им выбранный вместо кумира. Карлик, взобравшийся на плечи великана, видит далее, чем видел тот, у кого он сидит на плечах. Если он станет не признавать и уничтожать того, через кого он видит так далеко, позор падет на его собственную голову. Но если он нарочно станет гнаться и умалять горизонт своего зрения, всякий будет вправе сделать такой вопрос: “Для чего же ты, маленький человек, взобрался так высоко?”»¹. Итак, карлик Чернышевский очевидно не заслуживал даже подробного ответа. Во всяком случае, друг Дружинина Толстой незамедлительно поддержал статью Дружинина. Всякое семинаристское начало раздражало его всю жизнь. Не случайно в «Войне и мире» он с такой неприязнью нарисовал образ Сперанского. Толстому ответил обычно осторожный Тургенев, но память Белинского он все же захотел защитить, особенно когда у того нашелся защитник. Он писал Толстому: «Париж 16/28 октября 1856. Больше всех Вам не по нутру Чернышевский, но тут Вы немного преувеличиваете. Положим, Вам его “фетишизм” противен — и Вы негодуете на него за выкапывание старины, которую, по Вашему, не следовало бы трогать; но вспомните, дело идет об имени человека, который всю жизнь был — не скажу мучеником (Вы громких слов не любите), но тружеником, работником спекулятора, который его руками загребал деньги и часто себе приписывал его заслуги (я сам был не раз тому свидетелем); вспомните, что бедный Белинский всю жизнь свою не знал не только счастья или покоя — но даже самых обыкновенных удовлетворений и удобств; что в него за высказывание тех самых мыслей, которые теперь стали общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами; что он смертью избег судьбы, может быть, очень горькой — неужели Вы, после всего этого — находите, что две-три статьи в пользу его, написанные, может быть, несколько дифирамбически, — уже слишком великая награда, что этого уже сносить нельзя»².

¹ Дружинин А.В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения // Дружинин А.В. Литературная критика. М.: Советская Россия, 1985. С. 123.

² Переписка И.С. Тургенева в двух томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1986. С. 117.

Судя по дневникам, Толстой принял доводы Тургенева и взялся читать Белинского, хотя тоже по происхождению из поповского сословия (правда, отец лекарь).

Чернышевский говорил о эпохе Гоголя, оказавшего огромное влияние на русскую литературу, создавшего ее самобытность, но нисколько не противопоставлял его, скажем, своему любимому Пушкину. Просто Гоголь «пробудил в нас сознание о нас самих – вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке. Рассмотрение значения Гоголя в этом отношении должно быть главным предметом наших статей, – дело очень важное, которое, быть может, признали бы мы превосходящим наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, так что нам, при разборе сочинений самого Гоголя, остается почти только приводить в систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о которой мы говорили в начале статьи» (*Чернышевский*, III, 20). **Отсылка к авторитету Белинского чисто богословская.** «А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня». (Ин 8, 16). Это и бесило Дружинина, слишком высокую планку ставил Чернышевский. Но дело-то в том, что для последнего было ясно, что «как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее» (*Чернышевский*, III, 11). То есть несет ту самую жизнь, которую взыскует человек духа.

Очерки (9 статей) печатались на протяжении 1855–1856 гг. Дружинин счел гоголевское направление дидактически-обличительным и противопоставил ему направление артистическое, пушкинское, заодно сформулировав легенду о том, что Пушкина Чернышевский игнорировал и не понимал. В 1855 г. в статье по поводу анненковского издания Пушкина он ясно и четко сформулировал: «Творения Пушкина, создавшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, вместе с ними незабвенною навеки останется личность Пушкина» (*Чернышевский*, II, 428). Хотя, может, основания для дружининского брюзжания были. Несмотря на то что в последней статье «Очерков» он написал, что «сам Байрон не был для англичанина предметом такой любви, как для нас Пушкин» (*Чернышевский*, III, 306), а разбросанные по всем статьям НГЧ отсылки к поэзии Пушкина были бесконечны, но его брошюра для юношества («Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и со-

чинения») вышла в том же 1856 г. без имени автора. Хотя льва можно было узнать по когтям — основные идеи брошюры суть постоянные идеи Чернышевского, написавшего, что Пушкина справедливо считают «первым истинно великим русским поэтом, потому-то ни один образованный русский человек не может произносить его имени без глубокого почтения, без живой признательности» (*Чернышевский*, III, 317).

Брачный венец и христианская терпимость, или Поэзия сердца

Между тем семейная жизнь его шла своим чередом. И черед этот был не прост. Веселье и гулянки Ольги Сократовны наверняка досаждали ему. Гостей было много, ходили вроде бы к Чернышевскому, который с каждой своей публикацией приобретал все больше поклонников и все больше влияния, но задерживались на женской части дома, где звучал рояль, пелись песни, шли танцы. Достаточно легкомысленный Панаев писал Тургеневу: «Чернышевский отличный и честный господин, с действительным убеждением. Он иногда соврет в оценке художественного произведения, не поймет чистой поэзии, но главное — в нем дорого убеждение... Он кольцо, или звено в цепи»¹. Звено в цепи — о многих ли такое можно сказать! Строго говоря, «Очерки гоголевского периода» НГЧ и выстраивали эту цепь. Но цепь не может состоять из двух звеньев. Необходимо хотя бы третье звено. Но его не сочинишь.

Бердяев замечал: «Чернышевский был очень кроткий человек, у него была христианская душа и в его характере были черты святости»². Среди главных его забот — была Ольга Сократовна, которую когда-то он принял на себя, как пастырь. Даже из далекой Сибири, из Забайкалья писал он 8 марта 1875 г. А.Н. Пыпину: «А одна Ольга Сократовна, чтобы она не раздражалась, ей нужно много тысяч рублей в год» (*Чернышевский*, XIV, 593). И это несмотря на ее откровенные измены и разгульное веселье, которое все же не подобало бы хозяйке дома. Со временем она начала понимать, кто ей достался в мужья, что все ее гости и даже любовники шли не к ней, а к нему, прикоснуться к его известности, а потом и славе. Вторую беременность она перенесла тяжело, родила сына в январе 1857 г. Но интересно, что об этой беременности и рождении сына Виктора (имя старого

¹ Переписка И.С. Тургенева в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1986. С. 156.

² *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 42.

ее любовника) НГЧ отцу не сообщает. Писал он о рождении и крещении Саши, потом о Мише (28 октября 1858 г.), где мимоходом помянул и о второй беременности жены: «Она в нынешний раз менее изнурена родами, нежели тогда, когда родился Виктор. Похудела не очень много <...> Мишу мы в четверг крестили» (*Чернышевский*, XIV, 366). Конечно, свечку никто не держал, но многое было ясно, да многого и она сама не скрывала.

Сошлюсь на слова исследователя: «В 1857 г. родился Виктор, в 1858 г. Михаил. Виктор был сыном О.С. Чернышевской и И.Ф. Савицкого. Об этом свидетельствует племянница Н.Г. Чернышевского В.А. Пыпина. В ее рукописи “Старые воспоминания” (1910), положенной в основу ее книги “Любовь в жизни Чернышевского” (Пг. 1923) есть заклеенные ею, но легко прочитываемые строки, передающие слова О.С. Чернышевской о Савицком: “...Витенька его ведь был...” (РО ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 4. № 26. Л. 11). Виктор умер в Саратове на руках Г.И. Чернышевского 6 декабря 1860 года. (Летопись. С. 194). “Моим любимейшим сыном был именно он”, – писал Н.Г. Чернышевский в утешение



И.Ф. Савицкий

своему отцу, не знавшему, что Виктор не был ему внуком (Т. XIV. С. 417)»¹. Любопытно, что среди прочих возлюбленных, ее главный амант Савицкий Иван Федорович был личным другом Н.Г. Чернышевского. Как свидетельствуют данные жандармского наблюдения за квартирой Чернышевского, их дружба и частые встречи продолжались до самого ареста последнего («Красный Архив», т. XIV. М., 1926. С. 114).

Как вспоминает В.А. Пыпина, Ольга Сократовна рассказывала, что один из товарищей и хороших знакомых Николая Гавриловича в Петербурге просил ее с ним поселиться, и у них по этому

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Т. 3. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. С. 303–304.

поводу было совещание втроем: один (Савицкий) убедительно просит, другой колеблется, а третий (Чернышевский) говорит: «Если хочешь — ступай, я в претензии не буду. В этих делах человек должен быть свободен». Но вот колеблющаяся сторона, то есть Ольга Сократовна, все же решила все оставить по-старому.

Иван Федорович Савицкий был при этом полковником, революционером, известным в подпольных кругах под псевдонимом Стелла (звезда). Он возглавлял повстанческое движение в Галиции, был схвачен и отправлен в тюрьму. Этого-то человека и полюбила Ольга Сократовна. Любовное чувство, как говорят, оказалось взаимным.

Отцу НГЧ об этих переживаниях не писал, но даже столь мощно организованная творческая натура, работавшая без устали, вдруг испытала сбой в эти дни (дни второй беременности ОС). Он написал об этом Некрасову. Здесь стоит заметить, что Некрасов уехал надолго в Италию, а на время своего отсутствия передал свои права по руководству журналом Чернышевскому. Вряд ли, конечно, можно писать, что он встал «у руля “Современника”», как писалось в советское время, — отчеты Некрасову были постоянны. Но и доверие было оказано большое. Именно поэтому он не мог не рассказать о сбое в своей работе (5 ноября 1856 г.): «У меня с Лессингом недостает времени на составление Ин. изв. — то есть достало бы, если бы я был спокоен; но когда бы Вы знали, что я пережил в последние полтора месяца, Вы подивились бы, что я мог написать хотя одну строку в это время. Скажу только, что чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь, что люди, правда, безрассудны, делают вздор, глупости, — но все-таки в них больше хорошего, нежели дурного. В успокоение Вам скажу, что неприятности эти имели источником не литературу и касались только меня, никого больше. Еще больше прежнего убедился я, что все учреждения, ныне существующие, глупы и вредны, как бы благовидны ни были, все это глупо; любовь, дружба, вражда — все это если не чепуха, то имеет следствием чепуху. А человек все-таки хорош и благороден, все-таки нельзя не уважать и не любить людей, по крайней мере, многих людей» (*Чернышевский*, XIV, 327).

А в феврале 1857 г., когда все разрешилось, и он успокоился, он нашел слова (опять же Некрасову, не отцу) о том, что он переживал (все далее в тексте выделено мною). Письмо начинается с некоего утверждения, которого могло бы не быть: «Вы, может быть помните, что я свою жену люблю, — помните, может быть, что первые роды были очень трудны, сопровождалась разлито-

ем молока и т.п. Доктора говорили, что это может повториться при вторых родах и **иметь следствием смерть**. Поэтому я и предполагался удовольствоваться одним потомком, — **но как-то по грехам нашим, против моей воли**, оказалось, что у нас готовится еще дитя¹. Вы вообразите, какими сомненьями за счастливый конец глупого дела я мучился — последний месяц, когда я несколько сохранял спокойствие, был сентябрь, — а с октября чорт знает, какое унылое ожидание спутывало у меня в голове все мысли, — так прошло около четырех месяцев — писал, что мог, но мало, верите, двух слов не мог склеить по целым неделям, — **раза два даже напивался пьян**, что уж вовсе не в моих привычках. Только вот в последние дни, когда все кончилось хорошо и жена уже ходит, стал я похож на человека. **А то было скверно и в голове и на душе**. Хорошо, что эта **глупая история** кончилась» (Чернышевский, XIV, 336). Вряд ли счастливый отец, получая пусть неожиданного, но своего ребенка, назовет беременность жены и роды «глупой историей». Похоже, что и разговор вторым (О.С., Савицкий и Чернышевский о возможности расстаться) был в последние месяцы 1856 г. Поэтому НГЧ и «напивался пьян». Не пил он даже на каторге, нигде и никогда, кроме двух этих раз. Видно, сильно было нервное потрясение. Хотя, может, это и фантазии автора. И могла быть неосторожность самого мужа, так и стоило бы считать, если бы НГЧ не знал сам и точно, что Витенька не его сын.

Но она все же на свой лад любила его, во всяком случае в том же 1857 г. в июле она пишет мужу: «Уж я было хотела оставить Сашу у дедушки *Гаили Анича* (так называет его внук). Так его любил. Если его кто спрашивает: кого он больше любит, то он прямо и откровенно говорит, что дедуску Гаила Анича. Потом? Мамашу, папашу, Саката, сех (Сократа, всех. — В.К). <...> Жду не дождусь, когда выеду из Саратова. Уж больно соскучилась по тебе, моя прелесть! <...> Твоя Ляличка»². И все письма с 1857 по 1861 г. заканчиваются словами: «До свиданья, мой дорогой. Целую тебя крепко-крепко. Твоя Ляличка»; «Целую тебя очень. Твоя Ляличка»; «Целую тебя крепко-крепко. Твоя Ляличка». Нежность неподдельная. А вот 22 августа 1861 г. строчки, меня смутившие (отточие не мое, редакционное, видимо): «Получили оба твои письма, мой милый <...> и вместе с Савицким посмея-

¹ Похоже, что слишком темпераментна была О.С., и воли Чернышевского, чтобы перебороть ее темперамент, не хватило.

² Письма О.С. Чернышевской к Н.Г. Чернышевскому // Н.Г. Чернышевский. Эстетика. Литература. Критика. Л.: Наука, 1979. С. 310.

лись над ними. Как ты всегда умно умеешь подшутить. Молодец, право!»¹ То есть их роман продолжался и в этом году.

Он понимал временность человеческой жизни, пройдя школу христианства. Ведь, как справедливо писал Василий Розанов, высоко ценивший Чернышевского: «Евангелие бессрочно. А все другое срочно – вот в чем дело»². Но жить-то надо было в посустороннем мире и как-то его преодолевать. Преодолеть это безумие семейной жизни христианину, не желавшему разводиться, оставлять семью, можно было только усилением интенсивности работы и бесконечной иронией, которая всегда была ему свойственна, но с годами стала определяющей даже в серьезных его текстах.

И первая его ирония была направлена против псевдопатриотических упоений допетровской Русью. Почему – поговорим позже. Его называли западником, но в статье о Лессинге, в значительной степени рассказывающей о своем духовном опыте через великого немца, он написал: «Надобно заметить одну черту Лессинга, о которой уместнее всего сказать по случаю “Гамбургской драматургии”, произведения, начинающего собою эпоху справедливого уважения немецкого народа к самому себе. Писатель, деятельность которого пробудила в Германии патриотическую гордость и самое чувство национальности, был решительный космополит и стоял в отрицательном отношении к понятию национальности» (*Чернышевский*, IV, 162). В статье о «Собрании писем царя Алексея Михайловича» он почти ни слова не написал о царе, зато посвятил ее анализу писем западных путешественников о России. Следом за Белинским он любил повторять пушкинские строчки из «Онегина»:

Но где мы первые познанья
И мысли первые нашли,
Где применяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли –
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где *русский* ум да *русский* дух
Зады твердит и лжет за двух.

Поэтому он вполне доверял письмам западных путешественников, тем более что и собственный опыт их подтверждал,

¹ Письма О.С. Чернышевской к Н.Г. Чернышевскому. С. 312.

² *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй // *Розанов В.В.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 611.

ибо склонности к идеализации он не имел. Так он понимал и что такое его жена, понимал, но принимал. Причем в письмах европейцев выделил моменты, которые он мог наблюдать в детстве и юности в своем Саратове и пережитое лично. К примеру, распутство русских женщин или разбойничество. «Не из Западной Европы перешло к нам очень игривое устройство, которое до недавнего времени сохраняли в столицах (а в иных провинциях, говорят, сохраняют до сей поры) торговые бани, в которых все — и мужчины и женщины моются вместе, — это прекрасное устройство подробно описано путешественниками, прибавляющими рассказы о различных виденных ими случаях самого наглого цинизма со стороны женщин, которые вовсе не принадлежали к записным жертвам порока» (*Чернышевский*, IV, 259). Не менее острым было его восприятие разбойничества как константы русской жизни. Думаю, когда он переписывал в статью наблюдение Олеария, он скорее всего вспоминал саратовскую жизнь: «Грабежи и разбои были повсеместны. Даже в Москве, по словам Олеария, не проходило ночи без того, чтобы не было разграблено несколько домов и не найдено поутру на улице несколько мертвых тел. Грабители были так смелы, что среди дня нападали на улице на человека, при котором думали найти деньги, чтобы убить и ограбить его. Когда ночью раздавались на улице вопли убиваемого, никто из живших в соседних домах не смел выходить за двери, чтобы помочь ему — остатки этого обычая очень сильны до сих пор, как то может всякий узнать по опыту, если поживет в провинциальном городе» (*Чернышевский*, IV, 258). Саратовский опыт пишущего статью тут очевиден. Это, конечно, не были вздохи кабинетного человека, он все это прожил и видел сам.

Своими переживаниями он делился с Некрасовым, в котором он видел прямого продолжателя Пушкина и Лермонтова, реальное звено великой русской поэзии. В отличие от Тургенева, говорившего, что поэзия в стихах Некрасова даже не ночевала, он высоко ценил его и как поэта гражданского, но еще больше как лирического (опыт был другой, нежели у Тургенева). Он писал поэту: «Я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых

вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией» (*Чернышевский*, XIV, 322). И НГЧ перечисляет три стихотворения: «Когда из мрака заблужденья...», «Давно отвергнутый тобою...», «Я посетил твое кладбище...», «Ах ты страсть роковая, бесплодная...».

Приведу одно, оно вполне корреспондировало с чувствами Чернышевского:

Давно — отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам
И, полон думой роковую,
Мгновенно кинулся к волнам.
Они приветливо яснили.
На край обрыва я ступил —
Вдруг волны грозно потемнели,
И страх меня остановил!
Поздней — любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда,
И ты благословляла волны,
Меня отвергшие тогда.
Теперь — один, забыт тобою,
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов.
И та же мысль приходит снова —
И на обрыве я стою,
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...

А НГЧ продолжает, замечая, что эти стихи «буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция» (*Чернышевский*, XIV, 322). Совершенно непривычные для читательского слуха слова! Мы привыкли к другому Чернышевскому, железному, жесткому и негибкому вроде Ленина или Дзержинского. Ни один исследователь не замечал его глубокой тоски.

Преодолеть личную тоску и строить себя как свободного и независимого человека требовало большой выдержки, в том

числе христианской. Задача пробуждения чувства самоуважения в обществе, в каждом человеке была в основе всех рассуждений Чернышевского. Чернышевский так объяснил (1856) Некрасову свою позицию: «Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки, вроде чернокнижия или Фета (который, однако же, хороший поэт), — а в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа. Фет был бы несвободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь; <...> Гоголь был совершенно свободен, когда писал “Ревизора” — к “Ревизору” был наклонен его талант; а Пушкин был несвободен, когда писал под влиянием декабристов “оду на вольность» и т.п., и свободен, когда писал “Клеветникам России” или “Руслана и Людмилу” — каждому свое, у каждого своя свобода. Я свободен, когда не ем телятины (если вы помните) — у другого это было бы принуждением, и он свободен, когда ест телятину, не стесняясь моими вкусами. В этом и состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурою» (*Чернышевский*, XIV, 314). При этом речь шла не о пристрастиях образованного слоя, но о позиции любого русского человека (Кант и Шиллер прочно сидели в его сознании): «Альфа и омега наших стремлений — всевозможный простор для развития личности» (*Чернышевский*, IV, 328), — писал он в 1857 г. рассуждая об идеях немецкого барона Гастгаузена по поводу общинности русского народа. Похоже, он уже пережил на свой лад семейную трагедию и еще раз подтвердил себе, что его жена имеет право на развитие своей личности, ведь в том «и состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурою». А его дело — была литература как двигатель общественной жизни.

Роль литературы в русской (не только русской) жизни

Сам он был звеном великой русской мысли, в том числе и русской критики, ибо в те годы русская мысль развивалась через критику и литературу. В своем столь знаменитом письме Гоголю Белинский утверждал, что в России только *в одной литературе*, несмотря на татарскую цензуру, *есть еще жизнь* и движение вперед. Достоевский, приговоренный за чтение вслух этого письма к смертной казни, потом во многом разошедшийся с Белинским, оставался верен этой идее — важности литературы в России. Объявив себя последователем Белинского, в первом же своем большом историко-литературном трактате «Очерки гоголевского периода русской литературы», Чернышевский вполне разде-

лил эту мысль: «Как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества еще далеко не так важно, как влияние многих других писателей» (*Чернышевский*, II, 11). Разумеется, как прекрасно понимал НГЧ, далеко не во всех странах литература играла такую роль, что в развитых странах ведущую роль играла не литература, а политика и экономика. Но, скажем, в Германии, оказавшей такое мощное влияние на Россию, литература играла столь же важную роль, что и в России. Иными словами, в странах сравнительно отсталых по сравнению с передовыми европейскими странами, литература играла роль двигателя и объединителя. Литературоцентризм – это не гордость, не почва для самовосхваления, а суровая необходимость: «От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера <...> в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями.

Каковы же были результаты этого пятидесятилетия?

В пятьдесят лет литература совершила для прочного блага немецкого народа более, нежели когда-нибудь было совершено всеми другими общественными силами для какого-нибудь народа во сто, в двести лет. Немецкая литература застала свой народ ничтожным, презренным от всех и презирающим себя, не имеющим даже никакого сознания о своем существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях, развращенным до нравов времен Регентства² в других слоях, ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным. Она дала ему сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах. В половине XVIII века немцы, во всех отношениях, были двумя веками позади англичан и французов. В начале XIX века они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII ве-

ка немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX века немцы явились народом, полным могучих сил, — народом, которому предстоит великая и счастливая будущность, — народом, готовым дать начала обновления для всех других европейских народов, если бы тот или другой из них нуждался в посторонней помощи для своего обновления. Все это совершила литература, наперекор бесчисленным препятствиям, без всякой посторонней помощи, и Шиллер имел полное право прославить немецкую поэзию за то, что ею возвеличен немецкий народ и никто не делит славы этой с немецкими писателями» (*Чернышевский*, IV, 7–8).

Любопытно, что славянофилы далеко не сразу сообразили, что русская литература — это то, что может стать предметом национальной гордости. В своей речи «О Карамзине» (1848), скорее всего произносившейся в салонах, Константин Аксаков утверждал: «*Вся наша литература есть явление отвлеченное, ложное по своей сфере и нисколько не народное и не живое*»¹. Он объяснял это тем, что русская литература есть порождение и достояние публики, а не народа и возникла она «на отречении от своего народа, на обезьянстве Западу»². Разумеется, русские писатели, считавшие себя частью национальной культуры, готовые жертвовать и жертвовавшие за свое слово свободой и жизнью, резко выступили против такого подхода к русской литературе. Достоевский писал: «Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы»³.

Чернышевский поначалу пытался, несмотря на явные расхождения, найти контакт и положительное нечто в воззрениях славянофилов. Его привлекал дух, как ему казалось, независи-

¹ Неопубликованная речь К.С. Аксакова (публикация В.А. Кошелева) // Русская литература. 1977. № 3. С. 105. Курсив К.С. Аксакова.

² Там же.

³ *Достоевский Ф.М.* Ряд статей о русской литературе // *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 19. Л.: Наука, 1979. С. 63.

мости от подражателей западной мысли. Хотя при этом он прекрасно понимал, что славянофильская критика Запада опирается на западную самокритику. Конечно, иронии немало в словах, когда он пишет: «Пусть славянофилы, когда говорят об этом предмете, во многом ошибаются, принимая иное хорошее за дурное или наоборот, — эти частные ошибки не мешают справедливости общей идеи, повторяемой ими, но принадлежащей вовсе не им, а всем лучшим людям Запада, от которых они и узнали о ней, — не мешают справедливости этой общей идеи: Западная Европа вовсе не рай» (*Чернышевский*, IV, 727). Конечно, не принимая Запад за рай, Чернышевский отчетливо понимал, что в реальном сравнении, уровень жизни в Западной Европе выше, чем в России. Поэтому ирония не покидала его, когда он оценивал славянофильское утверждение, что Россия уже навсегда испорчена западным влиянием, что она «объевропеилась». В статье о Грановском он написал саркастически: «Люди, которые скорбят о том, что наше общество, наше просвещение и т.д. как две капли воды походят на западное общество, западное просвещение и т.д., оскорбляются фактами, решительно созданными их воображением. Если б мы разделяли их понятия, мы, напротив, повсюду видели бы повод к радости: сходства между нами и Западом пока еще не заметно ни в чем, если хорошенько вникнем в сущность дела» (*Чернышевский*, III, 353).

Тем более еще жестче становился его сарказм, когда славянофилы говорили, что именно Россия должна спасти распадающийся западный мир. Запад не рай, это правда, но и не ад, пока не ад. России самой надо, как он писал, перевоспитываться. И, видя западные недостатки, не считать свои недостатки спасительными для мира. Вот издевательски-иронический пассаж бывшего саратовского семинариста: «Кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежелою помощью». Однако немало теоретиков, пишет он, видящих в нашем прошлом те стороны национального характера, что позволяют, ничего не преодолевая, глядеть сверху вниз на Европу. И тут он усиливает иронию: «Один уверяет, что очень хороша привычка нашего народа безответно подвергаться всяким надругательствам и что Западная Европа умирает от недостатка этой похвальной черты, а спасена будет нами через научение от нас такому же смирению. Другой находит, что мы молодцы пить и гулять, что Западная

Европа должна научиться от нас широкому русскому разгулу, то есть дракам в харчевнях и битью стекол в трактирах, и спасена будет от смерти собственно этим. Третий проникает глубже в народную жизнь, и от домашнего очага, то есть от сбитой из глины печи черной избы, выносит иное сокровище: битые жен мужьями, битые сыновей отцами (и наоборот, битые отцов сыновьями, когда отцы одряхлеют), отдавание дочерей замуж и венчанье сыновей по приказанию родительскому без надобности в согласии женимых и выдаваемых замуж; эти семейные отношения должны послужить идеалом для Западной Европы, которая и спасется через них. Четвертый восхищается продолжительностью нашей жестокой зимы и находит, что Западная Европа расслабела от недостатка морозов; но уж в этом никак нельзя ей помочь, и он откровенно сознается, что дело ее пропащее» (*Чернышевский*, VII, 663–664).

Alter ego

Добролюбова я любил как сына
Н.Г. Чернышевский

Трудность была в том, помимо личных неурядиц, что (хотя Некрасов дал ему простор для работы в «Современнике») у него не было друга-союзника, который мог бы разделить его взгляды так, чтобы тексты одного корреспондировали с его текстами. Близкий по взглядам, но Другой. Люди двух влиятельных направлений были слишком зависимы от взглядов своей партии, своего направления. Славянофилы не видели недостатков России, западники же видели преимущество Западной Европы в централизации, т.е. таком установлении общества, которое сжимало всякую частную и местную инициативу. С Герценом у него, несмотря на понимание значения лондонского сидельца и издателя «Колокола», были явные противостояния. Стоит здесь напомнить, что эмигрант Герцен каким-то образом стал именоваться (и доселе именуется) «лондонским изгнанником», хотя барин и миллионер уехал добровольно, вывезя все свои миллионы. Необходимо артикулировать основную жизненную установку Герцена, которую он не раз провозглашал. Речь идет об аннибаловой клятве на Воробьёвых горах в 1828 г. двух подростков – росшего без матери Николеньки Огарёва и бастарда Шушки Герцена. Они поклялись посвятить свою жизнь разрушению империи, как когда-то Ганнибал мечтал разрушить Рим.

О последствиях разрушения империи — хаосе, принесенном горе сотням тысяч людей, лишенных своего места жительства и ушедших в изгнание и пр. — они даже и не думали. Нечто подобное и вправду случилось после распада Российской империи: несколько миллионов попавших в изгнание, страшное изгнание, не эмиграция богатого барина, а голодное, нищее скитальчество и десятки миллионов попавших в ужасы Гражданской войны. Радикалы-разрушители, как правило, о последствиях не думают. Чернышевский даже на каторге, вспоминая лондонского эмигранта, говорил: «С этим человеком в последнее время я совершенно разошелся во взглядах. Посудите сами, сидит себе барином в Лондоне и составляет заговоры, в которые увлекает нашу молодежь. <...> Я советовал ему не трогать нашу молодежь и даже печатно высказался против него»¹. Нужен был человек абсолютно независимых взглядов, что так высоко ценил Чернышевский, не испытывавший преклонения перед авторитетами, доверявший прежде всего своему уму и взгляду.

В 1857 г. выходит первый номер «Колокола». Либеральная интеллигенция рукоплещет лондонскому герою. Чернышевский понимает значение «Колокола», но не принимает. У него своя линия. В этом же году выходит отдельной книгой его «Лессинг». Он показал, что владеет западной мыслью не хуже, чем русской, не хуже, чем Герцен, Тургенев и Бакунин, признанные знатоки немецкой мысли. Но у них был блеск, у Чернышевского серьезная научная фундированность. И идея антигерценовская — он доказывал, что литература и наука, а не шиллеровские «Разбойники», подлинно строят национальную культуру. Кстати, русские поклонники «Разбойников» не увидели, что Шиллер категорически отвергает их поведение. Что после Лессинга возникает великая Германия. И в тяжелый для него 1857 год в журнале появляется Добролюбов. Приведу замечательно точное наблюдение А.А. Демченко, показывающее психологический настрой Чернышевского перед встречей с Добролюбовым: «В “Лессинге” Чернышевского есть рассуждение, пропитанное горькими раздумьями автора о причинах духовного одиночества. Не в холодности или эгоизме дело, когда писатель вдруг начинает чуждаться литературного общества, “довольствоваться уединением”. Лессинг, к примеру, просто “не встречал в жизни таких людей, дружба которых долго сохраняла бы силу над его задушевными стремлениями.

¹ *Рейнгардт Н.В.* Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 391.

Он был слишком многим выше самых лучших из тех, с которыми сводило его взаимное расположение и уважение. Слишком короткие сношения с кем бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стеснительными...” Почти каждый, говорит Чернышевский, испытывал нечто подобное, но гениальными людьми это чувство переживается почти постоянно. “Надолго могут быть приятны постоянные, ежедневные беседы только между людьми, равными между собою. А таких людей почти не приходится встречать человеку, который сам составляет редкое исключение” (IV, 140–141)»¹.

Начинает Добролюбов свою критическую деятельность с легкой руки НГЧ. Причем возникло поразительное ощущение у читающей публики. При полной независимости каждого – их духовного единства. Как писал А.Н. Пыпину генерал Новицкий, один из умнейших и точных мемуаристов: «Немногого расскажу я про Добролюбова, образ которого в моем воображении не только наяву, но даже, – Вы поверите ли тому? – во сне никогда не являлся без образа Чернышевского, как и наоборот»². 7 октября 1858 г. родился сын Михаил, много сделавший для увековечения памяти Николая Гавриловича, но соратником ему он быть не мог. Как он писал отцу 14 октября: «Ребенок родился большой и здоровый, такой же, как Виктор. Голос у него сильный и басистый, так что мог бы он быть хорошим дьяконом» (*Чернышевский*, XIV, 365). Но до взросления было далеко. Добролюбов стал и соратником и, если так можно сказать, сыном в духе. Больше близости у Чернышевского ни с кем и никогда не было. Да и молодой человек, едва ли не единственный из окружения Чернышевского понимал реальный уровень этого человека. Он писал своему приятелю в 1856 г.: «С Николаем Гавриловичем я сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов был бы исписать несколько листов похвалами ему, если бы не знал, что ты столько же, как и я (более – нельзя), уважаешь его достоинства, зная их, конечно, еще лучше моего. Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему, кроме его, не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек может помирить с человечеством людей, самых

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). Москва – Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга, 2015. С. 491.

² Новицкий Н.Д. Из далекого минувшего // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 230.

ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях, и высказанной просто, без фразерства, столько ума, строго последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но никогда и не предполагал найти. Я до сих пор не могу привыкнуть различать время, когда сижу у него. Два раза должен был ночевать у него: до того засиделся. Один раз, зашедши к нему в одиннадцать часов утра, просидел до обеда, обедал и потом опять сидел до семи часов»¹.

Добролюбов был волгарь, как и Чернышевский, из Нижнего Новгорода, сын священника, семинарист. Отец его, Александр Иванович, был священник нижегородской Никольской церкви. Имя его матери было Зинаида Васильевна, она была настоящей попадеей, родила много детей, брак был крепкий, как у родителей Чернышевского. Может, сердечно и теснее. Когда в 1853 г. умерла мать Добролюбова, через несколько месяцев за ней последовал отец. На руках старшего, Николая, пять сестер и двое братьев. Такого уровня бедности богатые литераторы-дворяне вообразить не могли. Их просто раздражала независимость юного семинариста, как бы не по возрасту и не по чину. Но, как вспоминает Авдотья Панаева, между сотрудниками «Современника» Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Необходимо добавить, что уровень этого юнца (21 год) был вполне сопоставим с уровнем самого НГЧ (29 лет). Читатели, привыкшие к зависимости младшего от старшего, считали Чернышевского почти прямым учителем Добролюбова, на что НГЧ отвечал: «Учителем Добролюбова я не мог быть, во-первых, уже и потому, что не был его учителем никто из людей, писавших по-русски. Довольно много пользы принесли ему статьи Белинского и других людей того литературного круга. Но не под их главным влиянием сложился его образ мыслей. Поступив в Педагогический институт летом 1853 года он вскоре привык читать книги по-французски, а с немецкими книгами начал знакомиться еще до поступления в институт. Если же даровитый человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей, то книги и статьи, писанные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его (как и Добролюбов восхищался тогда некоторыми вещами, писанными

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. Т.9. М.-Л.: Художественная литература, 1964. С. 247–248.

по-русски), но ни в коем случае не могут они служить для него важнейшим источником тех знаний и понятий, которые почерпает он из чтения» (*Чернышевский*, X. 118).

Влияние Добролюбов почти сразу приобрел огромное. Достаточно напомнить, что одна из центральных статей Достоевского («Г. -бов и вопрос об искусстве») по эстетике была инициирована спором с юным критиком. Для Чернышевского как раз был нужен абсолютно самостоятельный человек. Как он писал потом в автобиографическом романе «Пролог», сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню; да что в них пользы? Пересматривай, переправляй, — такая сучка, что легче писать самому.. Добролюбов имел независимый ум. Это-то и выделяло этих двоих из массы даже талантливых литераторов того времени. Независимость — крайне редкий дар. Редкий везде, а в России почти невиданный тогда (да и потом). И тот и другой являли собой то, что впоследствии Василий Розанов назовет действительным solo. Чернышевский принял первую статью, она ему понравилась (причем потом он не раз повторял, что пишет Добролюбов легче и лучше его), но надобно было ему (думаю, на самом деле надобно) проверить самостоятельность ума юноши. И во второй визит он говорил с ним очень долго: «Просидели мы с ним вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, часов до двух (а начали беседу в девять. — *В.К.*), и толковали мы с ним о его понятиях. Я спрашивал, как он думает о том, другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить ему. Дело в том, что по статье о “Собеседнике” мне показалось, что он годится быть постоянным сотрудником “Современника”. Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о вещах понятиям, излагавшимся тогда в “Современнике”. Оказалось, соответствуют вполне. Я наконец сказал ему: “Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению “Современника”; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником “Современника”». Он отвечал, что он давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить все ему и ему»¹. Чернышевский безо всякой зависти уступил Добролюбову первое место в анализе литературных явлений, понимая его гений. В свою очередь могу заметить, что такое отсутствие зависти свойственно тоже только гению. И вправду, через год Некрасов уже говорил о Добролюбове, что через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение

¹ *Чернышевский Н.Г.* Воспоминания о начале знакомства с Н.А. Добролюбовым // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 145.

в русской литературе, как Белинский. Так выстраивались звенья цепи. Сам Добролюбов очень чувствовал эту преемственность.

Жизнь его при этом была непростая. Младшие сестры и братья!.. Он отдал им свою часть мизерного отцовского наследия, хотел все бросить и идти на любые заработки, чтобы содержать их. Но малышей пригрели знакомые, а деньги на их содержание он получал в «Современнике». Некрасов и Чернышевский ввели его в состав редакции, имевшей доходы от реализации журнала.



Н.А. Добролюбов, 1857

Ну и гонорары. А писал он очень много, не меньше своего старшего товарища. Почти все лучшие критические работы, которыми были встречены лучшие произведения русской классики и которые проходят в школе, принадлежат перу Добролюбова. «Забитые люди» (Достоевский), «Что такое обломовщина?» (Гончаров), «Темное царство» и «Луч света в темном царстве» (Островский), «Когда же придет настоящий день?» (Тургенев). Ну и т.д. Кстати, последняя статья вызвала у Тургенева ярость, а затем и его клеветы на «Современник». Надо сказать, Добролюбов откровенно недолюбливал Тургенева как человека, ценя как писателя. Чернышевский вспоминал, как, спросив Некрасова о раздражении Тургенева на Добролюбова, получил в ответ смешок Некрасова и слова: «Да неужели вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова». История одна была характерная, так что даже Чернышевский признал ожесточение Тургенева справедливым. Дело в том, что давным-давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», — встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. Как счита-

ли сотрудники «Современника», в Базарове он попытался дать шарж на Добролюбова, но прототип оказался сильнее автора.

Как вспоминал Чернышевский, увидевшись после того с Добролюбовым, он принялся убеждать его не держать себя так неразговорчиво с почтенным человеком, достоинства которого старался изобразить Добролюбову в самом привлекательном и достойном уважения виде; но его доводы были отвергаемы Добролюбовым с равнодушием. По уверению Добролюбова, Чернышевский говорил пустяки, о которых сам знает, что они пустяки, потому что думает о Тургеневе точно так же, как он. Если Чернышевскому угодно не выказывать этого Тургеневу, он может не выказывать, но он, Добролюбов, полагает, что толковать с Тургеневым столько, сколько приходится ему, нашел бы невыносимым и НГЧ. Впрочем, ситуация была похожая на историю НГЧ с Н.И. Костомаровым. Когда Чернышевский сказал историку Костомарову в Саратове на неумеренное восхищение того красотами Волги, что терпеть не может природы, Костомаров принял это всерьез, рассказывал о нелюбви Чернышевского к природе встречным и поперечным, потом поместив эти слова в свои воспоминания, добавив черточку к фантомному портрету Чернышевского.

Чтобы закончить сюжет взаимоотношений Тургенева с Добролюбовым на этапе внутрижурнальных столкновений, приведу еще одну фразу Тургенева, очень характерную, тургеневское *bon mo*, но где за шутливой формой слышится реальный страх и даже ненависть. Когда Чернышевский отверг средний немецкий роман, рекомендованный Тургеневым, писатель обратился к НГЧ: «Вы змея простая, а Добролюбов — очковая», то есть более страшная. Очки-то носили оба критика.

Завершая главу, вернусь к первопричине неприязни писательской элиты к литераторам из бедных слоев вроде Достоевского, Чернышевского, а теперь и Добролюбова. Интересна запись А. Панаевой разговора Тургенева, Некрасова, Григоровича и Анненкова: «...Добролюбов и Чернышевский сделались в это время уже постоянными сотрудниками “Современника”. Я только раскланивалась с ними, встречаясь в редакции. Хотя я с большим интересом читала их статьи, но не имела желания поближе познакомиться с авторами.

Старые сотрудники находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. “Мертвечиной от них несет! — находил Тургенев. — Ничто их не интересует!” Литератор Григорович уверял, что он даже в бане сейчас узнает семина-

риста, когда тот моется; запах деревянного масла и копоти чувствуется от присутствия семинариста, лампы тускло начинают гореть, весь кислород они втягивают в себя, и дышать делается тяжело.

Тургенев раз за обедом сказал:

– Однако “Современник” скоро сделается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором.

– Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная, – проговорил Некрасов.

– Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? – спросил Анненков.

– Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, – заметила я. – Как видите, не бесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, иронически улыбаясь, произнес:

– Вот какого мнения о нас, господа!

– Это мнение всякий о вас составит, если послушает вас, – отвечала я¹.

Преимственность была выстроена. Звено подогнано к звену. Но тут необходимо пояснить нынешнему читателю, что разночинцы, рассчитывая на возможную реформу государства, отнюдь не были его ниспровергателями. В отличие от радикального дворянства, начиная с декабристов. Не говоря уже о Герцене, Огарёве и Бакунине, выпестовавших Нечаева, но даже такие записные либералы как Тургенев и Кавелин поддерживали именно радикальную, антигосударственную линию русской культуры. Помогавший деньгами народовольцам, назвавший девушку-бомбистку, которая произносит, что она готова и на преступление, *святой* (рассказ «Порог»), Тургенев отказался на постановке памятника Пушкину выпить шампанское с государственным Катковым. Не случайно в «Бесах» Достоевский изобразил Тургенева в образе писателя Кармазинова, подыгрывающего бесовщине. А Кавелин, написавший статью «Разговор с социалистом-революционером», где оправдывал молодого злодея, поддержал арест Чернышевского (хотя потом и пытался ему помочь, но далеко не настойчиво). Во всяком случае практической

¹ Панаева А.Я. (Головачева) . Воспоминания // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 168.

поддержки (книгами, деньгами) – никакой. Заметим, что именно Чернышевский, несмотря на свою сумасшедшую занятость, после смерти сына Кавелина считал своим долгом почти ежедневно ходить к профессору и утешать его. Как это объяснить? Ну, в случае Кавелина – обыкновенной человеческой неблагодарностью, желанием увидеть в человеке плохое, а не хорошее. Принцип, противоположный изложенному Чернышевским в романе «Что делать», где герои верят друг в друга и помогают друг другу, опираясь на идею разумного эгоизма, который они выводят из правила Христа – возлюбите ближнего твоего, как себя самого. Чтобы любить другого, необходимо вначале любить себя. А вообще-то страхом дворянства перед реформами, которые казались им революцией, и надеющегося снискать себе охранный грамоту. Разночинцы, знавшие народ, народа не боялись и критиковали его.

Глава 8

Русские реформаторы. Идея свободы

«Колокол» Герцена против Добролюбова и Чернышевского

После того как «Колокол» появился в Лондоне, а у Чернышевского в «Современнике» образовался соратник, можно сказать, его второе Я – Добролюбов, в русском движении общественной мысли явно образовалось два центра, к которым так или иначе тянулись все оппозиционно настроенные силы. «Русский вестник» Каткова еще не стал оплотом консервативной мысли. Журнал Достоевского «Время» возник позже, в 1861 г., и его приветствовал Чернышевский за «независимость от литературного кумовства». Стоит заметить, что Достоевский сразу выделил Добролюбова как человека с новым словом, а последняя большая статья Добролюбова («Забитые люди») была о творчестве Достоевского. Впрочем, в той или иной степени все они тогда поддерживали европейскую ориентацию России. Лидеры славянофильства уже той роли не играли, да и скончался «передовой боец славянофильства» Константин Аксаков. Поэтому центры определились сами собой. Скажем, Катков и Б.Н. Чичерин в конце 50-х годов с большей яростью обрушивались на «Колокол» и другие издания Герцена. Либеральные писатели, певцы «лишних людей», на свой лад критики самодержавия потихоньку откочевывали в «Русский вестник». «Современник» смущал их явным реформаторским направлением. Они скорее бы приняли нигилизм (словечко, утвержденное в русской культуре Тургеневым), в нем было больше байронического задора. В 1857 г. Чернышевский внятно сформулировал кредо «Современника» в редакционной статье: «Стремления человека и потребности человека существуют независимо от литературы. Ни возбудить, ни усыпить, ни усилить, ни ослабить их она не может. Не может она поставить человеку новых целей, к которым он не стремился и без нее. Над всем этим бесильна ее власть, над всем этим исключительно владествует

сила событий, одинаково действующих на молчаливого и не разговорчивого, не читающего и не читающего журналы. Но внести в эти независимые от литературы стремления осмотрительность и благоразумие — это сделать может только литература. Только привычка советоваться с печатным листом может предохранить общество от опрометчивости. Итак, весь вопрос состоит в том, что лучше, опрометчивость или рассудительность при одном и том же стремлении? При одинаковости событий не может быть произведено никакого различия в силе или не будет иметь оно литературу. От этого обстоятельства зависит только то, опрометчива или благоразумна, тревожна или спокойна будет эта мысль» (Чернышевский, IV, 769). Итак, *предупредить от опрометчивости*. Это высказывание могли не заметить консервативные противники, ждавшие от вчерашнего семинариста только пакостей, но сигнал был послан не им, а Герцену.

Столь же внятен был и Добролюбов, умевший увидеть исторический и культурный смысл русской жизни в произведениях, вроде бы лишенных всяческих призывов к перемене системы. Одна из лучших его статей — об «Обломове», где положительный герой был не радикал, не ниспровергатель, а предприниматель Штольц, тип русского реформатора. То есть человека, способного не на мгновенный порыв, не на бомбометание, а на непрестанную, не знающую усталости деятельность. Поневоле молодые критики оказались в оппозиции с дворянами, воспевшими «лишних людей», не умеющих в этой проклятой России найти себе применения, почвы для деятельности. Проще было произносить слова, пропагандировать, что и делают Бельтов, Рудин, Печорин. Пропаганда — это не деятельность реформатора, скорее она напоминает бомбометание. В 1858 г. в журнале «Атеней» (не в «Современнике», поскольку здесь и вышла повесть Тургенева «Ася») вышла гениальная статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», где он предложил оценку способности человека на деятельность — это способность на любовь, способность взять на себя ответственность за женщину. Лишние люди способны на бравату, на зубоскальство, которое могут считать делом жизни. И еще до статьи об «Обломове» в 1859 г. Добролюбов пишет в «Современнике» программную статью «Литературные мелочи прошлого года». Молодой критик с решительностью поставил под сомнение непосредственную возможность литературы как-то повлиять на развитие революционного процесса в России. Искусство, писал Добролюбов, может споспешествовать активному действию, но не входит в его задачи само это

действие, искусство должно служить высшим идеалам, служение же мелкой «злобе дня» только губит его: «Мы хотели напомнить литературе, что при настоящем положении общества она ничего не может сделать. <...> Далее мы хотели сказать, что литература унижает себя, если с самодовольством останавливается на интересах настоящей минуты, не смотря в даль, не задавая себе высших вопросов»¹. Это, конечно, было очень обидно для дворян-интеллектуалов, поскольку их герои, «лишние люди», только и делали, что говорили о высших вопросах. Но в этих героях, замечал молодой критик, как и в породившей их литературе, нет инициативы. Но через несколько месяцев русские лишние люди и «пропагаторы» получили от него еще один удар, где все имена были названы: «Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле, — раскройте, напр., “Онегина”, “Героя нашего времени”, “Кто виноват?”, “Рудина”, или “Лишнего человека”, или “Гамлета Шигровского уезда”, — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова»². Но был назван и герой герценовского романа «Кто виноват?». Замечая, что все «лишние люди» безумно боятся принять на себя ответственность за чью-то судьбу, как, например, тургеневский Рудин, он ставит в этот ряд и героев Герцена: «Бельтов с Круциферской, как известно, тоже не посмел идти до конца, убежал от нее, хотя и по совершенно другим соображениям, если ему только верить. Рудин — этот уже совершенно растерялся, когда Наталья хотела от него добиться чего-нибудь решительного. Он ничего более не сумел, как только посоветовать ей “покориться”»³. Кстати, Панаева намекает, что одним из инициаторов статьи в «Колоколе» был Тургенев, раздосадованный полупрезрительным отношением к нему Добролюбова.

Герцен ответил Добролюбову (статья «Very dangerous!!!»), подчеркнуто объединив «Современник» с «Библиотекой для чтения», где ведущим критиком был некогда О. Сенковский, Барон Брамбеус, ставший символом пустословия и поверхностного зубоскальства. Удар Добролюбова был точен, для начала досталось Гончарову: «Чистым литераторам, людям звуков и форм,

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М.-Л.:ГИХЛ, 1962. С. 437.

² Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? С. 321.

³ Там же. С. 325.

надоело гражданское направление нашей литературы, их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало “Обломовых” и антологических стихотворений. Если б только единственный “Обломов” не был так непроходимо скучен, то еще это мнение можно бы было им отпустить. Люди не виноваты, когда не имеют сочувствия к жизни, которая возле них ломится, рвется вперед и, сознавая свое страшное положение, начинает, положим, нескладно говорить об нем, но все-таки говорит» (Герцен, XIV, 116).

Почему же Герцен и Огарёв включили критиков «Современника» в число *чистых* литераторов и поклонников антологических стихотворений, тех, кто защищает теорию «искусства для искусства»? Думаю, просто-напросто литературная обида. Но не просто литературная. Была поставлена под сомнение их жизненная позиция. Герцен писал: «Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рок лишнего, потерянного человека только потому, что он развился в *человека*, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах» (Герцен, XIV, 118). А, так сказать, соратник, абсолютно подчинивший себя Герцену, Огарёв в своей статье «Памяти художника» (Полярная звезда, 1859, кн. V) смешным образом сравнивал Добролюбова с Гофманом (которого Огарёв, видимо, не любил), который, когда-де бомбардировали Данциг, *знаменитый автор «Кота Мура» ныне редко и трудно читаемого, сидел в погребке и, не принимая никакого участия в защите города, в движении людей, шедших под картечь и ядры, писал, помнится, фантастические рассказы der Serapiens Brüder. Гофман пренебрегал общественным движением в пользу так называемого искусства. Но для этого надо было иметь в жилах не кровь человеческую, а немецкую слизь. В нашей литературе, в наше время, время русского возрождения, такая же партия лимфы, золотушное дитя схоластических эстетик, хочет отрешенность искусства от общественных вопросов выдать за нечто, достойное уважения. Да где же они нашли действительное искусство, отрешенное от общественных вопросов?* Но удивительно, что презираемые Огарёвым «Серапионовы братья» стали несомненной классикой мирового искусства. Намекнув же, что «чистое искусство» вышло из диссертации Чернышевского, он предрекал «Современнику» получение «Владимирского креста». Герцен был еще более жесток, написав, что «милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только

до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*» (Герцен, XIV, 121). По настроению тогдашней публики сильнее и подлее удара не могло быть нанесено. Но почему? Тут и политически-общественные интересы были задействованы. Под сомнение была поставлена их способность к деятельности, так как обличения «Колокола» казались бывшим семинаристам пустыми и опасными, ибо не опирались на реальное знание забытой ими русской жизни. Как писал потом М.А. Антонович, «если бы сильный и неожиданный удар грома разразился над головою Добролюбова, то он так не поразил бы и не потряс его, как эта заметка»¹.

Именно этот упрек Герцена Добролюбову и Чернышевскому в *прислуживании правительству* наши исследователи пропускают мимо глаз. Но он был воспринят русским обществом того времени, пришедшим от него в растерянность, ибо совсем недавно было два центра оппозиции (пусть немного и разные), а теперь один из этих центров обвинен почти что в сикофанстве. То есть на литературный укол ответ был политическим. Своего рода предвестие ленинской борьбы с партийными оппонентами (как «Колокол» предвестие «Искры»). Конечно, Чернышевский не был ниспровергателем, он был скорее «реформист-постепеновец»², так именует Чернышевского В.Ф. Антонов. И это очень важное соображение. У него не было расчета на революцию.

Необходимо было объяснение с Герценом. Его критика могла убить в общественном мнении «Современник». Тяжесть этой разборки взял на себя Чернышевский. У Некрасова с Огарёвым и Герценом шли при этом малоприятные столкновения по поводу наследства Огарёва. Вдаваться в эту историю нам сейчас ни к чему, слишком далеко бы она увела нас от центрального сюжета.

Ехать к прямо к Герцену, политическому противнику режима, было бы неразумно и опрометчиво, а Чернышевский старался избегать опрометчивых поступков. Поэтому он публично объявил, о чем и отцу написал на случай, если полиция будет перлюстрировать его письма, что едет в Париж к двоюродному брату А.Н. Пыпину, навестить заболевшего кузена. Уже по возвращении Чернышевского в Петербург Пыпин писал другу, что его болезнь — только предлог, которым воспользовался Чернышевский для того, чтобы объяснить свой скорый отъезд и скорое

¹ Антонович М.А. Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 205.

² Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский: Общественный идеал анархиста. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 174.

возвращение, не похожие на обыкновенные путешествия. Настоящая цель его путешествия была Лондон. В работе Эйдельмана о лондонской встрече Чернышевского и Герцена сообщается любопытный факт, что Чернышевский поднес Герцену отдельное издание своей диссертации, которую лондонские изгнанники считали теоретическим обоснованием «чистого искусства» с надписью: *«Александру Ивановичу Герцену с благоговением подносит Автор»*.

Это была, видимо, попытка решить проблему мирным путем. Поразительна запись об этом визите невенчанной жены Герцена Натальи Тучковой-Огарёвой, в котором удивительно прозвучало женское проникновение в характер интересующего ее мужчины. И сколько бы ни писали советские исследователи о революционном пафосе, одушевлявшем НГЧ, эти простые слова вполне их перевешивают: «Некоторое время спустя явился в Лондон человек, о котором говорила чуть не вся Россия, о котором мы постоянно слышали, который много писал, о котором постоянно упоминали в печати, которого не только хотелось видеть, но хотелось узнать... Это был Николай Гаврилович Чернышевский. <...> Как теперь вижу этого человека: я шла в сад через зал, неся на руках свою маленькую дочь, которой было немного более года; Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил с своим собеседником. Чернышевский был среднего роста; лицо его было некрасиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе»¹. Потом эту черту его характера и взгляда на мир выделит Владимир Со-



¹ Тучкова-Огарёва Н.А. Воспоминания // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 100 (подчеркнуто мной. — В.К.).

ловъёв, определив так свое восприятие Чернышевского: «тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека». Поразительное совпадение интонаций: «Тихий, грустный и благородный» у Соловьёва и «самоотвержение и покорность судьбе». Это, конечно, не образ революционера, а скорее христианского подвижника. Замечу, что в этот момент (1858) в Россию была привезена великая картина Александра Иванова, которая в какой-то мере выразила поиск русскими интеллектуалами истины.

Что значила для русской культуры картина Александра Иванова «Явление Христа народу»

Надо сказать, что с тридцатых годов XIX столетия в русской культуре возникает рефлексия по поводу христианства. Поначалу эта рефлексия скрывалась в салонных спорах, в неопубликованных текстах Чаадаева, Хомякова и т.д. Выход книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» вдруг обнаружил небывалый ранее в России факт рефлексии по поводу христианства как личного выбора. До гоголевской книги никому и в голову не приходило публично, в светской печати, заявлять о своей искренней приверженности православию, говорить о великом назначении русского духовенства или, что того непривычнее, уверять мир в православности русского народа. Православная церковь и вера, утверждаемая ею, защищалась методами административными, и в их защите со стороны литераторов самодержавие не нуждалось. Гоголь был твердо убежден в православности русского народа и активности русской церкви: «Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное»¹. Но кроме духовенства вдруг появились светские умы, писатели, и более того, — художники. Именно о живописце написал одно из писем в своей книге Гоголь: «Исторический живописец Иванов», письмо, в котором он оценил его картину как колоссальный духовный и художественный подвиг.

¹ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Патриот, 1993. С. 52.

Два слова об Александре Иванове и его картине. Он был сын профессора живописи Андрея Иванова, рано заявивший о своем невероятном таланте и получивший стипендию для поездки в Рим, где от него могли ждать полотен, налитанных итальянским солнцем, вроде пейзажей Сильвестра Щедрина, картин Карла Брюллова, даже на историческую тему вроде «Последнего дня Помпеи». Но русский художник задумал нечто грандиозное, писал свою картину двадцать лет, впроголодь, перебиваясь на гроши, но это был как бы высший заказ. О его невероятном подвиге художника, который «из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду», и написано письмо Гоголя, где он попытался показать замысел Иванова, подняв его творчество на высший уровень, поставив рядом с Рафаэлем и Леонардо да Винчи. Гоголь писал: «С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, — явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля того, кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначенью. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно — первое появленье Христа народу». Он хотел «изобразить на лицах весь этот ход обращения человека ко Христу!»¹ Гоголь передает мысль художника — что ему внушено кем-то свыше изобразить кистью обращение человека ко Христу. Денег не давали на продолжение работы, хотя, как пишут искусствоведы, приехал император, взгляделся в необъятное полотно, с которого навстречу ему шел Христос, прогремел: «Хорошо начал!», и, обернувшись к генералу Килью, оставленному для присмотра за русской художественной братией, добавил: «Кончит это, пусть напишет Великое Крещение русских в Днепре». Киль, считавший Иванова «сумасшедшим мистиком», с этого дня стал тише воды, а из Академии пришло уведомление, что художнику Иванову назначена «бессрочная пенсия». Очевидно, что царю не понравилось преобладание еврейских лиц на картине², поэ-

¹ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Патриот, 1993. С. 138, 139.

² Об еврейских лицах написал Гоголь: «Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем



*Александр Андреевич Иванов.
Портрет кисти С.П. Постникова*

тому он хотел национальный сюжет. Крещение в Днепре художник писать не стал, поскольку писал не историческое полотно, а философско-миростроительное.

В 40-е годы Иванов ездил к Герцену, он искал, как правильно изобразить роль Христа в миростроении. Атеист Герцен этого не понял, а в некрологе 1858 г. в «Колоколе» написал, что жизнь Иванова была анахронизмом, что он был своего рода средневековым отшельником, и не видел, как менялся мир: «Настал громовый 1848 год, я жил на площади, Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на

шум истории, не понимал его, я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились»¹. Пишет, что Иванов ехал в Петербург, чтобы делать новые эскизы из жизни Христа, потом думал съездить в Иерусалим... Позицию художника он вроде бы обозначил. Но под конец как бы спохватывается и говорит совсем другое: «Вдруг получаю я в августе месяце прошлого года из Интерлакена письмо от Иванова. Каждое слово его дышит иным веянием, сильной борьбой, запертая дверь студии не помешала, мысль века прошла сквозь замок, страдания побитых разбудили его...»² Стоит напомнить резкое суждение Вяземского в письме к Плетневу о том, что «Герцен напакостил на могиле Иванова.

вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица» (*Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями*. С. 140).

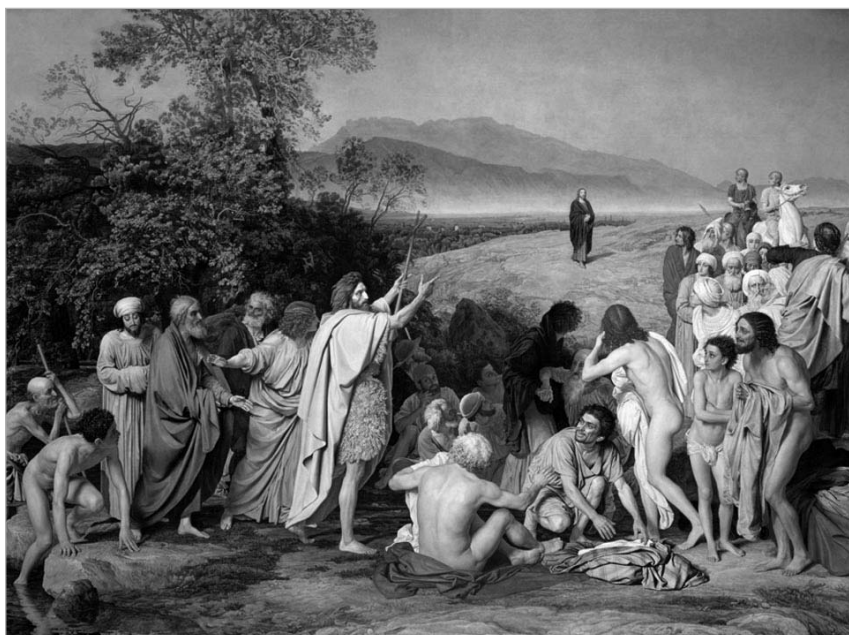
¹ *Герцен А.И. А. Иванов // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XIII. М.: АН СССР, 1958. С. 326.*

² Там же.

В статье своей он расхваливает его, но по-своему, и вербует его в свою роту» (от 15/27 сентября 1858 г.)¹.

Между тем Иванов искал другого (эскизы из жизни Христа), пришла пора подводить итоги двадцатилетнего пребывания в Италии, и он привез в Петербург свою картину, чтобы оценить реакцию коллег. Но в Питере художники, мировоззренчески от него далекие, картину не приняли категорически. А литераторы поддержали их мнение о картине, как беспомощном произведении.

Это сразу с неприязнью отметил Чернышевский, для которого тема Христа всегда была чрезвычайно важной, написавший в «Современнике» вдогон за статьей украинофила П.А. Кулиша («Заметка по поводу предыдущей статьи»), что Кулиш бранит картину Иванова, поскольку «многие из художников, считающихся у нас первоклассными, говорят, что последняя картина Иванова – произведение, нарушающее законы искусства и потому лишенное достоинства. Я полагаю, что такое мнение составлено им по отзывам этих художников потому, что они, как



Александр Иванов. Явление Христа народу

¹ Цит. по: Аллатов М.А. А. Иванов: В 2 т. М., 1956. Т. 2. С. 309.

известно, заботились о распространении такого суждения в публике» (Чернышевский, V, 335). Жизненного опыта у Чернышевского хватало, чтобы понимать причины неприятия великого произведения — в личных страстях, которые нарушили в свое время жизнь его отца, а также в зависти: «Знаменитости судят по старым, быть может, устарелым принципам о произведении, возникшем из новых принципов, чуждых пониманию человека, который составил себе известность, следуя прежним принципам. Возможно предположить и другой источник невыгодной оценки нового явления. Знаменитости — такие же люди, как все остальные люди, следовательно могут подчиняться влияниям личных соображений при произнесении того или другого суждения. Кому приятно сходить с известного, выгодного и почетного места, чтобы собственной рукой возвести на это место другого человека?» (Чернышевский, V, 335–336). Конечно, самый поразительный факт, что никто из известных художников не пришел на похороны Иванова, который умер в июле 1858 г.

Но за месяц до смерти он посетил Чернышевского, как прежде посещал Герцена и Д. Штрауса, автора знаменитой книги «Жизнь Иисуса», которую внимательнейшим образом во время работы над своей картиной изучал Иванов (переводе на французский). Вот был его интеллектуальный уровень! Узнав, что у Штрауса вышло новое переработанное издание этой книги, художник поехал к нему, чтобы уточнить, какие новые мысли вложил в свою книгу Штраус. Но Иванов не владел немецким, а Штраус — итальянским. С того момента Иванов искал русского человека, который мог бы сравнить французский текст и новый немецкий вариант. Кавелин посоветовал ему обратиться к Чернышевскому. Разумеется, для НГЧ тема христианства в немецкой философии была близкой. В дневниковых записях он описывает свое возвращение в Саратов после университета. Он ехал вместе с волгарем поэтом Д.И. Минаевым, с которым «всё рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии (я в духе Штрауса и Фейербаха)» (Чернышевский, I, 402). Как видим, имя Штрауса не было для него пустым звуком. И беседа с художником состоялась. О ней НГЧ и написал в своей статье, по естественной скромности не приводя своих слов, а только слова художника с небольшими пояснениями. НГЧ замечает, что художник привез к нему «новое издание одного знаменитого немецкого теологическо-философского сочинения и французский перевод одного из прежних изданий той же книги. “В новом издании, — сказал он, — автор

сделал значительные перемены, так что опроверг некоторые из выводов, на которые соглашался прежде из уважения к выражениям Неандера. Мне хочется знать, в чем именно состоят эти перемены. Я вас прошу сличить новое издание подлинника с переводом и перевесьте для меня измененные автором места". До той поры, видевшись с Ивановым только два раза в обществе, я не имел случая познакомиться с его понятиями о вещах» (Чернышевский, V, 337). Это, разумеется, поразило критика. Но если Герцен призывал Иванова к социальности «из его кельи», то Чернышевский увидел в нем не отшельника, а нечто другое: «Глубокая жажда истины и просвещения составляла одну черту в характере Иванова. Другую чертою была дивная, младенческая чистота души, трогательная наивность, исполненная невинности и благородной искренности. Мало найдется даже между лучшими людьми таких, которые производили бы столь привлекательное впечатление совершенным отсутствием всякой эгоистической или самолюбивой пошлости. Никто не мог меньше и скромнее говорить о себе, нежели он» (Чернышевский, V, 338). Ведь Христос на картине Иванова несет свет, просвещение. По мысли известного Чернышевскому Августина, Христос есть *lumen illuminans* (свет просвещающий), а Иоанн Креститель был *lumen illuminatum* (свет заимствованный). Именно просвещения желал Иванов. И желал получить его через книги философов. Можно предположить, что помимо Штрауса Чернышевский рассказывал Иванову и про «Сущность христианства» Фейербаха. Да к тому же в Евангелии, которое Чернышевский знал наизусть, в отличие от Герцена, сказано, что «говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8, 12). И свет этот необходимо донести до всех. Собственно, уже в его великой картине было ясно, что идущий к народу Христос несет свет. Поэтому Чернышевский принял позицию Иванова, так им сформулированную: «Искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и преданий, это заметят, скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь, и знаете, ведь эти враги искусства будут говорить правду; оно действительно так» (Чернышевский, V, 339).

Русская культура ждала образ Христа как результат самостоятельно заработавшего разума. И первое его явление — картина Иванова. Забегая немного вперед, надо сказать, что поиск Христа далее стал задачей русской литературы и философии. В великих романах Достоевского — это одна из ведущих тем. Как

видим, разность в позиции двух лидеров русского образованного общества — атеиста радикала Герцена и верующего реформатора Чернышевского — сказалась и в их оценке картины Иванова.

После поездки в Лондон

Сам Чернышевский полагал, что он переломил отношение Герцена к Добролюбову, которого, как сам он не раз писал, он любил как сына. Действительно, можно сказать, что ближе человека он не знал. А за сына можно схватиться даже с некоронованным королем радикальной России. Вот тогда он стал выговаривать ему, «ломаю как школьника», говоря, что «Колокол» без конкретной программы реформ скорее выгоден правительству, ибо ограничивается разоблачением чиновников, что необходимо и власти, а призывы к революции опасны. Человека, называвшего себя Александром Македонским (Искандер — псевдоним Герцена), он не боялся. Смелости и стойкости ему было не занимать, как показала его дальнейшая жизнь. И добился того, что, скрепя сердце Герцен извинился перед «Современником». Это, конечно, была победа.

Герцен как бы опроверг сам себя, что было ему абсолютно несвойственно. В 49 листе «Колокола», в отделе «Смесь», было напечатано своего рода самооправдание в связи с нападением на «Современник», немного высокомерное, но все же было: «В 44 листе мы предупреждали наших русских собратий, слишком нападавших на изобличительную литературу, что они этим путем, сознательно или бессознательно, помогут *наставительному* комитету. Нам бы чрезвычайно было больно, если бы *ирония*, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек. Мы уверяем честным словом, что этого не было в уме нашем. <...> Мы не имели в виду ни одного литератора, мы вовсе не знали, кто писал статьи, против которых мы сочли себя в праве сказать *несколько слов*, искренно желая, чтоб наш совет обратил на себя внимание» (Герцен, XIV, 138).

Герцен верил в решающую роль слова, в роль литературы. Уже в трактате «О развитии революционных идей в России» именно литературу он назвал революционным ферментом общества. Конечно, это был романтизм. Поэтому мог восклицать «Vive la mort!» не видя за этими словами реальной смерти. Это понимали либералы-консерваторы. Чичерин твердо писал, обращаясь к великому эмигранту: «И на каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское

достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли Вы поступаете, Вы, которому Ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы вправе спросить это у Вас, и какой дадите Вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу – вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!»¹ Чернышевский был против народного бунта, к которому звал Герцен. Поразительно, что здесь он совпадал с Чичериным и Катковым, в ярости писавшем в 1862 г: «Неужели он в самом деле дошел до такого одурения, что не сознает злокачественности своей клеветы и того действия, которое она может произвести на легко воспламеняемые умы юношей? Какой смысл этих выходов? Они были бы непростительны и мальчику в пылу увлечения, но что сказать о человеке зрелом, который издали и на полной свободе обозревает события? <...> Наука есть нейтральная почва, молодежь должна учиться, это несомненно. <...> Нынешние волнения не ограничатся вредом в настоящем, они отзовутся еще большим вредом в будущем; что бы там ни вышло, а несколько поколений молодежи, потерявшей время и силы, будет во всяком случае бедствием для страны»².

Стоит, однако, пойти за историческими фактами. Если история, как полагал Герцен, есть безумие, то и творить ее надо соответственно. В 1860 г. Герцен печатает в «Колоколе» ПРОВОКАЦИОННОЕ «Письмо из России», где призыв к топору можно было приписать провинциалу Чернышевскому. Или Добролюбову. Однако в предисловии 1856 г. к своему тексту «Крещеная собственность» (то есть за *четыре года* до «Письма из провинции») Герцен пишет: «Если ни правительство, ни помещики ничего не сделают, – сделает топор. Пусть и государь знает, что от него зависит, чтоб русский крестьянин не вынимал его из-за своего кушака»³.

¹ Чичерин Б.Н. Письмо к издателю «Колокола» // Чичерин Б.Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 368.

² Катков М.Н. Заметка для издателя «Колокола» // Катков М. Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 343.

³ Герцен А.И. Избранные труды / Сост., автор вступ. ст. и коммент. В.К. Кантор. М.: РОССПЭН, 2010. С. 345.

Самое поразительное, что даже покинувшая Россию из-за несогласия с советскими трактовками литературы российская интеллигенция полностью сохранила советское восприятие Герцена как мягкого либерала. И вот вопреки многим фразам Герцена (в том числе только что процитированной) Раиса Орлова пишет уже на Западе (вроде бояться-то нечего, но клише работает!): «Герцен — в отличие от молодых радикалов-современников — никогда не звал Русь к топору¹». Еще как звал!

Топор против европеизма

15 февраля 1858 г. Герцен писал в «Колоколе»: «Что касается до нас — наш путь вперед назначен, мы идем с тем, *кто освобождает и пока он освобождает*; в этом мы последовательны всей нашей жизни. Как бы слаб наш голос ни был, все же он *живой голос*, и как бы наш *Колокол* ни был мал, все же его слышно в России, а потому скажем еще раз, что мы убеждены, что Александр II не равнодушно примет приветствие людей, которые сильно любят Россию, — но так же сильно любят и свободу. <...> Они желали бы, что Александр II видел в них представителей свободной русской речи, противников всему останавливающему развитие, во всем ограничивающем независимость — *но не врагов!*» (XIII, 197). Обращаясь к императору, Герцен произносит знаменитые слова Юлиана-отступника: «*Ты победил, Галилеянин!*» (XIII, 197), тем самым приравнивая императора к Христу. Дальше уж говорить не о чем!

Но в его обращении к императору прозвучала характерная оговорка: «пока освобождает». А исторического терпения у Герцена не было. Конечно, он не был ни политиком, ни государственным деятелем, он был мечтателем, а в мечтах все просто делалось.

Уже 25 номер «Колокола» от 1 октября 1858 г. содержал «Письмо к редактору», с очевидным пафосом — давлением на правительственных реформаторов. Мол, не поторопитесь — хуже будет: «Слышите ли, бедняки, — нелепы ваши надежды на меня, — говорит вам царь. — На кого же надеяться теперь? На помещиков? Никак — они заодно с царем и царь явно держит их сторону. На себя только надейтесь, на крепость рук своих: **заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу!** (выделено мной. — В.К.) За дело, ребята, будет ждать да мыкать

¹ Орлова Р. Последний год Герцена. Chalidze publ. New York, 1982. С. 57.

горе: давно уже ждете, а чего дождались? У нас ежеминутно слышим: крестьяне наши — бараны! Да, бараны они до первого Пугача. <...> Бараны — не стали бы волками! Войском не осилить этих волков!»¹ Автор вроде бы не Огарёв, но характерен пафос, близкий Огарёву. Как замечал Н. Эйдельман, «именно эта часть письма вызвала в России большой общественный резонанс. Непосредственной реакцией <...> был знаменитый обвинительный акт Б.Н. Чичерина»².

Если реформы пойдут недостаточно быстро, полагал Герцен, то революцию нужно ждать из России. Главной силой будет указанная Бакуниным красота смерти, о которой писал и Герцен: «Проповедуйте весть о смерти, указывайте людям каждую новую рану на груди старого мира, каждый успех разрушения; указывайте хилость его начинаний, мелкость его домогательств, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нет ни опоры, ни веры в себя, что его никто не любит в самом деле, что он держится на недоразумениях; указывайте, что каждая его победа — ему же удар; проповедуйте *смерть* как добрую весть приближающегося искупления» (VI, 76).

Этот преступный эстетизм в отношении Герцена к общественной жизни в России очень хорошо увидел Борис Чичерин, блистательный историк, как и Герцен, выученик гегелевской философии, но прочитавший ее не как «алгебру революции», а как путь к реальной, обеспеченной всеми средствами свободе личности и преодолению произвола в жизни с помощью государства. Стоит внимательно вчитаться в его «Письмо к издателю “Колокола”», опубликованное в 1858 г., где впервые указывалось на того, кого общественность в те годы считала зовущим Русь «к топору»: «Вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются Вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо делять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону водворится привычка хвататься за топор — Вы об этом мало тревожитесь. Вам во что бы ни стало нужна цель, а каким путем она достигается — безумным и кровавым или мирным и гражданским, это для Вас вопрос второстепенный. Чем бы дело ни развязалось — невообразимым актом самого дикого деспотизма или свирепым разгулом разъяренной толпы — Вы все подпишете, все благословите. Вы не только подпишете,

¹ Колокол. Л. 25. 1 октября 1858 г. С. 201—203.

² Эйдельман Н.Я. Свободное слово Герцена. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 271.

Вы считаете даже неприличным отворачивать подобный исход. В Ваших глазах это поэтический каприз истории, которому мешать неучтиво. Поэтический каприз истории! Скажите, пожалуйста, когда Вы писали эти слова, как Вы на себя смотрели: как на политического деятеля, направляющего общество по разумному пути, или как на артиста, наблюдающего случайную игру событий?

Политический деятель имеет в виду не только цель, но и средства. Зрелое обсуждение последних, точное соображение обстоятельств, избрание наилучшего пути при известном положении дел – вот в чем состоит его задача, и ею он отличается от мыслителя, изучающего общий ход истории, и от художника, наблюдающего движения человеческих страстей. То, что Вы называете поэтическим капризом истории, действием самой природы, есть дело рук человеческих. Сама природа здесь – Вы, я, третий, все, кто приносит свою лепту на общее дело. И на каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достоинство, успокаивать бунтующие страсти, отворачивать кровавую развязку. Так ли Вы поступаете, Вы, которому Ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы вправе спросить это у Вас, и какой дадите Вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу – вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!»¹

Но почему – топор? Топор – это мифологически отработанное в интеллигентском сознании оружие крестьянского бунта². А бунтовать должны крестьяне, ибо община несет в себе элемен-

¹ Чичерин Б.Н. Письмо к издателю «Колокола» // Чичерин Б.Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 368.

² Для Достоевского это вообще провокация черта, имеющая всемирный, надмирный, межпланетный смысл. Напомню, что в разговоре Ивана Карамазова с чертом о бесконечности пространства вдруг всплывает тема... топора. «– А там может случиться топор? – рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович... Топор? – переспросил гость в удивлении. – Ну да, что станет там с топором? – с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович. – Что станет в пространстве с топором? Quelle idée! Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника». Образ фантастический и страшный, бессмысленный («Сам не зная зачем») и полный угрозы всему человечеству топор крестьянской войны (15, 75).

ты социализма, то есть будущего. Герцен полагал, что наличие общинной структуры в крестьянской жизни есть необходимый элемент, зародыш, являющийся своеобразной, но *живой* формой социалистической организации жизни, до которой Европа додумалась *теоретически*. «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*» (VII, 323). Для Герцена открытие общины, как фактора «коммунистической организации» русского крестьянства, означало уход Европы (у которой, как ему казалось, не было такой формы жизни) с исторической арены и замену ее Россией.

Западники, «русские европеисты» упрекали Герцена в славянофильстве, что он подбивает идти учиться мудрости у неграмотного русского народа, забыв свои европейские пристрастия и симпатии. Герцен отвечал: «Вы любите европейские идеи, — люблю и я их... Без них мы впали бы в азиатский квиетизм, в африканскую тупость. Россия *с ними и только с ними* может быть введена во владение той большой доли наследства, которая ей достается. В этом мы совершенно согласны. Но вам не хочется знать, что теперичная жизнь в Европе несообразна ее идеям» (XII, 425).

Чернышевский и Герцен расходились и в понимании роли России и Запада в историческом процессе. Герцен полагал: «Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено» (VII, 242). С этим связана и его идея о конце Европы, во всяком случае о ее неспособности вступить в новую социальную жизнь, в отличие от России, к этому способной. Западу мешает «привычка к своему богатству» (XIV, 44). А «у нас нигде нет этих наглухо заколоченных предрассудков, которые у западного человека, как параличом, отбивают половину органов. В основе народной жизни лежит сельская община — с разделением полей, с коммунистическим владением землею, с выборным управлением, с правомерностью каждого работника (тягла). Все это находится в состоянии подавленном, искаженном, но все это живо и пережило худшую эпоху» (XII, 430). Строй жизни русских крестьян, по Герцену, и есть тот самый строй жизни, который ищет Европа, он присущ русскому крестьянству искони, надо только сознательно развивать этот элемент.

Отвечая на мысль Герцена о свободе России от прошлого, Чернышевский писал: «Мы также имели свою историю, долгую,

сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться» (*Чернышевский*, VII, 616). И далее перечисляет все эти принципы, воспитанные веками крепостного права, начиная от привычки к бесправию до привычки все решать волевым усилием, «силою прихоти»¹. Именно в силу этих «привычек», полагал он, России будет трудно воспользоваться идеями и опытом Запада и гуманизировать культуру, поднять ее до высот предлагаемых ей историей задач.

По поводу рассуждений о «закате Европы» и уподобления этого процесса гибели «Древнего Рима» Чернышевский предлагает свою схему исторического процесса, весьма внятную и работающую доныне. Чернышевский в своей статье «О причинах падения Рима» весьма резко делит историю человечества на период цивилизованный и варварский. Варвары и цивилизованные люди, разумеется, могут сосуществовать во времени и пространстве, более того, варвары, которые отождествляются им со стихийной природной силой наподобие наводнения, потопа, урагана или землетрясения, вполне могут разгромить народ цивилизованный (как германцы Древний Рим), точно так же, как молния может убить человека. Но Чернышевский сомневается, могут ли варвары привнести новое, прогрессивное начало в историю: «Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом» (*Чернышевский*, VII, 659). Отождествляя варварство с состоянием хаоса, разбоя, брожения, он безусловно отрицал, чтобы это состояние общественной жизни могло выработать хотя бы самые отдаленные намеки на права отдельной личности, отдельного человека. Скорее, это заслуга народов цивилизованных и вне цивилизации право личности утвердить не удастся. Не случайно только спустя тысячу лет после падения Древнего мира в Европе, в эпоху Возрождения, про-

¹ «Весь этот сонм азиатских идей и фактов, — пишет он о подобных привычках, — составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что Бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям» (*Чернышевский*, VII, 616–617).

буждается личность, и связан этот процесс не в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами античной культуры. Отсюда следовало, что не стоит хвалиться варварством, нецивилизованностью, «свежей кровью», а надобно прежде просветить и цивилизовать свой народ¹.

Иначе он трактовал и проблему общины. Общинный принцип земледелия, считал Чернышевский, — до поры до времени хорош для России, но никоим образом не годится Западу. «Европе, — писал он, — тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники». Что же касается современного им Западу, то собственно народ «еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие уже действует на исторической арене <...>, а главная масса еще и не принималась за дело...». И резюмировал, обращаясь к Герцену: «Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» (Чернышевский, VII, 663, 666). Действительно, говорить о Европе Лессинга, Шиллера и Гёте, Бальзака, Стендаля и Гюго, Диккенса и Теккерея, Гейне, Канта и Фейербаха, Маркса и Энгельса Европе, шедшей к второй промышленной революции, наконец, Европе, давшей приют изгнанникам и поддержавшей их свобод-



*Н.Г. Чернышевский.
Фотография В.Я. Лауфферта.
1859 год*

¹ Стоит сопоставить его позицию с позицией его постоянного оппонента, который тоже хотел строить Россию изнутри, а не извне — с позицией М.Н. Каткова, как вспоминает о ней К. Леонтьев: «Катков возразил с жаром: “Мы не умеем ни ценить своего, ни изобретать, потому именно, что мы варвары. Когда у нас будет больше действительной образованности, когда у нас наука окрепнет, у нас сама собою явится та самобытность, которая вам так желательна. А пока надо уметь учиться”» (Леонтьев К. Записки отшельника // Леонтьев К. Избранное. С. 244).

ное слово, как о типе культуры, пришедшей в упадок и идущей к своей гибели, было по меньшей мере сомнительно.

Штрихи к созданию фантома

Лондонская тенденция к провокации бунта чувствовалась даже до начала колокольного звона. Герцен свое вольное книгопечатание начал угрозой (1853), еще до всяких восстаний в селе Бездна (название символическое — в эту *Бездну* потом и рухнула Россия), пообещав новую пугачёвщину: «Страшна и Пугачёвщина, но скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено»¹. Поразительно, что, словно подтверждая угаданную Чичериным линию его «Колокола», Герцен накануне освобождения крестьян печатает «Письмо из провинции». Напомню, что автор этого весьма известного письма, опубликованного в «Колоколе», вполне серьезно заявлял: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может!»² И подписывался не как-нибудь, а в твердой уверенности что выражает мнение *всех* — «Русский человек», показывая тем самым, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Действительно, традиция насилия имела слишком много adeptов. Этот путь, как понятно, был утверждён в отечественной ментальности после большевистской революции эпохой ленинско-сталинского террора. Да и сегодня на улице постоянно слышишь о лицах, враждебных говорящему: «Расстрелять их, и дело с концом». Текст очень долго приписывался Чернышевскому. Но можно вообразить и другую картину: в одной комнате один друг пишет «Письмо из провинции», обсуждая с единомышленником наиболее удачные выражения, а потом чисто по-журналистски они пытаются отвести удар от «Колокола», и издатель довольно вяло возражает своему якобы оппоненту. Не случайно в своем ответе автору «Письма из провинции» (в том же номере) он как бы даже продолжает и усиливает его логику: «Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костями, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор

¹ Юрьев день! Юрьев день! // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Под. ред. *Е.Л. Рудницкой*. М.: Археографический центр, 1997. С. 57.

² Письмо из провинции // Революционный радикализм в России. С. 84.

слишком расходится? Есть ли все это у вас?» (XIV, 243). Далее он добавляет на всякий случай, словно отрекаясь от публикации, что *не из Лондона надо звать к топорам* и кончает свой текст аллилуйей: «Кто же в последнее время сделал путного для России, кроме государя? Отдадимте и тут кесарю кесарево!..» (XIV, 244). Прямее угрозу не выскажешь. Если не сделаете, то берегитесь! Вот смысл его послания. Но пятно и грех этого письма более чем на сто лет легли на биографию Чернышевского. Если Герцен этого хотел, то это получилось. Но, думаю, это случайное сплетение обстоятельств, хотя в духе «беглого апостола», как именовали Герцена русские консерваторы.

Я помню свой разговор с Н. Эйдельманом, когда я сказал, что отрицаю авторство Чернышевского, ибо автор этого письма проговаривается, сообщая, что жил в «глухой провинции» во время Крымской войны, но Саратов никогда не был глухой провинцией, да к тому же в это время Николай Гаврилович уже переехал в Петербург, а в провинции застрял другой совсем человек, будущий эмигрант. «Вы намекаете на Огарёва? — задумчиво спросил Эйдельман. — Действительно “Р.Ч.” и “Русский человек” его постоянные псевдонимы. Но чтобы друг Герцена — вряд ли... Во всяком случае, ясно, что это не Чернышевский». Я не думал тогда об Огарёве, но быстрота реакции моего собеседника показала, что он-то думал именно о нем¹. И правда, Огарёв, друживший во второй эмигрантской жизни скорее не с Герценом, а с Бакуниным, называвшим страсть к разрушению творческой страстью, активно поддерживавший Нечаева, больше подходил

¹ Факт общеизвестный, что постоянные псевдонимы Огарёва — «Р.Ч.» и «Русский человек». (См. хотя бы обстоятельную книгу: *Конкин С. Николай Огарёв*. Саранск. 1982. С. 258.) Надо также добавить, что одну из первых своих публикаций в вольной печати в 1857 г. в «Полярной звезде» Огарёв назвал «Письмо из провинции». Так что публикация в 1860 г. в «Колоколе» нового «Письма из провинции» за подписью «Русский человек» достаточно прозрачно сообщала читателям о едином авторе обоих текстов. Не забудем и того, что одним из главных энтузиастов уже с конца 50-х годов создания тайной революционной организации всероссийского масштаба был не Чернышевский, а именно Огарёв. (См.: *Рудницкая Е. Русский радикализм // Революционный радикализм в России*. С. 35.) Существенно добавить, что в предисловии «От редакции» к пресловутому письму Герцен не раз называет это письмо дружеским, что вряд ли бы он сделал по отношению к авторам «Современника» — Чернышевскому и Добролюбову, о которых он всего год назад опубликовал статью «Very dangerous!!!», где назвал оппонентов «милыми пядями» и предсказывал им правительственную службу и «Станислава на шею». И все же намек был. Письмо не случайно более столетия приписывали Чернышевскому. Это была своего рода нечаевская метода — замарать какого-либо литератора, написав ему пару революционных писем, чтобы того схватила полиция. И выхода у схваченного уже нет — только революция, полагал Нечаев.

этому письму, нежели ироничный и осторожный Чернышевский, считавший самым важным не гибель, а жизнь человека. В комментариях к своей книге о Чернышевском Демченко пишет: «В последнее время выдвинуто предположение о принадлежности письма Н.П. Огарёву (Искрин М. Тайна псевдонима. Автор знаменитого “Письма из провинции” – Николай Огарёв // Комсомольская правда. 1983. 20 октября. № 241. С. 4)»¹.

Впрочем, политический облик Огарёва ясен из одного его замечания. Огарёв хотел стать Швабриным, одним из самых омерзительных вариаций российских Иуд, изображенных Пушкиным. Еще в 1863 г. Огарёв признавался: «Если у нас появится новый Пугачев, я пойду к нему в адъютанты» (*Огарёв Н.П. Собр. соч. Т. 2. С. 491–492.*)². В конце 60-х Огарёв выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»:

Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь, добры молодцы,
На разбой – дело великое!

Разбойники были ужасом детства НГЧ. Герцен знал только романтических разбойников Шиллера, не додумывая, что сам драматург по сути дела рисует злодея, взрывающего церкви и т.п. Поэтому он и утверждал, что истинные деятели России именно «лишние люди», ибо они протягивают руку молодым радикалам через голову авторов «Современника», которые лишены веры в «идеалы», одушевляющие Герцена и его друзей, в скорую победу «русского социализма»: «Что нас поразило в них, – это легкость, с которой они отчаивались во всем, злая радость их отрицания и страшная беспощадность» (*Герцен, XIV, 322*). Герцен полагает, что хотя и «лишние люди», и «желчевики» уже сходят и сойдут с исторической сцены, но через голову «желчевиков», *через «болезненное поколение» Чернышевского и Добролюбова, лучшим представителем «лишних людей» удастся «протянуть руку кряжу свежему, который кротко простится с нами и пойдет своей широкой дорогой»* (курсив мой. – В.К.), т.е. сверхрадикалам «Молодой России» (*Герцен, XIV, 322*). Да и обращения Герцена к студенче-

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Т. 3. С. 319.

² Орлова Р. Последний год Герцена. Chaldize publ. New York, 1982. С. 40.

ству звучали провокационно и безжалостно: «Не жалеете вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории» (Герцен, XV, 185).

Действительно, Чернышевскому и Добролюбову некогда было заниматься революционной пропагандой, как Герцену. Добролюбов в ответ на этот текст заметил, что нельзя обращать внимания на литературные сплетни и жертвовать из-за них своими убеждениями. По словам Панаевой, «Добролюбов говорил это, очевидно, по поводу распространяемых слухов, будто бы он и Чернышевский являются всюду на сборища молодежи и льстят ей до самоунижения, добиваясь популярности, так как сознают, что их бездарные статьи не могут иметь никакого значения в публике, и они подзадоривают мальчишек, чтобы те кричали об их статьях. <...> Могу удостоверить, что он только по утрам видел молодых людей, которые являлись в редакцию с рукописями, и не бывал ни на каких сборищах. Очень часто по вечерам я уговаривала его бросить работу и пойти провести время у кого-нибудь из его семейных знакомых; но он постоянно отговаривался тем, что ему надо торопиться окончить чтение рукописи или дописать статью. Добролюбов не любил даже разговаривать, когда в редакции собиралось много народу.

Чернышевский также не был способен заискивать популярности, и если к нему ходили молодые люди, то лишь с просьбами о работе. Правда, что в течение одной зимы у жены Чернышевского собиралось по субботам много студентов, но — для танцев. Чернышевский под шум веселого говора танцующих и звуки фортепьян работал у себя в кабинете»¹.

Общинность и разумный эгоизм

1860 год был годом, когда Чернышевский выдвинул несколько важных своих идей. Отдав литературный раздел Добролюбову он сосредоточился на общих философских вопросах, из которых стоит выдвинуть три темы — общинности, антропологического принципа в философии и разумного эгоизма. Кстати, за его статью об антропологическом принципе цензор сделал в июле «Современнику» замечание.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» В.Г. Белинский писал: «Пора нам перестать казаться и начать быть, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами

¹ Панаева А.Я. (Головачева). Воспоминания // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 182.

и европейские формы и внешности принимать за европеизм» (*Белинский*, X, 19). Очевидно, надо было обратиться к специфике страны. Общинность как специфическую особенность России утверждали славянофилы. И именно к ней обратился Чернышевский, наиболее полно проанализировавший все возможности общины. Он думал об использовании той структуры национальной жизни, которая сложилась на данный момент в России. А складывалась она, как он понимал, не одно столетие.

Не забудем при этом, что Чернышевский был антропоцентристом, что, находя, скажем, у эскимосов в зачатке те же явления, которые в развитом виде можно было видеть в промышленной Британии, он утверждал, что в миллионах привычек и особенностей, свойственных человеческому роду, каждый народ полностью развивает одну из этих особенностей, которую в зародыше ли или уже в стадии пройденной — и изжитой формы можно отыскать и у других народов. Двигателем прогресса и цивилизации для него выступала самодеятельная личность: «Как вы хотите, чтобы взывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе» (*Чернышевский*, Суеверие и правила логики V, 695,). А для этого человеку нужно «увидеть себя самостоятельным, почувствовать себя освобожденным от стеснений и опеки» (*Чернышевский*, V, 695). Однако здесь я хотел бы сказать, как сочетал он идею общины с идеей личности, тем более с идеей разумного эгоизма, как крайнего проявления личностного начала.

Русская община для Чернышевского является показателем не типа культуры, а степени развития, которая в силу затянувшегося периода стала определять и структуру общественной жизни, с которой надо считаться, которую миновать никак нельзя. Будучи не прожектером, а реальным деятелем, Чернышевский в каждом вопросе полагал необходимым исходить из имеющейся данности. Принцип его подхода к действительности очень ярко иллюстрирует выдвинутая им и вызвавшая ожесточенную полемику теория «разумного эгоизма». Чернышевский строит свою этику не на отрицании эгоизма, а на возведении его, так сказать, в новую степень, ибо, полагал он, нельзя навязывать декретом добрые чувства, а надо просветлять то, что дано. Поэтому он пытается донести до большинства, что быть добрым хорошо и вы-

годно. В «Антропологическом принципе в философии» он говорил о «цели, которая предписывается человеку <...> рассудком, здравым смыслом, потребностью наслаждения: эта цель — добро. Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр» (*Чернышевский*, VII, 291). Многие русские писатели религиозного толка всячески опровергали теорию разумного эгоизма. В «Братьях Карамазовых» Достоевский дал образ семинариста-карьериста Ракитина, который говорит, что будет подличать, разбогатеет, а затем и много добра принесет. Но Чернышевский, говоря о выгодности добра, возлагал надежды не на внешние обстоятельства жизни людей (богатство, преуспевание и пр.), а ратовал за внутреннюю перестройку души: «По обширности результатов добро, приносимое качествами самого человека, гораздо значительнее добра, делаемого человеком только по обладанию внешними предметами. Доброе или дурное употребление внешних предметов случайно; всякие материальные средства так же легко и часто бывают обращаемы на вред людям, как и на пользу им» (*Чернышевский*, Антропологический принцип... VII, 291). Когда Достоевский призывает обуздывать страсти, он формулирует свою знаменитую дилемму: если нет бога и бессмертия, то все позволено. Иными словами, если не будет воздаяния человеку за злые и добрые поступки, то ничто его не будет обуздывать, и начнется антропофагия. Но в конечном счете этот аргумент этики великого писателя также апеллирует к выгоде человека: какому верующему охота на бесчисленные триллионы лет подвергаться бог знает какому наказанию, уж лучше не грешить.

Чернышевский имел единое, цельное мировоззрение, и каждое явление рассматривал исходя из своих общих принципов. Поэтому подход его к проблеме общины аналогичен решению этической проблемы. Эгоизм? Да, но разумный. Община? Да, но защищающая и сохраняющая личность. В России, как он неоднократно подчеркивал, за века существования не выработалось институтов, которые могли бы дать хотя бы некоторую гарантию личной независимости и безопасности: ни цехов, ни корпораций, ни независимых сословий, в недрах которых могла бы состояться личность. «До половины XVII века вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своей

громадностью на целые армии, — все это постоянно дотла разоряло русские области. Они опустошались также страшною неурядицею управления... Только с XVII века внешние разорители были обузданы, и внутренняя администрация стала несколько улучшаться... Если теперь производятся вещи, тысячной доли которых не мог описать Щедрин, то рассказы наших отцов и дедов свидетельствуют, что в их времена господствовал произвол, невероятный даже для нас» (*Чернышевский*, Суеверия и правила логики, V, 690). Оставалась община, которую он и подверг пристальному рассмотрению и анализу.

«Общинное поземельное устройство в том виде, как существует теперь у нас, — так начинает он свою защиту общинного принципа в России и критику предубеждений против него, — существует у многих других народов, еще не вышедших из отношений, близких к патриархальному быту, и существовало у всех других, когда они были близки к этому быту... Вывод из этого ясен. Нечего нам считать общинное владение особенною прирожденною чертою нашей национальности, а надобно смотреть на него как на общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа». Далее следовал пассаж, сразу разводящий его концепцию со славянофильской и будущей народнической: «Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего, как вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития» (*Чернышевский*, Критика философских предубеждений против общинного владения, V, 362). Итак, гордиться нечем, но это — данность, и с ней необходимо реальному деятелю считаться.

Противники общины говорили, что в общине хотя все равны, но зато все одинаково бесправны. Чернышевский отвечал некоторыми весьма интересными примерами из разных областей жизни. Скажем, в патриархальном народе шейх носит такой же в принципе бурнус, как и последний бедуин его племени, в цивилизованном обществе люди будут ходить в пальто одного покроя. Либо: «Вне цивилизации, — пишет он, — человек безразлично говорит одинаковым местоимением со всеми другими людьми. Наш мужик называет одинаково “ты” и своего брата, и барина, и царя. Начиная полироваться, мы делаем различие между людьми на “ты” и на “вы”. При грубых формах цивилизации “вы” кажется для нас драгоценным подарком человеку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой почет. Но чем

образованнее становимся мы, тем шире делается круг “вы”, и, наконец, француз, если он только скинул сабо, почти никому уже не говорит “ты”. Но у него осталась еще возможность, если захочет, кольнуть глаза наглецу или врагу словом “ты”. Англичанин потерял и эту возможность: из живого языка разговорной речи у него совершенно исчезло слово “ты”» (*Чернышевский, Критика философских предубеждений против общинного владения*, V, 369–370). Иными словами, с развитием цивилизации развивается, прежде всего, начало личности, высокое «Вы», когда каждый из народа делается личностью. И тогда, по Чернышевскому, наступает то равенство, которое мы наблюдаем в общине, только на ином уровне. «Высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытному началу развития. Само собою разумеется, что при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале» (*Чернышевский, V, 368*).

Идея «разумного эгоизма» кажется многим гораздо ниже морали самопожертвования. Но не говоря уж о том, что именно Чернышевский явил собой пример жертвенности¹, напомним слова Кассирера о смысле этики разумного эгоизма (рассматривает ее он на примере Гельвеция): «Лишенный предрассудков человек увидит, что все, что восхваляют в качестве бескорыстия, великодушия и самопожертвования, только называется разными именами, но по сути дела не отличается от совершенно элементарных основных инстинктов человеческой природы, от “низких” вождлений и страстей. Не существует никакой нравственной величины, которая поднималась бы над этим уровнем; ибо какими бы высокими ни были стремления воли, какие бы сверхземные блага и сверхчувственные цели она себе ни воображала, — она все равно остается в плену эгоизма, честолюбия и тщеславия. Общество не в состоянии подавить эти элементарные инстинкты, оно может только сублимировать и прикрывать их»². *Идея разумного эгоизма и есть сублимация природных инстинктов.* Также и Фейербах сводит нравственность к действию разумно-эгоистического принципа: если счастье Я необходимо предполагает удовлетворение Ты, то стремление к счастью как самый мощный мотив способно противостоять даже самосохранению.

¹ Приведу мысль Бердяева: «Он говорил: я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей. Так говорил и писал “утилитарист”. Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва» (*Бердяев Н. Русская идея*. СПб.: Азбука, 2012. С. 142).

² *Кассирер Э. Философия Просвещения*. М.: РОССПЭН, 2004. С. 41–42.

Когда-то Макиавелли написал, что человек скорее забудет смерть родителей, чем потерю имущества. То есть человек думает прежде всего о том, что ему выгоднее. Столь ли утилитарен Чернышевский? Приведу большую цитату (аналогичных текстов можно привести много): «Очень давно было замечено, что различные люди в одном обществе называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже противоположные. Если, например, кто-нибудь отказывает свое наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным. Такая же разница между понятиями о добре в разных обществах и в разные эпохи в одном обществе. Из этого очень долго выводилось заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего постоянного, самостоятельного, подлежащего общему определению, а есть понятие чисто условное, зависящее от мнений, от произвола людей. Но точнее всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми, к тем людям, которые дают им такое название, мы находим, что всегда есть в этом отношении одна общая, непреходящая черта, от которой и происходит причисление поступка к разряду добрых. Почему посторонние люди, получившие наследство, называют добрым делом акт, давший им это имущество? Потому, что этот акт был для них полезен. Напротив, он был вреден родственникам завещателя, лишенным наследства, потому они называют его дурным делом. Война против неверных для распространения мусульманства казалась добрым делом для магометан, потому что приносила им пользу, давала им добычу; в особенности поддерживали между ними это мнение духовные сановники, власть которых расширялась от завоеваний. Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще» (*Чернышевский, Антропологический принцип в философии VII, 285*).

Говоря об идее разумного эгоизма, не забудем при этом, что Чернышевский был, если можно так сказать, пропитан евангельскими смыслами, и потому можно рядом поставить два понятия: **разумный эгоизм и золотое правило христианской этики**. И почему бы не обратиться к первоисточнику — к святой книге. Ведь идея эта родилась еще в Ветхом Завете. «*Люби ближнего твоего, как самого себя*» (Лев 19 : 18). И уже стало обязательным принципом в Новом Завете: «*Возлюби ближнего твоего, как самого себя*»

(Мф 22 : 39). Иными словами, чтобы возлюбить ближнего как самого себя, нужно для начала любить самого себя. Если ненавидишь себя, то и ближнего будешь ненавидеть. Вот вам и объяснение разумного эгоизма. Это вроде бы просто, но понимается с трудом. Напомню слова С.Н. Булгакова: «Вообще, духовными навыками, воспитанными Церковью, объясняется и не одна из лучших черт русской интеллигенции, которые она утрачивает по мере своего удаления от Церкви, например, некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм, вообще строгость личной жизни; такие, например, вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский (оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц), сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик, который, однако же, постепенно утрачивают их исторические дети и внуки»¹. Так называемые «исторические дети и внуки» этот нравственный облик и вправду утратили. Но можно ли их называть «детьми и внуками»? Скорее, это крошки Цахесы, присвоившие себе достоинства благородного человека. И Чернышевского «Молодая Россия», призывавшая к истреблению царского семейства и высшего сословия, уже не принимала. В их идее даже намек не было на идеи «разумного эгоизма». Ближнего они не любили.

Он же старался ближним не причинить никакой боли. В декабре умер трехлетний Виктор, сын Ольги Сократовны и И.Ф. Савицкого, которого принял как своего ребенка Николай Гаврилович. Виктора обожал его приемный дед, Гаврила Иванович. Виктор умер в Саратове на руках Г.И. Чернышевского 6 декабря 1860 г. «Моим любимейшим сыном был именно он», — писал Н.Г. Чернышевский в утешение своему отцу, даже не подозревавшему, что Виктор не был ему внуком (*Чернышевский*, XIV, 417). Любовь к ближнему была для него реализацией принципа свободы.

А Чернышевский был человек свободы. И, как ни странно для нынешнего читателя, эта жажда свободы сказалась в его отношении к принципу общинности. Чернышевский понимал общинность как специфику русской исторической жизни, отнюдь не видя (в отличие от народников) в этой специфике внеисторического преимущества и превосходства России, говорил о необходимости преобразования общины на основе достижений евро-

¹ *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // *Булгаков С.Н.* Два града. Исследование о природе общественных идеалов. М.: Астрель, 2008. С. 447.

пейской культуры, которая поможет русскому народу совершить прорыв из структуры первобытной на высшую ступень цивилизации. Чем импонировала ему община? В России не было таких структур, как на Западе (парламент, цеха, свободные города, независимая от государства церковь), в которых могла бы укрыться личность. И только в общине человек, казалось Чернышевскому, может найти поддержку.

Трезвому реализму Чернышевского Герцен и народники противопоставили идеализацию общины, которая, по их мнению, сама из себя должна была дать искомый гармонический общественный строй. И эта вера в уникальность общины, как типа русской культуры, вела к изоляционизму и пренебрежению к духовным завоеваниям Европы. Просвещение, просветительство уходило у народников на далекую периферию их концепций. Не случайно даже переводя Маркса, они оказались в оппозиции к идеям марксизма как отвлеченной, не нужной России книжности. Думая, что они учатся у народа, они ему же навязывали тот уровень отношений, от которых сам народ стремился избавиться, оказывались гораздо дальше от живых и реальных нужд народа, чем Чернышевский, требовавший трезвости и критичности, говоривший, что быть демократом, бороться за народ — вовсе не значит его идеализировать. Ибо любая идеализация, как это ни парадоксально, в конечном счете обернется насилием над народом, когда выяснится, что он вовсе не отвечает идеальным представлениям о нем. Вместо развития народной самодеятельности, точнее, самодеятельных индивидов в народе, народники надеялись, по теории «героев и толпы», с помощью «критически мыслящей личности», а не то и нечаевских пятерок, совершить переворот, подчиняя народ своему пониманию народных идеалов, иными словами, создать ту общинную — насильственно навязанную — структуру, которую Маркс называл «казарменным коммунизмом». Даже в период самого яростного ратоборства за общину, связывая с ней возможный скачок в царство цивилизации, исходя из того, что в России «общинное начало сроднилось с духом народным» (*Чернышевский, Сельское благоустройство*, V, 848), Чернышевский был решительно против навязывания народу своих представлений о нем. Полемизируя со славянофилом Кошелевым, требовавшим законодательного закрепления общины, он писал: «Трудно вперед сказать, чтобы общинное владение должно было всегда сохранить абсолютное преимущество пред личным. <...> Трудно на основании фактов современных положительно доказать верность или не-

верность предположения о будущем. Лучше подождать, и время разрешит задачу самым удовлетворительным образом. *Вопрос о личном и общинном владении землей непременно разрешится в смысле наиболее выгодном для большинства. Теория в разрешении этого вопроса будет бессильна...*» (Чернышевский, V, 847; курсив мой. — В.К.).

Говоря о задаче просвещения в России середины XIX века, мы должны отдавать себе отчет, что наука казалась многим прогрессивно мыслящим русским писателям той непосредственной сферой деятельности, которая напрямую связывает страну с развитием в ней цивилизации. «Творя тихо и медленно, — писал Чернышевский, — она (наука. — В.К.) творит все: создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям. Наука — чернорабочий, не играющий блистательной роли в обществе; но трудами этого чернорабочего живет все: и государство и семейство, и политика и промышленность» (Чернышевский, Лессинг, его время, его жизнь и деятельность, IV, 5–6). Оставался, однако, вопрос о принципах и пределах просвещения. Может ли быть просвещение без свободы, как, впрочем, и свобода без просвещения? Между тем у Чернышевского просветительский пафос учительства неразрывно связан с понятием свободы, не мыслится без нее. «Каждый предмет имеет свой собственный характер, которым отличается от других предметов, или, как говорится, имеет свою индивидуальность. Потому основной принцип каждой науки должен иметь в себе особенность, должен быть таков, чтобы принадлежал именно этой науке; например: нравственная философия говорит “поступай честно”, юриспруденция — “заботься об оправдании невинного и осуждении виновного”; это две мысли решительно различные. Но говорила ли бы что-нибудь свое, что-нибудь специальное политическая экономия, если бы сущность ее выражалась правилом “водворяй свободу”? Это одна из задач, равно принадлежащих всем нравственным и общественным наукам. Общий принцип всех их: служить благу человека. Свобода, подобно истине (или, лучше сказать, просвещению, потому что здесь имеется в виду субъективное развитие истины в индивидуумах), не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого частного блага; свобода и просвещение — это кислород и водород, которые не могут быть предметами особенных наук, потому что и сами по себе не со-

ставляют отдельных предметов, не могут существовать в природе независимым, самостоятельным образом, отделяются от других элементов только искусственным анализом, но без которых не существует в природе никакая жизнь. Какое благо ни возьмете вы, вы увидите, что условием его существования служит свобода; потому она составляет общий предмет всех нравственных и общественных наук, — водворение свободы служит общим принципом их» (*Чернышевский*, Капитал и труд, VII, 17).

Но не означает ли призыв к свободе призыв к революции? В массах русского малограмотного еще, но считавшего себя просвещенным общества, эти два понятия (революция и свобода) смешивались. И возникал фантом свободы и фантом ее героев.

Свобода и фантазм

Можно ли назвать Чернышевского мизантропом? Известно, что в своих статьях он бывал временами чрезвычайно резок (хотя бы в «Полемических красотах»). Но постоянная ирония не только над противниками, но и над самим собой показательна. Таким самоироником среди русских мыслителей был разве что Владимир Соловьёв. Один из каторжных собеседников НГЧ вспоминал, что он любил говорить шутливо и о пустяковых предметах, и о важных. Кажется, о его шутливости можно сказать те слова, которые он говорил о шутливости Лессинга: «При живости характера он не мог иногда удерживаться от гнева, и первый взрыв негодования был страшен холодностью и равнодушием, с каким произносил два-три убийственно-саркастические слова. Но порыв гнева проходил быстро, и Лессинг через минуту становился снова добродушнейшим из людей, осуждая себя за то, что так серьезно рассердился на человеческие глупости, заслуживающие только сострадания. Шутливость была неизменною чертою всех его разговоров. У него, как и у всех добродушных мизантропов, она постоянно прикрывала глубокое сострадание к бедствиям человеческой жизни и глубокую скорбь сердца» (*Чернышевский*, IV, 220). Книга о великом немце, как я уже упоминал, была вызовом литераторам-дворянам. Сын священника стал корнем великой германской литературы.

Его всерьез обвиняли в том, что они с Добролюбовым готовят переворот, а он только отшучивался, поскольку нелепость подобных предположений была ему очевидной.

И Чернышевского, и Добролюбова как сторонников свободы считали крайними русскими революционерами. Уже в советское



Готхольд Эфраим Лессинг

время им приписывали и создание «Народной воли», и издания «Великоросс», и создание тайных типографий, и организацию тайных обществ по всей России. В просвещенных кругах всегда есть те, кто торопится и хочет быть архирадикалами (такие персонажи почему-то хорошо получались у Тургенева — скажем, Кукшина). Впрочем, Коля Красоткин из «Братьев Карамазовых», если бы не влияние Алеши, тоже шагнул бы на эту дорогу. Как же тексты Чернышевского и Добролюбова могли быть прочитаны революционно? Как тек-

сты реформаторов — да, но революционеров?.. Однако у русской молодежи в те годы не было привычки думать. Об этом говорит Алеша Карамазов, обращаясь к Коле: «Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: “Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную”. Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника».

Но фантомность времени была в том, что именно их-то и считали в русском обществе революционерами пострашнее Герцена. С обычной своей иронией Чернышевский на каторге рассказал собеседнику комическую историю: «Идет однажды Добролюбов по улице, встречает полковника (Николай Гаврилович назвал фамилию, но я ее не помню; кажется, Пузыревский), с которым был немного знаком. Полковник говорит ему: “Мне надо бы найти репетитора для мальчика — арифметику ему преподавать; не имеете ли кого-нибудь в виду?” — “О! многих имею; хотя бы, например...”. Полковник перебивает Добролюбова: “Постойте, постойте! я не упомянул: нужно такого, чтобы преподавал в революционном духе”. Добролюбов руками развел: “Арифметику в революционном духе?.. Нет, та-

кого в виду не имею”. В конце концов полковник скрепя сердце примирился с беспартийным преподаванием арифметики»¹. Заметим при этом, что Добролюбов достаточно резко выступал против революционных движений, в частности, против восстания сипаев в Индии. Интересно, что когда вышел роман «Накануне» русская интеллигенция восприняла его как предвестие скорой революции. Об этом, скажем, говорил А.Н. Островский. И только скептически настроенный Добролюбов увидел, что ничего относящегося к преобразованиям в России здесь нет и в помине. Отсюда и название его статьи: «Когда же придет настоящий день?» Пока есть лишь марево, обманка, намек, не более того. Не случайно так обиделся на эту статью Тургенев, втайне считавший, что он делает революционное дело.

Для Чернышевского, как я уже писал, Добролюбов был не просто духовный сын, а тем, кем он сам хотел бы быть. Может, более резким, более язвительным, более скептическим, чем старший товарищ. Но энтузиасту скептицизм полезен как своего рода противоядие. И он получал его от Добролюбова. Можно сказать, он был влюблен в его духовную силу, всячески о нем заботился. По словам хорошо знавшей их отношения А.Я. Паневой, Чернышевский и Добролюбов никогда не говорили друг другу, подобно многим литераторам, о своей взаимной привязанности, но нельзя было не видеть, насколько они искренно любят и уважают один другого.

Добролюбов, что характерно было для разночинцев (Белинский, Чехов), был очень болен, слабые легкие и больной желудок. С помощью Некрасова Чернышевский отправил его на деньги «Современника» в Европу. Но вернулся оттуда Добролюбов еще более больным, чем уезжал. Случай не первый, так умер Николай Станкевич. Климат европейский и русский — большая разница. В свою очередь Добролюбов (не знаю, как иначе объяснить) хотел породниться со старшим товарищем. У Ольги Сократовны была сестра Анна, свояченица НГЧ, которая, натурально, приехала в столицу, и вдруг подворачивается молодой человек, которого гениальный зять считает гением. Девушка была достаточно безбашенной и закутила с Добролюбовым роман. Многие из нас помнят с школьных времен строчки Некрасова:

¹ *Стахович С.Г.* Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 173.

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

На самом деле он был вполне пушкинского толка в отношениях с женским полом. Надо сказать, что Добролюбов обожал разных женщин, и, в отличие от старшего товарища, бесконечно менял своих пассий. Может, предчувствие близкой смерти и желание как можно больше взять от жизни. Среди прочих его эротических привязанностей была, видимо, и Авдотья Панаева, невенчанная жена Некрасова, что она не очень и скрывала. Напомню, что Добролюбов жил в доме Панаевых и Некрасова, где и умер. Не случайно посмертное издание статей Добролюбова Чернышевский посвятил ей. Панаева была этим посвящением не очень довольна, сказав Чернышевскому, что и без того на их счет ходит много сплетен. Думаю, что в какой-то мере, как и у многих молодых людей, любовные приключения Добролюбова были в своем роде осуществлением мужской свободы. В романе «Пролог» Чернышевский вывел Добролюбова под именем Левицкого (дав ему имя друга семинаристской юности). У него остались на руках дневники Добролюбова, и он вполне использовал их, чтобы показать юного мыслителя как страстного и горячего человека, немало отдававшего времени любовной лихорадке. О романе Добролюбова и его свояченицы он рассказывал так: «Вводит его ко мне Ольга Сократовна и говорит: “Держи его тут, а я пойду бранить Анюту (ее вторая сестра; теперь давно умерла, бедняжка). Они явились ко мне объявить, чтоб я повенчала их. Я тебе говорила, они болтают глупости. Я и хвалила их тебе: пусть он сидит у нас! Но какая же невеста, жена ему Анюта? Она милая, добрая девушка; но она пустенькая девушка. Соглашусь я испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры! Он и мне дороже сестры, хоть я дура необразованная. Я необразованная, сама себя стыжусь и ненавижу за это. Но все-таки я понимаю, моя сестра не пара Николаю Александровичу. Когда ты можешь ехать в Саратов? Ты отвезешь туда Анюту”. Как я кончил работу для той книжки журнала, я отвез Анюту домой, к отцу и матери ее. В промежутки разлучаемые все плакали, сидя рядом и по временам обнимаясь; Добролюбов плакал как девушка. Строгость обличительных речей, которые долго произносил Добролюбов передо мною о жестокости Ольги Сократовны (но ее боялся: услышит, беда! — и потому о ней было лишь урывками) —

и о жестокости моей, была трагична. Кончилось это — и опять я ровно ничего не знал о том, что делает, что чувствует Добролюбов; знал только: он пишет. Но что пишет он, я не знал. Статей его я никогда не читал. Я всегда только говорил Некрасову: “Все, что он написал, правда. И толковать об этом нечего”¹.

Во второй части «Пролога», который называется «Дневник Левицкого» и который основан на подлинных дневниках Добролюбова, есть замечательное рассуждение, говорящее о полном скептицизме молодого мыслителя не только к революционному переустройству России, но даже к возможности реформ в ней: «Вечная история: выходит работник, набирает помощников. Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса, готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриговать, — разинут рты, слушают — и пошла толпа за ним. Он ведет их в болото, — они тонут в грязи, восклицая: “Сердца наши чисты!” — Сердца их чисты; жаль только, что они со своими чистыми сердцами потонут в болоте...

А у работника осталось мало товарищей, — труд не под силу немногим, они надрываются, стараясь заменить недостаток рук чрезмерными усилиями, — надорвутся и пропадут...

И не того жаль, что пропадут они, — а того, что дело останется не сделано...

И хоть бы только осталось не сделано. Нет, хуже того: стало компрометировано. Выходят мерзавцы и кричат: “Вот, они хотели, но не могли; значит, нельзя”. — “Нельзя. — Повторяет нация. — Правда; очевидно: нельзя. Только пропадешь. Лучше же будем смирны, останемся жить по-прежнему, слушаясь людей, которые дают нам такой благоразумный совет”. — И забирают власть люди хуже прежних».

Очевидно, этот скептицизм был своего рода поправкой к энтузиазму Чернышевского, хоть и весьма трезвого и уравновешенного человека, но верившего в прогресс, а главное, в то, что возможны «новые люди», которые нечто сумеют сделать прежде, чем их прогонят с исторической сцены.

Тем не менее они оба абсолютно не верили в спасительную силу топора, который может только подрубить те небольшие постройки цивилизованного общества, которые появились в России. Но им доставляло мальчишеское удовольствие поддразнивать друзей Герцена, звавшего к топору, которые изображали из себя крайних радикалов, несмотря на страх перед топором. На

¹ Чернышевский Н.Г. Письмо А.Н. Пыпину // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 147–148.

каторге он не без юмора рассказывал о подобных своих мальчишеских выходках: «Однажды он упомянул о бывших у Кавелина многолюдных собраниях интеллигентной публики более или менее либерального образа мыслей и прибавил:

– Я тоже бывал не один раз. Я да еще несколько человек – мы там любили напоминать о топорах; нечего греха таить: частенько-таки напоминали... Смешно, право, как подумаешь...»¹ Тот же Стахевич вспоминал, его ироническое отношение к Робеспьеру, хотя сам НГЧ понимал, что робеспьеровские идеи приписывают и ему. Но фраза была так построена, что только пройдя искус романтических и соловьевских острот, можно разглядеть самоиронию и издевку над французским тираном: «Я всегда был и теперь остаюсь высокого мнения о Робеспьере (*чихикает и бросает вскользь*), нахожу в нем большое сходство с собой. (*Продолжает серьезно.*) Но было у меня две или три недели таких, когда я Робеспьера возненавидел. Прочел я, видите ли, Луи Блана историю французской революции; восхваляет Робеспьера превыше всякой меры. Робеспьер, к примеру скажу, выпил стакан воды: смотрите, как он выпивает этот стакан! великий человек! Робеспьер чихнул: обратите внимание, как он чихнул! вот что значит – истинно великий человек! Ну и все вот в таком роде. Этот том я дочитывал в вагоне бельгийской железной дороги и подарил его кондуктору»².

Но, как не раз говорили друзья Чернышевского, что чаще всего, когда он шутил, люди, лишённые способности к ироническому взгляду на мир, тупо принимали его слова всерьез. А у него была хорошая школа немецких романтиков, сделавших иронию одним из методов познания мира. Вот из этих его шуток и вырастал фантом страшного революционера Чернышевского. В нем видели и Робеспьера, и Марата, и Пугачёва! Ибо как правило люди путали желание свободы с жадной революцией, жадной бунта. Но Чернышевский прекрасно понимал прямое противоречие между свободой и бунтом, между свободой и пугачёвско-разинской вольницей, между свободой и иновоплощением разбойничьей вольницы – произволом самодержавия. Он понимал, что свобода одного человека кончается там, где начинается свобода Другого. Бунт угрожает свободе, о чем он не раз писал, и его он ненавидел больше всего. Иными словами, он и

¹ Стахевич С.Г. Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 167.

² Стахевич С.Г. Среди политических преступников. С. 171 (курсив в тексте мой. – В.К.).

здесь отверг основной российский архетип, основной принцип, на котором строилось народная вольница и самодержавное правление, не считавшееся с натурой, с внутренним «я» человека, не признававшее за человеком свободы выбора самого себя.

Этот принцип он называл *произволом*, на котором базируется как верховная власть, так и народное стремление к *воле*, не считающееся со свободой другого человека. Разумеется, в конечном счете все решала в России самая высшая власть, даже в мелочах проявляя свое господство, не давая развернуться самодеятельности подданных. Но лишенный прав и законов народ приучался на примерах верховной власти всего добиваться силой волевого решения, силой прихоти, произвола, даже в тех случаях, когда он выступал против этой верховной власти. Вот, быть может, одно из важнейших соображений мыслителя (в статье о Чаадаеве 1860 г.): «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно» (*Чернышевский*, VII, 616).

Но там, где господствует Батый, всегда есть человек, готовый продать хану ближнего ради собственной шкуры. В 1860 г. бывший петрашевец, поэт А.Н. Плещеев, вводит в круг «Современника» поэта и переводчика Всеволода Костомарова. Время бежало вперед, все ждали перемен и никто особенно не задумался о том, что за человек этот Костомаров. Уже после костмаровских доносов Шелгунов попытался описать его облик: «Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий

бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова с оттенком какой-то убитости казалась мне чем-то римским. Сухой и нервный, всегда мрачный и не особенно речистый, он мне напоминал прежних заговорщиков времен Цезаря»¹. Но не до физиогномики тогда было.

Миф крестьянской реформы

Тут как раз был принят Манифест об освобождении крестьян, о чем мечтало не одно поколение русских свобододолющев, но поразительным образом русские реформаторы — Чернышевский и Добролюбов — отнеслись к этому событию скептически. Для Чернышевского, помимо важных соображений о чисто внешнем характере реформы, было принципиальное соображение, которое заставляло его даже к реформам Петра Великого подойти с большим знаком вопроса. Чернышевский писал: «Честная и неутомимая деятельность отдельного человека может, до некоторой степени, давать хорошее направление самому дурному механизму; но как скоро отнимается от этого механизма твердая рука, его двигавшая, он перестает действовать или действует дурно. Прочно только то благо, которое не зависит от случайно являющихся личностей, а основывается на самостоятельных учреждениях и на самостоятельной деятельности нации» (*Чернышевский*, IV. С. 37–38). Дворянские либералы ликовали, но наталкивались на непонимаемое ими раздражение разночинных мыслителей. Приведу рассказ выпускника Академии Генерального штаба В.А. Обручева, по свидетельству современников, «любимца Чернышевского», о беседе накануне отмены крепостного права: «О чем шла беседа у брата — не помню; но кажется, что туда же явился К.Д. Кавелин, который влетел с объятьями и поздравлениями по поводу какого-то решительного шага в крестьянском вопросе. Между прочим, он рассказал, как недавно читал лекцию в университете, спокойно, свободно, и как его вдруг всего передернуло, когда он увидел устремленные на него глаза Добролюбова — глаза василиска. Глаза были опасные, без сомнения, но

¹ *Шелгунов Н.В.* Первоначальные наброски // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 182.

лишь в переносном смысле, так как более кроткого взгляда, чем у Добролюбова, ни у кого не могло быть»¹. Крестьянская реформа была явно поставлена реформаторами под сомнение. Хотя Кавелин даже пострадал отчасти как борец за освобождение крепостных. По разлитому в воздухе эпохи настроению было понятно, что самодержец этот вопрос собирается решать. Но говорить об отмене крепостного права в печати было, однако, еще запрещено. Кавелин пишет своего рода трактат – широко разошедшуюся по рукам «Записку об освобождении крестьян». Часть этой записки – без имени автора – печатает в «Голосах из России» Герцен, в «Современнике» (1858) другую часть, тоже безымянно, печатает Чернышевский. Имя автора «Записки» становится тем не менее известным, и Кавелина отстраняют от преподавания наследнику. Хотя Кавелин более чем лоялен, предлагая даже, чтобы не только за землю, но и за личную свободу крестьянин тоже платил выкуп, и немалый.

Когда-то английский путешественник XVII века Джильс Флетчер написал, что русский простолюдин пьет водку, поскольку некуда ему девать свои деньги, ибо он раб. Надо сказать, Чернышевский был зоркий и трезвый наблюдатель российских событий и видел, что крестьяне ждали реформу, ждали свободу и землю, без бунта, желая стать чем-то вроде вольных хлебопашцев, фермеров, а для этого надо отказаться от питья водки, чтобы сохранить деньги на хозяйство. И они стали разбивать питейные дома, чтобы бежать от соблазна. Как пишут историки, в 1858–1859 гг. антиалкогольный бунт охватил 32 губернии (от Ковенской до Саратовской), более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации. Люди крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки. Люди требовали «Закрывать кабаки и не соблазнять их». Царское правительство жесточайшим образом расправилось с восставшими. В тюрьмы по «питейным делам» попало 11 тысяч крестьян, около 800 были зверски биты шпицрутенами и сосланы в Сибирь...

Разумеется, «Современник» поддержал попытку крестьян бросить пьянство, ибо это напомнило Чернышевскому ход североамериканцев к освобождению от английской короны: «Но, боже мой! Какая сила самоотвержения нужна была этим беднякам, чтобы отказаться от чарки водки, этой единственной, губительной, разорительной, но единственной отрады в их несчастной жизни! Вот уже почти целый век образованный мир на всех языках превозносит силу самоотвержения североамериканцев,

¹ *Обручев В.А.* Из пережитого // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 257.

отказавшихся от употребления чаю. Но что за важность отказаться от чаю зажиточному человеку? Разве не заменит он двадцатью другими приятностями приятность пить чай? И разве чай был ему забвением, единственным забвением от невыносимо тяжелой жизни, исполненной обид и лишений? Но бедняку-мужику отказаться от чарки водки! Это — геройство, другого имени нет для такой решимости!» (*Чернышевский*, V, 575). Хотя при этом Чернышевский прекрасно понимал, что глупо протестовать против употребления водки простым народом, что умеренное употребление даже полезно в наших климатах. Но одно дело, когда водку пьет зажиточный мужик, другое, когда бедняк пропивает последнее. И вот бедняк хочет стать зажиточным мужиком. Чернышевский не мог это не поддержать.

Вообще-то даже Некрасов, тесно общавшийся с Чернышевским и Добролюбовым, строго говоря, отдавший им идейную часть журнала, до самой реформы не мог понять их скепсиса. Их зоркость была слишком неприемлема для людей, хотевших, чтобы реформа произошла как бы без реальной реформы. Вот воспоминание НГЧ.

«Я имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян. Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах я имел возможность высказывать мое мнение полнее, нежели в печати. Случалось ли мне высказывать его Некрасову? Без сомнения, случалось нередко.

Итак, Некрасову должно было быть задолго до печатного объявления о решении крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготовлявшемся решении, основные черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела?

Мне следовало полагать: да, мое мнение об этом деле известно Некрасову.

Прекрасно. И вот факт.

В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародо-

вано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: “Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!” — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: “А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это”. — “Нет, этого я не ожидал”, отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения.

Итак, ни мои статьи, ни мои разговоры не только не имели влияния на его мнение о ходе крестьянского дела, но и не помнились ему. Я был тогда несколько удивлен, увидев, что решение, полученное крестьянским делом, произвело на него впечатление неожиданности. Но я дивился совершенно напрасно. То, что казалось мне важно в готовившемся решении дела, не интересовало его: это были технические подробности, подвергавшиеся обработке одна за другою; каждая из них, как особый предмет молвы могла представляться не очень важною частью целого; а он думал лишь о целом и не обращал внимания на мои мысли об этих специальных, по-видимому мелочных подробностях; они исчезали для него в общем представлении “освобождения крестьян с землею”. Мои статьи, мои разговоры скользили мимо его мыслей, и когда оказалось наконец, что такое сложилось из этих технических подробностей, результат вышел для него неожиданностью».

И только в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» он формулирует то, о чем давно толковали его молодые друзья:

Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилась:
Одним концом по барину,
Другим — по мужику!..

Проиграли все, тем самым подготовив почву для грядущей страшной революции, которую Чернышевский всеми силами хотел избежать. Иными словами свободу победил произвол, ибо свобода Другого, как мужика, так и барина, не была учтена. Манифест был опубликован 5 марта 1861 г., реакция «Колокола» была позитивна, он обратился к императору «Мы приветствуем его именем освободителя» (*Герцен*, XV, 52). Мартовская книжка «Современника» демонстративно о Манифесте умолчала. Дело в том, что «временнообязанные» крестьяне хоть и получили личную

свободу, их нельзя стало продавать, но по-прежнему не имели собственности (земли) и свободы передвижения, должны были отработать свою независимость в течение нескольких лет. Ругать было нельзя, а хвалить не за что.

Да и понятно стало, что совершив сей акт освобождения, власть напугалась, что интеллигенция, да и крестьянство, воспримет акт освобождения слишком по-своему. И действительно в апреле произошло восстание крестьян в селе Бездна, с требованием «настоящего манифеста», восстание подавлено, его руководитель Антон Петров (намек на нового Пугачёва) казнен. А в сентябре закрыт Петербургский университет, начались волнения среди студентов и их аресты.

Эта свобода и впрямь была своего рода фантазмом.

Пolemические красоты (от Гераклита до Достоевского)

1861 год не только год Манифеста об освобождении крестьян, но год, быть может, наиболее значительных статей Чернышевского и год смертей близких ему людей. Статьи, которые произвели впечатление на современников и важные для понимания его позиции, — это «Апология сумасшедшего» (комментарии к тексту Чаадаева), «Русский реформатор» (о графе Сперанском, своего рода семейной легенде), «О причинах падения Рима (подражание Монтескьё)», его важнейшая историософская работа и спор с Герценом о возможной гибели Западной Европы, «Пolemические красоты», самый резкий его текст о современном состоянии интеллектуальной жизни в России.

Эта статья была в каком-то смысле вынужденной. Его и других авторов «Современника» их противники обвиняли в шарлатанстве и невежестве. По сути дела это было объявление войны своим противникам. Ведь еще Гераклит (хорошо ему известный) говорил, что «война (Полемос) — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными»¹. Чернышевский чувствовал себя свободным и отнюдь не шарлатаном. А «Русский вестник» именно так называл сотрудников (и Добролюбова, и Пыпина, и Чернышевского): «О, господа, не пятняйте себя понапрасну! Не приносите ненужных жертв! Не оправдывайте себя подвигом: никакого подвига не имеется. Вы и себя обольщаете, и обманываете других. Вы сами не знаете, вы сами не чувствуете, какая вы вредная

¹ Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М.: Наука, 1989. С. 202.

задержка посреди этого общества с неустановившимися силами, с неокрепшею жизнью. Тем хуже, если вы люди способные. Со временем, может быть, вы откажетесь от шарлатанства»¹. Чернышевский в ответ ударил наотмашь. Под его удар попали и критик Дудышкин, и богослов Юркевич, и поэт Вяземский, и журналист и философ Катков, и издатель Краевский, и критик Громека, и даже великий филолог Буслаев (выступивший в «Отечественных записках» против «Современника»).

Чернышевский спорил и в деталях выдал обобщение, обидевшее всех, поскольку явно выстроил духовную иерархию, в которой поместил себя достаточно высоко: «Изволите ли вы знать, что называли невеждою — не то, что меня, а, например, Гегеля? Известно ли вам, за что его называли невеждой? За то, что он имел известный образ мыслей, не нравящийся некоторым ученым. <...> Известно ли вам, что называли невеждою Канта? <...> Люди рутины упрекают в невежестве всякого нововводителя за то, что он — нововводитель» (*Чернышевский*, VII, 770). И далее: «Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогресс в науке. <...> Это как вам угодно. Быть может, по-вашему старое лучше нового. Но допустите же возможность думать иначе» (там же, 771).

Этой возможности допустить никто не хотел. В статье критик просто наотмашь бил по литературным противникам, с таким презрением, что раздражение вызвала даже не столько его позиция, сколько очевидно сквозившее в его словах чувство превосходства, в каком-то смысле чувство Учителя, попавшего в класс к детям, которые не хотят учиться элементарным вещам. Очень зло, почти с прямой клеветой ответил Катков, намекнув довольно откровенно, что Чернышевский из тех, кто разжигает в России пожар бунта: «Вы не бьете, не жжете: еще бы! вам бы руки связали. Никто с вами спорить не станет, что вы явление маленькое и эфемерное, возникшее благодаря только некоторым смутным обстоятельствам нашего образования. Но законы природы одни и те же в большом и малом. *Вы не колотите, не жжете; но в пределах вашей возможности вы делаете то, что вполне соответствует этим актам; в вас те же инстинкты, которые при других размерах, на другом поприще, если бы вы стояли на другой стороне, выражались бы во всякого рода насильственных действиях. Что можете, то вы и делаете*» (курсив мой. — В.К.)². Когда начались в Петербурге пожары, когда в поджогах начали

¹ Катков М.Н. Старые боги и новые боги // Русский вестник. 1861. Т. 31. Февраль. Отдел «Литературное обозрение и заметки». С. 904.

² Катков М.Н. Видны на entente cordiale с «Современником» // Русский вестник. 1861. Т. 34. Июль. Отдел «Литературное обозрение и заметки». С. 79.

обвинять студентов и их «коновода» Чернышевского, свои пять копеек в это обвинение положил и Катков в этой статье. Надо сказать, что Катков был человек незаурядный, одно время соратник Белинского, ученик Шеллинга, создавший, может, лучший русский литературный журнал «Русский вестник», во всяком случае переживший «Современник». Но он был человек политической страсти, принявший некогда решение, что единственное спасение России — самодержавие. С тех пор защищал государство и был беспощаден к тем, кто ему казался врагом русского государства. В случае Чернышевского он был ослеплен страхом за монархию. Вл. Соловьёву принадлежит, быть может, самая объективная оценка его деятельности: «Он был увлечен политической страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда»¹. Но и не будучи дурным, он оказался орудием в руках фантома общественного мнения.

Аристократ Петр Вяземский, бывший друг Пушкина, тщетно пытавшийся завязать после смерти поэта роман с Натальей Николаевной, опубликовал в «Русском вестнике» поэтический ответ на статью Чернышевского. Причем стилистика ответа напоминает стих Тургенева о Достоевском «Витязь горестной фигуры». А также текст Вяземского явился парафразой памфлетного сочинения Дружинина и Григоровича «Школа гостеприимства», где Чернышевский был выведен под именем злобного и бездарного критика Чернушкина. К этой говорящей фамилии дворяне, раздраженные тем, что семинарист занял ведущее место в журнале, добавили и прозвище «пахнувший клопами» (*как иначе мог пахнуть семинарист?*).

Под злобой записной к отличиям и к роду
Желчь хворой зависти скрывается подчас —
И то, что выдают за гордую свободу,
Есть часто ненависть к тому, что выше нас².

В замечательной статье В.Л. Сердюченко очень изящно и жестко объясняется, что причиной раздражения аристократических литераторов было интеллектуальное превосходство НГЧ: «Чернышевский знал себе цену. Он выбился в большую литературу и занял место в ее руководящем звене ценой неслыханной работоспособности, помноженной на универсальную образованность, перед которой пасовали лучшие умы дворянской интеллигенции. Уже по одному

¹ Соловьёв В.С. Несколько личных воспоминаний о Каткове // Соловьёв В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 634.

² Вяземский П.А. Заметки // Русский вестник, август 1861.

этому он не мог питать особой симпатии к тем, кто оказывался на литературном олимпе с первой попытки, какую бы талантливой эта попытка ни была»¹. Не было журнала, не было критика который не ударил бы в ответ на «Полемиические красоты» заносчивого семинариста. За исключением Достоевского!

Вообще эта близость удивительна. Объяснить ли их схожей судьбой? Но схожесть проявится дальше, после ареста и каторги Чернышевского. Пока же я бы объяснил это противостоянием разночинцев (ведь Достоевский по сути разночинец по своему финансовому и социальному положению) дворянам, да и уровень друг друга они ощущали. Вот что Достоевский выговорил: «А знаете ли, что мы вам скажем в заключение? Ведь это вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими “полемиическими красотами”, вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. Такая обида! Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним. И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде “полемиических красот”... Господи! Подымается скрежет зубовой, раздается элегический вой... “Отечественные записки” после этих красот поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. Один шутник даже сказал, что в той книжке “Отечественных записок” только в “Десяти итальянках” и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. К чему бы, кажется, так беспокоиться? Угадать нельзя. Странная, действительно странная судьба этого странного писателя!...»² (Время, 1861, № 10).

Судьба и впрямь оказалась странной. Странной и трагической – в стилистике судьбы самого Достоевского.

¹ Сердюченко В.Л. Читая Набокова. Чернышевский // Нева. 2003. № 8.

² Достоевский Ф.М. По поводу элегической заметки «Русского вестника» // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19. Л.: Наука, 1979. С. 177.

Глава 9

Фантом как явление общественного сознания, или Произвол vs право

Смерть Добролюбова и немного после

Видимо, возраст много значил в глазах молодежи. И О.С., и Добролюбов были молодым людям ближе, чем вечно погруженный в свои рукописи Чернышевский. Вот студенческая реакция на смерть Добролюбова: «Пиотровский был молодой человек, чрезвычайно нервный и впечатлительный. <...> Смерть Добролюбова ввергла его в неутешное горе. Линева, тоже очень привязавшийся к нему, в виде утешения напомнил ему, что “Современник” богат талантами: один Чернышевский чего стоит! Но это не утешило опечаленного юноши.

– Чернышевский не заменит Добролюбова, – говорил он, – особенно теперь. Он слишком осторожен, нам же смелость нужна больше всего. Чернышевский ни разу не пришел на наши сходки, хоть и очень ими интересовался и все время про них спрашивал. Добролюбов же, будь он здоров, не только пришел бы, но и повлек бы нас за собой бог весть куда»¹.

Наступало при этом для Чернышевского тяжелое время. В сентябре 1861 г. арестован близкий ему человек, поэт и публицист М.И. Михайлов, в октябре этого года умирает отец, а в ноябре – Добролюбов, духовно самые дорогие ему люди, особенно отец и Добролюбов.

А ведь поначалу были надежды. Отца консультировал и выписывал ему лекарства (по просьбе НГЧ) знаменитый С.П. Боткин, отцу стало лучше, но по косвенным признакам Боткин сказал, что болезнь прогрессирует. Чернышевский уехал в Саратов, но журнальные дела вынудили его вернуться в

¹ *Николадзе Н.Я.* Воспоминания о шестидесятых годах // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 302.

Петербург, и отец умер без него. Как вспоминают современники, он «очень плакал», но все же уехал. С саратовской поездки за ним устанавливается слежка и губернатор получает указание не выдавать ему заграничного паспорта. С Добролюбовым он простился, но это было одно из тяжелейших его переживаний. Дело в том, что с большим трудом друзьям удалось, собравши деньги, уговорить Добролюбова поехать лечиться за границу. Вернулся оттуда он более больным, чем уезжал. Строго говоря, вернулся умирать. Друзья нашли ему хорошую квартиру, но один он уже не мог жить и вернулся в квартиру Некрасова, где была нежная женская забота А.Я. Панаевой, которой он говорил, что она заботится о нем, как мать. Переживал он и свое расставание с Чернышевским. Слова Панаевой:

«И он закрыл глаза, но скоро опять открыл их и спросил:

– Чернышевский здесь?

– Позвать его? – спросила я.

Добролюбов не вдруг ответил:

– Нет! Ему и мне будет тяжело!.. Желая от души ему всего хорошего как в его семейной жизни, так и в его литературной деятельности. Я попрошу более никого не впускать ко мне. И вам бы не следовало быть около меня. Я устал, засну!

С этого вечера Добролюбов сделался молчалив. <...> Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания»¹.

Последняя его статья «Забитые люди» была посвящена роману Достоевского «Униженные и оскорбленные», о котором он написал, что «роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года». Близость к Достоевскому у Чернышевского и Добролюбова очевидна. Проявив широту и разум, на смерть своего противника откликнулся Герцен в «Колоколе»: «Опять нам приходится занести в нашу хронику раннюю смерть – энергический писатель, неумолимый диалект и один из замечательнейших публицистов русских, *Добролюбов*, похоронен на днях на Волковом кладбище, возле своего великого предшественника *Белинского*. Говорят, что Добролюбову было только 25 лет» (*Герцен*, XV, 213). На похоронах было народу немного, как и предсказал Добролюбов в своих стихах. Похоронили его на Волковом кладбище рядом с Белинским. Чернышевский с неожиданной для него патетикой и несурзностью произнес, что

¹ *Панаева А.Я.* Воспоминания // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 292–293.

рядом есть место для третьей могилы, но нет достойного занять это место. Впрочем, никто и не торопился. Похоже, что Чернышевский находился в сильном умственном и нервном потрясении. И закончил свою речь словами: «Ему было только двадцать пять лет. Но уже четыре года он стоял во главе русской литературы. <...> Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби»¹. Говорил и Некрасов, начался сбор денег на памятник Добролюбову. Присутствовали и агенты Третьего отделения, пославшие подробный отчет по начальству, где отметили главное: «Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его. Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собою заметили: “Какие сильные слова; чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют”»².

Ни завтра, ни послезавтра Чернышевского не арестовали, но напряжение общественное росло и вокруг него, если говорить красивым слогом, посверкивали молнии, во всяком случае министр внутренних дел издал уже вполне официальный циркуляр (а не просто указание для саратовского губернатора) о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта. Они судили по Герцену, по первым персонажам русской эмиграции, что всякий притесняемый рвется за границу, чтобы бороться с властью. Вообразить себе реформатора, да еще без особых чинов, который не желает эмигрировать из страны ни при каких обстоятельствах, русское МВД было не в состоянии. Начиная с 15 ноября 1861 г. за Чернышевским было установлено регулярное агентурное наблюдение, почти каждый день его жизни отныне сопровождался донесениями агентов, и уже в первом было сказано, что за «Чернышевским учрежден самый бдительный надзор, для облегчения которого признано необходимым подкупить тамошнего швейцара, отставного унтер-офицера Волынского полка, который уже шесть лет занимает эту должность», поскольку «Чернышевский бывает почти постоянно дома и спит не более 2–3 часов в сутки»³. Итак, ясно, что человек работает почти круглые сутки.

¹ *Чернышевский Н.Г.* Н.А. Добролюбов // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 312.

² Донесение агента III отделения о похоронах Добролюбова // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 322.

³ Чернышевский в донесениях агентов III отделения // Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1968. С. 72.

Надо хотя бы мимоходом заметить, что помимо статей в журнал в этот момент он переводил с немецкого восьмитомную историю Фридриха Кристофа Шлоссера (*История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской Империи. С особенно подробным изложением хода литературы*. В 8 т. Т. 1–8. СПб.: В Тип. Главного Штаба Е.И.В. По Военно-учебным заведениям, 1858–1860). При этом он пишет предисловие к этому изданию. Казалось бы, здесь и развернуться в похвалах якобинцам, но все же они, эти герои тогдашних массмедиа, ему чужды: «Он знает людей, как их знали Монтэнь и Маккиавелли. Но с тем вместе он верит в правду, он любит человека. Потому речь его, суровая и печальная, разрушая ваши иллюзии, укрепляет ваши убеждения во всем истинно добром и высоком. Сроднившись с ним, вы, может быть, перестанете видеть в истории тот непрерывный, ровный прогресс в каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам прежде; быть может, вы потеряете веру почти во всех тех людей, которыми ослеплялись прежде; но зато уже никакое разочарование опыта не сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится в вас после его строгого анализа; и если вы перестанете представлять героями добра и правды почти всех тех, кто прежде являлся вам в ореоле, сотканном из риторских фраз или идеальных увлечений, зато укрепится ваше доверие к будущим судьбам человека, потому что вместо героев истинно полезными двигателями истории вы признаете людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава богу, всегда и везде будет довольно» (*Чернышевский*, соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1986. С. 569). Люди простые и честные – это его «новые люди», люди науки и труда.

Откуда же бралась молодежь, которая создавала иллюзию, что в доме Чернышевского происходит нечто недозволенное? Тут я позволю себе соображение, подтверждаемое фразами и намеками мемуаров. Имя Чернышевского, конечно, привлекало молодежь, к нему и ходили студенты, но хозяин дома общался с ними мало, ему было некогда. И они оставались на женской половине дома. Обожавшая мужское общество Ольга Сократовна ликовала и веселилась от души, а он был рад, что мог доставить своей Оленьке такие развлечения. Еще в дневнике он писал: «По моим понятиям женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою

жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться» (*Чернышевский*, I, 444).

И вот она стала выше мужа, по крайней мере ей так казалось, хотя и сознавала отчасти, что живет в ореоле его известности да и на его деньги. Но контраст двух образов жизни поразителен: муж, довольствовавшийся в течение дня чашкой чая и куском хлеба, поскольку не переставая писал и читал (о количестве им написанного еще надо будет сказать), и жена, предпочитавшая всему на свете веселье. Как вспоминает племянница НГЧ В.А. Пыпина: «Удалое веселье было стихией Ольги Сократовны. Зимой катанье на тройках с бубенцами, песнями, гиканьем. Одни сани обгоняют другие. Отчаянная скачка. Догонят или не догонят? “Догоним и перегоним”, — с восторгом кричит она, схватит вожжи сама, стоит и правит. Летом пикники... Лодка... На жизнь Ольга Сократовна смотрела, как на вечный, словно для нее созданный праздник. Она любила быть окруженной, но только теми, кто ей нравился, кто ею восхищался и кто был ей послушен [...] О. С. Рассказывала мне, что любила, незаметно для гостей, выбежать в разгар танцев на улицу, чтобы полюбоваться на залитые светом окна своей квартиры, и говорить прохожим: “Это веселятся у Чернышевских”»¹. Как рассказывала автору Т.В. Чумакова, петербурженка, доктор философских наук: «О супруге: еще в детстве слышала: “У его жены всегда была собственная ложа в театре, а своими нарядами она потрясала весь Петербург”. Это были такие устоявшиеся городские легенды, насколько они соответствовали действительности, я не знаю». Впрочем, о ложе в театре можно понять и из романа «Пролог», где героиня явно списана с Ольги Сократовны. К мужу относилась она снисходительно, судя по ее же словам: «Он так “рассеян и невнимателен”, что “не знает” в лицо многих из молодых людей, которые бывают у меня, обедает с ними, пьет чай, — и все-таки не знает тех из них, которые не пускаются с ним в ученые разговоры... Он уж такой у меня ученый! — “Страшно надоедает, — говорила она, — нельзя ни о чем спросить его: вместо того, чтобы ответить в двух словах, начнет целую диссертацию. Разумеется, я не дослушиваю... Только тем и спасаюсь”»².

Но иногда все же Чернышевский студенческие сходки посещал. Но старался внушить студентам правила осторожности,

¹ Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания. (По материалам семейного архива.) Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 105.

² Там же. С. 32.

не из трусости, а показывая бессмысленность лезть на рожон, когда тебе есть что сказать. В десятом номере «Современника» он публикует статью «Русский реформатор» – о графе Сперанском. Статья имела, мне кажется, помимо рассказа о трудности быть реформатором в России, еще важнейшие обертона. Во-первых, это было как бы возвращение в саратовскую юность, когда граф Сперанский приглашал его отца к себе на службу, тонкая духовная нить с человеком, пытавшимся перестроить Россию. Во-вторых, это был явный вызов дворянской элите, ненавидевшей разночинцев – Достоевского, Добролюбова, его самого, да и графа Сперанского – и сорвавшей возможность реформ в России. «Словом сказать, Сперанскому не удалось достичь исполнения своих планов, не удалось достичь даже и того, чтобы хотя сколько-нибудь **отражался характер** его намерений в вещах, исполненных при его содействии; мало того: вышло так, что осуществившаяся часть его работ приняла характер, противоположный духу, которым должна *была* проникнуться по его предположению. Как могло произойти это? <...> Сперанский был сын священника, как известно читателю, попросту сказать – был бурсак, или попович. Барон Корф справедливо выставляет очень рельефным образом это обстоятельство, которому принадлежало значительное влияние на судьбу Сперанского. <...> Говоря просто, общество князя Куракина не допустило Сперанского в свой круг» (*Чернышевский*, VII, 796–797). Замечу, что граф Толстой в своем великом романе из неприятных ему русских героев выводит бывшего семинариста Сперанского, чем-то напоминающего французского мещанина Наполеона. Но также и Чернышевского. Особенно неаристократическим смехом: «Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своей фальшивой нотой почему-то оскорблял чувство князя Андрея». Всем известен был пронзительный смех НГЧ, сам он в «Прологе» без конца иронизировал над тем, что его главный герой Волгин (автопортрет автора) неумолчно смеется: «Мелодичности своих рулад он нисколько не удивлялся, но решительно не понимал и сам, как это визг и рев выходят у него такие оглушительные, когда он расхохочется. Обыкновенным голосом он говорил тихо». Столкновение с семинаристами Чернышевским и Добролюбовым таким образом отразилось и далее в толстовском творчестве.

Толстой не хотел реформ, он мечтал о тотальной смене всех принципов русской и европейской культуры. В основе отказа графа от мировой культуры была мысль, что разночинцы

помеха в контакте дворянства с народом, который и несет подлинную правду. Впрочем, еще в статьях Толстого начала 60-х о том, как он обучает крестьянских детей, все эти идеи прозвучали. Чернышевский ответил ему в статье о толстовском журнале «Ясная Поляна», где писал, что нельзя обожествлять народ, который не является собранием «римских пап, существ непогрешительных». Наверно, Толстой это заметил.

В декабре 1861 г. «Серно-Соловьевич по поводу благополучного окончания студенческого дела устроил вечер, на котором между прочим, присутствовали Чернышевский и подлежащие высылке студенты. На этом вечере велись оживленные разговоры, и кто-то из студентов высказал несколько мыслей, довольно радикального характера. По этому поводу Чернышевский с некоторой горечью заметил: «Эх, господа, господа, — вы точно Бурбоны, которые ничему не научились и ничего не забыли... Ни тюрьма, ни ссылка не научают нас!» На эти слова кто-то из присутствующих сказал, что, может быть, и Николаю Гавриловичу придется познакомиться с Петропавловскою крепостью или со ссылкой. На это Чернышевский с улыбкою ответил, что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается...»¹

Как известно, однако, «нам не дано предугадать...»

Впереди был еще более тяжелый 1862 год.

Пожары, или Провокация государственного насилия

Чернышевский и вправду был весьма осторожен, стараясь держать себя в пределах разрешенного. 2 марта в зале Руадзе состоялся литературный вечер в пользу Литературного фонда. В проекте программы, написанной Чернышевским, стояло чтение Достоевским отрывков из «Бедных людей», в окончательном варианте были указаны отрывки из «Мертвого дома». Кроме Достоевского, выступали Некрасов, проф. П.В. Павлов, были музыкальные номера. Чернышевский рассказывал о Добролюбове. По воспоминаниям Николадзе, «он был встречен такою овацией, какой при мне едва ли кто удостоивался. Он не читал, а рассказывал, скромно, тихо. <...> Никакого желания привлечь внимание слушателей, а тем более увлечь их не было и следа. Он даже ни разу не повысил голоса, не сделал жеста. Все было

¹ *Рейнгардт Н.В.* Н.Г. Чернышевский (Из воспоминаний и рассказов разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 382.

просто. Иногда он трогал свою цепочку от часов. Но что больше всего дивило нас, это то, что никаких жалоб на гнет власти Чернышевский не высказывал. Ничего бесцензурного, никаких заключений он и не старался пускать в ход, и так же просто встал и ушел, как говорил. Зал так и ахнул от разочарования»¹.

Но, как говорится, судьба его уже была записана на небесах. Надо понять (и это я подчеркиваю), **что выход государства из системы авторитаризма даже к ограниченной свободе вызывает почти параноические действия власти, которая не знает, как управлять обществом в новой структуре. Да и общество не знает, как себя вести. И возникают почти безумные столкновения общества и власти.** Чтобы яснее был мой дальнейший рассказ, хочу привести замечательный анализ эпохи, данный великим историком В.О. Ключевским. В апреле 1906 г., т.е. в период первой русской революции, подытоживая историческое развитие и пытаясь угадать будущее, он заносит в свой дневник: «В продолжение *всего* XIX в. с 1801 г., со вступлением на престол Александра I, русское правительство вело чисто *провокационную деятельность* (курсив мой — В.К.): оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. <...> Настоящим питомником русской конспирации было правительство Александра II. Все его великие реформы, непостыжно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены. <...> Царю-реформатору грозила роль самодержавного провокатора. <...> Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали. Полиция, не довольствуясь преследованием нелегальных поступков и чуя глухой ропот, хотела читать в умах и сердцах посредством доносов и обысков, отставками, арестами и ссылками карала предполагаемые помыслы и намерения и незаметно превратилась из стражи общественного порядка в организованный правительственный заговор против общества»². В результате народившееся общество было вытолкнуто правительством, превращавшим любое проявление свободной мысли в преступление, в оппозицию. Началась борьба общества с государством за Россию. Причем если раньше государство воспринималось как стержень России, эти два понятия почти что

¹ Николадзе Н.Я. Воспоминания о шестидесятых годах // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 246.

² Ключевский В.О. Соч.: В 9 т., Т. IX. М.: Мысль, 1988. С. 341–342.

отождествлялись, то к 70-м годам XIX века они стали полностью противоположны. Появилась задача — спасти Россию от государства. Но средства использовались радикалами именно те, которые подбрасывались правительством. Вытолкнутую в революционность общественную оппозицию легко было карать.

Если учесть, что Чернышевский старался предупредить молодежь от радикальных действий, то дальнейшее становится абсолютно сюрреалистической картиной. Самое поразительное, что Чернышевского судили и обвиняли в революционности, как вождя грядущего бунта, *а он всеми силами пытался противостоять бунту*. В «Письмах без адреса», написанных в марте 1862 г., он говорит о возможном народном восстании: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее <...> даже <...> — интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (*Чернышевский*, X, 92). Эти письма — отчаянная попытка воззвать к разуму царя и правительства: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (*Чернышевский*, X, 92–93). Статья была запрещена.

А в мае начались страшные пожары в Петербурге. Вообще-то пожары были не редкость в столице, где много было деревянных и ветхих домов. Занятно и опять-таки символично (кто-то словно указывает ему, что его ждет), что в течение первого года приезда в Питер с женой он увидел ужасающие питерские пожары, которые потом, в 1862 г., приписывали ему как вдохновителю нигилистов. Не как поджигателю, а как вдохновителю поджигателей. 16 августа 1854 г. он писал: «Милый папенька! Ныне у нас храмовой праздник; вероятно, служит преосвященный. <...> На днях был в Петербурге ужасный пожар, какого не бывало лет тридцать или более. К нашему счастью, это было на другом конце города, в Измайловском полку. Пожар продолжался целые сутки; выгорело все пространство между 6-ою и 1-ою ротами Измайловского полка, длиною около версты, шириною также едва ли менее. Считают, что сгорело до 130 домов.

В этот же самый вечер был другой страшный пожар на Гутуевском острове в устьях Невы. Спешу прибавить, что тот и другой

были от нас на расстоянии шести или восьми верст, и следовательно, мы не могли несколько беспокоиться лично за себя. Но сколько сот или тысяч людей разорены теперь!» (*Чернышевский*, XIV, 262).

Начало 60-х, после Манифеста об освобождении крестьян, питейных бунтов, восстания в селе Бездна, призывов «Колокола» к революционной борьбе, ареста студентов и ряда профессоров, временного закрытия университета было мало сказать напряженным. А тут еще появились прокламации, чего в России не бывало никогда. В прокламации «Молодая Россия» говорилось совершенно по-герценовски: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком “Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!” двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя. <...> В этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: “в топоры”, и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! <...> Кто будет не с нами, тот будет против; кто против – тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами»¹. Разумеется, испугалось и правительство, и общество. Как-то надо было выходить из этой ситуации и прежде всего власти, поскольку именно государство поставлено охранять мир и спокойствие. Как пишет исследователь:

«В этой раскаленной атмосфере громовым ударом для правительства явилась распространенная 14 мая в Петербурге прокламация “Молодая Россия”. <...> Два дня спустя начались петербургские пожары. Правая пресса и значительная часть либеральных публицистов связали эти два события: прокламацию и пожары. Возможно, они были правы, но только в чем была связь? Толкнула ли эта прокламация на поджоги левые элемен-

¹ Молодая Россия // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Ред. Е.Л. Рудницкая. М.: Археографический центр, 1997. С. 149.

ты, или правительство, подстегнутое такой прокламацией и не видя другого выхода, само решилось на них?»¹ Известно, что пожары продолжались свыше двух недель, происходили в разных районах города: на Большой Охте, Ямской улице, в Московской, Каретной, 3-й Адмиралтейской частях, на Малой Охте, где выгорела вся Солдатская слободка. Причина — необычно жаркая и сухая погода, установившаяся в Петербурге. Особенно сильным был «апраксинский» пожар 28 мая, который уничтожил несколько тысяч лавок Апраксина двора.

Разумеется, и в прокламации, и в пожарах были обвинены студенты. Прокламация увязывалась, как понятно, с пожарами. Газеты (официозные, полулиберальные и либеральные) печатали предположения, слухи, сплетни. Достоевский очень переживал и прокламации и пожары. Существует его воспоминание 1873 г. о визите к Чернышевскому в эти дни, имеется и воспоминание Чернышевского об этом же эпизоде. Достоевский начинает свой рассказ с выражения своей чисто человеческой симпатии к Чернышевскому: «С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились»². Интересно, что Герцен всем приезжавшим рассказывал о своей неприязни к Чернышевскому. Найдя у своей двери прокламацию, Достоевский хоть и не думал о причастности НГЧ к этому произведению, рассчитывал на его влияние среди радикалов. «Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию. Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

— Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

¹ Розенблюм Н.Г. Петербургские пожары и Достоевский (запрещенные цензурой статьи из журнала «Время» // Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Литературное наследие. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 22.

² Достоевский Ф.М. Нечто личное // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1979. С. 24–25.

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

– Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

– Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

– Я никого из них не знаю.

– Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

– Может, и не произведет действия»¹.

Кажется, последняя фраза была решающей. Достоевский и сам понял, что люди, сочиняющие такие тексты, не могут быть близки кабинетному ученому. Версия Чернышевского, написанная в ответ на воспоминания Достоевского, иная. Он прямо связывает его визит с пожарами. Очевидно, позже, осмыслив все произошедшее, Достоевский сменил причину своего визита, хотя смысл своей просьбы оставил — остановить революционеров. Чернышевский так описал визит писателя: «Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф.М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора “Бедных людей”. Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: “Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими”» (*Чернышевский*, I, 777). Чернышевский, пораженный, что в публике «могли сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка», тем не менее, чтобы успокоить Достоевского, обещал употребить свое влияние. Достоевский сам не понял, что своим вопросом он поддержал фантомность образа Чернышевского. И все же опыт безвинно осужденного каторжанина позволил ему по-другому взглянуть на ситуацию. Он написал

¹ *Достоевский Ф.М.* Нечто личное С. 25–26.

о пожарах статью, но известна она стала лишь в начале 70-х годов XX века.

Замечу все же, что никто из трезвомыслящих не решался обвинить в поджогах власть и полицию, но и в то, что это делает молодежь, тоже не все верили. Острее прочих написал об этом в статье «Пожары» для своего журнала «Время» Ф.М. Достоевский. Статья попала не просто в цензуру, а на стол императору, задавшему вопрос, кто автор. И статья не была допущена к печати. Достоевский среди прочего (текст был немаленький) писал:

«Догадок в народе ходит довольно. Одна из таких, не скажем довольно распространенная, но достоверно существующая, касается нашего молодого поколения, наших бедных студентов. Надеемся, что нам в этом случае позволят быть откровенными: дело слишком важное и затрагивает самые горячие вопросы. Там, где делается самый страшный упрек русскому юношеству, посвятившему себя науке, на которое справедливо возлагаются надежды всей мыслящей России, нельзя молчать. Тут надо разъяснить дело до конца и все выводить на чистую воду. Итак, мы будем объясняться напрямки. В пожарах между прочим обвиняют студентов. И ведь это догадки не в одном только простом народе, а кое-где и в других сферах. Мы даже полагаем, что в народе они появились не сами собою, до них дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него извне. Очень трудно предположить, что народ ни с того, ни с сего вдруг стал бы подозревать в таком страшном злодеянии студентов. Откуда же, спрашивается, это подозрение?»

Недавно вышла возмутительная прокламация и, как все по-таенное и запрещенное, прочитана с жадностью. По крайней мере, мы не встречали еще никого, кто не читал бы ее. Излишне было бы говорить, что она возбудила отвращение. Вот и говорят, что люди, напечатавшие “Молодую Россию”, способны на все, что они не остановятся ни пред какими средствами, что поджоги – первые симптомы их деятельности. Положим так, хотя они в этом случае очутились бы в положении человека, желающего гладить своего друга по голове железной рукавицей, утыканной гвоздями. Но доказано ли, во-первых, что люди, производящие поджоги, – в связи с “Молодой Россией”... доказано ли, и это самое главное, то особенно важное обстоятельство, что настоящее наше молодое поколение и именно студенты солидарны с “Молодой Россией”? Не отвергаем, что нашлись люди, положительно доказывающие, что “Молодая Россия” принадлежит студентам. Но где эти факты, раскрытые следствием, которые

ясно доказывали бы действительную солидарность студентов с подобными явлениями?»¹.

Пожалуй, откровеннее написать, что молодежь тут ни при чем, что вообще надо бы поискать другие силы, которые способны ради достижения государственных целей на любые провокации. Но власть, как известно, своих следов в преступлениях не оставляет. Но провокации никто другой не мог заказать. Пройдя кружок петрашевцев и будучи арестован, Достоевский лучше прочих мог понимать, что такое провокация. Но «за кружком Петрашевского <...> следили давно уже, и на вечера к нему введен был от министерства внутренних дел один молодой человек, который <...> аккуратно бывал на сходках, *сам подстрекал других на радикальные разговоры* и потом записывал все, что говорилось на вечерах и передавал куда следует»² (курсив мой. — В.К.), — вспоминал позднее член кружка литератор А.П. Милюков. Этот молодой человек был некто П.Д. Антонелли, сын российского академика живописи. Он даже знакомил петрашевцев со «свирыпыми черкесами», якобы готовыми «на переворот», а на самом деле бывшими дворцовой стражей Николая. Петрашевцы были арестованы, судимы, революционный заговор, однако, не был обнаружен. И все же они были осуждены. Нечто похожее произошло и после майских пожаров.

Тем не менее фантом был и все в него верили, даже Достоевский поддался. Как написано в комментариях к тексту НГЧ о его встрече с Достоевским: «Молва связывала с пожарами имя Чернышевского. «Знаменитый апраксинский пожар (пожар Апраксина двора произошел 28 мая 1862 г., — Ред.), — писал А.Н. Пыпин в своей “Записке о деле Н.Г. Чернышевского” 18 февраля 1881 г., — происшедший, как после, образумившись, утвердительно говорили, от мошеннического поджога лавочника, дикая молва громко приписывала нигилистам, а Чернышевского провозглашала их главой» (см.: «Красный архив», 1927, т. XXII, с. 219)» (*Чернышевский*, I, 821). Стоит сослаться на воспоминания князя Кропоткина: «Как бы то ни было, пожар Апраксина двора имел весьма печальные последствия. После него Александр II открыто выступил на путь реакции. 12 июня (на самом деле 7 июля. — В.К.) был арестован Чернышевский и заключен в Петропавловскую крепость. Общественное мнение той части общества в Петербурге и в Москве, которая имела сильное влияние на

¹ Статья первая. Пожары // Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С.49.

² Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. I. М.: Художественная литература, 1990. С. 266.

правительство, сразу сбросило либеральный мундир и восстало не только против крайней партии, но даже против умеренных. Несколько дней спустя после пожара я пошел навестить моего двоюродного брата, флигель-адъютанта. В конногвардейских казармах, где он жил, я часто встречал офицеров, сочувствовавших Чернышевскому. Двоюродный брат мой до тех пор сам был усердным читателем “Современника”; теперь же он принес мне несколько книжек журнала и положил их предо мною на стол, говоря: “Отныне, после этого, не хочу иметь ничего общего с зажигательными писаниями, довольно!” Слова эти отражали мнение “всего Петербурга”. Толковать о реформах стало неприлично. Атмосфера была насыщена духом реакции. “Современник” и “Русское слово” были приостановлены. Все виды воскресных школ запретили. Начались массовые аресты. Петербург был поставлен на военное положение»¹.

От пожаров до ареста

«Современник» был приостановлен сразу после майских пожаров, приостановлен на восемь месяцев. Приостановлен, не закрыт! Удивительная игра государства с обществом. Пусть все знают, что журналом недовольны, да, может, и финансово он пострадает, если не рухнет, за восемь месяцев невыхода. Думаю, что финансовая подоплека тоже учитывалась в этом ударе. В июле Ольга Сократовна уехала с детьми в Саратов. Но что делать с тем, кого молва уже назвала инициатором, вождем радикалов, тайным инициатором пожаров, своего рода русским Нероном? Хотя, правда, Нерон, был императором, Чернышевский – всего лишь литератором.

Что делать? И это было уже понятно. «Задолго до ареста Николая Гавриловича Сераковский передал ему разговор с Кауфманом, директором канцелярии военного министерства. <...> Кауфман говорил, что Чернышевский имеет вредное влияние на общество и потому должен быть сослан. “Но ведь его статьи печатаются с дозволения цензуры, и он ничего противозаконного не делает: как же его сослать ни с того ни с сего?” – “Мало ли что! политическая борьба все равно что война; на войне все средства позволительны; человек вреден – убрать”»². Но Черны-

¹ Кротошкин П.А. Записки революционера. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.156–157.

² Стахевич С.Г. Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 340.

шевский знал, что за ним нет никакой вины, которая могла бы подпасть под действие российских законов. Поразительно, что такой трезвый человек мог верить, что Россия уже вступила в правовое пространство. Но – верил! А тут еще странная попытка Герцена помочь недавно им обруганному «Современнику».

Вот рассказ близкого семье Чернышевского человека: «Семью Чернышевского тем не менее не на шутку взволновало напечатанное в “Колоколе”, по случаю запрещения “Современника”, предложение Герцена – печатать этот журнал в Лондоне на его счет. Это уже был удар не в бровь, а в глаз. Чернышевскому не трудно было объяснить своим друзьям, что эта мысль абсолютно неосуществима. Вслед за тем Ольге Сократовне студент высших курсов и наш товарищ по заключению Евгений Печаткин, брат книгопродавца и соучастник в бумажной фабрике, сообщил, что Чернышевскому грозит неминуемый арест, и предложил ей деньги и паспорт на чужое имя для бегства за границу, куда впоследствии и она может перебраться. Чернышевский решительно отказался от этого любезного предложения. Он доказывал при мне, что, став эмигрантом, он будет отрезан от России, “от общественного пульса”, и, отстав, превратится в ненужного болтуна. Эти выражения мне памятливы отчетливо. Они-то меня самого и спасли позже от эмигрантства»¹. Добавлю, что публикация в «Колоколе» случилась, как нарочно, почти одновременно с арестом НГЧ!

Но власть сама его пыталась вытолкнуть в эмиграцию. Подалее от российских дел, понимая, что реальной вины у него нет, но есть пространство независимости, которое он создавал в русском обществе. В донесении агента Третьего отделения от 5 мая 1862 г. находим относящееся к данному сюжету агентурное донесение: «23 апреля у Чернышевского был какой-то фельдъегерь г. военного генерал-губернатора; он узнал прежде у швейцара, дома ли г. Чернышевский, и тогда уже пошел к нему, когда получил утвердительный ответ. После нескольких минут фельдъегерь вышел в сопровождении Чернышевского, который очень благодарил его за что-то»².

Разъяснение этого визита, и весьма любопытное, можно найти в воспоминаниях С.Г. Стахевича, политического ссыльнокаторжного, который с 1868 по 1870 г. был вместе с Чернышевским в Александровском заводе, где вел подробные разговоры с зна-

¹ Николадзе Н.Я. Воспоминания о шестидесятих годах // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 253.

² Чернышевский в донесениях агентов III отделения // Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1968. С. 102–103.

менитым каторжником, получившим от заключенных уважительное прозвище «стержень добродетели». Стахевич вспомнил и эпизод с фельдьегерем от петербургского генерал-губернатора, **перепутав, правда, титул, называя князя графом**. Но, похоже, что в остальном он передал беседу довольно точно: «За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему заявился адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова; граф был личный друг императора Александра II. Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован. “Да как же я уеду?хлопот сколько!.. заграничный паспорт.. Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта”. — “Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было”. — “Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого?” — “Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно”. Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: не поеду за границу, будь что будет»¹.

Это был, конечно, выбор своей судьбы, хотя маленькая надежда оставалась — ничего противозаконного он не писал и не делал. Поразительно, насколько «философский пароход» абсолютно в российской традиции. Это один из архетипов отношения российского правительства к инакомыслию. Или уничтожение, или тюрьма и каторга. Но уже при Александре Втором Освободителе была испробована попытка высылки инакомыслящего за границу, когда деятельность неугодного не попадала под российские законы о наказаниях. Ленин



*Светлейший князь
Александр Аркадьевич Суворов,
«гуманный внук великого деда»
Franz Krüger, немецкий художник*

¹ *Стахевич С.Г.* Среди политических преступников. С. 175.

был в традиции российской власти, а Чернышевский из тех мыслителей, что отказались сесть на «философский пароход» и были далее уничтожены.

Впрочем, до ареста был еще вроде бы житейский эпизод — история с Ольгой Сократовной. Еще раз подчеркну, что ее достаточно свободное поведение, толпа молодых людей, окружавших ее, карета, ложа в театре и прочие прихоти О.С. были результатом неимоверно тяжелой работы НГЧ. Чернышевский был и однолюб и человек твердых правил, твердого понимания, что то, что можно его жене, другим нельзя, ибо она носитель свободы. Окружавшие эту семью, даже близкие к НГЧ люди смотрели на нее с осуждением, которое отчасти превращалось в жалость по отношению к ее мужу. В стихотворении «Маша» (1855) Некрасов написал о ней, что поняли сразу все, понял и НГЧ, кого поэт изобразил под именем Маша, знал, что это про О.С. сказано:

Завтра Маше подруга покажет,
Дорогой и красивый наряд...
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет... убийственный взгляд.

Как писал его знакомый поздних лет: «Знал он и большинство сплетен про О.С. Все это, конечно, тяжело ложилось на его душу, но вызывало в ней не уныние, а желание дать отпор»¹. И так было во все эти годы. Он всегда защищал ее. Только в контексте этого рассуждения сможем мы оценить эпизод 10 июня 1862 г. в Павловске. Речь шла о слишком вольном обращении ротмистра Любецкого с О.С. и ее сестрой. Как было сообщено в отчете III отделения: «При выходе из вокзала адъютант Образцового кавалерийского эскадрона ротмистр лейб-гвардии уланского полка Любецкий, приняв по ошибке двух дам за женщин вольного обращения, оскорбил их. Бывшие при них четыре студента окружили Любецкого и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из этих дам — жена литератора Чернышевского, а другая — сестра ее. Любецкий через родственников их и полицмейстера просил извинений, но муж Чернышевской <...> домогался отдать дело на суд общества офицеров» (*Чернышевский*, XIV, 833). И вправду, Чернышевский обратился к начальнику ротмистра полковнику Марковскому. Тот отказал литератору. Тогда Чернышевский на-

¹ *Токарский А.А.* Н.Г. Чернышевский (По личным воспоминаниям) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 437.

писал одно за другим два письма известному литератору, автору военных реформ военному министру Д.А. Милютину. Милютин тоже отказал НГЧ в его просьбе. После майских пожаров уже было ясно людям при власти, что Чернышевский не тот человек, за которого можно заступаться. Уже был утвержден императором список лиц, «у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск». НГЧ стоял первым номером, но он сам про это ничего, разумеется, не знал. Как пел Высоцкий: «Но выше — с вышек — все предрешено». Чернышевский написал тогда, что собирается лично обратиться к каждому из офицеров этого эскадрона, чтобы узнать их мнение о поступке сослуживца. При этом он добавил: «Я не то что прошу Вашего разрешения или согласия, — в подобных вещах не следует искать разрешения или согласия, — я только заявляю Вашему высокопревосходительству о своем намерении, — заявляю по принятому мною правилу осторожности в поступках. Я не хочу делать ничего предосудительного» (*Чернышевский*, XIV, 453).

Впрочем, это была осторожность хуже самой дерзкой дерзости. Литератор, причем арестант без пяти минут, позволял себе разговаривать с министром как на равных, будто он жил в правовом обществе. И Милютин, человек осторожный, отвечать не стал, а сообщил об инциденте в Третье отделение. Все разворачивалось с бешеной скоростью, телега жизни ускоряла ход. 10 июня был инцидент, а уже 15 июня он получил письмо из канцелярии Третьего отделения: «Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии, свиты его величества генерал-майор Потапов, свидетельствуя совершенное почтение его высокоблагородию Николаю Гавриловичу, имеет честь покорнейше просить пожаловать к нему, генерал-майору Потапову, в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, завтра, 16-го числа, в два часа пополудни.

15 июня 1862 г.»¹

Управляющий хотел лично познакомиться с Чернышевским. Зачем? У меня соображение простое: из наблюдений над миром животных. Хищник любит поиграть с полупридушенной жертвой. Сталин обычно дружески беседовал накануне с человеком, про которого знал, что он завтра будет арестован, а потом и расстрелян. Видимо, это общая психология злодеев. Так и Александр Львович Потапов играл. «При дальнейшем разговоре с генералом Чернышевский спросил последнего, не имеет ли правитель-

¹ Вызов Чернышевского в III отделение // Дело Чернышевского. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1968. С. 140.

ство каких-нибудь подозрений против него, Чернышевского, и потому может ли он уехать в Саратов, так как в Петербурге ему ввиду закрытия “Современника” делать нечего, на что Потапов ответил, что правительство против Николая Гавриловича ничего не имеет и ни в чем не подозревает...»¹ Был Потапов, как описывают его современники, невзрачный, маленького роста, не представительный. Впрочем, и Берия, и Ежов тоже ростом не отличались. И точно, через неделю вышло распоряжение Потапова:

Распоряжение начальника III отделения

«Признается необходимым сделать распоряжение о невыдаче, без особого разрешения, заграничного паспорта литератору Николаю Чернышевскому.

27 июня 1862 г.»²

А ведь когда-то дружил с Михаилом Лермонтовым в период юнкерских стихов поэта, был даже адресатом одного из его посланий (1838), в котором безнравственность выставляется как основа миропонимания Потапова.

Целиком привести это стихотворение невозможно, но вот одно четверостишие, пожалуй, приемлемо:

Борделя грязная свобода
Тебя в пророки избрала.
Давно для глаз твоих природа
Покров обманчивый сняла.

Разумеется, трудно найти человека, не грешившего в молодости. Трудно, но возможно. При этом отметим, что Лермонтов перерос свои поэмы, преодолев их любовью. Ситуация борделя невысказана для Чернышевского. Чернышевский был человек не бунта, не грязи (хоть и писал в юношеском дневнике, что его «не испугает грязь и пьяные мужики», не испугает, однако! Но



Александр Львович Потапов

¹ Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 392.

² Распоряжение начальника III отделения // Дело Чернышевского. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1968. С. 140.

в нее он не окунется), а свободы, правовой свободы. Юношеский дневник Чернышевского стал одним из доводов обвинения. Почему юношеское поведение Потапова не наложило вето на его жандармскую деятельность? И дело тут не в эротической распущенности или целомудрии. Речь о разнице между свободой и произволом. Поневолу приходится сравнивать ситуацию Чернышевского с пушкинской. Г.П. Федотов назвал Пушкина «певцом империи и свободы». Но авторитарному режиму трудно перейти в модус свободы. И когда есть безумный страх, что человек свободы, даже посмертно, может оживить в душах людей понятие о свободе — уже тем, что такой был, его стараются из общества изъять. Пушкина царь запретил хоронить в Петербурге, выслав ночью его тело в Михайловское на телеге в гробу, обернутом рогожей, в сопровождении жандармского ротмистра Ракеева, того самого, что спустя двадцать пять лет уже в чине полковника арестовывал Чернышевского. Только одному из друзей (А.И. Тургеневу) было разрешено сопроводить гроб *опального после смерти* поэта. Кто лучше поэта скажет о поэте и царе! Цветаева:

Кого ж это так — точно воры вора
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.

Ракеев, видимо, был специалистом по литераторам в Третьем отделении. Не только провожал гроб Пушкина из Петербурга в Святые Горы. Но в 1861 г. проводил обыск у М.Л. Михайлова. Впоследствии дослужился до генерала. Он и приехал среди бела дня как бы с визитом к НГЧ. Вот поразительно простодушный рассказ Антоновича, молодого критика «Современника»: «В 1862 году Николай Гаврилович Чернышевский жил близ Владимирской церкви, в Большой Московской улице, в первом этаже дома Есауловой, числящегося в настоящее время под № 4. В июле, 7 числа, мне нужно было спросить Николая Гавриловича о чем-то касательно печатания сочинений Добролюбова, и я около часу пополудни отправился к нему, застал его дома, нашел его в его кабинете, где мы и переговорили с ним о деле, по которому я пришел к нему, и потом разговор наш перешел на разные другие посторонние предметы. Николай Гаврилович жил тогда в квартире один с прислугой, так как его семья, жена и два сына, уехали в Саратов. Спустя полчаса к нам явился доктор Петр Иванович Бокков, и мы трое, уже не помню почему, из кабинета перешли в зал. Мы сидели, мирно и весело беседовали, как вдруг в передней раздался звонок, так, около двух с половиной часов. Мы подумали,

что это пришел кто-нибудь из знакомых лиц, и продолжали разговаривать. Но вот в зал, дверь в который вела прямо из передней, явился офицер, одетый в новый с иголки мундир, но, кажется, не жандармский, — так как он был не небесного голубого цвета, а черного, — приземистый и с неприятным выражением лица. Войдя в зал, он сказал, что ему нужно видеть господина Чернышевского. Николай Гаврилович выступил ему навстречу, говоря:

— Я — Чернышевский, к вашим услугам.

— Мне нужно поговорить с вами наедине, — сказал офицер.

— А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет, — проговорил Николай Гаврилович и бросился из зала стремительно, как стрела, так что офицер растерялся, оторопел и бормотал: где же, где же кабинет?

Свою квартиру Николай Гаврилович сдавал внаем, так как решил оставить ее и переехать на другую, и потому я в первую минуту подумал, что офицер пришел осмотреть квартиру с целью найма ее. Растерявшийся офицер, обратившись в переднюю, повелительно и громко закричал: “послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня туда”. На этот зов явился из передней пристав Мадьянов, которого Боков и я знали в лицо. Появление пристава сразу осветило для нас все, и мы поняли, кто такой этот офицер, и какая цель его визита. Пристав, проводив офицера в кабинет, возвратился к нам и на наши расспросы сказал, что офицер — это полковник Ракеев, которого мы знали как доку по политическим обыскам и арестам и как петербургского домовладельца. Затем пристав рассказал, что Ракеев явился к нему и потребовал, чтобы он проводил его к Чернышевскому, — на что пристав заметил, что, может быть, Чернышевского нет дома; но Ракеев уверенно сказал, что ему хорошо известно, что он дома. На наши вопросы, как он думает о цели визита Ракеева, пристав отвечал, что полковник по всей вероятности произведет только обыск, а не арестует Чернышевского, так как он приехал на дрожках, а казенной кареты нет. Затем пристав стал убеждать нас уйти из квартиры. Да нам больше ничего не оставалось, как только уйти. Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином, заявили мы. Зачем это, убеждал нас пристав, что за церемония, можно уйти и не простившись. Мы решительно заявили ему, что мы непременно пойдем проститься с хозяином и тем более, прибавил я, что моя шляпа и мой сверток находятся в кабинете. Пристав любезно предлагал принести их из кабинета; но я не согласился, и мы с Боковым отправились в кабинет.

Николай Гаврилович и Ракеев сидели у стола; Николай Гаврилович на хозяйском месте у середины стола, а Ракеев сбоку стола, как гость. Когда мы входили, Николай Гаврилович про-

износил такую фразу: нет, моя семья не на даче, а в Саратове. Очевидно, Ракеев, прежде чем приступить к делу, счел нужным пуститься в светские любезные разговоры.

– До свидания, Николай Гаврилович, – сказал я.

– А вы разве уже уходите, – заговорил он, – и не подождете меня?»¹

Очевидно из этих слов, что ареста он не ожидал.

Да и никто не ожидал.

Антонович яснее прочих, да к тому же, как свидетель ареста, выразил это чувство: «Мы с Боковым вышли из квартиры Николая Гавриловича, понутив головы и не говоря ни слова друг с другом, и как бы инстинктивно отправились ко мне на квартиру, находившуюся очень близко от Московской улицы. Здесь несколько опомнившись и придя в себя, мы стали обсуждать вопрос: арестуют ли Николая Гавриловича или ограничатся только обыском. Наше решение склонялось на сторону последней альтернативы. Мы думали, что Николай Гаврилович слишком крупная величина, чтобы обращаться с ним бесцеремонно; общественное мнение знает и ценит его, так что правительство едва ли рискнет сделать резкий вызов общественному мнению, арестовав Николая Гавриловича без серьезных причин, каковых, по нашему мнению, не могло быть, – мы в этом твердо были уверены; да и пристав сказал правду, – кареты у подъезда и мы не видали. Вот как мы были тогда наивны и какие преувеличенные понятия имели о силе общественного мнения и о влиянии его на правительство. Да и не одни мы. Как тогда, так и теперь многие повинны в подобной наивности»².

Арест Чернышевского был очень важен власти. Если уж такую крупную и влиятельную фигуру можно арестовать среди бела дня, что уж говорить об остальных! Пусть трепещут!

Интересно, что отношение к власти и у простого народа было скорее негативное, справедливости никто от нее не ждал. Когда Антонович с Боковым через полчаса вернулись, «отворила дверь прислуга, заливаясь горькими слезами.

– Бедный барин, – говорила она сквозь слезы, – его взяли, они его погубят; а тут как нарочно еще барыня уехала»³.

Чернышевский еще очень долго ждал, что все прояснится, увидят, что ни одно его действие не подпадает под судебные статьи и его выпустят.

Но лишь через двадцать лет он оказался дома.

¹ Антонович М.А. Арест Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 274–275.

² Антонович М.А. Арест Чернышевского. С. 276–277.

³ Там же.

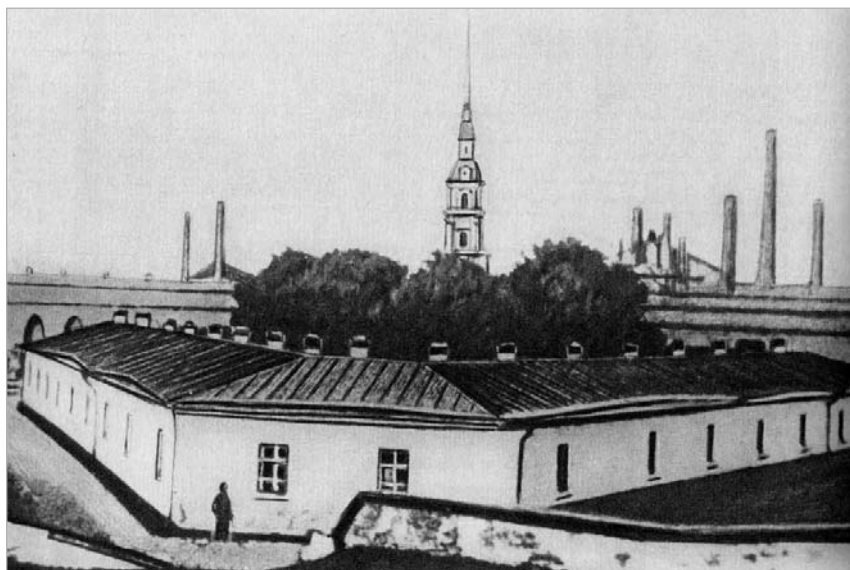
Глава 10

Петропавловская крепость, или Продолжение мифотворчества

Алексеевский рavelин и подготовка ареста

Как говорил Пушкин, «бывают странные сближенья». Речь у него шла о сближениях исторических и личных. Такие сближения в судьбе и творчестве Чернышевского и Достоевского просто поразительны, так что порой кажутся мистическими. Но, видимо, два христианских писателя думали о схожих проблемах. Но биографические совпадения! Вот что удивительно. Среди книг с дарственными надписями, преподнесенных Герцену русскими визитерами, книга Ф.М. Достоевского «Записки из мертвого дома», на которой стоит надпись: «19 (7) июля 1862 года» (отмечу, что это день, когда в России был арестован Чернышевский): «Александрю Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения от автора». Чернышевский оказывается в том же Алексеевском рavelине, где восемь месяцев почти пятнадцать лет назад провел Достоевский. И дело-то, за которое его судили, было вполне литературное. И так же долго с многими провокациями готовился арест петрашевцев, среди которых Достоевского суд признал «одним из важнейших преступников». Более того, сделал первый шаг к тому Мертвому дому, который описал Достоевский. О духовных и интеллектуальных пересечениях этих двух гениев мне еще придется говорить.

Пока же стоит сказать, что Чернышевский тоже был признан одним из важнейших преступников, более того, «коноводом» революционеров. Он был помещен в Алексеевский рavelин, который просуществовал как политическая тюрьма с жестким режимом до 1884 г., а в 1895 г. был снесен. Эту тюрьму называли Секретным домом. Арестант значился по номеру камеры, в которой содержался. По прибытии его делалась запись: «Прибыла личность», в случае смерти или перевода в другое место заключения записывали: «Убыла личность». Чернышевский значился по



Алексеевский рavelин

очереди под номером одиннадцать (№ 11), затем десять (№ 10) и, наконец, двенадцать (№ 12).

Но тема Герцена еще не закрыта. Как и Достоевский, он духовно и событийно связан с Чернышевским, отношения были скорее скверные, хотя и при взаимном уважении. В крепость Чернышевский попал из-за письма Герцена. 1 июля в лондонском пабе отмечали пятилетний юбилей «Колокола». Решили на следующий день собраться у Герцена. Разумеется, среди гостей был и агент Третьего отделения, они паслись у лондонского «звонаря» постоянно. Некто Ветошников, сообщив, что завтра утром уезжает, спросил, нет ли каких поручений. Огарёв написал несколько слов Серно-Соловьевичу, а Герцен (сам писем Чернышевскому никогда не писавший) сделал в письме приписку для НГЧ, что готов издавать с ним вместе «Современник» на свой счет в Лондоне: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве — печатаем предложение об этом. Как вы думаете?» (*Герцен*, XXVII. Кн. 2. 707). Среди гостей Герцена оказался агент Третьего отделения Г.Г. Перетц. Все, что вез с собой Ветошников из Лондона, попало в руки жандармов. Герцен этого, конечно, не хотел, но потом долго оправдывался в своей неосторожности, восклицая, что не является же он агентом полиции. Конечно, нет, но очень важным генералом от эмиграции, а потому и неосторожным, не очень понимавшим, что в Рос-

сии можно, а что повлечет за собой неустрашимые последствия. И 7 июля Чернышевский был арестован. Полиция работала споро. Но эта быстрота объяснялась уже долгим поиском компромата на Чернышевского. Сразу надо сказать, что с правовой точки зрения в этом письме не было ничего преступного. Автор просто размышлял вслух, ничего конкретного не предлагал, тем более ничего не делал. Но нужен был повод.

Еще Пушкин писал о мнении народном, которое необходимо любому властителю, чтобы совершать поступки, противоречащие праву и здравому смыслу. Чернышевский не нравился, его независимость мысли казалась почти призывом к революции. Теперь прошу читателя обратить внимание на даты. За десять дней до майских страшных пожаров, 27 апреля, шеф жандармов В.А. Долгоруков подал Александру II ежегодный доклад о состоянии умов в России. Больше всего власть пугало возникшее свободное мнение, которое, конечно, было результатом реформ, но совершенно непривычно для самодержавия: «Из редакторов издаваемых в здешней столице наиболее либеральных журналов (Современника, Русского слова, Русского мира, Века, Морского сборника, Экономиста, Искры и других) и сотрудников их, литераторов и педагогов, возникло незаметным образом русское литературное общество, которое, желая иметь ежедневные сходки, основало в минувшем году Шах-клуб. Некоторые члены сего клуба, как-то: Чернышевский, Гиероглифов, Благовосветлов, Некрасов, Утин, Спасович, Костомаров и другие – скрытною политическою деятельностью и обширными сношениями своими возбуждают подозрение в неблагонамеренности. Главный предмет рассуждений их в клубе составляют необходимость введения в России конституционного правления и уничтожения цензуры»¹. Иными словами, была боязнь обратной связи. То, к чему власть пришла к 1881 г., к необходимости конституции, то есть элементарного европейского образования, было проговорено в начале 1860-х. Власть к этому пришла, но поздно. Слишком много отрицательных соков накопилось в государственном организме. И убийство императора было в пространстве этого взаимонепонимания.

В тот же день подана императору и записка «О чрезвычайных мерах», в которой среди прочего говорилось: «Взвесив все вышеизложенное и основываясь на опыте, может быть, окажется менее опасным и более удобным прежде всего воспользоваться обще-

¹ Доклад шефа жандармов В.А. Долгорукова Александру II // Дело Чернышевского. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1968. С. 125 (далее все ссылки на это сборник даны в тексте с указанием страницы).

ственным расположением к князю Суворову, дабы предоставить ему, призвав к себе порознь вышеупомянутых сомнительных лиц и проникнув в их предположения, предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят и что всякий предосудительный проступок подвергнет их сильному наказанию» (Дело, 132). Против этих слов Александр с жандармской предусмотрительностью написал: «По моему мнению, подобное предварение не поведет ни к чему, а и, напротив того, даст возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить» (Дело, 133).

В тот же день на утверждение императора был подан «список лиц» из 50 человек, которых надо было обыскать. И первым главным коноводом стоял Чернышевский. Приведу начало этого длинного списка, где главным основанием для обыска были отношения с Чернышевским:

Список лиц, у которых предполагается сделать одновременный сторожайший обыск (Дело, 133–135)

1. Литератор Чернышевский.	Подозревается в составлении воззвания «Великорусе», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству.
2. Подполковник Шелгунов.	Подозревается в том же и, кроме того, был в тесной дружбе с преступником Михайловым.
3. Полковник Обручев.	Подозревается в участии составления воззвания «Великорусе» и находится в непрерывных сношениях с Чернышевским.
4. Два брата Серно-Соловьевичи.	То же.
5. Профессор Пыпин.	То же.
6. Захарин (служащий в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий»).	Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским.
7. Огрызко, типографщик.	Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским и, кроме того, последние воззвания отпечатаны шрифтом, имеющимся в его типографии.

8. Рычков , артиллерийский офицер.	Родственник Чернышевского , подозреваемый в сообщничестве с ним.
9. Боков , доктор (находящийся под судом по делу поручика Обручева и распространения «Великоруса»).	Подозревается в преступных сношениях с Чернышевским , к которому имеет во всякое время доступ.
10. Елисеев , литератор.	То же.
11. Студенский , бывший студент университета.	Родственник Чернышевского , который употребляет его постоянно для письма.
12. Благосветлов , литератор.	Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству и первенствует в Шах-клубе, где ведет резкие разговоры.
13. Антонович , литератор.	Приятель и сотрудник Чернышевского , которому приписывается составление некоторых воззваний.
14. Лавров , полковник.	Бывал на студенческих сходках, изъявлял сочувствие студентам, обратил на себя внимание нерасположением к правительству.

Стоит отметить, что вина очень многих, названных в этом списке, заключалась в их общении с Чернышевским. Но надо было подготовить общество к обыскам и возможным арестам, наэлектризовать его. Майские пожары начались 15–16 мая и длились около двух недель. В поджогах были обвинены студенты и их «коноводы», радикальная журналистика, если можно назвать ее радикальной. Но у страха глаза велики. Вроде бы это давало право правительству «зажать рты, кому нужно». Прислушиваясь к толкам, люди различных мнений и партий, либералы и консерваторы, соединились в одном: остановить и прекратить. Но кар требовали далеко не все. Против огульных обвинений выступил князь Суворов. Выступил против и великий русский писатель. В своей запрещенной цензурой статье «Пожары» Достоевский резко отвел от студенчества обвинение в поджогах, а стало быть, и от так называемых коноводов молодежи: «Людам, которым приходит в голову сваливать страшную беду на моло-

дое поколение, не мешало бы помнить, что всякое подозрение должно прежде всего быть основано на фактах, что чем страшней подозрение — тем оно должно быть основательней, потому что в противном случае делается страшная, незаслуженная обида; что нужно исследовать дело прежде, нежели указывать его виновников явно ли, словами прямо, или самым молчанием на вопрошающее обвинение. Не к простому народу, не к людям, умеющим только повторять чужие слова, относится наше обвинение, наш протест. Он касается всех тех, кто или сознательно распространяет подобного рода догадки в народе, или намерены молчать ввиду грозных толков. Они должны помнить, что в каждом молодом студенте останется навсегда горькое воспоминание о когда-то возведенной жестокой клевете на всю корпорацию, к которой он принадлежал»¹.

Были те, кто поддерживал власть в этом мнении. 5 июня 1862 г. генерал Потапов получил письмо, подтверждавшее, что правительство разбудило мифологическое сознание общества: «Что вы делаете, пожалейте Россию, пожалейте царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский — это коновод юношей — направление корпусных юношей дано им — это хитрый социалист; он мне сам сказал (говор. проф.), что “я настолько умен, что меня никогда не уличат”» (*Дело*, 146–147). Подчеркнем: анонимный автор ссылается на профессоров, очевидно, Петербургского университета. А приводимые им слова очень напоминают разговоры юного Чернышевского, бравировавшего своей оппозиционностью в Саратове. А общался он там больше всего с профессором Н.И. Костомаровым. Продолжу цитирование, а потом сравним с мемуаром Костомарова. «Эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов и пойдет напролом, не пренебрегайте ею. Избавьте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия» (*Дело*, 147). Хочу отметить, что слова из анонимки были буквально процитированы (и закавычены) в тексте приговора, хотя по строгому правому закону анонимное письмо не может служить уликой.

Пожары и есть кровь и ужас. Но вот «Автобиография» Костомарова, бывшего друга дома в Саратове, автобиография, написанная в 1869 г., где он так пересказывал слова Чернышевского: «Никакое из правительств, существовавших в различных формах, не может назваться хорошим: все носят в себе зародыши

¹ Пожары // Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 50.

зла, и нам нужен радикальный переворот. Прудоново положение, что собственность есть зло, Чернышевский развивал до крайних пределов (*но это не так, собственность оценивается им всегда позитивно. — В.К.*), хотя и сознавался, что идеал нового общественного строя на коммунистических началах еще не созрел в умах, а достичь его можно только кровавыми разрушительными переворотами. Чернышевский на Руси, можно сказать, был Моисеем-пророком наших социалистов, в последнее время проявивших свою деятельность в таких чудовищных формах¹. А теперь последнее письмо анонимного автора: «Спасибо вам, Александр Львович, что засадили Чернышевского — спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигалич, Яренск — что-нибудь в этом роде — это опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием» (*Дело*, 148). И сравним со словами Костомарова: «Припоминаю себе многое из жизни, когда Чернышевский как бы играл из себя настоящего беса. Так, напр., обративши к своему учению какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с веселостью указывал на легкость своей победы. А таких жертв у него несть числа. <...> То же было и в Петербурге, где он сделался, так сказать, идолом молодежи»². Почти буквальное повторение. Но что же у него было за учение? Об этом скажем несколько слов в связи с его романом.

После ареста заработало мифологическое сознание («нет дыма без огня»), проснулась подлость и обычная человеческая неблагодарность и неблагодарство. 6 августа 1862 г. Кавелин пишет Герцену: «Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся мне возмутительными. Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, а оно защищается своими средствами. Не то были аресты и ссылки при подлеце Николае. Люди гибли за мысль, за убеждения, за веру, за слова. Я бы хотел, чтоб ты был на месте правительства, и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно и явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого *brouillon*, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал. И было бы за что погибать! *Что пожары в связи с прокламациями — в этом теперь нет никакого сомнения* (курсив мой. — В.К.)»³. Достоевский не поверил, не поверил С.М. Соловьёв. Что-то слабое в нем было.

¹ Автобиография Н.И. Костомарова // Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 1. Саратов, 1958. С. 158.

² Автобиография Н.И. Костомарова. С. 158–159.

³ Письма К.Д. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. Женева. 1892. С. 82.

А Чернышевский хорошо говорил о нем: «Суважением вспоминал о Кавелине, с которым более близко сошелся весной 1862 года. — Умер у него сын, — говорил Николай Гаврилович, — и он очень тосковал, так вот я, чтобы рассеять его как-нибудь, каждый день навещал его»¹.

Конечно, Кавелин оказался полностью подчинен общему мнению, которое формировалось правительством. После решения 27 апреля надо было сформировать общественное мнение. И с помощью пожаров оно было сформировано. Увы, как писал Мартин Хайдеггер, человек оказывается поглощенным повседневными заботами и забывает о своем бытии. Он теряет чувство своей «подлинности» и впадает в усредненное существование, в «неполноценные» способы бытия в мире. Это — бестревожный путь конформизма. Человек превращается в одного из «них» (das Man), вливается в анонимную толпу, принимает ее ценности и усваивает ее способы поведения и мышления. И интеллеktуал Кавелин, человек по душе благородный, оказался неспособным к самостоятельному взгляду на Россию.

Ну а Костомаров, как видим, играл роль проводника мифа, подпитывая и мифологическое сознание власти.

«Извиняться никому не придется»

Но власть, поместив Чернышевского в Алексеевский рavelин по случайному в общем-то поводу, столкнулась с проблемой чрезвычайной. Реальных улик противоправительственных действий и даже высказываний не было никаких. Было еще письмо Огарёва, но оно скорее звучало в поддержку Чернышевского, ибо в письме говорилось, что Чернышевский просит лондонских агитаторов не завлекать юношей в разные радикальные союзы. На допросе Чернышевский объяснил это ясно и спокойно: «Лицо, которому я поручал передать Герцену, чтобы он не завлекал молодежь в политические дела, — г. М.И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 года. Слова, что я “имею влияние на юношество”, означают, что я, как журналист, пользовался уважением в публике. “Знамя”, о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное землевладение, которое я постоянно защищал, но относительно которого все-таки выражал сомнение, удержится ли оно против распо-

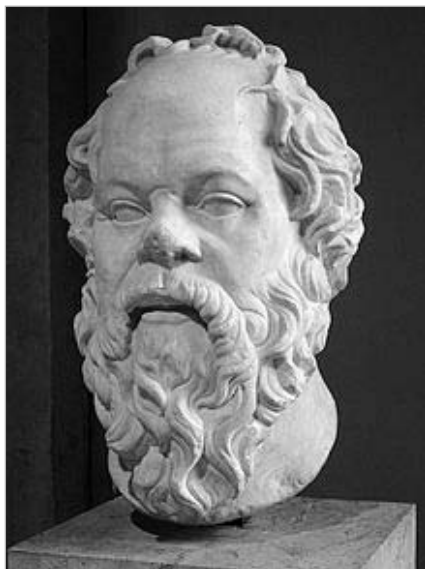
¹ *Рейнгардт Н.В.* Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 391.

жения к потомственному землевладению, — это объясняется в статье “Современника” (моей), которую Герцен остался недоволен; выражение “ехали вместе” относится к тому, что я, подобно Герцену, защищал обычное наше общинное землевладение. Поручение М.И. Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела основывал я на общеизвестных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию, — я поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастью самих агитаторов» (*Дело*, 218–219). Впрочем, допрос был позже. С 7 июля до 30 октября Чернышевского ни разу даже не вызвали на допрос. Просто сидел в камере несколько месяцев практически без контактов с внешним миром. Только в октябре ему разрешили писать.

И первое письмо 5 октября он пишет жене. Надо еще учесть, что после закрытия «Современника», оставшись без постоянного заработка, он отправил жену с детьми не на дачу в Павловск, а к родным в Саратов, продал экипаж, мебель и всякую утварь, чтобы были деньги на жизнь. При этом он понимал, что О.С. привыкла к обеспеченной жизни, что родственники его небогаты, что возможны столкновения, поэтому первой его задачей было, зная ее тяжелый характер, успокоить жену и показать, что жить им надо достойно, чтобы не было стыдно перед потомками: «Об одном только прошу тебя: будь спокойна и весела, не унывай, не тоскуй; одно это важно, остальное все — вздор. У тебя больше характера, чем у меня, — а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время, — тем больше следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» (*Дело*, 264). Действительно, Ольга Сократовна, страдая от непривычной денежной скудости, требовала каких-то денег от небогатых стариков Пыпиных, как пишет в своей книге о любви в жизни Чернышевского В.А. Пыпина. Чернышевский не знал этих деталей, но, будучи человеком умным, вполне мог догадаться, что так может быть. Поэтому просьба быть спокойной, «не уронить себя». Далее он разворачивает эту тему, вспоминая Аристотеля. «Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разьяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того,

что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (*Дело*, 265).

Об Аристотеле он писал, мог думать, что имя ей незнакомое. И все же — Сократовна. Смешно сказать, что и здесь некое странное сближение. Тестя его звали Сократом, а древнегреческий мудрец был осужден за то, что неправильно думал и, как счел суд, развращал умы молодежи. Странная рифмовка через тысячелетия с судьбой Чернышевского, которого тоже обвинили в развращении молодых умов. Но Сократ (судя по тексту Платона) отстаивал себя, говоря о себе как о воде, который послан кусать афинян, чтобы они не ленились думать.



Socrates Louvre

И добавлял, что его убийство будет страшно не для него самого, но для его убийц, потому что после его смерти они едва ли найдут такого человека, который бы постоянно заставлял их стремиться к истине. Но при этом в словах афинского мудреца и твердость, и непреклонность позиции, в отстаивании своего права думать: «Даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы <...> отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть. <...> То я бы вам сказал: <...> О мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность не перестану философствовать»¹. Эта речь Сократа до оторопи напоминает слова и поведение Чернышевского, когда ему предлагали эмигрировать, просить помилование, лишь бы думал он по-другому, а он был упорен, говоря, что он ничего дурного не делает, только философствует, что приписывание ему чего-то недозволенного есть не более чем зловещая сплетня, для него губительная, но все же сплетня.

¹ Платон. Апология Сократа // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 83.



Но главное, для чего он писал это письмо — успокоить жену и близких, что он здоров, но сведений о движении своего дела не имеет: «Когда мне скажут что-нибудь, я уведомя тебя, а теперь ровно ничего не знаю. <...> Чуть не забыл приписать, что я здоров. Целую детишек. Будь здорова и спокойна. Тысячи и миллионы раз целую твои ручки, моя несравненная умница и красавица, Ляличка, — не тоскуй же смотри, будь... А какая отличная борода отросла у меня: просто загляденье» (*Дело*, 266).

Ироническая фраза в конце письма должна была показать, что он по-прежнему полон самоиронии, а следовательно владеет собой. Интересно, что сравнение себя с Аристотелем было воспринято полицейским начальством тоже как крамола и желание ниспровергнуть существующий строй. Чернышевский спокойно отвечал, хотя, наверно, с таким чувством, когда беседуешь с не желающими тебя понимать дебилами: «В дело введено мое письмо к жене (л. 154). О политической стороне этого факта не говорю здесь: она излагается мною в другой просьбе моей. Письмо это дало тему, также вошедшую в письмо г. В. Костомарова к Соколову, и несколько строк, в которых я тут называю себя Аристотелем, *много раз повторяются потом в деле, как уличение меня собственными моими устами в непомерности самолюбия и наведения тем на мысль, что человек с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка* (дело, л. 157, лл. 283 и 286). В числе моих слабостей есть гордость — качество, противоположное мелкому самолюбию, хотя бы и непомерному, но все-таки, качество, имеющее свои забавные стороны. Я люблю смеяться над своими слабостями. Все мои статьи, все мои письма к людям близким наполнены моим иронизированием над собою. Может быть, это также недостаток. Но до него нет дела уголовному следствию. Ирония не предмет XV тома Свода законов» (*Дело*. С. 386—387; курсив мой. — В.К.). Между тем это и вправду была отчасти самоирония.

Но время шло. **Четыре месяца!** Безо всякого объяснения, почему арестован и за что. Почему держат в рavelине? Наконец пришло 30 октября. Вопросы были никакие. Понятно было, что улик нет и обвинить его не в чем. Как он пишет императору, он ждал еще две недели. Попросил, чтобы его вызвали в Следственную комиссию. Его не пригласили, тогда он попросил у коменданта Петропавловской крепости разрешения написать императору. Ему разрешили. Письмо сохранилось. Я его приведу, но прежде нужен контекст. Очень часто русские литераторы, попавшие в опалу, в крепость, в ссылку, на каторгу, писали письма императору, в которых каялись и просили пощады. Остановимся, однако, на письме Михаила Бакунина, которого считали тоже «коново-дом» всех европейских либералов (скажем, в 1849 г. руководил восстанием в Дрездене). Немцы его арестовали, потом выдали императору Николаю, который посадил его в крепость. Через пару лет, в 1851 г., он пишет императору «Исповедь». Не буду уж говорить, что исповедь возможна только духовному лицу, но Бакунину было не до тонкостей: «Государь! я — преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, я если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость, чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь!»¹

Еще одна любопытная деталь. В начале бакунинской «Исповеди» Николай написал строчку для наследника — Александра Второго: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно»². Так что царь-освободитель прекрасно знал из урока отца, как должны заключенные в крепость писать самодержцу. Кстати, из крепости Бакунина выпустил Александр II.

А вот как и что пишет Чернышевский: «Всемиловивейший Государь. <...> Не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения, я знал это и говорил это при самом аре-

¹ Бакунин М.А. Исповедь. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 183.

² Там же. С. 239.

ствовании моем. Но если бы я раньше настоящего времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огарёву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно, и других обвинений нет. <...> Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, который был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огарёву и Герцену, значит, показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся литературою, известна та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной тяжбе, которую имел Огарёв с одним из знакомых мне лиц. Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарёва по этому делу. В моем положении неудобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но, ваше величество, можете увидеть эту причину из письма Огарёва и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городской почте в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарёв советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним *a la façon Vidil* (указание на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство). Почему Герцен так отзывается, и почему Огарёв желает, чтобы меня поколотили, пусть объяснит вашему величеству самое письмо их. Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего величества подданный Н. Чернышевский.

20 ноября 1862 г.» (*Дело*, 268–269).

Здесь много любопытного. Например рассказ об отношениях с Герценом. Теперь мы можем сказать, что в этом рассказе нет ни слова кривды ради спасения собственного живота. Более того, любопытная деталь, о которой мы забываем: что Огарёв предлагает кому-то «побить Чернышевского», очевидно за отказ рево-

люционизировать молодежь. Но посмотрим, что неожиданного в письме к императору. Заметим, ни одного восклицательного знака. Затем **требование справедливости** («благovolите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста»). И, конечно, верх непочтительности — это подпись. Обычная подпись — **Ваш верноподданный!** Чернышевский пишет просто — **Ваш подданный**, просто констатируя факт отношений жителя империи и его сюзерена. И сравним с подписью Бакунина:

«Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин»¹.

Бакунин вымолил себе ссылку, откуда бежал в Европу, откуда по-прежнему пытался разрушать Россию, создал вместе с Нечаевым страшный «Катехизис революционера», ругал «Что делать?» Чернышевского за реформизм, утверждая, что Чернышевский искал себе этим романом «теплое местечко». Впрочем, в деле НГЧ проявлялись все худшие и лучшие стороны человеческой природы.

Как мы знаем, Чернышевский несколько раз отказывался от предлагавшихся ему способов эмиграции. Самое поразительное, что и после четырех месяцев беспросветного заключения он считал, что совершил правильный выбор своей судьбы. В тот же день, что письмо царю, он написал отчасти покровительствовавшему ему светлейшему князю А.А.Суворову, Санкт-Петербургскому военному губернатору. Письмо важное, в нем он хотел смягчить впечатление от достаточно резкого тона в письме императору, тем более что письмо к императору шло через Суворова, но и сформулировать свою позицию не желавшего покидать Россию мыслителя. Попробуем дать некоторый анализ этого письма. В первых абзацах речь о тоне: «Ваша светлость.

В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается, — обнаруживает мысль, что лицу, с которым он говорит, приятна или нужна лесть» (*Дело*, 269).

Объяснение понятное человеку трезвому, каковым, видимо, Чернышевский считал Суворова. Поэтому добавляет столь же трезво, тоном равного человека из образованного общества:

¹ Бакунин М.А. Исповедь. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 184.

«Потому и к вашей светлости я пишу совершенно сухо. Когда я имел честь говорить с вами в прежнее время, я иногда употреблял теплые слова, которые можно было принимать, как угодно: или за выражение действительного моего уважения и доверия к вашей светлости, или за лесть. Я не стеснялся возможностью последнего предположения, потому что тогда не нуждался в помощи вашей светлости. Теперь — другое дело» (*Дело*, 269–270).

Иными словами, любое выражение чувств может быть принято за подхалимаж, а в этой ситуации он хочет говорить с губернатором на равных. Хоть он и арестован, но ни в чем не обвинен. И далее, быть может, важнейшее для данной книги соображение. **Чернышевский описывает, что его жизнь стала предметом мифотворчества, он это знает и понимает.** «Не все слухи обо мне, доходившие до вашей светлости и других правительственных лиц, были верны. Это были слухи политические; но было много слухов обо мне. Когда год тому назад умер мой отец, говорили, что я получил в наследство, по одним рассказам, 100 000 р., по другим — 400 000 р. Или другой слух — даже не слух, а печатное показание: есть повесть известного писателя Григоровича “Школа гостеприимства”; я в ней выведен под именем Черневского (на самом деле в тексте пасквиля — Чернушкин. — В.К), которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, все; это лицо, — т. е. я, — выставлено гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодным: я не ем почти ни одного блюда французской кухни; а вина не люблю просто потому, что не люблю.

Этих сплетен обо мне было бесконечное множество. Обратили внимание на те, которые относились к политике; почему бы не обратить его и на те, которые относились к вещам и не политическим, вроде моего наследства и гастрономичности? Степень основательности этих последних могла бы служить мерою основательности и первых» (*Дело*, 270). Ему много чего приписывали. И революционаризм, и желание сбежать к Герцену, следование западным авторитетам, отказ от традиций отечественной мысли, хотя, быть может, не было в России человека, столь глубоко и сознательно жившего в контексте русской культуры. Но миф — страшная сила, он подминает человека и на стене рисует перстами страшные слова вроде привидевшихся Валтасару. Человек их видит, но поделать ничего не может, хотя вся его жизнь — опровержение этих слов.

Как я уже писал, он знал себе цену и прекрасно понимал, что его известность — причина мифологизации его образа. Напомню

его слова, сказанные в юности: «Я не хотел бы славы — она убивает». И Суворову он пишет как раз об этом, только тоном не неопытного юнца, а уже сложившегося с репутацией ученого: «Почему же обо мне ходило множество нелепых слухов? Я не очень скромн, потому скажу просто: я был человек очень заметный в литературе. Как о всяком человеке, которым много занимаются, говорят много пустого, так говорили и обо мне. Например, много кричали о моем образе мыслей. В моем положении излагать его — неудобно: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал его вашей светлости, излагал без всякой надобности, просто потому, что не имел причин скрывать его, — излагал с такими оговорками, которые могли доказывать, что я не хотел лгать или утаивать что-нибудь из него. <...> Я смело утверждаю, что не существует и не может существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству» (*Дело*, 270–271).

Вроде был выход вырваться из страшного круга сплетен — покинуть Россию. Он не уехал и напоминает об этом Суворову, деликатно умалчивая о предложении самого князя, а, может, не просто из деликатности, а опасаясь неприятностей для губернатора. Он пишет: «Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их не может существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге в последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне — завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте?» (*Дело*, 273). Но почему же?

«Реформист-постепеновец»¹, так именует Чернышевского В.Ф. Антонов. И это очень важное соображение. У него не было расчета на революцию. Это прямо противоположно позиции Герцена, который искал в России как позитива радикально-разрушительных идей, мечтая о разрушении империи, равняя себя то с Ганнибалом («аннибалова клятва»), воевавшим с Римской империей, то с Александром Македонским (псевдоним Герцена —

¹ Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский: Общественный идеал анархиста. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 174.

«Искандер»), разрушившим Персидскую империю. О последствиях разрушения империи — хаосе, принесенном горе сотням тысяч людей, лишенных своего места жительства и ушедших в изгнание и пр. — он даже и в соображение не брал. Нечто подобное и вправду случилось после распада Российской империи: несколько миллионов бежавших, спасаясь от гибели, в чужие страны, страшное изгнание, не эмиграция богатого барина, а голодное, нищее скитальчество, и десятки миллионов попавших в ужасы гражданской войны. Радикалы-разрушители, как правило, о последствиях не думают. К теме революции мы еще вернемся, пока же замечу, что в своей философии истории НГЧ был абсолютно оригинален, не повторяя «последних слов» Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А.С. Суворина: «Он не уступит лучшим характерам прошлого времени», к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы — посмел «выйти из пеленок западной мысли и <...> говорить от себя, <...> свои слова, а не чужие»¹. Он хотел не разрушать, а строить Россию. Немного забегая вперед, замечу, что *реформатор не может быть эмигрантом, это позиция радикала.*

Ответа не было. Вероятно, он был прав в своих «Письмах без адреса», когда писал: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (*Чернышевский*, X, 92–93). И все же он был уверен, что его должны выпустить. Ибо никаких улик так и не было найдено. И он писал жене уже 7 декабря: «Когда ты уезжала, я говорил тебе, по поводу слухов беспрестанно разносившихся, о моем арестовании не полагаю, чтобы меня арестовали; но если арестуют, знай вперед, что из этого ничего не выйдет, кроме того, что напрасно компрометируют правительство **опрометчивым арестом, в котором должны будут извиняться**, потому что я не только не запутан ни в какое дело, но и нет возможности запутать меня в какое бы то ни было дело. **Эти слова мои верны, и я тебе теперь поясню их результатами, какие вышли наружу, — вероятно, не для одного Петербурга, но и для европейской публики, — моя история, конечно, уже разгласилась, потому можешь и ты знать ее**» (*Дело*, 277; выделено мной. — В.К.). Несмотря на все свое понимание особенности российского пути он все же рассчитывал на евро-

¹ *Достоевский Ф.М.* Новые материалы и исследования // Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 380.

пейскую поддержку, понимая, что реформы Александра – результат европейского давления. Может, так и случилось бы, но русские литераторы, имевшие контакты с западными политиками и журналистами (Герцен, Огарёв, Кавелин, Тургенев т.п.), были настолько разобижены Чернышевским, что никто его не поддержал. Более того, скажем, Кавелин, как мы видели, поверил даже в легенду о пожарах Достоевского в те годы Запад, строго говоря, не знал. Много позднее русские радикалы-эмигранты, общаясь с западными интеллектуалами, рассказывали о Чернышевском. Один из ведущих мыслителей Запада того времени, Карл Маркс, специально выучил русский язык, чтобы читать Чернышевского, и говорил, что НГЧ – крупнейший русский мыслитель европейского масштаба. Но впервые он услышал о Чернышевском только в 1867 г., когда тот был уже на каторге. Он называл его великим русским экономистом, думал как воздействовать на русское правительство, чтобы освободить НГЧ. Но было, конечно, уже поздно. Уже была Сибирь. Правда, быть может, самый благородный из русских революционеров и друг Маркса, Герман Лопатин, сделал безуспешную попытку освободить Чернышевского. Но это тема следующих глав.

Пока же остаемся в пределах тюремной переписки НГЧ. Важное письмо жене он написал, а вот его судьба. Письмо не было пропущено. А рукой начальника Третьего отделения А.Л. Потапова написано: «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене. Но он ошибается: **извиняться никому не придется. 12 декабря 1862»** (Дело, 618: выделено мной. – В.К.). Но для этого нужны были улики, а их пока не было. И Потапов тщательно, я бы даже сказал, со страстью их искал. По свидетельству племянницы, «в то время и долго спустя самому Чернышевскому жестокое будущее не представлялось во всей трагичности. Он был уверен, что неуязвим, он знал, что никаких сколько-нибудь обоснованных улик против него не могло существовать»¹. Знал это и Потапов. Поэтому и думал о фабрикации улик.

Тем временем жена НГЧ, его «голубочка», натурально бесновалась. «Надвигавшаяся необходимость ограничивать траты оказалась главной бичем, разбившим жизнь неуравновешенной молодой женщины. Запас ее кипучих сил властно требовал личного счастья, как она его понимала, – смены впечатлений, внешнего эффекта, игры, веселья, – и рвался преодолеть пре-

¹ Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. С. 45.

граду, воздвигавшуюся неумолимою действительностью. <...> Действительность раздражала ее, как досадная помеха»¹.

И о смысле этой формулы стоит задуматься. Замечательная американская исследовательница называет Чернышевского «человеком эпохи реализма». Тема реализма — постоянная тема и его, и Добролюбова, и Писарева. Но жене он создал условия сказки, когда суровая реальность жизни ее не достигала. Но действительность раздражала и Потапова. В реальности, в действительности улик не было, был рации и порядок. Нужно было создать хаос, путаницу, в которых расцветает миф. По словам поэта Случевского:

Неподвижен один только — старец веков —
В той горе схоронившийся Миф.

Он в кольчуге сидит, волосами оброс,
Он от солнца в ту гору бежал —
И желает, и ждет, чтобы прежний хаос
На земле, как бывало, настал...

В своей «Семирамиде» Хомяков замечал, что «русским можно лучше других народов Европы понять переход саг (сказаний) в мифы. Мы еще недавно вышли из эпохи легковерной простоты и затейливой сказочности»². И на судьбе Чернышевского эта особенность российской ментальности сказалась в полной мере.

Поэт — мифолог и клеветник

Но миф должен жить дальше и подпитываться свежей кровью, и это было важно, поскольку основы для создания юридического дела все же в руках у полиции не было. И тут на свет является второй Костомаров, которого одно время считали племянником историка. Но Всеволод Костомаров был поэт и переводчик и, как потом выяснилось, гениальный создатель мифов. Правда, тех мифов, в которые слушавшие хотели верить.

Как писал Шелгунов, «зимой 1860 года приехал из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров (племянник историка) с рекомендательным письмом к Михайлову от Плещеева (поэта). Когда Михайлов был сослан в каторгу, Плещеев сильно укорял себя за эту злополучную рекомендацию, но точно что-нибудь можно

¹ Пытина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. С. 47, 51.

² Хомяков А.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1994. С. 131.

было предвидеть». Стоит отметить, что Всеволод Костомаров не был по крови племянником историка, хотя роль они сыграли похожую. Младший, правда, превзошел старшего. Но символически это племянничество любопытно. Возможно, что и Всеволод не отрицал этого легендарного родства, оно придавало ему значительность.

Доносчик-поэт, но не просто поэт, а мифолог, создатель мифологических сюжетов, где есть персонифицированное зло, создатель организации типа тайного ордена иезуитов и т.п. Строго говоря, он подал идею Нечаеву и компании о возможности тайного ордена не в легенде, а в реальности, в России. И окончательный миф о Чернышевском-революционере создал сумасшедший и трус, безумец и сикофант, лжесвидетель и клеветник Всеволод Костомаров. Этот миф очень подошел безумию революционеров, особенно сифилитику Ленину, с моноустремлением человека, проповедовавшего под именем рационализма полное безумие и жестокость.

Все же несколько слов об этом антигерое. Всеволод Дмитриевич Костомаров родился в 1837 г., мелкий дворянин, имевший маленькое имение в Ярославской губернии. Окончил Московское артиллерийское училище, в 1858 г. произведен в корнеты. Проездив четыре месяца по Европе, в 1860 г. оставил службу «по болезни», вернулся в Москву, где жила вся его семья. Там он занялся литературой. Переводил Гейне, Беранже и других, чьи сочинения отвечали умонастроениям молодежи. Но он очень хотел войти в избранный круг молодых литераторов. Его молодость никого не смущала. Молодым был и блистательный Добролюбов, да и Чернышевскому было всего немного за тридцать. Но ближе всего он сошелся с бывшим петрашевцем, арестованным когда-то вместе с Достоевским, замечательным поэтом Алексеем Николаевичем Плещеевым (1825 г.р.). Именно Плещеев послал Достоевскому копию с письма Белинского к Гоголю, за чтение вслух которого Достоевский был приговорен «к смертной казни расстрелянием». Они были оба выведены в 1849 г. на Семеновский плац, ожидали казни, но расстрел был заменен кому каторгой, кому солдатчиной. Дружба Достоевского и Плещеева в 1840-е годы была основана на общем умонастроении, которое Достоевский называл «мечтательством». Плещеева считают одним из прототипов *Мечтателя* в повести Достоевского «Белые ночи», посвященной как раз Плещееву. После каторги и солдатчины с конца 50-х он становится активно печатающимся в «Современнике» автором. О нем написана весьма положительная статья Добролюбова. Он стал своим в

кругу молодых «реалистов». Печатался он и в журналах Достоевского. Но мечтательность осталась определяющей чертой поэта на всю жизнь. Много пережившему в жизни поэту показался привлекательным молодой человек, небогатый, но знающий языки и обладающий поэтическим талантом. И в 1861 г. он дал Костомарову рекомендательное письмо для Чернышевского и Михайлова, которых тот впоследствии оклеветал и посадил. Так опосредованно снова пересеклись пути Чернышевского и Достоевского.

Рассказывая о своем знакомстве с Костомаровым и рассказываясь в том, что он свел негодяя с Чернышевским и Михайловым, Плещеев фиксирует одну особенность Костомарова, которая и легла в основу его мифологической способности: «В то время как я жил в Москве, пришел ко мне однажды Ф. Берг, помещавший иногда свои статьи в “Современнике”, и привел молодого уланского офицера Всеволода Костомарова, которого рекомендовал мне как даровитого переводчика стихов. Он прочел мне несколько своих переводов, и они действительно оказались хорошими. После этого он стал заходить ко мне часто, и я содействовал ему к помещению его стихотворений в журнале. Сначала он мне понравился, показался скромным, застенчивым молодым человеком. Впоследствии открылась в нем одна крайне несимпатичная черта: он был страшный лгун и принадлежал к совершенно особенной породе лгунов: **он лгал “скромно” и таким искренним, по-видимому и правдивым, тоном, что ни в ком не вселял к себе недоверия. И в том, что он говорил, никогда не заключалось чего-нибудь невероятного, невозможного.** К сожалению, обнаружилось это уже тогда, когда он уехал из Москвы. Я случайно узнал, например, что все, что он мне рассказывал о своем пребывании за границей, было чистой выдумкой, что он никогда и не ездил в чужие края. Точно так же он раз принес мне поэму юмористического содержания, очень бойко написанную и которую он выдал за свою, между тем как поэма эта оказалась впоследствии написанною не им. Несколько времени спустя после моего с ним знакомства он задумал ехать в Петербург, сказав мне, что выходит в отставку и желает жить литературным трудом. Он просил дать ему рекомендательное письмо в редакцию “Современника”. Я исполнил его желание и рекомендовал его Николаю Гавриловичу и Мих. Ларионовичу Михайлову как человека, отлично знающего языки — в чем я действительно успел убедиться, — и очень способного к компилятивной работе. Они прекрасно приняли его, обласкали, и в “Современнике” стали появляться его работы» (выделено мной. —

В.К.)¹. Интересно, что лживость его приобрела фантазмагорические черты, перейдя даже в XXI век. В Википедии, посвященной Всеволоду Костомарову, помещена фотография, но не его, а Василия Васильевича Розанова, замечательного философа и писателя, человека, написавшего, быть может, лучшие слова о Чернышевском. Почему? Говорю же, фантазмагория!

Был еще момент, он очень хотел не только стать своим, но и показать себя сверхрадикалом, и на увлекающихся литераторов его слова подействовали. Он намекал, а потом и просто говорил, что располагает печатным станком, где может печатать запрещенные тексты, а если нужно, то и воззвания. При этом выглядел серьезным заговорщиком. Многие поддались, как когда-то среди петрашевцев поддался Достоевский на провокацию завести печатный станок. Литераторы! Они хотя видеть свое слово напечатанным. А явился Костомаров в таком ореоле, по воспоминаниям Шелгунова: «Он привез революционное стихотворение, — к сожалению, его не помню, — напечатанное домашними средствами и с пропечатанной внизу фамилией: “В. Костомаров”. Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией. Костомаров служил уланом и стоял, кажется, в Твери, а его мать жила в Москве. Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова с оттенком какой-то убитости казалась мне чем-то римским. Сухой и нервный, всегда мрачный и не особенно речистый, он мне напоминал прежних заговорщиков времен Цезаря. <...> Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать»². Сомневался только Чернышевский, желавший лишь легальной деятельности: «Я никогда не доверял Костомарову, — говорил Чернышевский, — и относился к нему крайне подозрительно, советовал и всем нашим быть с ним осторожнее, но как Михайлов, так и Добролюбов находили мои подозрения совершенно неосновательными; однако последствия показали, что я был прав. Он питал ко мне сильное нерасположение. Ко-

¹ Плещеев А.Н. Письмо А.Н. Пыпину // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 270—271.

² Шелгунов Н.В. Первоначальные наброски // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 181—182.

торое усилилось после того, как я отказал ему в деньгах... Но, кроме того, я вполне уверен, что Костомаров в это время был душевнобольной»¹. Собственно, душевнобольным он считал и историка Костомарова. Человеку абсолютной нравственности трудно было представить, что кто-то в здравом уме решит стать негодяем. Торжество безумия над рацией — постоянный мотив исторической жизни, проявляющийся во всех деталях исторической жизни, как-то особенно гнусно победил разумного, гуманного и верующего рационалиста Чернышевского.

Но и семейка Костомарова была в духе Всеволода. В 1861 г. в августе его брат Николай пишет донос на брата, называя его «главой партии». Всеволода арестовывают, допрашивают, потом отпускают. Но жандармский подполковник А.Н. Житков успел заметить, что Костомаров «чрезвычайный трус». Это доходит до Потапова, и он начинает приглядываться к Всеволоду Дмитриевичу. В сентябре 1861 г. В.Д. Костомаров пишет донос на имя нового управляющего Третьим отделением графа П.А. Шувалова о Михаиле Илларионовиче (Ларионовиче) Михайлове, которого вскоре арестовывают. В 1865 г. Михайлов умирает в селе Кадая, где потом часть времени провел каторжанин Чернышевский. О роли Костомарова в деле Михайлова узнали прежде всего в «Современнике». Это резко изменило отношение литературного сообщества к доносчику. С ним разрывают литературные отношения многие журналы и писатели, даже добродушный Плещеев пишет ему, что затеянную было совместную с Костомаровым работу он вынужден прекратить. Костомаров врал и оправдывался. Эту его склонность к вранью осознал и Плещеев, а Михайлов, даже еще не зная, кто его продал, писал, что Костомаров «любит лгать». В последнее свидание с Михайловым В. Костомаров, жалуясь на безденежье, вдруг заявил, что, «если так будет продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валенрода и говорил шутя; но слова его, — вспоминал Михайлов, — чрезвычайно неприятно подействовали на меня»². Заметим, что Конрад Валенрод, герой поэмы Мицкевича, литовец, вступил в орден меченосцев, чтобы мстить врагам Литвы. Кому собирался мстить Костомаров? Неужели жандармам? Разумеется, шутка была вялым прикрытием реальных желаний антигероя.

Но актерские способности, как у всякого лгуна и мистификатора, он проявил в полной мере. Поразительны его письма —

¹ *Рейнгардт Н.В.* Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 395.

² *Михайлов М.И.* Записки (1861—1862). Пг., 1922. С. 27.

не только подделки от имени Чернышевского, но и десяток писем знаменитому сыщику, чиновнику по особым поручениям И.Д. Путилину (замечу, кстати, для современного читателя, что он послужил прототипом знаменитого Фандорина, героя романов Акунина), которые писались совершенно шутовским образом от разных лиц, с романтически-таинственной значительностью, словно из романов Эжена Сю – то от некоего Сеида, то от женщины, заинтересованной в судьбе своего мужа, то за подписью «брат твой Николай Озерец», то Феофан Отченашек. Таких игручих писем немало. В том числе и другим людям, чтобы изобразить обширность заговора. Взять хотя бы его письмо приятелю Плещеева Николаю Шиповалову, которого именует *Иван Сергеевич*, как бы революционный псевдоним, чтобы изобразить тайным сторонником тайного общества. Хорош текст, хороша и подпись: «Ну, прощайте пока. Непременно отдайте письма – вы не измените этим данному мне вами слову, потому что я дня через четыре опять возвращу их. Тогда я подробно напишу вам, зачем и для кого я беру их. От людей, сидевших уже во рве львином, я слышал, что там представляется иногда возможность писать воровские (как говаривалось когда-то) письма. Рекомендую вам подателя сего, как юношу, сильно желающего войти в ваш кружок. Насколько найдете возможным сделать это – сделайте; потому что и он, может быть, будет не бесполезен вашему делу. Конечно, вы будете осторожны с ним на первое время, – пока сами не испытаете, что он искренно предан идеям людей вашего склада, – в чем примите пока мое искреннейшее уверение. Прощайте пока. Крепко жму руку вашу. Низкий поклон братии нашей. Подайте хоть какую-нибудь весточку: что, как дела. Ваш навсегда *Ал. Кнохенимит*. Москва, 3 января. Сушевская часть» (*Дело*, 167). Потом он сочинил и подложное письмо от Шиповалова, где тот выступает сторонником радикальных мер.

Но в какой-то момент (поскольку разные ведомства вели это дело) Костомарова отправили на Кавказ в действующую армию, куда он категорически не хотел. Тогда он сделал все, чтобы задержаться. Как указано в бумагах по делу Чернышевского: «Разжалованный из отставных корнетов в рядовые по высочайше утвержденному мнению Государственного совета за печатание возмутительных прокламаций <Всеволод Костомаров> препровождается был в Кавказский линейный батальон. Дорогою в Туле он сделался болен, и в это время написал несколько писем к своим родным. Одно из писем по величине своей показалось сопровождавшему его жандармскому капитану Чулкову подозрительным. Он, отобрав его, препроводил в III отделение собственной

его величества канцелярии. Оно адресовано на имя некоего Николая Ивановича Соколова. В нем Костомаров подробно описывает свое дело и доказывает, что в преступление вовлек его Чернышевский, который и сочинял “Воззвание к барским крестьянам”, напечатанное им. В этом деле принимали большое участие Михайлов (потом осужденный государственный преступник) и полковник Шелгунов, сочинивший воззвание к солдатам. Сверх сего Костомаров писал, что Чернышевский, бывши с ним в Знаменской гостинице, сочинял воззвание к раскольникам.

Вследствие сего Костомаров был возвращен в Петербург, где на допросах в комиссии подробно объяснил весь ход события и участие в нем Чернышевского. При обыске его в III отделении у него найдены три письма Михайлова, одно Шелгунова и записка карандашом следующего содержания: “В. Д. вместо «срочно обяз.» (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде «временно обяз.», как это называется в Положении. Ваш Ч.” Костомаров объяснил, что эту записку оставил у него Чернышевский, не застав его дома, для исправления вкравшейся ошибки в воззвании, им сочиненном, а им, Костомаровым, печатанном, к барским крестьянам. И действительно, в воззвании, имеющемся в деле Костомарова, значится: срочно обязанные, а не временно обязанные. Эту записку Чернышевский не признает за писанную им» (*Дело*, 341–342). Стоит отметить, что поначалу, не подозревая, насколько именно фигура Чернышевского интересует Третье отделение, он на допросах приписывал авторство прокламации «Барским крестьянам...» то Михайлову, то Добролюбову. Но Добролюбов умер, а Чернышевский по-прежнему был на прицеле.

Но надо было создать образ огромной организации, будто тайный орден иезуитов. Он был своего рода Нечаев наоборот. Но бесовщина пришла позже не без влияния созданной властью истерии о возможности революционного переворота. Нечаев хотел изобразить, что его пятерки — часть огромной революционной организации. Более того, он тоже писал подметные письма интеллигентам-либералам с крамольным содержанием, чтобы адресаты попали в полицию и в знак протеста шарахнулись к радикалам. А Костомаров придумывал эту организацию, чтобы, напугав власть, выгородить себя.

Костомаров не щадил никого. Среди прочих писем, он представил в Третье отделение письмо, написанное почерком Чернышевского и адресованное «Алексею Николаевичу». Расчет был на сообразительность жандармов, ведь из близких знакомых НГЧ только один Алексей Николаевич был некогда арестован

как революционер-петрашевец. И жандармы сообразили: «Главный начальник III отделения собственной его императорского величества канцелярии препроводил к статс-секретарю князю Голицыну полученное во вверенном ему управлении письмо титулярного советника Чернышевского к Алексею Николаевичу (вероятно, Плещееву) вместе с копиею этого письма. Так как в письме этом заключаются обстоятельства, относящиеся к делу Чернышевского, то упомянутое письмо с копиею оною князь Голицын препроводил к г. управляющему министерством юстиции для совокупного рассмотрения в правительствующем сенате с делом о Чернышевском. К сему князь Голицын присовокупил, что помещенные в письме начальные слова “Сул.”, “Сор.” и буква К., по всей вероятности, должны означать фамилии Сулина, Сороко и Костомарова, так как о сих лицах упоминалось в произведенном состоящей под его председательством Следственной комиссии деле о Чернышевском. Упомянутое письмо с копиею, по поручению г. управляющего министерством юстиции, имею честь предложить правительствующему сенату для совокупного рассмотрения с делом о титулярном советнике Чернышевском.

Обер-прокурор *Чемадуров*.

Копия с письма. Добрый друг Алексей Николаевич! Может быть, вы и справедливы, упрекая меня за слишком большую доверчивость, оказанную людям, едва мне знакомым; я и сам очень хорошо знаю, что, несмотря на все принятые мною предосторожности, рискую очень м<ногим>, но – кто виноват? Вы знаете, что времени терять нельзя; (теперь) или никогда; тут раздумывать много было бы преступлением, – слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкой, никогда не поправимой. Вы вот около уже полугода водите нас со своим станком, и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы не можем, если хотим, чтобы дело наше было выиграно. В то время, как вы откладываете со дня на день, <нам> подвернулись под <руку> люди, хотя <са>ми по себе, и, весьма, как ви<дно>, пуст<еньк>ие, но все-таки энергичные более года занимавшиеся тайным печатанием, стало быть, вести свое дело умеющие. Мы не могли не воспользоваться таким удобным случаем <напе>чатать свой манифест, тем более, <что в> случае неуспеха самая большая доля ответственности падает на них самих. Тем не менее вы все-таки примите свои меры к прекращению всех слухов, которые могут повредить нам, потому что я уже не от вас одних слышу, что Сулин (или как там его) хвастает знакомством со мной и рассказывает будто (я) отдал ему для тайного печатания свое сочинение

(?). Старайтесь заглушить эти слухи: это будет вам тем более легко, что, как я слышал, и Сул., и Сор. не пользуются в Москве репутацией людей положительных и дельных.

Что касается до К., то на него, кажется, можно положиться, хотя, конечно, и с ним нельзя чересчур откровенничать, не следует, не испытав предварительно верности его на деле. Впрочем, он <мне ка>жется человеком дельным и <полезным> и я во всяком <случае весьма> благодарен вам за знакомство с ним.

Я ничего не пишу вам теперь о литературных делах, хотя на<копи>лось довольно много новостей для вас небезинтересных. По обыкновению с<пешу, и>ли лучше сказать спешит К., с которым я отправляю это письмо.

Вы все по-прежнему продолжаете сомневаться в добром исходе нашего дела; так <не> годится. Больше энергии, больше веры <в >успех. Дремать грешно в такое удо<бное> время, когда все проснулось. Оттого <у вас> ничего и не выходит. Нет, мы не тер<яем времени в бесплод>ном раздумье. Посмотрите, каких <чудес> наделал Л<авров> с своими офицерами или в Понизовье. Ваша работа легче, а подвигается медленнее; отчего? Энергии мало, мало, силы воли.

Совсем некогда. Жму вашу руку.

Ваш Черныш.

Скоро буду писать <через К.>» (*Дело*, 355–356).

Поразительно подлое письмо. Будто революция вот-вот грянет: «все проснулось», а на Костомарова, «кажется, можно положиться». Почерк был подделан, но не очень искусно. Потом это письмо было отстранено, но все равно оно тоже встало как пазл в общую картину обвинения. Конечно, со страха, чтобы выгородить себя и спасти от действующей армии. Но степень бессовестности зашкаливала, когда человека, делавшего ему только добро, он обвинял в государственном преступлении, причем прямо в лицо. Плещеев психологически описал этот процесс страха, который приводит к предательству и клевете, причем то, что касалось до него, он описал с какой-то брезгливостью:

«Из Петербурга мне сообщили, что он ужасно дурно держал себя при допросах и, чтобы выгородить себя, клеветал на Ник. Гавр. и Михайлова, которых также арестовали. Понятно, что после этого я прервал с ним всякие сношения. Потом он был опять увезен в Петербург и, как я слышал тогда, разжалован в солдаты, куда-то выслан, но с дороги послал в III-е Отделение письмо, что имеет сделать важные открытия. Как известно, это открытие, ценою которого он получил себе свободу, заключалось в том, что он подделал под руку Ник. Гавр. письмо к од-

ному литератору, жившему в Москве, и представил это письмо в III-е Отделение. Письмо было без конверта и, следовательно, без адреса. Литератор назывался “Алексей Николаевич”. Так как в Москве других литераторов, носящих это имя, кроме меня, не оказалось, то у меня был сделан обыск, при котором в моих бумагах ничего подозрительного не нашлось, и я оставлен был на свободе, но был вызван в сенат в качестве “свидетеля”, и там, после допроса, мне была дана очная ставка с Костомаровым. Он утверждал мне в глаза с необыкновенной наглостью и злобой, что будто я рекомендовал его Ник. Гавр. как человека способного и пригодного для политической агитации. Эта очная ставка, разумеется, окончилась тем, что мы оба остались при своих показаниях. Когда меня допрашивали сначала одного и показали мне письмо, приписываемое Ник. Гавр-чу, я, отвергнув его подлинность, дерзнул, однако же, спросить, откуда же письмо это могло взяться, так как ни у меня при обыске, ни у Ник. Гавр. оно не было найдено, — но на это никакого ответа мне не дали. Подделка под руку Ник. Гавр., и самая грубая, бросилась в глаза, в особенности во второй половине письма (оно было на 4 страницах). Тон его также совсем не походил на тон Ник. Гавр., никогда не употреблявшего тех выражений, которые там встречались. Не говорю уже о том, что содержание письма было совсем для меня непонятно. Меня упрекали в нем за недостаток энергии, и в образец мне ставились какие-то люди, “действовавшие на Волге” и пр., словом, говорилось о таких вещах, о которых я никогда не слышал от Ник. Гавр.»¹.

То, что проделал Костомаров, нельзя, строго говоря, назвать *доносом*. Это была очевидная *клевета*. Впрочем, оружие древнее. «*Клевета всё потрясает и колеблет мир земной*», напомним арию дона Базилио из «Севильского цирюльника». Но еще в Откровении говорится как о важнейшем деле о «низвержении клеветника» (Откр. 12 : 10). В Притчах об этом же: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, 18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» (Пр. 6 : 16–19). И если окончательно сформулировать, **это была клевета в форме доноса.**

Конечно, что такое клевета, Чернышевский знал с юных лет, помнил, как был оклеветан его отец, и пытался опровергать ее разумными и реальными доводами, очевидными каждому не-

¹ Плещеев А.Н. Письмо А.Н. Пыпину. С. 271–272.

предвзятому человеку. Примеров немало. Костомаров утверждал, что Чернышевский заводил его в свой кабинет, где вел непозволительные противоправительственные речи. Как он объясняет этот единственный визит Костомарова в свой кабинет? НГЧ провел Костомарова в свой кабинет, ожидая какой-то литературной просьбы, что нормально в разговоре начинающего литератора с руководителем журнала. Костомаров хотел провоцировать Чернышевского, но тот не любил в принципе такого рода разговоров. И вот что он сообщает следствию спокойно и здраво: «Мне кажется, что я могу теперь ожидать веры в следующее мое показание о действительном содержании этого разговора. Вот оно. Г. Костомаров, начав речь с Сборника переводных стихотворений, который он издавал тогда, перешел к обыкновенным жалобам литераторов на цензуру, а от них начал было переходить к тому, что вообще дела у нас в России идут плохо, но на этом совершенно еще неопределенном периоде его слов я остановил его шутивным вопросом, велико ли у него состояние, когда он служит репетитором в одном из московских кадетских корпусов, — я привык находить, сказал я, что между преподавателями кадетских корпусов нет людей очень богатых (о том, где он служит, я спрашивал у него прежде, когда мы сидели в зале). — “Никакого состояния, кроме маленького, разваливающегося домика у моей матушки”. — Ах, у вас есть матушка? — спросил я иронически. — “И сестры”, — отвечал он. — Вот как, у вас есть матушка и сестры, — сказал я с еще более горькой иронией, — и, вероятно, живут доходами с этого разваливающегося домика? — “Нет, какой же с него доход”, — отвечал он уныло, — “я содержу их своею работою и жалованьем”. — А когда так, — сказал я серьезным тоном, — то вам следует думать не о том, хорошо или дурно идут дела в России, а о вашем семействе, которое вы обязаны содержать вашими трудами, — сказав несколько слов на эту обыкновенную тему обыкновенным тоном людей, успевших поостыть и читающих по всякому малейшему поводу нотации молодым людям о семейных обязанностях и рассудительности, — я встал, и мы возвратились в зал» (*Дело*, 322). Всякому непредубежденному человеку его правдивость должна была быть очевидна. Тем более жандармам, знавшим о всех привычках своего подопечного. Одна ошибка особенно умилительна, и Чернышевский *отвергает ее не без иронии, свойственной ему*: «Г. Костомаров ввел в свое показание другое обстоятельство, которого не вздумал бы утверждать при близком знакомстве с моими привычками. Он говорит, будто я читал ему и г. Михайлову вещь, написанную мною. Всякий близко знающий <меня> знает, что

это — нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцеванье балетных танцев и собиранье милостыни под окнами» (*Дело*, 324).

Создание образа страшного злодея

Поразительное дело, но задача жандармского управления была не в том, чтобы открыть реальность, а в том, чтобы сотворить страшного революционера из влиятельного, но вполне мирного журналиста. Сыщик И.Д. Путилин, одно время *разрабатывавший Костомарова*, привыкший к нравам воровского мира, принял как реальность сюжет, сляпанный Костомаровым по мотивам французских романов, типа Эжена Сю, Александра Дюма, Виктора Гюго, где действовали разветвленные огромные преступные шайки. И написал в отчете: «Письмо это и приложения к нему я представил князю Суворову, и его светлость после сего немедленно приказал видеться мне с Костомаровым и узнать характер его сведений и каким путем можно иметь оные. Корнет **Костомаров лично объяснил мне, что он есть член тайного общества**, которое стремится к опровержению всего, что только есть священного для каждого русского верноподданного, **но ныне, разойдясь в убеждениях, в плане и цели действия сего общества, решается открыть не только лиц этого общества, но их типографии и план действия**, но открытие это он иначе не согласится сделать, как после объявления решения по делу его и единственно чрез посредство князя Суворова. **Вслед же за сим он, Костомаров, в письме, написанном условными буквами (№ 4), сообщил мне, что он берется открыть следующее: несколько главных узлов огромной сети тайного общества, покрывающей большую часть России, столичные революционные комитеты до 150 членов и до 200 корреспондентов тайного общества, выдать корреспонденцию 3 человек — руководителей тайного общества, указать помещения тайных типографий с объяснением, где и кем приобретены шрифт и станки, но для того, чтобы дать ему возможность исполнить это, и даже сделать гораздо более, должны быть правительственными лицами выполнены следующие условия его: он не должен в деле этом <быть> замешан ни в качестве участника, ни в качестве открывателя или свидетеля, и для отклонения подозрения в измене обществу он должен быть разжалован в рядовые на Кавказ, и вместе с тем это может служить правительству ручательством, что со стороны его будут исполнены обещания. Если же оказанная им услуга будет велика, то назначить его семейству пособие, а ему**

даровать право выслуги. Письмо это в подлиннике я представил князю Суворову и в записке (№ 5) докладывал, что если угодно будет возложить на меня открытие этого дела, то за успешный исход его я могу ручаться только в таком случае, если будет для сего назначена в начале **наисекретнейшая комиссия и если я не буду стеснен в личных действиях моих и денежных средствах.** Засим в июне месяце я вновь подал его светлости записку № 6 и, изложив в ней высказанные мне Костомаровым сведения о средствах революционной партии, и по случаю обширных размеров этой политической заразы заявлял о необходимости содействия в деле этом управления III отделения и г. министра внутренних дел. Обо всем изложенном докладывал я гг. шефу жандармов, министру внутренних дел и начальнику III отделения, но получил лишь от генерал-адъютанта князя Суворова приказание отправиться к Костомарову и объявить ему, что государь император высочайше соизволил изъявить его светлости согласие на просьбу Костомарова» (*Дело*, 170–171; выделено мной. — В.К.). Замечательна способность Костомарова облечь свою ложь в почти правдоподобные формы, где даже имена не называются, но ужас перед «революционной партией» нагнетается. Особенно хорошо своей деловитостью «Объявление революционного комитета», комитета, разумеется, несуществующего:

*«Революционный комитет
в заседании своем*

14 октября 1862 года

Положил:

§ 1. Издание газеты “Мысль и дело” приостановить до нового года; изготовленные номера сдать на хранение в архив комитета и затем действие главной типографии приостановить.

§ 2. По распоряжению Верховной Думы Всероссийский съезд депутатов назначается в Петербурге к 15 января. Выборы депутатов от Московского общества будут произведены 22 декабря. Временная типография изготовит по сему предмету особые циркуляры, литография же комитета озаботится изготовлением трех тысяч экземпляров сеймового устава.

*§ 3. Гг. казначеи приглашаются к 27 представить трехмесячные отчеты» (*Дело*).*

Суворову, однако, показалось, что краски слишком сгущены, и дело Чернышевского вернулось к Потапову, который и довел его до конца» (*Дело*).

И тогда самой страшной поначалу для заключенного стала подделка его руки под прокламацией «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». И хотя прокламация не была распечатана, тем более распространена, хотя ее смысл вовсе не клонился к призыву к бунту, напротив, текст призывал «не поднимать булгу», хотя, и это самое главное, не было строго доказано, что почерк принадлежит Чернышевскому, ее можно было трактовать как антиправительственное высказывание, обращенное к народу. Тут, конечно, стоит привести слова А.Н. Пыпина: «Показания Костомарова, — писал Пыпин, опираясь на полученные у Чернышевского сведения, — клонились к тому, как я после слышал, что якобы Чернышевский побуждал его напечатать в тайной типографии в Москве какое-то воззвание к дворовым людям (безграмотность которых Чернышевскому была прекрасно известна). Но эти первые изветы В. Костомарова остались безуспешны, подтвердить их он ничем не мог»¹. Это напоминает ситуацию с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву», которое простой народ не мог читать и из-за сложности текста, но прежде всего из-за полной неграмотности простого народа.

Стоит отметить стилистику приговора, где простая просьба Чернышевского подавалась как подозрительное действо: «Чернышевский домогался пред правительствующим сенатом, чтобы сличение почерка руки, коим писано было письмо к Алексею Николаевичу, дозволено было ему произвести самому с почерком Костомарова и чтобы ему дали для сего лупу, увеличивающую в 10 или 12 раз. Но правительствующий сенат, имея в виду, что при сличении соблюдены были все требуемые законом обряды и формы, в домогательстве его отказал» (*Дело*, 427; выделено мной. — В.К.). Документы с несомненностью изобличали В. Костомарова как клеветника в утверждении, будто Чернышевский являлся автором возвания «Барским крестьянам...». Ни одно из его «признаний» не выдерживало критики и не могло рассматриваться в качестве заслуживающего доверия источника. Как пишет исследователь: «Разноречия в показаниях с несомненностью обнаруживают одно: В. Костомаров не знал действительного автора возвания к крестьянам и указал на Чернышевского только под нажимом Потапова, который вместе с Долгоруковым и Голицыным уже разработал план приведения в действие костомаровских “откровений” годичной давности. Ни в путилинских

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть третья. 1850—1864. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. С. 263.

записках, ни на допросе 18 января 1863 года сам В. Костомаров о Чернышевском как авторе воззвания к крестьянам не говорил. Теперь же эта тема стала главной в его показаниях». Но на очной ставке с Костомаровым в комиссии НГЧ твердо сказал: «Я поседею, умру, а не перемену своего показания» (*Дело*, 427).

К тому же уязвимость «доводов» В. Костомарова была ясна и главному жандарму, они явно нуждались в усилении, прежде чем быть представленными сенату, «и Потапов задумал доставить следственной комиссии ещё одно в исполнении В. Костомарова “веское” доказательство “вины” Чернышевского в составлении подпольного листка — обстоятельный разбор его литературной деятельности. Новое “свидетельство”, по замыслу его создателей, должно было оказать психологическое воздействие на сенаторов, приобретая в то же время силу и значение политического фактора»¹. А стало быть, надо было создать нечто, что убедило бы царя и сенаторов. Новый ход подсказал Потапов, предложив Костомарову проанализировать пропущенные цензурой статьи Чернышевского в «Современнике» и показать, что, несмотря на подцензурность, их автор умудрялся говорить в них против существующего строя, религии и нравственности. Реальность из этого задания удалялась, было предзаданное действие, как бы ни анализировать, но надо было в результате прийти к определенному выводу. Примерно таким же образом потом писались тексты в советское время, когда идеологический результат любого рассуждения был известен заранее.

Неправедность совершенного понимали даже жандармы. Смущала также и реакция сенаторов. Все же люди должны были быть ответственными, блюсти букву закона. Но работа Костомарова по «революционному прочтению» прошедших цензуру статей Чернышевского свою роль сыграла. «Разбор» В. Костомарова был направлен Долгоруковым министру юстиции 4 июля того же года со следующей запиской: «Не угодно ли Вам будет, если найдете свободное время, просмотреть прилагаемую другую записку о литературной деятельности Чернышевского. Она очень занимательна и может быть была бы прочтена не без пользы некоторыми гг. сенаторами». <...> Выражение “некоторыми гг. сенаторами” указывает на ещё сомневающихся в виновности подсудимого»².

Как рассказывали сами жандармы историю костомаровской клеветы, там было главное — это спасение себя и нелюбовь к

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть третья. 1850–1864. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. С. 241, 247.

² Там же. С. 249.

Чернышевскому: «По приговору суда Костомаров был разжалован в рядовые и выслан на Кавказ. Когда его везли к месту назначения, то с дороги он прислал прошение, в котором ходатайствовал о возвращении в Петербург, объяснив, что он докажет преступление Чернышевского. Прощение было уважено, его привезли в Петербург и водворили в Третьем отделении. Тут он потребовал “Современник” за несколько лет и стал писать комментарии к статьям Чернышевского, находя в одних материализм и атеизм, в других социализм и коммунизм, причем Костомаров, по словам Зарубина, весьма подробно указывал, какие именно идеи Чернышевского могут разрушить современный общественный и государственный строй, и, таким образом, из его комментариев, как высказал А.К. Зарубин, ясно следовало, что своими статьями Чернышевский подготавливал меры к разрушению государственного порядка в России.

Избранные Костомаровым статьи предьявлялись Чернышевскому, причем спрашивали последнего, что он хотел ими высказать, на что он отвечал, что им высказано в означенных статьях именно все то, что он хотел сказать, а другого ничего не имел.

В течение трех месяцев, как передавал А.К. Зарубин, статьи Чернышевского с комментариями Костомарова тщательно переписывались и представлялись государю, который наконец положил резолюцию: “Судить Чернышевского по всей строгости законов”, вследствие чего его судили и, осудив, применили, вероятно по аналогии, 283 ст. XV тома Св. зак.»¹

То есть знаменитая фраза Ленина, что Чернышевский умел «и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров»² есть парафраз клеветы Костомарова. И вся большевистская и зарубежно-антисоветская критика поверила трусу, клеветнику и безумцу. Но самое грустное, что поверил император, о гибели которого потом жалел Чернышевский, когда узнал на каторге об удавшемся покушении. Императору столько говорили о Чернышевском, как «русском Марате», что он, как и положено властителю, возненавидел этого Марата. Самодержавие испугалось совсем не того, кого надо было бояться, превратило миф о Чернышевском в легенду и оружие революции.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ТРИО: МЫСЛИТЕЛЬ-РАЦИОНАЛИСТ, БЕЗУМЕЦ И САМОДЕРЖАВИЕ. Или так: РАЦИО – БЕЗУМИЕ – ВЛАСТЬ

¹ Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 386.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 29.

Власть всегда на стороне безумца. Наверно, потому, что попадание во власть слишком тяжело для человеческого рассудка. Сама власть всегда, даже в лучших случаях, безумна, верит в фантомы. Случай Чернышевского, случай Столыпина. Убийство Александра Второго не в последнюю очередь было спровоцировано бессудным осуждением великого мыслителя, надежды России. Пусть не звучит это мистически, но император жизнью заплатил за свой страх перед реформатором, за осуждение безвинного человека, за свой выбор. Мирный кружок ишутинцев пытался в 1863–1865 гг. устраивать трудовые артели – похожие на описанные в романе «Что делать?», – людей верующих (любопытно, что сам Н.А. Ишутин считал, что «трое великих» оказали на мир благотворное воздействие: Христос, апостол Павел и Чернышевский). Чернышевский предлагал нечто наподобие конституционной монархии (не случайно как пример он видел Великобританию): собрание выборных от всех классов. Заметим, то самое решение, которое император собирался подписать накануне своего убийства. Собирался, собрался, но слишком поздно. А трудовые артели и кассы взаимопомощи ишутинцев полиция прикрыла. Тогда и произошло первое покушение на императора, совершенное 4 апреля 1866 г. двоюродным братом Ишутина Д.В. Каракозовым. На императора началась охота, имевшая трагический успех 1 марта 1881 г.

Власть почти всегда труслива. После убийства Столыпина, значения которого побаивался император Николай II, говоривший, что Столыпин загоразивает его, и возвращения ко двору безумного, хитрого в своем безумии Распутина произошла разрушительная революция, уничтожившая империю.

И все же и в жуткой одиночке, отрезанный от мира, имея редкую связь с друзьями, НГЧ продолжал работать. И, паразитальное дело, влиять на современников. Хотя не совсем так, как хотел.

Глава 11

Одинокaя камера и написание романа. Разрастание мифа

Что можно делать в одиночке?

Что значит одиночка для человека, привыкшего читать и писать в маленькой комнатухе на протяжении многих лет? Как ни страшно сказать — возможность читать и писать без помех. Как написал он жене: «Ведь сидел же я по пяти и шести суток безвыходно в своей комнате, ведь всегда был я дикарём» (XIV, 457).

Одно было ужасно, особенно для человека, привыкшего к атмосфере литературной жизни, — отсутствие контактов. С друзьями и женой. Особенно мучило его запрещение тюремного и жандармского начальства на свидания с женой. Он любил ее и тосковал, конечно. Описывать его камеру не буду, хотя описания сохранились, но версии разные. По одной (это версия сотрудника канцелярии Петропавловской крепости) — это почти гостиничный номер: «Камеры отапливались небольшими голландками из коридора; тепловые же отдушины их были в камерах. Обстановка номеров состояла: из деревянной зеленой кровати с двумя тюфяками из оленьей шерсти с двумя перовыми подушками, с двумя простынями и байковым одеялом; из деревянного столика с выдвигаемым ящиком и стула». По другой версии — камеры были холодные, промозглые, плохо проветриваемые и скудно освещенные, холодной и влажной была наружная стена рavelина. После того, как НГЧ пробыл в рavelине 22 месяца, он всю жизнь страдал от ревматизма и цинги. Добавлю, что «вся обеденная и чайная посуда состояла из литого олова; ножей и вилок не подавалось, ввиду чего хлеб и мясо предварительно разрезывались и разрубались на кухне поваром, причем все кости бывали тщательно изъяты». И наконец, два слова об одежде: «Заключенные были одеваемы во все казенное: в холщовое тонкое белье, носки, туфли и байковый халат: последний без обычных

шнуров, которые заменялись короткими, спереди, завязками из той же байки. Вообще, все крючки и пуговицы в белье и одежде были изъяты: вместо них были короткие завязки из той же материи. Головным убором была мягкая русская фуражка. <...> Собственная одежда, белье и все прочее имущество и деньги тотчас же, по прибытии в рavelин, отбирались, тщательно осматривались и хранились в цейхгаузе. Описи на все это составлялись тут же, в камере, и подписывались заключенным и смотрителем рavelина. Собственные одежда и белье выдавались только на время выхода арестованных на свидание с родственниками в доме крепостного коменданта и следования для допросов в суде». Но читать он мог, а с октября, когда разрешили, то и писать: «Из библиотеки, по желанию, выдавались заключенным книги, все состоявшие из исторических и религиозных на русском, французском и немецком языках. В камерах имелись оловянные чернильницы и гусиные перья, уже очинённые заранее. Арестанты могли просить бумагу писчую и почтовую. Им дозволялось писать сочинения и письма, но все это, прежде отправления по адресу, прочитывалось и цензуровалось в III Отделении Собственной его величества канцелярии. Точно так же заключенные могли получать и письма, предварительно просмотренные в том же III Отделении»¹. И прочитано и написано им было вероятно много.

Прочитаны книги таких авторов, из бывших у него в рavelине, как Диккенс, Жорж Санд, Стерн, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Тютчев, Фет, Беранже, Гейне, Помяловский, Гораций, Овидий, Рейбо, Некрасов, Каррер Белл, Монтень, Флобер, Лесаж, Смоллетт, Фрейтаг, Дарвин, Фохт, Гексли, Лайэль, Оуэн... При этом он продолжал переводы, скажем перевел XV и XVI тома «Всеобщей истории» Шлоссера, 20 листов «Истории XIX века» Гервинуса, а 9 и 24 июля препроводил в «Современник» перевод VII и VIII тт. «Истории Англии» Маколея (91 лист). Начал переводить «Исповедь Руссо...»

Как подсчитал П. Щёголев, за время пребывания в крепости НГЧ написал 205 печатных листов или чуть побольше. На месяц выходило у него писания 11,5 п.л. Работник он был фантастический, но почему вдруг среди научных трудов он выбирает жанр романа? Во-первых, попытки художественных писаний у него были с юности, во-вторых, в данном случае он хотел

¹ *Борисов Ив.* Алексеевский рavelин в 1862–1865 гг. // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 282, 283.

начать свою Энциклопедию, причем в завлекательной романной форме, как это делали французские просветители. И вот 12 декабря 1862 г. Чернышевский закончил отделку перевода XV и XVI томов «Всеобщей истории» Шлоссера. И после этого он обращается к начальству за разрешением купить и перевести XVII том истории, а заодно сообщал, что «начал писать беллетристический рассказ, содержание которого, конечно, совершенно невинно, — оно взято из семейной жизни и не имеет никакого отношения ни к каким политическим вопросам, но если бы представлялось какое-нибудь возражение против этого занятия беллетристикой, то, конечно, Чернышевский, — писал он о себе в сопроводительной записке от 15 декабря 1862 г., — оставит его». Речь идет здесь о романе «Что делать?», романе, который он начал писать 14 декабря 1862 г. и кончил 4 апреля 1863 г.

Итак, он мог читать и писать. Но даже в одиночке он хотел видеть свою жену. Чувство его оставалось сильным, несмотря на все душевные терзания, которые он перенес из-за вольности ее характера. Надо, конечно, понять причину желания жандармского начальства унизить, причинить боль человеку, которого никак не удавалось обвинить в чем-то серьезном, а уже арестовали, нужно найти оправдание аресту. Эта работа по фабрикации обвинения шла, а пока было нескончаемое раздражение на «ловкого арестанта», не оставившего никаких улик. И уж совсем возмутило жандармского генерала желание узника (четыре месяца сидящего в одиночке, которому при этом так и не сумели предъявить никакого обвинения) увидеться с женой. И на его обращение-просьбу было составлено следующее решение.

11 января 1863 г. генерал Потапов написал коменданту крепости: «Высочайше учрежденная в СПб следственная комиссия по докладу мною словесной просьбы содержащегося в Алексеевском равелине тит. сов. Чернышевского, чтобы ныне же было дано разрешение на свидание его с женою, приезд которой из Саратова ожидает г. Чернышевский, постановила объявить просителю, что таковое ходатайство еще преждевременно и разрешение не может быть дано ранее полного разъяснения производящегося о нем дела» (*Дело*, 279). Но волгарь был тверд и упорен и написал коменданту крепости (больше некому было писать): «Надеясь, что дело его достаточно разъяснено теперь, Чернышевский имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство представить с вашим ходатайством на рассмотрение, кому следует, его желания:

1. Чтобы ему немедленно было разрешено видеться с его женою, постоянно.
2. Чтобы комиссия пригласила его для сообщения ему тех сведений о положении его дела, которые могут быть сообщены без всякого нарушения какой-либо следственной тайны, — именно, в какое приблизительно время дело Чернышевского может быть окончено производством. Чем оно окончится, этого он не спрашивает; это ему известно; но когда оно кончится, — это он желает знать.

Н. Чернышевский.

22 января 1863 г.

P. S. Если он не получит ответа до четверга вечера (24 ч. января), то он будет знать, что не нашли удобным или нужным обращать внимание на эти его желания. — 22-го января 1863 г.» (*Дело*, 279).

Чернышевский еще думает, что окончание дела ему известно, ибо обвинить его не в чем, но вот свидание с женой для него — жизненно важно. Странные слова: «он будет знать», что на его желания решили не обращать внимания. Какая-то полугроза в них слышится. Но какая? Через два дня он снова посылает письмо, чтобы удостовериться, дошло ли письмо: «Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г-на коменданта известить его, получен ли его превосходительством какой-либо ответ на записку Чернышевского от 22-го числа этого месяца. — Вечер, 24-го января 1863 г.» (*Дело*, 280). И очевидно следующее письмо от 27 января оказалось решающим, после которого, не объявляя этого никому, он начал бессрочную голодовку. Вот письмо: «Из первых двух строк 4-й страницы письма г-жи Чернышевской от 24 января к ее мужу видно, что г-жа Чернышевская встречала затруднения в получении вида на проживание в Петербурге. Но из этого же письма ее от 24 января можно видеть, что жить ей в Петербурге нужно уж и для одного леченья, не говоря о других причинах. Чернышевский просит его пр-во г. коменданта сделать то, что от него зависит, чтобы избавить больную женщину от полицейских — для чести полиции, Чернышевский предполагает только — недоразумений» (*Дело*, 280).

У нас часто говорят, что Чернышевский провел первую в России политическую голодовку. Но, во-первых, он не считал себя политзаключенным, в его деле была полная неопределенность, во-вторых, он не выдвигал никаких политических требований, более того, он даже не объявил голодовку, просто перестал принимать пищу. С конца января он не ест. Стоит привести воспоминания зрителя Алексеевского равелина: «Чернышевский

был тогда еще сильным и здоровым человеком. И вот этот-то сильный по натуре человек порешил было уморить себя голодом. Это было с ним еще до написания им романа “Что делать?”.

Дело было так: нижние чины караула, да и сам смотритель заметили, что арестант, т.е. Чернышевский, заметно бледнеет и худеет. На вопрос о здоровье он отвечал, что совершенно здоров. Пища, приносимая ему, по-видимому, вся съедалась. Между тем дня через 4 караульные доложили смотрителю, что в камере начал ощущаться какой-то тухлый запах. Тогда, во время прогулки Чернышевского в садике, осмотрели всю камеру, и оказалось, что твердая пища им пряталась, а щи и суп выливались... Стало очевидно, что Чернышевский решил умереть голодной смертью... Ни увещания добряка смотрителя, ни воздействия со стороны III Отделения долго не влияли на него. Приказано было, однако, приносить ему в камеру, по-прежнему, всю пищу ежедневно, но он еще 3—4 дня не дотрагивался до нее и пил только по 2 стакана в день воды. Соблазнительный ли запах пищи, страх ли мучительной голодной смерти или другие побуждения, но на 10-й день Чернышевский стал есть, и недели через две он совершенно оправился, и тогда из-под пера его вышел роман “Что делать?”»¹.

Раз были увещания Третьего отделения, то понятно, что караульные доложили по инстанции. Начальство немного спохватилось.

И пошла лихорадочная переписка жандармов. Ничего этакого политического, типа ниспровержения власти не требует, но ведет себя неподобающим образом. И 7 февраля генерал Потапов пишет в Следственную комиссию: «Состоящий при С.-Петербургской крепости доктор Окель донес коменданту оной от 3-го сего месяца, что титулярный советник Чернышевский воздерживается с некоторого времени от всякой пищи, вследствие чего заметно ослаб; что цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый, что прописанные ему капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза, а 3-го числа объявил, что не намерен принимать таковые и что он воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу. О таком донесении доктора Океля, сообщенном мне комендантом крепости, считаю долгом уведомить Следственную комиссию. *Управляющий отделением свиты е. в. г.-м. Потапов*». (Дело, 283—284). Что делать начальству? Потапов находит обтекаемую форму. 12 февра-

¹ *Борисов Ив.* Алексеевский рavelин в 1862—1865 гг. С. 284—285.

ля он сообщил коменданту крепости Сорокину решение высочайше учрежденной комиссии: «Высочайше учрежденная в СПб Следственная комиссия в заседании 11 февраля положила объявить содержащемуся в крепости тит. сов. Чернышевскому, что свидание ему с женою в настоящее время дозволено быть не может по неудовлетворительному состоянию здоровья Чернышевского и что разрешение последует, когда он будет совершенно здоров» (*Дело*, 286). То есть голодай не голодай, помирай — не помирай, но Потапов тешит свое самолюбие. Не ему отвечать за жизнь заключенного. А комендант понимает, что в случае чего, ответственным будет он.

Чернышевский поддерживает его в этом убеждении: «Так как только через ваше превосходительство я имею сношения с правительством надежным для меня образом, и так как, без сомнения, будет спрошено ваше мнение о случае, возбуждаемом мною, то я с вашего согласия, изустно сообщенного мне г. смотрителем, письменно прошу вас прямо сказать мне изустно или письменно: достаточно ли убеждены вы в совершенной серьезности и твердости моей воли, которая была изустно объявлена мною вам. По неопытности в различении симптомов страдания, я слишком рано приостановил продолжение начатого мною. Но я держу свой организм в таком состоянии, что результаты, которых я достиг в предыдущие 10 дней, несколько не пропадают; и если ваше превосходительство еще недостаточно убеждены, я возобновлю свое начатое, без всякой потери времени, с прежним намерением идти, если нужно, до конца. Мне неприятен скандал, но не я причина его; вероятно, и ваше превосходительство также несколько не причина его, — по крайней мере, я в том убежден, что вы — не причина его. <...> Прошу, ваше превосходительство, не пренебрегайте мою просьбою. Дело несколько не шуточное. С этой минуты, если еще эта попытка не удастся, я уже не буду тревожить никого ни одним словом» (*Дело*, 280—281). Заметим: никаких громких слов, никаких угроз, никакой экзальтации. Скромность и достоинство его поведения просто поразительны! А ведь думал, что умирает.

Комендант крепости 13 февраля доносит, что «заключенный здоров и деятельно занимается переводом Гервениуса <Гервинуса>». И как бы современники и потомки ни относились к Ольге Сократовне, но она тоже вступила в борьбу с Третьим отделением за своего мужа. Может, и не случайно Чернышевский говорил, что О.С. будет ему на свой лад верной женой. И 14 февраля она пишет Потапову:

«Ваше превосходительство.

Извините, что я обращаюсь к вам с просьбой, касающейся моего мужа, но я делаю это единственно потому, что не знаю другого способа узнать что-нибудь о положении его дела и о том, будет ли мне разрешено видеться с ним. Я считаю излишним говорить вашему превосходительству о моих личных отношениях к Николаю Гавриловичу и о том, как мне необходимо, наконец, видеться с ним. Скажу вам только, что серьезная болезнь не помешала мне сделать полторы тысячи верст зимней дороги, и я рассталась с детьми, когда он написал мне, что он желает и надеется меня видеть.

По письмам, которые я уже здесь в Петербурге пересылала к Николаю Гавриловичу, можно было знать о моем присутствии в городе. Я надеюсь, что получу какие-нибудь указания о том, как поступить мне, чтобы добиться свидания. До сих пор я ничего об этом не знаю и принуждена наконец отвлекать вас от ваших занятий своей просьбой сделать то, что зависит от вас, чтобы мне разрешено было видеться с мужем. Мне неизвестно, в чем обвиняют Николая Гавриловича, но я никак не думаю, чтобы ему было запрещено даже видеться со мной; узнать от меня о своих детях, говорить со мной о наших семейных делах.

Будьте так добры, ваше превосходительство, ежели дело не зависит прямо от вас и если нужно официально выраженное мной желание видеться с Николаем Гавриловичем; передать мою просьбу тем лицам или Комиссии, от которых зависит разрешение вопроса о свидании, и затем известить меня о решении.

Исполнением этой просьбы вы крайне меня обяжете; при той тайне, которая покрывает дело моего мужа, я не знаю даже, к кому обратиться со своими вопросами» (*Дело*, 282–283). Жена, как и муж, не были искателями покровительства, не знали ходов к высшему начальству, от которого в конечном счете зависела их судьба.

Но хотели защитить свои права, как они их понимали. И 18 февраля Потапов пишет: «Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии, от 13 сего февраля за № 469, сообщил комиссии, что содержащийся в Алексеевском равелине отставной титулярный советник Чернышевский в настоящее время здоров и деятельно занимается переводом истории Гервинуса. Положено: отзыв этот приобщить к делу и дозволить Чернышевскому, согласно просьбе его, иметь свидание с его женою, в присутствии членов комиссии» (*Дело*, 286). Чернышевскому было разрешено первое свидание с женой. Состоялось оно 23 февраля. Вообще-то, только с женой и раз-

решались свидания. Даже ближайший его родственник А.Н. Пыпин судил о судьбе ЕГЧ по его письмам, да и по слухам.

В одиночке можно было читать, писать, но можно было и бороться, отстаивая свое человеческое достоинство и право на права, можно было противопоставить свою волю произволу начальства. И победить. Не революционером, я бы назвал его первым правозащитником, когда о таком понятии и не думал никто. Необходима не революция, а прогресс, говорил Чернышевский, понимавший прогресс как стремление к возведению человека в человеческий сан. Нечто похожее повторил и Достоевский — о поисках человека в человеке.

Роман и его публикация

Он упомянул в своих письмах коменданту, как бы между прочим, что одновременно с переводами пишет беллетристический рассказ из семейной жизни, не имеющий ничего общего с его делом. Начальство не возражало, первые главы были отправлены на рассмотрение жандармских цензоров. О писании романа он сообщил Александру Пыпину, самому верному и преданному родственнику и другу, ученому-исследователю. Пыпин известил Некрасова, а тот дал извещение о готовящейся публикации романа Чернышевского. 9 февраля вышел в свет первый после восьмимесячного запрета (сдвоенный) номер «Современника» за 1863 г. с объявлением на обложке: «Для “Современника”, между прочим, имеются: “Что делать?” роман Н. Чернышевского (начнётся печатаньем со следующей книжки)». О своей беллетристике НГЧ прежде всего написал Пыпину. Очевидно, он рассказал о письме сестре. И 1 января 1863 г. Евг.Н. Пыпина в своём послании родителям в Саратов пересказала его содержание таким образом: «Письмо опять очень спокойное; он тут и шутит, и толкует о своих делах, и рассказывает, что он делает. Кроме переводов, которых у него много, он ещё пишет повесть и говорит, что она выходит совсем не дурная. Просит нас не пугаться, когда мы увидим его, — потому что он теперь похож на какого-нибудь льва, с рыжейшей бородой и усами, которые оказываются к тому же довольно густыми. Главная его забота — это Ольга Сократовна. Всё пишет, чтобы отсылали ей все деньги, которые у него есть. И повесть вздумал писать затем, чтобы иметь лишние ресурсы. Вот наделает шуму своим появлением эта повесть. Все, конечно, с большим интересом прочтут её»¹. Некрасов обе-

¹ Н.Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. С. 304.



шал за публикацию «Что делать?» выдать Ольге Сократовне 4 тысячи рублей. Тема денег для О.С. тоже не могла не волновать Чернышевского.

И роман был опубликован в майском номере журнала.

Но как же роман, который публика прочитала, как революционный, пропустило III отделение? Был и расчет, был и просчет. Как вспоминает заместитель коменданта крепости, из стен Алексеевского рavelина «вышел в свет роман Чернышевского “Что делать?”». Я читал его в рукописи и могу удостоверить, что цензура III Отделения в очень немногом исправила его»¹. Один из цензоров даже счел, что Чернышевский старается очи-

стить нигилизм от цинизма. И еще одно добавление о прохождении рукописи: «Существует свидетельство, согласно которому рукопись “Что делать?” была сопровождена личной разрешительной надписью Потапова, и принадлежит оно В.А. Цеэ, председателю Петербургского цензурного комитета с марта 1862 по май 1863 г. В письме к А.В. Головнину от 9 мая 1882 г. он советовал для убедительности “посмотреть в Архиве цензурного комитета подлинный экземпляр романа «Что делать?», на котором я, — сообщал Цеэ, — собственными глазами прочёл: Печатать дозволяется, Свиты Е<го> И<мператорского> В<еличества> генерал-майор Потапов <...> Вот факт, за верность коего я ручаюсь честью”. Со ссылкой на того же Цеэ близко знавший его Ф. Мейер, редактор петербургской газеты на немецком языке (“St.-Peterburger Zeitung”) писал в воспоминаниях, что роман Чернышевского был пропущен в печать не кем иным, как начальником третьего отделения генералом Потаповым, подпись которого и до сих пор сохраняется на оригинале “Что делать?”»². Возможно, как полагают некоторые исследователи, публикацией романа Потапов хотел уронить Чернышевского (неизвестного как романиста) в глазах публики. Возможно и то, что ожидал, не потянутся ли какие ниточки от опубликованного романа к тайным связям Чернышевского. Не будем гадать.

¹ Борисов Ив. Алексеевский рavelин в 1862–1865 гг. С. 283.

² Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть третья. С. 218.

Короче, первые главы романа попадают к Некрасову, человеку, который, строго говоря, дал Чернышевскому состояться как явлению русской культуры. Он, как я уже поминал, дал объявление в журнале о скором появлении на его страницах романа Чернышевского. Пыпин успокаивал родных в Саратове, любивших Чернышевского как родного сына: «"Дело" Николи начинало смущать Пыпиных все более и более. "Слухи, — писал Александр Николаевич, — разноречивы, и трудно сказать, когда все это кончится. Но делом сильно начинает интересоваться общество и, быть может, это послужит к скорейшему его разрешению", — утешал он сам себя. Сообщал он также, что роман, написанный Николей в последнее время, получен, печататься он будет в мартовской книжке "Современника" и что "такого произведения никто не ожидал от Николи, и роман возбуждает сильное любопытство в публике"»¹.

И далее происходит нечто непонятное. Вроде печать Третьего отделения должна была придать уверенности издателю журнала. Но Некрасов, думаю, был человек весьма осторожный. Не случайны его советы молодым сотрудникам журнала. Антонович с Елисеевым решили посетить Чернышевского перед отправкой того на каторгу. «Когда Некрасов узнал о таком нашем намерении, то стал горячо отговаривать нас, убеждал и советовал, чтобы мы отказались от нашего намерения, не просили бы разрешения на свидание и не пользовались этим разрешением, если бы оно даже было дано. "По искреннему расположению к вам и из желания добра, уверяю вас, — говорил Некрасов, — что это свидание очень понизит ваши курсы в глазах III Отделения". Слова Некрасова дышали искренностью и убеждением в полезности его совета»². Это, правда, было после официального осуждения НГЧ. Но тертый ярославский калач мог ожидать какой-либо жандармской провокации в связи с публикацией романа. И он неожиданно теряет рукопись. Эта полудетективная история стоит рассказа.

Начну с объявления в газете «Ведомости С.-Петербургской городской полиции». 1863, № 29, 30, 31: «ПОТЕРЯ РУКОПИСИ. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня проездом по Большой Конюшенной от гостиницы Демута до угольного дома Капгера, а оттуда чрез Невский проспект, Караванную и Семеновский мост до дома Краевского, на углу Литейной и Бассей-

¹ Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания. (По материалам семейного архива). Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 55.

² Антонович М.А. Арест Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 278.

ной, обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи, с заглавием: ЧТО ДЕЛАТЬ. Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского, к Некрасову, тот получит ПЯТЬДЕСЯТ РУБ. СЕР.».

Текст абсолютно запутанный, нужно хорошо знать этот угол Питера, чтобы понять, о каком месте идет речь. Ситуация же разворачивалась следующим образом (по рассказу гражданской жены Некрасова Авдотьи Панаевой).

«Редакция “Современника” в нетерпении ждала рукописи Чернышевского. Наконец, она была получена со множеством печатей, доказывавших ее долгое странствование по разным цензурам.

Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, *находившуюся недалеко* — на Литейной, около Невского. *Не прошло четверти часа*, как Некрасов вернулся и, войдя ко мне в комнату, поразил меня потерянными выражением своего лица» (курсив везде мой. — В.К.). Что же случилось? И далее из ее рассказа ясно, что потеря рукописи невероятна, что тон Некрасова не очень естественный, что, обронив (?) рукопись, он вовсе не стал ее искать. И если бы не Панаева, то роман бы так и сгиб бы в нетях. Но цитирую:

«Со мной случилось большое несчастье, — сказал он взволнованным голосом, — я обронил рукопись!

Можно было потеряться от такого несчастья, *потому что черновой рукописи не имелось. Чернышевский всегда писал начисто*, да если бы у него и имелась черновая, то какие продолжительные хлопоты предстояли, чтобы добыть ее!». Этот факт (писание Чернышевским своих текстов начисто) подтверждает и заместитель коменданта крепости.

Итак, рукопись романа в единственном экземпляре, как и все остальные работы Чернышевского. Некрасов это знает. Знает и то, что автор отделен от него тюремными затворами, постоять за свою работу не может. И теряет ее. Причем как!

«Некрасов в отчаянии воскликнул:

— И черт понес меня сегодня выехать в дрожках, а не в карете!.. и сколько лет прежде я на Ваньках возил массу рукописей в разные типографии и *никогда листочка не терял* (курсив мой. — В.К.), а тут *близехонько* — не мог довести толстую рукопись!

Некрасов не мог дать себе отчета, в какой момент рукопись упала с его колен».

Повторим: расстояние недалекое, «близехонько», туда-обратно он обернулся меньше чем за четверть часа... Продолжу цитирование:



Дрожки в Питере

«Задумался, смотрю: рукописи нет; я велел кучеру повернуть назад, но на мостовой ее уже не было, точно она провалилась сквозь землю... Что теперь мне делать».

Все дрожки примерно этой конфигурации. Конечно, при езде они «дрожат», потому и дрожки. Но выронить толстую рукопись, лежащую на коленях?.. В крайнем случае она упала бы на дно дрожек. Если туда и обратно четверть часа, то в одну сторону минут семь. Судя по всему, до типографии он не доехал, повернул назад. В какой момент он расстался с рукописью? Через боковые стенки дрожек она вряд ли бы выпала. Кстати, по одной из версий, нашедший рукопись чиновник увидел ее у стены дома. Вряд ли дрожки ехали вдоль стены.

Забавно в рассказе Некрасова то, что из дрожек он не вышел, искать не стал, посмотрел поверхностно и как бы не увидел. Женщине жалуется и печалится, как мужчина, совершивший неблагоприятный поступок, словно хочет защитить себя и оправдаться в глазах любовницы. Но женщина оказалась и разумной, и деятельной, захотела помочь своему любовнику, приняв все-разрез его сетования. И она рассказывает:

«Я *поторопила* Некрасова написать объявление в газеты о потере рукописи и назначить хорошее вознаграждение за ее доставку».

Некрасов отправил объявление всего в одну газету, которую заведомо не читают люди интеллигентные — в «Полицейские ведомости». Не получив сразу ответа, Некрасов начинает громко-гласно упрекать себя, «зачем он не напечатал объявления во всех

газетах». Но не печатает, а отправляется в Английский клуб на обед и игру.

«Некрасов так был взволнован, что не мог обедать, был то мрачен и молчалив, то вдруг начинал говорить о трагической участи рукописи, представляя себе, как какой-нибудь безграмотный мужичок поднял ее и немедленно продал за гривенник в мелочную лавку, где в ее листы завертывают покупателям сальные свечи, селедки, или какая-нибудь кухарка будет растапливать ею плиту и т.п.

На другое утро объявление было напечатано в “Полицейских Ведомостях”, и Некрасов страшно волновался, что никто не явится с рукописью в редакцию.

— Значит, погибла она! — говорил он в отчаянии и упрекал себя, зачем он не напечатал объявление во всех газетах и не назначил еще больше вознаграждения.

В этот день, по обыкновению, Некрасов обедал в Английском клубе, потому что там после обеда составлялась особенная партия коммерческой игры, в которой он участвовал. Он хотел остаться дома, но за ним заехал один из партнеров и почти силою увез с собой».

И после его отъезда является по объявлению бедный чиновник, плохо одетый, «с отрепанным портфелем под мышкой». Приход вернул надежду. Кажется, Панаева не меньше, если не больше, самого издателя волновалась о пропаже рукописи. И еще любопытная деталь, у какой стены он нашел рукопись: «Я начала беседовать с чиновником; он сперва конфузился, но потом разговорился и рассказал мне, что поднял рукопись на мостовой, переходя Литейную улицу у Мариинской больницы, и долго стоял, поджидая — не вернется ли кто искать оброненную рукопись».

Но никто не пришел, стало быть, никто и не искал

«Я спросила его, почему он раньше не принес рукопись.

— Газеты не получаю-с, со службы хотел зайти просмотреть газеты, да, уходя домой, случайно услышал от своих товарищей объявление о потере рукописи. Я-с прямо и пришел сюда.

Я успела узнать, что у чиновника большая семья: шесть человек детей и старуха-мать, что он лишился казенной службы, вследствие сокращения штатов, и теперь занимается по вольному найму в одном ведомстве за 35 рублей месячного жалованья, и на эти деньги должен содержать всю семью».

Отсюда несложное умозаключение, что чиновник работал по найму в каком-нибудь из полицейских ведомств, ибо где еще на службе читают «Полицейские ведомости».



Чиновник был счастлив, получив деньги, счастлив был и Некрасов.

То ли Господь, то ли полиция подтвердила, что печатать Чернышевского можно и нужно. И Панаева так заключает свои воспоминания об этом эпизоде: «Роман Чернышевского имел огромный успех в публике, а в литературе поднял бесконечную полемику и споры»¹.

Неужели подполье и революция?

В нашей гуманитарной науке, да и публицистике, стало банальным уже соотнесение заглавий двух романов – Герцена и Чернышевского. Повторю эту банальность: *кто виноват?* и *что делать?* – два основных вопроса русской культуры. Причем подтекст этого сопоставления очевиден – социально-гражданственный. На мой взгляд, проблема, поставленная двумя писателями-философами, много серьезнее и глубже. Герцен предложил *искать виноватого* в бедах человеческой жизни и предложил негативную теодицею. В России виноватой, на его взгляд, оказалась империя, на Западе – буржуа, а в судьбах человечества – Бог. Чернышевский, не просто сын протоиерея, но и человек глубоко верующий (об этом чуть позже), считал порочной саму идею ис-

¹ Панаева А.Я. Русские писатели и артисты // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 264–268.

кать виноватых вовне, *надо делать себя*, тогда и жизнь наладится¹, не искать, кто виноват, а делать нечто, ибо план Бога по созданию мира был разумен. Как и Августин, он снимал с Бога вину за мировое зло. Поиск виноватых приводит к расправам, гибели невинных, особенно в случае народных мятежей. Это был явный конфликт двух самых влиятельных среди молодого поколения идеологов. Роман «Что делать?» вызвал раздражение и изумление у литераторов старшего поколения, самым главным упреком автору стал упрек в том, что Чернышевский изобразил людей, которые не сознают жизненных трагедий, с легкостью их преодолевая. К концу знаменитого романа Герцена «Кто виноват?» его герои оказываются в состоянии непоправимо разрушенных судеб. Герои романа Чернышевского, несмотря на то что роман начинается с самоубийства, полон несчастий и бед, траура и печали, написан узником Петропавловской крепости, тем не менее «счастливые люди», как их назвал Николай Страхов.

Любопытно, что даже не Третье отделение, которое пропустило роман, рассчитывая, что он образумит рьяных радикалов, а именно сторонники «чистого искусства» (такие крупные, как Боткин и Фет) увидели в нем революционную агитку: «Повторяем: о личном таланте автора не стоило бы говорить. Но в романе “Что делать?” каждая мысль, каждое слово — дидактика, каждая фраза выражает принцип. Этого нельзя пройти молчанием. Жалкие усилия паука подняться за орлом в настоящем случае — не слово, а дело. Они предназначаются стать в глазах неопитов примером великодушнейшего нахальства и великолепнонейшей наглости, полагаемых в краеугольный камень доктрины»². А уж затем он только так и читался радикалами, особенно социалистического разлива. Именно Чернышевский казался учителем революционной деятельности. Не хуже Ткачева и Нечаева. Ле-

¹ Кстати, именно этот пафос преодоления себя является основным в «пушкинской речи» Достоевского: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь» (*Достоевский Ф.М.* Пушкин (Очерк) // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 139). Разница только в том, что Достоевский видит это усилие в будущем, как задачу будущих русских людей, а Чернышевский увидел этих новых людей в сегодня.

² Статья А.А. Фета о романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» / Вступ. статья Ю. Стеклова, публ. и коммент. Г. Волкова // *Литературное наследство*. Т. 25–26: Литературная и общественная мысль 1860-х годов. М.: Журнально-газетное объединение, 1936. С. 491.

нин заявил, что роман Чернышевского его «перепахал». Сегодня мы уже понимаем, хотя бы на примере Ницше и Гитлера, как можно не просто читать, но вчитывать в написанное свои мысли.

Либерал советского разлива Е.Г. Плимак, пытавшийся вывести Чернышевского за пределы людоедской революционности, в прогрессивной на тот момент книге 1976 г. писал: «Борьбу за создание революционной организации, призванной возглавить грядущую народную революцию, Чернышевский продолжит и в стенах Петропавловской крепости. Призыв уходить в подполье, создавать подполье донес до оставшихся на воле друзей-читателей написанный здесь роман “Что делать?”»¹. Думая противопоставить Чернышевского Нечаеву, Плимак по сути дела отождествил их, приписав Чернышевскому создание подполья, тайной организации революционеров.

Неужели мастерские Веры Павловны – это подпольная организация? А ведь это главная организационная структура, которую предлагает Чернышевский. Лесков увидел в этом отказ от нигилизма и призыв к буржуазному предпринимательству, к буржуазному труду, построенному на выгоде. Похоже, он был прав. Обращусь снова к Бухареву; человек религиозный, наблюдательный, да и современник: «Всмотримся в сущность дела этих мастерских. Первое, что вас приятно поражает в них, это, конечно, то, что хозяйка мастерской оказывается достойной женщиной или по выражению романа “Что делать?”, человеком таким, как следует быть человеку, что и работающие девицы с первого же раза или с самого их помещения в мастерской поставлены так, чтобы и каждой из них быть человеком, как следует; отношения между хозяйкой и работающими тоже человеческие; также как и взаимные отношения работающих тоже по-человечески устроены (через распределение заработок), что и соревнованию их между собой есть место и не изгоняется сестринская внимательность одних к нужде и немощи других». И далее он заключает: «Роман “Что делать?” <...> создал свои мастерские, а там уж как хотите. <...> Вера Христовых учеников может вырывать и из земли народных умов и сердец какое бы то ни было укоренившееся и развившееся на этой земле дерево нечеловеческих взаимных отношений между людьми, весьма обыкновенных у народа особенно в снискании способов к удовлетворению насущных потребностей жизни. И пусть эта вера не сужает при этом своего взгляда, не ограничивается двумя или тремя мастерскими, но,

¹ Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев? М.: Мысль, 1976. С. 164.

напротив, пусть обнимает всякие рабочие среды в народе, все мастерские и сведет их в одну ту мастерскую, где хозяйкой, готовой войти во все и действовать во всем для изгнания отовсюду зла, только бы через веру дали ей место, оказывается сама благодать Божия, которая, ради воплощения Сына Божия, не чуждается человека ни в какой чернорабочей среде телесных трудов»¹.

Посмотрим внимательнее на роман, который, по мнению радикалов, звал их к действию радикальному. Стоит сослаться на высказывание очень мудрого, религиозного о. Сергия Булгакова: «Наши “реалисты” только пугают своим аморализмом, а на самом деле люди очень благонамеренные и в высшей степени добродетельные. <...> Как это напоминает героев романа Чернышевского “Что делать?”, которые, усвоив совершенно не свойственную им утилитарную мораль, старательно оправдываются от всякого добродетельного поступка, доказывая, что он истекает из соображений личной пользы»². Иными словами, почти полвека спустя после выхода романа великий религиозный мыслитель не увидел в героях Чернышевского злых нигилистов, а увидел добрых людей, которые стесняются того, что они добрые.

Правда, И. Паперно пишет: «Этическая система, изложенная в романе “Что делать?” и других сочинениях Чернышевского, <...> выводится из систематического пересмотра основных положений православного катехизиса»³. Но пересмотра она не показывает. Что создавалось по образцу православного катехизиса, так это «Катехизис революционера» Нечаева. Там, естественно отрицались все христианские добродетели: «Революционер – человек обреченный. <...> Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции. Денно и ночью должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неумолимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению»⁴.

¹ *Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев)*. О духовных потребностях жизни. М.: Столица, 1991. С. 135–138.

² *Булгаков С.Н.* О реалистическом мировоззрении // Проблемы идеализма. М.: РОССПЭН, 2010. С. 648.

³ *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 169.

⁴ *Нечаев С.Г.* Катехизис революционера // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997. С. 264–265.

Не показывая пересмотра православного катехизиса Чернышевским, Паперно, напротив, подробно пишет о «богословской основе романа “Что делать?”»¹.

Это была проблема для русской церкви – актуализация православия, которое, по общему мнению, давно не работало. Об омертвлении русской церкви писали многие, даже Достоевский. Он отправлял Алешу в мир, как его упрекали, совершая католический жест. Именно об этом думал и сын саратовского иерея, пытаясь придать энергию старым религиозным текстам, прочитав их сквозь современную энергичную философию. И Паперно не может об этом не сказать: «Роман пронизывает целая сеть ветхозаветных и новозаветных аллюзий, подсказывая, что перед ним текст, имеющий своей целью разрешить – в глобальном масштабе – проблемы человеческого существования. Само название романа – “Что делать?”, среди других ассоциаций, приводит на мысль эпизод крещения в Евангелии от Луки (3 : 10–14) и вопрос, который задавал Иоанну Крестителю приходивший креститься народ: “Что же нам делать?” <...> Подзаголовок “Из рассказов о новых людях” содержит в себе призыв к духовному возрождению человека в подражание Христу»².

Пафос любви и труда

Пасквилей, однако, было много. Особенно злобно выступил проф. Цитович, видевший почему-то в Чернышевском тайного уголовного преступника и подводивший все поступки героев под параграфы Уголовного кодекса. При таком подходе, пожалуй, ни одно произведение художественной литературы не избежит укора в уголовщине. Даже Катков, поддержавший Цитовича, постарался смягчить его инвективы: «возвратимся к роману Чернышевского. Теперь, когда прошло более шестнадцати лет с его появления, он становится небезынтересным историческим материалом. Это картина первых времен нигилизма, изображение его в некотором роде золотого века, периода сравнительной невинности. Тот ряд правонарушений, подходящих под уголовный кодекс, какой указан г-ном Цитовичем, еще значительно маскирован, грязь и цинизм еще прикрыты вуалью шаловливости»³. Быть может, не очень правиль-

¹ Паперно И. Семиотика поведения. С. 174.

² Там же. С. 175.

³ Катков М. Н. Нигилизм по брошюре проф. Цитовича «Что делали в романе “Что де-

но возражать на цитату цитатой. Но существенно, что возражение на пасквиль делает не просто профессиональный критик, а архимандрит – современник Чернышевского. Я говорю об архимандрите Феодоре (Бухареве), написавшем в 1863 г.: «Я довольно внимательно изучал роман г. Чернышевского “Что делать?”. Мне хочется, друзья мои, поговорить с вами об этом романе; хочется передать вам мой о нем отчет. В этом романе выражено много благородных инстинктов. <...> Само собой разумеется, что я буду говорить об этом романе не иначе, как следуя правилу слова Божия *отделять честное от недостойного* (Иерем. XV, 19), лучшее от худшего. Если угодно, я пользуюсь романом г. Чернышевского к разъяснению того, что в самом деле надо нам делать при нынешнем умственном и нравственном состоянии нашего общества. <...> В отношении к такому великому вопросу роман “Что делать?”, действительно может пособить здравому образу мыслей распутывать путаницу некоторых понятий, грозящих принести человечеству много, много лишних страданий и бедствий!»¹

В своем романе он проводит все ту же линию – ненасилия над общественной жизнью. Его называют общинником, но именно он боялся законодательного закрепления общины. Славянофилы во время реформ настояли на *обязательности* общинной формы хозяйства, а поскольку фискальный ее смысл был ясен и государству, то оно приняло требование славянофилов, закрепив ту общину, с которой потом пытался бороться Столыпин и которую в форме колхозов восстановил Сталин. Надевшийся на то, что община сможет быть защитой личности от внешних притеснений, Чернышевский категорически выступил против насильственного навязывания общинности, ибо это было не защитой личности, а, напротив, ее притеснением: «Трудно вперед сказать, чтобы общинное владение должно было всегда сохранять абсолютное преимущество пред личным. <...> Трудно на основании фактов современных положительно доказать верность или неверность предположения о будущем. Лучше подождать, и время разрешит эту задачу самым удовлетворительным образом. Вопрос о личном и общинном владении землей непременно разрешится в смысле наиболее выгодном для большинства. Теория в разрешении этого вопроса будет бессильна...» (Чернышевский, V, 847).

лать?» // Катков М.Н. Имперское слово. М.: Москва, 2012. С. 360.

¹ Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев). О духовных потребностях жизни. С. 117.

Об этом же и пресловутая, осмеянная либералами (которые потом аплодировали большевикам) Вера Павловна, устраивая свою мастерскую, говорила работницам: «Надобно вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. <...> Без вашего желания ничего не будет»¹. Не наблюдается ли в этом некая последовательность?.. Экспериментов на людях, как большевики, он ставить не хотел.

Это внятно прописал Николай Лесков, которого не услышали: «Стало быть, *что же делать?* По идее г. Чернышевского, освободиться от природного эписиерства², откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся. Г-н Чернышевский, как нигилист, и, судя по его роману, *нигилист-постепеновец*, не навязывает здесь ни одной из теорий. <...> Где же тут Марат верхом на Пугачёве? Где тут утопист Томас Мор? <...> г. Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого *добрых людей*, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало»³. Или не захотели услышать. Миф о Чернышевском-Марате уже насаждался. Лесков пытался этот миф опровергнуть. Герцен искал виноватых, всех виноватил. Чернышевский всех прощал, виноватых не видел. Поэтому хотел просто понять, что делать. Он хотел в крепостной стране ввести освобождающие человека буржуазные структуры. Слова «что делать» не привыкшая к труду русская молодежь поняла как призыв к действию, то есть к революционному действию — стрелять и взрывать.

Отдельная, конечно, тема — четвертый сон Веры Павловны, который все упорно (если не сказать, — *тупо*) именуют *коммунистической утопией*, хотя она не более чем парафраз шиллеровских стихов, а также в духе Гёте и немецких романтиков представление о смене эпох. Не случайно в самом начале этого

¹ *Чернышевский Н.Г.* Что делать? Л.: Наука, 1975. С. 132.

² Эписиерство (от франц. *epicier* — бакалейный торговец, лавочник, человек узких взглядов) — торговство, узорь.

³ *Лесков Н.С.* Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» (Письмо к издателю «Северной пчелы» // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 435.

сна он приводит цитаты из «Майской песни» Гёте и шиллеровского стихотворения «Четыре века» («Die vier Weltalter»). Эти смены эпох, которые отписывает Вере Павловне царица (тоже образ из западноевропейской литературы), можно соотнести с поисками Фаустом счастливого хронотопа, да не забыть, что женщину ведет женщина, в чем явный отголосок гётевской темы *Ewig Weibliche* (вечной женственности). Более того, романтическое начало ясно из возникающей неожиданно в этом сне темы двойничества. «— “Да, — говорит царица, — ты хотела знать, кто я, ты узнала. Ты хотела узнать мое имя, у меня нет имени, отдельного от той, которой являюсь я, мое имя — ее имя; ты видела, кто я. Нет ничего выше человека, нет ничего выше женщины. Я та, которой являюсь я, которая любит, которая любима”. Да, Вера Павловна видела: это она сама, это она сама, но богиня. Лицо богини ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства, прекраснее которого видит она каждый день не одно лицо; это ее лицо, озаренное сиянием любви, прекраснее всех идеалов, завещанных нам скульпторами древности и великими живописцами великого века живописи, да, это она сама, но озаренная сиянием любви, она, прекраснее которой есть сотни лиц в Петербурге, таком бедном красотой, она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее доселе известных красавиц».

Всплывающая здесь тема двойничества дана едва ли не впервые в мировой литературе, абсолютно в духе христианского (по Фоме Кемпийскому) «подражания Христу», когда двойник — это твой образец — которому ты следуешь, как следуешь Христу. Более того, стоит обратить внимание на то место, которое показывает царица Вере Павловне, где будет протекать жизнь человечества в будущем, как привиделось когда-то герою рассказа «Сон смешного человека»: «На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. “Но мы в центре бывшей пустыни?” — говорит изумленная Вера Павловна. “Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на

север от нее, про которую говорилось в старину, что она “кипит молоком и медом”»¹.

Интересно, что это явная цитата из книги Исход, где Господь обещает Моисею поселить его народ на земле, где течет молоко и мед: «Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» (Исх. 3, 7–8). Пожалуй, только американская исследовательница едва ли не впервые за много десятилетий увидела реальный смысл этой картины: «Хотя местность не названа, ее легко узнать из этого описания. Две реки – это Тигр и Евфрат, долина – библейский Эдем. А возвышенность, с которой Вера Павловна и “царица” осматривают окрестности – это гора Синай, где Моисей получил скрижали с Десятью заповедями»².

А сам смысл четвертого сна весьма корреспондирует со стихотворением Шиллера «Четыре века», с которого начал он описание сна. Особенно относятся эти строки к последней сцене, где описывалось вполне чистое уединение влюбленных пар (почему бы и нет?). Это совсем не лупанарий, как восприняли недоброжелатели эти строчки Чернышевского (и не замятинские розовые листочки из романа «Мы»). Это была попытка очень

¹ Стоит сравнить сон героя Достоевского со сном героини Чернышевского: «О, всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял всё, всё! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем».

² *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. С. 177.

целомудренно передать свободу античной любви. «Где другие? — говорит светлая царица, — они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего — это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили — это я увлекала их, здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я». Надо же все же чувствовать контекст художественного отрывка, который весь пронизан поэзией Шиллера. Напомню читателю несколько строчек:

В глубине целомудренной женской души
Все, что нравственно, живо поныне.
Пламя песни забытой, ты вспыхнуло вновь,
И зажгла тебя верность, зажгла любовь!

Так пускай же связует союз на века
Сердце женщины с песней поэта,
И да ткут они дружно — к руке рука —
Пояс радости, правды и света!

И одно важнейшее добавление о героях Чернышевского: это люди, «ведущие вольную жизнь труда». На вопрос «Что делать?» мыслитель отвечал — трудиться! Но прочитали его вопрос соотечественники, не только современники, но и потомки совершенно иначе, а уж ответили, словно они явились из другого измерения.

Роман в русском литературном контексте

Как пишут почти все, главным литературным противником романа Чернышевского был великий русский писатель. Действительно, он вроде бы и полемизировал с Чернышевским, но не с его идеями, а с его верой в то, что человек существо свободное и хорошее в своем антропологическом смысле. Здесь Достоевский ближе к Канту, писавшему «об изначально злом» в человеческой природе. Но к самому Чернышевскому отношение очевидной близости: «Чернышевский никогда не обижал меня своими

убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала “Эпоха” (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о “знаменитом” романе Чернышевского “Что делать?”. Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдается всё должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором “Эпохи”, а не кто другой¹.

Достоевский немного ошибся. Речь шла о статье Николая Страхова, но статья не была опубликована в «Эпохе», журнал был закрыт. И впервые статья Страхова была опубликована в 1865 г. в журнале «Библиотека для чтения». Но содержание статьи Достоевский, очевидно знал. Чем-то текст Страхова мог ему напомнить реакцию Белинского на его собственный первый роман «Бедные люди». Страхов писал: «Но есть одно явление в этом множестве, которое имеет большую прочность. Именно роман “Что делать?”, по моему мнению, останется в литературе. Ибо он вовсе не производит смешного впечатления. Как бы кто ни был расположен смеяться, он потеряет свое расположение к смеху, перечитывая эти тридцать печатных листов. Роман написан с таким воодушевлением, что к нему невозможно отнестись хладнокровно и объективно, как это требуется для благодушного и искреннего смеха. Значит, он возбуждает негодование или вообще тяжелое чувство — заметят, может быть, читатели. А если бы даже и так, скажу я на это, то все-таки для этого многое требуется»².

Паразитально, что Ленин свою книгу «Что делать?» о создании полностью подчиненной вождю организации революционеров называет также как роман Чернышевского³, в котором

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 29–30.

² Страхов Н.Н. Счастливые люди // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 558.

³ Стоит сослаться на Валентинова-Вольского: «Как небо от земли была далека от меня мысль, что есть особая, скрытая, но крепкая революционная идеологическая,

утверждалось отсутствие всякой централизации и свобода личности в артели. Люди с ясным взглядом, не ангажированные теми или иными политическими группами, это ясно видели, понимая, что Ленин шел за Бакуниным, Нечаевым и Ткачёвым. «Надо ли доказывать, — писал Степун, — что следов бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»¹. Что касается Чернышевского, то о нем он тоже произнес достаточно внятно: «Чернышевскому было ясно, что все преждевременно, что взят совершенно бессмысленный темп»². Но, повторяю, прикосновение к Чернышевскому как мученику царизма было значимо для тех, кто готовил революцию против самодержавия. Почему, однако, Страхов назвал свой анализ романа «Счастливые люди»? Это название выводит, как это ни покажется странным, на христианский пафос романа. Ведь христианство — это и страдание, и счастье, более того, счастье в страдании: «Роман учит, как быть счастливым.

На нем надписано: *из рассказов о новых людях*. Можно было бы совершенно верно заменить: из рассказов о счастливых людях, которые до того умны, что умеют всегда счастливо устроить свою жизнь. И в самом деле, они удивительно счастливы. Известно, что жизнь человеческая подвержена многоразличным бедствиям и страданиям, что жить на свете трудно. Новым людям жизнь легка; весь роман, в котором они изображены, состоит из рассказа о том, как искусно они умеют избегать всякого рода неудобств и несчастий. Например — неудобство, которое составляет канву всего романа, заключается в том, что жена одного из героев, Лопухова, влюбляется в его приятеля, Кирсанова. Случай весьма обыкновенный и обыкновенно приносящий с собою немало тревог и затруднений. Но у новых людей дело обходится благополучно в высочайшей степени. Лопухов совершает фальшивое самоубийство и тайком уезжает за границу. Таким образом, его жена получает возможность вступить в законный брак с Кирсановым. Сам же Лопухов богатеет в Америке, приезжает в Петербург под видом американца и находит себе здесь другую, новую подругу жизни»³. Более того, герои романа становятся

политическая, психологическая линия идущая от “Что делать” Чернышевского к “Что делать” Ленина и речь идет не только о совпадении заголовков» (Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 109–110).

¹ Степун Ф.А. Сочинения / Вступительная статья, составление, комментарии и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 635.

² Там же. С. 351.

³ Страхов Н.Н. Счастливые люди // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. С. 561.

своего рода русскими американцами, умеющими сами строить свою жизнь (the self-made men). Этот пафос предвещал то несостоявшееся будущее России, которое перед Первой мировой войной померещилось русскому обществу и вызвало в 1914 г. стихотворение Блока «Русская Америка».

Для верующего человека мир устроен так, что внутри него можно правильно строить правильные отношения. На вопрос Герцена *кто виноват*, ответ один — виновато мировое устройство, или, если угодно, Бог. Значит, разумно-положительное действие здесь невозможно. Но на вопрос Чернышевского *что делать* есть ответ: в Божьем мире можно строить правильные отношения. Страдания героев преодолеваются по евангельскому слову, которое и в страданиях находило счастье: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф 5 : 10–12).

Публика восприняла роман как полемику с Тургеневым: «Современная Чернышевскому критика сопоставляла “Что делать?” с романом Тургенева “Отцы и дети”, указывая на полемическую направленность романа “Что делать?” против “Отцов и детей”. Прямой отпор тургеневскому изображению “нигилизма” не был главной целью романа Чернышевского, но многое в нем, несомненно, давало повод к противопоставлению этих произведений. Чернышевский хотел показать в своем романе настоящее лицо *новых людей*, с их особой моралью, с их стремлениями и надеждами, со всей сложностью их внутреннего мира; изобразить их схватку с “допотопными” людьми, с отживающим крепостническим обществом не как борьбу отцов и детей, а как столкновение социальных сил»¹. К пониманию «новых людей» я, разумеется, еще вернусь, к революционаризму они не имеют никакого отношения. Пока же отмечу, что Чернышевский творил в определенном контексте. Из его дневников известно, что он очень воспринял «Двойника» Достоевского, пересказывал его с таким восторгом, что слушатели решили, что он пересказывает свое сочинение. Из «Отцов и детей» тянутся две фамилии — Кирсанов и Лопухов, но очень переосмысленные. Кирсанов Чернышевского тоже европейски ориентированный герой, но не барин, а работник. А Лопухов вырастает из фразы Базарова,

¹ Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828–1889. М.: Молодая гвардия, 1957. С. 305.

что, мол, умру, а на могиле лопух вырастет. Лопух вырос и стал одним из благороднейших героев русской литературы¹. Но гораздо интереснее не влияние на Чернышевского, а влияние его романа на всю последующую русскую литературу. Бахтин написал, что Чернышевский задал русской литературе проблему — создать идеологический роман. Роман Чернышевского вызвал не просто отклики, полемические и положительные, но создал некий уровень обсуждения мироздания и России. Те вопросы и ответы, которые в нем прозвучали, задали некую совершенно не существовавшую в такой степени и силе парадигму, в которой необходимо было отныне рассуждать. Если говорить без скидок, то этот уровень и эту проблематику из его современников одолел только Достоевский.

Евангельская тема

Говоря о влиянии этого романа, не надо забывать, что это единственный завершенный, а главное, опубликованный при жизни автора художественный текст. Тем ошеломительнее его длившийся почти столетие читательский успех, а также влияние на специфику и уровень русской литературы, так сказать, «постчернышевской эпохи». Чтобы понять этот успех, зацепимся за сведения о том, как его воспринимала публика тех лет. Современник и противник Чернышевского, профессор Цион иронизировал: европеец «спросит вас: кто такой Чернышевский? Вы ему ответите и скажете, что Чернышевский написал плохой, по мнению самих же нигилистов <...> роман “Что делать?”, сделавшийся, однако, евангелием нигилистов»². Вот это слово «евангелие» много объясняет. Но взятое всерьез, а не в травестийном духе. Мыслитель своим романом актуализировал Новый Завет, ибо его «новые люди» должны были возвещать совершенную жизнь. Стоит отметить, что Святое Писание он знал практически наизусть. Скажем, Чернышевский предлагал учить иностранные языки по проповеди Христа: «В качестве практического приема

¹ «Сама фамилия Лопухова как бы вырастает из пренебрежительной фразы Базарова о мужике: “Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну, а дальше?”» (Верховский Г. П. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Ярославль: Ярославское книжное издательство, 1959. С. 11–12). Кстати, мать Веры Павловны носит имя Марья Алексеевна, это тянется к Грибоедову. «Ах! Боже мой! что станет говорить / Княгиня Марья Алексевна!» — восклицает зависимый от общественного мнения Фамусов, отправляя дочь в родной город Чернышевского: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!»

² Цион И. Ф. Нигилисты и нигилизм // Русский вестник. 1886. № 6. С. 776–777.

при изучении языка Николай Гаврилович рекомендовал считывание книг *с хорошо знакомым текстом, всего лучше Евангелия*¹ (курсив мой. — В.К.) А вот как он описывает изучение иностранных языков новыми людьми: «У Кирсанова было иначе: он немецкому языку учился по разным книгам с лексиконом, как Лопухов французскому, а по-французски выучился другим манером, по одной книге, без лексикона: *Евангелие — книга очень знакомая*; вот он достал Новый Завет в женеvском переводе, да и прочел его восемь раз; на девятый уже все понимал, — значит, готово» (курсив мой. — В.К.). Роман Чернышевского буквально пронизан евангельскими реминисценциями. Услышав рассказ Катерины Полозовой о Чарльзе Бьюмонте и сообразив, что это Лопухов, вернувшийся с *того света*, Вера Павловна кричит Кирсанову: «Ныне Пасха, Саша; говори же Катеньке: воистину воскрес».

Входя в пространство этого романа, читатели поневоле входили в евангельское пространство. Но в Евангелии показано распятие и воскресение героя — Христа. А в романе? Почему это Евангелие? Но вдумаясь: есть ведь общий текст судьбы. В этот текст входит и роман, и продолжение жизни автора. Текст романа — это проповедь, гражданская казнь и каторга — это распятие. Нельзя вообразить Благою весть без распятия и воскресения. Так же трудно оторвать каторгу автора от его романа. Сюжет распятия и сюжет воскресения входят в текст Евангелия. Однако в романе Чернышевского звучит надежда, что чаша будет пронесена мимо. Об этом последняя глава «Перемена декорации», где показано, что автор романа выходит на волю. О скором выходе на волю он писал и жене. Но судьба оказалась жестче и мудрее. Если ты уж замахнулся быть учителем людей, то получи по полной программе. И казнь была. Герцен сравнил позорный столб Чернышевского с крестом, на котором распяли Сына Человеческого. А потом была каторга, или, говоря словами Достоевского, «мертвый дом», то есть тот свет. А уж потом — воскресение.

Но как же призыв к революции, который вычитали в романе и охранители, и молодые инакомыслы? Посмотрим, какое поведение пропагандировалось в романе. С французской песенкой

¹ Обручев В.А. Из пережитого // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. С. 256. Ср. письмо Чернышевского в Саратов в сентябре 1860 г. о своем приятеле: «Начал учиться по-французски и довольно успешно разбирает Евангелие во французском переводе — это самый скорый метод научиться читать книги на каком-нибудь языке, чтобы прямо приниматься на этом языке *читать книгу, которую почти наизусть знаешь на своем*» (Чернышевский. XIV. С. 407; курсив мой. — В.К.).

вводится в роман Вера Павловна. Но как он переосмысляет эту очень жестокую песенку французского простонародья, санкюлотов, призывавших – «всех буржуа – на фонарь» (*tous les bourgeois à la lanterne*) и припевом – «дела пойдут» (*Ça ira!*). То есть повесим – и дела пойдут. Чернышевский революционность, тем более жестокость, из этой песенки полностью элиминирует.

«В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую. “Мы бедны, – говорила песенка, – но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться – знание освободит нас; будем трудиться – труд обогатит нас, – это дело пойдет, проживем, доживем:

Ça ira!

Qui vivra, verra (то есть “Дело пойдет / Кто будет жить – увидит”).

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, – это дело пойдет, – проживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся – и обогатимся; будем счастливы – и будем братья и сестры, – это дело пойдет. <...> Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая».

То есть надо избавиться от грубости и невежества и трудиться, тогда дела пойдут. Вполне буржуазный пафос. И никакой революции!¹ Надо полагать, что его расчет был на знание реально-

¹ Надо сказать, что эта тема мирного преодоления человеческих бед была постоянной в его размышлениях. В полуавтобиографическом романе «Пролог» главный герой Алексей Иванович Волгин, изображенный с потрясающей самоиронией, тем не менее весьма строг в своем понимании того, что и как делать. Вот пара его сентенций: 1. О человеческих отношениях: «Нельзя приневоливать человека быть счастливым по-нашему, потому что у разных людей разные характеры». 2. О французских делах: «Опять недостало рассудка и терпения; подняли восстание; – ну и заплатились так, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? – Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников. Когда видят силу, то не будут вызывать на бой, – смирятся, самым любезным манером. Ох, нетерпение! – Ох, иллюзии! – Ох, экзальтация! – Волгин покачал головою». И в том же романе притча, почти евангельская, из дневника Левицкого, соумышленника Волгина: «Вечная история: выходит работник, набирает помощников. Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса, готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриговать, – разинули рты, слушают – и пошла толпа за ним. Он ведет их в болото – они тонут в грязи, восклицая: “Сердца наши чисты!” – Сердца их чисты; жаль только, что они со своими чистыми сердцами потонут в болоте».

го текста этой песни, очень популярной среди радикалов, да и просто образованных людей. Этот контраст должен был подчеркнуть антиреволюционный пафос романа. Поразительно, но никто не увидел. Самостоятельность мысли радикалы приняли за революционаризм. Возможно, дело все-таки в мифологическом сознании россиян, о которых писал в свое время Хомяков, что мы еще не вышли из эпохи сказочности и саг. И на эту мифологическую основу легла позиция правительства. Судьба писателя дописала его роман.

Сошлюсь на аналитическую формулу А.А. Демченко: «Факт участия влиятельных чиновников в пропуске романа налицо. И не только напечатали его, но еще разрешили оставить под ним полную подпись автора, политического узника. Какими-то тактическими соображениями хозяева положения руководствовались определенно. Какими же? Вспомним, как Долгоруков и Потапов опасались изъятий общественного недовольства или даже протеста в первые дни после ареста Чернышевского и Серно-Соловьевича. Снять напряженность в обществе, продемонстрировать объективность и гуманность правительства в отношениях к политическим заключенным (обоим предоставили право писать и печататься), закрепить в общественном мнении мысль об отсутствии предвзятости в разбирательстве их следственных дел — такова, думается, ближайшая тактика властей в данном конкретном случае. И в известной мере власти добились своего. После появления в печати романа за подписью Чернышевского слухи о скором его освобождении явно усилились. <...> Несмотря на достигнутые некоторые результаты, власти в конечном счете просчитались с опубликованием романа. И эта досада, возможно, отразилась на той торопливости, с какой следователи взялись за разработку обвинительных материалов»¹. Если поначалу публика после выхода романа надеялась на выход из крепости автора, то она ошиблась². А раз писателя казнили, то,

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть третья. 1859–1864. С. 214.

² Стоит сослаться на воспоминания одного юриста, в молодости общавшегося с Чернышевским: «Этот арест, в особенности Чернышевского, меня сильно поразил, и я ломал себе голову, в каком деле мог участвовать Чернышевский, относившийся весьма скептически ко всем революционным попыткам, осуждавший печатно в одном из номеров “Современника” даже Герцена, к которому, как к мыслителю-философу, относился с большим уважением. Надо заметить, что дело Чернышевского было покрыто какой-то особой таинственностью; о всех других делах мы, молодежь, всегда были осведомлены, знали не только, в чем обвинялся каждый из арестованных, но и знали их показания, о Чернышевском же никто ничего не знал. Осенью 1862 года мне пришлось покинуть Петербург и

конечно, он революционер. **Власти нарвались на мифологическое сознание общества, сами при этом создав миф о Чернышевском-революционере.** Никто не ожидал, что безвинный арест превратит мыслителя в революционера-страдальца, а каждое его слово будет читаться именно в этой программе, предложенной самим правительством. Так и было прочитано, испугались романа, который не был антинигилистическим, но прочитан нигилистически по воле самих властей.

Новые люди как подвижники

И все же понятие «новые люди» требует серьезной реконструкции. В советской, да и не только советской, науке это символ русской радикальной молодежи, готовящей Россию к революционному перевороту. В очередной раз перечитывая «Что делать?» я чувствовал, что камертоном к этому чтению должно быть чтение Евангелия. Вслушаемся в слова Чернышевского в романе: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли». Это, конечно, рассказ о христианском подвижнике, где слова Христа усилены: не просто «соль земли», но «соль соли земли». Вариант новой Нагорной проповеди. Прислушаемся и к этому тексту: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» (Мф 5 : 10–13). Подпольный человек, выступая против добра как основы жизни, отрицает возможность новых людей с их установкой на добро для других, как Великий инквизитор говорит о невозможности для всех следовать путем Христа. Слишком сильны гонения.

поселиться в провинции, куда долетали известия о многих арестованных лицах, но о Чернышевском ничего не доходило. **Признаком скорого его освобождения представлялся напечатанный им в первой книжке за 1863 год “Современника” роман “Что делать?”** (Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. С. 383; выделено мною. — В.К.).

Именно о гонениях на новых людей пишет Чернышевский, не за то, что они сделали нечто преступное, а за то, что они **другие**: «Недавно родился этот тип и быстро расплодится. Он рожден временем, он знамение времени, и, сказать ли? — он исчезнет вместе с своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью. Шесть лет тому назад этих людей не видели; три года тому назад презирали; теперь... но все равно, что думают о них теперь; через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: “спасите нас!”, и что будут они говорить будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканые, страшимые». Таков же и Рахметов, которого автор именует «необыкновенный человек». Но он такой же. Просто градусом выше. Хотя в примечаниях советских специалистов все время говорится, что Рахметов готовит себя к русской революции, но он странник, пришелец, взыскующий Града Небесного. Быть может, реформатор, как Сперанский. Ему все любопытно, но интереснее прочего Североамериканские штаты: «Через год во всяком случае ему “нужно” быть уже в Североамериканских штатах, изучить которые более “нужно” ему, чем какую-нибудь другую землю, и там он останется долго, может быть, более года, а может быть, и навсегда, если он там найдет себе дело, но вероятнее, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России, не теперь, а тогда, года через три-четыре, “нужно” будет ему быть». Это вариация судьбы Лопухова, который прошел школу США и вернулся в Россию. Он из тех, о ком сказано в Евангелии, которые «говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле» (Евр 11 : 13). Не случайно архимандрит Феодор (Бухарев) считал Рахметова христианским подвижником. Он думает о ближних, это его дело, никакой революции. Например, Рахметов упрекает Веру Павловну, что она решила оставить мастерские, и возводит ее дело по организации мастерских на уровень абсолютно богоугодного дела: «Это учреждение вы подвергали риску погибнуть, обратиться из доказательства практичности в свидетельство неприменимости, нелепости ваших убеждений, средством для опровержения идей, благотворных для человечества; вы подавали аргумент против святых ваших принципов защитникам мрака и зла. Теперь, я не говорю уже о том, что вы разрушали благосостояние 50 человек, что значит 50 человек! — вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. *Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против духа святого, — грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть*

отпущен человеку, но этот — никак, никогда» (курсив мой. — В.К.). То есть «особенный человек» Рахметов находится внутри христианской системы ценностей, о чем нам рассказывает язык, на котором он говорит. Стоит отметить, что он читает, попав в дом Веры Павловны: «Он преспокойно ушел в кабинет, вынул из кармана большой кусок ветчины, ломоть черного хлеба, — в сумме это составляло фунта четыре, уселся, съел все, стараясь хорошо пережевывать, выпил полграфина воды, потом подошел к полкам с книгами и начал пересматривать, что выбрать для чтения: “известно...”, “несамобытно...”, “несамобытно...”, “несамобытно...”, “несамобытно...” это “несамобытно относилось к таким книгам, как Маколей, Гизо, Тьер, Ранке, Гервинус. “А, вот это хорошо, что попало; — это сказал он, прочитав на корешке несколько дюжих томов “Полное собрание сочинений Ньютона”; — торопливо стал он перебирать темы, наконец, нашел и то, чего искал, и с любовною улыбкою произнес: — “вот оно, вот оно”, “Observations on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John”, то есть “Замечания о пророчествах Даниила и Апокалипсиса св. Иоанна”. <...> Он с усердным наслаждением принялся читать книгу, которую в последние сто лет едва ли кто читал, кроме корректоров ее: читать ее для кого бы то ни было, кроме Рахметова, то же самое, что есть песок или опилки. Но ему было вкусно». Почему-то никто это не отмечал. Хотя для Чернышевского указание на ту или иную книгу чрезвычайно важно.

Напомню, что Чернышевский долго занимался русскими летописями. Вот строчки из его дневника: «*21 год моей жизни. 12 июля 1848, 2 часа ночи.* — Встал, стал до чая разрезывать летопись Нестора (завешание Мономаха), дорезал». «*13-го [августа], 3 часа.* — Утром писал Нестора». «*20-го [августа].* — Весь день как-то Нестор не писался, только dokonчил прежний полулист и начал и дописал до конца 78-ю стр.» (*Чернышевский. I. С. 90*). Стоит высказать еще одно предположение, что Чернышевский, конечно, читал «Повесть временных лет» (также называемую «*Первоначальная летопись*» или «*Несторова летопись*»), ибо она входила в Ипатьевскую летопись. Студент Чернышевский долго занимался Ипатьевской летописью. Работа («Опыт словаря к Ипатьевской летописи») была начата Чернышевским под руководством профессора И.И. Срезневского; опубликована в 1853 г. в «Прибавлениях» ко 2-му тому «Известий Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности».

И вот строчки, где впервые в русской литературе появляется понятие «новые люди»: «На следующий же день вышел Владимир

с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошло там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а дьявол говорил, стеная: “Увы мне! Прогнан я отсюда! Здесь думал я обрести себе жилище, ибо здесь не было учения апостольского, не знали здесь Бога, но радовался я служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не мучениками; не буду уже царствовать более в этих странах”. Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и сказал: “Христос Бог, сотворивший небо и землю! *Взгляни на новых людей этих* и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, как познали тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на тебя и на твою силу”. И сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры»¹ (курсив мой. — В.К.). Вот эта правильная и неуклонная вера, о которой мечтал князь Владимир, не могла, разумеется, стать общим правилом жизни «дюжинных людей»².

Но именно ее попытался оживить на новом историческом витке Чернышевский, знавший об удавшихся попытках подобного рода — лютеранстве, старообрядчестве и пр. Он понимал, разумеется, всю невероятную трудность этого преобразования, но хотел верить в ее возможность. Можно было, конечно, совершить некую подстановку, предложив новый вариант христианства — толстовство. Но для сына саратовского протоиерея, которого называли надеждой православной церкви, это было бы кощунством. Другой русский гений, тоже мечтавший о возрождении и укреплении христианства в России, однако, пока-

¹ Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века. М.: Художественная литература, 1978. С. 133.

² Здесь стоит сослаться на религиозного мыслителя XX столетия, чтобы стал более внятным смысл термина «новые люди», что это не натяжка автора, желающего прочитать Чернышевского как религиозного мыслителя: «Я назвал Христа “первым моментом” нового человека. Он, конечно, гораздо больше, чем “первый момент”, не просто один из новых людей, но новый Человек. Он источник, центр и жизнь всех новых людей. <...> Новые люди появляются тут и там, во всех уголках Земли. Некоторых из них, как я уже отметил, трудно пока распознать. Но есть и такие, которых вы узнаете довольно легко. Кто-то из них иногда встречается нам. Даже голоса их и лица отличаются от наших: они сильнее, спокойнее, счастливее, светлее» (Льюис К.С. Просто христианство. М.: Гендальф, 1994).

зал, что подобная победа в этом мире невозможна, ибо мир во зле лежит и князь мира сего дьявол. А царство Христа не от мира сего, и Христос вынужден уступить Великому инквизитору, который, как сказал Алеша Карамазов, «не верует в Бога, вот и весь его секрет!». А верующему уготована тюрьма, позорный столб, каторга, одним словом, Голгофа¹.

Как же это можно было перетолковать?

Другой современник и противник Чернышевского, профессор Цион, тем не менее достаточно точно показал, как призыв к буржуазному предпринимательству поняли как призыв к бомбометанию. Европейец «спросит вас: кто такой Чернышевский? Вы ему ответите и скажете, что Чернышевский написал плохой, по мнению самих же нигилистов <...>, роман “*Что делать?*”, сделавшийся, однако, евангелием нигилистов. Вы ему покажете книжку Степняка, где он на стр. 23 увидит, что роман “*Que faire?*” предписывает троицу идеалов: *независимость ума, интеллигентную подругу и занятие по вкусу* (курсив в тексте). Первые две вещи нигилист “нашел под рукой”. <...> Оставалась третья заповедь – “найти занятие по вкусу”. Долго нигилисты колебались и были в отчаянии, что не могли раскусить мысли Чернышевского... <...> Но вот наступил 1871 год!... Он в волне-

¹ В заключение главы приведу поразительную запись генерала Н.Д. Новицкого, выпускника Академии Генерального штаба, общавшегося с Чернышевским до его ареста и пораженного этим арестом: «Этот блестящий прозорливый публицист, популяризатор величайших открытий новейшей науки, этот критик и беллетрист – вносителем сюбверсивных идей, сеятелем смуты в умах! Этот, наконец, серьезный кабинетный работник, едва находивший время для отдыха от своих трудов, этот образцовый семьянин и добряк, в жизнь свою не посягавший на жизнь червяка, – союзником каких-то проходимцев-революционеров, подбивателем молодежи на политические преступления и пропаганду с девизом: “Ломай, режь и жги все!” И это все Чернышевский-то, так любивший и науку, и искусство, и Россию, и человечество, и молодежь и так всегда готовый, несмотря на свою работу, к которой единственно обеспечивалось существование его и его семьи, по целым часам толковать о ней, терпеливо объясняя: что читать? как читать? как надо работать и учиться?!!

“Знаете ли, – говорила мне одна высокопоставленная и почтенная личность, имевшая случай хорошо знать Николая Гавриловича и всю его историю, ныне уже давно покойная, – будь я великим драматургом, я непременно взял бы его сюжетом моей трагедии, но, по крайней мере, при своей жизни не позволил бы ее играть на сцене из страха свести зрителей с ума от горя, от негодования и ужаса...” Бог, в неизреченном милосердии всепрощающий, конечно, простит и инкриминаторов, погубивших Чернышевского. Вероятно, еще при жизни своей он простил их и сам, сказав, по своему обыкновению: “Ну, что же тут делать-с? все это в порядке вещей...”. Но потомство, но история, – хочется крепко верить, – не простит этим людям никогда!..» (*Новицкий Н.Д.* Из далекого минувшего // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 171–172).

нии следил за перипетиями страшной драмы, происходившей на берегах Сены... <...> Ответ был найден. Теперь юноша знает, что он обязан сделать, чтобы остаться верным третьей заповеди романа Чернышевского. Парижская коммуна послужила ему комментарием для романа!»¹

Вот и ответ на то, как переосмыслился роман, звавший к мирной деятельности.

В романе «Братья Карамазовы» Достоевский в сущности обращается к этой теме. В четвертой части, в книге десятой, под названием «Мальчики», Алеша беседует с ранним свободомыслом Колей Красоткиным. Прочитавший один номер «Колокола», но считающий себя последователем Герцена, мальчик Коля Красоткин говорит: «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно». Но по религиозному невежеству мальчика Коли, Белинского и Герцена забывается, что такой персонаж в Евангелии выведен — это Варавва, которого толпа потребовала освободить вместо Христа. Как сказано в Евангелии от Марка: «Тогда был в узах *некто*, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. <...> Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк 15, 7–15). И в Евангелии от Луки: «Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство» (Лк 23, 18–19). Иными словами, мятежник, революционер был отпущен на волю. Призывавший в своем романе всего-навсего к началу буржуазного предпринимательства был осужден на каторгу и сибирское поселение. Как же текст Чернышевского мог быть прочитан революционно? Об этом говорит Алеша, обращаясь к Коле: «Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: “Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную”. Никаких знаний и беззаветное самонимение — вот что хотел сказать немец про русского школьника».

Так и читали...

¹ Цион И.Ф. Нигилисты и нигилизм // Русский вестник. 1886. № 6. С. 776–777.

Глава 12

Приговор, казнь. Каторга

Путь к приговору

Читая материалы следствия Чернышевского, поневоле вспоминаешь об осуждении Эдмона Дантеса в романе Дюма «Граф Монте-Кристо». Не виновный ни в чем молодой моряк в результате доноса, клеветы и сведения разнообразных счетов был приговорен к вечному заключению в замке Иф. Читая о всех безобразиях и подлостях, порой начинаешь жалеть, что невозможно превратить Чернышевского в графа-мстителя. Но невозможно. И не только потому, что литература не обладает волшебной силой преображения. Но и потому, наверно, что и сам Чернышевский отказался бы мстить. Сказал же он, узнав в Вилюйске от якутского прокурора об убийстве (для народовольцев – казни) Александра II, все же главного виновника своей страшной участи (об этом ниже): «Убили Александра II? Дураки, дураки, как будто не найдется замены. Хороший был государь. Дело не в том!»¹ И еще более страшная его фраза, как бы подытоживавшая его погубленную жизнь, когда Александр III, напуганный народовольцами, которые, как и император, считали Чернышевского революционным лидером, а потому так отчаянно боролись за его свободу, велел срочно (!) перевести его в Астрахань (!) из Вилюйска (!), то есть все же добить резкой сменой климатов. Прочитав высочайшее распоряжение, «Николай Гаврилович сел на кровать, немного подумал и сказал: “Да ошибку отца хочет поправить сын, но это поздно уж теперь”»². Народовольцы пригрозили бомбами во время коронации императора, и тот не справедливость вос-

¹ Меликов Д.И. Три дня с Чернышевским // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 365.

² Кошарский А.Г. Мои воспоминания // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 240.

становливал, не ошибку исправлял, просто-напросто боялся за свою жизнь.

Дюма я вспомнил не случайно. Всеволод Костомаров любил и переводил западных романтиков — Шамиссо, Гейне, Гюго, Лонгфелло, Байрона (кстати, из Байрона мистерию «Каин», где оправдывался братоубийца). А в 1862 г. вышли «Отверженные» Гюго, своего рода полицейская романтика, роман, который читала вся литературная Россия. Стоит вспомнить и «Отца Горио» Бальзака (1835), где преступник Жак Коллен, он же Вотрен, он же глава воровского мира по кличке «Обмани смерть», имевший воровские тайники по всей Франции, едва ли не хозяин всего Парижа. На этом фоне особым образом читаются показания Костомарова (да и его дядя — по свидетельству словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, — историк Н. Костомаров любил разбойничьи сюжеты). Кстати, Николай Иванович Костомаров умудрился написать в Саратове ученый донос на двух мещан-евреев, доказав — научно! — что они не могли не употреблять для своих религиозных нужд кровь христианских детей. Обвиненные личным распоряжением императора, доверявшего, видимо, «научным доказательствам» по открытию идеологических преступлений, они получили 20 лет Сибири.

По донесению сыщика Путилина, «Костомаров, если он будет освобожден, и даны будут средства, откроет с ним, Путилиным:

1. Главную думу революционного комитета в Москве и С.-Петербурге;
2. Тайную типографию и архив сего комитета в Москве и
3. Склад оружия».

На что было «высочайше разрешено, если открытия эти будут сделаны, выдать Костомарову 500 р. и производить его матери ежегодно по 1500 р. Путилин передал это Костомаровым». (*Дело*, 261–262). Все это напоминает еще и тексты Чернышевского о поволжских разбойниках, которым противостоял его дед-священник. Но тут в разбое обвинили внука и сына духовных лиц. Конечно, Костомаров ничего этого не открыл, хотя деньги хотел. До тюрьмы, как пишет НГЧ, Всеволод Костомаров пытался разговорить его на политические темы, но осторожный и не любивший политических заговорщиков Чернышевский ответил: «А когда так, — сказал я серьезным тоном, — то вам следует думать не о том, хорошо или дурно идут дела в России, а о вашем семействе, которое вы обязаны содержать вашими трудами» (*Дело*, 233). Костомаров, как ему показалось, нашел более легкой и быстрый способ заработка. То, что деньги, без сомнения, играли роль в его писаниях против Чернышевского, очевидно.

Имеет смысл сопоставить открытый, да к тому же и писавшийся для открытой печати роман Чернышевского и тайные новеллы Костомарова, писавшиеся в полицейском подполье. Как ни пытались противники НГЧ (Цитович) подвести под уголовный кодекс поступки его героев, ничего крамольнее, чем имитация самоубийства Лопуховым, а потом второй брак при живом муже и живой жене, не находилось. Эту тему Чернышевского подхватил Лев Толстой в драме «Живой труп», показав бесчеловечность церковных и государственных законов, вынуждающих героя, который, как и Лопухов, исчез, чтобы дать свободу жене, и впрямь застрелиться. Вообще сюжеты каторжанина изрядно обогатили русскую литературу. Но «тайная типографии», но «склад с оружием»!.. Конечно, ничего этого Костомаров предъявить не мог. И он принялся разрабатывать интеллектуальную жилу, пытаясь извлечь деньги из своих тайных сочинений.

После выхода в свет романа очень многие решили, что до освобождения Чернышевского осталось немного. Пыпин пытался провести идею о том, чтобы выпустить НГЧ на поруки. Это можно было бы ожидать, если дело передадут в Сенат, как на том настаивал князь Суворов, но князя всячески обходили Потапов и министр юстиции Замятнин, даже комендант крепости позволял себе не пересылать писем Чернышевского князю. Передачи в сенат Суворов добился все же. Но параллельно шла работа Потапова и Костомарова, писавшего мемуар, где расправа с Чернышевским подавалась как хирургическая операция, необходимая для спасения государственного организма.

Прочитируем вступление Костомарова к разбору статей Чернышевского, в котором он как раз и доказывает, что подцензурными текстами тот проводил антигосударственные идеи. Вступление к разбору недвусмысленно предлагает Чернышевского уничтожить:

«Подобно отдельному человеку, общество имеет высшие и низшие органы, руководящие и подчиненные; подобно отдельному человеку, функции одних органов могут совершаться правильно и приносить общую пользу целому организму в то время, как бывают поражены болезнями и неправильным отправлением своих функций или приводят весь организм в расстройство и причиняют ему смерть, или задерживают правильный ход жизни, — смотря по тому, какую они играют роль в экономии целого организма.

Если у общества поражены лучшие органы его организма, оно хиреет и начинает умирать. У общества, как и у отдельного человека, есть болезни, против которых нет исцеления.

Но если поражены такие органы, исцеление которых возможно, мы не должны запускать лечения, как бы ни ничтожно казалось нам с первого взгляда положение болезненного органа в общей экономии целого организма.

Медицина не признает никакой болезни ничтожной. Простой порез пальца может иметь исходом поражение целого организма и смерть.

Все зависит от того, чтоб захватить болезнь в самом ее начале. Но если вы пренебрегли порезом своего пальца, и у вас приключится Антонов огонь, — дайте отрезать свою руку, иначе смерть неизбежна.

II

Наш общественный организм находится именно в таком положении.

Язва, привитая к нам извне, готова войти в плоть и кровь нашу.

Болезнь запущена.

Пораженные органы исцелить уже нельзя. Их надо отсечь.

Иначе яд их привьется ко всему организму.

III

Цель настоящего мемуара есть исследование болезни, поразившей наше общественное тело» (*Дело*, 483–484; выделено мною. — В.К.).

А далее шел разбор пропущенных цензурой статей Чернышевского из «Современника» с вчитыванием в них ядовитого содержания.

И практически сразу Костомаров начал зарабатывать, то есть получать свои тридцать сребреников. Вот распоряжение В.А. Долгорукова от 22 июня 1863 г.

«Высочайше разрешено дать Костомарову с семейством единовременно пятьсот руб. сер., истребовав эти деньги из государственного казначейства на известное его величеству употребление. 22 июня <1863 г>» (*Дело*, 262). Процесс шел, клевета ширилась, приобретала как бы реальные очертания.

И вот документ в Сенате. Далее позволю себе сделать выписку из весьма обстоятельной работы современного исследователя: «Своё “Определение” с изложением всех обстоятельств дела сенат согласно действующему порядку направил в министерство юстиции. Здесь 10 декабря 1863 г. был составлен “Доклад”, и в его заключительной части, посвящённой “основанию для осуждения Чернышевского”, содержится несколько иная редакция сформулированных сенатом пунктов. Этот извлечённый нами из

архива любопытнейший документ в известной мере разрушает сложившуюся картину безусловного послушания всеми чиновниками выстроенной следственной комиссией и III отделением версии обвинения. “Письмо к Алексею Николаевичу” истолковано здесь таким образом, что участия Чернышевского в заговоре не было, а вина его заключается в недонесении властям о действиях злоумышленников. **Полученные от В. Костомарова сведения, именуемые в следственной комиссии Голицына и в сенате “показаниями”, названы в “Докладе” “оговором”, который “отчасти” подтверждается материалами следственного дела Михайлова.** <...> В “Докладе” особо указывалось: воззвание к крестьянам “не было распространено и даже не было вполне отпечатано”. Чиновники 2-го отделения Департамента министерства юстиции, составившие “Доклад”, склонялись, вопреки сенаторам, к вынесению совершенно другого, более мягкого наказания для Чернышевского: “Лишить некоторых особенных по 54 ст. Улож. прав и преимуществ и заключить в крепость на 2 года и 8 месяцев, а по освобождении выслать на жительство в одну из отдалённых губерний”¹. Этот более чем гуманный приговор впечатляет, поскольку дальнейшая судьба Чернышевского слишком известна.

«**Полное нравственное убеждение**»...

Казалось бы, после такого «Доклада», составленного лицами не близкими Чернышевскому, но и не имевшими против него предубеждений, надо было спустить дело на тормозах, как на то и рассчитывал Чернышевский. Ну, не извиняться, тем более что Потапов поклялся, что «никто извиняться не будет», но уменьшить строгость. Но начальник этих чиновников министр юстиции Дмитрий Николаевич Замятнин, автор либеральной судебной реформы, видимо, не хотел жертвовать своей карьерой, которую он считал более важной для России, чем судьба радикального литератора, пусть даже он и невиновен. А главное, что раздражало всех сенаторов да и министра, что Чернышевский не признал ни одной улики. То есть, как говорили в советское время, не пошел на контакт со следствием. И Замятнин делает правку «Доклада» своих подчиненных, завершая словами, взятыми из Приговора: «Сам Чернышевский противу улик сих никако-

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть третья. 1859—1864. Саратов: изд-во Саратовского университета, 1992. С. 279—280. Выделено мною. — В.К.

го опровержения не представил. **Из сих улик возникает полное нравственное убеждение**, что воззвание к барским крестьянам сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению чрез тайное отпечатание онога». (*Дело*, 431). Удивительно читать в тексте выдающегося юриста о «нравственном убеждении», хотя нет доказательств. И сенаторы, тоже впечатленные анализом Костомаровым текстов Чернышевского, *оговора* в его показаниях не увидели и все же не изменили свой Приговор, на который был ответ чиновников Министерства юстиции. К чему и за что приговорили Чернышевского сенаторы? Вот несколько выдержек из приговора. Самое главное навеяно текстами Костомарова, как на то и рассчитывал Потапов:

«Обращаясь затем к определению степени подлежащего Чернышевскому наказания, сенат находит, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала “Современник”, своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих, со всею злою волею, посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему сенат признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т. е. по 3-ей степени в мере близкой к высшей по упорному его заперательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся» (*Дело*, 420). И далее вообще поразительное заявление: «Из сих улик **возникает полное нравственное убеждение**, что воззвание к барским крестьянам сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению чрез тайное отпечатание онога» (*Дело*, 429; выделено мною. — В.К.). Доказательств юридических нет, но есть *нравственное убеждение!* Конечно, это прямое предвещие расправ сталинской эпохи, разве что самооговора не добились (пыток не было!). Напрасно чиновники Министерства юстиции, получившие, видимо, юридическое образование, старались следовать букве закона, заявляя, что воззвание к барским крестьянам, даже если и сочинено Чернышевским (что не доказано, а только есть «оговор» Костомарова), «не было распространено и даже не было вполне отпечатано». То есть юридически нет состава страшного преступления.

Но поразительно признание одного из сенаторов. И вправду дело было в том, что Чернышевский не каялся, не просил прощения, вел себя абсолютно независимо. Как пишет в своих ме-

муарах А.Ф. Раев, передавая рассказ своего дяди Петра Раева: «Покойный Петр Иван. Раев на обеде у Карташевского в деревне за Гатчиной сидя рядом с покойным сенатором Корономеным (нераз.)-Пинским (?) [думаю, Матвеем Карниолин-Пинским — В.К.] спросил его за что именно сенат приговорил Чернышевского к ссылке в Сибирь. Пинский ответил так: сенаторы и не думали ссылать Чернышевского в Сибирь, тем более что исправление его рукою, чего то вроде прокламации не было вполне доказано; но **Чернышевский на допросе его в Сенате давал такие же ответы как Спаситель Пилату** и проявил полное упрямство, крайне раздражил сенаторов, которые и решили сослать его в Сибирь»¹. Государственный совет 7 апреля 1864 г. подтвердил решение правительствующего сената, дав возможность императору имитировать милосердие: «Государственный совет, в департаменте гражданских и духовных дел, по рассмотрении определения правительствующего сената, 5-го департамента, об отставном титулярном советнике Чернышевском (35 лет), признав его, по уликам и обстоятельствам дела, виновным в сочинении возмутительного воззвания, передаче оного для тайного напечатания, с целью распространения, и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления, мнением положил: утвердить по настоящему делу заключение правительствующего сената и вследствие сего отставного титулярного советника Николая Чернышевского, на основании приведенных в том заключении узаконений, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет, а затем поселить в Сибири навсегда» (*Дело*, 432)².

«В его виновности нет ни одного прямого доказательства»

Каким образом приговор и мнение Государственного совета, а также милость императора стали известны публике задолго до публикации, сказать трудно. Тем не менее чего-то несправедливого ждали даже те, кто еще некоторое время были уверены, что Чернышевского освободят, поскольку никаких преступлений за ним не найдено. Даже близко следивший за процессом А.Н. Пыпин еще в декабре 1863 г. писал в Саратов, что, по его мнению, дело никак не могло бы кончиться дурно. Но в феврале следую-

¹ Воспоминания А.Ф. Раева о Н.Г. Чернышевском. ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 618. ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 618. Выделено мною. — В.К.

² Резолюция Александра II: «Быть по сему, но с тем чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину» (*Дело*, 432).

шего года настроение в публике совсем другое. Предлагаю вниманию читателей архивный документ. В донесении одного из агентов Третьего отделения от 28 ноября 1863 г. было написано: «Решение сената относительно Чернышевского уже известно в городе, и о нём много поговаривают; в некоторых местах появились даже портреты Чернышевского, которых долгое время не выставляли. Носится слух о составлении в его пользу подписки, о чём именно говорил издатель “Библиотеки для чтения” П.Д. Боборыкин. О Чернышевском большинство сожалеет, как об умном, талантливом писателе; друзья его, конечно, вне себя, хотя и ожидали этого исхода; меньшинство же говорит: поделом ему!»¹ И вот потрясающее письмо 16-летней гимназистки, нравственное убеждение которой продиктовало ей совсем другое понимание дела Чернышевского, чем жандармам. Жертвенность русских женщин и девушек, совершенно бескорыстная и страстная, могла подействовать на многих, но у императора, очевидно, считавшего Чернышевского своим *личным врагом*, оно вызвало только *скабрзные подозрения*. Рассуждать здесь не надо, лучше привести этот текст, как его опубликовал в 1922 г. М.Н. Чернышевский:

«О впечатлениях молодежи свидетельствует любопытный документ, сохранившийся в недрах полицейских архивов и только ныне извлеченный мною на свет божий.

Молодая, 16-летняя, гимназистка, Коведяева, потрясенная жестоким приговором и увлеченная порывом юного чувства, обратилась с собственноручным письмом к Александру II о помиловании Чернышевского и предложила взамен свою жизнь. Вот ее простое, трогательное письмо:

“Всепресветлейший, державнейший Государь Император, Александр Николаевич.

Простите мою дерзость, что я осмеливаюсь писать к Вам и просить Вас. Вся моя просьба заключается в следующем: окажите правосудие Николаю Львовичу Чернышевскому, содержащему в крепости и обвиняемому в участии в восстании — прикажите освободить его. Он, поручаюсь Вам в том своею головой, совершенно невинен: подобный ему высоконравственный человек не откажется от своих действий. Да и главное в том, что в его виновности нет ни одного прямого доказательства, а он, между тем, все-таки приговорен к каторге на семь лет. Если уже необходимо кого-нибудь сослать, сошлите лучше меня, а оставь-

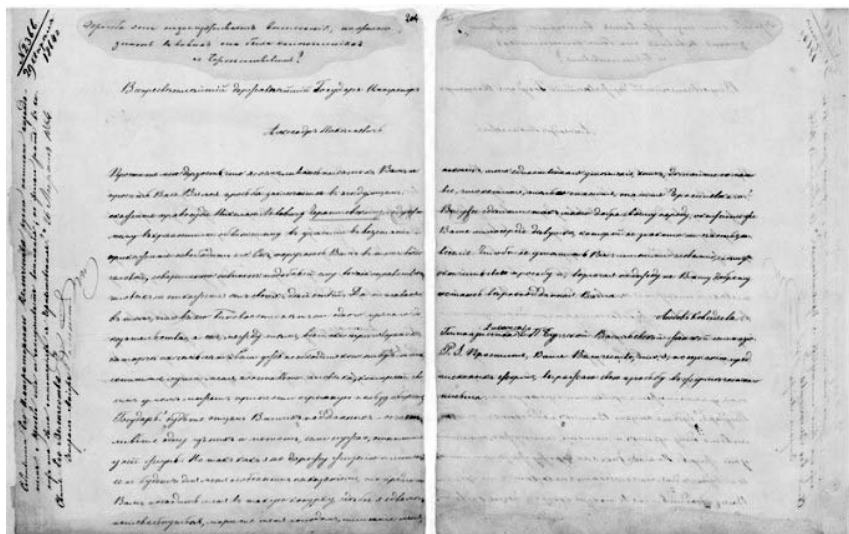
¹ Цит. по: Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть третья. 1859–1864. С. 284.

те человека, который своим умом может принести огромную пользу обществу. Государь! будьте отцом Ваших подданных — осчастливьте одну из них и потом, если нужно, отнимите у ней жизнь. Но так как я не дорожу жизнью и лишение ее не будет для меня особенным наказанием, то предлагаю Вам посадить меня в такую конурку, где бы я едва могла пошевелиться, морите меня голодом, лишите меня, наконец, моего единственного утешения — книг, делайте со мною все, что хотите, только спасите Чернышевского! Вы уже сделали так много добра своему народу, окажите же Ваше милосердие девушке, которой не знакомо ни счастье, ни веселие. Чтобы не утомить Вас лишними словами, спешу окончить свою просьбу и, возлагая надежду на Вашу доброту, остаюсь верноподданная Ваша

Любовь Коведяева, гимназистка 2-го класса С.П. Бургской Васильевской женской гимназии.

Р. S. Простите, Ваше Величество, что я, по незнанию предписанных форм, выражаю свою просьбу в форме частного письма”.

Письмо это 26 февраля 1864 г. было доложено Александру II, который положил на нем собственноручную резолюцию: “Просьба эта не заслуживает внимания, но желаю знать, в каких она была отношениях с Чернышевским”.



Письмо гимназистки Л. Коведяевой Александру II.
Государственный архив Российской Федерации. Ф. 109. 1 эксп. 1862 г.
Д. 230. Ч. 26. Л. 204—204 об. 21 x 27 см.

Во исполнение царского желания III отделением была составлена нижеследующая справка, доложенная царю 29 апреля:

“Девушка Любовь Коведяева живет вместе с отцом и двумя братьями по 10 линии Васильевского Острова в доме № 39. Отец ее, Егор Николаевич Коведяев, — надворный советник, служит в С. Петербургской таможне, человек лет 50, вдов и не имеет состояния. Дочери Любви 17-й год; она недурна собою, брюнетка, высокого роста; дома она очень много читает. Братья ее — гимназисты вновь открытой на Васильевском Острове 7-ой гимназии: старшему 16, а младшему 14 лет. — У Коведяева большое знакомство; между лицами его посещающими замечено много молодежи. — Девушка Коведяева не имела личных отношений к Чернышевскому, она даже не знает его имени, называя в письме Николаем *Львовичем*, тогда как Чернышевский Николай *Гаврилович*. Девушке Коведяевой ныне всего 17-й год, а Чернышевский уже почти 2 года содержится в крепости, то ей в то время, когда он был на свободе, было только 15-й год. Вероятно, она начиталась его сочинений, и в особенности его романа «Что делать», и проникнутая убеждением окружающей ее среды решила на свой необдуманный поступок”.

Тем дело и кончилось.

В 1917 году мне удалось розыскать племянника Любви Николаевны, инженера Б.Е. Коведяева. Он сообщил мне некоторые подробности ее жизни и показал фотографическую карточку. Умное, энергичное и благородное лицо. Она вышла замуж за В.В. Воронцова, писавшего в “Вестнике Европы” статьи по экономическим вопросам, и умерла в 1910 или 1911 г. 63 лет. С глубоким чувством уважения к гражданской доблести молодой девушки я смотрел на ее карточку и горько жалел, что не мог уже пожать и поцеловать ту благородную руку, которая в простоте души, кровью сердца, писала такое прочувствованное письмо и



Александр II

умоляла о спасении Чернышевского именно того человека, который был его убийцею. *Sit tibi terra levis.*

Мих. Чернышевский»¹.

Поразительно, что подводя итоги XIX века Василий Розанов, один из крупнейших русских мыслителей, человек по взглядам не близкий Чернышевскому, по сути повторил слова гимназистки, назвав его самым крупным явлением этого века, человеком, который мог бы Россию благоустроить: «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> С самого Петра (1-го) мы не наблюдаем еще природы, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила*, и каждый шаг обвеян “заботой об отечестве”. <...> Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий, где найти “энергий” и “работников”, государственный механизм не воспользовался этой “паровой машиной” или, вернее, “электрическим двигателем” — непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков, или “знаменитый” Мордвинов против него как *деятеля*, т.е. как *возможного деятеля*, который зарыт был где-то в снегах Вилюйска? <...> Я бы тем не менее как *лицо* и *энергию* поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Сперанского и “незыблемость” Аракчеева... Такие *лица* рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое»². И тем не менее не использовали.

Независимость деятельного человека, возможного реформатора, для самодержца самое страшное преступление. А в анамнезе биографии Чернышевского и впрямь звучало имя Сперанского, русского реформатора, которому власть не дала состояться. Но такой тупой ненависти как к Чернышевскому власть не проявляла ни к кому. Ведь по окончании срока каторжных работ, определенного резолюцией Александра II, Чернышевского надо было **по закону** перевести в разряд ссыльнопоселенцев с разрешением жить с семьей в одном из городов Восточной или Западной Сибири. Но правительство отправило его **в нарушение всех юридических установлений того времени** в вилюйскую тюрьму под жандармскую охрану. **Произвол** как норма русской жизни, как сформулировал это Чернышевский. А Вилюйск — это и правда болота (Розанов точен), протянувшиеся на десятки километров,

¹ Коведяева Любовь. Письмо императору Александру Николаевичу. Публикация Мих. Чернышевского // *Культура*, № 2–3, 1922.

² Розанов В.В. Уединенное // *Розанов В.В. Соч.*: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 207–208.

страшная мошка, гулявшая по этим местам проказа и полное отсутствие хотя бы одного образованного собеседника. Ужас непередаваемый! Что вело императора? Страх перед сильным человеком? Впрочем, внук Александра Николай II так же боялся великого реформатора П.А. Столыпина, который все же сделал решительные шаги по благоустройению России. Но царь ревновал к его популярности, силе и значению и, зная, что за премьером охотятся революционеры, снял его охрану, сделав подарок русскими бесам. Интересно, что рациональному и образованному Столыпину он тоже предпочел дикого полусумасшедшего хлыста — Распутина. Видимо, и впрямь авторитаризм влечется к безумию.

Между тем Костомаров продолжал получать заработанные им деньги. В Евангелии деньги, полученные Иудой за то, что он погубил Христа, назывались «кровавыми деньгами». Министр финансов М.Х. Рейтерн писал о Костомарове министру внутренних дел П.А. Валуеву 5 августа 1863 г.: «5 августа 1863 г. **Погубивший дирижера радикального оркестра**, завтра, от 9 до 11 веч. может получить у Ф. Т. Ф. ¹ 1000 руб., если приготовит заранее расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, как вам известно, по поставленному им условию, не должна об этом знать. Будьте любезны принять на себя труд послать надежное извещение по известному вам адресу» (Дело, 263: выделено мною. — В.К.). Власти тоже рассматривали Костомарова, как видим, не как честного верноподданного, а как *Погубителя*.

Казнь, или Торжество мифа

19 мая 1864 г. на Мытной площади состоялась гражданская казнь Чернышевского. Император хотел заточить при этом Чернышевского в Шлиссельбургскую крепость навсегда, где он стал бы чем-то вроде «железной маски», не имея возможности ни читать, ни писать, ни общаться с родными. Но даже верный ему министр юстиции возразил императору: «Заключение в секретном замке преступника, законно осужденного, лишая его сношений с родными, предоставляемых законом ссыльнокаторжным, возбуждает справедливое нареkanie на пренебрежение законом самим правительством» (Дело, 434). Пришлось ограничиться каторгой и пожизненной Сибирью. Потапов, как говорят современники,

¹ Директор общей канцелярии министерства финансов Федор Тимофеевич Фандер-Флит.

был доволен и плохо скрывал свою радость. Напрасно князь Суворов пытался воздействовать на шефа жандармов и начальника Третьего отделения В.А. Долгорукова, чтобы он соблюдал в этом действе букву закона. 4 мая князь писал шефу жандармов: «Высочайше утвержденным 21 февраля сего года мнением комитета гг. министров преступники всех категорий из привилегированных классов, ссылаемые по судебным приговорам в Сибирь, должны быть отправлены на подводах порядком, указанным в 510 и 511 ст. XV Св. зак. о ссыльных, т.е. они препровождаются этапным порядком, но не с прочими ссыльными, а особыми партиями и без употребления оков и наручней.

Ныне состоялся приговор о судимом за политическое преступление дворянине Николае Чернышевском, который имеет быть отправлен в каторжную работу.

По особо уважительным причинам, известным вашему сиятельству, я полагал бы Чернышевского отправить не этапным порядком, *но на почтовых с двумя жандармами*, применяясь к правилам, высочайше утвержденным 10 января 1854 года.

При этом, согласно вышеприведенному высочайше утвержденному мнению комитета министров и ст. 96, 170, 171 и 224 XIV т. Св. зак. уст. о содер. под страж. и улож. о наказ. примеч. к ст. 19, я полагал бы отправить Чернышевского без оков и наручней, так как и губернское правление при отправлении этапным порядком лиц привилегированных сословий, осужденных в каторжную работу, не налагает оков и наручней; а также не исполнять над ним обряда, указанного в 541 ст. 2 кн. XV т.

Св. зак. (о выставлении к позорному столбу), ибо Чернышевский, по приговору правительствующего сената, не присужден к политической смерти» (*Дело*, 436–437).

Но Долгорукову Свод законов был не указ. К тому же он не мог не поддержать своего подчиненного. А управляющий канцелярией Третьего отделения генерал Потапов по своей психее был безусловно близок Костомарову, которого знавший его лично Чернышевский считал безумным. Потапова он понимал хуже, но сановники, с ним работавшие, считали, что Потапов клинически больной человек. Похоже, два сумасшедших — Потапов и Костомаров — нашли друг друга. И Суворову 5 мая Долгоруков ответил, что шпагу друга необходимо, ибо это показывает, что преступник вычеркнут из числа честных граждан: «Установленный в 541 ст. 2 кн. XV т. Св. зак. угол. обряд (переламывание шпаги и выставление на эшафот к позорному столбу), по точному смыслу сей статьи, должен быть исполняем над всеми без исключения лицами, осужденными

в каторжные работы» (*Дело*, 437). Суворов никак на это письмо не отреагировал.

Вот любопытные свидетельства, которые приводит один из исследователей русской полиции: «Глава III Отделения, Александр Львович Потапов, за короткое, двухгодичное, время руководства делами политического розыска прославился больше стремлением подменять существовавшие законы секретными инструкциями и историческими анекдотами. Он не был новичком в делах подчиненного ему учреждения. В 1861–1864 годы бывший руководитель московской и варшавской полиции занимал должность управляющего III Отделением и начальника штаба Корпуса жандармов. Став главой III Отделения, Потапов не приобрел здесь особой славы. Государственный секретарь Е.А. Перетц в своем дневнике 18 мая 1882 года сообщал такую подробность: “...покойный Государь, увольняя Потапова... хотел назначить его, по принятому порядку, членом Государственного совета. Против этого восстал великий князь Константин Николаевич, который доложил Его Величеству, что у Потапова чуть не размягчение мозга и что таких людей в Совет сажать нельзя”. Рассказывали даже, что, находясь уже в отставке, Александр Львович, посещая Европу, специально наезжал в Майнц, чтобы показать язык памятнику изобретателю книгопечатания Гутенбергу»¹. Да, книгу и книжников он ненавидел люто.

Но вот 17 мая «Ведомости С.-Петербургской городской полиции» опубликовали текст, который окончательно превращал Чернышевского в грозного революционера и заклятого врага российской власти, иначе строгость наказания была бы непонятна: «19 мая в 8 часов утра назначено публичное объявление на Мытнинской площади в Рождественской части бывшему отставному титулярному советнику Николаю Чернышевскому (35 лет) высочайше утвержденного мнения Государственного совета, которым определено: Чернышевского, виновного в сочинении возмутительного воззвания, передаче оно для тайного печатания с целью распространения и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления, лишить всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на семь лет и затем поселить в Сибирь навсегда» (*Дело*, 438). Миф получил официальное подтверждение.

Рассказов о казни Чернышевского не так много, но и немало. По подсчетам жандармов, на казни присутствовало примерно

¹ Измолик В. Политический розыск ведет Третье отделение (1826–1880 годы) // Жандармы России. СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс, 2002. С. 257.

две с половиной тысячи человек. Но воспоминания написали несколько человек. Начнем, однако, с рапорта генерал-майора П.В. Чебыкина А.А. Суворову:

«19 мая 1864 г.

При сопровождении сего числа преступника Чернышевского на место объявления приговора на Мытнинскую площадь и равно и на оной публики было незначительно. Конфирмация объявлена Чернышевскому в 9 часов утра.

Во время чтения приговора Чернышевскому из толпы, окружающей цепь жандармов, был брошен на площадь букет цветов, который, как полагать надо, бросили или молодая девица, назвавшая свою фамилию Михаэлис, или молодой человек, бывший с нею и называющий себя ее родственником, оба не сознающиеся виновными, отправлены в канцелярию обер-полицейстера¹.

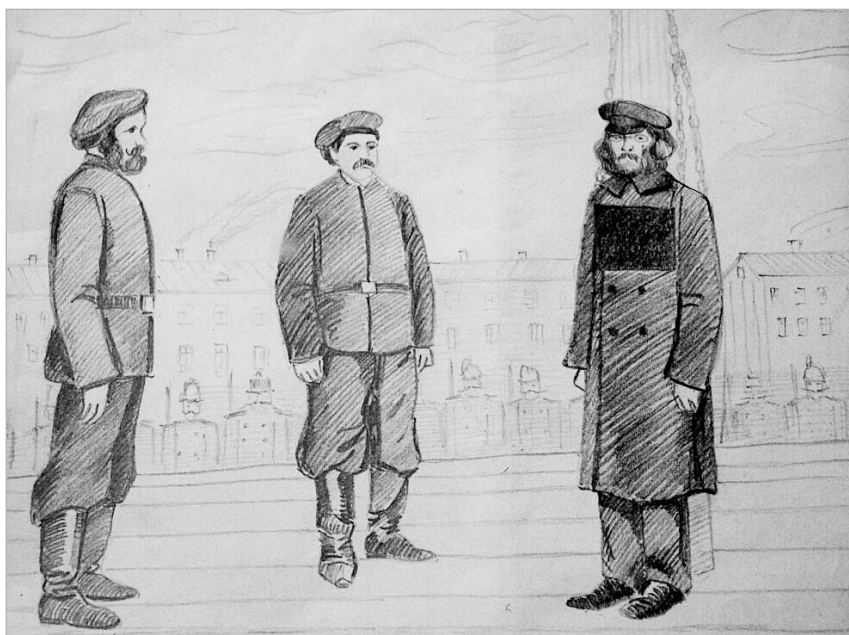
При отправлении же обратно кареты Чернышевского были замечены под оною также несколько букетов числом до трех, брошенные неизвестными лицами» (*Дело*, 439–440).

Надо сказать, что Суворов пытался постоянно содействовать облегчению участи Чернышевского, и это не нравилось жандармскому управлению, поэтому в донесениях агентов сообщалось не только о настроениях публики, но отдельной строкой и о Суворове. Как писал один из агентов, что в нарушение правил Чернышевский был не в арестантской одежде и без священника, что такая небрежность была не случайною, поскольку главным распорядителем при приведении в исполнение наказания был чиновник со стороны генерал-губернатора — генерал-майор Чебыкин. Также говорят, писал агент, что для Чернышевского по подписке собрано несколько тысяч, и что в числе главных подписчиков есть имя князя Суворова. Объяснить такое отношение к опальному литератору со стороны генерал-губернатора не берусь. Тот факт, что он был внуком великого полководца, вряд ли что объясняет.

Но вот что можно извлечь из рассказов неофициальных свидетелей казни. Вот картинка: на середине площади, стоял эшафот — четырехугольный помост высотой аршина полтора-два от земли, выкрашенный черною краскою. На помосте высился чер-

¹ Были арестованы на Мытнинской площади и доставлены к петербургскому обер-полицейстеру генерал-лейтенанту Анненкову Мария Петровна Михаэлис — свояченица Н.В. Шелгунова и писатель-этнограф Павел Иванович Якушкин. М.П. Михаэлис выслали 24 мая 1864 г. в деревню Подол Шлиссельбургского уезда под надзор полиции. Освобождена в конце 1865 г. П.И. Якушкин отделался личным замечанием и предупреждением генерала Анненкова.

ный столб, и на нем, на высоте приблизительно одной сажени, висела железная цепь. На каждом конце цепи находилось кольцо, настолько большое, что через него свободно могла пройти рука человека, одетого в пальто. Середина этой цепи была надетая на крюк, вбитый в столб. Столб, о котором говорится, это так называемый позорный столб, появившийся в Средние века в Европе — **наказание за не очень существенные правонарушения, например:** мелкое мошенничество в торговле (обвес, обсчёт, некачественный товар), неподобающее поведение в церкви (появление в пьяном виде), богохульство, очень мелкое воровство, административные нарушения (сводничество), мелкие антиправительственные выступления, насилие в семье. Если к Чернышевскому и можно было применить формулу о мелких антиправительственных выступлениях, то дальнейшее наказание было ни с чем несоразмерно. Во время его казни отступя две-три сажени от помоста, стояли в две или три шеренги солдаты с ружьями, образуя сплошное каре с широким выходом против лицевой стороны эшафота. Затем, отступя еще пятнадцать-двадцать сажен от солдат, стояли конные жандармы, довольно редко, а в промежутке между ними и несколько назад — городовые.



Гражданская казнь Н.Г. Чернышевского. По рисунку очевидца

Утро было хмурое, пасмурное (шел мелкий дождь). После довольно долгого ожидания появилась карета, въехавшая внутрь каре к эшафоту. В публике произошло легкое движение: думали, что это Н. Г. Чернышевский, но из кареты вышли и поднялись на эшафот два палача. Прошло еще несколько минут. Показалась другая карета, окруженная конными жандармами с офицером впереди. Карета эта также въехала в каре, и на эшафот поднялся Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и в мундире в сопровождении двух лиц в штатском платье. Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. Когда чтение кончилось, один палач взял Чернышевского за плечо, подвел к столбу, там оба палача, отведя ему руки назад и подняв кверху, надели на них кольца цепей, так что загнутые назад локти остались почти на одном уровне с головой. Так, сложивши руки на груди, Чернышевский простоял у столба около четверти часа. Как писали наблюдавшие за порядком жандармы, взгляд у осужденного был «надменным». По описанию людей, далеких от полиции, Чернышевский, — блондин, невысокого роста, худощавый, бледный (по природе), с небольшой клинообразной бородкой, — стоял на эшафоте без шапки, в очках, в осеннем пальто с бобровым воротником. Во время чтения акта оставался совершенно спокойным; неодобрения зазаборной публики он, вероятно, не слышал, так же как, в свою очередь, и ближайшая к эшафоту публика не слышала громкого чтения чиновника. У позорного столба Чернышевский смотрел все время на публику, раза два-три снимая и протирая пальцами очки, смоченные дождем.

На груди у него была чёрная дощечка с надписью «Государственный преступник».

Непосредственно за городовыми стояла публика ряда в четыре-пять, по преимуществу интеллигентная. Вокруг эшафота расположились кольцом конные жандармы, сзади них публика, одетая прилично (студенты, литераторы, офицеры, много женщин), — в общем, не менее четырехсот человек. Позади этой публики — простой народ, фабричные, рабочий люд и мелкие ремесленники и торговцы. Рабочие расположились за забором, и головы их высывались из-за забора. Во время чтения чиновником длинного акта, листов в десять, — толпа за забором выражала неодобрение виновнику и его злокозненным умыслам. Неодобрение касалось также его соумышленников и выражалось громко. Публика, стоявшая ближе к эшафоту, позади жандармов, только оборачивалась на роптавших. Коро-

ленко, который привел этот эпизод, вспомнил костер Яна Гуса и старушку, подбросившую в костер вязанку хвороста. Скорее можно вспомнить распятие и толпу народа, кричавшую «Распни его!» Вместе с тем, по воспоминаниям одного из студентов, в этот момент кто-то крикнул: шапки долой! И все обнажили головы.

На эшафоте в это время палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского принудил встать на колени; затем взял шпагу, переломил ее над головою Н. Г. и обломки бросил в разные стороны. Поскольку шел дождь, а на помосте был песок, весь размокший, то осужденный был вынужден опуститься коленями в грязь. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел ее на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота. Через несколько мгновений карета, окруженная жандармами, выехала из каре. Публика бросилась за ней, но карета умчалась. На мгновение она остановилась уже в улице и затем быстро поехала дальше.

Когда карета отъезжала от эшафота, несколько молодых девушек на извозчиках поехали вперед. В тот момент, когда карета нагнала одного из этих извозчиков, в Н.Г. Чернышевского полетел букет цветов. Извозчика тотчас же остановили полицейские агенты, четырех барышень арестовали и отправили в канцелярию генерал-губернатора князя Суворова. Бросившая букет была Мария Михаэлис, родственница жены Н.В. Шелгунова. Сцена далее получилась просто трогательная. Девушку привели в канцелярию полицмейстеру Анненкову. Тут же подошедший писатель этнограф Павел Якушкин, тоже присутствовавший во время казни, попытался ее спасти, взяв вину на себя: «Она, как видите, ребенок, по легкомыслию приняла на себя вину, тогда как первый веночек бросил я... Прикажите, генерал, ее отпустить, а меня арестовать». Но полицейские не поддались на его простодушную защиту, посоветовав покинуть канцелярию. Барышни с цветами тоже были арестованы и препровождены к Суворову. Последний, впрочем, ограничился выговором. Дальнейших последствий история не имела.

Именно с распятием сравнил этот позорный столб идейный противник Чернышевского, но человек безусловного благородства — Герцен. В «Колоколе» он опубликовал страстную инвективу.

«Н. Г. Чернышевский

Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!

“Инвалид” недавно спрашивал, где же новая Россия, за которую пил Гарибальди. Видно, она не вся “за Днестром”, когда жертва падает за жертвой... Как же согласовать дикие казни, дикие кары правительства и уверенность в безмятежном покое его писак? Или что же думает редактор “Инвалида” о правительстве, которое без всякой опасности, без всякой причины расстреливает молодых офицеров, ссылает Михайлова, Обручева, Мартынова, Красовского, Трувелле, двадцать других, наконец, Чернышевского в каторжную работу.

И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!

Р. С. Строки эти были написаны, когда мы прочли следующее в письме одного очевидца экзекуции: “Чернышевский сильно изменился, бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу и выставили на четверть часа у позорного столба. Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венок — ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему “прощай!” и был арестован. Ссылая Михайлова и Обручева, они делали выставку в 4 часа утра, теперь — белым днем!..” <...> Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа¹ — а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?»² Слова страстные и благородные, хотя здесь больше обвинений, чем слов о Чернышевском. Но надо несомненно отметить потрясающую историческую проницательность Герцена, которая позволила ему сравнить позорный

¹ Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста (*Прим. А.И. Герцена*).

² *Герцен А.И.* Н.Г. Чернышевский // *Герцен А.И. Избранные труды* / Сост., вступ. статья и комментарии В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2010. С. 590.

столб, к которому был прикован Чернышевский, с крестом, на котором распяли Христа.

Поразительна реакция изумления на приговор людей, знавших Чернышевского, не разделявших его идей, но не поддавшихся стадному чувству осуждения. А может, слишком несправедливым казался приговор. 21 мая 1864 г., на следующий день после высылки Чернышевского, профессор А.В. Никитенко записал в дневнике: «Я спрашивал у Л<юбошинского>, чтобы он как сенатор сказал мне: доказано ли юридически, что Чернышевский действительно виновен так, как его осудили? Он отвечал мне, что юридических доказательств не найдено, хотя, конечно, моральное убеждение против него совершенно. Как же однако осудили его? В Государственном совете некоторые из членов не находили достаточных улик и доказательств. Тогда князь Долгорукий показал им какие-то бумаги из III отделения — и члены вдруг перестали противоречить. Но что это за бумаги? Это тайна. Зачем же делать из них тайну, если в них заключаются точные доказательства вины Чернышевского? Жаль! Потому что люди, даже вовсе не сочувствовавшие Чернышевскому, невольно склоняются к мысли, что с ним поступлено слишком строго, чтобы не сказать — жестоко. А теперь особенно такие впечатления не полезны для правительства. В приговоре, читанном публично во вторник, говорят, упомянут даже ряд статей в “Современнике”; но тогда виновата цензура. Зачем она пропускала статьи, столь явно клонившиеся к ниспровержению существующего порядка? Словом, кажется тут поступлено неосмотрительно». Спустя три дня Никитенко вернулся к этой теме: «Многие сильно негодуют на правительство за Чернышевского. Как было осудить его, когда не было никаких юридических доказательств? Так говорят почти все, даже не красные. У правительства прибавилось достаточное число врагов»¹.

Конечно, Никитенко был и профессором Чернышевского, и руководителем его диссертации. Но его изумленное возмущение нельзя объяснить близостью учителя к ученику. Слишком давно уже НГЧ был вполне самостоятельной фигурой, да и далеко не все его мнения были близки профессору. Но человек он был высшей нравственной пробы, своего рода эталон порядочности. И приговор Чернышевскому принять не мог. Думаю, что даже если бы ему стало известно, что на одной из клеветнических записок о деятельности Чернышевского император собственноручно написал «судить по всей строгости законов» и что сена-

¹ Никитенко А.В. Дневник. Т. 2. С. 441–442.

торы восприняли эти слова как абсолютный приказ, он, весьма критически относившийся к «Сандвичевым островам», не принял бы такого раболепного повиновения. Князь Суворов, предлагая Чернышевскому эмиграцию, опасался, «чтобы на государя, его личного друга, не легло бы пятно — сослать писателя безвинно». Но это произошло, писателя сослали безвинно.

Это понимали практически все. Такого рода свидетельств немало. Приведу одно из многих — рассуждение студента Московского университета: «Разве можно основать обвинение на показаниях разжалованного в солдаты, следовательно, по русским законам “опороченного”, “бывшего под судом” и претерпевающего наказание Всеволода Костомарова (о котором ни один честный человек не скажет доброго слова за всю его жизнь)? <...> Разве по каким бы то ни было законам в мире может человек подвергаться преследованию правительственной власти за те сочинения, которые одобрены тем же правительством! <...> Ясно только одно, что правительству нужно было упечь Чернышевского, как такого человека, который с замечательной энергией и талантом *развивал в русской прессе мысли, вынуждавшие у него реформы, которые шли вразрез с частными узкими интересами русской аристократии*, во главе которой стоит аристократия правительственная, двор. Чернышевский мученик за стремление к достижению общественного блага» (курсив мой. — В.К.)¹.

Подчеркнем, что даже радикально настроенные студенты поначалу видели в нем не революционера, а человека, который отстаивал путь реформ. По сути в ухудшенном варианте повторилась судьба Сперанского.

Пыпины очень нервничали, можно ли ему будет «там» продолжать его работы? Можно ли взять книги? Достаточно ли приготовили ему теплого? Что касается Ольги Сократовны, то, как пишет В.А. Пыпина, родственникам казалось, что с ней что-то вроде помешательства. Она носилась из города в город, и непонятным казалось им «рысканье» Ольги Сократовны перед самым отправлением Николи, когда близкие пользовались каждой малейшей возможностью увидеть его лишний раз.

По воспоминаниям В.А. Пыпиной, братья Пыпины приобрели в дорогу Чернышевскому удобный тарантас, поскольку кто-то из жандармских властных лиц разрешил это, но в последний момент тарантас запретили. Но понимавший уже нравственный уровень его гонителей Чернышевский просил заранее купить

¹ Волховский Ф. На мытнинской площади // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 34–35.

резиновую подушку, которая в долгой и тряской дороге заменила бы рессоры. Это и сделали. Легкий, удобный, всем снабженный тарантас стоял наготове, все вещи были упакованы. Недели полторы-две до отъезда Николи все Пыпины с ним виделись каждый день. Об Ольге Сократовне забота была его главная. Тарантас в назначенное время ждал у ворот крепости, и около него дежурил Сергей Пыпин, чтобы устроить в нем Николю. Но НГЧ спешно усадили в казенную повозку и живо увезли. Только верст за триста до Тобольска Чернышевский купил себе собственный тарантас; надо думать, это показалось желательным и властям, хоть бы ради избежания задержек в пути, если бы Чернышевский не выдержал тысячеверстных переездов в простой телеге. Так что подушка очень даже пригодилась. Сам он беспокоился не о себе, а только о жене, но после выхода романа деньгами она была обеспечена. Это его немного успокоило. И все же, переживая за «Николю», его кузены безусловно гордились им: «До последней минуты (я видел его именно до последней минуты, до 10 часов вечера 20-го мая), — писал С.Н. Пыпин своим родителям и сестрам, — Николя был совершенно спокоен, что, конечно, должно успокоить до известной степени и нас. Это не малодушный человек, за которого можно бояться: нравственной силы у него достаточно» (*Дело*, 549). Духовная сила его была невероятна. Ек.Н. Пыпина писала сестрам: «Я была почти уверена, что его только вышлют из Петербурга в какую-нибудь провинцию подальше, но я никак не ожидала этого. Какое же было наказание, выдуманное для него правительством, если смягченное в 2-е имп<ератором> оно так ужасно. Вы говорите, что Николенька был спокоен, уезжая, но мне кажется, что душа его была сильно возмущена. Стало быть, у него велика сила воли, что в таком положении он мог быть спокойным, и значит велика уверенность в невинности» (*Дело*, 549).

Стоит зафиксировать последний жест Потапова по отношению к НГЧ. Кроме ехавших с Чернышевским охранников, за поездкой наблюдал жандармский поручик Малышкин, выполнявший особое распоряжение Потапова. Ему предписывалось «ехать вслед за ним до г. Ярославля с таким расчётом, чтобы быть от него в двух часах времени и в случае надобности оказать сопровождающим его жандармам содействие». Что он себе воображал? Что Чернышевский нападет на сопровождавших его жандармов? Или его попытается отбить тайная организация книжников-карбонариев?

Но не менее интересно, как расплатилось Третье отделение с Костомаровым... Всеволод Костомаров был поэт и переводчик,

но после его доносов, губительных для Михайлова и Чернышевского, российские издатели и литераторы подвергли его остракизму. Ни один его перевод не мог появиться в периодике. А ведь он переводил классику. Он обратился за помощью в Третье отделение и получил очередной раз помощь, чтобы удовлетворить и его писательское тщеславие. «Может, потомки оценят?» — так мог он думать. И его реальные работодатели ему поспособствовали.

«Распоряжения В.А. Долгорукова 18 июня и 28 ноября 1864 г.

В видах вознаграждения услуг рядового Костомарова деньги, следовавшие от него за печатание его сочинений и за бумагу, купленную для этого издания, всего тысячу триста шестьдесят шесть руб. 35 коп. сер., принять на счет сумм III отделения¹.

18 июня 1864 г.

Высочайше разрешено дать триста руб. матери Костомарова.
28 ноября 1864 г.» (*Дело*, 263).

Славы он не получил. Впрочем, еще до его доносов Д.И. Писарев написал язвительную, я бы сказал, убийственную рецензию на сборник иностранных поэтов, изданных Костомаровым. Подчеркиваю, что была она опубликована до ареста Чернышевского, а стало быть, оценка переводов Костомарова не связана с его клеветническим творчеством. Основная мысль писаревской статьи, что Костомаров не понимает первоисточник, придумывает что-то свое, абсолютно искажая смысл. Собственно, как и в его сообщениях о Чернышевском; стиль тот же: «Грустное впечатление производят книги, о которых решительно нельзя сказать, для кого они написаны; одни не найдут в них ничего нового, другие — ничего замечательного, третьи — ничего понятного. Для детей пишут элементарные руководства витиеватым языком, народу сообщают первые необходимые сведения, не умея избегать научных терминов, для русской публики переводят иностранных поэтов так своеобразно, что человек, знающий подлинник, не узнает его в переводе, а незнающий, пожалуй, и вовсе не доищется смысла. К числу таких бесцельных и бесплодных явлений в области книжной торговли относится “Сборник стихотворений иностранных поэтов”, изданный в Москве г. Бергом и В.Д. Костомаровым. <...> Кто читал Гейне внимательно, да кто при этом знает немецкий язык лучше г. Костомарова, тот припомнит, что борьба между искреннею грустью и

¹ Деньги эти пошли на издание книги: Полное собрание сочинений Вильяма Шекспира. В русском переводе В. Костомарова, ч. I и II СПб., 1865.

натянутым смехом не только составляет колорит его произведений, но во многих из них обращает на себя его собственное внимание и делается предметом поэтической обработки. Г. Костомаров этого не знает и потому принимает “Песню океанид” за какое-то пророчество о будущих страданиях и, кажется, вместо глубокой мысли видит во всей пьесе только причудливое творение фантазии. <...> Такие книги сбивают публику с толку, портят эстетическое чувство или отбивают охоту от чтения»¹.

А всеобщее отталкивание и презрение привели его уже в следующем году к саркоме и больнице для бедных. Жандармское управление денег на больницу не дало, да, видимо, на такие дела они и не отпускались. Приведем текст архивной агентурной записки, составленной и поданной Долгорукову 14 декабря 1865 г.: «Костомаров умер на прошлой неделе во вторник, а погребение его было в четверг. На кладбище, кроме матери и сестры, его никто не провожал. За гроб и халат, стоившие 12 руб., заплатила мать. По частной справке, наведенной в Мариинской больнице, где умер Костомаров, не обнаружено, чтобы медики и чиновники, там служащие, делали складку на его погребение». Деталь биографическая жутковатая. Думал вычеркнуть Чернышевского из списка живых деятелей, а вычеркнул себя.

Поразительно, как совпали в неприятии идей Чернышевского и нигилисты, и самодержавие. Обе эти силы, вроде бы противостоявшие друг другу, все в России хотели делать силой прихоти, силой произвола. Впрочем, как не раз замечалось и в западной, и в нашей литературе, радикальные нигилисты и большевики, по сути, отражали худшие черты самодержавия да еще в гротескно увеличенном виде. Конечно, портреты Чернышевского после казни повисли на стенках в каждой интеллигентной и тем более нигилистически настроенной семье, кружке, квартирке. Так в застойные времена диссидентствующих узнавали по портретам Солженицына в рамочке. Эту славу – революционера-страдальца – подарило Чернышевскому самодержавие. В ней он не нуждался. Но она была тем сильнее, чем беззаконнее выглядело решение суда. Сознание государственного произвола по отношению к независимому мыслителю было всеобщим, особенно явно у *русских европейцев*. По воспоминаниям очевидцев, «А.К. Толстой, близко осведомленный о деталях процесса несчастного Чернышевского, решился замол-

¹ Писарев Д.И. «Сборник стихотворений иностранных поэтов». Переводы В.Д. Костомарова и Ф.Н. Берга. Москва. 1860 // Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 1. С.: ГИХЛ, 1955. С. 338, 347.



*Алексей Константинович
Толстой*

вить государю слово за осужденного, которого он отчасти знал лично». На вопрос Александра II, что делается в литературе, граф Алексей Константинович Толстой ответил, что «русская литература надела траур — по поводу несправедливого осуждения Чернышевского»¹. Интересно продолжение беседы: «Но государь не дал Толстому даже и окончить его фразы: „Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском”, — проговорил он недовольным и непривычно строгим голосом, — и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их кончена»².

Очевидно, сильно досадила императору строптивая независимость петропавловского узника, не молившего о помиловании, а самим фактом своего поведения во время процесса и несправедливого осуждения — с царского соизволения — словно нарочно бросавшего тень на царствование Освободителя и ставившего под сомнение результативность Великих реформ. Это была проблема, а, к несчастью, проблем самодержавие решать не желало или не умело.

И, как оказалось, что убрали всего одного человека из столицы, а духовный уровень общества резко изменился. Закончу эту главу наблюдением из мемуаров князя Кропоткина: «Петербург сильно изменился с 1862 года, когда я оставил его.

— О да! — говорил мне как-то поэт Аполлон Майков. — Вы знали Петербург Чернышевского.

Да, действительно, я знал тот Петербург, чьим любимцем был Чернышевский. Но как же мне назвать город, который я нашел по возвращении из Сибири? Быть может, Петербургом кафе-

¹ Из воспоминаний А.А. Толстой // *Толстой А.К. О литературе и искусстве*. М.: Современник, 1986. С. 117.

² Там же.

шантанов и танцклассов, если только название “весь Петербург” может быть применено к высшим кругам общества, которым тон задавал двор»¹.

Эпоха Чернышевского закончилась. Но и на кафешантаны и танцклассы времени было отпущено немного. Через пару лет началась эпоха террора. На неправовое насилие сверху ответом было низовое насилие, пока еще не крестьян, чего боялся царь. Но молодая интеллигенция, увидев абортацию реформ, перешла к террору. И следствием было рождение бесовщины. Чернышевский противопоставлял идее бунта идею реформы. Достоевский был убежден, что к кровавым прокламациям «Молодой России» Чернышевский никакого отношения не имел. А Федор Степун уже в эмиграции писал: «Чернышевскому было ясно, что все преждевременно, что взят совершенно бессмысленный темп»². Не случайно в черновиках к «Бесам» Петр Верховенский (Нечаяев) называет Чернышевского «ретроградом», противопоставляя ему разрушение всеобщее: «В сущности мне наплевать; меня решительно не интересует: свободны или несвободны крестьяне, хорошо или испорчено дело. Пусть об этом Серно-Соловьевичи хлопочут да ретрограды Чернышевские! – у нас другое – вы знаете, что чем хуже, тем лучше (по-моему, все с корнем вон!)»³. И все же прикосновение к Чернышевскому как мученику царизма было прикрытием для тех, кто вступил на путь подготовки революции. Миф работал совсем не так, как наделось создавшее его правительство.

¹ *Кропоткин П.А.* Записки революционера. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 215.

² *Степун Ф.А.* Сочинения / Вступительная статья, составление, комментарии и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 351.

³ *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 11. Л.: Наука, 1974. С. 159.

Глава 13

Мученик. Жизнь после казни

Кто знал его, забыть не может;
Тоска по нем язвит и гложет,
И часто мысль туда летит,
Где гордый мученик зарыт.

*Николай Некрасов,
поэма «Несчастные»*

Горе от ума

Эпоха Чернышевского кончилась. Но жизнь Чернышевского продолжалась. Не просто вне столицы, не просто в провинции. Это был «мертвый дом», по определению Достоевского. То есть тот свет. И даже нечто более скверное. Ни жизнь, ни смерть, ни ад, ни рай. Сплошной «бобок». В рассказе Достоевского «Бобок» изображена ситуация жизни в смерти. Существование в вымороченном мире, существование, неизвестное никакой мифологии. Страшный символ России.

Сам Чернышевский понимал разрастание своего значения в результате ареста и каторги: «Без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу» (Чернышевский, XIV, 504), — писал он жене. Но поразительно, до какой степени правительство боялось придуманного им же фантома. Позволю себе парадоксальную параллель с детским стихом Корнея Чуковского:

Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
«Это — елочка мохнатая,
Это — козочка рогатая,
Это — дядя с бородой,

Это — дом с трубой».
«Ну а это что такое,
Непонятное, чудное —
С десятью ногами,
С десятью рогами?»
«Это бяка-закаляка кусачая.
Я сама из головы ее выдумала!»
«Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?»
«Я ее боюсь!»

Страх, как писал Хайдеггер, рождает ощущение глядящего в тебя Ничто, Хаоса древних греков, который сродни безумию. А когда торжествует безумие, разум засыпает. Но сон разума, как гениально изобразил Гойя в своих «Капричос», рождает чудовищ. Вот таким чудовищем и стал в воображении власти Николай Гаврилович Чернышевский. И чудовища этого боялись, старались загнать в самую страшную и хорошо укрепленную клетку. В поисках этой клетки его прогнали через всю Сибирь. Советую читателю открыть карту России и посмотреть сибирский маршрут Чернышевского, когда с каждым новым движением он оказывался все дальше — у самых диких границ империи. Человека разума безумие травило как дикого зверя. Перечислю: Тобольск, Иркутск, Нерчинск, Кадая, Александровский завод и, наконец, Вилюйск.

Мы привыкли, что крестный ход бывает на казнь, в России крестный мученический ход порой начинался после казни. Где казнь была не так страшна, как мучительный издевательский и страшный крестный путь. В процессе этого двадцатилетнего пути Чернышевский **12 лет** провел «в гиблых местах», «в долине смерти» в крохотном поселении на Вилюе, в Вилюйске, где жило всего 600 человек, но острог стоял далеко от жилых строений. По человеческим меркам это было так же далеко, как Вилюйск от Якутска, а Вилюйск был в расстоянии 700 верст от чудовищно далекого от России Якутска. В Сибири европейскую часть страны именовали Россией. Его послали на смерть, прекрасно понимая это, ибо, как писали современники, «правительство считает климат Вилюйска слишком тяжелым для жандармов, а потому распорядилось не держать их там более одного года»¹. Повторю, узник безвинно, не имея ни одного юридически явного обвине-

¹ Лопатин Г.А. Из Иркутска // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 207.

ния, пробыл там **двенадцать лет!** Юрист Н.В. Рейнгардт, знавший Чернышевского, в своих воспоминаниях, опубликованных в 1905 г., писал: «В настоящее время Чернышевский не только не был бы осужден судом, но относительно его не было бы даже принята административная мера...»¹

Сегодня геологи вполне серьезно пишут о долине Вилюя как долине смерти, ищут патогенные места, пытаются понять причину повышенной смертности в этой области. Царская власть об этом не думала, просто знала, что места гиблые. Узник оказался сильнее смертоносного места. Но о Вилюйске немного ниже, пока же посмотрим, как пытались убить не только человека, пытались убить его ум, лишая возможности умственной работы, необходимой для жизни такого человека.

Впрочем, Чернышевский прекрасно понимал и не раз писал об историческом законе (скажем, в статье 1860 г. «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований»: рец. на книгу Ор. Новицкого), при котором большинство отправляет на смерть человека, поднявшегося над общим уровнем (а власть концентрирует в себе страхи большинства). Он приводит множество подобных примеров из истории: «Во времена Солона афиняне уже много ушли вперед против положения, в каком были при Гомере. <...> Еще несколько переходов — и в самом афинском племени повторяется то же явление: мудрость Солона была понятна и доступна каждому афинскому гражданину, а Сократ кажется уже вольнодумцем большинству своих соотечественников: только немногие понимают его, остальные спокойно осуждают на смерть как безбожника» (Чернышевский, VII, 429). Как видим, тема Сократа — в каком-то смысле контрапункт его жизни. И далее: «Отсталость — всегдашняя участь большинства» (Чернышевский, VII, 431). Правда, он полагал, что со временем «завоеванная истина оказывается так проста, понятна каждому, так сообразна с потребностями массы, что принять ее гораздо легче, чем хлопотать над ее открытием» (Чернышевский, VII, 432). Беда, однако, в том, что истина, принятая как таблетка, без собственных усилий, становится вариантом такой же, пусть новой веры, и массы все так же не принимают идущих вперед мыслителей. Он видит это в истории. Но, видимо, надеется, что со временем этот исторический закон будет преодолен. Его собственная судьба показала, что его внят-

¹ *Рейнгардт Н.В.* Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 389.

но изложенные идеи не были освоены массой, но были перетолкованы на нечто противоположное. Это он понял уже, пройдя двадцать лет изоляции и возвращения на Волгу, где увидел, что его принимают за те идеи, которых он не высказывал.

Но до Вилуйска было семь лет каторги, когда жила в нем надежда.

Второе – 1865 г. – издание диссертации

20 мая 1864 г. Чернышевский был отправлен на каторгу в Сибирь. Иркутск, Тобольск, Кадая, Александровский завод – все каторжные места его пребывания. Но 4 ноября 1864 г. в Санкт-Петербурге было «дозволено цензурою» печатание маленькой книжки, почти брошюры, всего 152 страницы небольшого формата, которая и вышла в начале следующего года без имени автора: «Эстетические отношения искусства к действительности. Издание второе. СПб., издание Пыпина А.Н., типография Н. Тиблена и К°, 1865».

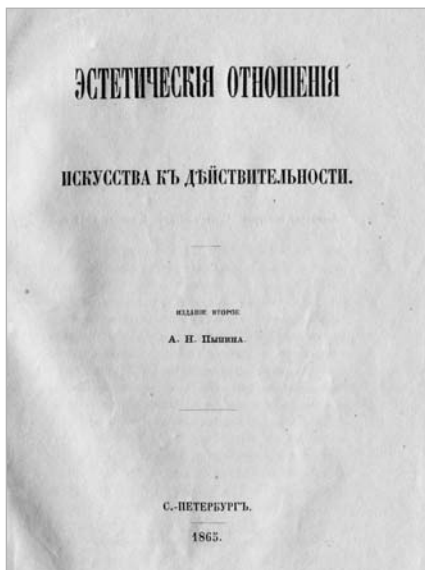
Деятельную помощь Пыпина своему двоюродному брату трудно переоценить! Он дружил со многими учеными, думаю, что интерес В.С. Соловьёва к узнику тоже поддерживался не в последнюю очередь А.Н. Пыпиным, который тесно общался с Соловьёвым. Как вспоминает В.А. Пыпина, познакомились Пыпин и Соловьёв в редакции «Вестника Европы»: «Беседа отца с Соловьёвым шла по преимуществу о современных им общественных вопросах и событиях, в оценке которых они были совершенно солидарны, а затем они обыкновенно усаживались играть в шахматы. К шахматам отец особенно пристрастился за последние 15–20 лет своей жизни. <...> Они играли в шахматы также у Стасюлевичей, после субботних обедов»¹.



*А.Н. Пыпин и В.С. Соловьёв
за шахматами*

¹ Пыпина-Ляцкая В.А. Владимир Сергеевич Соловьёв. Страничка из воспоминаний // Вл. Соловьёв: Pro et contra. СПб.; РХГИ, 2000. С. 425–426.

Попутно решались и смысловые проблемы: «Бесконечно добрый и отзывчивый, он всегда был готов откликнуться на всякий запрос сочувствия. Так и в тот день 1897 года, когда Мих.Н. Чернышевский зашел к моему отцу в редакцию посоветоваться, к кому можно было бы обратиться с просьбой написать статью о Николае Гавриловиче для “Закаспийского обозрения”. Соловьёв, услышав этот разговор (он сидел тут же, в редакционном кабинете), сказал: “Я напишу”»¹. И он написал потрясающие страницы о благородстве великого русского страдальца. Но опубликованы эти строчки были лишь в 1909 г.



Пока же вернемся к пьпинскому изданию диссертации старшего кузена.

Если кто и не помнил о том, кто автор книги, то фамилия издателя ясно на него указывала. И вот уже в третьем номере «Современника» за 1865 г. было помещено объявление, что «в книжном магазине, при главной конторе редакции “Современника” в С.-Петербурге, на Невском проспекте, против Николаевского (Аничкова) дворца, в доме № 64 (Меншикова) продаются следующие книги...». Седьмым номером шли «Эстетические отношения искусства к действительности. СПб., 1865, Ц. 75 к., вес за 1 ф.». В том же номере публиковалась статья М.А. Антоновича «Современная эстетическая теория», посвященная книге безымянного мыслителя.

Публика могла думать, что ситуация опального мыслителя меняется. Однако это был либо недосмотр начальства, либо попытка показать вредный пафос автора.

Буквально в самом начале статьи критик «Современника» заявил: «Первое издание этого сочинения было отпечатано в 1855 году, и этот год нужно считать эпохой в истории наших

¹ Пыпина-Ляцкая В.А. Владимир Сергеевич Соловьёв. Страничка из воспоминаний // Вл. Соловьёв: Pro et contra. СПб.; РХГИ, 2000. С. 430.

литературно-эстетических воззрений; в этом году и в этом сочинении в первый раз были высказаны, доказаны и развиты те эстетические воззрения, которые в настоящее время получили право гражданства и почти исключительное господство в нашей литературе»¹. В апрельском номере «Русского слова» появилась статья В. Зайцева, первые слова которой перекликались со словами его постоянного оппонента из «Современника»: «Мне особенно приятно поговорить с читателем об одной небольшой книжке, где, десять лет тому назад, были изложены главные основания того взгляда на искусство и отношение его к действительности, которому мы следуем»². В следующем номере этого же журнала была помещена знаменитая статья Писарева «Разрушение эстетики», дававшая свою трактовку диссертации Чернышевского. В мае журнал «Книжный вестник» помещает в разделе «Дополнение к прежней библиографии» сообщение под номером 372 о выходе книжки с такой преамбулой: «В этой брошюре изложены основания реальной эстетической критики, обусловливаемой духом нового времени, неумолимо рвущейся в жизнь и отстранить которую невозможно, несмотря ни на какие усилия отживающих эстетиков старой школы»³.

Одновременно второе издание книги Чернышевского вызвало и нападение со стороны либерально-охранительской части русских литераторов. В мартовском номере «Отечественных записок», в разделе «Литературная летопись», после извещения о выходе книги «Об эстетических отношениях (!) искусства к действительности» следовало краткое редакционное примечание: «Грустное впечатление производит это второе издание “Эстетических отношений”. И нужно бы сказать, что теория сапогов, которые лучше Шекспира, а также много других положений, теперь совершенно ясных, кроются в упомянутом нами сочинении, как принципы еще несмелые и едва появившиеся на свет божий — но мы отлагаем до другого раза»⁴. И действительно, вскоре журнал публикует подряд пять статей известного в 60-е годы сторонника «чистого искусства» Николая Соловьёва под общим заглавием «Вопрос об искусстве». Две из них специально посвящены подробнейшему разбору диссертации Чернышевского, причем главный тезис автора, определяющий весь пафос его сочинения, следующий: «У искусства, можно сказать, не было еще такого

¹ Антонович М. А. Литературно-критические статьи. М. — Л.: Гослитиздат, 1961. С. 196.

² Русское слово. СПб., 1865. № 4. Отд. 2. С. 80.

³ Книжный вестник. 1865. № 9. 15 мая. С. 183.

⁴ Отечественные записки. 1865. Март. Кн. II. С. 77.

сильного врага, как автор “Эстетических отношений”»¹. В свою очередь, славянофильская газета «День» публикует статью (1865, № 27 и 30) своего постоянного сотрудника, беллетриста и публициста Н.М. Павлова (под псевдонимом «Н. Б.»), полную сарказма по поводу влияния эстетики Чернышевского на современный литературный процесс: «Эта книга для реалистов составляет нечто более священное, чем алкоран для мусульманина» (№ 27, с. 645). А в апрельской «Библиотеке для чтения» (1865, № 7 и 8) почвенник Н. Страхов печатает свою статью о романе «Что делать?», которую он начинает с пространной цитаты из статьи, помещенной в газете «День», и далее, анализируя роман, на его материале пытается показать «пороки и недостатки» эстетической системы революционера-демократа. В этом же году, по сути вступая в полемику с идеями Чернышевского, «Московские ведомости» М. Каткова дали ряд передовых статей, посвященных прославлению русского самодержавия, которому русский народ «сознательно и доверчиво» вручил все свои политические права². Ведь не надо забывать, что в хорошо, по всей видимости, известном современникам приговоре Чернышевскому главная его вина была обозначена как «злоумышление к ниспровержению существующего порядка»³.

Сразу, однако, все желающие высказаться не успели. Еще года два или три продолжались споры вокруг второго издания диссертации. Так, самый первый оппонент Чернышевского Е.Н. Эдельсон в своей работе «О значении искусства в цивилизации» хотя и утверждал, что «это странное сочинение запутало все эстетические понятия», ибо в нем «скрывалось явное и полное пренебрежение ко всякой художественной деятельности», тем не менее понимал и признавал за диссертацией то достоинство, что она «ясно и последовательно развивает известное учение, которое таким образом получило окончательное выражение, формулировалось так ясно и положительно, что с ним можно считаться»⁴. Напротив, поэт К. Случевский просто заявил, что

¹ Отечественные записки. 1865. Май. Кн. II. С. 308.

² «Политическая жизнь течет успешно... там, где политические интересы... основаны на чувстве обязанности, где политические права стоят на втором плане... Русский народ, не зная политического властолюбия, совершенно чужд и политической зависти... Никто так не ошибается насчет России, как те, которые называют ее демократической страной. Напротив, нет народа, в котором демократические инстинкты были бы слабее, чем в народе русском» (Московские ведомости. 1865, № 8., 12 января. С. 2).

³ Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1968. С. 430.

⁴ Эдельсон Е. О значении искусства в цивилизации. СПб.: тип. М. Хана, 1867. С. 10, 11.

«вся гибельность влияния Ч. (так он обозначал запретное имя. — В. К.) была в оглушении людей»¹. В 1867 г., следом за этими двумя работами, вышла книжка некоего А. Немировского «Наши идеалисты и реалисты», в которой он сделал попытку примирить враждующие стороны, но о диссертации говорил скорее негативно. И уже в 1868 г. перешедшие к тому времени в руки Некрасова «Отечественные записки» публикуют статью молодого сотрудника журнала, позитивистски настроенного А.М. Скабичевского, в которой тот оправдывал теорию Чернышевского, уверяя, что она доказывает «не ничтожество искусства вообще, а ничтожество его в таком только случае, если мы будем смотреть на него с узкой точки зрения старой эстетики»².

Таким образом, «юбилейное» издание диссертации (спустя ровно десять лет после первой публикации) явилось своего рода поводом, чтобы помянуть мыслителя-каторжанина и снова задать свои вопросы теории, которая столь явно вызывала интерес всех направлений русской общественной мысли.

Чем знаменательны эти споры? Прежде всего, они говорят о жизненности той самой теории, которая при первом своем появлении была названа «мертвечиной» и которой в силу этого предрекалось быстрое забвение. Более того, обсуждение диссертации после расправы правительства с ее автором демонстрировало противостояние значительной части общества явно выраженному велению правительства забыть и вычеркнуть из жизни весь комплекс идей и настроений, связанных с именем Чернышевского. Даже нападавшие на диссертацию демонстрировали тем самым неповиновение привычной для самодержавия попытке административными мерами решить теоретический спор. Хотя вмешательство самодержавия как раз и означало, что спор этот перерос теоретические и тем более сугубо эстетические рамки. С положительным ли, с отрицательным ли знаком, но все спорившие отмечали, что диссертация безымянного автора явилась событием в духовной жизни русского общества.

Историк русской общественной мысли Нестор Котляревский писал о Чернышевском: «В нем судили и наказывали самый процесс рождения и развития нового общественного типа, нового направления в жизни и в мыслях. Предполагалось, что это направление может заглухнуть и умереть, если заглухнет и умрет имя человека. Заглушить ненавистное имя действительно уда-

¹ Случевский К. Явления русской жизни под критикою эстетики. Ч. III. СПб.: Печатня В. Головина, 1867. С. 11.

² Скабичевский А. Соч.: В 2 т. Т. 1. Стлб. 64.

лось в том смысле, что лет тридцать оно в пределах России не появлялось в печати. Вокруг не названного, но всем известного имени вспыхивали споры, все еще достаточно ожесточенные — яркие зарницы умчавшейся бури»¹. Первой такой зарницей можно назвать споры вокруг второго издания «Эстетических отношений искусства к действительности».

Буря, разразившаяся в XX веке, принесла иной, враждебный надеждам Чернышевского строй жизни. Восторжествовал произвол, а не свобода, победил чуждый личности принцип бытия. Вряд ли в этом можно винить мыслителя. Здесь должна решаться иная проблема — почему идеи перетолковываются до полной своей противоположности, почему пророки не только побиваются камнями, но и предаются поношению и после своей смерти, а также почему всегда и везде происходит наглое использование образа страдальца для прикрытия совсем иных целей и задач.

Стоит к этим спорам-откликам прибавить гениальную повесть Достоевского «Записки из подполья» (1864), очень своеобразную полемику с «Что делать?», где антигерой повести говорил о невозможности делать добро. Мысль писателя ясна, несмотря на кривотолки не любящих НГЧ исследователей: Чернышевский прав, что делать добро необходимо, но он слишком высоко думает о человеке, а человек подл и гадок, даже Христос не смог его исправить. Не очень понятно, почему сентенции безымянного антигероя приводятся всеми исследователями как мудрые возражения идее разума, проповедуемой Чернышевским. Идея разума как основы христианского послания классическая, высказанная апостолом Иоанном: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум» (1 Ин 5: 19–20). Естественно, что богорец парадоксалист выступает против разума. Подпольный человек по сути дела первый вариант Великого инквизитора, который говорил Христу: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и Ты? Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему страдать, потому что слишком много от него и потребовал, — и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Ты звал к совершенству. А кто может быть из людей совершенным? Одни из

¹ *Котляревский Н.* Канун освобождения. 1855–1861. Из жизни идей и настроений в радикальных кругах того времени. Пг.: тип. М.М. Стасюлевича, 1916. С. 257.

них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам». Вот антигерой начинает с себя, и показывает, что это невозможно. Он понимает, что он сам преступник, и приходит к выводу Великого инквизитора: «Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку». Достоевский понимал вполне отчетливо, что зло в самом герое, а не вокруг. Вообще, как известно, он мало верил в теорию «среды», что во всех человеческих преступлениях виновата среда. Как и писал в своем романе Чернышевский, грязь, окружающую человека, можно преодолеть.

А вот запись 1866 г. М.А. Ивановой, женщины, близкой к семье Достоевского. Чтобы было понятнее читателю, героем этого житейского водевиля был Карепин Александр Петрович, кузен Достоевского. Это была ветвь его сестры Варвары Михайловны, по мужу Карепиной: «Карепин в то время, когда он приезжал гостить к нам на дачу в Люблино (лето 1866), не был еще женат, но все время мечтал об идеальной невесте, которая ему рисовалась обязательно стриженной и не старше 16 лет. Невесту эту он заранее ревновал ко всем. “Дети у меня, — говорил он, — будут чистокровные Карепы” <...>. Он очень не любил эмансипированных женщин и говорил о том, что его жена будет далека от всех современных идей о женском равноправии и труде. В то время как раз все зачитывались романом Чернышевского “Что делать?”, и Карепина дразнили, предвещая его жене судьбу героини романа. Достоевский заявил ему однажды, что правительство поощряет бегство жен от мужей в Петербург для обучения шитью на швейных машинках и для жен-беглянок организованы особые поезда. Карепин верил, сердился, выходил из себя и готов был чуть ли не драться за будущую невесту. Как-то раз Достоевский предложил устроить импровизированный спектакль — суд над Карепиным и его будущей женой. Федор Михайлович изображал судью: в красной кофте одной из сестер Ивановых, с ведром на голове, в бумажных очках. Рядом сидел и записывал секретарь, Софья Александровна Иванова, и Карепины — муж и жена, как подсудимые. Федор Михайлович говорил блестящую речь в защиту жены, которая хочет бежать в Петербург и учиться шить на швейной машинке. В результате он обвиняет мужа и приговаривает его к ссылке на Северный полюс. Карепин сердится и

бросается на Достоевского. Занавес опускается – первое действие окончено»¹. Как видим, роман и Чернышевский были в ареале и раздумий и смеховой культуры русского XIX века.

Среди политических преступников

А для автора предмет размышлений общества мог быть только по слухам известен. Но надо отметить, что каторга была для него местом, еще не столь страшным. Во-первых, он ждал сравнительно быстрого освобождения: если и не через пару лет (хотя и на это надеялся), то, во всяком случае, через семь лет, когда ему было всего сорок два года – возраст вполне энергичный и творческий; во-вторых, на каторге он жил не среди уголовников, как Достоевский, а среди «политических» (так называли поляков, арестованных за политику) и «государственных» (то есть русских политических) заключенных, то есть людей образованных, из которых многие были недавними студентами.

Повторю, что сам Чернышевский был вполне уверен, что его скоро отпустят. Это ясно из его писем Ольге Сократовне, из мемуаров современников.

1864 год, Тобольская пересыльная тюрьма, он говорил политическому арестанту Стахевичу:

«– Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо-таки полезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит – особого рода реклама.

Припомнивши теперь эти слова и задумавшись над ними, я прихожу к заключению, что в то время, в июне 1864 года Николай Гаврилович был той уверенности, что в ссылке он пробудет недолго, в скором времени будет освобожден, восстановлен в правах, тотчас вернется в Петербург и примется за свою прежнюю работу»².

Там же: «Из наших тогдашних собеседований у меня осталось в памяти очень немногое. <...> Ему было сказано, что он пробудет в Тобольске недолго, всего несколько дней; “распаковывать чемодан на такое короткое время и потом опять запаковывать – не хочется”»³.

Он еще полагал, что Россия хотя бы в отношении к образованному сословию усвоила европейские нормы, пусть и с нару-

¹ Хроника рода Достоевских / Под ред. И.Л. Волгина. (Руководитель проекта) // М.: Фонд Достоевского. 2013. С. 284–285.

² *Стахевич С.Г.* Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 291.

³ Там же.



Домик в Кадае, где два года жил Чернышевский

шением правового законодательства, но как бы на уровне запугивания. Попугали, потом, понимая, что вины за ним нет, вернут в прежнее состояние. Потом и литературные его дела продолжались. Он конечно же знал, что хоть и без его имени, но переиздана его диссертация. И что она наконец-то вызвала не кулуарное злопыхательство, а открытую бурную полемику. Ему разрешали писать. Хотя из Тобольска «он был отправлен в рудник Кадая на китайской границе»¹, где находились свинцово-серебряные шахты.

Там он встретился с своим близким другом М.Л. Михайловым, тоже оклеветанным Костомаровым. В руднике они не работали. Михайлов писал свои поэтические переводы, а Чернышевский свою прозу. Михайлов здесь и умер.

В мае 1865 г. в Иркутск приехала жена О.С. с сыном Михаилом. Ей было сказано, что если она хочет свидания с мужем, она должна остаться при каторге. Власть старательно из Чернышевского делала революционера, почти декабриста, а из жены хотела сделать декабристку. Но она преодолела эти провокации

¹ Шаганов В. Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 119.



Скалы Кадаи

и добилась встречи с мужем и в сопровождении жандарма приехала в Кадаю. Там в присутствии охранника прошло несколько дней их встречи. Она поскандалила с начальством каторги, что для каторжанина было плоховато, потом поддалась уговорам мужа и вернулась в Европейскую Россию. Больше к нему ни разу не приезжала.

А Чернышевского в 1866 г. перевели в Александровский завод, неподалеку от Нерчинска. От этого пребывания осталось несколько мемуаров (каторжане там были люди образованные); своего рода коллективным Эккерманом (записавшим многие высказывания Гёте) для Чернышевского стало несколько молодых людей: студент Петербургской медико-хирургической академии Сергей Григорьевич Стахевич, студент Московского университета Вячеслав Николаевич Шаганов, только что окончивший Московский университет Петр Федорович Николаев и др.



Село Александровский завод

Пересказывать их мемуары — заняло бы много места, но выделю то, что важно для моего рассказа. Стахевич пишет, что к принудительным работам начальство привлекало государственных очень редко, самые работы были совершенно пустяковые и кратковременные. Николая Гавриловича начальство вообще не требовало ни к каким работам. Что самое важное заметил Стахевич? Наблюдение простое, но существенное для понимания его жизни в эти первые годы отлучения от нормальной жизни. Оно показывает, что в эти годы, когда обстоятельства на долгое время лишили Николая Гавриловича, сроднившегося с литературной работой, возможности писать статьи научного или публицистического содержания, — он стал писать беллетристические вещи. Между прочим, он написал несколько пьес для тех спектаклей, которые два или три раза в году устраивались в тюрьме бывшими среди заключенных любителями сценического искусства. Некоторые из этих пьес сохранились. Это «Мастерица варить кашу», «Великодушный муж», «Другим нельзя». Можно сказать, что он имел редкое удовольствие для начинающего драматурга — видеть свои пьесы на сцене. Очень часто устраивались чтения: Чернышевский, стоя или сидя на стуле перед слушателями, читал свои новые художественные тексты. Как-то раз один из заключенных заглянул ему через плечо и увидел, что он держит в руках пустые листы бумаги, но имитировал чтение, и речь его текла так гладко, будто он писал. Но тем не менее он написал романы «Старина» и «Пролог». Стахевич писал, что «беллетристический талант» Чернышевского в «Старине» проявился больше, чем в каком-либо другом его художественном произведении. Из тех немногих, кто сумел прочитать или услышать этот текст, практически все говорят о большой эпической силе романа. К несчастью, рукопись пропала. По не очень достоверным сведениям, человек на воле, у которого была рукопись, в какой-то момент с перепугу сжег ее. При всей непрочности своего бытия Чернышевский оставался спокойным, разговорчивым и ироничным.

При этом его всегдашняя ирония с людьми, настроенными дружески, очаровывала этих людей. Стахевич вспоминает: «Он любил пошутить и однажды при нашем общем смехе и шутках возложил на себя титул “стержень добродетели”». Этот титул так у нас и утвердился за ним и скоро принял сокращенную форму — “стержень”; разговаривая о нем между собой, мы очень редко называли отсутствующего, а вместо того почти всегда говорили “стержень”. Слово “добродетель” мы считали равносильным французскому “vertu”, и, следовательно, для нас титул имел значение “столп доблести”»¹.

¹ Стахевич С.Г. Среди политических преступников. С. 61.

Тем не менее от работы он не уваливал. Николаев вспоминает: «Работать по дому приходилось не мало: и дрова колоть, и печи топить, и воду на себе возить и всегда он явится и помешает. Да и страшно за него было: так он ловок был, что того и гляди покалечит себя, так что частенько приходилось насильно отнимать у него режущие и колющие инструменты и дружелюбно его выталкивать. После мы выучились отделяться от него напоминанием о некоем дворнике, которому, по его собственному рассказу, он хотел помочь внести дрова на пятый этаж и так ловко помог, что рассыпал всю вязанку, за что и получил надлежащее возмездие в форме крепких слов. Как сунется Николай Гаврилович “помогать” нам, так и крикнем ему: “а вспомните, стержень добродетели (так мы шуточно называли его), дворника”, — ну и отстанет»¹. История с дворником и впрямь забавна, она показывает (всего лишь момент!) избавление НГЧ от народных иллюзий. Как-то зашла речь об интеллигенции и народе. Как же не спросить автора «Что делать?» — что делать теперь с народом?.. Его и спросили. И вот что сказал Чернышевский: «Однажды, когда я жил в Петербурге и тоже желал помочь народу, поднимаюсь к себе на квартиру по лестнице, а впереди идет дворник с вязанкою дров за спиной. Вижу я, что дрова, того и гляди, развалятся. Как же не помочь?.. Вот я на ходу и давай поправлять вязанку.. Рассыпались дрова-то, а дворник меня стал ругать!..» Как положено Учителю, отвечал он притчами. Умный разумеет.

В эти каторжные годы он впервые вживую столкнулся с теми, кто читал его тексты и готов был слушать его рассуждения, как апостолы слушали Учителя, записывая потом вкрявь и вкось сказанные им слова. Сегодняшние молодые люди, отравленные советским прочтением Чернышевского, даже вообразить не могут того замиранья сердца, которое охватывало студенческую молодежь просто при виде их кумира. Они многого не понимали, поскольку ждали другого (миф о «дирижере радикального оркестра» уже работал!). И все же многое сохранило тот дух неожиданности духовного откровения и неожиданного прочтения привычных сюжетов. И первое удивление — никакой позы, простота: «При нашем настроении благоговейного трепета, — пишет П.Ф. Николаев, — мы инстинктивно, сами о том не думая, ждали от Николая Гавриловича чего-то героического. Конечно,

¹ *Николаев П.Ф.* Воспоминания о пребывании Н.Г. Чернышевского в каторге // *Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II.* Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 159.

не трубных звуков каких-нибудь, а так чего-нибудь героического; в глазах, в выражении лица, — одним словом, чего-нибудь необычного. И увидели самое обыкновенное лицо, бледное, с тонкими чертами, с полуслепыми серыми глазами, в золотых очках, с жиденькой белокурой бородкой, с длинными, несколько спутанными волосами, часто по нашим погостам попадают дьячки с такою наружностью»¹.

Он не производил впечатления конспиратора и революционера, он был мыслителем и ученым, таковым и изобразил его каторжный художник.

И главное выделил бы я: с вчерашними ишутинцами связал его не революционаризм, а другие нити, которые соединили студенческую молодежь с мыслителем, и «нити эти совсем простые, совсем не ослепительные, эти нити — интересы мысли и научного исследования, к которым и мы тоже тяготели»².

Однако на воле — и радикалы, и власть — укреплялись в ощущении, что Чернышевский — революционный герой, ждали и боялись трубных звуков, если он вернется. Скажем, ишутинцы, публика слегка безумная, которые хотели жить по заветам романа Чернышевского (организовали переплетную и швейную мастерские), но их проекты были прикрыты, и тогда они придумали организацию под названием «Организация», ядром которой стала группа под названием «Ад». Так именовалась подвальная комната московского трактира «Крым», где собирались воры и где они придумывали, как дать бой царизму. В результате двоюродный брат Ишутина Д.В. Каракозов в Петербурге 4 апреля 1864 г. стрелял в императора, был схвачен и повешен



Н.Г. Чернышевский на каторге.

Рис. А. Сохачевского

¹ Николаев П.Ф. Воспоминания о пребывании Н.Г. Чернышевского в каторге // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 153.

² Там же.



*Дмитрий Владимирович
Каракозов*

3 сентября 1866 г. В этом году Достоевский играл в «Что делать?», а Каракозова повесили, поскольку он не мог примирить в своем сознании верность Чернышевскому и верность императору. Некоторые литературоведы полагают, что фамилия Каракозов — один из возможных толчков к появлению фамилии Карамазов. Ишутина тоже приговорили к казни, одели саван, на голову петлю, тут пришло помилование, но он уже окончательно сошел с ума.

И идейный противник Чернышевского Герцен спрашивал в «Письме к императору Александру II» от 1865 г. (№ 197): «Вы с беспримерной свирепостью осудили единствен-

ного замечательного публициста, явившегося в ваше время. А знаете ли, что писал Чернышевский? В чем состояло его воззрение? В чем опасность, преступность? Можете ли вы на этот вопрос ответить самому себе? Из нелепейшей сенатской записки вы ничего не могли понять» (*Герцен*. XVIII, 340). Вопросы юридически точные, но исходили они от патентованного врага империи и вряд ли могли содействовать освобождению Чернышевского.

Но все же в высших сферах вновь возник вопрос о Чернышевском, поскольку стало известно о разговорах членов ишутинского кружка об его освобождении, и у наиболее трезвых сановников, немножко понимавших невинность Чернышевского, возникла мысль вернуть его как противовес крайним радикалам. В «Колоколе» 1866 г. сообщалось: «Каракозов не признает себя Каракозовым и не признает двоюродного брата, его признавшего. Муравьев требовал выписать из Сибири Чернышевского, *на что государь не согласился*» (*Герцен*, XIX, 84; курсив Герцена. — В.К.). Иррациональное поведение императора будило иррациональную стихию русской жизни. Царь лично загонял Чернышевского в угол, в смертную тень. А себя вел к бомбе террористов. Реформы были неплохи, но они стали фактом быта, а несправедливость к личности становилась все отчетливее.

Кстати, должен подчеркнуть, что среди всех тюремных и каторжных текстов Чернышевского, дошедших до нас, нет ни одного, который можно было бы назвать радикальным или тем более зовущим к ниспровержению строя. Самое резкое его высказывание в романе «Пролог» вполне укладывается в отголосок чаадаевских lamentаций. Вот мысли Волгина, главного героя: «Жалкая нация, жалкая нация! – Нация рабов, – снизу доверху, все сплошь рабы...» – думал он и хмурил брови.

У него были свои приоритеты, о них он рассказывал своим ученикам-каторжанам. «Вообще в истории все симпатии Чернышевского были на стороне культуры, на стороне мирных трудящихся классов и на стороне интеллигенции, даже если хотите умственной аристократии. Это видно и из сюжета его романа “Рассказы из белой залы”. Он полагал, что история часто прерывала развитие мировой интеллигенции проявлениями грубой силы невежественных масс, что в старых, погибших цивилизациях было накоплено столько культурных приобретений, столько знаний, что правильное развитие и сохранение этих сокровищ поставило бы человечество неизмеримо выше, чем оно стоит теперь»¹. Здесь стоит подчеркнуть, что название крестьянского демократа, работавшего ради народа, стоит поставить под вопрос.

Он был, как Пушкин, настоящий русский европеец, желавший перенести в Россию не слова, не идеи, не формы, а установочные принципы, которые своею силою творили бы Россию как европейскую страну, как и положено ей по ее христианскому происхождению. И главное, повторяю, для него заключалось в развитии личности. Поэтому, принимая общину, он толковал ее не как враждебную индивиду, даже не как хор, а как защитницу личностного принципа, наподобие цехов и коммун в Западной Европе. Общинное земледелие и жизнеустройство, писал он, «так просто, что отстраняет нужду во вмешательствах всякой центральной и посторонней администрации. Оно дает бесспорность и независимость правам частного лица. Оно благоприятствует развитию в нем прямоты характера и качеств, нужных для гражданина. Оно поддерживается и охраняется силами самого общества, возникающими из инициативы частных людей. Нам кажется, что все это вместе составляет натуру разумного законодательства, противоположную регламентации»

¹ Николаев П.Ф. Воспоминания о пребывании Н.Г. Чернышевского в каторге // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 181.

(*Чернышевский*. V, 619). Но принятие общины, которую можно, как он надеялся, перевести в освободительный регистр, вовсе не означало идеализации народа с его привычкой к произволу и бесправью.

Чернышевского называют демо-**кратическим** мыслителем. Скорее можно его назвать — демо-**критическим**. И тут он резко противостоял опять-таки **всем**. Народ обожествляли и православные мыслители, и разночинные писатели, и радикалы, и Герцен, и Толстой, и даже Достоевский, забыв, что даже если народ — богоносец, он не есть Бог, что, напротив, Бог — судия над любым народом. О народе в шестидесятые годы боялись плохо сказать (страдалец, мол). Беспощадная пьеса позднего Толстого «Власть тьмы» или еще более жестокие чеховские «Мужики» и бунинская «Деревня» — все это пришло на рубеже веков. Пока же, пожалуй, один Чернышевский смел написать такое: «Забудемте же, — убеждал он собратьев по перу, — кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания» (*Чернышевский*. VII, 862). В этом и заключался его демо-**критизм** — писать «о народе правду без всяких прикрас» (*Чернышевский*. VII, 856). В противном случае неизбежно опять-таки впадение в азиатчину, ибо забывается главное условие христианского жизнеповедения — ответственность за самого себя. «Делая человека ответственным, — писал Достоевский, — христианство тем самым признает и свободу его»¹.

А без свободы немислимо и просвещение, что очевидно показала толстовская идеализация народных взглядов. Лев Толстой в своем журнале «Ясная Поляна» писал, что «народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляют для его образования общество или правительство». Надо сказать, он просил Чернышевского откликнуться на его журнал. Чернышевский отвечал: «Мало ли чему может иногда противодействовать народ! При Иосифе II в Бельгии и в Венгрии он противодействовал разрушению феодального порядка; при Аранде и Флориде Бланке в Испании он противодействовал отменению инквизиции; у нас он противодействовал попыткам ознакомить его с возделыванием картофеля. <...> В некоторых, — пожалуй, в довольно многих, — случаях народ довольно упорно противился заботам об его образовании. Что ж тут удивительного? *Разве народ — собрание римских пап, существ*

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 21. С. 16.

непогрешительных? Ведь и он может ошибаться, если справедливо, что он состоит из обыкновенных людей» (Чернышевский, X, 505–506; курсив мой. — В.К.).

Конечно же не мог победить НГЧ, ибо народу не льстил и не идеализировал его. «Грязь и пьяные мужики с дубьем» — так он видел грядущее восстание народа. Впрочем, не льстил — ради того же народа. Когда идеалист, нечто вообразивший себе, составивший возвышенный образ народа, сталкивается с его реальностью, он начинает подминать реальный народ под воображаемый идеал. Что и проделывали наивные комиссары первых лет революции (Н. Коржавин). Поэтому и не нравился Чернышевскому Глеб Успенский, про которого он говорил, что он описывает мужиков как Миклухо-Маклай папуасов — с восторгом непонимания. Зато суровая проза Николая Успенского отвечала больше зрелому взгляду Чернышевского. Для него отказ от иллюзии по поводу народа означал «начало перемены», приход к реальному пониманию жизни.

Странно, что эти тексты были пропущены мимо глаз даже его поклонниками, которые и на каторге хотели, чтобы он объяснил им свое отношение к народу.

Приходилось снова и снова объяснять. Объяснять свое понимание проблемы, которое не ясно публике до сих пор. А понимал он так: «Он говорил нам, что со времени Руссо во Франции, а затем и в других европейских странах демократические партии привыкли идеализировать народ, — возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию. Самодержавие народа вело только к передаче этого самодержавия хоть Наполеону I и, не исправленное этой ошибкой, многократно передавали его плебисцитами Наполеону III. Всякая партия, на стороне которой есть военная сила, может монополизировать в свою пользу верховные права народа и, благодаря ловкой передержке, стать якобы исключительной представительницей и защитницей нужд народа, — партией преимущественных народников. Он, Чернышевский, знает, что центр тяжести лежит именно в народе, в его нуждах, от игнорирования которых погибает и сам народ, как нация или как государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал себя сам, и даже, в счастливых случаях, приобретает себе самодержавие, передавал его первому пройдохе»¹. Единственное,

¹ Шаганов В.Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 135.

что могло смущать власть имеющих, что он не только к народу относился иронически, но прежде всего к власти. Его статья о Луи-Наполеоне, написанная в крепости («Рассказ о Крымской войне. По Кингслеку»), вызвала раздражение цензоров Третьего отделения, поскольку в ней иронически говорилось о французском императоре.

Конечно, власть, считавшая, что подданные и должны власти беспрекословно подчиняться, видела в Чернышевском смутьяна. Надо понять, что Чернышевский раздражал, сильно раздражал жандармов и их шефа, пенитенциарное начальство, полицейских, министра юстиции, сенаторов, как бы охранявших правовое пространство державы, раздражал тем, что нес в себе, в своем поведении то реальное представление о праве и законах, которые были выработаны цивилизованным человечеством, но которым (вроде бы выступая в их защиту от радикалов) на самом деле власть не желала следовать. И прежде всего не желал этого укора от своего подданного самодержец. Поэтому и была у него такая неуправляемая ненависть к этому заключенному.

А он все время помнил о своей «голубочке» и писал романы отчасти и для того, чтобы заработать деньги, в которых О.С. нуждалась постоянно. Не могу не привести одно из писем, быть может, самое показательное, в котором у зрелого мужчины видна сохранившаяся свежесть чувств и страсть влюбленного юноши, при этом человека, который всего себя готов положить к ногам любимой женщины.

* * *

18 апреля 1868 г. Александровский завод.

Милый мой Друг, Радость моя, Лялечка.

Каково-то поживаешь Ты, моя красавица? По твоим письмам я не могу составить определенного понятия об этом. Вижу только, что ты терпишь много неудобств. Прости меня, моя милая голубочка, за то, что я, по непрактичности характера, не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя. Думал: год, полтора, — и опять журналы будут наполняться вздором моего сочинения, и ты будешь иметь прежние доходы, или больше прежних. В этой уверенности я не заботился приготовить независимое состояние для тебя. Прости меня, мой милый друг.

Если б не эти мысли, что ты терпишь нужду, и что моя беспечность виновата в том, я не имел бы здесь ни одного неприятного ощущения. Я не обманываю тебя, говоря, что лично мне очень удобно и хорошо здесь. Весь комфорт, какой нужен для меня по моим грубым привычкам, я имею здесь. Располагаю своим временем свободнее, нежели мог в Петербурге: там было много отношений, требовавших церемонности; здесь, с утра до ночи, провожу время, как мне заблагорассудится. Обо мне не думай, моя Радость; лично мне очень хорошо жить. Заботься только о твоём здоровье и удобстве, мысли о котором — единственные важные для меня.

Я не знаю, собираешься ли ты и теперь, как думала прежде, навестить меня в это лето. Ах, моя милая Радость, эта дорога через Забайкалье пугает меня за Твое здоровье. Я умолял бы Тебя не подвергаться такому неудобному странствованию по горам и камням, через речки без мостов, по пустыням, где не найдешь куска хлеба из порядочной пшеницы. Лучше, отложи свиданье со мною на год. К следующей весне я буду жить уже ближе к России: зимою или в начале весны можно мне будет переехать на ту сторону Байкала, — и нет сомнения, это будет сделано, потому что все хорошо расположены ко мне. Вероятно, можно будет жить в самом Иркутске, — или даже в Красноярске. Путь из России до этих городов не тяжел. Умоляю тебя, повремени до этой перемены моего жилища.

Переехав жить на ту сторону Байкала, я буду близко к администраторам, более важным, нежели здешние маленькие люди. Не сомневаюсь, что найду и в важных чиновниках полную готовность делать для меня все, возможное. Тогда, придет время писать для печатанья и будет можно воспользоваться множеством планов ученых и беллетристических работ, которые накопились у меня в голове за эти годы праздного изучения и обдумыванья. Как только будет разрешено мне печатать, — а в следующем году, наверное, будет, — отечественная литература будет наводнена моими сочинениями. О том нечего и говорить, что они будут покупаться дорого. Тогда, наконец, исполнятся мои слова Тебе, что Ты будешь жить не только по-прежнему, лучше прежнего. <...>.

Милая моя Радость, верь моим словам: теперь уже довольно близко время, когда я буду иметь возможность заботиться о твоих удобствах, и твоя жизнь устроится опять хорошо. Здоровье мое крепко; уважение публики заслужено мною. Здесь, от нечего делать, выучился я писать занимательнее прежнего для массы; мои сочинения будут иметь денежный успех.

Заботься только о своем здоровье. Оно — единственное, чем я дорожу. Пожалуйста, старайся быть веселюю.

Целую детей. Жму руки вам, мои милые друзья.

Крепко обнимаю тебя, моя миленькая голубочка Лялечка.

Твой Н. Ч.

Будь же здоровенькая и веселенькая. Целую Твои глазки, целую Твои ножки, моя милая Лялечка. Крепко обнимаю тебя, моя радость

Еще тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость.

Прошу вас, мои милые, прочтите это письмо: разумеется, в нем нет секретов. Да и вообще их нет у меня» (*Чернышевский*, XIV, 496—497). К кому обращена последняя фраза? Уж не к жандармам ли, которые читали все его письма?

Вообще стоит заметить, чтобы у читателя не возник образ пропадающей в бедности жене каторжника, что «Современник» положил выплачивать ей ежемесячно по 150 руб. (деньги немалые по тем временам), а когда подросток Михаил Николаевич и пошел работать, то и его она обязала выплачивать ей по 50 руб. каждый месяц. НГЧ в Сибири, конечно, мучительно страдал за свою «голубку», неоднократно пытался подвести О.С. к выбору свободы, чтобы она могла вступить во второй, более удачный брак. Но О.С. не поддержала его замысел, а просто жила в свое удовольствие. Вера Александровна Пыпина, племянница Чернышевского, вспоминала О.С. в меблированных комнатах на Бассейной, окруженную массой котят, жалующуюся как всегда, на нездоровье, всегда полуодетую. В тех же комнатах жил и постоянно входил молодой человек в мундире, Витман, кажется его звали. Девочке казалась тогда это неловким и странным. Но позже написала с полуодобрением, что О.С. вкусу к молоденьким «мущинкам» не изменяла.

А что за рубежом?

Тем временем имя его, как крупнейшего русского ученого, разрасталось. Помимо слов Герцена, где он защищался скорее как политический журналист, на Западе в период его каторги вышел пятитомник его сочинений: «Чернышевский, Н.Г. Сочинения Н. Чернышевского. — 1-е полн. изд. Изд. М. Элпидина и К°. Т. 1-[5]. — Vevey : V. Benda successeur de R. Lesser, 1867—1870. — 5 т.». Это было издание, по которому Запад мог ознакомиться с идеями НГЧ.

И Запад знакомился. Самый крупный на тот момент мыслитель Европы Карл Маркс специально учит русский язык, что-

бы читать Чернышевского. «Не знаю, сообщал ли я Вам, что с начала 1870 г. мне самому пришлось заняться русским языком, на котором я теперь читаю довольно бегло. Это вызвано тем, что мне прислали из Петербурга представляющее весьма значительный интерес сочинение Флеровского о Положении рабочего класса (в особенности крестьян) в России и что я хотел познакомиться также с экономическими (превосходными) работами Чернышевского (в благодарность сосланного в Сибирь на каторгу на семь лет). Результат стоит усилий, которые должен потратить человек моих лет на овладение языком, так сильно отличающимся от классических, германских и романских языков»¹.

Любопытно, что кроме власти против Чернышевского были и крайние радикалы – Бакунин и Нечаев. О словах беса Верховенского-Нечаева о ретрограде Чернышевском в романе Достоевского я уже поминал, а вот слова Маркса и Энгельса, они тоже об этом же и, как и Достоевский, выступают в защиту Чернышевского: «Вторая статья озаглавлена: “Взгляд на прежнее и нынешнее понимание *дела*”. Выше мы видели, как Бакунин и Нечаев угрожали заграничному русскому органу Интернационала; в этой статье, как увидим, они обрушиваются на Чернышевского, человека, который больше всего сделал для вовлечения в социалистическое движение в России той учащейся молодежи, за представителей которой они себя выдают. “Конечно, мужики никогда не занимались измышлением форм будущего общинного быта, но тем не менее они по устранении всего мешающего им (то есть после всеразрушительной революции, первого дела, а потому для нас самого главного), сумеют устроиться гораздо осмысленней и лучше, чем то может выйти по всем теориям и проектам, писанным доктринерами – социалистами, навязывающимися народу в учителя, а главное в распорядители. Для неиспорченного очками цивилизации народного глаза слишком ясны стремления этих непрошенных учителей оставить себе и подобным *теплое местечко* под кровом науки, искусства и т.п. Для народа не легче, если даже эти стремления являются искренно, наивно, как неотъемлемая принадлежность человека, пропитанного современной цивилизацией. В казацком кругу, устроенном Василием Усом в Астрахани, по выходе оттуда Степана Тимофеевича Разина, идеальная цель общественного равенства неизмеримо более достигалась, чем в фаланстерах Фурье, институтах Кабе, Луи Блана и прочих ученых (!)

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т. XXVI. С. 87–88.

социалистов, более, чем в ассоциациях Чернышевского”. Далее следует целая страница ругани по адресу последнего и его товарищей.

Теплое местечко, которое готовил себе Чернышевский, было предоставлено ему русским правительством в сибирской тюрьме, тогда как Бакунин, избавленный от такой опасности в качестве работника европейской революции, ограничивался своими внешними проявлениями *из-за рубежа*. И как раз в тот момент, когда правительство строго запрещало даже упоминать имя Чернышевского в печати, господа Бакунин и Нечаев напали на него»¹.

Марксу больше всего нравились примечания Чернышевского к «Очеркам политической экономии по Миллю», он называл его за эту работу «великим русским ученым и критиком». Интересно, что и сам Чернышевский считал именно эту работу своим лучшим произведением. Как вспоминал Н. Рейнгардт: «Николай Гаврилович возразил, что роман “Что делать?” не может представляться выдающимся произведением еще и потому, что он, Чернышевский, вовсе не обладает беллетристическим талантом. Выдающимся же, серьезным своим трудом он считает комментарии к политической экономии Милля»².

Имя Чернышевского и впрямь было запрещено упоминать, но фотографические карточки распространялись среди молодежи и, хоть ему самому роман «Что делать?» не нравился, но молодежь переписывала его от руки, а в 1867 г. роман был опубликован отдельной книгой в Женеве (на русском языке) русскими эмигрантами, затем был переведен на польский, сербский, венгерский, французский, английский, немецкий, итальянский, шведский и голландский языки. В эмиграции разговоры об НГЧ, как можно догадаться, шли чаще и свободнее. На одном из беседовавших необходимо остановиться. Это знаменитый народоволец, революционер, один из самых благородных людей в возникавшей среде профессиональных революционеров – Герман Александрович Лопатин, потомственный дворянин, родился в Нижнем Новгороде, окончил Санкт-Петербургский университет, первый переводчик «Капитала» Маркса, организовал в 1870 г. побег за границу П.Л. Лаврова, разоблачитель Нечаева, член Генерального совета I Интернационала, много беседовавший с Марксом о Чернышевском. В феврале 1871 г. был арестован в Иркутске при

¹ Маркс К., Энгельс Ф., Альянс социалистической демократии и международное т-во рабочих // Сочинения. Т. XIII. Ч. II. С. 603–604.

² Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский. Встречи в Астрахани // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 274.

подготовке побега Чернышевского. Причем думал не революционера освободить, а великого мыслителя, ученого, который, бесспорно, входит в Пантеон русской славы.

Необходимо привести его письмо Н.П. Синельникову, генерал-губернатору Восточной Сибири. Выделяю строчки, говорящие как раз о том, как воспринимал его Запад — как великого русского ученого, но отнюдь не как смутьяна.

«Во время пребывания моего в Лондоне я сошелся там с неким Карлом Марксом, одним из замечательнейших писателей по части политической экономии и одним из наиболее разносторонне образованных людей в целой Европе. Лет пять тому назад этот человек вздумал выучиться русскому языку; а выучившись русскому языку, он случайно натолкнулся на примечание Чернышевского к известному трактату Милля и на некоторые другие статьи того же автора. Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому. **Он не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем, что политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы, и т.д, и т.д.** Хотя я и прежде относился с большим уважением к трудам Чернышевского по политической экономии, но моя эрудиция по этому предмету была недостаточно обширна, чтобы отличить в его творениях мысли, принадлежащие лично ему, от идей, позаимствованных им у других авторов. Понятно, что такой отзыв со стороны столь компетентного судьи мог только увеличить мое уважение к этому писателю. Когда же я сопоставлял этот отзыв о Чернышевском как писателе с теми отзывами о высоком благородстве и самоотверженности его личного характера, которые мне случалось слышать прежде от людей, которые близко знали этого человека и которые никогда не могли говорить о нем без глубокого душевного волнения, то у меня явилось жгучее желание попытаться возвратить миру этого великого публициста и гражданина, **которым, по словам того же Маркса, должна бы гордиться Россия**». И далее идет текст, разительно напоминающий письмо гимназистки Коведяевой, просившей

арестовать ее, но освободить Чернышевского. Лопатин пишет: «Мне казалась нестерпимой мысль, что один из лучших граждан России, один из замечательнейших мыслителей своего времени, человек, по справедливости принадлежащий к Пантеону русской славы, влачит бесплодное, жалкое и мучительное существование, похороненный в какой-то сибирской трущобе. Клянусь, что тогда, как и теперь, я бы охотно и не медля ни минуты поменялся с ним местами, если бы только это было возможно и если бы я мог вернуть этой жертвой делу отечественного прогресса одного из его влиятельнейших деятелей; я бы сделал это, не колеблясь ни минуты и с такой же радостной готовностью, с какой рядовой солдат бросается вперед, чтобы заслонить собственной грудью любимого генерала»¹.



Герман Александрович Лопатин

Попытка Лопатина была по-своему отчаянная; потом из заметных была попытка освобождения Чернышевского Ипполитом Никитичем Мышкиным, стенографом и типографом, летом 1875 г. После двух лет эмиграции, наслушавшись о Чернышевском, он счел своей задачей его освободить. Одетый в жандармский мундир, он почти добрался до цели, но перепутал аксельбанты и был задержан в последний момент. А сам Чернышевский потом грустно говорил, что никто из освободителей не спросил его, готов ли он бежать, тем более верхом на лошади, на которой он и ездить не умел.

¹ Лопатин Г.А. Письмо к Н.П. Синельникову // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 354—355.

Победа произвола и подлости

10 августа 1870 г. истекал срок каторги Чернышевского, и он должен был выйти на поселение с правом вызвать к себе семью, заняться литературным трудом и пр. Но с 1866 г. сменился шеф жандармов и, соответственно, начальник Третьего отделения. Им стал граф Петр Андреевич Шувалов, человек и жестокий, и даже по-своему страшный. Сразу заслуживший поэтическую эпиграмму.

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр, по прозвищу *четвертый*,
Аракчеев же – *второй*.

1866 или 1867

Такие строчки посвятил генерал-адъютанту Петру Андреевичу Шувалову поэт Ф.И. Тютчев. Сравнение с Аракчеевым дорожного стоит. Особенно для поэта, помнившего пушкинские строчки об Аракчееве.

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он – друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,
<Бляди> грошевой солдат.

Рифмовка с пушкинской судьбой у Чернышевского удивительна.

Граф Шувалов у современников вызывал совершенно противоречивые чувства, мнения и оценки своей деятельности. Влиянию Шувалова на внутреннюю политику в течение семи лет (с 1866 по 1874 г.) придавалось такое значение, что его называли «вице-императором» и «Петром IV». Будучи наделен широкими, почти диктаторскими полномочиями, он являлся ближайшим советником императора Александра II. По словам военного министра Д.А. Милютина, всё делается под исключительным влиянием гр. Шувалова, который запугал государя ежедневными своими докладами о страшных опасностях, которым будто бы подвергается и государство, и лично сам го-

сударь. Вся сила Шувалова опирается на это пугало. Под предлогом сохранения личности государя и монархии гр. Шувалов вмешивается во все дела, и по его наущничеству решаются все вопросы. Он окружил государя своими людьми; все новые назначения делаются по его указаниям. На посты министров внутренних дел и юстиции он рекомендовал таких же противников всяких реформ, каким был сам.

В судьбе Чернышевского, да и в судьбе России (если связывать судьбу державы с судьбой императора) Шувалов сыграл роль двусмысленную, скорее отрицательную, несмотря на все его попытки содействовать в начале 80-х, после убийства Александра II, освобождению Чернышевского — после того как именно он загнал его в Вилюйск, в «долину смерти». Но об этом надо подробнее. Поразительно, как он сплел веревку, связавшую судьбу Чернышевского с судьбой императора. Потом пришлось за это расплатиться. Он искал своей выгоды и обратил Чернышевского в страшного Вампуку. Но Вампукой-то был не он. Просто Шувалов и император провоцировали появление бомбометателей. Если правительство поступает помимо права, отрицая правовые нормы, значит, и нам можно. Это фиксировал Энгельс, который был против индивидуального террора, но полагал, что самодержавие не оставляет русским радикалам другого выхода, ибо иным

путем они не могут донести до правительства свои пожелания. Замечу, что все это были не фанатики, а люди с высшим образованием.

Подчеркивая правовой характер своих деяний, народовольцы называли свои выстрелы и бомбометания не убийствами, а *казнью*. Тем самым деяния власти они оценили как проявление неправового насилия. А казнь Чернышевского воспринимали как убийство, каковым оно и было.

Шеф жандармов П.А. Шувалов, еще в декабре 1868 г. обсудил с генерал-губернатором Восточной Сибири М.С. Корсаковым «опасе-



Граф Петр Андреевич Шувалов

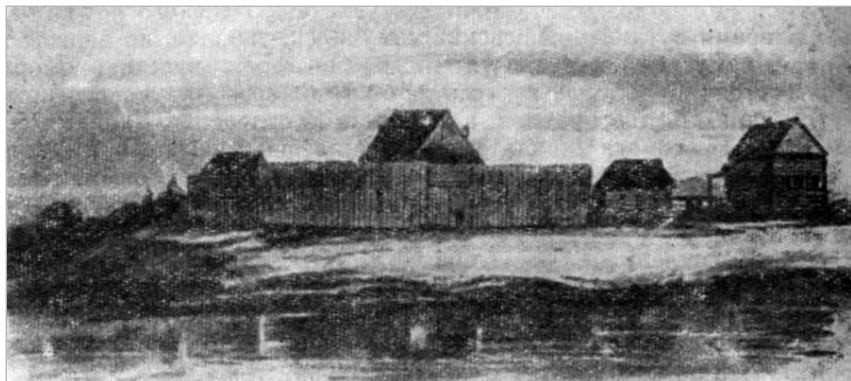
ния» насчет возможного побега Чернышевского и в сентябре 1870 г. провел через Комитет министров решение изолировать Чернышевского, водворив его под стражей «в такой местности и при таких условиях, которые бы устранили всякие опасения насчет его побега и тем самым сделали бы невозможным новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению». Такой местностью был выбран Вилуйск. Запуганный им император и без того не любивший Чернышевского, охотно согласился.

Это был, конечно, чистейшей воды произвол, акт противозаконный. Тот самый произвол, который Чернышевский считал проклятием России. Этот принцип был абсолютно антиевропейским, степным, наследием монгольского владычества. На этом произволе, полагал он, базируется как верховная власть, так и народное стремление к воле, не считающееся со свободой другого человека. Разумеется, в конечном счете все решала в России самая высшая власть, даже в мелочах проявляя свое господство, не давая развернуться самодеятельности подданных. Но лишенный прав и законов народ приучался на примерах верховной власти всего добиваться силой волевого решения, силой прихоти, произвола, даже в тех случаях, когда он выступал против этой верховной власти. Вот, быть может, одно из важнейших наблюдений мыслителя: «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно» (*Чернышевский*. VII, 616).

По справедливому замечанию А.А. Демченко, дело Чернышевского находилось теперь полностью в руках главного на-

чальника Третьего отделения. Свою основную задачу П.А. Шувалов видел в отыскании способов оставить Чернышевского в тюремном заключении и тем самым лишить его возможности выступать в печати. Для этого нужно было обойти закон, по которому Чернышевский, отбыв наказание, имел право на поселение в Сибири согласно утвержденному императором решению Государственного Совета от 7 апреля 1864 г. Совмещением незаконного требования (продолжение тюремного заключения) с законным пунктом приговора («поселить в Сибири навсегда») Шувалов соблюдал декорум, придавая окончательному решению законный вид.

На своем заседании 15 сентября 1870 г. Комитет министров, разумеется, согласился с действиями П.А. Шувалова и М.С. Корсакова и предписал «приступить к отысканию всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закона, в разряд ссыльнопоселенцев в такой местности и при таких условиях, которые бы устраняли всякие опасения насчет его побега и тем самым сделали бы невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению». Резолюция Александра II от 25 сентября: «Исполнить». Почему же был выбран Вилюйск? Как замечал тот же Корсаков, *местные условия климата и образа жизни якутов, а главное уединённое от товарищей своих жительство делает ссылку в Якутской области для политических преступников невероятно тягостною*. Как точно пишет Демченко, «облегчением участи» обозначено содержание нового сочинения Шувалова, имевшего официальное название «Записки по делу о порядке обращения ссыльнокааторжного Николая Чернышевского в разряд ссыльнопоселенцев». Но по своим названиям документы о Чернышевском придерживались закона, по содержанию – противоречили закону. Вилюйск означал полное одиночество и лишение возможности получить журнальную или какую-либо другую литературную работу. Содержание в доме под постоянной охраной и с запрещением отлучек – тюрьма. Тюремный режим подчеркивался выдачей ежемесячной казенной суммы для существования. Такое безусловное ограничение свободы лишь на бумаге могло считаться исполнением закона о переводе на поселение. На деле это означало бессрочное продление приговора 1864 г. с назначением жительства в несравненно более худших условиях, чем в Кадае или Александровском заводе. К этому надо добавить, что Вилюйск окружен непроходимыми болотами, что там время от времени вспыхивала проказа, а местные называли Вилюйскую долину «долиной смерти». Сам заключенный при всем своем невероятном терпении и уговорах



Город Вилуйск Якутской области, место ссылки Чернышевского (1872–1883)

жены, что ему хорошо, писал жене в апреле 1872 г.: «Вилуйск — это по названию город; но в действительности это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет. <...> Надобно перенести воображением этот хутор в пустыню, за 700 верст от ближайшего рынка: да и на этом рынке слишком часто не бывает слишком многих самых необходимейших товаров» (*Чернышевский*, XIV, 516).

Надо также понять, что медицинское обслуживание возможно все в том же Якутске, за 700 верст. То есть любое более или менее серьезное заболевание здесь становится смертельным. Воистину «долина смерти». Когда его подельники по Александровскому заводу узнали, куда отправили Чернышевского, то один из них воскликнул: «Туда, за этот Стикс, в эту проклятую страну смерти, — на Вилуй!»¹ Повторю, что правительство считало этот климат слишком тяжелым для жандармов, а потому распорядилось не держать их там более одного года.

Чернышевский пробыл там 12 лет.

Противозаконию придан законный вид и наконец найден едва ли не полный эквивалент давнишнему желанию Александра II заточить Чернышевского навечно в Шлиссельбургскую крепость. Произвол продолжал облекаться как бы в законную правовую форму. Как писал Лопатин, «в географическом смысле Вилуйск есть не что иное, как большой секретный номер, устроенный самою природою и усовершенствованный благопопечительным начальством. Даже по отношению суровости и стеснительности надзора Чернышевский ничего не выиграл, пе-

¹ *Шаганов В.Н.* Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. С. 139.

ременив свою каторгу на поселение»¹. Поясню внимательному читателю, что секретным номером Вилюйск назван не случайно, поскольку и Алексеевский рavelин назывался секретной тюрьмой. Какой дивный пример для будущих большевистских процессов, для сталинского правосудия!

Узнавший от Лопатина о месте заключения НГЧ, Энгельс с европейским недоумением писал: «Николай Чернышевский, этот великий мыслитель, которому Россия обязана бесконечно многим и чье медленное убийство долголетней ссылкой среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II “Освободителя”»². Именно этого позорного пятна опасался князь А.А. Суворов, пытаясь устроить Чернышевскому эмиграцию. Кажется, сам царь никаких пятен не боялся. Несмотря на вынужденные либеральные полуреформы, он слишком был самодержец. И в изменявшееся время он не хотел менять страну, в этом была его ошибка. Самодержавие как антитеза реформам — это был путь к бесовскому бунту, тем более страшному, что в него пошли напуганные и озлобленные политикой императора интеллектуалы. Позднее об этом медленном убийстве в якутской тайге человека, равного по энергии Петру Великому, напишет Василий Розанов. Но человека убили.

Вилюйское убийство

Когда Пушкина отправили в ссылку в деревню, в Михайловское, друзья практически пропели ему отходную. Боялись, что начнет «пить пунш», т.е. сопьется.

Вяземский. А.И. Тургеневу, 13 августа 1824 г. Остафьево.

«Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жребии несчастного Пушкина. Он от нее отправился в ссылку; она оплакивает его, как брата. <...> Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? <...> Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина!»³

¹ Лопатин Г.А. Из Иркутска // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 206.

² Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М.: Госполитиздат, 1951. С. 286.

³ Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 384.

Пушкин говорил о грустных русских песнях, о том, что все мы поем уныло. Но умел уныние преодолеть и не поддаться страшному греху русской деревни — забвению себя в вине. Слава Богу, Чернышевский с молодых ногтей практически не употреблял спиртного (за исключением одного момента, когда О.С. родила сына не от него: тогда он напился). Как рассказывал жандармский унтер из Вилюйска: «Когда Чернышевский придет к кому в гости и увидит на столе бутылку водки, или карты, тотчас скажет: “А! это у вас водка?» или “А! это у вас карты? Прощайте, прощайте!” И уйдет тотчас домой. “Непременно уйдет. Ни за что не согласится остаться. Не любил он, когда люди пьют водку. Раз был такой случай. Один из служивших при тюрьме, кажется, сторож, напился пьяным. Чернышевский стал горячиться и твердить: “он отравился!” Призвал всех, начал хлопотать... Ему все говорят: он только лишнее выпил, проспится... Так и вышло. Когда пьяный проспался, Чернышевский и говорит ему: “Зачем ты себя губишь? Зачем убивать себя?” Смешной был старик иногда¹. Действительно, смешной, ни на кого не похожий.

Со здоровьем ему и впрямь повезло. Как надеялась власть, он там «сыграет в ящик непременно». Но он выжил. Хотя бы далеко не очень здоров. Врач В.Я. Кокосов в разговоре с Н.П. Синельниковым на Александровском заводе указывал на состояние здоровья Чернышевского, требующее поддержки, напомнил об истечении срока заключения и необходимости переселения в более подходящее для поправления здоровья место. «Ледяным тоном» генерал отослал врача. Чернышевский держался мужественно и бодрился, но, вспоминал В.Я. Кокосов, однажды довелось подсмотреть «глубокую, невыразимую тоску», передающую тогдашнее его «душевное состояние». Надо сказать, что в России на определенном социальном уровне к здоровью поданных отношение не изменилось. Прошу читателя перечитать рассказ Мих. Зоценко «История болезни», отрывок в несколько строк приведу:

«Сестричка говорит мне:

— Ну, — говорит, — у вас прямо двужильный организм. Вы, — говорит, — сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, — говорит, — если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, — говорит, — вас можно будет чисто-сердечно поздравить с выздоровлением.

¹ *Короленко В.Г.* Случайные заметки // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 219.

Однако организм мой не поддавался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребёнок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял своё, и я снова стал поправляться».

В этом контексте стоит добавить и еще одну причину, по которой жандармы не находились в Вилюйске больше года. Была очевидная опасность страшной болезни. Недостатка в деньгах для приобретения продуктов или вещей не испытывал. В предписании якутскому губернатору от 12 ноября 1871 г. расходы на содержание Чернышевского определялись суммой в 17 рублей 12 копеек²¹. Она составила из намеченного вилюйским исправником списком продовольствия на один месяц сообразно с местными ценами: 1 фунт чая и 2 фунта сахара — 3 руб., 1 пуд 20 фунтов ржаной муки по цене 1 руб. 91 коп., за пуд, 1 пуд пшеничной муки — 4 руб., 1 пуд 20 фунтов мяса по цене 3 руб. за пуд, 10 фунтов коровьего масла — 2 руб. 50 коп., 10 фунтов соли — 25 коп. О доброкачественности иных продуктов (ржаной муки, к примеру) Чернышевский писал как-то: «...Мука эта такая, что в пуде её оказывается от 8 до 10 фунтов мякины, не идущей в пищу» (*Чернышевский*, X, 529).

Крайне малое употребление мяса, которое было для него вполне доступным продуктом, объясняется, вероятно, не только простым пренебрежением к нему с детства (см.: XV, 69), но и опасением заразиться проказой, в те годы весьма распространенной в Якутии. Глава Якутской области сообщал, например, в Иркутск 12 августа 1872 г. о «развивающейся по округам Якутской области, преимущественно в Вилюйском, болезни “проказа”». Было разослано по округам «Краткое наставление», в котором читаем: «Известно, что проказа (улахан-Элю, Эм-Илбат-Элютя) развивается в Колымском, Вилюйском и частью в Якутском округах — в местностях исключительно болотистых и покрытых множеством озёр; почему проживание в таких местностях должно быть безусловно избегаемо и заменяемо местами, достаточно возвышенными, сухими и для хозяйственного быта удобными. Так как дурная пища способствует тоже к порождению проказы, то строго воспрещается употреблять в пищу мясо нездоровых, особливо палых животных, а также испорченную и гнилую рыбу,

какую едят якуты Колымского и других округов по неимению погребов, в которых могли бы они сохранять рыбу, добываемую летом и в начале осени»¹.

Убить не удалось. Чернышевский избежал проказы, избежал постоянных возможных пищевых отравлений, избежал болотной малярии, не утонул в Вилюе, куда однажды смыл его паводок. Но физическое убийство, хоть и страшно, но для мыслителя, наверно, страшнее другое. Это когда нет возможности думать и писать. Страшнее, когда надуманное и написанное — почти у него на глазах уничтожается. В начале февраля 1874 г. его сотоварищ по Александровскому заводу Шаганов проездом оказался в Вилюйске. И вот рассказ Шаганова — о жандармском полковнике из хохлов, приехавшем в Вилюйск к Чернышевскому с обыском, который вел себя с хохлацкой тупой преданностью приказу. Что искал? Рукописи, которые и прочитать не мог, но знал, что их надо отобрать и уничтожить. Забрал все у Чернышевского. Потом в доме, где жил казак, у которого Чернышевский столовался, был даже разрушен пол. «Казак мне объяснил следующее: в декабре 1873 г. неожиданно явился из Иркутска полковник Купенко (начальник отделения Главного управления Восточной Сибири по политическим делам). Купенко, никуда не заезжая, — это было прямо ночью, — прямо приехал в острог, произвел у Никола Гавриловича самый тщательный обыск и затем начал обыскивать дома некоторых казаков, преимущественно ходя по амбарам, лазая в подполья, а если таковых не оказывалось — взламывал полы. <...> Вилюйские жители клятвенно уверяли меня, что Купенко увез у Чернышевского чуть ли не целый воз рукописей»².

Это был, конечно выстрел на поражение. Примерно как выстрел Дантеса. Что такое Шувалов? Перефразируя Лермонтова, можно воскликнуть: «Не мог шадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!» Культура, наука не волновали этого ловца счастья и чинов. Приведу фразу из воспоминаний чиновника министерства юстиции и якутского прокурора Д.И. Меликова, который три дня пробыл в Вилюйске, но полностью за это время попал под обаяние умного, тонкого мыслителя, отнюдь не кровожадного злодея, фразу, фиксирующую страх начальства, боящегося влияния нечиновного человека: «Надо заметить, что при отправлении Н.Г. в ссылку

¹ Цит. по: Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть четвертая. Саратов: изд-во Саратовского педуза. 1994. С. 101.

² Шаганов В.Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. С. 145–146.

в Якутскую область от какого-то графа или князя Долгорукова была прислана собственноручная бумага или письмо на имя якутского губернатора, в котором предписывалось иметь за Чернышевским особенно бдительный и неослабный надзор. “Правительство ничего не пожалеет, — говорилось в письме, — чтобы иметь этого человека в своих руках, так как он имеет неотрашимое влияние на молодежь”. Не видел я этой бумаги лично, но слышал о ней от лица, заслуживающего полного доверия, которому я безусловно верю»¹. Не любили Чернышевского аристократы, чувствовали непонятную им силу.

Меликов, увидев ту глухую нищету, в которой НГЧ жил, приглашал его к себе на съемную квартиру. Истосковавшийся по общению Чернышевский к Меликову ходил, ничего не ел, даже чай не пил. Только в последний свой визит выпил стакан вечернего чая. О чем они беседовали? Много рассказывал о детстве, о петербургской жизни. Юмор ему не изменял, порой макабрический. Приведу один его рассказ: «Касаясь Панаевых, Николай Гаврилович, рассказал следующее: “Умер, — рассказывал Николай Гаврилович, — Панаев. Что же делать? Обрядили покойника, положили в передний угол на стол. Знакомые и жена умершего собрались в гостиной и стали рассуждать, как теперь устроить жизнь Некрасова с Панаевой, находившихся в связи друг с другом. Вдруг дверь из зала открывается и в гостиную входит Панаев, шагов которого никто не слышал, так как он был приготовлен на тот свет в мягких туфлях. Панический страх и изумление были так велики, что не скоро все оправились. Оказалось, что Панаев не умирал, а находился в летаргическом сне”»². Все это были окололитературные истории.

Но сам он хотел, раз не хватало литературы для научных текстов и переводов, писать свою беллетристику. Но существовал кошмар позлее его макабрической шутки. Все те, кто проездом оказывался в Вилуйске, притом люди способные к восприятию духовной жизни, слышали от него практически одно и то же: «Много жаловался Н. Г. на скуку и безделье, указывал на то, что пробовал писать и отправлять в печать чрез непосредственное начальство. Рукописи брали, а печатать не печатали и не возвращали, а потому он продолжал писать и сжигал затем все написанное»³, — вспоминает Меликов. Добавим и фразу Шага-

¹ Меликов Д.И. Три дня с Чернышевским (Воспоминания) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 253.

² Там же. С. 250.

³ Там же. С. 253.

нова: «Начинал было он продолжать “Рассказы из Белого Зала”, он часто рвал в ожидании нашествия неприятия и без надежды получить возможность возобновить их и писать без помехи, хотя, очевидно, ему этого очень хотелось. Ему было крайне противно, что какой-нибудь налетевший чиновник увезет все его рукописи и в них начнет руться»¹.

«Налетевший чиновник» — словно кочевник. Попадание невольное, но характерное. Власть вела себя с человеком из Пантеона русской славы, как могли вести только кочевники, не имеющие, по словам Пушкина, ни дворянства, ни истории.

Житие

Писание для него было жизнью. Когда писать стало невозможно (ведь писать и уничтожать написанное — это не писание), осталась не жизнь, а существование, а еще точнее — началось житие. Единственное, что сохранилось от этих двенадцати лет, не считая писем, — это неоконченный роман «Отблески сияния», который он сумел передать Меликову. Роман долго путешествовал по разным рукам, пока наконец не вышел в XIII томе полного собрания сочинений. Именно тогда, когда под влиянием советской пропаганды Чернышевского перестали читать, за исключением названных идеологически важными текстов. Великого человека, способного много пользы принести России, человека невероятной энергии, неприхотливого в смысле быта творца, Шувалову совместно с императором удалось практически уничтожить, затушить в нем творческую силу человека, способного производить мысли. Он, писавший десятки печатных листов в год, за двенадцать лет в сущности не написал ничего. Костер потушили, да еще и сапогами притоптали. Конечно, искры время от времени вспыхивали, мы их еще увидим, но пламени не было.

Как же он жил? Вот рассказ жены жандарма, проживавшей совместно с мужем в домике, в остроге, в сущности, где ютился Чернышевский: «Мужу при готовой квартире, отоплении и освещении платили 20 р. 50 к. в месяц. И все-таки было очень трудно!..

На содержание же Николая Гавриловича Чернышевского давалось 12 или 13 руб. в месяц. Он не ел ни мяса, ни белого хлеба, а только черный, употреблял крупу, рыбу и молоко. Он все готовил себе сам. Молоко процеживал через березовый уголь».

¹ Шаганов В.Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. С. 147.

Сразу сравним сумму на жандарма и на интеллектуала.

«Больше всего Чернышевский питался кашей, ржаным хлебом, чаем, грибами (летом) и молоком, редко — рыбой. Птица дикая в Вилюйске тоже была, но он ее и масла не ел. Он ни у кого и в гостях ничего не ел, как, бывало, ни просили. Раз только на именинах моих немного съел пирога с рыбою. Вина тоже терпеть не мог: если, бывало, увидит, сейчас говорит: “это уберите, уберите!”»

Тюрьма была расположена на самом берегу реки, за городом верстах в двух. В городе было не более пятнадцати одноэтажных домов, церковь, крытый дом исправника, доктора, заседателя... Река — но широкая. <...> Берега — песчаные... От тюрьмы открывался красивый вид, и она была около самого леса. Но уйти или уехать отсюда не было никакой возможности... Не оттого, что тюрьма была окружена палями, а оттого, что не было дороги... И кто ее не знал, без хорошего провожатого не нашел бы и самую дорогу. Ходить из тюрьмы Чернышевский мог сколько угодно и ходил с утра до ночи всегда один. Собирал грибы, которые затем сам себе готовил в своей же камере...»

Еще деталь: «Это был и очень веселый, очень разговорчивый старик. Много смеялся. Часто пел песни, не унывал, как будто был доволен своей судьбой. К женщинам относился ко всем хорошо, по безразлично, ни в кого не влюблялся. Вставал рано, часов в шесть, а ложился позже всех. Детей очень любил». В 55 лет он уже казался стариком. Конечно, возрастной ценз сейчас другой — и все-таки!

Он гулял много, вдоль леса, собирал грибы, которые сам и готовил потом, пытался, насколько мог, осушать окружающее пространство. Беренштам спрашивает жену жандарма:

«Как же там жить, в Вилюйске?»

— Плохо, очень тяжело!.. В Вилюйске морозы еще страшнее, чем в Якутске. Да и вообще в Вилюйске хуже жить, чем в Якутске. Была прямо погибель. Овощей никаких. Картофель теперь привозят издалека скопцы по 3 рубля пуд. А тогда было дороже. Но Чернышевский не покупал его совсем, потому что дорого. Зимой там все больше ночь, а летом все больше день. Зима там такая, что если плюнуть, то плевков, не долетая до земли, замерзает. Даже якуты ездят в меховых масках. Только глаза видны!

— Сохранилось ли там что-нибудь после Чернышевского?

— Как же, подле тюрьмы, против окон Чернышевского, было небольшое озеро. Чернышевский осушил это озеро, сделал канаву. Сам ее копал. Якуты прозвали эту канаву “Николаевским прокопом” в его честь».

Это для кого-то может быть жизнью, для человека духа — это, конечно, житие. Он и не обустроивал свое жилье. Такой Симеон Столпник. Он же не ради быта, не ради бытовых удобств пришел в этот мир.

«Как Чернышевский проводил день?

— Летом в комнате стоял “дымокур” — горшок со всяким тлеющим хламом — коровьим калом и листьями (там летом ставят и по улицам “дымокуры”, так как страшнейшее комарье — скот заедает!). Днем и ночью дымокуры — в домах; смрад дыма отгоняет комаров. Если взять белый хлеб, то сразу мошка так обсыдет густо, что подумаешь, будто икрой вымазан. Чернышевский, взяв полотенце и завернув голову, уходил в лес на целый день; собирает грибы, придет, поест и опять уходит. В доме нельзя было высиживать! Если, бывало, положишь на стол кусок свежего мяса и не закроешь, то оно через полчаса будет совсем белое, как бумага: комары высосут всю кровь из него. Когда темнело или было ненастье, то Чернышевский сидел и читал. Но гулять *ходил* каждый день. Иногда читал целую ночь напролет или что-то писал, причем все, что писал, жег»¹.

Последняя строчка самая страшная. «Что писал, жег». До какого же состояния надо было довести творца, чтобы он потерял всякую надежду на то, что его строчки увидят свет. Завершу эту страничку описанием его комнаты.

«На правой от входа стене коридора две двери — первая ведет в помещение жандарма, вторая — вход в камеру Н. Г. Около этой двери, далее ее, ближе к окну, которым заканчивается коридор, подвешена на блоке деревянная четырехугольная платформа в квадратный аршин, как чаша простых больших весов. Платформа — на веревке и блоке — может опускаться и подниматься. На платформе что-то наложено и наставлено, что именно — определить нельзя, так как все закрыто газетной бумагой. Оказалось, что на платформе хранится провизия Н. Г., которую он таким образом, по его объяснению, спасает от мышей.

Вошли в камеру. Комната мрачная, душная. Н. Г. был в камере. Он казался совсем не таким, каким я его представлял, не видел до того его фотографии. Предо мною стояла невысокая, коренастая фигура в длинном и широком драповом пальто коричневого цвета, с большими (по длине), но редкими, прямыми волосами, причесанными на косой ряд, с редкой длинной рыжеватой бородой, с бледным, одутловатым, дряблым лицом, с бе-

¹ *Беренштам В.* В гиблых местах // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 221–222.

лыми большими, очень сильными даже для близоруких, очками. В моем представлении на первый раз создался тип захудалого мещанина-ремесленника. Но это продолжалось менее минуты. <...> Комната Н. Г. была квадратная, приблизительно 8—9 аршин по стороне, высотой аршина четыре. В комнате было только два окна. По стенам комнаты, за исключением двери, двух окон и печки (на правой стене от входа), были устроены из простых плах широкие полки, каждая из двух плах, заполненные в два ряда преимущественно новыми, недержаными или очень бережно сохраняемыми книгами. Посредине комнаты на крестовинах были положены плохо выструганные, не пригнанные две плахи, изображавшие из себя и служившие столом.

Перед правым от входа концом стола у стены стоял какой-то мягкий, вроде турецкого, но утративший всякую форму диван, который и служил кроватью Н. Г. Пыли в комнате было невероятное количество. Пол был настолько грязен, что можно было только догадываться, что он из плах, а не земляной. На столе стоял заржавленный, позеленевший, старый, покосившийся как-то на все стороны самовар — когда-то желтой меди, стояла грязная, немытая посуда. Самый стол представлял сплошную грязь. Местами на столе была постлана газетная бумага, тоже грязная. Очевидно, что очистки комнаты или никогда не производилось, или таковая была — и то небрежно — в несколько лет раз.

Стены комнаты, смазанные в пазах глиною, и потолок, когда-то выбеленные, пожелтели, почернели, побелка во многих местах обвалилась, и общий вид камеры представлял мерзость запустения»¹.

Воистину русский святой, пустынный...

¹ Меликов Д.И. Три дня с Чернышевским (Воспоминания). С. 247—249.

Глава 14

«Отблески сияния»

Склонится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.
Владимир Маяковский

Губительная власть и человеческое достоинство

Добравшийся до последней главы этой книги, читатель может удивиться: почему эпиграф из Маяковского? Ну, и рога дьявола, и сияния, намалеванные дешевыми иконописцами, мы бесконечно можем увидеть в исследованиях о Чернышевском. Такой несправедливости, как Чернышевский, наверно, не переживал никто. Пройдя страшную жизнь человека, которого власть поставила в условия смерти, убивая не только тело, но уничтожая самую творческую способность мыслителя. Потом шла борьба за его наследие. С одной стороны, интеллектуальная элита — Короленко, Достоевский, Вл. Соловьёв, Бердяев, Розанов. С другой стороны, большевики, которые победили политически, а потому уничтожили всякие небольшевистские трактовки его творчества. Изучение его текстов с точки зрения официальной стало обязательным. По сути, это было продолжающееся убийство, начатое самодержавием. Тексты Чернышевского у желающих быть независимыми не вызывали ничего кроме идиосинкразии. Тратить силы на перепрочтение и перепродумывание его книг —желания не было. Книги его издавались, переиздавались, но читались мало кем.

Так невольно получилось, что, словно предчувствуя свою трагическую судьбу (судьбу поэта, объявленного официальным

бардом), трагический поэт вывел формулу, которая позволяет увидеть и осознать схожие судьбы. Надо сказать, Маяковский не просто много читал, но как бы жил внутри литературы. В его стихах бесконечные отсылки на произведения поэтов и писателей. Лиля Брик вспоминала о его чтении: «Он любил Достоевского. Часами мог слушать Чехова, Гоголя. Одной из самых близких ему книг была “Что делать?” Чернышевского. Он постоянно возвращался к ней. Жизнь, описанная в ней, переключалась с нашей. Маяковский как бы советовался с Чернышевским о своих личных делах, находил в нем поддержку. “Что делать?” была последняя книга, которую он читал перед смертью»¹. Иными словами, что-то Маяковский хотел найти в этом романе. Почему он читал его перед смертью? Это, конечно, соображение по поводу, но, быть может, существенное. Страхов не случайно назвал «Что делать?» романом «о счастливых людях», людях, которые в состоянии преодолеть житейские неурядицы, прежде всего связанные с отношениями мужчин и женщин. «Что делать?» — роман о воскресении, а не о самоубийстве (оно лишь имитация). Отношения Маяковского, Вероники Полонской и семейства Брик были запутанными, но он хотел их разрешить, и это решение искал у Чернышевского. Человек, читающий роман о счастливых людях, сумевших преодолеть свои трудности, не стреляет в себя из пистолета. Поневоле возвращаемся к версии об убийстве... Кому оно было выгодно? Пока сотрудники органов через Брик вливали на поэта, все годилось. Если этот приводной ремень уйдет, то что тогда? Останется ли поэт под их влиянием? Вряд ли!

Но это замечание мимоходом, хотя важное, на мой взгляд, ибо культура пронизана связующими нитями, незаметными поверхностному взгляду. Ведь и судьба самого Чернышевского, казалось бы, своей безжалостностью толкала его к самоубийству. Но для верующего христианина такой выход неприемлем. Но он отказался и от исповеди перед казнью. Император, узнав об этом, промолвил, что исповедь преступника есть шаг к облегчению его участи. У Александра в памяти была исповедь Бакунина, обращенная к его отцу. Замечу, что для Чернышевского, глубоко погруженного в мировую культуру, было понятно, что исповедь обращена как «Исповедь» Августина либо напрямую к Богу, либо как у Руссо ко всем людям, но не к власти. Надо сказать, что в Алексеевском равелине он

¹ Брик Л.Ю. Чужие стихи // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1963. С. 589.

начал переводить «Исповедь» Руссо. Какой уж тут тюремный священник! Возможно, он знал и о покаянной «Исповеди» Бакунина, обращенной к Николаю. Бакунин был ему неприятен и чужд. Идти его путем ему претило. Однако устойчива точка зрения, что его отказ от исповеди перед казнью на Мытнинской площади, который весьма раздражил императора, ибо далее закономерно должна была следовать просьба заключенного о помиловании (а император уже считал себя благодетелем, сократив вдвое срок каторги и, возможно, был готов на другие послабления). Но тюремный священник написал коменданту С.-Петербургской крепости (понятно, что дальше письмо пошло по инстанциям):

«Вследствие прошения вашего превосходительства от 7 мая с. г. за № 82 честь имею уведомить, что осужденный в каторжную работу отставной титулярный советник Чернышевский исповедаться и святой тайне приобщаться решительно не желает; эту решимость я считаю окончательною, потому что:

а) он, Чернышевский, в святую четырехдесятницу 1863 и 1864 годов говеть не хотел, б) совершать келейную у него в каземате службу, согласно данному вами разрешению – совершать таковую у арестантов, он мне не дозволил и г) когда я предложил ему, что к нему, если ему угодно это, будет прислан другой священник, Чернышевский ответил мне, что он имеет совершенное ко мне доверие и уважение, и присылать к нему другого священника совершенно излишне.

Благословение же мое священническое Чернышевский сам просил ему преподавать, в чем ему и не отказал я.

Протоиерей Василий Полисадов. 8 мая 1864 г.» (*Дело*, 438–439).

Очевидно, что исповедаться тюремному священнику ему было не в чем, тем более что связь тюремного капеллана с жандармами была очевидна. Но как человек верующий, он попросил священнического благословения, то есть понимая, что через рукоположенного священника возможна помощь от Бога, который даст силы пережить несправедливость. Существует одна из версий, что на месте казни он подпустил к себе священника и поцеловал крест. Правда, даже этот мемуарист увидел в принуждении НГЧ к поцелую креста оскорбление человеческого достоинства: «В каждом плакало оскорбленное человеческое достоинство: осужденный <...> должен был поневоле изъяслять разные знаки раскаяния, смирения и покорности: он целовал крест, символ того, в святость чего не верил, он становился на колени, без

сопротивления дал себя привязать к столбу»¹. Но Волховский был записной радикал, нигилист, а потому и убежденный атеист, впоследствии активный эсер.

Но не принимая власти и живущих около власти священнослужителей, Чернышевский находился в очень даже приятных отношениях с обычными священниками. Хороша деталь, что написанный в Александровском заводе роман «Пролог» на волю переправил батюшка Стефан Попов. Сколько помнится, — писал Михаил Николаевич Чернышевский, — многие тексты отца, в том числе и «Пролог», доставил какой-то священник, приехавший в Петербург с Александровского завода.

Характерно такое же неприятие и в Вилюйске Чернышевским официального церковного человека — Якутского преосвященного и дружба с бедным священником. Владимир Вильямович Беренштам, адвокат, случайно оказавшийся в Вилюйске, расспрашивал жену жандарма:

«— Приезжал ли кто-нибудь из начальства поведать его?

— Да... Чернышевский не позволял мыть у себя пол, боялся сырости, — пол был очень грязный. Потому и не принял преосвященного, когда тот хотел его навестить. А только была у нас мысль, что нарочно для такого случая не позволял мыть пол. Губернатора Чернышевский тоже не принял, когда тот приехал и хотел его навестить. Чернышевский был на него недоволен, что он задерживал его корреспонденцию.

— Ну, а с кем из местных жителей он был особенно близок?

— Он очень любил местного священника отца Иоанна Попова, часто ходил к нему в гости, но батюшка к нему не ходил. Священник был семейный, имел троих детей (девочек лет десяти, одиннадцати и девяти)»².

Чернышевский, и это надо сказать еще раз, несмотря на свои сомнения, как и Достоевский, пронес свою осанну «сквозь горнило сомнений». Но пронес. Удивительно, что везде его сопровождали две моленные иконы, его личные иконы, взятые из отцовского дома, его духовное наследство. Это икона Богородицы и, разумеется, икона Христа в окладе, с которым, видимо, не случайно сравнивали его.

¹ *Волховский Ф.В.* На Мытинской площади // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 35.

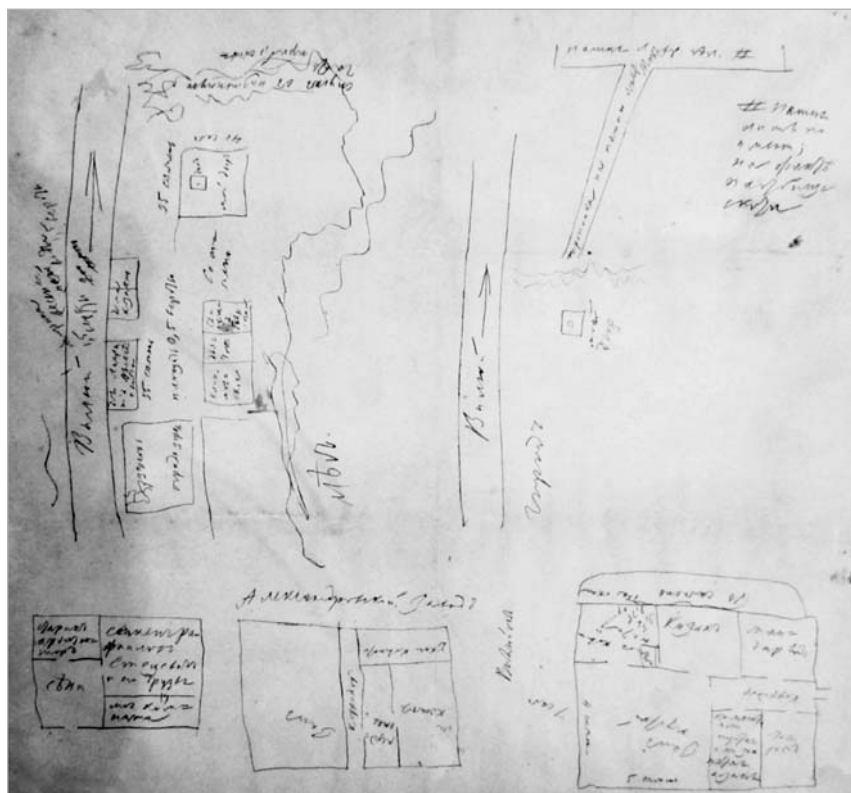
² *Беренштам В.В.* В гиблых местах // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 223.



Личная икона Чернышевского

Заметим, что тюрьма располагалась на высоком берегу Вилюя. От ближайших домов она отстояла в шестидесяти сажнях (около ста тридцати метров). Далее начиналась «пашня» местного купца Лаврентия Алексеевича — «пашня лишь по имени, на факте пастбище скота», как пояснил Чернышевский на своем плане. В четверти версты от тюрьмы начинался кустарник и лес.

Конечно, особенно поначалу, он был здесь чужой, да еще и государственный преступник. Русские, которых было здесь не очень много, отмечали, что в церкви бывает редко. Видели его разве что на свадьбе, да под пасху зайдет, шапку снимет, руки за спину заложит и так-то отстоит службу. Надо понять и гордость заключенного, который не мог себе позволить вести себя так, как местные насельники. Для Чернышевского христианство, исходя из его понимания этой религии и личного опыта, тесно было связано с образованием. Но в официальном «Обзоре Вилюйского округа на 1871 год» отмечалось, что в округе числилось всего две школы с тридцатью шестью учениками, получающими начальное образование. К тому же «со стороны ни духовенства, ни общества к усилению образования ничего не предпринято». Вспомним отношение Петра Великого к патриарху, когда он увидел, что книги в его книгохранилище изъедены мышами. Аналогичное чувство по отношению к официальному духовенству испытывал скорее всего и Чернышевский. Музеев, библиотек, ученых объединений в Вилюйском округе не существовало. А учитель Сунтарской инородной школы священник Василий Попов со-



Карта Вилуйска. Рис. Н.Г. Чернышевского

общал в своем отчете, что члены управы и родоначальники не заботятся об увеличении числа учеников, а напротив, число их время от времени уменьшается.

Для НГЧ просвещение всегда было связано с рождением «новых людей», без просвещения возникнуть им было неоткуда. Смысл своей деятельности он видел в развитии духовного прогресса в России. Его силу, его значение для развития русской мысли, для становления прогресса в русской жизни чувствовали все, начальство меньше других. Но не революционера видели в нем даже революционеры, а возможного созидателя России. Да ведь и революционеры были разные – были желавшие разрушения, а были желавшие устройства страны, ее движения по пути прогресса. Таким был героический Лопатин, пытавшийся освободить Чернышевского не ради организации бунта, а как великого строителя. Он писал иркутскому губернатору с силой равного человека: «Я не буду говорить, что я не видел в моем

намерении никакого вреда для общества, что, напротив того, я рассматривал эту попытку возвратить делу общественного прогресса одного из его наиболее сильных, наиболее честных и преданных деятелей, как **предприятие существенно патриотическое; я не буду говорить, что я смотрел бы на удачу в моей попытке, как на услугу с моей стороны самому правительству, так как такая удача избавила бы его от упрека потомства в том, что оно позволило погибнуть до конца одному из самых талантливых русских людей,** одному из честных, бескорыстных и самоотверженных граждан России, одному из самых горячих сердец, которые бились когда-либо любовью к своей родине; я не скажу всего этого, так как я не могу ожидать, чтобы правительство согласилось в этом со мною, но я скажу только, что я потерпел неудачу»¹. Поразительно, что спасение Чернышевского он рассматривал как услугу правительству, чтобы избавить власть и императора от упреков потомства. Об этом думал и сам Чернышевский, понимая свое значение, об этом позже писал Василий Розанов. Любопытно, что и сам Чернышевский в конце декабря 1873 г. сказал нечто похожее полковнику Купенко. Купенко записал, а Шувалов выделил дерзость заключенного, подчеркнув эти слова: «Да я еще надеюсь, что меня правительство возвратит из ссылки само, оно ещё будет во мне нуждаться». И стоит добавить, что в те годы, когда он гнил в Вилюйске, студенты не только делали рисунки с его фотографий, ставя их в красный уголок, но и пели песню:

Наша жизнь коротка,
Всё уносит с собой.
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой.

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал.

А он словно чувствовал это, говоря все тому же тупенькому жандарму Купенко, отбиравшему у него рукописи и уничтожавшего их. Слова Чернышевского 1874 г. о нечаевцах и тех, кто хотел освободить его, жандарм привел полностью и в кавыч-

¹ *Лопатин Г.А.* Письмо к Н.П. Синельникову // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 358 (выделено мною. — В.К.)

ках, ручаясь за достоверность услышанного: «Я их друзьями не считаю и никогда никого об этом не просил и узнал только из газет, читая процесс Нечаева. Согласитесь, что вы никогда не забудете фамилий Пушкина, Гоголя и Лермонтова, так современная молодежь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу». Сколько отчаяния в этих словах! Но нет пророка в своем отечестве, особенно, когда священная особа императора стоит за издевательством над пророком, разрешает это издевательство.

Вместо ссылки, как полагалось по закону, о чем как носитель правового сознания в России, враг произвола как константы русской жизни, Чернышевский прекрасно знал. Видел он (и чувствовал), как холоуи и холопы старались утяжелить его участь, заставляя его как некогда холоуи Пилата заставляли насилием тащить Спасителя крест на Голгофу. Стоит запомнить рядом с именем иуды Всеволода Костомарова имена Купенко, Шувалова и Ижевского. Особенно унтер-офицера С. Ижевского, от которого ничего не осталось, кроме фамилии, да рассказа, как он чуть не довел НГЧ до безумия.

«Я безумен только при норд-норд-весте»

Шекспир. Гамлет

Чернышевский только у ворот Вилюйского тюремного замка узнал, что вместо свободного поселения его вновь заключают в тюрьму. Открыто протестовать, бороться не было ни смысла, ни возможности. А мелкие чины при этом всячески показывали ему, что он обыкновенный тюремный арестант и в их полной власти. Далее позволю следовать архивным разработкам А.А. Демченко, исследователя, который поднял эти архивы – клязусы жандармов по начальству о сумасшествии Чернышевского. Ко всем клеветам прибавилась еще клевета о его безумии.

Так вот, первый документ – рапорт Ижевского от 20 июля 1872 г. в Иркутское жандармское управление. По обычному расчету времени эта бумага должна была поступить не позднее первой половины августа. Однако управление отреагировало сообщением в Петербург только 1 сентября и не обычной почтой, а телеграммой, подписанной штабс-капитаном Зейфартом. Можно предположить, что начальник управления полковник Дувинг не счел документ первоочередным и важным (он, действительно, походил на обычную клязусу) и не торопился с докладом в Петербург. Но стоило Дувингу отлучиться, его адъютант Зейфарт поспешил телеграфировать шефу жандармов

П.А. Шувалову, и 2 сентября в Третьем отделении уже расшифровывали следующий текст: «Доносит унтер-офицер Ижевский, что Николай Чернышевский будто бы подвергнулся умопомешательству. Подробности почтой отправлены Вашему Сиятельству».

Рапорт Зейфарта с сообщением «подробностей» датирован 17 сентября, Шувалов читал его 21 октября. Текст рапорта впервые опубликован с очень незначительными изменениями М.Н. Чернышевским. Демченко дает основную часть по первоисточнику: «...Доносит унтер-офицер Ижевский в рапорте своём, что с некоторого времени Николай Чернышевский при разговоре с ним выражает какие-то непонятные слова и в это время весь сам трясется как будто бы подвергнувшийся полному умопомешательству; так, например:

- 1) Николай Чернышевский говорит, что ему зарезать человека ничего не значит и это послужит к его же оправданию.
- 2) Чернышевский ныне стал сопротивляться тому, чтобы дом, в котором он помещён, был бы заперт на замок в ночное время, что обязаны исполнять дежурные урядники, находящиеся для наблюдений за Чернышевским, и вынуждает жандармского унтер-офицера Ижевского показать ему письменное приказание, на основании которого дом запирается на ночь.
- 3) Чернышевский говорит находящимся при нём урядникам, чтобы наблюдавший за ним унтер-офицер Ижевский делал бы ему, Чернышевскому, при встрече как начальнику фронт или отходил бы от него в сторону.
- 4) Вообще ныне замечает наблюдавший за государственным преступником Чернышевским жандармский унтер-офицер Ижевский, что Чернышевский желает быть каким-то начальником и желает, чтобы все ему повиновались.
- 5) Во время прогулок Чернышевский не ходит по прямой дороге и кидается во все стороны как умопомешанный.
- 6) Особенную злобу Чернышевский имеет на окружного вилюйского исправника Амосова и на вверенного ныне мне Управления дополнительного штата унтер-офицера Ижевского.
- 7) Чернышевский говорит, что ему всё местное начальство в г. Вилюйске нипочём и что кроме Генерал-губернатора Восточной Сибири ему никто ничего не может сделать; так что однажды, несмотря на проживающих с ним в вышепоименованном доме двух урядников и жандармского унтер-офицера он, Чернышевский, 15 истекшего июля сего года в 5 часов утра стал ломить у входных дверей замок железными щипцами и при этом кричал на бывших при нём,

урядников, как они смели запереть на ночь входную дверь и кто осмелился приказать им это сделать, произнося при этом, что не приехал ли сюда Государь или Министр или Генерал-губернатор, что урядники осмеливаются запирают дверь во время ночи».

Прямо как в «Горе от ума»:

Ну что? не видишь ты, что он с ума сошел?

Скажи сурьезно:

Безумный! что он тут за чепуху молол!

Но, как и бывает, безумие требует подтверждения, одного свидетеля тут недостаточно. О безумии Гамлета говорил весь двор. А слух о сумасшествии Чацкого, пущенный Софьей, оброс подробностями, развернутыми светским кружком. Так и тут. Почти в одно время с Ижевским, 23 июля 1872 г. составил свой рапорт якутскому губернатору исправник Ф.А. Аммосов. В журнале исходящих бумаг документ назван так: «Его Превосходительству о неблагоприятных поступках Чернышевского с унтер-офицером Ижевским», а близость выражений в рапортах свидетельствует о согласованных действиях их авторов. Исправник в сущности повторял Ижевского, но с добавлением живописных деталей: «...Чернышевский приходит до такого исступления, что требует от него фронта, делает ему угрозы, требует письменные факты, на основании которых он состоит при нем и запирает на ночь на замок дверь, выходную из здания, где они помещены и раз дозволил себе ломать замок у тех дверей». Не удовлетворившись словесным рассказом унтер-офицера, Аммосов лично допросил урядников Готилова и Попова, а также сторожа. Сообщалось, что Чернышевский **«постоянно высказывает ненависть к Ижевскому, требуя от него предъявить ему, Чернышевскому, распоряжение начальства, на основании чего находится при нём Ижевский, и Чернышевский, раздражаясь, приходит до исступления ума (выделено мной. — В.К.)**. Выходки его выказывают желание иметь влияние над всеми здесь имеющими за ним надзор лицами. Что же касается до унтер-офицера Ижевского, то он ничего не позволял себе такого, что бы могло раздражать Чернышевского, кроме исполнения возложенной на него обязанности». В черновике остались зачеркнутыми слова и фразы, которые содержались в рапорте Ижевского, но которые исправник из осторожности или ввиду их явной нелепости не решился-таки вставить в отсылаемый текст: «говорит, что зарезать ему человека ничего не значит», «высказывает, что кроме генерал-

губернатора над ним нет никакой власти», «не всегда бывает в нормальном состоянии ума».

Так что, как видим, автором версии об «умопомешательстве» был не только С. Ижевский, как принято считать, но и Ф. Аммосов.

Получив рапорт исправника, В. П. де Витте в ответном секретном письме от 4 августа 1872 г. запросил, в чем именно проявилось у Чернышевского «исступление ума», так как сообщенные подробности свидетельствовали вовсе не о признаках сумасшествия, а о нервной вспышке, вызванной крайним раздражением (выделено мной. — В.К.). Он потребовал «принять зависящие меры, чтобы представленные к государственному преступнику Чернышевскому лица обращались с ним как только возможно кротко и вежливо и чтобы жандармский унтер-офицер Ижевский, живя с ним в одном доме, сопровождал бы Чернышевского незаметным образом в прогулках и при отлучках из дома, чтобы не раздражать Чернышевского и не придавать ему вида арестанта, а урядникам поставить в обязанность исполнять поручения Чернышевского, если они не будут заключать ничего в себе противозаконного, и чтобы дом, в котором помещается Чернышевский, в продолжение ночи был заперт, при этом, — писал В.П. де Витте, — поставляю вам в непременную обязанность произвести секретное дознание, вследствие каких причин Чернышевский доходит до умоисступления, и не скрывается ли в наблюдающих за ним лицах по каким-либо интригам умысла к несправедливому его оклеветанию, и мне об этом с полною откровенностью донести. В случае же явного сопротивления и непослушания употреблять законные меры для приведения его к повиновению, действуя в сем случае благоразумно и доставляя мне при каждом случае надлежащие сведения о поведении его для доклада Господину Генерал-губернатору Восточной Сибири». Замечу, что в написанной Чернышевским незадолго перед арестом «Апологии сумасшедшего» в 1860 г. (название чадаевское) говорилось о произволе как основе русской жизни. «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами: первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему» (*Чернышевский*, VII, 616). Произвол

объявил Чаадаева сумасшедшим. Но здесь старались мелкие жандармские бесы, а власть понимала, что дальше Вилюйска ссылать уже некуда. «Преступник» и без того был «опушен». Поэтому губернатор был близок к истине, говоря о возможности «несправедливого оклеветания», и вилюйский исправник не мог не почувствовать недоверия своего начальника к посланному рапорту. Донесение было отправлено и графу П.А. Шувалову. Тот прочитал его 7 октября о том, что Чернышевский временами приходит в дикое иступление ума, и граф возможно воспринял это как логическое завершение потребованного императором наказания. Но причина была проста: произвол и самодурство унтер-офицера Ижевского, который ощущал себя хозяином жизни и смерти Чернышевского.

Тем временем начальствующие чины выяснили причину нервной раздражительности своего вилюйского подопечного. Как сообщали Шувалову 18 октября 1872 г., она стала следствием запрета встречам Чернышевского с Шагановым и Николаевым, и далее добавил, что в последнее время Чернышевский живёт спокойно, и здоровье его находится в удовлетворительном состоянии. Но от темы безумия мы пока еще не ушли.

Ежедневные занятия

Строго говоря, безумие ушло, когда окончилось притеснение, когда ему перестали показывать, что он ничего из себя не представляет, обыкновенный заключенный, обыкновенный государственный преступник. В конце 1872 г. приказом от 6 декабря на место С. Ижевского был назначен жандармский унтер-офицер Иван Максимов. Заменены и урядники. С низшим составом охранников Чернышевский, впрочем, никогда не конфликтовал. В мае 1872 г. о Готилове и Попове, не называя их по имени, он писал как о «скромных и добрых сожителях» (*Чернышевский*, XIV, 518). Проблема оставалась только с исправником. Исправник Ф. Аммосов служил до ноября 1873 г., и отношения с ним постоянно оставались напряженными. О положении Чернышевского в последние месяцы 1872 г. вспоминал В.Н. Шаганов: «Жандарм творит ему по возможности пакости, — так, например, зимой начал запирасть острог, когда сам уходил пьествовать с казаком в город, а потом это запираение ввел в систему, именно: стал запирасть острог, когда бывал и дома. <...> Так постоянно, понемногу его переводили на острожное положение, которое потом даже усилилось присылкой военного караула и занятием им сторожевых постов со всех сторон

острога»¹. Только после смены жандарма многое изменилось. У нового жандарма Чернышевский даже начал столоваться. И полковник Купенко стал доволен, замечая в декабре 1873 г., что НГЧ к приставленному надзору кроток и вежлив.

И все равно, как вспоминал Меликов, не любил и враждебно относился Н.Г. к местной администрации. Губернатора Черняева и преосвященного Дионисия, при посещении ими Вилюйска, не принял, не объяснив причин. Общался дружески с якутами. С своим сторожем-жандармом в первое время проделывал невинные шутки. Свыше, т.е. из Питера, было предписано иметь за Чернышевским особо бдительный и в то же время незаметный для него надзор днями. Днем Н.Г. мог ходить свободно даже по окрестностям города. Жандарм должен был иметь за ним неослабный надзор, не упускать его из виду, не давая в то же время Чернышевскому заметить этого. Н.Г., конечно, это заметил или догадывался об этом. Чтобы подшутить над жандармом, Н.Г. отправлялся в соседний лесок; в последнем, как будто бы считая себя вне надзора, подбирал полы пальто и пускался бежать, как бы устраивая побег. Тогда сердце жандарма не выдерживало: он пускался вдогонку за Н.Г. с криком: «Николай Гаврилович, Николай Гаврилович, куда вы? Остановитесь!» Сделав моцион, Н.Г. останавливался и шел шагом, как будто ни в чем не повинный. Эти шутки Н.Г. позволял только в первое время, пока не удостоверился в простосердечии жандарма Щепина и его семейства, пока не приобрел в жене жандарма даровую и терпеливую слушательницу высказываемых им дум и мечтаний, а может быть, и стонов наболевшего сердца. Но это уже был последний год в Вилюйске.

Как же он проводил дни, ночи, недели, месяцы в этой юдоли смерти? Начнем с литературных трудов. Конечно, человек, привыкший жить с пером в руках, не писать не мог, но как вспоминал исправник Кокшарский (из тех исправников, что старались ему облегчить жизнь): «Мне было известно, что Николай Гаврилович в продолжение зимних ночей что-то писал, а под утро написанное сжигал. Однажды я спросил его, для чего он это делает. Он мне ответил: “Да вам это известно? Ну, тогда я вам скажу, для чего я это делаю: **если бы все это время я ничего не писал, то я мог бы сойти с ума** (выделено мною. — В.К.) или все позабыть, а то, что я раз написал, этого уже не забуду, и вам советую, моло-

¹ Шаганов В.Н. Н.Г. Чернышевский на каторге и в ссылке // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 45.

дой человек, если вы что-либо хотите сохранить в своей памяти, то напишите это, а затем хоть выбросьте”. Этим благим советом я постоянно пользовался в дальнейшей моей службе. **Во время содержания в тюрьме** (т.е. вилюйском остроге. — *В.К.*) **Николаю Гавриловичу был воспрещен всякий литературный труд** (выделяю эти слова. — *В.К.*)»¹. Силлогизм отсюда следует простой. Чаадаева объявили сумасшедшим, а Чернышевского и впрямь хотели свести с ума!!!

Жандармы по возможности старались превратить его жизнь в кошмар, чтобы путь на Голгофу (после казни!) был продолжением казни. Кокшарский случайно присутствовал при отчаянии, почти рыдании Чернышевского, когда высокий жандармский чин навязывал ему стиль жизни в его камере: «Зачем вы хотите убить меня медленной смертью? Лучше повесьте, вы способны на это!»² Эта незащитность интеллигента перед хамством власти заставляет сжиматься сердце. Не случайно Чернышевский враждебно относился к местной администрации, не принял губернатора Черняева и преосвященного Дионисия. Единственное, что было разрешено — это гулять в вилюйских лесах, ибо, как справедливо полагали жандармы, побег из Вилюйска был почти немислим, благодаря тяжелому положению города, дикому климату и лесному пространству, редко населенному инородцами, языка которых (якутского) Чернышевский не знал. Он был в нормальных отношениях с мелкими чинами, и не потому, что видел возможность их пропагандирования, просто он мог хотя бы в быту быть с ними на равных. Особенно с якутами. Короленко вспоминал, как якуты изображали Чернышевского, больше жестами. Вот идет «тойон гуляй» (исправник или другое начальство), а Чернышевский (тут якут изображал на лице презрение) проходит мимо. А тут «Гуляй бедный сахалы» (идет бедный якут), Чернышевский улыбается и долго трясет ему руку.

С писанием дело обстояло не лучшим образом, и философ, привыкший к сидячей жизни, в Вилюйске много гулял, ходил собирал грибы, отдавал их жене жандарма, поскольку сам не очень разбирался. Он и в Саратове умудрился быть городским человеком, несмотря на дедов-священников, посещавших разбойничьи урочища, тем более стал городским в Питере. И один раз он заплутался в Вилюйских лесах. Пошел в лес за грибами и заблудился. Нашли его на другой день в лесу верст за пятнадцать

¹ *Кокшарский А.Г.* Мои воспоминания // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 237.

² *Кокшарский А.Г.* Мои воспоминания. С. 236.

от города, утомленного и голодного. Мог погибнуть, но судьба зачем-то его хранила. Опять же из воспоминаний, характерных, мне кажется. Все же мечтал о цивилизации. Вилюйск был заболочен. И вот Чернышевский любил копать рвы и осушил рвами множество болотных мест, сделав их годными к сенокосению для якут. Якуты долго называли эти рвы и места «Николиными». Видимо, физическая постоянная работа, движение, да и волжское происхождение держали его в физическом тонусе. Как рассказывали якуты: «Чернышевский был очень здоров. Сильный был, очень сильный. Раз как-то разыскал и притащил в тюрьму два камня и говорит пришедшим к нему в гости якутам: — “А ну! подымите-ка, братцы, кто-нибудь хоть один из камней!” — Многие брались, не могли поднять камня с земли. А Чернышевский взял оба камня, обошел с ними три раза весь двор и говорит якутам: “Эх вы! а еще молодые! Я старик, и то поднял!”»¹

Сегодняшнему читателю, привыкшему к фотографиям очкарика, на которых Чернышевский выглядит узкоплечим хилым книжным слабаком, трудно вообразить эту невероятную силу человека, десяток лет к этому времени проведенному в заключении. Но если бы не было этой силы, он бы вряд ли выжил.

А писать — все равно писал. И это, наверно, больше всего давало силы на жизнь. Как пишет А.А. Демченко, по приезде в Вилюйск Чернышевский не сразу принялся за продолжение беллетристических сочинений, которыми был занят последние годы. В.Н. Шаганов, побывавший у него с П.Ф. Николаевым в конце апреля 1872 г., засвидетельствовал, что писать еще не начал. Он говорил, что услышавши о приезде к нему жандармского офицера, он предполагал обыск и потому уничтожил свои рукописи, о чем, особенно об уничтожении «Рассказов из Белого Зала», он, очевидно, очень сожалел.

В октябре 1872 г. он обращается к князю Голицыну, адъютанту генерал-губернатора Синельникова, с просьбой, не разрешат ли ему списаться в Петербурге, чтобы ему присылали книг для переводов, и эти переводы он мог бы отсылать в Петербург. Голицын категорически заявил, что это желание Чернышевского не будет удовлетворено. Жестокость необъяснимая, абсолютно жандармская, в духе императора.

Следующий случай вновь заявить о своем желании получить выход в печать представился через год в связи с приездом полковника Купенко. В передаче жандарма слова

¹ *Короленко В.Г.* Случайные заметки // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 219–220.

Чернышевского о воспрещении печататься звучали так: Это единственный источник моей семьи, которую я обязан поддерживать своим трудом. Рапорт полковника содержит также ценное для биографа сообщение о литературных занятиях писателя. «При втором моем посещении, — писал Купенко, — Чернышевский заявил, что время он проводит в чтении и письме, излагая на бумагу сюжеты своих литературных трудов, и когда они укрепятся в его памяти, то уничтожает их. Сначала он написал до 15 романов, а теперь пишет очерки из всеобщей истории человечества». Романы — конечно, результат труда за все время пребывания в Сибири. А об очерках умолчать было невозможно, поскольку полковник изъял эти рукописи при обыске. К рапорту были приложены, кроме «а) Акта обыска в помещении Чернышевского», «б) 12-ть листов его рукописей в) Тетрадь переписанных рукописей». В «Акте» заявлено: «Бумаги, писанные рукою Чернышевского, по краткости времени и неразборчивости его почерка, при обыске не прочтены, а в числе двенадцати отрывков отобраны и припечатаны»⁵. Эти двенадцать листов автографов не сохранились в жандармском деле, а оставшиеся здесь копии, выполненные тогда же в Вилюйске, включают три варианта «Очерков содержания всеобщей истории человечества», отрывки под названием «Рассказы А.М. Левицкого» (См.: XIII, 884–885) и текст стихотворения, начинавшегося строками «Песня битвы с Газдрубалом, песня стонов и мольбы...» Сохранение «Рассказов А.М. Левицкого» показывает, что автор не оставлял мысли завершить роман «Пролог», в который составной частью входила повесть о Левицком. «Песня битвы с Газдрубалом...» — отрывок одного из вариантов поэмы «Гимн Деве Неба», посланной, как увидим ниже, в полном виде редактору «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичу в 1875 г. Начало работы над этим произведением, следовательно, относится к 1873 г. «Очерки содержания всеобщей истории человечества» представлены лишь вариантами «Предисловия», объясняющего цели и задачи труда.

Чернышевский писал императору уже из Вилюйска (1879), прося справедливости к семейству старообрядцев, незаслуженно, на его взгляд, загнанных за Вилюй: «Каковы бы ни были мои политические мнения, но смею сказать о себе, что я не обманщик» (*Чернышевский*, X, 518). Ничего не получилось. Император боялся независимого ума, не регламентированных церковью религиозных исканий больше всего на свете (все это из разряда независимого ума, что принять он не мог). Александр Николаевич, если называть все своими именами, был вынужден прове-

сти реформы, чтобы уцелеть, опасаясь возможного бунта, о чем предупреждал его отец император Николай, но по характеру, «по жизни», как сейчас говорят, он был законченный мерзавец, на совести которого беспощадное подавление польского восстания, десятки сосланных на каторгу, десятки повешенных и, конечно, главная его мистическая ошибка, в которой сказалась вся мелочность его характера, это бессрочная тюрьма для абсолютно невиновного человека. У нас пишут о его благородстве всякие другие Александры Николаевичи, интеллектуальные прилипалы и воры. Но дело даже не в отсутствии благородства, а в отсутствии геополитического размаха. Он подавил Польшу (чтобы не смела идти против власти, но не понимая имперской задачи страны), продал за малые деньги Аляску, продал Курильские острова и побоялся разрешить великому полководцу, герою Плевны, «белому генералу» Скобелеву взять Стамбул, когда тот стоял уже у ворот турецкой столицы. А сколько проблем для империи было бы решено в будущем! А потом таинственная смерть Скобелева, в котором он увидел возможного претендента на власть. Как некогда был убит по приказу Василия Шуйского большой полководец Скопин-Шуйский, только что спасший Россию от казачьего разбоя. Это Россия тоже до сих пор расхлебывает.

Расхлебывает Россия и отказ от реформ, к которым звал Чернышевский. Возможно, миновала бы страна и все революции, проведи император вовремя реформы.

Ходатайства и попытки освобождения

Император не желал понимать, кого он лишается, загоняя Чернышевского в болота Вилюйска. Но понимали русские интеллектуалы. Хотя бы переводы разрешили! Пыпин ходатайствовал перед Третьим отделением о разрешении «хотя переводных работ». Сенатор К.Г. Репинский (бывший соученик Г.И. Чернышевского по Пензенской духовной семинарии, которому отец НГЧ уступил свое место сподвижника Сперанского) не остался равнодушен к судьбе сына друга детства и 22 октября 1877 г. подал свое ходатайство на имя шефа жандармов (всего-то — разрешить переводы!). 26 ноября пришел ответ, что положение семейства Чернышевского не может быть облегчено тем способом, к которому Вы изволили придти... Опять можно повторить: ничем не оправданная тупая жандармская жестокость. Но дело было не только в жандармах.

Ходатайства шли, и от людей достаточно чиновных, но злопамятность императора к человеку, который не умел

кланяться, была поразительна. Сошлюсь на подборку этих ходатайств в книге Демченко. Самая крупная акция в защиту Чернышевского была предпринята главой Восточносибирской администрации Н.П. Синельниковым, тем самым, который посетил Чернышевского в Александровском заводе и разрешил ему отправлять письма домой раз в месяц, то есть втрое чаще, чем полагалось по действовавшим постановлениям. 27 февраля 1873 г., когда решалась судьба Г.А. Лопатина, генерал, проникшись доверием к подследственному, направил министру внутренних дел ходатайство с предложением прекратить дело Лопатина и «облегчить несколько участь Чернышевского, переведя его на жительство в Якутск под особенный надзор полиции». Министр А.Е. Тимашев немедленно соотнесся с Третьим отделением, и 11 марта шеф жандармов П.А. Шувалов ответил: «Я нахожу, что положение находящегося в г. Вилюйске Николая Чернышевского не должно быть изменяемо». Затем состоялся доклад Александру II (исследователи утверждают, что царь «не соизволил ответить» на ходатайство Н.П. Синельникова), и 8 апреля 1873 г. последовала Высочайшая резолюция: «Оставить в том же положении в г. Вилюйске». Императорским повелением перекрывались все пути и для каких бы то ни было ходатайств в ближайшее время.

И всё же в начале 1874 г. сын НГЧ Александр Чернышевский известил Ольгу Сократовну, находившуюся в Саратове, об открывшейся новой возможности. 7 февраля он писал, что «некоторые хорошо к нам расположенные люди» советуют в данное время («и именно в данное») обратиться в комиссию прошений «для улучшения участи Папаши». Он прислал два заранее составленных текста – прошение на имя Александра II и аналогичную докладную записку на имя П.А. Шувалова. В подготовке документов принимал самое близкое участие А.Н. Пыпин. О.С. Чернышевская тут же переписала и отправила в Петербург оба прошения, но сыну написала абсолютно трагическое письмо, полное самой черной безнадежности: «Для вас обоих я сделаю то, что вы хотите. Но знайте, что это будет сделано против моего и наверное против желания вашего отца. Я никогда не ждала ничего для Н.Г. Я знала, что его сбгоят там. Для чего же кланяться? Всё это напрасно! Ничего не будет лучше. **Я в настоящее время нахожусь в таком состоянии, что готова Бог знает, что с собою сделать. Самое лучшее, что могли бы мы все сделать – это умереть! Фамилия Чернышевского проклята Богом! Её следует стереть с лица земли как можно скорее!..** (выделено мною – В.К.)» Письмо сына пришло в момент, когда Ольга Со-

кратовна недомогаала, сильно хандрила и находилась в самом дурном расположении духа. Она оказалась права, предрекая неудачу. Прощение на монаршее имя сопровождается пометой: «Оставить. 27 февраля»¹. Она была при всех ее непростых отношениях с мужем (я имею в виду женскую, эротическую сторону их отношений) женщиной смелой и умной. Да и письма мужа ее держали.

Письма поразительные. Это была любовь, которая его держала. «Единственная моя привязанность к жизни — это любовь моя к тебе», «живу исключительно мыслями о тебе, моя радость» (*Чернышевский*, XIV, 509, 570). Такое не придумаешь. Повторю то, что знают специалисты, но что скорее всего будет неожиданностью для публики. Ежегодно он отмечал лишь два праздника — ее день рождения (15 марта) и ее день именин (11 июля), отмечая единственно доступным ему способом — письмом «милой голубочке». И дни эти приобрели в его сознании особое значение не только в Сибири — они стали такими с того времени, когда Ольга Сократовна вошла в его жизнь. Не случайно же роман «Что делать?» начинается с события, имеющего точную дату — 11 июля.

Он безусловно был настоящим однолюбом. Как писал Маяковский:

*Я счет не веду неделям.
Мы, хранимые в рамках времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.*

Это, конечно, прежде всего про Чернышевского. «Я люблю тебя, — писал он в апреле 1883 г., приготовившись к вилюйскому вечному плену. — Помни, что любил я тебя одну и что ни одна из всех других виденных мною женщин не могла бы быть любима мною, если б я и никогда не видывал тебя» (XV, 393). Обречённый жить вдали от любимой он имел возможность аналитически размышлять по поводу своей удивительной привязанности именно к этой женщине, и это придавало его словам трезвую взвешенность, продуманность, не зависимую от вызванных длительной разлукой эмоций. Даже свою любовь к детям он объяснял сквозь призму любви к жене. «Она несравненно дороже для меня, чем даже наши с нею дети; мысль о ее пользе была для меня главной», —

¹ См.: *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть четвертая. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1994. С. 173–174.

объяснял он чуть позже А.Н. Пыпину (XIV, 601). А самой Ольге Сократовне писал: «Извини, в моем сердце очень мало места для личной любви к кому-нибудь, кроме тебя: все занято тобой, мое сердце. И моя любовь к детям — это лишь отражение твоей любви к ним». И в том же письме уверенно повторил, признавая необычность подобной силы преданности: «...Я люблю лишь тебя. Кроме любви к тебе, личных привязанностей у меня нет с того времени, как я познакомился с тобою. Когда-нибудь я поговорю о моем странном — действительно странном — чувстве моем к тебе» (XIV, 278, 279). Всепоглощающая любовь водила его пером, когда он писал: «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя» (XIV, 500).

Но были другие попытки. Попытки организовать бегство Чернышевского. Н.А. Троицкий насчитал восемь попыток освобождения НГЧ (см.: «Вопросы истории». 1978. № 7. С. 122–141). Начались эти попытки еще с середины 60-х годов, но были, так сказать, любительские, не профессиональные, просто горячее желание молодежи. Но известны две наиболее серьезные, хотя и неудачные — Г.А. Лопатина и последняя, в 1875 г., — И.Н. Мышкина, народника и революционера. Мышкин почти добрался до места, но зоркость караульного, заметившего у жандармского офицера неверно пристегнутый аксельбант, остановила попытку. Мышкин, отстреливаясь, бежал в тайгу, но через два дня был схвачен и закончил свои дни в Шлиссельбурге. Понимая, что жена более его знает о разных слухах и попытках его уюза, он пишет ей: «И даю тебе, мой друг, — писал он, — честное слово: не уеду отсюда никаким другим способом, как тот, которым приехал сюда» (*Чернышевский*, XIV, 553). То же повторил он год спустя после разговора с приехавшим в Вилюйск с инспекционной проверкой В.П. де Витте, которого временно замещал А. Юрьев. «Даю тебе честное слово, — писал Чернышевский жене 25 января 1875 г., — что не поеду отсюда иначе, как обыкновенным, ни от кого никак не скрываемым, спокойным способом, с соблюдением всех форм и правил» (*Чернышевский*, XIV, 583). Надо сказать, он и вправду не хотел бегства. В 1883 г., незадолго до перевода его в Астрахань, он говорил Д.И. Мелихову, чиновнику особых поручений, который нормально пытался общаться с Чернышевским: «Вот тоже вздумали: Мышкин приезжал освобождать меня. Для чего это? Неужели они надеялись, что я соглашусь на побег? Этого никогда не могло быть»¹.

¹ Мелихов Д.И. Три дня с Н.Г. Чернышевским // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 248.

Он хотел не бегства, не просьбы униженной о помиловании, а освобождения на законном правовом основании. Да и мстительных чувств к убитому самодержцу не питал. Как написал генерал Новицкий: «Бог, в неизреченном милосердии всепрощающий, конечно, простит и инкриминаторов, погубивших Чернышевского. Вероятно, еще при жизни своей он простил их и сам, сказав, по своему обыкновению: “Ну, что же тут делать-с? все это в порядке вещей...”». Но потомство, но история, — хочется крепко верить, — не простит этим людям никогда!..»¹

Письма жены приводили его в состояние сильного возбуждения. «За одну ночь, бывало, столько перемен бывает с ним! То он поет, то танцует, то хохочет вслух, громко, то говорит сам с собой, то плачет навзрыд! Горько плачет, громко эдак! Особенно плачет, бывало, после получения писем от семьи. Говорили, что он жену свою очень любил; он сам рассказывал про детей своих. <...> После таких ночей так расстроится, бывало, что не выходит из своей комнаты, печален, ни с кем не говорит ни слова, запрётся и сидит безвыходно»², — приводит воспоминания жены жандарма Щепина В.Г. Короленко.

Но видите ли, в чем же я должен просить помилования?!

Вернуться в европейскую часть России, к семье, к журнальному труду он, разумеется, хотел. Но — поразительное дело — никаких униженных просьб! Он требовал каждый раз лишь справедливости, пытаюсь — безуспешно — хоть на маленьком пространстве создать правовое поле в России.

И здесь мы подходим к очень важному вилюйскому эпизоду. Который на все лады пересказывают авторы работ о Чернышевском. Ему вдруг предложили подать прошение о помиловании. Вряд ли это было решение императора, но, очевидно, самодержец не возражал. Своего рода проверка на силу духа. Бакунин ведь запросил пардону. Позиция и ответ Чернышевского, думаю, только укрепили неприязнь к нему императора. Но по порядку. Это история, рассказанная адъютантом генерал-губернатора Восточной Сибири Григорием Васильевичем Винниковым, и дошедшая до нас в почти дословном изложении военного врача и бытописателя Владимира Яковлевича Кокосова, который писал

¹ Новицкий Н.Д. Из далекого минувшего // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 171–172.

² Короленко В.Г. Случайные заметки. С. 218.

так: «Веря ему безусловно, я передаю то, что он рассказывал в присутствии своей жены.

— Состоя адъютантом генерал-губернатора Синельникова с 1871 года, я исполнял разные поручения и кое-что могу рассказать вам и о Чернышевском. По правде сказать, замечательнейшая выдающаяся личность погибла в его лице для России, а главное, погибла, как говорится, “ни за грош, ни за копейку”... Впрочем, для нас, россиян, это дело привычно: лучшее ссылаем, худшее вставляем на развод... В 1874 году генерал-губернатором была получена из Петербурга бумага приблизительно такого содержания: **“Если государственный преступник Чернышевский подаст прошение о помиловании, то он может надеяться на освобождение его из Вилюйска, а со временем и на возвращение на родину** (выделено мною. — *В.К.*)”. На меня, как адъютанта, пал выбор для исполнения поручения: я должен был предложить Чернышевскому условия, при исполнении которых он может рассчитывать на известные льготы. Для отвода глаз мне дано было открытое поручение до Вилюйска включительно обревизовать волостные правления, полицейские управления и земских заседателей. “Я прошу вас и надеюсь, — сказал генерал-губернатор, — что главное поручение будет исполнено вами осторожно и деликатно; вы обязаны доставить мне от Чернышевского положительный документальный ответ в ту или другую сторону”.

Чернышевский был привезен на каторгу, в Нерчинский завод, при генерал-губернаторе Корсакове, а после окончания им срока каторжных работ отвезен в Вилюйск до моего приезда в Иркутск на службу, при временном генерал-губернаторстве Шелашникова, так сказать, в междуцарствие. Переживая сам освобождение крестьян и подготовительный освободительный период после севастопольского погрома, я был большой поклонник направления “Современника”, в особенности поражался статьями Чернышевского по крестьянскому вопросу, его здравым смыслом в понимании вопроса и той проникновенностью в будущее, которое в них сквозило в каждом слове.

По моему мнению, он один обнаруживал вполне верное понимание капитальнейшего государственного вопроса. Это был великий логический ум, с выводами которого, как бы ни был предубежден человек, не согласиться было нельзя, если только не отсутствовало в голове всякое понимание разумной речи. У меня и посейчас — уже старика, — больше чем через тридцать лет его невольного молчания, хранятся переплетенными в особые книги его статьи из “Современника”, какие только мне

удалось читать и сохранить. Перечитывая их под старость, удивляюсь светлому уму этого человека, его прозорливости, прямо пророчеству в отношении крестьянства... Понятно, с какой радостью и готовностью в те мои годы я ухватился за предложенную мне командировку в Вилюйск, тем более что лично Чернышевского я никогда не видел и не сталкивался с ним. Я знал, как и многие тогда, что он был арестован в 1862 году по какому-то анонимному доносу, около двух лет до решения сената сидел в Петропавловской крепости, во время заключения в которой написал роман “Что делать?”; знал также, что в 1864 году он сослан был в каторжную работу.

Как бывший личный адъютант генерал-губернатора, я был знаком отчасти и с перепиской о Чернышевском с Петербургом, с разными запросами по его поводу, с аттестациями вилюйского исправника. Вилюйский исправник аттестовал его в таких словах, конечно, я ручаюсь только за смысл их, а не за подлинные выражения: “Миролюбив, скромн, любит уединение; гуляет нередко по недалеким окрестностям, занимается физической работой — копанием гряд, канав; большая склонность к чтению книг, которые получает с почтой (после просмотра), склонен к письмоводству; редко оставляет надолго свое помещение, ни с кем особенного знакомства не ведет, и у него посетители редки”. Из этих исправничьих аттестаций составлялись особые донесения в Петербург, с присовокуплением заключений генерал-губернатора, которые были всегда для Чернышевского благоприятны. В его ссылке в Вилюйск, после окончания им срока каторжных работ, была большая несправедливость: ссылка эта может вполне считаться продолжением каторжных работ, то есть увеличением каторжного срока на неопределенное время, уже без всякого суда. По существующим узаконениям в Якутскую область посылаются на поселение, после окончания каторжных работ, только уроженцы Сибири, все же российские уроженцы поселяются в Забайкальской области, с припиской к какому-либо крестьянскому обществу. Ссылку Чернышевского в Вилюйск можно считать продолжением каторжной работы еще и потому, что он не был поселен в каком-либо обществе, содержался в отдельном острожке-тюрьме и под постоянным караулом с единственным для него правом, в отличие от каторги, — делать лишних пятьсот шагов от тюрьмы по окрестностям... <...> Вы поймете, с каким настроением я прибыл в Вилюйск, обревизовав по дороге все, что полагалось для отвода глаз по инструкции. Обревизовав вилюйского исправника, я заявил ему, что мне дано поручение “опросить претензию” у государ-

ственного преступника Чернышевского и, понятно, ему, как непосредственному его начальнику, при опросе претензии быть не полагается. Я поехал один в острожек, где содержался Чернышевский: дело было летом (зимняя поездка в Якутск или Вилюйск — вещь не совсем приятная). В острожке я не застал Чернышевского, жандарм указал мне в сторону озера, недалеко от острожка, прибавив, что “арестант гулять вышел, это он делает ежедневно”, — было это часа в два. Я увидел Чернышевского сидевшим на скамеечке, лицом к озеру, в сером одеянии, с открытой головой. Я подошел к нему и представился, проговорив, что мне, между прочим, поручено генерал-губернатором спросить вас: “Все ли вы довольны? Не имеете ли претензий?” Он встал со скамейки, быстро оглядел меня сквозь очки с ног до головы, оглядел, не торопясь, самого себя, нагнув при этом голову. Затем, приподняв ее, он проговорил: “Благодарю вас! кажется, всем доволен и претензий не имею”. Я попросил его сесть, сел и сам рядом, проговорив, что мне еще нужно поговорить с ним по одному важному обстоятельству. Он сел просто, непринужденно, без всякого видимого интереса на сухощавом, бледно-желтоватом лице, поглаживая рукой свою клинообразную бородку, глядя на меня через очки невозмутимо спокойно. При этом я заметил его откиннутые назад полосы, морщины на широком, загоревшем лбу, морщины на щеках и сравнительно белую руку, которою он поглаживал бороду. Я приступил прямо к делу: “Николай Гаврилович! Я послан в Вилюйск с специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам... Вот не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону”. И я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть, с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая на ноги, сказал: “Благодарю. Но видите ли, в чем же я должен просить помилования?! Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования?! Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь...”

По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном.

— Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?!

— Положительно отказываюсь! — И он смотрел на меня просто и спокойно.

— Буду просить вас, Николай Гаврилович, — начал я снова, — дать мне доказательство, что я вам предъявил поручение генерал-губернатора...

– Расписаться в прочтении? – закончил он вопросом.

– Да, да, расписаться...

– С готовностью! – И мы пошли в его камеру, в которой стоял стол с книгами, кровать и, кажется, кое-что из мебели. Он присел к столу и написал на бумаге четким почерком: “Читал, от подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский”.

– Да, голубчик! – увидеть-то я тогда Чернышевского увидел и говорил с ним с глазу на глаз, а уезжая от него, мне сделалось стыдно за себя, а может быть, что и другое... А знаете ли? – подумав, закончил полковник свой рассказ, – попытка Мышкина к его увозу, от которой, как говорят, он отказался наотрез, на много лет затормозила его возвращение в Россию...»¹

* * *

Честь и достоинство русского европейца были непоколебимы. Ломаться и приспосабливаться он не умел. Он мог погибнуть, но не мог изменить себе.

¹ Кокосов В.Я. К воспоминаниям о Н.Г. Чернышевском // Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 359–363.

Интермедия

После 1875 г., когда сорвалась миссия Винникова, точнее императора, рассчитывавшего, видимо сломать Чернышевского и заставить его просить помилования, тогда же прекратились и попытки его освобождения радикалами. Больше пяти лет практически никаких известий о жизни вилюйского узника не доходило до общества. Зарубежная радикальная пресса писала о неудачах Лопатина и Мышкина. Но любопытно, что рассказ об этой последней неудаче (№ 23 газеты «Вперед») заключался такими словами: «Говорят, что при этой истории Чернышевский заявил, что увезти его помимо его воли немислимо, и что напрасно его блажелатели губят себя задаром, ибо он твердо решил не бежать, так как он убежден, что должен же наступить когда-нибудь тот день, когда правительство сознает необходимым исправить сделанную им по отношению к нему несправедливость, или когда, по крайней мере, перестанут осыпать его мерами строгости, ничем не вызванными с его стороны и составляющими совершенно произвольное, ничем не оправдываемое вопиющее отягчение состоявшегося над ним приговора, как бы ни был несправедлив и суров этот последний»¹. Это заявление, по словам корреспондента, не предупредило новых мер строгости, но обозначило очень внятную позицию узника. Эта позиция в очередной раз напоминает речь Сократа, на сей раз в «Критоне» Платона, то есть того божественного учителя, которого он чтит наравне с Евангелием: «Вот ты и смотри теперь: уходя отсюда без согласия города, не причиняем ли мы этим зло кому-нибудь, и если причиняем, то не тем ли, кому всего менее можно его причинять? И исполняем ли мы то, что признали справедливым, или нет?»

Критон. Я не могу отвечать на твой вопрос, Сократ: я этого не понимаю.

¹ *Клевенский М. Н. Г.* Чернышевский в нелегальной литературе 60–80-х годов // Том 25/26: Литературное наследство / [Обл. работы И. Ф. Рерберга]. – М.: Жур.-газ. объединение, 1936. С. 559.

Сократ. Ну так посмотри вот на Речь Законов: что если бы, в то время как мы собирались бы удрать отсюда — или как бы это там ни называлось, — если бы в это самое время пришли сюда Законы и Государство и, заступив нам дорогу, спросили: “Скажи-ка нам, Сократ, что это ты задумал делать? Не задумал ли ты этим самым делом, к которому приступаешь, погубить и нас, Законы, и все Государство, насколько это от тебя зависит? Или тебе кажется, что еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по воле частных лиц становятся недействительными и уничтожаются?”»¹

«Элпидин в предисловии к V тому тамиздатовского собрания Чернышевского (1879) писал, будто бы шеф жандармов граф Шувалов настоял в Государственном совете, чтобы все законы о смягчении миновали Чернышевского. Элпидин умозаключает: “Царь, поправ ногами свои законы, обычай освобождать заключенных по случаю царских радостей, родин и свадеб, согласился на требования жандарма и этим самым подписал себе свой собственный приговор». Здесь Элпидиным, конечно, руководила мысль побудить царя к помилованию Чернышевского путем устрашения его смертью”»².

Но так и получилось.

Царь через год был убит.

Любопытно и другое, что отсутствие информации к уже имевшемуся мифу добавляло новые детали, словно бы продолжалась дуэль между императором и Чернышевским. Причем один, заключенный, не хотел дуэли, зато император словно провоцировал нападение сторонников Чернышевского, которые давно уже забыли его идеи. Помнили только дикую несправедливость власти по отношению к нему. В «Набате» 1879 г. о Чернышевском заговорил эмигрант П.Ф. Алисов в статье «Александр II Освободитель». Он писал: «Самое крупное умственное убийство, самое позорное злодеяние Александра II — ссылка на каторгу Н.Г. Чернышевского. <...> Нужно было расправиться сурово, по-азиатски с личностью писателя, смеющего жить глубоко-самостоятельно умственной жизнью!» Рассказ о средствах, к которым прибегло правительство относительно Чернышевского, и об его страданиях Алисов заключает словами: «У кого тлеет хоть искра души, поймет, что вынес этот невинный мученик, с

¹ Платон. Критон // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С.105–106.

² Клевенский М. Н.Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60–80-х годов // Том 25/26: Литературное наследство / [Обл. работы И.Ф. Рерберга]. — М.: Жур.-газ. объединение, 1936. С. 565.

громкими умственными потребностями, с жадной жизни и деятельности 16 лет захлопнутый в своем каменном гробу! Есть нравственные страдания до того ужасные, что перед ними тускнеет распятие, прокатывание на гвоздях кажется отдыхом»¹. Здесь и сравнение с распятием (именно после казни – шло распятие) и даже рахметовские гвозди всплыли.

В 1874 г. Некрасов написал знаменитое стихотворение «Пророк». Может, как уверяли в советские времена, надо было бы поставить имя «Чернышевский». Но смысл был ясен: речь шла о пророке, который пришел сказать народу о его недостатках. Ведь Христос тоже принадлежал именно к роду пророков. Причем, что замечательно, он не называет Чернышевского Христом, это было бы кощунственно. Христом называет себя именно антихрист. А речь может идти, как писал еще средневековый теолог Фома Кемпийский, лишь о подражании Христу.

Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он – и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет – он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Именно об этом и пишет Некрасов. «Напомнить о Христе!», именно напомнить, не стать Христом, а напомнить о том, как он жил и умер. Иногда читался вариант: «Царям земли», но для

¹ *Клевенский М. Н. Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60–80-х годов // Том 25/26: Литературное наследство / [Обл. работы И. Ф. Рерберга]. – М.: Жур.-газ. объединение, 1936. С. 562.*

Христа цари — не отличаются от рабов, а если и отличаются, то в худшую сторону — мелочностью, мстительностью, самодовольством, не критичностью по отношению к себе, более того, принятием на себя едва ли не божественных функций хозяина над жизнью и смертью, опираясь не на право, не на Закон, а только на собственное хотение. В 1880 г. исполнилось 25-летие царствования Александра II. Н.А. Белоголовый в статье «Характеристика 25-летия» («Общее Дело», 1880, № 33—34) говоря об отношении Александра II к науке и литературе, особо остановился на судьбе Чернышевского. «Без сомнения, это был самый замечательный человек в лучшем значении слава настоящего царствования — и какая же участь постигла эту громадную нравственную силу?» Своею участью Чернышевский обязан, по словам Белоголового, исключительно какой-то личной ненависти к нему царя, который при двух амнистиях собственноручно вычеркивал его имя из общего списка. «...Декабристы не выносили и десятой доли тех преследований, которые достались в удел Чернышевскому, а декабристы покушались на свержение с престола и самую жизнь Николая. Чернышевский, сколько известно, не был активным политическим агитатором, не принимал участия ни в каком заговоре; неужели какое-нибудь острое слово, едкая насмешка над личностью помазанника в состоянии были так раздражить последнего и его мелкое самолюбие, что он в течение 20 лет не перестает преследовать несчастного? Невероятно, но едва ли это не так»¹. Не политический агитатор, не революционер, не заговорщик — что же за насмешка раздражила «помазанника»?

Очевидно то, что взял на себя смелость требовать от самодержца (а это дерзость) законного над собой суда, выхода России из неправового пространства. Этот выход должен и его освободить. Именно об этом говорили все юристы, что уже лет через пятьдесят Чернышевский не получил бы даже административного взыскания.

Тут мы сталкиваемся с двумя мистическими событиями. Публика знала, что Чернышевский отправлен императором в Вилуюск на медленную смерть, а поскольку известия не приходили никакие, миф разрастался и приобретал вполне мистическую наполненность. Чернышевский был вполне жив, **но 24 февраля 1880 г.**, в Нью-Йорке, по просьбе неизвестного русского, священник нью-йоркской православной церкви Н. Биерринг отслужил па-

¹ Клевенский М. Н.Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60–80-х годов // Том 25/26: Литературное наследство / [Обл. работы И.Ф. Рерберга]. — М.: Жур.-газ. объединение, 1936. С. 567.

нихиду по «рабе Божиим Николае», умершем «родственнике» просителя. На следующий же день в нью-йоркских газетах «The Sun» и «Evening Mail» было напечатано описание панихиды «в память Николая Чернышевского, великого русского нигилиста-писателя», известие о смерти которого появилось в это время в западноевропейской прессе. Автор анонимной статьи писал об исключительном влиянии Чернышевского, о его исключительном влиянии в России, о жестоком преследовании его правительством, ссылке в Сибирь и преждевременной смерти.

Перепуганный священник тут же сотворил «ДОНЕСЕНИЕ СВЯЩЕННИКА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В НЬЮ-ЙОРКЕ Н. БИЕРРИНГА ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМУ ЧЛЕНУ СИНОДА, ПЕТЕРБУРГСКОМУ МИТРОПОЛИТУ ИСИДОРУ», в котором умудрился связать смерть Чернышевского с покушениями на императора: «Злодейские ухищрения врагов русского престола и православной церкви, проявившиеся в ряде святотатственных покушений на драгоценную жизнь помазанника божия, возлюбленного монарха русской земли, простирают свои пагубные сети и на церковь божию, усиливаясь осквернить ее святыню. В воскресенье, 24 февраля, после обычной литургии один бедно одетый русский человек с печалью на лице попросил отслужить панихиду по “его родственнике, новопреставленном рабе божиим Николае, скончавшемся в России”, как он заявлял. Видя его убожество и печаль, я тотчас же поспешил отслужить панихиду для его религиозного утешения, не справляясь о звании и фамилии новопреставленного. Каков же был мой ужас и мое негодование, когда на следующий день я прочитал в здешней, враждебной России газете “The Sun” следующую статью “Панихида отца Биерринга в память Николая Чернышевского”. <...> Смерть Чернышевского последовала в минувшем январе месяце в маленькой сибирской деревне, на самой далекой окраине этой далекой страны. Он был осужден на четырнадцатилетнюю каторжную работу по обвинению в распространении книг и брошюр против деспотизма царя. В течение этих четырнадцати лет он принужден был работать в цепях в приисках и был подвергаем жестокостям, которые даже там считались необычными. По истечении срока его наказания слабое телосложение этого знаменитого русского республиканского писателя совершенно расстроилось, и смерть скоро пришла для его освобождения. Настоящий царь имел особенное отвращение к Чернышевскому, за что так же относились и к нему многочисленные русские, которые во взглядах сходились с покойным. Богослужение, которое было вчера совершено в

память его отцом Биеррингом и которое по всей сущности есть панихида по русскому обряду, было трогательно и торжественно, особенно в местах, где говорилось о слезах, пролитых над умершим, о причислении его к святым в раю и о вечной памяти, которая будет о нем у людей»¹.

А еще есть такая простая, но беспощадная вещь, как зависть к популярности в общественном сознании, зависть, от которой не свободны даже монархи. Николай II завидовал Столыпину и сдал его террористам, а Александр II бесился от популярности Чернышевского и пытался сгноить его среди болот Вилюйска. Был еще владыка общественного мнения, который не мог побороть в себе двусмысленного отношения к несчастному каторжнику. Эта зависть проявляется просто. Громадные денежные затруднения заставили инициаторов собрания сочинений Чернышевского обратиться с просьбой о поддержке к издателям «Колокола» и «Народного дела»; однако ответа они не получили. Автор говорит, что у Чернышевского много врагов; из них на первое место следует поставить русское правительство и издателей «Колокола». Со стороны последних ненависть к Чернышевскому объясняется тем, что Чернышевский ушел далеко вперед их по своим взглядам. За Чернышевским, с его научными и свежими взглядами, пошла вся тогдашняя молодежь, а славянофильствующий «Колокол» отстал. Издатели «Колокола», привыкшие к авторитетности в передовом русском обществе, возненавидели за это Чернышевского².

Миф о борце с деспотизмом, боровшимся с самодержавием, связывал арест и предполагаемую гибель Чернышевского с покушениями на императора. Ситуация занятная. Добавлю, что в том же 1880 г. в марте в чешском журнале «Будущность» был помещен «некролог» Чернышевскому, который был написан редактором журнала — Запотоцким: «Одиноким, отрезанный от всего мира, под надзором казаков и жандармов, доживал он свою полную страданий и нищеты жизнь. Дважды пытались мужественные социалисты освободить Чернышевского, один раз даже под видом жандармов; но, к несчастью, все было напрасно,

¹ «Панихида отца Биерринга в память Николая Чернышевского» / Публикация И.Ф. Ковалева // Литературное наследство. Том 67: Революционные демократы: Новые материалы / АН СССР. Отд-ние лит. и яз.; Ред. работа при участии К.П. Богаевской; Подбор ил. Т.Г. Динесман и Н.Д. Эфрос. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 210–212.

² См.: *Клевенский М. Н. Г.* Чернышевский в нелегальной литературе 60–80-х годов // Том 25/26: Литературное наследство / [Обл. работы И.Ф. Рерберга]. — М.: Жур.-газ. объединение, 1936. С. 557.

пока, наконец, смерть не смилостивилась над ним и его мучения прекратились»¹.

Конечно, такая гибель в мифологическом сознании россиян рождала представление о возмездии. Прошел ровно год, и миф о смерти Чернышевского обернулся реальной смертью императора, **через год** взорванного бомбой 1 марта 1881 г. Чернышевский был здесь совсем ни при чем, об Александре II он написал немало хороших слов. Более того, когда он услышал об убийстве царя от Меликова, он сказал: «Что в России? Убили Александра II? Дураки, дураки, как будто не найдется замены. Хороший был государь. Дело не в том!...»² Но дело Чернышевского оказалось по сути дела лакмусовой бумажкой, определившей стилистику этого правления.

Как считали народники, за всю историю России от Петра I до Николая II не было столь кровавого самодержца, как Александр II Освободитель. Александр II повелел судить народников по законам военного времени. За 1879 г. он санкционировал казнь через повешение шестнадцати народников. Среди них И.И. Логовенко и С.Я. Виттенберг были казнены за «умысел» на цареубийство, И.И. Розовский и М.П. Лозинский – за «имение у себя» революционных прокламаций, а Д.А. Лизогуб только за то, что по-своему распорядился собственными деньгами, отдав их в революционную казну. Характерно для Александра II, что он требовал именно виселицы даже в тех случаях, когда военный суд приговаривал народников (В.А. Осинского, Л.К. Брандтнера, В.А. Свириденко) к расстрелу.

Но первым среди них оказался безвинный Чернышевский. Нельзя было устраивать Голгофу невинному реформатору, который не спорил с кесарем, говоря, что кесарю кесарево, но Богу все же Богово. А Богу – благоустроенную Россию. Это был противобожественный акт – казнь Чернышевского.

¹ «Некролог» Чернышевскому в чешском журнале «Budoucnost» / Публикация Ф.А. Молока // Лит. наследство. Том 67. Революционные демократы: Новые материалы / АН СССР. Отд-ние лит. и яз.; Ред. работа при участии К.П. Богаевской; Подбор ил. Т.Г. Динесман и Н.Д. Эфрос. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 207–208.

² Меликов Д.И. Три дня с Чернышевским // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 365.

Глава 15

Освобождение Чернышевского

ИСТОРИЮ ЖИЗНИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО СТОИТ ЧИТАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ, ЭТО ХОРОШИЙ КОНТРАПУНКТ, МНОГО ПОЯСНЯЮЩИЙ В ЕГО ЖИЗНИ, МНОГО УЧЕНИКОВ, ЕГО НЕ ПОНИМАЮЩИХ (ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА), РАСПЯТИЕ КАК ВРАГА ИМПЕРИИ.

Это, быть может, странное вступление попробую разъяснить в ходе изложения последних лет жизни Чернышевского. Начну с того, что Христа казнили как Царя Иудейского, то есть как претендующего на власть. Иисус же говорил: «Царство Мое не от мира сего. <...> Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин. 18. 36–37). Именно уверенность в том, что он свидетельствует об истине, сохраняла его дух, ум и силы в среди вилюйской дикости и ненависти властей.

«...не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки»

Для Толстого освобождение, если вспомнить бунинское «Освобождение Толстого», означало освобождение от плотских страстей, от желания вкусной пищи и питья, от сумасшедшего тщеславия, от соперничества с Христом. Чернышевский давно ушел от плотских страстей, пища его была как у аскетов, тщеславие и гордость, если таковые и были в петербургский период, давно ушли, он понимал, что практически забыт всеми, что сам он просил молодежь не тратить сил на его освобождение, ибо ждет правового решения своего дела. Что же это за освобождение Чернышевского? Я бы назвал это освобождением от всех и всяческих иллюзий. Народнические иллюзии ушли еще до ареста,

далее ушли иллюзии о способности молодых интеллигентов что-то совершить, о возможности общего дела. Он говорил Короленко: «Ах, Владимир Галактионович, — говорил мне покойный при личном свидании, когда мы стали перебирать прошлое и заговорили о Сибири. — Знаете ли: попал я в Акатуй в среду сосланных за революционные дела... Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы!.. И все — народ хороший, но все — зеленая молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало...»¹ Иллюзий революционной борьбы никогда и не было, но ушла даже надежда на возможность реформ. Если поначалу он надеялся на правовое начало, которое рано или поздно победит, то и от этой иллюзии он освободился. Во второй половине 70-х и начале 80-х он, казалось бы, был забыт. Даже в народовольческом приговоре Александру II среди прегрешений царя имя Чернышевского не было названо.

Как писал Короленко, Чернышевский обратился с убедительной просьбой к молодежи не делать более попыток его извлечения из вилюйской пропасти, «и письмо его в таком смысле было напечатано в 70-х годах в заграничных изданиях. В последующие годы о Чернышевском говорили все меньше и меньше, а в печати самая его фамилия признавалась “нецензурной”. Его “Что делать?” читалось и комментировалось в кружках молодежи, но лучшие его произведения, вся его яркая, кипучая и благородная деятельность постепенно забывалась по мере того, как истрепывались и становились библиографической редкостью книжки “Современника”. О самом Чернышевском доходили до нас смутные, сбивчивые слухи. <...> Один из этих слухов проводил Чернышевского в могилу. Говорили, что умственные способности его угасли и даже — что он помешанный»². Вполне мифологическая фигура, реальность ушла. А с 1878 г. после запрещения не касаться в письмах предметов посторонних, он на полгода вообще прекратил всякую переписку. «Его мы успели забыть», — заметил Короленко. А он сам держался лишь чувством достоинства и независимости. До сыльного Короленко порой доходили и некоторые факты вилюйской жизни НГЧ, что позволило ему

¹ *Короленко В.Г.* Воспоминания о Чернышевском // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 318–319.

² *Там же.* С. 300.

с невероятным уважением и пониманием сказать об этом узнике: «Было очевидно, что этот человек удивительно владеет собой, держит себя в руках и не дает тяжелому и безжизненному отупению далекого захолустья победить свой могучий ум и здравый смысл, который всегда отличал его и прежде, служа главным орудием его в полемике “с псевдоучеными авторитетами”. Но сколько силы растрачено в этом пустом пространстве на бесплодную борьбу с мертвым болотом! Я видел людей, которые прожили в сибирской глуши гораздо меньше Чернышевского и не в таких условиях, и на них подчас не оставалось человеческого облика. Однажды, на Оби, к пароходу, который вез новую партию ссыльных и пристал к обрыву берега, чтобы набрать дров, вышли из ближайших остяцких чумов несколько остяков и остячек с детьми. Один из этих дикарей, одетый, как и другие, в звериные шкуры, с лицом, покрытым целым слоем жиру и дыма, увидев на барже “политических”, заговорил с ними по-русски. Оказалось, что это тоже политический ссыльный, поселенный среди остяков. Одна из остячек, бессмысленно глядевшая на чуждых людей, была его жена, а маленькие дикари, прижимавшиеся к ней, его дети. Со слезами на глазах он прощался с незнакомыми товарищами, когда баржа тихо отчаливала от кручи, чтобы пуститься далее по широкой и пустынной Оби, и в его речи слышалось, что он уже разучивается говорить по-русски. <...> Нужно было обладать могучим умом Чернышевского, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, без товарищей и друзей. Он не поддался и, насколько среда была к этому способна, подымал ее до себя»¹. Выдержал бы кто еще такое – сомневаюсь! Есть сила духа, которая при всех возможных в человеке слабостях была невероятна! Но иногда кажется, что и слабостей, кроме безумной любви к жене, и не было у него.

Он общался с женой жандарма довольно миролюбиво, даже приятельски, рыл канавки, собирал грибы, знал, что император убит, но уже настолько свыкся с этой жизнью вне умственных интересов, что даже не задавал больше никому вопросов об улучшении своей участи. А.Н. Пыпин писал письма, но ответы были равнодушно отрицательные. В сентябре 1881 г. через полгода после убийства Александра II французский писатель Л. Ратисбон на Венском международном конгрессе литераторов рассказал о судьбе Чернышевского и предложил обратиться к русскому правительству с просьбой о помиловании вечного узника. Хотя

¹ *Короленко В.Г.* Воспоминания о Чернышевском. С. 307–308.

уж во Франции должны были помнить о судьбе Железной маски. Неизвестному, которому не было прощения, — и непонятно за что.

И вдруг в августе 1883 г. что-то происходит, опять же в духе романов Эжена Сю и Александра Дюма. Рассказ жены жандарма, который может показаться фантастическим, если бы не простодушие и литературное невежество рассказчицы: «С мужем Чернышевский тоже был дружен, потом даже с другими жандармами, которые за ним приехали, не хотел ехать из Вилюйска. Все просил мужа ехать с ним...

— А как освободили Чернышевского?

— Освободили так: из Иркутска приехали два жандармских унтер-офицера, привезли с собой бумагу мужу и сказали пароль. Хотя они были знакомые и бумаги все были, но без пароля муж не допустил бы их к Чернышевскому (выделено мною. — В.К.). Когда приехали жандармы, они пришли пешком к тюрьме, вместе с исправником и его помощником.

Увидав идущих, муж немедленно запер тюрьму и выставил караул. Караул не допустил жандармов и исправника к тюрьме. Когда сказали пароль, то допустил. Пароль у мужа был записан, и он его помнил. Вошли в комнату мужа, подали бумагу от иркутского жандармского полковника об освобождении. Кроме нее, было запечатанное письмо на имя Чернышевского. Муж думал, что лично от государя, сам Чернышевский так и говорил, то высочайшее повеление. Как только ему подали письмо. Чернышевский начал плакать! То захохочет, то снова плачет! И начал он просить, чтоб его сейчас же везли. Муж стал уговаривать его уложиться, приготовиться к дороге и дать жандармам отдохнуть. Он согласился. Чернышевский пошел со всеми попрощаться...»¹

Выделенные строчки фантастичны. Значит, *двенадцать лет хранился пароль и передавался от жандарма жандарму*. Есть еще пара воспоминаний, добавляющих краски к этому эпизоду. К примеру, рассказ помощника исправника, который устраивал переезд Чернышевского в Якутск. Поразительно, но Чернышевский был уверен, что его загоняют за новый Можай. «Исправник ушел, а я возвратился к Николаю Гавриловичу, который, увидав меня одного, спросил: “А где же тот?” и, получив ответ, что ушел, попросил меня сесть, сказав: “Ну, теперь можно поговорить. Скажите, пожалуйста, что хотят со мною сделать, куда отправляют, снова в крепость, или что другое? Из слов исправника

¹ Беренштам В. В гиблых местах // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1959. С. 220.

я ничего не мог понять, я просил его показать мне ту бумагу, о которой он мне что-то говорил, он отказал мне в этом, сославшись на какую-то инструкцию”. Я ему ответил, что вопрос этот нам следует обсудить всесторонне: “Вам предстоит перемещение в Европейскую Россию”. Тогда Николай Гаврилович попросил меня дать ему прочитать ту бумагу. <...> Я передал бумагу Николаю Гавриловичу, он прочитал первую часть ее до слов: “предписывается полицейскому управлению”, возвратил бумагу, сказав: “Ну, больше мне ничего не нужно”. Затем Николай Гаврилович сел на кровать, немного подумал и сказал: “Да ошибку отца хочет поправить сын, но это поздно уж теперь”»¹.

Но от Вилюйска не было дороги до Якутска, особенно летом. А ведь стоял август. И вот надо было как-то доехать. Жена жандарма вспоминала: «Дороги проезжей на Вилюйске нет, только верховая. Кругом страшнейшие болота, мостов тоже не было, речки необходимо было переплывать вплавь на лошади. Для него, верно, делали плоты. До Якутска от Вилюйска верст семьсот. Дорога – только узкая тропа среди тайги, верхом едешь, ветвями все время бьет в лицо, Ехать верхом он отказался. Говорит, не умею и боюсь. Хотели сделать на быках качалку, как носилки, к стременам подвязать. Он отказался. И его повезли на санях по земле. Муж кое-как уговорил почтосодержателя, так как в контракте не было условия возить по земле на санях. Якуты шли впереди саней и расчищали дорогу, где была тайга, а по болотам не было нужды расчищать. Везли инкогнито под номером первым»².

Но, похоже, окончательное решение было принято помощником исправника Кокшарским, описавшим подготовку к путешествию Чернышевского в Якутск: «Пара лошадей, запряженная в дровни, одного человека без багажа всегда протащит от станции до станции, хотя бы и по песчаной дороге. В средствах нечего было стесняться, денег на прогоны было выслано более, чем нужно. С надеждой на согласие Николая Гавриловича на передвижение таким способом, я наутро пошел к нему и сказал: “Я воспользуюсь предоставленным мне правом распоряжаться и вот сейчас предъявляю к вам такое требование: вам придется в пути переезжать речки и болота, а быть может, где и пройтись, ваш экипаж очень низкий и возможно, что будет заливаем водой, что вызовет необходимость встать в экипаже на ноги, по-

¹ Кокшарский А.Г. Мои воспоминания // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 240.

² Беренштам В. В гиблых местах. С. 224.

этому требуется непременно одеть непромокаемую обувь, которая и предлагается вам мною. Вы осматривали на мне эту обувь и одобрили ее, так вот, в силу необходимости, вы должны надеть эту обувь и короткое пальто из солдатского сукна, как защиту от дождей»¹. И добавляет, что таким образом через восемь суток НГЧ доехал до Якутска. Но все же важных деталей он не знал.

Велено было везти Чернышевского так, чтобы никто не знал о его передвижении. А это уже Меликов, все-таки чиновник министерства юстиции, знал больше подробностей: «Приказано было ввезти Н. Г. в Якутск ночью; но каким-то образом случилось так, что транспорт с Н. Г. прибыл в Моховую падь, в 6 верстах от Якутска, к 9—10 ч. утра. Что делать? Полетел казак в Якутск с докладом о невозможности ввезти Н. Г. в Якутск ночью. Доложили губернатору, и было решено оставить Н. Г. в Вилюйской (Моховой) пади до ночи, ночью же въехать в город прямо к квартире губернатора. При этом приказано было всех едущих по дороге в Якутск чрез Вилюйскую падь (Моховую) задержать и не пускать до въезда Н. Г. в город. Дорога через Моховую падь большая, и народу ездит по ней много, а потому скопление людей в пади оказалось изрядное, и все должны были поститься до ночи. Настала ночь, привезли Н. Г. к губернатору и в ту же ночь отправили далее по Иркутскому тракту»². То есть издевательство продолжалось, бессмысленное издевательство. И последний штрих, говорящий о губернаторской гнусности и сохранившейся горькой иронии Чернышевского:

«В 1883 году весной опять пронесся у нас, в Якутской области, слух о смерти Чернышевского, но тотчас же этот слух заменился радостным известием: Чернышевского возвращают, Чернышевский в Якутске.

Действительно, Чернышевского привезли с Вилюя. Привезли с жандармами прямо к губернатору, который его угостил завтраком, и тотчас же, не дав переночевать и отдохнуть, — повезли в Россию, тщательно скрывая имя и не прописывая фамилии на станциях. Чернышевский, сначала принявший завтрак у губернатора, как любезное гостеприимство, вскоре убедился в истинном значении этой губернаторской любезности, когда ему не позволяли остаться в городе для отдыха и покупок. Провожатые заехали только на несколько минут, и то, кажется, украдкой, к одному знакомому обывателю, который впоследствии, покачивая головой, говорил мне:

¹ *Кокшарский А.Г.* Мои воспоминания. С. 241.

² *Меликов Д.И.* Три дня с Чернышевским. С. 255.

– Отличный, образованный господин, а, кажется, того... не совсем в порядке.

– А что?

– Да как же, помилуйте. Ну, хотел сначала остановиться у меня отдохнуть. Жандармы говорят: “Нельзя, строго наказал губернатор, чтобы отнюдь не останавливаться”. Вот стали садиться в повозку, он, и говорит жандарму; “Надо бы хоть к губернатору вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать”. Помилуйте, – на что же это похоже! Неужто губернатору его рубль нужен!»¹

Губернатор делал вид радушного хозяина, приказ был отнестись приветливо, но одновременно был и другой приказ – гнать узника дальше и дальше, чтобы снять с себя всякую ответственность. Чернышевскому могло померещиться истинное человеческое отношение, но тут же все понял и, конечно, почувствовал продолжение прежнего. Своего рода меннипея: везут как бы живого мертвеца, которого нельзя показывать живым людям, но с мертвецом надо вежливым быть. На всякий случай.

И в течение двух месяцев практически без остановок он был привезен в Астрахань. Из почти самого холодного места России едва ли не в самую жаркую часть. Такой переезд требует медленного передвижения, чтобы организм привыкал к смене температур, чтобы резкая смена не убила. По словам Короленко, «поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что почти все, возвращавшиеся по манифестам прямо на родину после того, как много лет прожили в холодном якутском климате, – умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто мог, – старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три в южных областях Сибири или в северо-восточных Европейской России»². Но смерти узника не боялись. Ее хотели.

Все-таки мертвеца боялись

Почему же его отпустили из секретного и недоступного острога на краю государства? Ведь Железная маска должна была сгнить, по замыслу императора, бесследно. Но императора убили. И новый император поначалу не связал убийство отца с вилюйским узником, почти мертвецом уже, тем более что «Народная воля» (а всего-то ее было 36 человек) была разгромлена, остатки исполнительного комитета «Народной воли» практически на-

¹ Короленко В.Г. Воспоминания о Чернышевском. С. 308.

² Там же. С. 311.

ходились в эмиграции. И тут одному из близких народовольцам людей (не революционеру, нет), обожавшему Чернышевского, пришла в голову идея поменять возвращение Чернышевского в Россию на отказ от взрыва бомб во время коронации. Правовым путем все же в России дело не шло.

Поразительно, что не право, не законность, на которые так рассчитывал НГЧ, даже не угроза исполнительного Комитета «Народной воли», за которым были лишь слабые остатки революционной группы, который о Чернышевском помнил уже смутно, а важнейшим оказалось усилие одного конкретного человека, влюбленного в тексты великого мыслителя, усилие **Николая Яковлевича Николадзе** (1843–1928), журналиста и газетчика, издававшего в Тифлисе газету «Обзор», закрытую в 1880 г. Впоследствии он вошел в контакт с остатками народовольцев, сам не выходил за границы легальности, но решил воспользоваться этим знакомством, чтобы (с согласия народовольцев) вести от их имени переговоры с правительством. У него была при этом, именно у него, одна цель — освобождение Чернышевского. Это была классическая «челночная дипломатия», когда правительственных чиновников он запугивал взрывами бомб, если не будет освобожден Чернышевский, а народовольцев убеждал, что если они не выдвинут требование освободить Чернышевского, то это будет уже полный провал организации, которая ничего так и не сумела добиться.

Если говорить о реальной ситуации противостояния «Народной воли» с правительством, то «революционная партия была в ту пору до крайности ослаблена. Ей все равно долго ничего серьезного нельзя будет делать собственными силами. В этом положении компромисс с правительством, как бы жалки для партии ни были прямые его выгоды, все же послужит ей золотым мостом, оправданием ее продолжительного бездействия, и без того ведь неизбежного, признанием ее воюющей державою, а главное — передышкою в трудную пору и спасением от окончательного разгрома последних ее остатков»¹. Воспоминания Николадзе удивительны. Он писал, скажем, что «только после разговора с Н.К. Михайловским и С.Н. Кривенко я <...> собирался поставить правительству два условия: во-первых, что поездку свою я совершу на свой собственный счет, так как не желаю иметь ни малейшего соприкосновения с секретными фондами правительства, а во-вторых, в вознаграждение своих трудов по-

¹ *Николадзе Н.Я.* Освобождение Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 261.

требую, чтобы, каков бы ни был конечный результат моих усилий, в виде личной мне награды освобожден был из заточения писатель Н.Г. Чернышевский, уже более 20 лет томящийся в неволе. При соблюдении этих двух условий, казалось мне, никакие сплетни и подозрения запачкать меня уже не могут»¹.

И тоскливые зарисовки потерявших себя литераторов демократического лагеря:

«Никогда не забуду обезнадеживающего впечатления, произведенного на меня весной 1882 г. поездкою к Глебу Успенскому. Он жил тогда в деревне близ г. Чудова. Поехали мы к нему условиться про адрес, который хотели подать за подписью всех литераторов Александру III, в пользу печати и политических узников. Были тут М.А. Антонович, С.Н. Кривенко. Н.К. Михайловский. Н.В. Шелгунов и некоторые другие. Никто из нас не задавался целью — как сделали б европейцы — составить осуществимый план действий, при котором наличными силами и обстоятельствами возможно было бы достигнуть наибольших удобств для дальнейшего развития и прогресса. Все взапуски друг перед другом гонялись за химерами — а я могу пожелать больше и лучше! Изумленные, вечно недоумевавшие глаза Глеба Ивановича скорбно останавливались на говорившем.

— Ничего этого не нужно, — твердил он всем. — Наденем фраки и отправимся гурьбою к государю, вот как ходят к нему мужики: бухнемся ему в ноги, как мужики, и скажем: “Ваше Величество, ничего нам не нужно! Только раскройте тюрьмы и выпустите всех на свободу, чтоб солнышко всем сияло, чтобы травушка росла!” Ведь вы пойдете, Максим Алексеевич? Ведь вы пойдете. Николай Константинович?

— Вот как прочие, а я-то от них не отстану, — отвечал М.А. Антонович.

— Мы пойдем, непременно пойдем, — продолжал Глеб Иванович. — Ведь мужики же ходят! Надо по-ихнему действовать.

— Ведь вы пойдете, Николай Яковлевич? — саркастически дразнил меня М.А. Антонович. А меня слезы душили. Нет, не им перестроить государство!»²

Народовольцы как аргумент (с подачи Николадзе) выдвигали отказ от покушений:

«Что же касается до обязательства не производить никакого покушения до и во время коронации, то оно обуславливалось

¹ *Николадзе Н.Я.* Освобождение Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 261.

² *Николадзе Н.Я.* Освобождение Н.Г. Чернышевского. С. 261–262.

двумя требованиями: 1) чтобы государь послал доверенное лицо для расследования вопиющих несправедливостей, причиненных в Каре политическим ссыльным и 2) чтобы освобожден и возвращен был на родину писатель Н.Г. Чернышевский. <...> Было ясно освобождение Н.Г. Чернышевского приберегалось в награду за хорошее поведение партии во время коронации. <...> Оставалось достигнуть главного – освобождения Н.Г. Чернышевского¹. И здесь появляется как второе главное действующее лицо, способствовавшее освобождению узника, как это не покажется диким – граф П.А. Шувалов.

«Я не отставал от гр. Шувалова и многократно виделся с ним то у него на дому, то у себя в квартире. Речь у нас главным образом шла об оформлении дела на счет освобождения г. Чернышевского. Я ему доставил биографические сведения о личности и о процесс этого писателя, сообщенные мне А.Н. Пыпиным, и проект докладной записки. Последняя была написана А.Н. Пыпиным очень сильно и сжато, но в полемическом тоне против приговора Сената. В ней доказывалось – как дважды два четыре, что Чернышевский пострадал невинно. Гр. Шувалов через несколько дней привез мне ее обратно, заявив, что ее представление неминуемо погубит дело. Он предложил мне взамен каллиграфически переписанное на великолепнейшей бумаге всеподданнейшее прошение от имени сыновей Н.Г. Чернышевского. В нем говорилось, что как бы велики ни были преступления их отца, он их искупил двадцатилетними страданиями, безропотно перенесенными с беспримерным смирением. В заключение просилось о помиловании страдальца и о возвращении его на родину, дабы семья могла окружить заботами последние дни его уже окончательно разбитой жизни. Скрепя сердце я отвез это прошение А.Н. Пыпину. Сыновья Н.Г. Чернышевского, разумеется, согласились подписать бумагу. Прошло около двух недель со времени ее передачи гр. Шувалову без всякой вести об ее судьбе. Потом гр. Шувалов приехал ко мне и торжественно вручил, на бумаге с своим фамильным гербом, собственноручную подписку в том, что он, флигель-адъютант Его Императорского Величества граф такой-то, с Высочайшего соизволения, дал мне обязательство добиться освобождения из Сибири и возврата на родину государственного преступника Н.Г. Чернышевского. Недоумевая, что это значит, я уверял гр. Шувалова, что нимало не нуждаюсь в такой подписке и никому предъявлять ее не обязан и не намерен. Не веря в серьезный успех переговоров, я взялся

¹ *Николадзе Н.Я.* Освобождение Н.Г. Чернышевского. С. 263.

вести их единственно в расчете добиться освобождения Чернышевского, и вполне полагаюсь на данное мне слово гр. Воронцова-Дашкова. Но гр. Шувалов просил непременно отобрать у него подписку. “Я вижу, — говорил он. — Чернышевского страшно трудно вырвать из их рук. Только отобрание вами у меня этой подписки даст мне и гр. Воронцову-Дашкову возможность настаивать во Дворце и перед гр. Д.А. Толстым об исполнении обещания, данного вам. Но вы обязаны говорить, если вас спросят, будто это вы меня вынудили дать вам такую подписку и будто я долго отказывался выдать ее”.

Приходилось, значит, становиться и шантажистом¹.

История освобождения Чернышевского — это нечто похожее на смесь приключенческого и исторического триллера, и одновременно почти фантазмагория. В реальности такого, на первый взгляд, не могло бы быть. Дело в том, что освобождение НГЧ поддержал его самый главный враг, «второй Аракчеев», граф П. Шувалов, много сделавший, чтобы загнать мыслителя в Вилюйск и не выпускать его оттуда. Но тут вступили в дело странные движения и сочетания, которые вдруг из слов и приказов обрели материальную реальность и силу, которая побеждает бюрократические сплетения, более того, начинает пугать создателей бюрократической паутины. Как говорил Пушкин, «бывают странные сближенья». Шувалов умудрился связать жизнь и смерть Чернышевского с судьбой императора. Пока Чернышевский загибался в Вилюйске, казалось, император в безопасности. Но вдруг разверзлась пропасть, и император в нее рухнул. Империя зашаталась. Причем зашаталась не усилиями Чернышевского, а усилиями Шувалова да и самого императора. Надо было как-то выплывать из этой истории. Словно приблизилось страшное предсказание Лермонтова (как помним, один из первых губителей Чернышевского генерал Потапов был в тесных отношениях с убитым поэтом, о котором другой император, по версии Павла Вяземского и Петра Бартенева, произнес «Собаке собачья смерть»):

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет.

Но умерший собачьей смертью оказался живее императора Николая, про которого ходил упорный слух, что он покончил с собой в результате Крымского поражения.

¹ Николадзе Н.Я. Освобождение Н.Г. Чернышевского. С. 263—264

Известны народные легенды, почти во всех культурах, что человек пытается избежать пугающего его призрака, но призрак этот и губит его. Достаточно вспомнить историю Эдипа и его отца Лая. Лаю было предсказано, что он погибнет от рук своего сына. Опасаясь предсказания, Лай повелел слуге бросить младенца Эдипа на горе Киферон, однако слуга из жалости ослушался и отдал младенца пастухам. Выросший Эдип, не зная о своем происхождении, получил предсказание о том, что ему суждено убить своего отца, и в ужасе бежал от своих приемных родителей. Лай, проезжая на колеснице через область Фокиды с четырьмя спутниками, был в споре убит Эдипом. Закон Рока строится на том, что человек гибнет от того, чего он боится. Особенно это относится к людям, чьи жизни связаны с высшими божественными предопределениями или судьбою страны. Боязнь Чернышевского оказалась грундоном отношений императорской фамилии и опального мыслителя. Александр III натурально выменивал свою жизнь на жизнь Чернышевского.

И вот результат: «Наконец, в конце марта 1883 г. гр. Шувалов доставил мне проект той статьи коронационного манифеста, которая распространяла помилование на случаи, подходящие к положению Чернышевского. Он просил меня внимательно взвесить выражения этой статьи и сообщить ему — удовлетворяют ли они меня и нет ли тут какого-нибудь подвоха со стороны гр. Д.А. Толстого? Я отвез проект А.Н. Пыпину с просьбой посоветоваться с компетентными знатоками. Не знаю, с кем он советовался и советовался ли с кем. Он скоро вернул мне проект, высказав, что дело не в его выражениях, а в том, как они будут применены к Н.Г. Чернышевскому. Это я и передал слово в слово гр. Шувалову, который удостоверил меня, что, если только коронация сойдет с рук благополучно, Н.Г. Чернышевский непременно будет возвращен на родину. Оставалось только ждать исполнения этого обещания <...>».

Коронация, как известно, благополучно окончилась в мае 1883 г.»¹

Неужели не революционер?

А Чернышевский оказался в Астрахани. К 1883 г. Чернышевский стал абсолютной легендой. А легенду каждый трактует в меру своего понимания. Одно из интереснейших воспоминаний, искренних, хотя и слегка растерянных, — астраханского учителя

¹ *Николадзе Н.Я.* Освобождение Н.Г. Чернышевского. С. 264—265.

Николая Фомича Скорикова. Человек, привыкший к рассказам о каторге, куда сослали как бы главного революционера, вдруг столкнулся совсем с другим человеком. Но этот рассказ требует внимания:

«Кто из нас в пору юности не увлекался этим ярким светочем человеческой мысли? Кто с захватывающим интересом не прочитывал каждой строчки его произведений, стараясь найти в них ответ на мучительные вопросы жизни? Кто не болел сердцем за потерю этого могучего ума, вынужденного в период своего расцвета бездействовать в недрах Сибири? Воображению нашему рисовалась благородная, величавая фигура скованного Прометея в далеком тесном каземате, обреченная на самое страшное для мыслящего человека наказание — на бесплодное, бесконечное молчание. Для нас, молодых и восторженных натур, Н.Г. Чернышевский был полубог, и, может быть, потому только, что имя его произносилось с оглядкой, а еще опаснее было иметь его произведения. Помню то благоговение, с каким мы прочитывали его утопический роман “Что делать?” — самое популярное, но далеко не самое лучшее его произведение, — и тот страх, с которым мы, как лиходеи, шныряли по закоулкам Казани, укрываясь от зоркого постороннего взгляда и собираясь в тесный товарищеский кружок для таких «преступных» чтений. Его комментарии к Дж.Ст. Миллю мы переписывали для себя, просиживая целые ночи, за “Что делать?”, выданный из “Современника”, платили по 25 рублей, а за маленькие фотографические портреты их автора, в которых не было ничего общего с настоящим Чернышевским, платили по рублю. Можно же себе представить, сколько употреблялось нами хитрости и усилий, чтобы не попасться на глаза учебному начальству с этими преступными аксессуарами!..

Мог ли я когда-нибудь думать, что судьба меня наградит счастьем видеть этого человека и говорить с ним!..»¹

Скориков стал практически постоянным астраханским собеседником Чернышевского. Конечно, это было важно, хотя для мыслителя и отца семейства было нужнее выйти снова на журнальное поприще. Художественные тексты, которые писал в Сибири, как мы видели, не были закончены. Наброски, части романов... Единственное, что он сумел довести из Сибири, была поэма «Гимн Деве Неба». Характерная ситуация каторжников. Так Солженицын вывез из лагеря выученную им самим наизусть

¹ Скориков Н.Ф. Н.Г. Чернышевский в Астрахани // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. СПб.: РХГА, 2008. С. 210–211.

свою поэму «Пир победителей». Поэма Чернышевского была опубликована в 1885 г. в № 7 «Русской мысли» под псевдонимом «Андреев». Пыпин искал ему переводы, Чернышевский нервничал, писал, что за 20 лет им много надумано, чтобы тратить последние годы на переводы. Но переводы готов был брать, хотя и не очень крупные поначалу, но а семью надо было кормить. С 1884 по 1888 г. он перевел Всеобщую историю Г. Вебера (со своими статьями и комментариями, успел перевести 12 томов). В эти годы он написал и мемуары: Материалы для биографии Н.А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. И в течение 1884–1888 гг. записал «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым». В 1888 г. он написал важную теоретическую статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь. *Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни*». Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1888, ч. IX, под псевдонимом «Старый трансформист». Он попытался войти в современность, причем полемика с Мальтусом и Дарвином в том историческом контексте означала противостояние революционным идеям.

Не он один, еще Данилевский и Страхов, и другие русские мыслители опасались насильственного втягивания в прогресс не готовых к этому слоев и народов. Ведь в большом обыкновении, как писал, скажем, Чернышевский, «сравнивать иноземные необразованные племена и низшие сословия своей нации с детьми и выводить из этого сравнения право образованных наций производить насильственные перемены в быте подвластных им нецивилизованных народов» (*Чернышевский*, X, 912–913). Неся идею прогресса как идею счастья, кажется возможным одарить счастьем и другие слои народонаселения и другие народы и страны. Но такого рода отстаивание прогресса приводит, как показала история России и Германии, к впадению в новое и еще более страшное варварство. После победы над нацизмом на авансцену истории выдвинулся новый носитель прогресса — США, ставшие своего рода рейнджером и судьей современного мира. Но свободен ли любой, самый хороший судья от ошибок, действуя в одиночку? Позиция русских гуманистов, не принимавших экспансионизма самодержавия и жестокости радикалов, — гуманизировать и цивилизовать людей, — говорила, что прогресс — процесс медленный и осторожный. Как они полагали, во всех цивилизованных странах масса населения имеет много дурных привычек. Но искоренять их насилием значит приучить народ к правилам жизни еще более дурным, принуждать его к обма-

ну, лицемерию, бессовестности. «Люди, — писал русский мыслитель, — отвыкают от дурного только тогда, когда сами желают отвыкнуть; привыкают к хорошему, только когда сами понимают, что оно хорошо и находят возможным усвоить его себе» (*Чернышевский*, X, 914).

Надо сказать, что с Дарвином полемизировал и Л. Толстой, который прочитал статью НГЧ о «О происхождении теории благотворности борьбы за жизнь» и записал в дневнике: «19 декабря. Вечер читал. Статья Чернышевского о Дарвине. Сила и ясность»¹.

Пожалуй, из теоретических собственных его статей текст о Дарвине был единственным, который вызвал интерес публики. Как положительный — у Толстого и неприятие молодежи, ибо молодежь ждала только решительных действий. Человеком действия в силу двадцати лет каторги казался молодым людям Чернышевский. Скориков при этом, должен заметить, — человек с живым умом, без остановившегося взгляда на мир и человека, без фанатизма. Сила Скорикова в том, что он просто честно фиксировал позицию Чернышевского, понимая, что то, что ему кажется изменой прежним идеям НГЧ, просто формула, уточнившая его прежнюю позицию.

«В этих до последних дней жизни оставшихся взглядах Н.Г. нельзя было не усмотреть высокой души его, сохранившем до конца веру в то, что хорошо поступать не только возвышенно, но и “выгодно”».

— Но, повторяю, — продолжал Н. Г., — что в этих похвальных увлечениях молодежь руководится, конечно, благородными порывами... Молодежь всегда была отзывчивой к общественным вопросам; следует только желать, чтобы такое увлечение являлось всегда результатом честных побуждений. К сожалению, увлечения эти часто переходят границы, а главное — являются результатом подражания, причем рассудок всегда подчиняется чувству тщеславия: “как-де это я — какой-нибудь мизерный студентик — да вдруг сделаюсь передовой личностью, главою, диктатором целого общественного движения!” Разве это не лестно?... Поэтому-то подобные увлечения и не бывают долговременны. Припомните свое детство... Когда-то вы, вероятно, любили прыгать верхом на палочке и даже с пренебрежением смотрели на тех, кто, подобно вам, не умел этого делать... Тут то же самое: увлечения хватает лишь до той поры, пока у будущих диктаторов вершка на два не отрастет борода... Мы все, к сожалению,

¹ *Толстой Л.Н.* О литературе. С. 232.

слишком склонны увлекаться примерами и авторитетами. <...> В то время свежей новостью были слухи о беспорядках среди университетской молодежи по поводу введения нового устава. Я пожелал знать мнение об этом Н.Г. К моему удивлению, он с чрезвычайной горячностью разразился нападками на студентов.

— Все эти и подобные им беспорядки вызываются слишком наивными, а потому плохо рассчитанными побуждениями. Проявлять подобные протесты — безумство. Что вы скажете о шалуне мальчишке, который в бессильной злобе на оскорбившего его великана бежит за ним и старается укунить его за икры? Ведь великан каждую минуту может обернуться и поднять шалуна за волосы на воздух!.. Беспорядки, подобные только что случившимся, способны лишь ухудшать положение протестующей стороны... И прискорбно, конечно, что в этих безумных порывах молодежь всегда забывает то дело, ради которого она идет в университет...»¹

Это, конечно, была позиция «постепеновца», чего от Чернышевского молодой человек не ожидал. Но он внимательно, надо отдать ему должное, выслушал доводы мэтра. «История показывает, что общества с тайным, в большинстве с преступным образом действий никогда не достигали положительных целей... Все, что делается в темноте, — либо пошло, либо пусто... Если вы днем, при свете, в состоянии, как следует, вспахать, положим, 50 десятин земли, то что вы вспашете ночью, в темноте?.. Перепортите только землю... Серьезные, умные люди в тайных обществах не состоят... Тайные кружки и общества — это пустые бессодержательные скопища недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству, они вместе с тем вредят и государству... <...> История, повторяю, показывает, что цивилизация движется не тайными обществами, — нет! — ими возбуждались только местные восстания и бунты, не приводящие ни к каким положительным результатам... Мы должны быть довольны, что нашего мужика теперь не бьют, как было прежде, а вот, подождите, придет время — он потребует, чтобы его и не ругали... Ступайте на вечерний базар и посмотрите, много ли вы встретите в продаже лаптей. Все — даже простые мужики — привыкают ходить в сапогах... А как вы станете предлагать народу, в пользу которого работают часто тайные общества, такие прелести, в которых путаются сами члены тайных обществ, рисуя будущий, идеальный, по их мнению, строй жизни?.. Прежде всего народ не имеет вре-

¹ Скориков Н.Ф. Н.Г. Чернышевский в Астрахани. С. 218–219..

мени и не желает слушать ваши бредни: он слишком занят для этого...»¹

Разумеется, пусть судит сам читатель, какое впечатление мог произвести этот разговор на восторженного и пылкого юношу.. Скориков написал несколько писем о своем новом знакомстве своим товарищам-однокурсникам и рассказал о свидании с Н.Г. одному из своих молодых сослуживцев, г-ну Н. (А.Я. Назарову, впоследствии заведующий кооперативной лавкой в Екатеринбургской губернии), ярому революционеру по взглядам, с которым он был в большой дружбе. Н. чрезвычайно был удивлен этим рассказом и до того волновался, что разразился целым потоком упреков по адресу Чернышевского, находя в его теперешних взглядах явное противоречие с его же собственными как философскими, так и политико-экономическими произведениями. Н. ссылался на его материалистический трактат «Антропологический принцип в философии», где Чернышевский является ярым приверженцем крайнего материализма, и на его статьи об общине, где он отстаивал то положение, что в развитии общественной жизни возможны и скачки — переходы из одной стадии в другую, минуя промежуточную стадию (развитие аграрных отношений согласно гегелевской триаде), — тогда как теперь-де Чернышевский является своего рода «постепеновцем». Скориков защищал Чернышевского, указывая на то, что это противоречие лишь кажущееся, но споры ни к чему не вели, и Н. выразил настойчивое желание лично увидеть Н. Г. и поговорить с ним на эту тему.

Разговор состоялся, видимо, достаточно бурный, поскольку Ольга Сократовна, старавшаяся на старости лет о муже заботиться, «Чрезвычайно чуткая ко всему, что касалось спокойствия Н.Г., О. С. быстро вскочила и вышла в гостиную. Минуты через две она вернулась. “Ну, Н. Ф., — обратилась она ко мне, — если только вы будете приводить с собой таких господ, так у Н.Г. нервов не хватит.. Ваш приятель неприятно действует на Н.Г. ...Я сейчас прекращу их спор...”»² И отправила Назарова домой, сказав, что НГ вредно волноваться.

«У Н.Г. было нахмуренное потемневшее лицо, какого я у него никогда не видел. Однако он любезно простился с нами и проводил нас до передней.

— Нет, я положительно не могу согласиться со взглядами Н.Г. на нелегальный образ действий, — сказал мне Н., когда мы выш-

¹ Скориков Н.Ф. Н.Г. Чернышевский в Астрахани. С. 219–220.

² Там же. С. 223.

ли на улицу. Я не отвечал ему, и мы молча расстались. Вскоре я получил ответы на мои письма от товарищей. В некоторых из них высказывалось удивление, в других упреки по адресу Чернышевского, изменившего якобы своим прежним взглядам, в третьих – мнения о Чернышевском как о безупречном теоретике, но плохом практике, в четвертых, наконец, чересчур резкие отзывы, доходившие до того, что Чернышевского называли выжившим из ума стариком, у которого Сибирь и каторга отняли все... Как на доказательство ссылались на статью Чернышевского “Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь”, под псевдонимом “Старый трансформист”, как слабую и неудачную вылазку против Дарвина, далеко не напоминающую прежнего Чернышевского... После этого долго я не заглядывал к Чернышевским, испытывая в душе раскаяние за огорчение, причиненное мною и моим приятелем О. С. и Н. Г.»¹ Верность своим идеям, разъяснение их, попытка уйти от иллюзий, освобождение от мнения толпы не было понято молодежью. Ее уже перепахал непонятый ею роман «Что делать?»

Последний год и последние слова

С июля 1888 г. губернатором Астрахани был назначен новым императором князь Л.Д. Вяземский, генерал от кавалерии, человек и роду хорошего, хотя и захудалой ветви, и интеллигентный. Все-таки Вяземские есть Вяземские. За оборону Шипки Вяземский получил золотую саблю с надписью «За храбрость» (17 сентября 1877 г.) и другие ордена, человек был смелый и понимавший честь России. «Благородный человек», – написал о нем Чернышевский (XV, 879). Впоследствии, уже в начале XX века, член Государственного совета. Тем временем сразу после перевода НГЧ в Астрахань А.Н. Пыпин и М.Н. Чернышевский в 1885 г. подали прошение на имя императора о переводе НГЧ в Саратов, но Министерство внутренних дел ответило, что, мол, преждевременно. Сам Чернышевский стоял на своем – ни о чем не просил. Никогда и не о чем. Этим чувством собственного достоинства, если искать параллели в русской истории, обладал герой, о котором вспомнил в эмиграции Бунин – святой князь Михаил Черниговский, который не поклонился. Бунин: «Есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это – мой Бог и моя душа. “Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!” Верный еврей

¹ Скориков Н.Ф. Н.Г. Чернышевский в Астрахани. С. 224.

ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть»¹. Бунин делил русский народ на наследников Каина и Авеля: «И вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне <...> ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее».

Выросший в доме протоиерея, впитавший в себя основные христианские смыслы, которые звучат во всех его текстах, он на многое готов был ради России, ради России он не эмигрировал, но христианская честь значила для него больше. И больше всего его угнетало, что не видел он в окружающей России этих божественных смыслов. Как писал Чернышевский в одной из последних своих статей «Не начало ли перемены?», народ делится, условно говоря, на наследников Каина и Авеля, причем «каинитов» большинство.

Как пишет А.А. Демченко, 28 марта 1889 г. М.Н. Чернышевский возобновил ходатайство об отце. Прошение написано на имя министра внутренних дел. Главное место здесь отведено описанию состояния здоровья Чернышевского. Астрахань названа «одной из наименее благоприятных в санитарном отношении местностей России», «климат астраханский, — писал М.Н. Чернышевский, — уже успел оказать в течение пяти лет свое влияние и на здоровье моего отца, а также и на здоровье моей матушки, никогда не отличавшейся здоровьем. <...> Дальнейшее проживание в Астрахани представляет для моей матушки самую серьезную опасность, угрожая прямо ее жизни». Он просил о переводе отца «в родной его город Саратов, куда имела бы возможность переселиться и больная моя матушка». В тексте прошения властным красным карандашом отчеркнуты два места, где говорится о возрасте Чернышевского («отцу моему уже шестьдесят первый год») и о Саратове. Сын добавил, что его отец в настоящее время «желал бы посвятить свои силы изучением историческим, философским и историко-литературным. Но для такого труда, — прибавлял сын писателя, — необходимы серьезные пособия и исторические материалы. Таких пособий Астрахань иметь, конечно, не может».

И вот 14 июня пришла распорядительная бумага из Петербурга, и князь Вяземский немедленно отправил Чернышевскому

¹ Бунин И.А. Миссия русской эмиграции // Бунин И.А. Окаянные дни. М.: Тула: Приокское кн. изд-во, 1992. С. 307.

собственноручную записку: «14 июня 89. Милостивый государь, Николай Гаврилович, особенно сожалею о том, что Вы не застали меня именно сегодня, т. к. имел сообщить Вам приятную новость: Вам уже разрешено переехать в Саратов. Хотел сегодня же сообщить Вам это известие письменно, всегда готовый к услугам

Ваш кн. Вяземский».

27 июня Чернышевский перебирается в Саратов, где прожил всего четыре месяца. Но он продолжал писать, переводить, а для нас важно то, что он успел рассказать новым интеллектуальным друзьям. Как пишут мемуаристы, конечно, заходил Чернышевский и в Сергиевскую церковь, где многие годы служили протоиереями его дед Г.И. Голубев и отец, здесь Николая Гавриловича крестили и здесь он венчался в 1853 г. Посетил дом Васильевых, в котором выросла Ольга Сократовна. Преподавательница А.П. Горизонтова рассказывала: «Это было летним вечером, жильцы дома находились во дворе. Отворилась калитка, и во двор тихо вошел незнакомый старик. Жильцы знали, что дом принадлежал раньше тестю Чернышевского, и слышали, что Николай Гаврилович должен приехать в Саратов. Поэтому они сразу догадались, что это был он. Николай Гаврилович, не обращаясь ни к кому с вопросом, молча сел на скамью, оперся руками на палку, бывшую у него в руках, склонил голову и долго просидел в глубокой задумчивости. Все, кто был во дворе, поняли, что ему вспоминалось прошлое, поэтому ушли в дом и увели детей, чтобы не потревожили его...» В часы отдыха Чернышевский ходил гулять на Волгу. Он любил гулять один и старался идти где-нибудь переулочками, чтобы пройти незамеченным.

Еще в 1885 г. он выделил В.Г. Короленко из сонма новых пишущих, прочитав в «Русской мысли» рассказ «Сон Макара» (1885. № 3), и высказал удивление той верности, с которой мастерски изображен якут. Удивительно, что сам он о себе говорил как о человеке, переставшем чувствовать современность. Самое смешное и грустное, что тот же Короленко принял это за реальность, говоря, что рационализм НГЧ мешал ему воспринимать современность, что он остался в прошлом. Он писал: «Какая это, в сущности, страшная трагедия остаться тем же, когда жизнь так изменилась. Мы слышим часто, что тот или другой человек “остался тем же хорошим, честным и с теми же убеждениями, каким мы его знали двадцать лет назад”. Но это нужно понимать условно. Это значит только, что человек остался в том же отношении к разным сторонам жизни. Если вся жизнь

передвинулась куда бы то ни было, и мы с нею, и с нею же наш знакомый, — то ясно, что мы не заметили никакой перемены в положении. Но Чернышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе». Но так ли это? «Его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли. <...> Чернышевский остался при прежних взглядах: от художественного произведения, как от критической или публицистической статьи, он требовал ясного, простого, непосредственного вывода, который покрывал бы все содержание»¹. Но «Сон Макара» он оценил и понял. Рацио Чернышевского было ему необходимо, мыслитель должен уметь думать, а чувствовать Чернышевский умел. Об этом говорит и его бесконечная любовь к жене, преданность памяти юного друга Добролюбова, верность Некрасову и самые горячие слова о нем, когда его судьба уже от него не зависела. Он писал в последний год жизни купцу и издателю Солдатёнкову: «Некрасов — мой благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал» (*Чернышевский*, XV, 793).

При этом осталось самое важное в нем — самоирония, которая дается только человеку высокой души. Среди его неоконченных рассказов, написанных на каторге, был построенный на чеченской легенде «Знамение на кровле» (1867—1870). Интересен этот рассказ однако не сам по себе, а той устной интерпретацией, которая была рассказана заключенным, и потихоньку от человека до человека добралась до Короленко. И простенькая легенда превратилась в философскую притчу. Вот пересказ В.Г. Короленко:

«Мой брат передавал мне одну импровизацию Чернышевского. Эту легенду-аллегория он слышал, к сожалению, из вторых уже рук: ему рассказывала племянница Чернышевского, под свежим впечатлением очень яркого, живого юмористического рассказа самого Николая Гавриловича. Брат передавал ее мне тогда же, но теперь мы оба восстановили в памяти лишь некоторые черты, один остов этой аллегии. Я привожу ее все-таки, так как в ней есть характерные черты и проглядывают отчасти

¹ *Короленко В.Г.* Воспоминания о Чернышевском. С. 312.

взгляды Чернышевского в последнее время на свою прошлую деятельность.

Когда-то, во время кавказской войны, Шамиль спросил одного прорицателя об исходе своего предприятия. Прорицатель дал ответ очень неблагоприятный. Шамиль рассердился и велел посадить пророка в темницу, а затем приговорил его к казни, ввиду того, что его предсказание вносило уныние в среду мюридов. Перед казнью пророк попросил выслушать его в последний раз и сказал: “В эту ночь я видел вещий сон: есть где-то на свете дом, в этом доме ученый человек сидит много лет над рукописями и книгами. Он придумает вскоре такую машину, от которой перевернется не только Кавказ и Константинополь, но и вся Европа. А будет это тогда, когда бараны станут кричать козлами”.

Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророк сеет в рядах правоверных напрасное уныние, — где же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили. Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненному, то один из баранов, назначенный к закланию, вырвался из рук черкеса и, вскочив на крышу шамилевой сакли, закричал три раза козлом.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвав самого верного из своих адъютантов, дал ему денег и велел ехать по свету, во что бы то ни стало разыскать неизвестного ученого и убить его прежде, чем он успеет окончить свою работу.

К сожалению, я совсем не знаю подробностей путешествия адъютанта по разным странам. Слышавшие этот рассказ говорили, что описание этих поисков представляло настоящую юмористическую поэму. Теперь приходится ограничиться тем, что адъютант действительно разыскал ученого и, кажется, именно в Петербурге. Он застал его, окруженного книгами, в кабинете, в котором топился камин. Ученый сидел против огня и размышлял. Когда адъютант Шамяля объявил ему, что он долго его разыскивал, чтобы убить, ученый ответил, что он готов умереть, но просил дать немного времени, чтобы покончить свои дела и планы.

— Ты хочешь привести в исполнение то, что у тебя здесь написано и начерчено? — спросил его мюрид.

— Нет, я хочу все это сжечь в камине, чтобы никто не вздумал выполнить то, над чем я так долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибался!..

— Нет, я — тот баран, который хотел кричать козлом, — ответил он с добродушной иронией, с которой часто говорил о себе.

В дальнейшие комментарии он не пускался, предоставляя, по своему обыкновению, слушателям делать самим те или другие заключения»¹.

Таково было его понимание той деятельности, которую ему приписывали. Ведь все думали, что сочинения его — это одна большая Книга, как делать революцию. Но этой книги он не хотел. И судя по последней фразе и не писал ее. Он был «баран, который хотел кричать козлом». То есть хотел разбудить людей, не более того. Короленко был конечно настоящим художником, умевшим увидеть внутреннее движение, он единственный заметил и отметил это неизбежное одиночество большого человека, которому не к кому было даже прислониться: «Он говорил оживленно и даже весело. Он всегда отлично владел собою, и если страдал, — а мог ли он не страдать очень жестоко, — то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делись своей горечью»².

Разве что в незначительной детали можно увидеть его большое и большое сердце.

Маяковский в поэме о любви «Про это» написал строчки: «Увидишь собачонку — тут у булочной одна — сплошная плешь, — из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь!». Стоит сравнить это с жестом Чернышевского, погибавшего от тоски в Астрахани: «Припоминается мне один из его рассказов в Астрахани. “Иду я по улице. Кошка мяукает... Я позвал ее. Подошла. Дал кусочек хлебца. Потом захожу к лавочнику говорю: у вас много остатков разных... Давайте этой кошке. Я буду вам платить за нее”. <...> Николай Гаврилович ходил и платил за кошку, которая была, таким образом, его пенсионеркой»³. Заметим и это — кусочек хлебца, сам ничего другого не ел. Делился последним.

Короленко ужас революции увидел после прихода к власти большевиков. Скепсис Чернышевского по поводу возможной революции он приписывал его отставанию от жизни, хотя и пытался оправдать «великого революционера» (как ему казалось) прошлых десятилетий. Чернышевский «не смеялся над прошлым и остался в основных своих взглядах тем же революционером в области мысли, со всеми прежними приемами умственной борьбы. Он смеялся только над своими попытками практической деятельности и, пожалуй, не верил в близость и плодотворность

¹ Короленко В.Г. Воспоминания о Чернышевском. С. 317–318.

² Там же. С. 311.

³ Хованский Н.Ф. Н.Г. Чернышевский в 1886–1889 годах // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. II. Саратов.: Саратовское книжное издательство, 1959. С. 284.

общественного катаклизма»¹. Мемуар был опубликован в 1904 г., накануне первой русской революции. Конечно, Чернышевский должен был казаться Короленко отсталым, хорошим, но устаревшим. Но скепсис Чернышевского по поводу плодотворности грядущего переворота оказался более проницательным. Идея обоготворения народа (от народников типа Короленко до Льва Толстого, с которым НГЧ постоянно спорил) в революцию выявила свою губительную силу. Народ не может быть основой прогресса. Как писал Чернышевский накануне ареста, обращаясь к Льву Толстому: «В некоторых, — пожалуй, в довольно многих, — случаях народ довольно упорно противился заботам об его образовании. Что же тут удивительного? Разве народ собрание римских пап, существ непогрешительных? Ведь и он может ошибаться, если справедливо, что он состоит из обыкновенных людей» (*Чернышевский*, X, 506).

Чернышевский, разумеется, не мог даже вообразить, что может появиться такое безжалостное направление мысли, как большевизм. «Молодая Россия» с ее призывом к уничтожению царской династии и богачей, листовка, которая так напугала Достоевского, казалась ему факультативным явлением, которое поддерживал забывший Россию Герцен, а может, и не подозревавший, что такое была пугачёвщина и звавший ее на дом Романовых. А волжанин Чернышевский и слышал о пугачёвцах, да и разбойников, основу подобных войск мог наблюдать. Старшие ему рассказывали, что 6-го августа 1774 г. Пугачёв явился под Саратов и начал его осаду. Начальником в Саратове в это время был полковник Иван Бошняк, в военном деле опытный. Бошняк решил умереть, а Саратова не отдавать, хотя Саратов в это время представлял собой только ряд шалашей, в беспорядке раскиданных по пожарному пепелищу. Удар, нанесенный Саратову Пугачёвым, был очень тяжел: у жителей не было ни крова, ни имущества, и если бы не кормилица Волга со своими рыбными богатствами да не соляная промышленность, город захудал бы на многие годы. Вскоре на помощь Саратову пришла сама императрица, решив сделать его из уездного города губернским. А затем постаралась переселить на Волгу, больше всего в Саратов, немецких колонистов. Город ожил. Ожили купцы и церкви. Весь большевизм, как мировая идея (народное ощущение) рожден верой в прогресс, верой, что завтра будет лучше, чем вчера, пусть сегодня и плохо. В советское время родилась трагическая шутка, как переосмысление этой веры: «сегодня хуже, чем вчера,

¹ *Короленко В.Г.* Воспоминания о Чернышевском. С. 319.

но лучше, чем завтра». Словно предчувствуя эту макабрическую шутку, замечательный поэт Константин Случевский написал в конце XIX века.

Вперед! И этот век проклятий,
Что на земле идет теперь
Счастливым веком добрых братий
Сочтет грядущий полужверь.

Действительно, эти полужвери уже были в России, мирный XIX век был промежутком меж катастрофами, и «полужверь» снова явился, явился в облике вроде бы человека, в своеобразном образе — образе большевика, нациста, фашиста. Вера в прогресс оказалась провокацией варварского безумия. Идея прогресса стала заменой идеи христианства. И человек расчеловечился. Чернышевский жил историей и видел эти страшные исторические перепады, уничтожавшие народы и цивилизации. «Пустогрудой» (как говорил Степун) веры в оптимистическое развитие истории у него не было, и не верил он, как Герцен, что варвары могут принести новое слово человечеству. Не верил он и в силу бедности. Об этом он писал в «Что делать?» («чтобы не было бедных!»), но и незадолго до смерти в письме к Солдатёнкову говорил: «Я могу быть каких бы то ни было мнений о наилучшем устройстве общества; но я не такой осел, чтобы не считать честным делом честное приобретение богатства. <...> Я не считаю желание разбогатеть дурным» (*Чернышевский*. XV, 788).

Увы, умный Короленко многое увидел, но историко-философской пронизательности Чернышевского не понял, именно он, в отличие от Чернышевского, оказался слишком приземленным, жившим сегодняшним моментом.

«Никогда он не произносил ни слов осуждения, ни слов, вызывающих сожаление»

Пожалуй, наиболее значительные воспоминания о последних месяцах Чернышевского — это текст, который написал *Александр Ардалионович Токарский* (1853—1917), — в 80-х годах присяжный поверенный Саратовского окружного суда; впоследствии член I Государственной думы, в которой примкнул к партии кадетов. Семья, в которой он вырос, была дружна с Пыпиными, откуда и любовь и преданность к Чернышевскому. Жил он в доме Чернышевских, снимая его в аренду. Среди

мемуаров о последних четырех месяцах жизни Чернышевского воспоминания Токарского отличаются детальностью, точностью, объективностью и, прошу прощения у других мемуаристов, умом.

Надо сказать, что взгляд юриста точен, без литературной и революционной фантастики. В отличие от других мемуаристов Токарский сумел обнять практически всю жизнь великого человека. Он был младше, но с самого детства его жизненные линии так или иначе пересекались с Пыпиными и Чернышевским. Как он вспоминал, первые его воспоминания о Чернышевском относятся ко времени детства, а благодаря знакомству с Пыпиными и тому, что отец выписывал «Современник», он уже не только знал имя Чернышевского, но и знал, что он очень большой человек. «И вот раз отец, приехав из Саратова, рассказал, что Чернышевский арестован и посажен в крепость. Мое собственное представление о Чернышевском, а вернее всего, слезы матери убедили меня в том, что случилось страшное несчастье. С таким представлением о Чернышевском в январе 1864 года я переехал в Саратов. Дом Пыпиных был первым домом, куда я попал. Кстати, там было двое гимназистов, почти мои сверстники: Петр и Михаил Николаевичи»¹.

Едва ли не единственный он нашел хорошие слова об Ольге Сократовне, вне всякой связи с Чернышевским, не только как с женой писателя, мыслителя и страдальца, а просто с веселой женщиной. Может, не случайно великий Срезневский бегал с ней наперегонки, значит, оставалось что-то девчачье. Чаше всего, пишет Токарский, он бывал у Ольги Сократовны в начале весны. Она снимала дачу, и хотя учење еще продолжалось, но гимназисты не только в праздники, но и в будни находили время прибегать к ней. К ней влекла их полная свобода, которую она предоставляла, и непринужденность, с которой она встречала гимназистов. «Мы шли к ней с своей провизией, чаем, сахаром и всякими предметами своей практической и научной изобретательности, вплоть до инструментов и материалов для постройки воздушного корабля. Все наши занятия перемешивались с рассказами Ольги Сократовны о Николае Гавриловиче»².

Наверно, только такая женщина могла давать жизненный тонус затворнику. И ее отношение к людям, в которых она чувство-

¹ Токарский А.А. Н.Г.Чернышевский (По личным воспоминаниям) // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 244.

² Там же. С. 245.

вала искреннюю симпатию к НГЧ, было самым радушным, соседским, подчас родственным. Не случайно во время женитьбы Чернышевский говорил людям, которые имели основание сомневаться в ее нравственности, что эта женщина несмотря ни на что будет ему верной женой, как того требовал церковный союз. Токарский вспоминал: «В конце мая Ольга Сократовна узнала, что Николаю Гавриловичу разрешено переехать в Саратов, и заявила, что она ищет квартиру. Я предлагал ей занять свой дом, но она наотрез отказалась, заявив, что средств у них нет, чтобы возратить затраченные мною на ремонт деньги, а одолжаться она не желает. “Притом же, — заявила она, — мы найдем квартиру дешевле, нас только двое, дом велик, и мы будем в барышах”. При этих переговорах Ольга Сократовна вспомнила, что как-то Николай Гаврилович посадил желтый шиповник и спрашивал, растет ли он еще. Мы осмотрели двор и никаких следов шиповника не нашли. Тогда я обещал ей к приезду Николая Гавриловича посадить шиповник. Мы приблизительно определили место, и я потом из леса с комом земли перенес на него огромный куст желтого шиповника»¹. И первая встреча Токарского так не похожа на встречи с НГЧ с другими людьми, искавшими необыкновенного. Простота описания вызывает больше доверия и к другим словам мемуариста. «В середине приема из калитки к кухне прошел бодрой, даже спешной походкой человек высокого роста, с шатеновыми вьющимися волосами, задал какой-то вопрос стоящим на крыльце и такой же бодрой походкой пошел обратно, но в середине двора круто повернул и направился к тому месту, где был посажен шиповник. Но он так был непохож на те портреты Н. Г-ча, которые я видел, что мне даже и в эту минуту не пришло в голову, что это мог быть он. Но мысль уже заработала, и к приему последних клиентов я был уверен, что приходил именно Н. Г-ч. И еще я вспомнил, что в это утро был полит шиповник, а это могло навести Н. Г-ча на мысль о замене им посаженного другим. Провожая последнего клиента, я спросил его, нет ли еще кого-нибудь, и, получив ответ, что есть еще один, просил пригласить. В этот момент, вероятно, услышав мои слова, вошел сам Н. Г-ч и — со словом “Чернышевский” — протянул мне руку»².

Одно можно сказать, что большей близости в последние годы из интеллектуалов у Чернышевского ни с кем не было. С Токарским мог он говорить часами и о семейных, и о бытовых

¹ Токарский А.А. Н.Г.Чернышевский (По личным воспоминаниям) // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. Антология. СПб.: РХГА, 2008. С. 246.

² Там же.

делах, но прежде всего было взаимопонимание в отношении к русским делам. И Токарский, будучи человеком чрезвычайно умным, понимал свою задачу, понимал, что он последний, кто может рассказать о последних днях и идеях НГЧ: «Личность этого великого подвижника и работника земли русской так мало известна, что каждый штрих, каждая особенность его характера должны быть предъявлены каждым, кто что-нибудь знает о Н. Г-че». Он и искал эти штрихи. Я помянул в начале книги, что все писавшие о Чернышевском были своего рода коллективным Эккерманом, но человеком, которого без скидок можно назвать Эккерманом, стал Токарский. В его текстах чувствуется конгенитальность герою, о котором он рассказывает.

Рассказывать, как много НГЧ работал, перевел двенадцать томов «Всеобщей истории» Георга Вебера, которые печатал под странным псевдонимом Андреев, собирался переводить «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона. Работал над первым томом «Материалов для биографии Н.А. Добролюбова», писал мемуары, пытался дописать повесть «Вечера у княгини Старобельской», что у него был человек, которому он диктовал, наверно имело бы смысл, если бы это был многотомный труд о его жизни. В данном случае, говоря о последних месяцах НГЧ, жанр ЖЗЛ предполагает рассказ не о переводах, а о последних его рассуждениях. Заметки Токарского тут неоценимы. Дело в том, что саратовцы встретили Чернышевского дружелюбно, но скептически, полагая, что ум его потускнел, энергия ослабела, что он отстал от жизни, одичал, не желает видиться с людьми, не интересуется текущей жизнью, другие говорили, конечно, что Чернышевский сохранил и способности, энергию и силы, но мысль и интересы его ушли от жизни, и это теперь скорее холодный ученый, чем кипучий публицист. Это видно из мемуаров Короленко, который говорил об уме НГЧ, но и непонимании современной жизни.

У Токарского было совсем другое впечатление, при этом добавлю, что он бы юрист высокого класса. Фактические знания Н. Г-ча и притом решительно по всем отраслям, писал он, не исключая и техники, были необыкновенно велики. Они значительно превышали тот запас сведений, с которыми он отправился в ссылку. Память Н. Г-ч имел удивительную. Иногда он шутя цитировал целые страницы из какого-нибудь писателя и притом безразлично: публициста, беллетриста или этнографа. Исторические даты, химические формулы, лингвистические формы — все это с одинаковым удобством вмещалось в голове Н. Г-ча. С текущей литературой он был знаком хорошо. Но я уверен, что

манера шутливо говорить могла маловнимательному человеку показаться незнакомством с текущими течениями.

Только две задачи с юных лет стояли пред его глазами — работа на пользу родного народа и возможность воспитать своих детей, — и обе они были отняты. Но пользу народа, как и воспитание детей, он видел не в восхвалении и потакании, а в образовании. Ему хотелось создать русский энциклопедический словарь, по типу Брокгауза, но без того балласта, которым загроможден последний. Ему представлялось, что очень скоро он в состоянии будет написать две книги для детей: политическую экономию и историю. Он хотел их назвать книгами для детей, но мечтал, собственно говоря, создать книги для народа. И существенно утверждение Токарского в противовес молодежи, полагавшей, что он изменил своим взглядам, что в вопросах общего характера Н. Г-ч никогда ни на одну йоту не проявил разномыслия с ранее высказанными им мнениями. Мало того, часто он их прямо подтверждал.

«О нем составилось мнение, что он рассеян, не обращает внимания на окружающее, не может ориентироваться в местности и вообще внешним миром не интересуется. И сам Н. Г-ч поддерживал эту легенду.

Как-то он рассказал в довольно большом обществе о том, как его везли в Сибирь. Подробно описывал местность и в середине рассказа сообщил, что когда его перевозили на большом пароме чрез большую и бурную реку, то он всех удивил вопросом: “А в какую сторону течет река?”

Я улыбнулся, улыбнулся и Н. Г-ч.

Прошло несколько времени, и Н. Г-ч задал мне вопрос: “С кем это вы вчера шли мимо нас? В зеленоватом платье и в шляпке с незабудками?” — “А в какую сторону течет река?” — ответил я ему вопросом. <...> От скольких назойливых вопросов защищала его броня после ссылки, и сказать трудно. <...> А между тем Н. Г-ч через 37 лет великолепно помнил своих товарищей и учеников, отлично помнил дома и так превосходно описывал загородные места, где он в детстве хотя бы раз бывал, что знающему их можно было сказать, на каком месте сидел Чернышевский и откуда видел он закат солнца; превосходно помнил галстуки и сюртуки Дружинина, шляпы Григоровича и легкомысленные пиджаки Тургенева.

Есть у меня еще одно доказательство наблюдательности Н. Г-ча.

На стене моего кабинета висела коллекция бабочек. Как-то Н. Г-ч подошел к ней и, переходя от ящичка к ящичку, указывал тех, которых он видел в Сибири, и указывал верно.

Чтобы заметить насекомых, да еще близорукими глазами Н. Г-ча, нужно много наблюдательности.

Еще случай. В первый же раз, как я заехал к Н. Г-чу, он заметил, что у меня лошадь косолапит. Я мог бы привести массу мелких фактов той же категории, но и приведенных достаточно, чтобы сказать, что наблюдательность у Н. Г-ча была очень развита. <...> К бронированию же я отношу и всегдашнюю манеру Н. Г-ча говорить полусерьезно, полушутя. Мне всегда казалось, что это не только способ изучить собеседника, определить, насколько этот собеседник понимает и улавливает основную мысль разговора, но способ самому, не вдаваясь в противоречия, изменить направление разговора¹.

Обычно Токарский с Чернышевским беседовали вечером в часы отдыха с 7 до 9. После чего, если хотелось продолжить разговор, то шли в кабинет НГЧ. Здесь стоит отметить, даже подчеркнуть, что чай Чернышевский пил необыкновенно крепкий. Впрочем, здесь напрашивается параллель с Достоевским, тоже пившим чай огромной крепости. На мой взгляд, это каторжная привычка. Крепкий чай (почти чефир) для каторжников был тонизирующим напитком. В этих вечерних посиделках Токарский отмечал и комические моменты, невероятное мальчишество НГЧ, несмотря на возраст. «Однажды я очень засиделся у Н. Г-ча. Несмотря на то, что в 9 ч. О. С. предупредила о конце визитного времени, что в 10 ч. она заявила, что идет спать, Н. Г-ч удержал меня. Около двух часов я взглянул на часы и сообщил ему об этом. Решили разойтись. Он взял в руки свечку, в зале огня не было, и пошел вперед. Шел он на цыпочках. Нужно было пройти мимо комнаты О. С. Я шел за ним тоже на цыпочках и старался шаг в шаг попасть в его следы. Как раз перед дверью комнаты О. С. он оглянулся, и, вероятно, моя фигура показалась ему столь комичной, что он поставил свечку на пол и неукротимо расхохотался.

Мы стояли, наклонившись друг к другу, и смеялись. Слабый свет стоявшей между нами свечки освещал наши наклонившиеся фигуры. О. С. проснулась, вскочила с постели и в шелку двери увидела эту сцену. “Что вы тут делаете?” – спросила она. Но мы решительно не могли объяснить, что мы делали, и молча прошли в переднюю. “А все-таки разбудили”, – сказал Н. Г-ч, и сказал это с чувством такого сокрушения, такой сердечной боли, что мне стало совестно за свое мальчишество»².

¹ Токарский А.А. Н.Г. Чернышевский. С. 263–264.

² Токарский А.А. Н.Г. Чернышевский (По личным воспоминаниям). С. 248–249.

Вообще описывать его отношение к жене требует хорошего и большого психологического анализа. Она много попортила ему крови, но он не воспринимал это так, ибо видел О.С. только как страдальницу, а себя как отца непутевой и безумно любимой дочери. «Как-то мы были у Н.Г-ча с одним развитым, умным, но несколько экспансивным товарищем. Разговор шел хорошо, Чернышевский оживился, товарищ, видимо, ему понравился, и мы засиделись гораздо дольше установленного срока. О.С. два раза напомнила, что визитное время прошло, и сама ушла из дому. Когда одевались уже в передней, экспансивный человек сказал: «Одного не понимаю, как это вы, Н.Г., женились на О.С.». Николай Гаврилович, похлопав его по плечу, сказал: “Знаете, прежде чем задать этот вопрос, нужно подумать... и подумать”.

И он указал себе пальцем на лоб.

Я смотрел на Н.Г-ча; я знал, как он болезненно чутко относится ко всему, что касалось О.С., и ждал взрыва, но лицо его было покойно, и пропало только обычное ироническое выражение глаз.

Мне представляется уместным при определении свойств характера Н.Г. остановиться на его отношениях к О.С. Может, ничто не возбуждало в обществе столько толков и недоумений, как эти отношения. Прежде всего, всех поражало, что после 20-летней разлуки эти отношения совершенно не переменились. <...> Еще в дневнике Чернышевского вы найдете указания на обвинение О.С. в бестактности, и обвинения эти идут и от молодых и от старых людей, и прекрасно они отпариваются благодаря совсем иным взглядам Н.Г-ча на понятие такта. Живость, необычность, даже эксцентричность он не смешивает с бестактностью. <...> Знал он и большинство сплетен про О.С. Все это, конечно, тяжело ложилось на его душу, но вызывало в ней не уныние, а желание дать отпор. И вот в этом-то чувстве и лежит та неточность в изображениях О.С., когда он ее превращает в Веру Павловну или Лидию Васильевну. <...> Но какое влияние могли иметь все рассказы и сплетни про О.С. на отношение Н.Г. к О.С., да ровно никакого, или, пожалуй, делали их еще более мягкими. <...> Еще до женитьбы Н.Г. прочно установил свои отношения к будущей своей жене. Убежденный сторонник, он внимательно работал над этим вопросом и выработал себе прочную линию поведения <...>. И Чернышевский действительно знал себя. Он до гробовой доски остался верен раз усвоенному отношению к жене. Он относился к ней и как отец к дочери, и как муж к жене. И каким полным непониманием характера Н. Г-ча звучат все нарекания на О.С., рассказы о ее деспотическом отношении к

Н.Г-чу. Не она, а он поставил так дело. Не случайно так сложились отношения, а сложились они по ясно предначертанному плану. Строителем своей семейной жизни был сам Н.Г-ч»¹.

Разумеется, он во всем был верен себе, и в этом Токарский прав. Не только литературная жизнь, а и политическая жизнь очень даже сильно задевала Чернышевского. Вывод Короленко, резонно полагает Токарский, что жизнь ушла, обошла Чернышевского и промчалась мимо него. Современникам всегда кажется, что они куда-то умчались, что их время — не чета прошедшему, что они шагают по пути прогресса в семимильных сапогах. «А как посмотришь с холодным вниманьем вокруг» — просто топчутся на месте. «И я твердо уверен, — пишет Токарский, — что <...> указать пути русскому обществу сильно помогли бы могучий ум, сильный талант и прочные знания Чернышевского. Особенно сильно меня укрепили в этом революционные годы, когда так ясно обнаружилась наша политическая неподготовленность и наше политическое невежество»².

Но любое явление имеет и свою обратную сторону. Он прощал, поощрял баловство жены, ее расточительность. Но старшим сыном практически не занимался, сутки проводя за письменной конторкой, и тот вырос в ощущении вседозволенности. Папа знаменитый, зарабатывает деньги, а мама умеет их тратить. И сын тоже подражал маминому образу жизни. А потом каторга. На каторгу, кстати, О.С. поехала с младшим — Мишей. Но Чернышевский сколько мог, пытался воспитывать детей, писал им длинные философические письма, стараясь приобщить к своим интересам. Если младший и не стал философом, публицистом, он оценил жизнь отца и после его смерти посвятил свою жизнь публикации его трудов и пропаганде его взглядов. При этом старался всю жизнь, как и отец, опираться на собственные силы, работал в железнодорожной конторе, поддерживал мать.

Проблема, и сложная, была со старшим. Демченко приводит письма сыновей родителям, от которых становится не по себе. 12 июня 1889 г. Саша неожиданно отправился за границу. «Саша поехал на Парижскую выставку, — извещал отца Михаил 10 июля. — Мы все, конечно, указывали ему на несоответствие такой поездки с его денежными средствами, но все отговаривания были, разумеется, напрасны. <...> О финансах, о цене денег, о правильном обращении с ними Саша никогда не имел ясного представления, но в данном случае заблуждение его дошло

¹ Токарский А.А. Н.Г.Чернышевский. С. 265–266.

² Там же. С. 271.

до такой степени, которой необходимо во что бы то ни стало положить предел». Деньги он взял у А.Н. Пыпина. «Вообще я должен сказать, — читал Николай Гаврилович, — что за последнее время Саша делал Ал<ександру> Ник<олаевичу> много неприятностей своим крайне дерзким обращением с ним при получении от него денег. А.Н. по своему добродушию относился к этому легче, чем следовало, но окружающих его обращение всегда возмущало. Поэтому я думаю, что лучше будет освободить Ал. Ник. от обязанностей быть Сашиним кассиром и передать эту должность мне, хотя это Саше и не нравится». Уже в Берлине Александр остался без денег, запросил их у брата, и тот решил послать 150 руб. через русского консула с предупреждением, что других переводов не будет. От Александра Михаил потребовал вернуться, а отца просил присоединиться к этому требованию. «Вы, милый Папаша, остаетесь единственным человеком, мнением которого он несколько дорожит, — писал Михаил отцу. — На те 50 руб., которые он получает от Вас, можно жить вполне прилично одному человеку, даже позволять себе некоторые удовольствия. Но путешествовать с такими скудными финансовыми способностями немислимо». Спустя три недели М.Н. Чернышевский написал, что Александр деньги получил, дал обещание консулу вернуться, но вдруг «вчера получил письмо от Саши от 19 июля из Парижа». Чернышевский немедленно вернул долг Пыпину¹. А младшему написал: «Ты хорошо сделал, — писал он младшему сыну 15 июля, — что адресовал письмо на мое имя, а не на имя матери. Я ничего не скажу ей. Она и без того достаточно огорчается нелепостями твоего несчастного (душевнобольного или просто бестолкового, не разберу), нищенствующего брата» (*Чернышевский*, XV, 888). В письме к А.Н. Пыпину от 16 июля Чернышевский осудил «нелепости понятий Саши» и поблагодарил за «снисходительную любовь», с которой тот выносил «глупые рассуждения несчастного сумасброда».

История с заграничной поездкой сына, повлекшей для всей семьи непредвиденные расходы, вызывала новые переживания и досаду. Александр этого не понимал. Его письма к отцу полны безмятежности и многие сопровождаются стихами, которые он просил отправить в «Русскую мысль». Однако вскоре у него кончились деньги, и 8 августа он послал отчаянное письмо к П.И. Бокову, умоляя прислать на обратную дорогу. «Хочется

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть четвертая. 1864–1889. Саратов: изд-во Саратовского пед. ин-та, 1994. С. 300–301.

побывать в Саратове, куда я прямо не приеду, с остановкой в Петербурге всего на несколько дней», — писал он. Это письмо П.И. Боков отправил Чернышевскому и на обороте приписал: «Я не сомневаюсь, что он сделал поездку в Париж в болезненном состоянии души и письмо это ясно доказывает» — оно адресовано в деревню, однако указана московская улица без обозначения дома. «Долго оно шло, но удивительно, что доставлено в Москву», — писал П.И. Боков 8 сентября¹.

Серьезно задуматься о происшедшем заболевающего Александра заставили письма отца от 10 и 18 сентября. «Если ты убедился, — писал он в первом из них, — что до сих пор ты поступал безрассудно, и если ты принял твердое решение следовать моим советам, можешь переселиться в Саратов. Ты будешь жить особо от меня. Жить на одной квартире с тобою я не хочу, пока не изменятся прочным образом твои отношения ко мне. Я не люблю ссор. А до сих пор ты держал себя относительно меня так, что каждый день моей жизни в одной квартире с тобою был непрерывной ссорой.

Я полагаю, что ты считаешь себя правым передо мною, меня виноватым перед тобою. Пока ты остаешься при таком образе мыслей, мне и тебе не должно видаться. Каждое свиданье было бы вредно и для тебя и для меня» (*Чернышевский*, XV, 897). Разлад отца с сыном углублялся. Жёсткую линию по отношению к брату продолжал сохранять и Михаил, настаивавший на более категоричных выражениях в требовании запретить Александру приезд к родителям. 26 сентября Чернышевский послал старшему сыну короткое письмо: «Безусловно прошу тебя отбросить всякую мысль о поездке в Саратов. Желая тебе здоровья и всего хорошего. Но видаться с тобою не хочу» (*Чернышевский*, XV, 902). Конечно, категоричность заявлений вырастала из отношений к старшему сыну Ольги Сократовны. Александр сделал попытку объяснить свое состояние. «Если я хотел бы ехать к Вам, — писал он 30 сентября, — то разумеется с тем, чтобы употребить всякие старания быть если не вполне бесполезным Вам, то, по крайней мере, сколько возможно порядочным собеседником и не бесполезным дома, не говоря уже о том, что мне хотелось бы отдохнуть от собственных мытарств». Свои прошлые неудачи по службе он объяснял необходимостью общаться с людьми, ему не нравившимися, а ему хотелось бы «примирить между собою людей по внутреннему чувству»².

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть четвертая. С. 301.

² Там же. С. 302.

За шесть дней до смерти 11 октября 1889 г. Чернышевский написал сыну Саше горькое, но жесткое письмо:

«Милый друг Саша,

Получив твое письмо от 1 октября, я увидел, что ты начинаешь понимать безрассудность прежней твоей манеры жить с пренебрежением к фактам. В прежних твоих письмах ко мне этого не было; потому я не показывал их твоей маменьке, чтобы не делать ей новых огорчений мыслями о твоём продолжавшемся безрассудстве. Письмо от 1 октября я показал ей, находя в нём начало перемены в тебе к лучшему. Ей стало жаль тебя; она посылает тебе денег для возвращения в Петербург. Как мы с нею будем жить в следующие недели без этих денег, наше дело. Как-нибудь проживем.

По возвращении в Петербург ищи себе должности. Бери всякую, какую предложат, хотя с самым малым жалованьем. Взяв, исполняй, без всяких попыток учить твое начальство, все, что оно велит тебе делать. Иначе тебя прогонят и с новой должности, как прогоняли с прежних. Твои невежественные и нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никаким начальником.

Когда ты прослужишь год на одной должности, я увижу, что ты тверд в намерении исправиться. Тогда, — писал он, — я рассужу, возможно ли для меня дозволить тебе видеться со мною. Раньше того я не хочу видеть тебя.

Будь здоров. Желаю тебе всего хорошего. Твой Н. Чернышевский» (*Чернышевский*, XV, 903—904).

11 октября и сын писал отцу в ответ на короткое письмо от 28 сентября: «Должно быть Вы слышали обо мне или по поводу меня слишком много слишком несправедливого. Постараюсь изменить Ваше настроение, милый Папаша»¹. Далее он сообщал о своих посещениях библиотеки, о пришедших ему новых математических идеях. Однако это письмо не застало Чернышевского в живых.

Но была, если говорить о семейных делах, главная проблема его жизни. Понимая и зная о том, что к ней относятся родственники не лучшим образом, буквально в последние недели (разумеется, он еще не думал о последних неделях), но, как и положено христианину, подводил итоги своей жизни и думал о близких. Особенно характерно его письмо издателю Солдатёнкову, который упрекнул О.С. в мотовстве, а Чернышевского, что он ходит под башмаком:

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть четвертая. С. 302.

«А легко ли меня держать под башмаком, это вы можете рассудить теперь: по моему поступку с Вами. Вы знаете, каков у меня характер на самом деле. Я мягок, деликатен, уступчив — пока мне нравится забавляться этим. Но — женщине ли держать меня в руках? — Я ломаю каждого, кому вздумаю память ребра; я медведь» (*Чернышевский*, XV, 790). И добавил: «Я не имею времени даже переписываться с моим женатым сыном и его женой; они переписываются с матерью, а не со мной; притом я хочу, чтобы они, насколько они способны быть благодарными, были благодарны матери, а не мне; я в их благодарности не нуждаюсь; если одряхлею, меня прокормит кто-нибудь из многих любящих меня за то честное, что писал я в молодости. Но моя жена по всей вероятности, переживет меня: кому будет дело до нее? Никому из посторонних; если сын (младший) и его жена не будут помогать ей, то ей придется жить на 7 или 6 руб. в месяц, как жила много лет без меня. Поэтому деньги и подарки младшему сыну и его жене идут от ее имени. <...> Моя жена — мотовка; мотовка она или нет, она не расходует и 20 коп. без моей воли. Она не боится меня, это правда; но она жалеет, что я работаю без отдыха; ей хотелось бы, чтоб я отдыхал; потому ни копейки не истратит она без положительного знания, что этот расход одобряется мною. И на себя ль расходует она деньги, идущие через ее руки, по недосугу мне заниматься пустяками? У нее нет ни одного шелкового платья: у нас из-за этого было много ссор; но я не мог добиться, чтоб она купила себе шелковое платье» (*Чернышевский*, XV, 790–791).

До его смерти оставалось еще пара месяцев. И все это время он зарабатывал деньги на жену. Ф.В. Духовников в письме к М.И. Семеvскому от 10 марта 1890 г. среди причин, вызвавших ухудшение здоровья Чернышевского, назвал «повышенную нервозность» Ольги Сократовны и «огорчения сыном-неудачником, который живет за границей и который постоянно требует деньги». «Может быть, — писал Ф.В. Духовников, — Н.Г. искренно сказал одному своему родственнику: “Вы думаете, что в Сибири мне жилось нехорошо, я только там и счастлив был”». Разумеется, Николай Гаврилович имел в виду исключительно семейно-бытовую обстановку, осложнившую его жизнь в Астрахани и Саратове, часто вызывая нервное перенапряжение.

Новый приступ болезни случился 14 октября. Вызванный А.В. Брюзгин отметил пароксизм той же малярийной лихорадки. Больной бредил, что, по мнению врача, указывало на слабость нервной системы. Лекарства возымели действие, и наутро 15 ок-

тября он чувствовал себя получше. Однако он тут же принялся за работу и, по свидетельству очевидца, «надиктовал более 16 страниц печатного текста, сам изумившись своей рабочей энергией». Организм не выдержал напряжения, и вечером приступ повторился. А.В. Брюзгина дома не оказалось, тогда А.А. Токарский отправился к доктору Н., но тот отказался идти, сославшись на бывших у него гостей. О «странном, если не сказать больше, отказе доктора Н. от исполнения просьбы посетить больного» писала саратовская газета. М.Н. Пыпин сообщал об этом эпизоде так: «...Токарский поехал за докторами: тот отказывается, тот спит; в конце концов кроме Брюзгина явились Кротков и Бонвеч». У Ф.В. Духовникова читаем: «В десять часов состоялся консилиум из докторов: Брюзгина, Кроткова и Бонвеча, приглашенного по совету А.П. Ровинского; хотя были приглашены и другие доктора (между прочим Розенталь и Погосский). На консилиуме пришли к заключению, что приступы болотной лихорадки приняли опасное направление. Предписали хинин. В два часа дня 16 октября снова приходили А.В. Брюзгин и М.И. Кротков. Они установили упадок сердечной деятельности и односторонний паралич. В сознание Чернышевский так и не приходил. В четыре часа ушли и вернулись через два часа; по-прежнему бессознательное состояние; давали дышать кислородом и применили возбуждающие средства. В двенадцать ночи состояние больного не изменилось. В 12 часов 37 минут ночи после апоплексического удара Чернышевского не стало»¹.

М.Н. Пыпин в своих письмах привел последние слова Чернышевского, произнесенные в бреду в три часа утра 16 октября: «Странное дело — в этой книге ни разу не упоминается о Боге». «О какой книге говорил он — неизвестно. В 4 ч. утра началась хрипота и икота, наступила агония, продолжавшаяся почти сутки». Умер он с Библией в руках.

Вот эта фраза, никем не расшифрованная, требует по меньшей мере рассуждения. Разумеется, речь шла не о Библии. Ведь именно Библия, то есть Книга, цивилизовала поначалу евреев, а потом через посредство Бога Сына другие народы. Возможно, речь шла о книге, которую приписывали ему, рассказывали, что он пишет книгу, которая перевернет мироздание, заменит Бога материей и возвысит Россию. Об этой книге он рассказал в своей притче о Шамиле, баране и козле. В ней он рассказал, что ученый сжег эту книгу, дабы не пошатнуть мироздание. Скорее

¹ Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть четвертая. С. 307–308.



всего, в ней могло не говориться о Боге, хотя, зная религиозность НГЧ, в это не очень верится. Приведу любопытнейшую его беседу с Токарским последнего саратовского года: «Как-то Н. Г-ч сидел в глубине своего дивана и глубоко задумался, я тоже молчал. Вдруг, даже не обращаясь, по обыкновению, с вопросами ко мне, а как бы мысля вслух, он сказал: “Неужели не найдется человек, который уловил бы закон человеческой жизни, как Ньютон уловил закон мироздания”. И, помолчав немного, прибавил: “Конечно, найдется”.

Мне не хотелось прерывать течения его мыслей. Чрез несколько дней я напомнил ему этот эпизод и спросил, не приближает ли нас к разрешению вопроса теория экономического материализма? “Нет, — сказал он просто, — это, может быть, материал, но не путь к разрешению вопроса”. И заговорил о другом¹. То есть экономический материализм не был для него путем к объяснению мироздания. Возможно, эта книга — была Россия, которую он всю жизнь читал. Но все же людей, несших в себе Бога, он видел, жил с ними, любил их, начиная с отца. А быть может, он думал о том, что в России так и не научились читать и понимать Библию. Вопрос остается.

Похороны Ольга Сократовна перенесла на один день, ожидая приезда сына Михаила с женой. С 17 по 20 октября квартира Чернышевских была открыта для всех, желавших проститься

¹ Токарский А.А. Н.Г. Чернышевский. С. 261—262.

с покойным. «Отец лежал в гробу, окруженном со всех сторон роскошными венками. Лицо его было глубоко спокойно; следы страдания и скорби исчезли <...> он производил впечатление спокойно уснувшего, сладко отдыхающего человека»¹, — вспоминал М.Н. Чернышевский. Демченко пишет, что венков было более сорока и большинство из них имели ленты с надписями. М.Н. Чернышевский привел в своей статье около тридцати, в том числе: «Автору “Что делать?” от русских женщин», «Великому незабвенному учителю и борцу за правду Н.Г. Чернышевскому. Русские женщины» (из Петербурга), «Мир праху твоему, страдалец» (от местного кружка молодежи), «Мыслителю и гражданину», «Памяти великого писателя от интеллигенции», «От молодежи незабвенному и дорогому» (венки от местных политических ссыльных), «Сеятелю великих идей от кружка почитателей», «Великому писателю от нижегородских почитателей», венки от студентов Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского (серебряный венок), Новороссийского, Дерптского, Варшавского университетов, Петровской академии, Горного и Лесного институтов, от Саратовского литературного фонда и редакций местных газет. **Умер русский святой, а, судя по венкам, хоронили революционера.**

Но сами похороны вернули его к дому, где он родился, к дому, воспитавшему в нем святость. Отпевали его Сергиевской церкви. Возле родового дома Чернышевских дважды отслужили литию — по пути в церковь и обратно. Весь достаточно длинный путь до Воскресенского кладбища гроб с телом несли на руках. Шли по Немецкой, Александровской и Московской улицам. Провожающие организовали хор, и «он пел прекрасно». «Катафалк, везомый четырьмя лошадьми, украшенный венками с развевающимися лентами, несение гроба женщинами, этот хор, масса провожающих — придавали всей процессии торжественно необычайный вид и делали похороны такими похоронами, каких Саратов не видел да никогда и не увидит. А тот, кто лежал в этом гробу? Как мало все это согласовалось с тою простотою, которую он везде и во всем любил! Но разве можно считать эту торжественность оскорблением его памяти?» — писал М.Н. Пыпин родным в Петербург.

Похоронили на Воскресенском кладбище в Саратове. Речей на кладбище не было. Погребли его в семейном склепе, для чего

¹ *Чернышевский М.Н.* Последние дни жизни Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников / Сост. Е.И. Покусаев и А.А. Демченко. М.: Художественная литература, 1982. С. 453.



пришлось опустить глубже в землю гроб матери Чернышевского Евгении Егоровны и два маленьких гроба – Александры Нейман (дочери Ек.Н. Пыпиной-Нейман) и Виктора Чернышевского. Гроб с телом Николая Гавриловича поставили рядом с отцовским по правую его сторону. Спустя полтора года на могиле Чернышевского была поставлена железная часовенка, изготовленная по рисунку художника Ф.Г. Беренштама, с цветными стеклами и запирающейся дверью. Часовенка сохранилась на территории усадьбы.

На сороковой день 26 ноября О.С. Чернышевская организовала, как и полагалось по христианскому обычаю, панихиду. Соответствующее объявление появилось в газете. Сохранившейся распиской от редакции газеты документально подтверждается, что текст объявления поместила вдова писателя. Интересен рассказ знаменитого кадета В.А. Маклакова о панихиде по Чернышевскому в Москве: «Молодое поколение Чернышевского уже не читало; но имени его не забыло. Даже в учебнике русской истории Иловайского был помещен пренебрежительный отзыв о его романе “Что делать”. Зато в студенческой песне до последнего времени сохранялся куплет:

Выпьем мы за того,
Кто “Что делать” писал.

Чернышевский был для нас символом лучшего прошлого. Кроме того, он пострадал за убеждения, был жертвой несправедливости. Его смерть кое-что во всех затронула. Власти хотели, чтобы она прошла незаметно. Допущено было только совершенно лаконическое оповещение о ней в газетах в отделе известий. Панихид назначено не было. Мы, студенты, решили, что этой смерти без отклика оставить нельзя. В 89 году Чернышевский был только “история”, а не “политика”; а из истории его имени вычеркнуть было нельзя. Что в панихиде по нем могло быть преступного? Не предупреждая священника, мы заказали в церкви Дмитрия Солунского, против памятника Пушкина, панихиду в память “раба Божия Николая”. Объявлений в газетах не помещали; но посредством нашей “боевой организации” оповестили студенчество по аудиториям. Призыв имел необыкновенный успех. Церковь была переполнена; многие стояли на улице. Я с паперти наблюдал, как со всех сторон непрерывными струями в нее вливались студенты. Встревоженный священник сначала отказался служить; его упростили, запугали или подкупили – не знаю. Власти панихиды не ожидали; мер принять не успели. Но одной панихидой дело не ограничилось. Церковь была на углу Тверского бульвара, из нее все без приглашения вышли на бульвар и двинулись по нему к университету. Это было почти кратчайшей дорогой. Но по тому времени это уже показалось событием. Громадная толпа студентов шла по Тверскому бульвару и потом по Никитской без криков, без пения, спокойно и стройно¹.

Стоит вспомнить преждевременную панихиду в 1880 г. в Нью-Йорке, вызов русским властям. Даже и реальная панихида в Москве вызвала смущение властей. Как писал Маклаков: «Панихида не была борьбой с властью. Но власть этого и не понимала и не умела использовать»².

Жена пережила Николая Гавриловича на 30 лет. Он умер не молодым, но сохранившим полноту сил и разума. Последние годы Ольга Сократовна жила безвыездно в Саратове. Однажды приехавший сюда М.Н. Чернышевский застал ее сидящей во флигеле в полном одиночестве и крайней запущенности. Ему удалось устроить ее в хроническое отделение городской больницы, где она и умерла на 86 году жизни – 11 июля 1918 г., в день своих именин. Как человека религиозного, её похорони-

¹ Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М.: Московская школа политических исследований, 2011. С. 102–103.

² Там же. С. 103.



Ольга Сократовна Чернышевская

ли с соблюдением всех церковных обрядов неподалеку от могилы мужа. Все заботы и расходы приняли на себя городские власти. «По смерти мужа, — писала газета, — Ольга Сократовна целых тридцать лет буквально влачила жалкое существование, ухудшавшееся с каждым годом и прекратившееся только теперь сильно запоздавшей смертью».

Но до самых последних минут её жизни окружавшие «уважали в ней жену великого писателя».

А потом пришла другая власть, но об этом поговорим в эпилоге. Вместо часовенки, которую одобрили родственники, поставили что-то вроде монумента для вождя народов.



На фоне монумента — праправнук писателя Павел Васильевич Чернышевский, японский исследователь Оя Оно и Владимир Карлович Кантор, автор этой книги

Эпилог

Что же случилось после смерти?

Последние лет сто, после победы большевиков, мы переживаем странное отношение к Чернышевскому. Казалось бы, после двадцати лет каторги, губительного Вилуйска, жизни впроголодь, страданий гениального человека, лишенного всякой возможности реализовать свои способности, прожившего почти до смерти как русская Железная маска, можно было бы с благодарностью принять его возвеличение. Его тексты изданы, сохранена его усадьба, превращена в музей, проводятся конференции, издаются сборники. Отчего российская интеллигенция, так преданно любившая Чернышевского, стала считать его врагом свободы и предшественником большевизма? Надо добавить, что эту свою посмертную славу и значение он получил из рук тех, кто уничтожал далее русского интеллигента как тип. Родился новый фантом. Точнее сказать, у фантомного революционера поменяли знаки – минус на плюс. Оказалось, что он провидел приход Ленина и его партии, «перепахал» их. И это убивало понимание Чернышевского у российской свободолюбивой интеллигенции. Фантомность Чернышевского (навязанная ему самодержавием революционность) оказалась выгодна новой власти. Именно носитель Христовой истины и становится в глазах толпы врагом добра, революционером. Фантом не умирает, просто принимает другой знак, меняется минус на плюс.

А к этому добавим известную фразу Ленина, что Чернышевский его «всего перепахал», чтобы остановиться на этой фигуре Великого инквизитора, как назвал Ленина Эренбург в романе «Хулио Хуренито». Безнравственность ленинской этики напрямую выводили из этики Чернышевского, именно этим и объясняя причину, почему он был большевиками так возвышен. Это (с

положительным знаком) утверждали советские исследователи, но это утверждали и эмигранты.

Русский историк-эмигрант Карпович, главный редактор «Нового журнала», вполне выполнял задачу, поставленную перед ним, — показать, что большевизм есть порождение русской мысли. «Цели могут быть достигнуты благодаря сильным личностям, которые могут влиять на ход событий, могут ускорить темп развития, дать направление хаотическому народному движению. В связи с этим представлен новый тип человека, и этот новый человек — что, я думаю, вполне ясно — революционер. <...> Представление о революционере в работах Чернышевского вполне ясно. Политический лидер должен преследовать свою цель, безо всякого снисхождения. Он должен помнить, что политика — неприятное дело. Чернышевский любил повторять две вещи: во-первых, что в политической деятельности нельзя носить белые перчатки, что история — не Невский проспект»¹. Ссылаясь на Н. Вольского (Валентинова), он приписывает «влиянию Чернышевского диктаторские и авторитарные черты ленинского социализма»². Как я пытался показать в книге, «новый человек» рожден у Чернышевского Новым Заветом, но когда в дело вступает политика, истина никого не интересует.

Замечательный современный историк Павел Трибунский в комментариях к книге показывает в обоих случаях передергивание и даже приписывание противоположного (ленинского) смысла словам Чернышевского. О «белых перчатках» говорил не Чернышевский, а Ленин, в рассуждении же об истории как не пути по Невскому проспекту Чернышевский вовсе не имел в виду работу революционера, он говорил именно об истории, говорил, что ее нельзя воспринимать как тротуар, выложенный к счастливому и райскому миру³. В каком-то смысле мысль Чернышевского — это парафраз формулы Гегеля: «Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами»⁴.

Что же писал Ленин? Не существует общечеловеческой морали, утверждал он, а есть только классовая мораль. Каждый класс проводит в жизнь свою мораль, свои нравственные ценности. Мораль пролетариата — нравственно то, что отвечает интересам

¹ Карпович М. М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII — начало XX века). М.: Русский путь, 2012. С. 181.

² Там же. С. 182.

³ См.: Трибунский П. Комментарии к: Карпович М. М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII — начало XX века). С. 322.

⁴ Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2005. С. 79.

пролетариата. Обращаясь к молодежи в 1920 г. и говоря о задачах союзов молодежи, вождь утверждал: «Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата»¹. Пролетариат для большевиков был, в сущности, сословием, классом, который должен был подчинить себе остальной народ. Взгляд разумного эгоиста Чернышевского есть опережающее возражение: «Отдельное сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе целый народ» (*Чернышевский, Антропологический принцип в философии, VII, 287*). Как писал Бердяев в своем трактате «О назначении человека», у Ленина было рационалистическое безумие, которое не останавливалось перед любыми жертвами. Трезвый, не безумный, рационалист Чернышевский писал: «Наука, которая должна быть представительницей человека вообще, должна признавать естественным только то, что выгодно для человека вообще, когда предлагает общие теории. <...> Совершенно напрасно говорить о естественности или искусственности учреждений, — гораздо прямее и проще будет рассуждать только о выгодности или невыгодности их для большинства нации или для человека вообще: искусственно то, что невыгодно» (*Чернышевский, Капитал и труд, VII, 36*).

Стоит сравнить ленинский тезис с нечаевским «Катехизисом революционера». Нечаев писал: «Революционер — человек обреченный. <...> Он презирает и ненавидит во всех ея побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему»². Ленин почти буквально повторил Нечаева. Конечно, нравственный запал Чернышевского был совсем иного порядка. В отличие от недоучившихся или малоучившихся Нечаева и Ленина, Чернышевский работал во время учебы как серьезный филолог (у И.И. Срезневского), защитил магистерскую диссертацию. Не менее важной была его исходная нравственная установка. Напомню слова С.Н. Булгакова: «Вообще, духовными навыками, воспитанными Церковью, объясняется и не одна из лучших черт русской интеллигенции, которые она утрачивает по мере своего удаления от Церкви, например, некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм, вообще строгость личной жизни; такие, например, вожди русской интеллигенции,

¹ Ленин В.И. Задачи союзов молодежи // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 309.

² Нечаев С.Г. Катехизис революционера // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый / Документальная публикация под редакцией Е.Л. Рудницкой. М.: Археографический центр, 1997. С. 244.

как Добролюбов и Чернышевский (оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц), сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик, который, однако же, постепенно утрачивают их исторические дети и внуки»¹.

Так называемые «исторические дети и внуки» этот нравственный облик и вправду утратили. Но можно ли их называть «детьми и внуками»? Скорее, это крошки Цахесы, присвоившие себе достоинства благородного человека. Интересно, что, даже полагая Чернышевского предшественником Ленина, Карпович вдруг видит в идее Чернышевского о разумном эгоизме почти альтруизм. Он пишет, что под западным влиянием возникает «новая утилитарная этика, развитая отчасти в связи с общей рационалистической философией и влиянием Фейербаха. Если человек — мера всех вещей, то естественно, что он мера и в вопросах этики. Но более прямое воздействие оказывал на них английский утилитаризм Бентама и Милля-старшего. Эта этическая система базировалась на разумном эгоизме, иногда называемом просвещенным эгоизмом, согласно которому моральное благо и польза — одно и то же. Что полезно, то хорошо: что хорошо — то полезно. Примерно так это можно сформулировать, хотя здесь возникает та же опасность неверного толкования, что с формулой Гегеля о действительном и разумном. Мы должны быть добрыми, потому что это полезно для нас, и альтруизм — всего лишь наиболее рациональная форма эгоизма. Самая роковая иллюзия — противопоставлять собственное благо и благо всего человечества, потому что они совпадают. Они совпадают, будучи правильно понятыми»².

Зачем же Ленину был нужен Чернышевский? На это отвечает Бердяев. Но немножко терпения. Поразительно, что Ленин свою книгу «Что делать?» о создании полностью подчиненной вождю организации революционеров называет так же, как роман Чернышевского³, в котором утверждалось отсутствие вся-

¹ Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции // Булгаков С.Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. М.: Астрель, 2008. С. 447.

² Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII — начало XX века). С. 164.

³ Стоит сослаться на Валентинова-Вольского: «Мне казалось каким-то курьезом, что такая тусклая, нудная, беззубая вещь как “Что делать” могла “перепахать” Ленина, дать ему “заряд на всю жизнь”. Как небо от земли была далека от меня мысль, что есть особая, скрытая, но крепкая революционная идеологическая, политическая, психологическая линия идущая от “Что делать” Чернышевского к “Что делать” Ленина и речь идет не только о совпадении заголовков» (Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 109–110).

кой централизации и свободы личности в артели. Вера Павловна, устраивая свою мастерскую, говорила работницам: «Надобно вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. <...> Без вашего желания ничего не будет». Люди с ясным взглядом, не ангажированные теми или иными политическими группами, это ясно видели. «Надо ли доказывать, — писал Степун, — что следов бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»¹. Что касается Чернышевского, то о нем он тоже произнес достаточно внятно: «Чернышевскому было ясно, что все преждевременно, что взят совершенно бессмысленный темп». Но, повторяю, прикосновение к Чернышевскому, как мученику царизма, было значимо для тех, кто готовил революцию против самодержавия.

Но Чернышевский был звездой оппозиции. Его имя могло окормить новых революционеров. Как писал Бердяев: «Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского “нигилизма” был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем святого». Продолжу фразу Бердяева: «Он говорил: я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей. Так говорил и писал “утилитарист”. Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва»².

Надо сказать, что наиболее благородные русские мыслители видели в Чернышевском великого мыслителя и страдальца. Был возмущен этим актом С.М. Соловьёв. А спустя тридцать лет его сын В.С. Соловьёв все с той же страстью негодования на несправедливость напишет: «В деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых, — и решение

¹ *Степун Ф.А.* Сочинения / Вступительная статья, составление, комментарии и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 635.

² *Бердяев Н.* Русская идея. СПб.: Азбука, 2012. С. 141.

исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов»¹.

Не случайно шутили в советское время, что некоторых русских царей необходимо посмертно наградить орденом «Октябрьской революции» за создание революционной ситуации в стране. Это надо уметь – выкинуть из жизни человека, который мог воздействовать благотворно на развитие страны, выкинуть из страха перед его самостоятельностью и независимостью! Обратимся к В.В. Розанову, человеку неожиданных, но точных, как правило, характеристик, чтоб оценить *государственный* масштаб Чернышевского. Розановская неприязнь к Герцену сказалась и в этих словах, зато разночинца он поднял на пьедестал: «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства – было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> С самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута жила и каждый шаг обвеян “заботой об отечестве”.<...> Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий *где* найти “энергий” и “работников”, государственный механизм не воспользовался этой “паровой машиной” или, вернее, “электрическим двигателем” – непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков, или “знаменитый” Мордвинов против него как деятеля, т. е. как *возможного деятеля*, который зарыт был где-то в снегах Вилуйска? <...> Я бы <...> как лицо и энергию поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Сперанского и “незыблемость” Аракчеева... Такие лица рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое. <...> Именно “перуны” в душе.<...> Он был духовный, спиритуалистический “s”, ну – а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это *и не важно*. В сущности, он был как *государственный деятель* (общественно-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из “екатерининских орлов”, и бравурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславно-го Герцена. Он был действительно solo. <...> Это – Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше “романиста”, или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь “драться на рапирах” и “запретили куда-нибудь принимать на службу”. Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*. <...> Поразительно: ведь это – прямой путь

¹ Соловьёв В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский. С. 649.

до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его *в практику* — мы не имели бы и *теоретического нигилизма*. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его. Срубили, “чтобы ободрать на лапти” Обломову...»¹ А уж от цусимского поражения лишь один шаг до первой русской революции и далее. Иными словами, Розанов считал, что губительное преступление самодержавия, — испугавшись существования в стране личности такого масштаба, уничтожить его и как деятеля, и как соперника (вины не было!), убрав подальше от способной к самодвижению России. Он бы Россию благоустроил, но его согнали с причитавшегося ему кресла законодателя, а когда свято место стало пусто, место это заняли бесы.

За что же он был арестован? Поразительное дело, но более всего любой автократический режим не приемлет независимость духа и мысли. Кажется, единственный из русских литераторов того времени в письме к русскому царю он подписался не «Ваш верноподданный», а «Ваш подданный». Разница громадная.

Было два выбора исторического пути. Выбор Чернышевского, отстаивавшего свое человеческое достоинство. И выбор самодержавия — не желавшего реформирования, а потому шедшего к гибели, *amor fati*, по словам Ницше.

Владимир Соловьёв не раз подчеркивавший близость своих идей идеям Чернышевского, даже назвав статью о его диссертации «Первый шаг к положительной эстетике», оценил его арест и каторгу как удар власти по независимому человеку: «От этих разговоров с отцом у меня осталось ясное представление о Чернышевском как о человеке, граждански убитом не за какое-нибудь политическое преступление, а лишь за свои мысли и убеждения. Конечно, обнародование своих мыслей и убеждений в печати есть уже поступок, но если этот поступок совершается с предварительного разрешения правительственной цензуры, казалось бы ясно, что он не может быть преступлением»².

Через дело Чернышевского была видна вся Россия, поэтому его жизнь и идеи были в центре размышлений русских мыслителей, не политиков, повторяю, которые используют любое явление на политическую пользу, а думавших о судьбе России.

Соловьёв в связи с делом Чернышевского вспоминает слова А.С. Хомякова:

¹ Розанов В.В. Уединенное // Розанов В.В. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 207–208.

² Соловьёв В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский // Соловьёв В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 644.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Постыдной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

«...я должен сказать, — писал Соловьёв, — что все сообщения печатные, письменные и устные, которые мне случилось иметь об отношении самого Чернышевского к постигшей его беде, согласно представляют его характер в наилучшем свете. Никакой позы, напряженности и трагичности; ничего мелкого и злобно-го; чрезвычайная простота и достоинство. <...> Но нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека».

А как же быть с идеей разумного эгоизма? Напоследок хочу это еще раз проговорить. Идея «разумного эгоизма» кажется многим гораздо ниже морали самопожертвования. Но не говоря уж о том, что именно Чернышевский явил собой пример жертвенности, напомним слова Кассирера о смысле этики разумного эгоизма (рассматривает ее он на примере Гельвеция): «Лишенный предрассудков человек увидит, что все, что восхваляют в качестве бескорыстия, великодушия и самопожертвования, только называется разными именами, но по сути дела не отличается от совершенно элементарных основных инстинктов человеческой природы, от “низких” вожделений и страстей. Не существует никакой нравственной величины, которая поднималась бы над этим уровнем; ибо какими бы высокими ни были стремления воли, какие бы сверхземные блага и сверхчувственные цели она себе ни воображала, — она все равно остается в плену эгоизма, честолюбия и тщеславия. Общество не в состоянии подавить эти элементарные инстинкты, оно может только сублимировать и прикрывать их»¹. *Идея разумного эгоизма и есть сублимация природных инстинктов.* Также и Фейербах сводит нравственность к действию разумно-эгоистического принципа: если счастье Я необходимо предполагает удовлетворение Ты, то стремление к счастью как самый мощный мотив способно противостоять даже самосохранению.

Западные слависты видят в идеях Чернышевского лишь эгоизм, который, будучи разумным, конечно же ужасен, ибо ведет

¹ Кассирер Эр. *Философия Просвещения*. М.: РОССПЭН, 2004. С. 41–42.

к демонизму. Наши исследователи вспоминают хотя бы благородных предшественников идеи разумного эгоизма. Исток ее ищут то у Гельвеция, то у Милля, то у Фейербаха. И это справедливо. Можно вспомнить и «Никомахову этику» Аристотеля, которую Чернышевский знал с младости.

Но почему бы не обратиться к первоисточнику — к святой книге. Ведь идея эта родилась еще в Ветхом Завете: «*Люби ближнего твоего, как самого себя*» (Лев 19 : 18). И уже стало обязательным принципом в Новом Завете: «*Возлюби ближнего твоего, как самого себя*» (Мф 22 : 39). Иными словами, чтобы возлюбить ближнего как самого себя, нужно для начала любить самого себя. Если ненавидишь себя, то и ближнего будешь ненавидеть. Вот вам и объяснение разумного эгоизма. Это вроде бы просто, но понимается с трудом, отсюда все перверсии в трактовке отношений Достоевского и Чернышевского. Ведь и Чернышевский хотел «искать человека в человеке».

Разумеется, в основе их миропонимания и мироощущения, как людей выраставших на христианских заветах, лежала основная проблема — проблема моральной заповеди христианства: «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22 : 38–40).

Любопытно, но в Саратове был поставлен памятник Александру II, главному и бессмысленному гонителю Чернышевского.





Памятник Ф.Э. Дзержинскому был торжественно открыт 23 декабря 1939 г. на площади перед железнодорожным вокзалом. Скульптор – Дундук Павел Фёдорович – саратовский скульптор

На его месте после революции был возведен памятник НГЧ.

Забавны шутки истории. Постамент императора перенесли к железнодорожному вокзалу и установили на нем памятник чекисту Ф.Э. Дзержинскому. Недаром император так привечал жандармское управление.

Уже много лет спустя после смерти Чернышевского, после гибели Российской империи один из крупнейших политиков последнего царствования

*Памятник
Чернышевскому
работы
Александра Кибальникова
был установлен в 1953 г.*



(В.А. Маклаков) сравнил деятельность Чернышевского с деятельностью Столыпина и других, которые могли бы спасти Россию: «Класс, хотя бы даже дворянско-интеллигентный, все-таки же не только слишком велик, но и главное — слишком открыт постороннему в него проникновению, чтобы можно было говорить о физическом вырождении класса. Из моих детских воспоминаний я сохранил в памяти одну в свое время нашумевшую статью Чернышевского о причинах падения Римской империи, где он восставал против ходячего утверждения, будто римляне выродились. Этого, говорил он, быть не может. <...> Вы скорбите <...> вспоминая и Столыпина, и Деникина, и Врангеля. <...> Вот тут-то я и вижу развращающее влияние режима, который требовал безусловного повиновения, не умея в то же время убедить, что это повиновение ведет к добру и благу государства»¹.

Беда позднего самодержавия в потере петровской харизмы (Петр верил в таланты подданных и лелеял их), в том, что самовластие боялось строителей России, задав парадигму всему русскому будущему, когда в сталинский период уничтожались великие ученые, инженеры, поэты и т. д. Это та бездна раболопия, которая поглощает все лучшие русские силы и судьбы. Напомню слова Волгина из «Пролога»: Нация рабов, снизу доверху все рабы. Но есть все же высшая справедливость, и, говоря о НГЧ, литературовед С. Лурье опроверг эту фразу, заметив: жизнь Чернышевского показала, что не все рабы. Очень мало свободных, но они время от времени являются.

¹ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919—1939 гг. / Сост., автор вступ. ст. и примеч. О.В. Будницкий. М.: РОССПЭН, 2012. С. 216—217.

Основные даты жизни и творчества Н.Г. Чернышевского

(1828–1889)

1828

Июль 12 (24). В Саратове в семье священника родился Николай Гаврилович Чернышевский. Отец – Гавриил Иванович Чернышевский, мать – Евгения Егоровна Голубева.

1826

Сентябрь 15. Зачислен в Первое саратовское духовное уездно-приходское училище с нравом обучаться в долге родителей (с ежегодной сдачей экзаменов в училище).

1842

Сентябрь 7. Начал учиться в Саратовской духовной семинарии.

1845

Декабрь 29. Подал прошение об увольнении из семинарии.

1846

Февраль 18. Получил свидетельство об увольнении из семинарии и метрическое свидетельство.

Май 18. Выехал с матерью из Саратова в Петербург.

Июнь 19. Приехал в Петербург.

Августа 2–13. Сдавал приемные экзамены в университете на Первое отделение философского факультета по разряду общей словесности.

Август 14. Узнал, что принят в университет (зачисление состоялось 20 августа).

Август 23. На первой лекции познакомился с вольнослушателем М.И. Михайловым (дружеские встречи продолжались до февраля 1848 г., когда Михайлову пришлось уехать из Петербурга).

1847

Июнь 7. Отъезд из Петербурга на каникулы в Саратов (с остановкой в Москве 10–14 июня).

Август, конец. Отъезд из Саратова в Петербург.
Декабрь. Начал давать частные уроки.

1848

Февраль. Начал регулярно читать иностранные газеты и журналы и следить за политическими событиями в Европе.

Весна. Подружился с В.П. Лободовским.

Октябрь. Задумал создать машину вечного движения, *чтобы* облегчить труд людей.

Ноябрь 23. Познакомился с А.В. Ханыковым, членом кружка М.В. Петрашевского (Ханыков дал ему Фейербаха.).

Ноябрь – декабрь. Работал над повестью о Жозефине («О воспитании»).

1849

Апрель. Арест петрашевцев.

Март – июль. Пытался сделать модель машины вечного движения.

Лето. Проводил каникулы в Петербурге, работая над словом из Ипатьевской летописи и переводами из Лессинга.

Октябрь – ноябрь. Писал повесть «Теория и практика».

Декабрь 14. Начал посещать кружок И.И. Введенского.

1850

Март – май. Пытался сделать модель машины вечного движения.

Апрель – июнь. Выпускные экзамены в университете.

Май 16. Подал просьбу о месте учителя русской словесности в Петербургском кадетском корпусе.

Июнь 15. Отъезд в Саратов (с остановкой в Москве 18–20 июня).

Июнь 26 – июль 25. В Саратове у родителей.

Август 11. Вместе с А.Н. Пыпиным вернулся в Петербург.

Август – сентябрь. Хлопоты о должности.

Сентябрь 19. Получил диплом об окончании историко-филологического факультета Петербургского университета с ученой степенью кандидата словесности.

Октябрь. Получил уроки по Втором кадетском корпусе (преподавал до февраля 1851 г.).

1851

Январь. Получил место старшего учителя словесности в Саратовской гимназии.

Март 12. Отъезд из Петербурга в Саратов (с остановками в Москве, Нижнем Новгороде и Казани).

Апрель 13. Приехал в Саратов и приступил к преподаванию в гимназии. Познакомился с историком Н.И. Костомаровым.

1853

Январь 20. Познакомился с О.С. Васильевой.

Февраль 19. Сделал предложение О.С. Васильевой и начал вести «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» (последняя запись 8 апреля).

Апрель 19. Умерла мать Н.Г. Чернышевского Е.Е. Чернышевская.

Апрель 29. Вступление в брак с О.С. Васильевой.

Май 13. Приехал с женой в Петербург.

Июль. Начал сотрудничать в «Отечественных записках».

Август 27. Зачислен на должность учителя русского языка и словесности во Втором кадетском корпусе (проработал там до мая 1855 г.).

Осень. Познакомился с Н.А. Некрасовым.

Ноябрь – декабрь. Пишет статьи и переводит для газеты «Санкт-петербургские ведомости» и журн. «Отечественные записки» и «Моды».

Декабрь. Опубликовано «Опыт словаря из Ипатьевской летописи», писавшийся по просьбе академика И.И. Срезневского.

1854

Февраль. Начал сотрудничать в «Современнике».

Март 5. Родился сын Александр.

Январь – март. Сдавал магистерские экзамены.

1855

Апрель. Прекратил сотрудничество в «Отечественных записках».

Май 1. Вышел в отставку.

Май 10. Публичная защита в Петербургском университете магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (научный руководитель – знаменитый либерал профессор А.В. Никитенко).

Декабрь. В «Современнике» появилась первая статья «Очерков гоголевского периода русской литературы» (печатались на протяжении всего 1856 г.).

1856

Апрель. Познакомился с Н.А. Добролюбовым.

Август 10. Н.А. Некрасов, на время отъезда за границу, официально передал Чернышевскому свои редакторские полномочия.

Август 21. Вышла книга для юношества «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения».

Октябрь – декабрь. В «Современнике» напечатаны первые три статьи работы «Лессинг» (следующие четыре – в 1857 г. в № 3, 4, 6).

1857

Январь 20. Родился сын Виктор.

Апрель. В «Современнике» начинает регулярно сотрудничать Н.А. Добролюбов.

Июнь 19 (июль 1). В Лондоне выходит л. 1 «Колокола».

Июль. Отдельным изданием вышла книга «Лессинг».

1858

Январь 6. Чернышевский утвержден редактором «Военного сборника» (работал в журнале до конца года).

Март 17. В Петербург приехал возвращенный из ссылки Т.Г. Шевченко.

Март. При «Современнике» начато издание «Исторической библиотеки», первой книгой которой была «История восемнадцатого столетия» Шлоссера (перевод под редакцией Чернышевского; второй том вышел в сентябре, третий – в ноябре).

Май. В № 18 журнала «Атеней» напечатана статья «Русский человек на rendez-vous».

Октябрь 7. Родился сын Михаил.

Октябрь 29. Чернышевский утвержден в степени магистра русской словесности.

Декабрь. В № 12 «Современника» напечатана «Критика философских предубеждений против общинного владения».

1859

Май, октябрь. Вышли тома 4, 5, 6 «Истории восемнадцатого столетия» Шлоссера.

Май. В № 5 «Современника» напечатана статья «Г. Чичерин как публицист».

Май 20 (июнь 1). Вышел л. 44 «Колокола» со статьей А.И. Герцена «Very dangerous!!!».

Июнь 24–30 (июль 6–12). В Лондоне. Две встречи с А.И. Герценом.

Июль 30 – август 23. В Саратове.

Сентябрь 1. Вернулся в Петербург.

Ноябрь 8. Первое собрание Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературного фонда).

1860

Январь – февраль. В № 1 и 2 «Современника» напечатана статья «Июльская монархия».

Январь. Вышел том 7 «Истории восемнадцатого столетия» Шлоссера (т. 8, последний, – в апреле).

Февраль. В виде приложения к «Современнику» (№ 2–5. 7, 8, II) напечатаны «Основания политической экономии... Дж.-Ст. Милля. Перевод Н. Чернышевского, дополненный примечаниями переводчика» (отд. изд. в декабре).

Апрель – май. В № 4 и 5 «Современника» напечатана статья «Антропологический принцип в философии».

Май, середина. Добролюбов уехал лечиться за границу (вернулся 9 августа 1861 г.).

Июль 18. Цензору журнала «Современник» сделано замечание за разрешение печатать статьи, «потрясающие основные начала власти монархической... и возбуждающие ненависть одного сословия к другому». Как пример назывались статьи «Июльская монархия» и «Антропологический принцип в философии».

Октябрь 3(15). В Лондоне вышел л. 83 «Колокола» со статьей А.И. Герцена «Лишние люди и желчевики».

Ноябрь. Умер сын Виктор.

1861

Март 5. Опубликован Манифест 19 февраля об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Февраль или март. Н.В. Захарьиним написана под диктовку (диктовка приписана жандармами Чернышевскому) прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

Март 18. Второе предостережение редакции «Современника» от Главного управления цензуры.

Март 27–30. Был в Москве на совещании московских и петербургских редакторов по вопросу о смягчении цензуры.

Апрель 12. Подавление крестьянского восстания в селе Бездна (казнь руководителя крестьян с. Бездна Антона Петрова – 19 апреля).

Лето. В № 6 и 7 «Современника» напечатана статья «Полемиические красоты» (№ 6 вышел 1 июля, № 7 – 1 августа).

Август 9. В Петербург вернулся Н.А. Добролюбов.

Август 16. У П.Л. Лаврова совещание об устройстве Шахматного клуба.

Август 17. Выехал из Петербурга в Саратов с остановкой в Москве.

Август 18. В Москве. Заходил к Вс. Костомарову.

Август, конец – сентябрь 15. В Саратове.

Сентябрь 14. Арест М.И. Михайлова.

Сентябрь 23. Возвратился в Петербург.

Сентябрь 24. Закрытие Петербургского университета.

Сентябрь 25. Начало студенческих волнений и аресты студентов.

Октябрь 23. Умер Г.И. Чернышевский.

Ноябрь 15. За Чернышевским начата слежка агентами Третьего отделения.

Ноябрь 17. Умер Н.А. Добролюбов.

Ноябрь 20. Речь Чернышевского на похоронах Добролюбова.

Ноябрь 23. Секретный циркуляр министра внутренних дел о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта.

Ноябрь. Третье цензурное предостережение «Современнику».

Декабрь 7. Писал П.Л. Лаврову о выдаче денег из средств Литературного фонда студентам, освобождаемым из-под ареста.

Декабрь. В № 11 «Современника» (вышел 14 декабря) напечатан некролог Добролюбова и статья «Не начало ли перемены?»

Декабрь 14. Ездил с женой в крепость прощаться с отправляемым в Сибирь М.И. Михайловым.

Вторая половина года (июнь — декабрь). В № 6—10, 12 «Современника» напечатаны статьи «Очерки из политической экономии (по Миллю)».

1862

Январь 10. Открыт Шахматный клуб.

Февраль 8. Вышел № 1 «Современника» со статьей «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова».

*Февраль.*хлопоты об устройстве при Литературном фонде Общества для пособия учащейся молодежи (открыто 29 апреля, закрыто 10 июня).

Февраль 23. Запрещена цензурой статья «Письма без адреса».

Март. Начали выходить «Сочинения Н.А. Добролюбова».

Март 16. Вышла статья «В изъявление признательности» («Современник» № 2).

Май 16. В № 4 «Современника» напечатана статья «Научились ли?»

15—16 мая. Начались петербургские пожары.

Июнь 15. Распоряжение министра народного просвещения о приостановке «Современника» на восемь месяцев.

Июль 3. Ольга Сократовна с детьми уехала в Саратов,

Июль 7. Чернышевский арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Арест производил жандармский полковник Ракеев, который в чине ротмистра сопровождал тело Пушкина к последнему погребению.

Октябрь 30 и ноябрь 1. Первый допрос в Следственной комиссии.

Октябрь — декабрь. Переводил тома 15 п 16 «Всемирной истории» Шлоссера.

20 ноября. Письмо Чернышевского Александру П.
Декабрь 14. Начал писать роман «Что делать?».

1863

Январь 17. Ольга Сократовна вернулась из Саратова в Петербург.
Январь 28. Начал голодовку (до 6 февраля), требуя ускорения хода следствия и протестуя против неисполнения его просьбы разрешить жене проживать в Петербурге и ему видаться с женой.
Февраль 23. Первое свидание с женой.
Март 16. Второй допрос.
Март 19. Вышел № 3 «Современника» с началом романа «Что делать?» (продолжение в № 4 (вышел 28 апреля) и № 5 (вышел 30 мая)).
Апрель 29. Второе свидание с женой.
Май 29. Дело Чернышевского передано из Следственной комиссии в сенат.
Апрель – май. Писал повесть «Алферьев».
Июнь – июль. Писал «Автобиографию».
Июль 24. Допрос в сенате с предъявлением подложного письма.
Август – ноябрь. Писал роман «Повести в повести».

1864

Январь 27. Свидание с родными (А.Н. и Е.Н. Пыпиными).
Январь. Писал «Очерк положения наук».
Февраль – март. Написал 29 мелких рассказов («Приключенные друга» и др.).
Февраль – май. Писал «Заметки для биографии Руссо».
Май 19. Гражданская казнь – публичное объявление приговора на Мытной площади.
Май 20. В сопровождении жандармов в телеге отправлен в Сибирь.
Июнь 5. Доставлен в Тобольскую тюрьму. Знакомство с С.Г. Стахевичем и ссыльными поляками.
Июнь 15. «Колокол», № 186. Статья Герцена «Н.Г. Чернышевский».
Июль 9. Отправлен закованным из Иркутска в каторжные работы в Усолье.
Июль 22. Возвращен в Иркутск.
Июль 23. Отправлен в Нерчинские рудники.
Август 3. Решением Нерчинского горного правления отправлен в Кадаинский рудник.
Август 4. Доставлен в Кадаю. Встреча с М.И. Михайловым.
Ноябрь 3(15). В Лондоне вышел л. 191 «Колокола» со статьей Герцена «Письма к противнику», где говорится о героизме Михайлова, Обручева и Чернышевского.

Декабрь 20 (1 января 1865 г.). В л. 193 «Колокола» опубликована Сенатская записка по делу Чернышевского.

1865

Август 23–27. В Кадаю для официально разрешенного пятидневного свидания с Чернышевским приехали Ольга Сократовна с младшим сыном.

Сентябрь 17. Переведен в тюрьму Александровского завода.

1868–1870

В Женеве вышли четыре тома собрания сочинений Чернышевского (пятый том вышел в 1879 г.).

1871

Январь 12. Отправил в Петербург часть написанных на каторге произведений (в том числе «Пролог»).

Февраль 1. В Иркутске арестован Г.А. Лопатин, пытавшийся устроить побег Чернышевского.

Декабрь 7. Отправлен из Александровского завода в Вилюйск.

1872

Январь 11. Доставлен в Вилюйск.

1873

Декабрь 29 – январь 3 (1874). Приехавший полковник Купенко произвел у Чернышевского обыск, отобрав ряд рукописей (в том числе начало «Очерков содержания всеобщей истории человечества»).

1874

Февраль, начало. Встреча с В.П. Шагановым, привезенным в Вилюйск по пути в ссылку.

Март. В Цюрихе П.Л. Лавровым опубликованы «Письма без адреса» (по рукописи, полученной К. Марксом из России).

Август 8. Н.А. Некрасов закончил стихотворение «Пророк».

1875

Февраль – май. Пытался послать в Петербург написанные произведения.

Июль. Попытка И.Н. Мышкина освободить Чернышевского.

1876

Март. В Женеве вторично напечатан роман «Что делать?», к которому приложен очерк «Суд над Чернышевским». В Милане вышел роман «Что делать?» (перевод на французский язык А. Тверитинова).

1877

Май. В Лондоне издан «Пролог пролога».

Август 14. Писал А.Н. Пыпину с просьбой передать прощальный привет Н.А. Некрасову. (Пыпин, получивший это письмо 5 ноября, успел прочесть его умиравшему поэту.)

1878

Октябрь – декабрь. Получает предписания «не касаться к переписке предметов посторонних»; на полгода прекращает всякую переписку.

1881

Январь 15. Вышел № 1 газеты «Страна» с передовой статьей, ставившей вопрос об амнистии Чернышевского.

Сентябрь 9(21). В Вене на конгрессе Международного общества литераторов французский писатель Л. Ратисбон рассказал о Чернышевском и предложил обратиться к русскому царю с просьбой об его освобождении.

1883

Август 24. Отправлен из Вилюйска в Астрахань (под надзор полиции).

Октябрь 27. Доставлен в Астрахань.

Декабрь. Написал воспоминания о Некрасове. Переводил книгу Шрадера «Сравнительное языковедение».

1884

Январь – март. Переводил книги О. Шрадера «Сравнительное языковедение и первобытная история» и В. Карпентера «Энергия в природе».

Июнь – август. Переводил «Основные начала» Спенсера.

Июнь 11. Приехавший в Астрахань артист М.И. Писарев привез Чернышевскому французский перевод его книги «Основания политической экономии Милля с примечаниями Чернышевского».

Осень. Безуспешные хлопоты А.В. Захарьина разрешить Чернышевскому печатать свои произведения.

1885

Февраль. К.Т. Солдатёнков согласился издать «Всеобщую историю» Вебера в переводе Чернышевского.

Март. Начал работу над переводом «Всеобщей истории» Вебера (до 1889 г. успел перевести одиннадцать с половиной томов).

Март 6. В газете «Русские ведомости» напечатала статья «Характер человеческого знания» (под псевдонимом Андреев).

Июль. В журнале «Русская мысль» опубликован «Гимн Деве неба» (под псевдонимом Андреев).

Август – октябрь. Написал воспоминания о Н.И. Костомарове, только что напечатавшем «Автобиографию».

1886

Июнь. Начал работу над книгой «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова».

Сентябрь. В журнале «Русская мысль» опубликована статья «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» (под псевдонимом Старый трансформист).

Ноябрь – декабрь. Работал над повестью «Вечера у княгини Старобельской».

1889

Январь – февраль. В № 1 и 2 журнала «Русская мысль» напечатан первый раздел «Материалов для биографии Н.А. Добролюбова».

Июнь 14. Получил разрешение переехать в Саратов.

Июнь 27. Приехал из Астрахани в Саратов.

Июль – октябрь. Работал над первым томом «Материалов для биографии Н.А. Добролюбова» (вышел в 1890 г.) и над переводом двенадцатого тома «Всеобщей истории» Вебера.

Август. Встречался с В.Г. Короленко.

Октябрь 17. Н.Г. Чернышевский умер.

Октябрь 20. Погребение на Воскресенском кладбище в Саратове.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», литературный стипендиат фонда Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных литературных премий, трижды номинировавшийся на премию Букера, дважды входил в шорт-лист премии Бунина, историк русской культуры, автор более семисот (700) опубликованных работ. Дважды лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009 и 2013 гг., Москва). Лауреат первой премии в номинации «За лучшее философское эссе» в Первом Международном литературном Тютчевском конкурсе (2013). Последний роман «Помрачение» — лонг-лист премии «Ясная Поляна» (2014), лонг-лист премии «Русский Букер» (2014). Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом «Le nouvel observateur (hors serie)», вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьёва». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, чешский, польский, сербский, эстонский языки.

Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА

ПРОЗА

- ДВА ДОМА.** Повести. М.: Советский писатель, 1985.
- КРОКОДИЛ.** Роман // Нева. 1990. № 4.
- ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.** Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990.
- ПОБЕДИТЕЛЬ КРЫС.** Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.
- ПОЕЗД «КЁЛЬН–МОСКВА».** Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.
- МУТНОЕ ВРЕМЯ.** Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.
- КРЕПОСТЬ.** Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. № 6, 7.
- ЧУР.** Роман-сказка. М.: Московский философский фонд, 1998.
- СОСЕДИ.** Повесть // Октябрь. 1998. № 10.
- ДВА ДОМА И ОКРЕСТНОСТИ.** Повесть и рассказы. М.: Московский философский фонд, 2000.
- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА.** Повесть // Октябрь. 2002. № 9.
- КРОКОДИЛ.** Роман. М.: Московский философский фонд, 2002.
- ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА.** Повести, рассказы, радиопьеса. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- КРЕПОСТЬ.** Роман. М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени»).
- KROKODYL.** Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcńska.* Warszawa: Dialog, 2007.
- ГИД.** Повесть // Звезда. 2007. № 6.
- СОСЕДИ.** Арабески. М.: Время, 2007.
- KROKODILL:** Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3–5.
- СМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРА:** Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010.

- СТО ДОЛЛАРОВ.** Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.
- ZWEI ERZÄLUNGEN.** Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012.
- НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО.** Повествования. М.: Летний сад. 2012.
- MORTE DI UN PENSIONATO.** Venezia-Mestre: Amos Ediziooni. 2013 *per la tradizione Emilia Magnanini.*
- ПОМРАЧЕНИЕ.** Роман. М.: Летний сад, 2013.
- ПОМРАЧЕНИЕ.** Роман // Волга. 2014. № 1–4.
- КРЕПОСТЬ.** Роман. Второе издание (восстановленное). М.: Летний сад, 2015.
- ЗАПАХ МЫСЛИ.** Повесть. Журнал «Слово-Word». New-York, № 84. 2014 год. http://promegalit.ru/public/10815_vladimir_kantor_zapakh_mysli_povest.html
- EXISTUJE BYTOST ODPORNĚŠI NEŽ ĆLOVĚK?** (Tri novely). Přeložila i posleslovije Alena Moravkova. Izdatel :Rybka Publisher, Praga, 2014, 157 stranic. Obložka: Vincent van Gogh, Starik.
- ВЛАДИМИР КАНТОР, ВЛАДИМИР КОРМЕР. ПОСЛАННЫЙ В МИР** (Н.Г. Чернышевский). Киносценарий // Волга – XXI век. Саратов. 2015. № 3–4. С. 135–164.

МОНОГРАФИИ

- РУССКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА.** М.: Искусство, 1978.
- «БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф. ДОСТОЕВСКОГО.** М.: Художественная литература, 1983.
- «СРЕДЬ БУРЬ ГРАЖДАНСКИХ И ТРЕВОГИ...»** Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988.
- В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ РУССКОЙ КЛАССИКИ.** М.: Московский философский фонд, 1994.
- «...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА». РОССИЯ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ.** Исторические очерки. М.: РОССПЭН, 1997.
- ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА.** Культурфилософские очерки. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.
- RUSIJA JE EVROPSKA ZEMIJA.** Mukotrpan put ka civilizaciji. *Prevela s ruskog Mirjana Grbić.* (Biblioteka XX vek). Beograd. 2001.
- РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ).** М.: РОССПЭН, 2001.
- РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ.** М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские Пропилеи».)

- WILLKÜR ODER FREIHEIT?** *Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie*. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. — ibidem-Verlag. Stuttgart, 2006.
- МЕЖДУ ПРОИЗВОЛОМ И СВОБОДОЙ.** К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007 (Серия «Россия. В поисках себя...»).
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РОСССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРОТИВ РОСССИЙСКОГО ХАОСА.** М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские Пропилеи».)
- DAS WESTLERTUM UND DER WEG RUSSLANFS.** *Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie*. Ediert von Dagmar Herrmann. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010.
- «СУДИТЬ БОЖЬЮ ТВАРЬ». ПРОРОЧЕСИЙ ПАФОС ДОСТОВЕСКОГО.** Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские Пропилеи».)
- «КРУШЕНИЕ КУМИРОВ», ИЛИ ОДОЛЕНИЕ СОБЛАЗНОВ** (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. (Серия «Российские Пропилеи».)
- ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ, МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.** Очерки. М.: Научно-политическая книга, 2013. (Серия «Актуальная культурология».)
- РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ.** М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 (Серия «Российские Пропилеи».)
- DOSTOEVSKIJ, NIETZSCHE E LA CRISI DEL CRISTIANISMO IN EUROPA** // per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia-Mestre: *Amos Edizioni*. 2015. 68 p.
- ПОСРЕДИ ВРЕМЕН, ИЛИ КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ.** Литературно-философские опыты (жизнь в разных срезах). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2015. («Письмена времени».)
- КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ.** Путешествия во времени и пространстве. Книга эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2016. («Письмена времени».)

СБОРНИКИ

- РУССКАЯ ЭСТЕТИКА И КРИТИКА 40–50-х ГОДОВ XIX ВЕКА /** Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982. (История эстетики в памятниках и документах.)

- А.И. ГЕРЦЕН. ЭСТЕТИКА. КРИТИКА. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ** / Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987. (История эстетики в памятниках и документах.)
- К.Д. КАВЕЛИН. НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ.** Статьи по философии русской истории и культуры / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой. – (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: Правда, 1989.
- МЕТАМОРФОЗЫ АРТИСТИЗМА** / Составление, первая статья В.К. Кантора. М.: РИК, 1997.
- Ф.А. СТЕПУН. СОЧИНЕНИЯ** / Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора. – (Серия «Из истории отечественной философской мысли».) М.: РОССПЭН, 2000.
- ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН** / Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. – (Серия «Философия России второй половины XX века».) М.: РОССПЭН, 2009.
- ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.** Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора. – (Серия «Социальная мысль России»). М.: Астрель, 2009.
- ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН.** Большевизм и христианская экзистенция: Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).
- АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН.** Избранные труды / Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. – (Серия «Библиотека общественной мысли».) М.: РОССПЭН, 2010.
- ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН.** Сборник / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. – (Серия «Философия России первой половины XX века».) М.: РОССПЭН, 2012.
- ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ.** Сборник / Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора. – (Серия «Философия России первой половины XX века».) М.: РОССПЭН, 2012.
- ФЕДОР СТЕПУН. ПИСЬМА** / Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем разделам В.К. Кантора. – (Серия «Российские Пропилеи».) М.: РОССПЭН, 2013.

Указатель имен

- Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев) (1620 или 1621–1682) 10
Блаж. Августин Аврелий (354–430) 91, 325
Авель, библ. 464
Адеодат, сын Августина Аврелия 91
Акимовы 108
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) 43, 357, 493
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) 43, 195, 206, 357, 493
Акунин, *Б. Акунин* (лит. имя; Чхартишвили Григорий Шалвович) (1956) 299
Александр Македонский, Александр Великий (353–323 до н.э.), царь Македонии (с 336 до н.э.) 218, 291
Александр I Павлович Благословенный (1777–1825), имп. всеросс. (1801–1825) 18, 260, 400
Александр II Николаевич (1818–1881), имп. всеросс. (1855–1881) 67, 220, 260, 265, 269, 278–279, 281, 287, 289, 381, 308–310, 317, 347, 353–354, 358, 371, 400–405, 410, 415–416, 420–421, 423, 429–431, 435, 439–440, 442–445, 447, 448–450, **452–454**, **457**, 496, 505
Александр III Александрович (1845–1894), имп. всеросс. (1881–1894) 347, 450, 452, 454, 457, 507
Алексей Михайлович, русский царь 21, 190
Алисов Пётр Федосеевич (1846 – после 1928) 440
Аммосов Ф.А. 433
Андреев – см. Чернышевский Николай Гаврилович
Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) 22
Анненков Иван Васильевич (1814–1887) 361
Анненков Павел Васильевич (1812–1887) 76, 174, 203–204
Антонелли Дмитрий Иванович (1782–1842) 266
Антонелли Пётр Дмитриевич 266
св. Антоний 96
Антонов Василий Фёдорович (1919) 119, 210, 291
Антонович Максим Алексеевич (1835–1918) 9, 19, 210, 273, 275, 280, 378–378, 454
Арачев бар. (1797), гр. (1799) Алексей Андреевич (1769–1834) 357, 400, 456, 493
Аристотель (384–322 до н.э.) 124–127, 136, 145, 154, 284–286, 496
Аристофан (ок. 445–ок. 385 до н.э.) 134
Аттила (Attila) (–453) 224
Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) 24, 40
Афродита, мифол. 331
Байрон 6-й лорд (1798) Джордж Гордон Ноэл (Byron George Gordon Noel) (1788–1824) 78–79, 185–186, 194, 348
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) 8, 24, 66, 70–71, 73–74, 145, 151, 198, 204, 287, 289, 335, 396–397, 415–416, 434, 493
де Бальзак Оноре (1799–1850) 348
Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737–1814) 150
Бартенев Пётр Иванович (1829–1912) 456
Батый (Бату) (1208–1255), монг. хан, внук Чингисхана 244
Бахтин Михаил Михайлович 337
Белинский (Бельнский) Виссарион Григорьевич (1811–1848) 8–9, 18, 42–43, 64, 69, 74–76, 93–94, 124, 136, 138, 145–146, 150–151, 154, 166, 168, 170, 173–174, 177, 181–182, 184–186, 190, 193, 204, 251, 254, 295, 346
Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) 442
Бельнский Григорий Никифорович (1784–1835), отец В.Г. Белинского 94
Бельнский Никифор, дед В.Г. Белинского 19
Бенда (Benda) 395
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) 177
Бентам Джереми (Bentham Jeremy) (1748–1832) 491
де Беранже Пьер Жан (de Béranger Pierre Jean) (1780–1857) 295, 312
Берви-Флеровский (Н. Флеровский – лит. имя) Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) (1829–1918) 396
Берг Фёдор Николаевич (1840–1909) 296, 370
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) 7–9, 106, 414, 490–492
Беренштам Владимир Вильямович (1870/1871–1931) 411–412, 416–417, 449–450
Беренштам Фёдор Густавович (1862–1937) 485
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) 272
Бёлль Генрих Теодор (Böll Heinrich Theodor) (1917–1985) 509
Биерринг Николай, православный (с 1870) американский священник 442–444

- Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880) 278, 280
- Блан Луи Жан Жозеф (Blanc Louis Jean Joseph) (1811–1882) 63, 69, 243
- Бланки Луи Огюст (Blanc Louis Auguste) (1805–1881)
- Блок Александр Александрович (1880–1921) 331
- Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836–1921) 171, 354
- Бобринский гр. Александр Алексеевич (1823–1903) 254
- Богаевская Ксения Петровна (1911–2002) 444
- Бокль Генри Томас (Buckle Henry Thomas) (1821–1862) 136
- Боков Пётр Иванович (1835–1915) 273–275, 280, 478
- Бонвеч, саратовский врач 482
- Борель Пётр Фёдорович (1829–1901) 142
- Борис Фёдорович Годунов (1552–1605), царь (1598–1605) 23
- Борисов Иван 312, 315, 319
- Боткин Василий Петрович (1811–1869) 8, 57, 67, 136, 145, 174, 325
- Боткин Сергей Петрович (1832–1889) 253
- Бошняк Иван 469
- Брандтнер Людвиг Карлович (ок. 1853–1879) 445
- Брик (урожд. Каган) Лиля Юрьевна (1891–1978) 415
- Брокгауз, Фридрих Арнольд (Brockhaus Friedrich Arnold) (1772–1823) 348
- Брюллов Карл Павлович (1799–1852) 213
- Брягин Алексей Варфоломеевич (1860–), саратовский врач 481–482
- Будницкий Олег Витальевич (1954) 498
- Булавин Кондратий Афанасьевич (–1708) 14
- Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) 21, 51, 74, 81, 321, 491
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) 210
- Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) 391, 446, 463, 509
- Бурбоны, династия 259
- Буслаев Фёдор Иванович (1818–1897) 250
- Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) 76
- Бухарев – см. Феодор, архимандрит
- Ваккенродер Вильгельм Хайнрих (Wackenroder Wilhelm Heinrich) (1773–1798) 129**
- Валентинов (Вольский) Николай Владиславович (1879–1964) 334–335, 491
- Валтасар (–539 до н.э.), сын Набонида, последнего царя Вавилонии 290
- Василий II Васильевич Тёмный (1415–1462), вел. кн. Московский 22
- Василий Иванович Шуйский (1552–1610), русский царь (1606–1610) 430
- Васильев Сократ Евгеньевич (1796–1860) 92, 285
- Васильевы 465
- Введенский Иринарх Иванович (1813–1855) 118, 123, 500
- Вебер Георг (Weber Georg) (1808–1888) 459, 473, 507–508
- Верховский Г.П. 337
- Ветошников Павел Александрович (ок. 1831–) 278
- де Видиль бар. Л.П. (de Vidil baron L.P.
- Вико Джамбаттиста (Vico Giambattista) (1668–1744) 136
- Вильям-Вильмонт Николай Николаевич (1901–1986) 153
- Винников Григорий Васильевич (1844–1896) 434–439
- Винникова, жена Г.В. Винникова 435
- Витман 395
- де Витте Виктор Павлович (1831–1882) 423–424, 433, 489
- Виттенберг Соломон Яковлевич (1852–1879) 445
- Владимир I Святославич (–1015), св. 22, 43, 343–344
- Владимир II Всеволодович Мономах (1053–1125) 343
- Волгин Игорь Леонидович (1942) 20
- Волков Гавриил Андреевич (1902–1943) 325
- Володин Александр Иванович (1932) 326
- Волховский Феликс Вадимович (1846–1914) 367, 417
- Вольтер (лит. имя; Аруэ Франсуа Мари) (Voltaire; Agouet François Marie) (1694–1778) 18, 28, 86
- Воронцов-Дашков гр. Илларион Иванович (1837–1916) 456
- Врангель бар. Пётр Николаевич (1878–1928) 498
- Вульф Л., художник (1815) 12
- Высоцкий Владимир Семёнович (1930–1980) 271
- Вяземская (урожд. кж. Гагарина) кн. (1811) Вера Фёдоровна (1790–1886)
- Вяземский кн. Леонид Дмитриевич (1848–1909) 463–465
- Вяземский кн. Павел Петрович (1820–1888) 456
- Вяземский кн. Пётр Андреевич (1792–1878) 135, 214, 250–251
- Г-бов – см. Добролюбов Николай Александрович
- Газдрубал, брат Ганнибала (–207 до н.э.) 429
- Ганнибал (Hannibal) (247 или 246–183 до н.э.) 198, 291

- Гарин Н. (Михайловский Николай Георгиевич) (1852–1906) 17
- Гарibaldi Джузеппе (Garibaldi Giuseppe) (1807–1882) 365
- Гастгаузен, *Хастхаузен* – [точнее Акстаузен] Аббенбург бар. Аугуст Франц Людвиг Мариа (von Nah-thausen-Abbenburg August Franz Ludwig Maria) (1792–1866) 193
- Гегель Георг Фридрих Вильгельм (Hegel Georg Friedrich Wilhelm) (1770–1831) 150–151, 173, 250, 489
- Гейне Генрих (Heine Heinrich) (1797–1856) 225, 295, 312, 348
- Гексли, *Хаксли* Томас Генри (Huxley Thomas Henry) (1825–1895) 312
- Гельветий Клод Адриан (Helvetius Adrian) (1715–1771) 233, 496
- Гераклит (кон. VI–нач. V вв. до н.э.) 249
- Гервинус Георг Готфрид (Gervinus Georg Gottfried) (1805–1871) 312, 316–317, 343
- Герман 125
- Герцен Александр Иванович (1812–1870) 6, 9, 32, 50, 64, 66, 70–71, 81, 90, 113, 115, 145, 150, 166, 168–170, 173, 181, 197, 204, 207–211, 214, 216–221, 223, 225–226, 228–229, 236, 239, 246, 249, 254–255, 263, 276–277, 282, 248, 263, 282–283, 288, 291, 293, 324, 336, 338, 346, 364–365, 389, 395, 469–470, 493, 502, 505, 512
- Герцен (урожд. Захарьина) Наталья Александровна (1817–1852) 114
- фон Гёте Иоганн Вольфганг (von Goethe Johann Wolfgang) (1749–1832) 50, 80, 89, 96–97, 111, 145, 150, 152–154, 225, 330, 385
- Пиероглифов Александр Степанович (1826–1900/1901) 278
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (Guizot François Pierre Guillaume) (1787–1874) 136, 343
- Гитлер Адольф (Hitler Adolf) (1889–1945) 326
- Гоббс Томас (Hobbes Thomas) (1588–1679) 86
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) 8, 15, 42, 50, 69, 72, 75–76, 80, 99, 126, 150, 168–170, 178, 180–182, 185, 193, 212–213, 295, 312, 415, 421
- де Гойя и Лусьентес Франсиско Хосе (de Goya у Lucientes Francisco José) (1746–1828) 374
- Головнин Александр Васильевич (1821–1886) 319
- Голубев Г.И. 465
- Голубева (урожд. Кириллова) Пелагея Ивановна, бабушка Н.Г. Чернышевского по матери
- Гомер 375
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891) 10, 42, 67, 150, 202
- Гораций, Квинт Гораций Флакк (Quintus Horatius Flaccus) (65 до н.э.–8 до н.э.) 312
- Горький М. (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936) 10,
- Готалов, урядник 423
- Гофман Эрнст Теодор Вильгельм (Hoffmann Ernst Theodor Wilhelm) (1776–1822) 209
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) 8, 77, 169, 196
- Грбич Миряна (Grbić Mirjana), серб. переводчица 511
- Греч Николай Иванович (1787–1867) 210
- Грибоедов Александр Сергеевич (1790–1829) 67, 337
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900) 9, 67, 139, 145, 147, 159, 203, 251, 290, 474
- Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) 150, 166
- Громека Степан Степанович (1823–1877) 250
- фон Гумбольдт, Александр Фридрих Вильгельм Хайнрих (von Humboldt Alexander Friedrich Wilhelm Heinrich) (1769–1859) 70
- фон Гумбольдт, Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд (von Humboldt Friedrich Wilhelm Christian Carl Fredinard) (1767–1835) 121
- Гус Ян (Hus Jan) (1371–1415) 364
- Гутенберг Иоганн (Gutenberg Johannes) (между 1394–1468) 57, 360
- Гуго, *Юго* Виктор Мари (Hugo Victor Marie) (1802–1885) 225, 305, 348
- Данилевский Александр 7
- Данилевский Николай Яковлевич (1822–1895) 459
- Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882) 312, 459–460, 463
- Дебу Ипполит Матвеевич (1824–1890) 69, 71, 73
- Демченко Адольф Андреевич (1938–2016) 16, 31, 36, 40, 100–101, 108, 116, 187, 198–199, 306, 319, 340, 351, 354, 402–403, 408, 421, 428, 431–432, 464, 477–479, 482, 484
- Деникин Антон Иванович (1872–1947) 498
- Державин Гаврила Романович (1743–1816) 6, 10, 150, 179
- Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) 192, 497
- Дидро Дени (Diderot Denis) (1713–1784) 18
- Дизраэли 493
- Диккенс Чарлз Джон Хаффэм (Dickens Charles John Huffam) (1812–1870) 124, 225, 312
- Динесман Татьяна Георгиевна (1921–2011) 444–445
- Дионисий (в миру Дмитрий Васильевич Хитров) (1818–1896), епископ Якутский и

- Вилуйский (1868–1883) 416–417 (преосвященный), 427
- Добролюбов Александр Иванович, отец Н.А. Добролюбова 200
- Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) 8, 10, 19, 32, 63, 154, 198–204, 206–210, 227, 229, 231, 246, 253–255, 258, 273, 294, 297, 300, 337, 346, 388, 391, 396, 459, 473, 491, 501–504, 508
- Добролюбова (урожд. Покровская) Зинаида Васильевна, мать Н.А. Добролюбова 200
- Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891) 278, 350
- Достоевская (урожд. Констант, в 1-м браке Исаева) Мария Дмитриевна (1825–1864) 92, 109
- Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864) 73
- Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881) 6, 9, 11, 17, 21, 29, 43, 50, 63, 69–70, 73–75, 80, 87–88, 92–93, 96, 106, 109, 140, 145–146, 148, 152–154, 163, 168, 178–179, 181, 193, 195, 201–202, 204, 206, 217, 222, 229, 231, 249, 251–252, 254, 258, 259, 263–266, 276–277, 280–283, 292–293, 295–296, 318, 325, 328, 332–334, 337–338, 346, 373, 388, 391, 396, 414–415, 496, 509
- Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) 9, 144, 146–147, 159, 184–185, 251, 474
- Дувинг, полковник 421
- Дудышкин Степан Семёнович (1820–1866) 148–149, 158–159, 250
- Дундук Павел Фёдорович (1890–1940), саратовский скульптор, художник 497
- Дурасов В.И. 102
- Духовников Флегмонт Васильевич (1844–1897) 31, 38–39, 42, 51, 56, 58–59, 84, 99, 102, 481
- Дюма маркиз Дави де Ла Пайетри Александр (Dumas de Davy de La Pailleterie Alexandre) (1802–1870) 305, 449
- Дюнцер 125–126
- Еггер 125
- Егоров, ученик Н.Г. Чернышевского в Саратовской гимназии 100
- Ежов Николай Иванович (1895–1940) 272
- Екатерина II Алексеевна (урожд. Софья Фредерика Аугуста принц. Анхальт-Цербстская) (1729–1796), имп. всеросс. (1762–1796) 10, 15, 469
- Елисеев Григорий Захарович (1821–1891) 280, 320
- Есаулова, петерб. домовладелица 273
- Ефрон Илья Абрамович (1847–1917) 348, 473
- Живов Виктор Маркович (1945–2013) 22
- Житков А.Н., жандармский подполковник 298
- Жукова О.А. 513
- Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) 175–176, 178, 378
- Залетаева Прасковья Ивановна, мать А.Н. Пасхаловой 107
- Замятин Евгений Иванович (1884–1937) 20
- Замятнин Дмитрий Николаевич (1801–1881) 349, 351
- Зарубин А.К., жандармский подполковник 309
- Захарин, служащий в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий» 279
- Захарова И.Е. 38
- Захарьин И.В. 503
- Зейфарт, капитан Иркутского жандармского управления (1872) 422
- Зошенко Михаил Михайлович (1894–1958) 406
- Иаков (в мире Иосиф Иванович Вечерков) (1792–1850), епископ, архиепископ Нижегородский и Арзамасский (1847–1850) 12, 59
- Иассон Юноша-Смогоржевский (1714–1788), киевский униатский митрополит 20
- Иван Васильевич IV Грозный (1530–1584), царь 101
- Иváнов Александр Андреевич (1806–1858) 212–218
- Иváнов Андрей Иванович (1755–1848), отец А.А. Иváнова 213
- Иváнов Вячеслав Иванович (1866–1949)
- Ижевский С., унтер-офицер 421–422, 424–425
- Иисус Христос 47–48, 61, 69, 80, 87–88, 162–163, 185, 205, 213, 214–217, 220, 310, 326, 328, 331, 337, 341, 344, 345–346, 358, 366, 381, 441–442, 446, 488, 496
- Иларион (–1054 или 1055), митрополит Киевский 22
- Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) 485
- Илья Муромец 43
- Иоанн Богослов, ап., еванг. 163, 185, 343
- Иов (в мире Иван) (–1607), первый патриарх Московский и всея Руси (1589–1605) 23
- Иоанн Креститель, еванг. 328
- Ириней (в мире Нестерович Иван Гаврилович) (1783–1864), епископ Пензенский и Саратовский (1826–1828), Пензенский и Саранский (1828–1830) 36
- Исидор (1380/1390 – 1463), митрополит Киевский (1436 – 1439)
- Исидор (в мире Яков Сергеевич Никольский) (1799–1892), митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский (1860–1892) 443

- Искандер – см. Герцен Александр Иванович
- Искрин М., автор газетной заметки «Тайна псевдонима: Автор знаменитого «Письма из провинции» – Николай Огарёв» 228
- Иуда Искариот 358
- Ишутин Николай Андреевич (1840–1879) 389
- Кабэ Этьен (Cabet Étienne) (1797–1871) 396
- Кавелин, сын К.Д. Кавелина 205, 283–284
- Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) 8, 77, 243, 245–246, 282–283, 293, 513
- Каин, библ. 464
- Кант Иммануил (Kant Immanuel) (1724–1804) 19, 150–153, 173, 180, 193, 225, 250, 333
- Кантор Владимир Карлович (1945) 78, 83, 95–96, 99, 111, 119, 123–124, 126, 144, 148, 166, 171–172, 181, 201, 211, 219, 260, 266, 282, 286, 290, 292–293, 296–297, 307, 321, 350, 343–344, 352–353, 358, 365, 367, 369, 372, 389, 424, 427, 431, 437, 449, 487, 492, 509, 511–513
- Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) 310, 388
- Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 10, 195
- Карниолин-Пинский Матвей Михайлович (1796–1866/1867) 353
- Карпентер Уильям Бенджамин (Carpenter William Benjamin) (1813–1885) 507
- Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) 489, 491
- Каррер Белл (лит. имя Шарлотты Бронте [Carrer Bell; Brontë Charlotte]; 1816–1855)
- Карташевский 353
- Карташёв Антон Владимирович (1875–1960) 51
- Карякин Юрий Фёдорович (Морозов Юрий Алексеевич) (1930–2011) 326
- Кассиль Лев Абрамович (1905–1970) 17
- Кассирер Эрнст (Cassirer Ernst) (1874–1945) 495
- Катков Михаил Никифорович (1818–1887) 9, 25, 67, 206, 219, 225, 250–251, 328–329, 379
- фон Кауфман Константин Петрович (1818–1882) 267
- Кашенбоген Соломон Захарович (1889–1946) 56
- Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) 10
- Кибальников Александр Павлович (1912–1987)
- Киль Лев Иванович (Людвиг) (Kiel Ludwig) (–1851) 213
- Кингслек 393
- Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) 129, 166
- Кирилл (в мире Константин, по прозвищу Философ (827–869), св., равноапостольный 181
- Клевенский Митрофан Михайлович (1877–1939) 439–442, 444
- Ключевский Василий Осипович (1841–1911) 19, 260
- Кобылин Александр Николаевич, сын председателя Саратовской казённой палаты 108
- Кобылин Николай Михайлович, председатель Саратовской казённой палаты 108
- Кобылина Екатерина Николаевна, дочь председателя Саратовской казённой палаты 108
- Кобылины 108
- Ковалёв Иван Фёдорович (1903–1990) 444
- Коведяев Егор Николаевич (ок. 1812–) 356
- Коведяева (в браке Воронцова) Любовь Егоровна (–) 398
- Кокосов Владимир Яковлевич 434, 438
- Кокшарский А.Г. 347, 426–427, 450–451
- Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) 312
- Конкин Семён Семёнович (1917–1999) 227
- Константин Николаевич (1827–1892), вел. кн. 360
- Корёлкин 60
- Коржавин Н. (Мандель Наум Моисеевич) (1925) 392
- Кормер Владимир Фёдорович (1939–1986) 511
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) 9, 363–364, 406, 414, 427–428, 434–435, 447–448, 452, 465–466, 468–470, 473, 508
- Короленко Илларион Галактионович (1854–1915) 466 (брат)
- Корсаков Михаил Семёнович (1826–1871) 435
- Корф бар., гр. (1872) Модест Андреевич (1800–1873) 258
- Костомаров Всеволод Дмитриевич (1837–1865) 101, 104, 106, 244–245, 249, 286, 294–296, 298, 300, 302–305, 308–309, 348–350, 352, 358–359, 367–368, 382, 421, 503
- Костомаров Николай Дмитриевич, брат В.Д. Костомарова 298
- Костомаров Николай Иванович (1817–1885) 8, 99–105, 107–108, 114, 203, 278, 281–282, 293–294, 348, 501
- Костомарова Надежда Николаевна, мать В.Д. Костомарова 358
- Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) 380
- Котляревский Николай Михайлович, 1-й муж А.Е. Пыпиной 37
- Кошелёв В А 195

- Кошкина Устинья Васильевна 60
- Краевский Андрей Александрович (1810–1889) 123, 137, 142–143, 158, 250, 320–321
- Крамской Иван Николаевич (1837–1887) 67
- Красовский Андрей Афанасьевич (1822–1868) 365
- Кривенко Сергей Николаевич (1847–1906) 453–454
- Кропоткин кн. Дмитрий Николаевич (1837–1879), двоюродный брат П.А. Кропоткина 267
- Кропоткин кн. Пётр Андреевич (1842–1921) 266–267, 371–372
- Кротков Михаил Иванович, саратовский врач 482
- Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) 92
- Кудеяр, разбойник 44
- Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) 177
- Кулибин Иван Петрович (1735–1818) 62
- Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897) 215
- Куницын Александр Петрович (1785–1840) 18
- Куницын Пётр, отец А.П. Куницына 18
- Купенко (или Купенков), жандарм 420–421, 428–429, 506
- Куракин кн. Алексей Борисович (1759–1829/1830) 18, 258
- Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) 10
- де Кюстин маркиз Астольф Луи Леонар (de Custine Astolphe Louis Léonard) (1790–1857) 76, 169
- Лавров Пётр Лаврович (1823–1900) 106–107, 148–149, 280, 302, 397, 503–504, 506
- Лаврова (урожд. Клиентова) Александра Григорьевна 108
- Лажечников Иван Иванович (1792–1869) 8
- Лай, отец Эдипа (мифол.) 457
- Лайель, *Лайелл* Чарлз (Lyell Charles) (1797–1875) 312
- Ланская (урожд. Гончарова, в 1-м браке Пушкина (1812–1863) 351
- Лауфферт Вильгельм Якоб (1824–1877) 225
- Ледрю-Роллен Александр Огюст (Ledru-Rollin Alexandre Auguste) (1807–1874) 63, 68
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) 9, 192, 269, 295, 309, 325–326, 334–335, 488–491
- Ленц Эмилий Христианович (Хайнрих Фридрих Эмиль) (Lenz Heinrich Friedrich Emil) (1804–1865)
- Леонардо да Винчи (1452–1519) 213
- Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) 6, 66, 225
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) 6, 11, 50, 150, 174, 181, 191, 272, 312, 421, 456
- Леру Пьер (Leroux Pierre) (1797–1871) 69
- Лесажа Ален Рене (Lesage Alain René) (1668–1748) 312
- Лесков Николай Семёнович (1831–1895) 21, 326, 330
- Лессер Р. (Lesser R.) 395
- Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) 86, 125, 151, 188, 190, 194, 198, 225, 500, 502
- Лизогуб Дмитрий Андреевич (1849–1879) 445
- Линёв 253
- Лободовская Надежда Егоровна 96
- Лободовский Василий Петрович 72–73, 96–98, 500
- Логовский Иван Иванович (1842–1879) 445
- Лозинский М.П. (–1880) 445
- Ломтев Евлампий Иванович 40
- Лонгфелло Генри Уодсуорт (Longfellow Henry Wadsworth) (1807–1882) 348
- Лопатин Герман Александрович (1845–1918) 293, 374, 397, 399, 419–420, 431, 433, 439, 506
- Лосев Алексей Фёдорович (1893–1988) 131
- Лотман Лидия Михайловна (1917–2011) 147
- Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) 150, 512
- Лука, еванг. 172, 321
- Люкс Леонид (Luks Leonid) 512
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) 9
- Лурье С. 498
- Любецкий 270–271
- Людовик XIV («король-солнце») (Louis XIV; Le Roi Soleil) (1638–1715), король французов (1643–1715) 177
- Людовик Наполеон – см. Наполеон III
- Мадыянов, петерб. пристав 274
- Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) 371
- Майорова Ольга Евгеньевна (1957) 513
- Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) 485–486, 498
- Маколей Томас Эббингтон (Macaulay Thomas Babington) (1800–1859) 312, 343
- Малиновская (урожд. Васильева) Анна Софратовна, сестра О.С. Чернышевской 204, 276
- Мальтус Томас Роберт (Malthus Thomas Robert) (1766–1834) 459
- Манчестер Лари 21
- Маньянини Эмилия (Magnanini Emilia), итал. переводчица 511–512
- Марат, Жан Поль (Marat Jean Paul) (1743–1793) 243, 309, 330
- Маркс Карл Хайнрих (1818–1883) 9, 24, 81, 225, 293, 395–398, 405, 506

- Мартьянов Пётр Алексеевич (1834–1865) 365
 Матфей (Мф), ап. еванг. 87, 173, 336, 496
 Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) 414–415, 468
 Мейер Алексей Андреевич 100
 Мейер, Ф., редактор газ. «St. Petersburg Zeitung» 319
 Меликов 410, 412, 426
 Меликов Дмитрий Иванович 347, 410, 412–413, 426
 Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский) (1818–1883) 10
 Мендельсон Моисей (Mendelsohn Moses) (1729–1786) 121
 Мерк Иоганн Генрих (Merck Johann Heinrich) (1741–1791) 96
 Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888) 392
 Милль, Джеймс (Mill James) (1773–1836) 491
 Милль, Джон Стюарт (Mill John Stuart) (1806–1873) 397, 458, 496, 504, 507
 Милотин гр. (1878) Дмитрий Алексеевич (1816–1912) 271, 400
 Милотин Николай Алексеевич (1818–1872) 107
 Минаев Дмитрий Иванович (1808–1876) 216
 Минин Кузьма (Кузьма Минич Анкундинов) (–1615 или 1616) 10
 Миних гр. Бурхард Кристоф (1683–1767) 14
 Михаил Всеволодович кн. Черниговский (1179–1246), причислен к лику святых (1547) 463–464
 Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович) (1829–1865) 60–61, 113, 122–123, 273, 294, 351, 365, 369, 382, 499, 503–505
 Михайловский Николай Константинович (1842–1904) 453–454
 Михаэлис (в браке Богданович) Мария Петровна (ок. 1845–после 1882), сестра Л. П. Шелгуновой 361
 Мицкевич Адам Бернард (Mickiewicz Adam Bernard) (1798–1855) 298
 Моисей, библ. 282? 332
 Молок Флуранс Александрович (1926) 445
 де Монтень Мишель Эйкем (de Montaigne Michel Eyquem) (1533–1592) 256, 312
 Мор Томас (More Thomas) (1478–1535)
 Мордвинов гр. (1834) Николай Семёнович (1754–1845) 357, 493
 Моравкова Алена (Moravková Alena), чеш. переводчица 511
 Муравьёв гр. (1865) Михаил Николаевич (1896–1866) 160
 Мурильо Бартоломе Эстебан (Murillo Bartolomé Esteban) (1617–1682) 70
 Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862) 158
 Мышкин Ипполит Никитич (1848–1885) 399, 433, 438–439, 506
 Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) 7, 35, 74, 252
 [Надеждин] Иван, священник, отец Н. И. Надеждина 19
 Надеждин Николай Иванович (1804–1856) 18–19, 32
 Назаров А. В. 462
 Наполеон I (Napoléon I; de Bonaparte Napoléon) (1769–1821), император французов (с 5.1804); в 4.1814 отрёкся от престола, но до 6.1815 сохранил титул императора 194, 201–203, 244, 392
 Наполеон III (де Бонапарт Шарль Луи Наполеон) (Napoléon III; de Bonaparte Charles Louis Napoléon) (1808–1873), президент Франции (1848–1852), имп. французов (1852–1870) 114–115, 392–393
 Неандер Аугуст (Neander August) (1789–1850) 217
 Нейман Александра, дочь Е. Н. Пыпиной 485
 Некрасов Алексей Сергеевич (1788–1862), отец Н. А. Некрасова 139
 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878) 8, 67, 123, 136–144, 146–148, 178, 188, 191, 193, 210, 240–241–242, 247, 254–255, 259, 270, 278, 312, 318, 320–324, 373, 380, 441, 459, 501, 506–507
 Некрасова (урожд. Закревская) Елена Андреевна (1801–1841), мать Н. А. Некрасова 139
 Немировский А. 165–166, 380
 Нерон (Nero) (37–68), рим. император с 54 267
 Нестор, летописец XI – нач. XII в., монах Киево-Печерского мон. 99, 120, 343
 Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) 24, 163, 176, 204, 289, 325–327, 335, 396–397, 420, 490, 492
 Никанор (в мире Александр Иванович Бровкович) (1826–1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский (1883–1890/1891) 36
 Никитенко Александр Васильевич (1805–1877) 8, 64, 66–68, 121, 123, 158, 161, 167–169, 177, 501
 Николадзе Николай Яковлевич (1843–1928) 253, 260, 268, 453–454, 457
 Николаев Пётр Фёдорович (1845–1912) 385, 387, 390, 428
 Николай I Павлович (1796–1855), имп. все-росс. (1825–1855) 24, 73–74, 77, 101, 103–104, 115, 168, 173, 180, 213, 282, 287, 289, 415–416, 430, 456
 Николай II Александрович (1868–1918), имп. все-росс. (1894–1917) 310, 358, 444–445

- Никон (в мире Никита Минов) (1605–1681), патриарх Московский и всея Руси (1657–1667) 10
- Ницше Фридрих Вильгельм (Nietzsche Friedrich Wilhelm) (1844–1900) 326, 494
- Новиков Николай Иванович (1744–1818) 150
- Новицкий Николай Деметьевич (1833–1906) 156–157, 199, 345, 434–435
- Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) 160–161
- Ноэль Альфонс Леон (Noël Alphonse Léon) (1807–1879), франц. литограф 115
- Ньютон Исаак (Newton Isaac) (1643–1727) 343, 483
- Обручев Владимир Александрович (1836–1912) 245–246, 279–280, 338, 505
- Овидий, Публий Овидий Назон (Publius Ovidius Naso) (43 до н.э. – 17 или 18) 312
- Огарёв Николай Платонович (1813–1877) 6, 9, 197, 204, 209–210, 221, 288, 293
- Огарёва (урожд. Баскакова) Елизавета Ивановна (1784–1815), мать Н.П. Огарёва 197
- Огрызко Иосафат Петрович (Юзефат) (1827–1890) 279
- Ожье Гийом Виктор Эмиль (Augier Guillaume Victor Émile) (1820–1889) 121
- Ойямаа Юри (Ojamaa Jüri), эст. переводчик 510
- Окель, петербургский врач 315
- Олеарий (Эльшлегер) Адам (Olearius [Ölschläger] Adam) (1599–1671) 191
- Ордынский Борис Иванович (1823–1861) 125–128
- Орлов гр. (1825), кн. (1856) Алексей Фёдорович (1786–1861) 73
- Орлова (лит. имя; Либерзон) Раиса Давыдовна (1918–1989), жена Л.З. Копелева 220
- Осинский Валериан Андреевич (1852–1879) 445
- Осват Александр Львович (1948) 512
- Островский Александр Николаевич (1823–1886) 19, 150, 202
- Островский Николай Фёдорович (1796–1853), отец А.Н. Островского 19
- Островский Фёдор Иванович (–1843), дед А.Н. Островского 19
- Оуэн Роберт (Owen Robert) (1771–1858) 64, 312
- Оя Оно 487
- Павел, ап. 310
- Павлов Николай Михайлович (1836–1906) 259, 379
- Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893) 177
- Панаев Иван Иванович (1812–1862) 8, 67, 137–138, 141, 147, 159, 186
- Панаева (урожд. Брянская, во 2-м браке Голвачёва) Авдотья (Евдокия) Яковлевна (1820–1893) 8, 63, 140–141, 200, 203–204, 241, 254, 321–324, 338
- Пантелеевы, братья 83
- Паперно Ирина Ароновна (1952) 81–82, 153, 327–328, 332
- Паскаль Блэз (Pascal Blaise) (1623–1662) 69, 79
- Пасхалов Виктор Никандрович (1841–1885) 100
- Пасхалов Никандр Васильевич (–1853)
- Пасхалова (урожд. Залетаева, во 2-м браке с 1855 Мордовцева) Анна Никаноровна (1823–1885) 107
- Перетц Григорий Григорьевич (1823–1883) 277
- Пестель Павел Иванович (1793–1826) 493
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866) 73, 501
- Петров Антон (Сидоров Антон Петрович) (–1861) 249, 503
- Печаткин Евгений Петрович (1838–1918) 268
- Печаткин, брат Е.П. Печаткина 268
- Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885) 6
- Пётр I Алексеевич Великий (1672–1725), имп. всеросс. (1721–1725) 12, 15–16, 23, 75, 150, 231, 245, 357, 405, 418, 445, 493, 498
- Пётр Могила (в мире Пётр Симеонович Мовилэ) (1596/1597–1647) 150
- Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) 132, 165, 294, 378
- Писарев Модест Иванович (1844–1905) 507
- Платон (428 или 427–348 или 347 до н.э.) 125–127, 129–136, 145, 285, 439–440
- Платонов Олег Анатольевич (1950) 17, 151
- Плетнёв Пётр Александрович (1791–1865/1866) 158–159, 214
- Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) 9, 85, 161, 165
- Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) 9, 73–74, 244, 294–295, 297–303, 351
- Плимак Евгений Григорьевич (1925–2011) 326
- Погорельский Антоний (Перовский Алексей Алексеевич) (1787–1836) 121
- Погосский В.Ф., врач в Саратове 482
- Пожарский кн. Дмитрий Михайлович (1578–1642) 10
- Покровский Б., художник 75
- Покусаев Евграф Иванович (1909–1977) 484
- Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) 182
- Ползунов Иван 62
- Полисадов Василий Петрович (1815–1878) 416
- Полозов Даниил Петрович (1794–1850) 139

- Полонская Вероника Витольдовна (1908–1994)
- Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) 17, 19, 150, 312
- Понтий Пилат (Pontius Pilatus) 79, 353, 446
- Попов Василий, священник 418
- Попов Стефан 417
- Попов, урядник 423
- Постников Сергей Петрович (1826–1880) 214
- Потапов Александр Львович (1818–1886) 271–273, 281–282, 293–294, 301, 305–306, 308, 313, 315, 317, 319, 352, 456
- Прокопенко З.Т. 167
- Прудон Пьер Жозеф (Proudhon Pierre Joseph) (1809–1865) 69, 282
- Пугачёв Емельян Иванович (1740 или 1742–1775) 10, 14, 242, 249, 330
- Путилин Иван Дмитриевич (1830–1893) 299, 305, 348
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 6, 11, 15–16, 18, 24–25, 42, 50, 67, 89, 92, 96, 99, 147, 150–151, 153–154, 169, 182, 185–186, 191, 193, 199, 204, 228, 251, 273, 276, 278, 325, 390, 400, 405–406, 410, 421, 486, 501, 504
- Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) 8, 12–13, 33, 37, 65–66, 84–85, 102, 107, 159, 164, 186, 199, 210, 242, 249, 266, 279, 303, 307, 318, 320, 353, 367, 376–377, 430–431, 455, 457, 462, 478, 500, 505, 507
- Пыпин Михаил Николаевич 367, 448, 481–482, 484, 471
- Пыпин Николай Дмитриевич (1808–1893) 37
- Пыпин Пётр Николаевич 367, 471
- Пыпин Сергей Николаевич 367
- Пыпина (урожд. Голубева, в 1-м браке Котляревская) Александра Егоровна (–1884) 37
- Пыпина Вера Александровна (1864–1930) 37, 109–110, 116, 187, 257, 284, 293, 320, 367, 376, 395
- Пыпина Евгения Николаевна 317–318, 505
- Пыпина Екатерина Николаевна (1847–1933) 368
- Пыпины 34, 38, 119, 284, 470
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802) 10, 150, 307
- Раев Александр Фёдорович 60–61, 73, 80, 89, 353
- Раев Пётр Иванович 353
- Раевский Александр Николаевич (1795–1868) 96
- Разин Степан Тимофеевич (ок.1630–1671) 10, 14, 396
- Ракеев Фёдор Спиридонович (1797–1879) 273–275, 504
- фон Ранке Леопольд (von Ranke Leopold) (1795–1886) 344
- Распутин (с 1906 – Распутин-Новый) Григорий Ефимович (1868–1916) 310, 358
- Ратисбонн Луи (Ratisbonne Louis) 448, 507
- Раумер 125
- Рафаэль Санти (Raffaello Santi) (1483–1520) 70, 213
- Рейбо Луи (Reybaud Louis) (1799–1879) 312
- Рейнгардт Николай Викторович (1842–) 198, 259, 272, 283, 298, 309, 341, 375, 397
- Рейтерн Михаил Христофорович (1820–1890) 358
- Репинский Козьма Григорьевич (1796–1876) 33–34, 430
- Рербег Иван Фёдорович (1892–1957) 439–442, 444
- де Робеспьер Максимильтен Франсуа Мари Изидор (Robespierre Maximilien François Marie Isidore) (1758–1794) 242–243
- Ровинский Александр Павлович 482
- Розанов Василий Васильевич (1856–1919) 5, 7, 9–10, 21, 30, 190, 201, 297, 357, 414, 420, 493–494
- Розенблюм Николай Германович (1891–1970) 261–263
- Розенталь, саратовский врач 482
- Розовский Иосиф Исаакович (1860–1889) 445
- Романовы, династия 15, 469
- Руадзе Мария Фёдоровна (–1875), владелица доходного дома в Петербурге на Большой Морской улице 259
- Рудницкая Евгения Львовна (1920) 262, 490
- Румянцев гр. (1744; в 1775 присоединено именование: Румянцев-Задунайский) Пётр Александрович (1725–1796) 14
- Руссо Жан Жак (Rousseau Jean Jacques) (1712–1778) 97–98, 312, 392, 415–416, 505
- Рылеев Кондратий Фёдорович (1795–1826) 66
- Рычков 111–112
- Рычков, артиллерийский офицер 280
- Сабашниковы 510
- Саввин Василий 30
- Савицкий Иван (Ян) Фёдорович 109, 187–189
- Самарин Юрий Фёдорович (1819–1876) 493
- Санд Жорж (лит. имя; урожд. Дюпен, в браке бар. Дюлеван) Амандин Орор Люсиль (George Sand; Dudevant Amandine Aurore Lucile; Dupin) (1804–1876) 144, 312
- Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) 10
- Свириденко В.А. 445
- Семевский Михаил Иванович (1837–1892) 481

- Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800–1858) 208
- Сераковский Сигизмунд Игнатьевич (Зыгмунт) (Sierakowski Zygmunt) (1826–1863) 160
- Сердюченко В.Л. 251–252
- Серно-Соловьёвич Александр Александрович (1838–1869) 279
- Серно-Соловьёвич Николай Александрович (1834–1866) 279, 340
- Симеон Полоцкий (в мире Самуил Гаврилович [по другим данным, Емельянович] Петровский-Ситнянович) (1629–1680) 150
- Синельников Николай Петрович (1805–1892) 398–399, 420, 428, 431, 435, 437
- Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910/1911) 380
- Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) 430
- Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) 150
- Скопин-Шуйский кн. Михаил Васильевич (1586–1610) 430
- Скориков Николай Фомич (1866–после 1939) 458, 460–463
- Скрынников Руслан Григорьевич (1931–2009) 23
- Славинецкий Епифаний (–1675) 150
- Слепов Василий Алексеевич (1836–1878) 113
- Случевский Константин Константинович (1837–1904) 106, 379–380
- Смоллетт Тобайас Джордж (Smollett Tobias George) (1721–1771) 312
- Соколов 286
- Соколов Николай Иванович 300
- Сократ (ок. 470–399 до н.э.) 92, 128, 285, 375, 439–440
- Солдатёнков Козьма Терентьевич (1818–1901) 9, 136, 470, 480–481, 507
- Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) 458
- Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) 5, 9, 19–21, 26, 28, 52, 84, 113, 117–118, 164, 171–172, 179, 211–212, 238, 251, 376–377, 414, 492–493, 494–495, 509
- Соловьёв Михаил Васильевич (–1861), отец С.М. Соловьёва 19
- Соловьёв Николай Иванович (1831–1874) 167, 378
- Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879) 14–15, 19–21, 77, 282, 492
- Солон (640 – ок. 559 до н.э.) 375
- Сорокин Алексей Фёдорович (1795–1869) 316
- Сороко И.К. 301–302
- Спасович Владимир Данилович (1829–1906) 278
- [Сперанская] Прасковья Фёдоровна (Фёдорова Прасковья), мать М.М. Сперанского 18
- [Сперанский] Михаил Васильевич (Васильев Михаил) (1739–1801), отец М.М. Сперанского 18
- Сперанский (фамилия около 1780) гр. (1839) Михаил Михайлович (1772–1839) 6, 8, 14, 18, 32–34, 249, 258, 342, 357, 367, 430, 493
- Срезневская (урожд. Кускова) Елена Ивановна (1793–1856), мать И.И. Срезневского 120
- Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) 8, 42, 65–66, 68, 101, 120–121, 123, 343, 501
- Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878–1953) 271, 329
- Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) 8, 19, 93, 151, 240, 243, 268–269
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) 381, 429
- Стасюлевичи 376
- Стахович Сергей Григорьевич (1843–1918) 240, 243, 267–269, 385–386, 505
- Стеклов Юрий Михайлович (Нахамкис) (1873–1941) 325
- Степанов Николай, владелец типографии в Москве (1836) 128
- Степун Фёдор Августович (1884–1965) 312, 335, 372, 470, 492, 513
- Стерн Лоренс (Steme Launce) (1713–1768) 312
- Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911) 6, 11, 310, 329, 358, 444, 498
- Страхов Николай, отец Н.Н. Страхова 19
- Страхов Николай Николаевич (1828–1896) 19, 325, 334–335, 379, 459
- Струве Пётр Бернгардович (1870–1944) 513
- Студенский Алексей Осипович 338
- Студенский Никанор Васильевич 31
- Суворов кн. (с 1848 светл. кн.) Итальянский, гр. Суворов-Рымникский Александр Аркадьевич (1804–1882) 268–269, 279–280, 289–292, 305–306, 349, 359–361, 363–364
- Суворов кн. Итальянский (1799), гр. Суворов-Рымникский (1789) Александр Васильевич (1730–1800) 269
- Сулин Яков А. (ок. 1842–) 301–302
- Суровцев Юрий Иванович (1931–2001) 92
- Суслова Аполлинария Прокофьевна (1839–1918) 92–93
- Сю Мари Жозеф Эжен (Sue Marie Joseph Eugène) (1804–1857) 299, 305
- Табаков Олег Павлович (1935) 11
- Тверитинов А., переводчик романа «Что делать?» Н.Г. Чернышевского на франц. язык 506

- Терпсихоров Николай Борисович (1890–1960) 39
- Терсинский Григорий 80
- Терсинский Иван Григорьевич 78, 119
- Тиблен Николай Львович (1825–) 376
- Тик Иоганн Людвиг (Tieck Johann Ludwig) (1773–1853) 129
- Тимашев Александр Егорович (1818–1893) 431
- Тимур, Тамерлан (1336–1405) 224
- Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) 69
- Тихон (в мире Солнцец), иеромонах, инспектор Саратовской духовной семинарии 59
- Ткачёв Пётр Никитич (1844–1886) 24, 176, 325, 335, 492
- Токарский Александр Ардалыонович (1853–1917) 270, 470–477, 482–483
- Толстая (урожд. Берс) гр. Софья Андреевна (1844–1919) 93
- Толстой гр. Алексей Константинович (1817–1875) 9, 67, 371
- Толстой гр. Дмитрий Андреевич (1823–1889) 456
- Толстой гр. Лев Николаевич (1828–1910) 6, 8, 11, 22, 80, 93, 97, 145–148, 150, 171, 184, 259, 349, 446, 456–457, 460, 469
- Трибунский П. 489
- Троицкий Николай Алексеевич (1931–2014) 433
- Трубецкой кн. Евгений Николаевич (1863–1920) 73
- Трувеллер Владимир Васильевич (ок. 1842–) 365
- Трутовский Константин Александрович (1826–1893) 73
- Тургенев Александр Иванович (1784–1845) 273
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) 9, 19, 99, 136, 145–147, 150, 158–159, 164, 178, 184–186, 191, 198, 200, 206, 208, 251, 282, 293, 336, 459, 474
- Тучкова-Огарёва (урожд. Тучкова) Наталья Алексеевна (1829–1913), с 1849 в браке с Н.П. Огарёвым, с 1857 – гражданская жена А.И. Герцена 211
- Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) 178
- Тьер Луи Адольф (Thiers Louis Adolphe) (1797–1877) 344
- Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) 67, 150, 312
- Уатт Джеймс (Watt James) (1736–1816) 62
- Ульяновы, семья И.Н. Ульянова 10
- Ус Василий Родионович (–1671) 396
- Успенский Глеб Иванович (1843–1902) 454
- Успенский Николай Васильевич (1837–1889) 392
- Утин Николай Исаакович (1841–1883) 278
- Фан дер Флат Фёдор Тимофеевич (1810–1873) 58
- Федин Константин Александрович (1892–1977) 11
- Федотов Георгий Петрович (1886–1951) 11, 23, 162–163, 273
- Феллер, дед Г.Э. Лессинга по матери 152
- фон Фейербах Людвиг Андреас (von Feuerbach Ludwig Andreas) (1804–1872) 64, 76, 78–86, 103, 150, 161–162, 173, 216–217, 225, 491, 496, 501
- Феодор (в мире Александр Матвеевич Бухарев) (1822–1871), архимандрит 326–327, 329, 342
- Феофан (в мире Елисей) Прокопович (1681–1736) 51, 150
- Феофил (в мире Раев) (1737–1811/1812) епископ Тамбовский и Шацкий (1794–1811/1812) 31
- Феофраст, Теофраст (371–286 до н.э.) 125
- Фет (Фёт [Föth]; до 1/2.1835 и с 12.1873 / 1.1874 – Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) 193, 312, 325
- Фёдоров Николай Фёдорович (1828–1903) 30
- Филипп (в мире Фёдор Степанович Колычев) (1507–1569), митрополит 22–23
- Фихте Иоганн Готтлиб (Fichte Johann Gottlieb) (1762–1814) 19, 129, 152
- Флеровский Н. – см. Берви-Флеровский Василий Васильевич
- Флетчер Джайлз (Fletcher Giles) (1548–1611) 246
- Флобер Гюстав (Flaubert Gustave) 312
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937) 51
- Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) 17, 21, 151
- Фома Кемпийский (Томас Хемеркен) (Thomas Naemerken) (ок. 1379–1471) 331, 441
- Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745–1792) 67, 150
- Фохт Карл (Vögt Carl) (1817–1895) 312
- Фредерикс бар. Платон Александрович (1828–1888) 422–423
- Фрейд, Фройд Зигмунд (Freud Sigmund) (1856–1939) 95
- Фрейтаг, Фрайтаг Густав (Freitag Gustav) (1816–1895) 312
- Фурье Франсуа Мари Шарль (Fourier François Marie Charles) (1772–1837) 396
- Хайдеггер Мартин (1889–1976) 283, 374

- Ханьков Александр Владимирович (1823–1853) 8, 43, 70–71, 73, 80, 85, 500
- Хвольсон Даниил Абрамович (1819–1911) 104
- Херман Дагмар (Herrmann Dagmar) 512
- Хлодвиг (Chlodwig) (ок. 466–511), король франков с 481
- Хованский Николай Фёдорович (1855–1921) 468
- Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) 23, 129, 212, 294, 340, 493–494
- Цветаев Иван Владимирович (1847–1913)
- Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993)
- Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) 273
- Цезарь, Гай Юлий Цезарь (100/102–44 до н.э.), рим. диктатор 297
- Цез Василий Андреевич (1820 или 1821–1906) 319
- Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935) 62
- Цион Илья Фаддеевич (de Cyon Elie) (1842–1912) 345–346
- Цитович Пётр Павлович (1843–1913) 328–329
- Цицерон, Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.) 13
- Чаадаев Пётр Яковлевич (1794–1856) 12, 19, 150, 166, 170, 181, 212, 244, 249, 425, 427
- Чемадунов Яков Яковлевич (1823–1888) 301
- Чернышевская (урожд. Голубева) Евгения Егоровна (1804–1853), мать Н.Г. Чернышевского 94, 116, 485, 499, 501
- Чернышевская Евдокия Марковна, мать Г.И. Чернышевского 31, 34
- Чернышевская (урожд. Соловьёва) Елена Матвеевна (1864–1940), жена М.Н. Чернышевского 483
- Чернышевская (урожд. Васильева) Ольга Сократовна (1833–1918), жена Н.Г. Чернышевского 38, 72, 89, 92, 102, 108–113, 116–117, 119–120, 122, 124, 137, 153, 158, 186–190, 235, 240, 253, 256–257, 261, 267–268, 270, 275, 284, 286, 293, 311, 313, 316–319, 367–368, 382, 393–395, 404, 406, 431–435, 462–465, 471–472, 475–481, 483, 485–487, 501, 504–506
- Чернышевские 34, 37, 470, 484
- Чернышевский Александр Гаврилович 105, 267
- Чернышевский Александр Николаевич (1854–1915), сын Н.Г. Чернышевского 187, 189, 431, 455, 477–481, 501
- Чернышевский Виктор Николаевич, сын Н.Г. Чернышевского 186, 199, 485, 502–503
- Чернышевский Гавриил Иванович (1793–1861) 8, 27–28, 30–34, 36, 38, 41, 47, 56, 59, 61, 91, 102, 105, 117, 123, 158–160, 187–189, 235, 253–254, 258, 261, 430, 465, 499, 504
- Чернышевский Михаил Николаевич (1858–1924), сын Н.Г. Чернышевского 64, 187, 199, 267, 357, 377, 382, 395, 422, 434–435, 455, 463–464, 477–478, 483–484, 502, 506
- Чернышевский Павел Васильевич (1946) 487
- Черняев Георгий Фёдорович (1825–) 451
- Чехов Антон Павлович (1860–1904) 6, 21, 150, 240, 415
- Чижевский Дмитрий Иванович (1894–1977)
- Чингисхан (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155–1227) 224
- Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) 6, 175, 206, 218–219, 221–222, 286, 502
- Чуковский Корней Иванович (Корнейчук Николай Васильевич) (1882–1969)
- Чулков, жандармский капитан
- Чумакова Татьяна Витаутасовна 257
- Шаганов Вячеслав Николаевич (1839–1902) 384–385, 392, 404, 409, 425, 428, 506
- Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982) 20
- Шамиль (1799–1873), 3-й имам Дагестана и Чечни (1834–1859) 467, 482
- фон Шамиссо Адельберт (франц. де Шамиссо де Бонкур Луи Шарль Аделаид) (von Chamisso Adelbert; de Chamissot de Boncourt Louis Charles Adélaïde) (1781–1838) 348
- Шаховской кн. Александр Александрович (1777–1846) 67
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) 502
- Шевырёв Степан Петрович (1806–1864) 125, 128–129, 130
- Шекспир Уильям (1564–1616) 29, 378, 421
- Шелашников Константин Николаевич (1820–1888) 435
- Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) 77–78, 124, 145, 159, 244–245, 279, 294, 297, 300, 361, 454
- Шелгуновы 61
- Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) 19, 129, 160, 224, 251, 281
- Шенфельд Вильгельм Генрих (1810–1887), петербургский фотограф 90
- Шидловский Иван Николаевич (1816–1872) 96
- фон Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805) 50, 89, 93, 97, 111–112, 127, 145, 150–155, 193–195, 198, 225, 332–333

- Ширинский-Шихматов кн. Платон Александрович (1790–1853) 17
- Шишков Александр Сергеевич (1753–1841) 24
- Шлоссер Фридрих Кристоф (Schlosser Friedrich Christoph) (1776–1861) 253, 256, 312–313, 502–503
- Шохина Виктория 74
- Шпет Густав Густавович (1879–1937) 85, 161–162, 167
- Шрадер Отто (Schrader Otto) (1855–1919) 507
- Штраус Давид Фридрих (Strauss David Friedrich) (1808–1874) 216–217
- Шувалов гр. Пётр Андреевич 298, 400–401, 408, 410, 420–422, 431, 440, 455, 457
- Шувалов Иван Иванович (1727–1797) 14
- Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) 498
- Шедрин Н. (Салтыков Михаил Евграфович) (1826–1889) 9, 232
- Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830) 213
- Шедрина Татьяна Геннадьевна 162
- Щепин, жандарм в Вилуйске 426
- Щепина, жена Щепина 426
- Щёголев Павел Елисеевич (1877–1931) 312
- Щукин Василий Г. 109
- Эдельсон Евгений Николаевич (1828–1868) 179, 379
- Эдип (мифол.) 457
- Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989) 211, 221, 227
- Эккерман Иоганн Петер (Eckermann Johann Peter) (1792–1854) 385, 473
- Эллидин Михаил Константинович (1835–1908) 395, 440
- Энгельс Фридрих (Engels Friedrich) (1820–1895) 81, 161, 225, 396, 401, 405
- Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) 488
- Эфрос (урожд. Гальперина) Наталья Давыдовна (1892–1989) 444–445
- Юлиан Отступник (Julianus Apostata) (331–363), рим. император (361–363) 220
- Цезарь, Гай Юлий Цезарь (Gaius Julius Caesar) (102 или 100 – 44 до н.э.) 275
- Юркевич Памфил Данилович (1826–1874) 250
- Юрьев А. 433
- Якушкин Павел Иванович (1822–1872) 361

Содержание

Глава первая. Месторазвитие, или Евразийский центр России	6
Глава вторая. Отец и сын, или «Надежда русской церкви».....	27
Глава третья. Университетские годы. Perpetuum mobile и размышления о «бесконечном усовершенствовании» христианства	58
Глава четвертая. Искушения	87
Глава пятая. Свой тон	119
Глава шестая. Эстетика жизни.....	152
Глава седьмая. Звено в цепи	182
Глава восьмая. Русские реформаторы. Идея свободы	206
Глава девятая. Фантом как явление общественного сознания, или Произвол vs право	253
Глава десятая. Петропавловская крепость, или Продолжение миротворчества	276
Глава одиннадцатая. Одиночная камера и писание романа. Разрастание мифа	311
Глава двенадцатая. Приговор, казнь. Каторга	347
Глава тринадцатая. Мученик. Жизнь после казни	373
Глава четырнадцатая. «Отблески сияния»	414
Интермедия	439
Глава пятнадцатая. Освобождение Чернышевского.....	446
Эпилог. Что же случилось после смерти?	488
Основные даты жизни и творчества Н.Г. Чернышевского	499
Об авторе	509
Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора	510
Указатель имен. Составитель Е.В. Михайлов	514

Научное издание
Кантор Владимир Карлович

**«Срубленное древо жизни»
Судьба Николая Чернышевского**

Макет и дизайн обложки Я.В. Быстрова

Корректор М.П. Крыжановская



По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, оптовая продажа в России и странах СНГ
ООО «Университетская книга-СПб».

«Университетская книга-СПб» предлагает книготорговым организациям, библиотекам и простым читателям широкий ассортимент книг по всему спектру гуманитарных наук – философии, филологии, лингвистики, истории, социологии и политологии. Продукцию ведущих гуманитарных научных издательств Санкт-Петербурга и России вы можете приобрести у нас по издательским ценам.

Контакты:

в Санкт-Петербурге
Тел. (812) 640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (495) 915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru

Рассылка по России:
Интернет-магазин Лабиринт.ру – <http://www.labyrinth.ru/>

Подписано к печати 10.09.2016. Формат 60x90 ¹/₁₆. Заказ № 1070.
Усл. печ. л. 34,65.
Тираж 2000 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в Публичном акционерном обществе «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
Тел.: 8 (495) 221-89-80



Владимир Кантор
«Срубленное дерево жизни»
Судьба Николая Чернышевского

